Юрий Зобнин

Николай Гумилев



Памяти Николая Гумилева 130 великому поэту

Слово и дело


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

К 130-летию Николая Гумилева. Творческая биография Поэта с большой буквы, одного из величайших творцов Серебряного века, чье место в Пантеоне русской словесности рядом с Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Блоком, Ахматовой.

«Словом останавливали Солнце, / Словом разрушали города…» – писал Гумилев в своем программном стихотворении. И всю жизнь доказывал свои слова Делом.

Русский «конкистадор», бесстрашный путешественник, первопроходец, офицер-фронтовик, Георгиевский кавалер, приговоренный к расстрелу за участие в антибольшевистском заговоре и не дрогнувший перед лицом смерти, – Николай Гумилев стал мучеником Русской Правды, легендой Русской Словесности, иконой Русской Поэзии.

Эта книга – полное жизнеописание гениального поэта, лучшую эпитафию которому оставил Владимир Набоков:

«Гордо и ясно ты умер – умер, как Муза учила.
Ныне, в тиши Елисейской, с тобой говорит о летящем
Медном Петре и о диких ветрах африканских – Пушкин».

- Юрий Зобнин
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○ Пролог
  - ○ Книга первая. Завоевание Ахматовой
    - ■ I
    - ■ II
    - ■ III
    - ■ IV
    - ■ V
    - ■ VI
    - ■ VII
    - ■ VIII
    - ■ IX
    - ■ X
    - ■ XI
    - ■ XII
    - ■ XIII
    - ■ XIV
    - ■ XV
    - ■ XVI

        - XVII
        - XVIII
    - Книга вторая. Поэт и воин
        - I
        - II
        - III
        - IV
        - V
        - VI
        - VII
        - VIII
        - IX
        - X
        - XI
        - XII
        - XIII
        - XIV
        - XV
        - XVI
        - XVII
        - XVIII
        - XIX
        - XX
        - XXI
    - Книга третья. Северная коммуна
        - I
        - II
        - III
        - IV
        - V
        - VI
        - VII
        - VIII
        - IX
        - X
        - XI
        - XII
        - XIII
        - XIV
        - XV
        - XVI
    - Эпилог
    - * * * * *
- notes

- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44

- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88

- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132

- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176

- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220

- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264

- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308

- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352

- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396

- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440

- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484

- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528

- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570

Юрий Зобнин
Николай Гумилев. Слово и Дело

130 лет великому Поэту Серебряного века

© Зобнин Ю.В., 2016
© ООО «Издательство «Яуза», 2016
© ООО «Издательство «Э», 2016

* * *

Светлой памяти Елены Алексеевны Зобниной

Империя, ты выйдешь из огня
очищенною и преображенной.
И в Царстве Божием, тобою обретенном,
ты не забудь, Империя, меня!

Юрий Макусинский

Пролог

В ночь со 2 на 3 апреля 1886 года в Кронштадте, в доме Григорьевой по Екатерининской улице, жена старшего врача 6-го флотского экипажа Степана Яковлевича Гумилева Анна Ивановна родила мальчика. Страшная буря над Финским заливом ветхозаветными огненными сполохами озаряла в эту ночь Кронштадтскую крепость, и повивальная бабка, принимавшая трудные роды, едва расслышав из-за громовых раскатов писк младенца, устало изрекла:

– Ну и бурная жизнь будет у этого парня!

Отец новорожденного принимал поздравленья. Матерые товарищи по былым походам посмеивались – крепок же балтийский морской волк, устроивший себе такой роскошный подарок к грядущему полувековому юбилею. Но мичмана́ и даже лейтенанты приветствовали счастливого родителя с почтительной торжественностью. В глазах молодежи этот ветеран с его сединами, роскошными бакенбардами с подусниками, легкой хромотой, пронзительным холодным взглядом и упрямым породистым подбородком, как и многие прежние соратники ушедшего в 1881-м на покой генерал-адмирала Константина Николаевича, уже превращался в живую легенду.

Шептались даже, что никакой он не «Гумилев», а *Рюрикович*, потомок неких тверских или владимирских княжичей, сокрушенных в старину победительной Москвой и приговоренных носить во все времена это прозвище, как стальное, неподвижное забрало на лице – то ли *«усмиренные»*, то ли *«втоптанные в грязь»*[1]. Путь-де в светскую жизнь был им заказан: мужское потомство *Гумилевых* следовало только по духовной стезе и через несколько поколений утратило память о прежнем величии. К своей сказочной генеалогии Степан Яковлевич был, по-видимому, равнодушен и вполне доволен собственным честно выслуженным дворянством, но среди домашних о семейной легенде иногда вспоминал:

> Не пойму, человек или лебедь,
> Лебедь с сердцем проколотым я[2].

К тому же обозримые предки Степана Яковлевича, действительно, предстояли у престолов храмов, только он, взбунтовавшись, не принял по завершении семинарского курса духовный сан и отправился учиться на врача в Московский

университет[3]. Не унывал, был весел, добродушен, благочестив и, не чувствуя в себе расположения к духовной службе, истово верил, что Господь, конечно, не оставит его попечением и на службе гражданской. Он жил уроками и так ловко экономил, что даже сумел ежемесячно выкраивать из своих приработков некоторую сумму для овдовевшей матушки. Когда же представился случай применить себя на военно-морском поприще, Степан Яковлевич возликовал. Отгремевшая Крымская война оказалась для российского флота преображающим горнилом: величавые парусные армады бестрепетно испепелились в жестоком военном пламени, чтобы спустя малое время, как легендарный Феникс, возродиться в быстроходных винтовых фрегатах, миноносных катерах и броненосцах. В российском мореплаванье наступил звездный час для молодых энтузиастов, горячих патриотов, азартных честолюбцев – каким был и сам знаменитый генерал-адмирал, великий князь Константин Николаевич, любимый брат императора Александра II[4].

Таким был и Степан Яковлевич Гумилев, быстро поднявшийся от ординатора в Кронштадтском госпитале до судового врача. Он начал кампанией во внутренних водах на деревянном «Николае I», одном из ранних опытных гибридов линейного парусника с пароходом, а всего через пять лет уже освоил новейший винтовой фрегат «Пересвет», совершивший летом 1865-го крейсерский рейд в Средиземноморье. Пугая турок и нервируя англичан, 51-пушечный «Пересвет» около года курсировал под Андреевским флагом в греческом Архипелаге, наблюдал в Порт-Саиде за строительством Суэцкого канала, навестил православных паломников в Яффе и вернулся в родной порт только осенью 1866-го, сдав средиземноморскую вахту 70-пушечному «Генерал-адмиралу». О пережитом тогда Степан Яковлевич любил при случае вспомнить, но главное дело жизни ждало его не на океанских просторах, а на близких к Петербургу балтийских морских рубежах.

Когда «Пересвет» под оркестр и приветствия бросил якорь в Кронштадте, там уже полным ходом формировался отряд мониторов, предназначенных для береговой обороны столицы. Небольшие железные посудины с едва приподнятыми над водой бортами, вращающимися орудийными башнями и стальными коробками рубок вызывали споры и даже насмешки. Их величали «консервными банками», потешались над черепашьим ходом и уродливым силуэтом, терявшимся на фоне гордой осанки «настоящих кораблей». Но смех стихал, когда назывались калибры орудий и толщина броневых плит. «Один-другой десяток подобных судов вместе с несколькими броненосными фрегатами

и батареями – сила весьма почтенная, которая в ожидании будущего развития флота во всяком случае уменьшит охоту «наших доброжелателей» вмешаться во внутренние, домашние дела России», – рассудительно писали «Кронштадтские вести»[5]. Степан Яковлевич оказался в числе горячих поклонников свирепых металлических черепах, и десять следующих лет, позабыв о дальних походах, налаживал гигиену и охрану здоровья на судах первой броненосной эскадры Российской Империи. Он обобщал опыт морских учений, анализировал изъяны у матросов-новобранцев, сам мотался по призывным округам, вникая в условия набора, наблюдал развитие недугов во время несения службы, выступал с докладами в Обществе морских врачей, публиковал статьи в медицинских журналах. Взлетел высоко: к сорока годам ходил в надворных советниках (соответствие шестому военному классу капитана 1-го ранга или сухопутного полковника), со Станиславом в петлице и Анной на груди[6]. И, казалось, среди этой клепаной брони, металлических отсеков, тесных башен, чудовищных орудийных жерл и узких железных трапов – он сам постепенно превращался в подобие несокрушимого и неприступного броненосца.

Но что ему оставалось делать? Служба в Кронштадте обернулась вдруг горестным испытанием, отделившим минувшие счастливые годы непроходимым больным обрывом. Там, в прошлой жизни, у Степана Яковлевича была большая любовь. В далеком 1861 году к месту назначения он прибыл с молодой женой, дочерью московского губернского судьи[7]. Северная дождливая Балтика плохо действовала на хрупкую москвичку: дожидаясь обожаемого мужа из очередного плаванья, она постоянно хворала, страдала мигренями, простужалась. Сколько-нибудь серьезного беспокойства эти мимолетные хвори не вызывали. Она вообще была мнительна, в ветреные ночи не смыкала глаз, воображая разные опасности на пути своего морехода, а по возвращении радовалась так, словно тот избежал кораблекрушения. Неладное началось в 1869-м, после появления их первенцы Шурочки, когда, вернувшись из летнего похода мониторов вдоль Балтийского побережья, Степан Яковлевич нашел жену вконец измученной родами. В жестоком ознобе, задыхаясь, она слезно умоляла хоть ненадолго свозить ее с малышкой к родным в Москву:

– Там солнышко, зелень, а здесь – одни камни да дождь…

Конечно, об отпуске нечего было и думать! Однако встревоженный Степан Яковлевич немедленно взял в дом сиделку-кормилицу, заподозрив чахотку. Кашель, впрочем, как обычно, скоро улегся. Тем не менее бедную женщину словно

подменили. Она вдруг возненавидела Кронштадт, и залив, и крепость, и корабли, чахла, тосковала, плакала и твердила лишь одно:

– Как холодно! А в Москве солнышко…

В Кронштадт прибыли новейшие броненосные лодки «Русалка» и «Чародейка». Это было настоящее чудо – плавучие монстры с двумя 229-мм орудиями в носовой и двумя 381-мм орудиями в кормовой башнях, противоминной артиллерией, двумя паровыми машинами и командой до двух сотен человек. Переведенный во 2-й экипаж Степан Яковлевич вместе с другими энтузиастами из учебного отряда должен был приноровить кошмарные создания к боевым действиям на финском мелководье у береговых крепостей. Ожидаемые результаты поражали воображение. Старший экипажный врач на год позабыл про покой и отдых, заработав в итоге свой первый орден.

А у его жены открылось кровохаркание.

Тут-то он выхлопотал отпуск, конечно. Двухлетнюю Шурочку с кормилицей на время болезни матери отправили к московским родственникам, а супруги срочно выехали в Саратовскую губернию на кумыс, считавшийся тогда панацеей. И, действительно, больная поправилась там, как по волшебству! Осенью она находилась в полном здравии и лишь торопила вернуть дочку. Но занятый на «Чародейке» Степан Яковлевич откладывал поездку, потом ударили морозы, и все было перенесено на весну. Тогда она вновь пригорюнилась и принялась за старое:

– Хорошо в Москве, не то что здесь – голый камень. Я пошла бы теперь погулять с Шурочкой…

В Москву Степан Яковлевич привез весной свинцовый гроб. Малышка так и осталась у деда и двоюродных бабок, а Степан Яковлевич, схоронив жену, вернулся в Кронштадт. Ожесточенный потерей, он совсем забросил опостылевший береговой дом, всецело обернувшись к службе. Покончив с «Чародейкой», морской врач переключился на казематный броненосный фрегат «Князь Пожарский». Все разговоры о «неполноценности» броненосцев давно канули в Лету – Степан Яковлевич победно озирал Большой Кронштадтский рейд с высоты двухтрубного левиафана, которому предстояло нести флаг Империи в океанских просторах[8]. Красавец, впрочем, оказался на редкость своенравным и капризным. Вновь в Москву к дочери коллежский советник выбрался лишь через год, да и то мельком, нашел ее «смышленой» и всячески рекомендовал скорее учить чтению и письму. Еще два года миновало. Осенью 1876-го Степан Яковлевич, взяв наконец отпуск, собрался на московскую

побывку. Наряженная по случаю свидания семилетняя Шурочка Гумилева бойко читала страницу за страницей и, в заключение, прощебетала стишок. Родитель повел ее в игрушечный магазин и торжественно вручил огромную – в рост разумницы – куклу на колесиках. Волоча за собой деревянную подругу, радостная Шурочка задержалась у книжной лавки, любуясь яркими обложками. Удивленный выбором, Степан Яковлевич провел пальцем по заголовку:

– А ну, прочитай-ка, что тут написано?

Шурочка, неотличимая в своем праздничном платье от куклы, побледнела как полотно, затряслась и разрыдалась. Степан Яковлевич очнулся, наконец. Усадив девочку рядом, он осторожно начал задавать вопросы, а та, всхлипывая, отвечала. Росла она все эти годы, как полевой цветок, без друзей и знакомых сверстников. Добрые московские бабушки, как водится, души не чаяли в «сиротинке», баловали, лелеяли, наряжали, закармливали до отвала, но в светской грамоте и сами были не тверды, а о прочем воспитании даже не помышляли. Соседка из курсисток взялась «давать уроки», бесконечно перечитывая вслух одни и те же сказки – вот Шурочка и затвердила их наизусть, запомнив даже, где надо перевернуть страницу, где восклицание и где вопрос… Степан Яковлевич погрузился в задумчивость. Таким его нашел капранг[9] Лев Львов, старший офицер конкурировавшего с «Пожарским» кронштадтского башенного броненосца «Адмирал Лазарев» и добрый приятель по Морскому собранию. Львов, проводивший с женой лето у своей сестры в родовом тверском поместье, выбрался с обеими женщинами поглядеть на Москву. Представив сестрицу-помещицу, капранг потянул было морского врача осматривать кремлевские красоты, но, заметив, что на том лица нет, осекся и тут же предложил любую помощь в невзгоде.

– Положение мое, – хладнокровно отвечал Степан Яковлевич, – по-видимому, безвыходно. Мне немедленно нужно найти для моей Шуры ***новую мать***!

Кратко обрисовав положение, он добавил, что, овдовев, не заводил светских знакомств, не имеет на примете никаких подходящих партий, и ему остается разве что просить наудачу руку у какой-нибудь случайно встреченной доброй и благородной женщины.

– Вообразите, – мрачно заключил Степан Яковлевич, обращаясь к новой знакомой, внимательно слушавшей его исповедь вместе с братом и снохой, – что бы ответили, к примеру, Вы, если бы я осмелился обратиться с подобной просьбой?

– Я бы ответила, что… согласна!

Месяц спустя, на апостола Фому, Шурочка Гумилева, впервые попав в серединную Россию, с изумлением смотрела на необъятную холмистую осеннюю равнину, раскинувшуюся на много верст вокруг возвышенного Градницкого погоста. Могучий пятиглавый храм Животворящей Троицы, воздвигнутый над окрестными усадьбами и парками, над деревеньками на отлогих склонах, над убранными полями и золотящимися перелесками, благовестил с ажурного поднебесья колокольни. Облетевшая роща у храма была заполнена народом, глазеющим на завершение торжества: светлые домотканые мужицкие рубахи и армяки мешались с цветными платками и вышитыми киками замужних баб, мещанскими и купеческими крашеными чуйками. На паперти, покидая храм, творили крестные знамения помещики в статском, черные золотопогонные балтийцы надевали фуражки, плыли уездные дамы, туалеты которых переливались всеми радужными оттенками. Мелькнула надменная красавица в лиловом полутрауре, за ней – старушка-бонна с двумя нарядными детьми, потом – землистый жандармский офицер и чинная матрона, тянущая за руку румяного карапуза. Маленький, ладный Лев Иванович Львов, держа на полусогнутой руке парадную капитанскую треуголку, развернувшись к надвратной иконе, истово, с поклонами крестился. По толпе зевак прокатился шум, и белоснежный убор новобрачной драгоценным сиянием полыхнул перед соборной площадью.

Двадцатидвухлетняя Анна Ивановна Львова была хороша собой: высокая, с чудесным цветом лица и приятными манерами. Род ее был коренной в здешних местах: ее далекие пращуры Милюковы владели землями Бежецкого Верха еще при первых московских Романовых[10]. Из этих земель и была выделена Слепневская вотчина, превратившаяся в семейное гнездо воинственных и рачительных Львовых, весьма заметных среди уездного дворянства[11]. Впрочем, эта ветвь уже пресекалась: оба брата Анны Ивановны оказались бездетны[12]; она была младшей носительницей славной фамилии[13].

Всю жизнь Анна Ивановна провела в русской деревенской провинции среди домашних и крестьян, совершенно не зная, что такое кокетство, флирт, выезды и наряды. Образованием ее занималась нанятая в дом заезжая mademoiselle[14], которая по молодости лет мало разбиралась в ученой премудрости, но добросовестно заставляла воспитанницу долбить французскую грамматику, наказывая за леность зе́мными поклонами или вязанием чулок. Упорство, с которым педагогическая методика претворялась в жизнь, принесло плоды. Анна Ивановна не могла существовать без французских романов, была очень набожна и

великая рукодельница. От матери, всецело поглощенной слепневским хозяйством, младшая дочь усвоила кроткий нрав, невозмутимое спокойствие и умение обходиться радостями скромной домашней жизни. Навыки эти особенно развились в курском поместном захолустье, куда юница была направлена в помощь сестре Агате, надзиравшей за тамошним древним дедушкой Яковом Викторовым, инвалидом Наполеоновских войн[15]. Почтенный инвалид на склоне лет впал в детство и интересовался лишь собственными грядущими похоронами. Он нашил «смертных халатиков», заказал гроб и с удовольствием примерялся лежать в нем, устраиваясь каждый раз все удобнее. Однако по-настоящему помереть ему никак не удавалось. Юная внучка застала Якова Алексеевича за настойчивыми уговорами отслужить по нему отходную, не дожидаясь неоправданно затянувшегося post mortem[16]. Смущенный сельский священник отказывался, и бедный старец заливался слезами:

– Вот до чего я дожил: и панихиду по мне не хотят петь…

Успокоился он, лишь когда торжественно, со свечами и певчими, отпели при нем какого-то усопшего местного мужика по имени Яков. Чувствительные дворовые девки с деревенскими бабами плакали в голос. Слепенький Яков Алексеевич растроганно подтягивал «Вечную память», потирал ладошки и весело справлялся у такого же древнего, как и он, денщика, неотлучно дремавшего при барине:

– А что, Павлюк, погода-то, погода какая нынче?

Тот пробуждался на миг:

– Плохо, ваше благородие… поземная поперла!

За окном в палисаднике надрывались, ликуя, звонкие курские соловьи.

Всякая другая девица на месте Анны Ивановны, оказавшись в Викторовке, взвыла бы по-волчьи. Она же нисколько не растеряла присутствие духа, безропотно читала вслух газеты (как и требовал ветеран, «по-честному, от доски до доски»), выезжала с обоими стариками в Курск на закупку материи и кружев для очередных «смертных халатиков» и, по-видимому, даже привязалась к ветхим чудакам.

– Сколько же тебе лет, дядя Павлюк? – изумленно спрашивала она.

– Эх, голубушка, – горько отвечал денщик, – обоим нам с барином *без двах девяносто*!

Схоронив Викторова, преставившегося одновременно со своим верным Санчо Пансой, сестры продали отписанное им курское имение. Агата к этому времени вышла замуж за местного жандармского офицера Владимира Покровского[17], а Анна,

получив долю наследства, вновь отправилась в Тверскую губернию – навстречу судьбе. Став хозяйкой в доме сорокалетнего вдовца, она принялась умело, с незаметной и терпеливой настойчивостью устраивать в его военно-морской берлоге тот великорусский патриархальный помещичий уют, к которому привыкла и без которого не мыслила свои будни. Вскоре Степан Яковлевич осознал, что, занятый судьбой дочери, он попутно нашел собственное счастье и влюбился в свою новую молодую жену ревнивой и страстной любовью. Он уже ощущал начинавшую приступать раннюю старость, дававшую о себе знать постоянными болями в ногах. Это был ревматизм, вечное проклятье моряков, превратившийся в подлинное бедствие среди экипажей броненосцев. Не знавший прежде отдыха, морской врач все чаще начал брать отпуска и лечился за казенный счет в водных санаториях Старой Руссы, Кисловодска и Пятигорска. Но немощь не отпускала. Чуя закат, Степан Яковлевич роптал на года, на болезнь, делаясь раздражительным, сварливым, деспотичным. Жена с другим характером, возможно, и не ужилась бы с ним, но Анна Ивановна старалась все сгладить.

– Я ведь твой буфер, папочка, – смеялась она, – потому ты и избегаешь всяких столкновений!

С падчерицей молодая мачеха сразу взяла ровный, доброжелательный тон, не обижая ребенка не только делом, но даже и словом, но и не потакая капризам. Та, избалованная у московских бабушек, нарочно шалила и своевольничала. Степан Яковлевич поспел вовремя: еще немного, и его Шура превратилась бы в совершенную дикарку. Особенно тяжело приходилось ей летом, когда мачеха забирала ее в свое бежецкое Слепнево, куда съезжалась с детьми вся львовская родня. Но спокойствие и уравновешенность Анны Ивановны делали свое дело, и строптивая девочка мало-помалу привыкла к новой жизни.

В кронштадтском доме морского врача на Екатерининской улице установился безмятежный мир. С дочерью Шурой усердно занималась домашняя учительница. Молодая жена Степана Яковлевича умело управлялась с прислугой, просила на руки лишь то немногое, что требовалось по хозяйству (он, думая о потомстве, расчетливо экономил и вкладывал деньги в рост, преумножая сбережения), была хлебосольна и гостеприимна. По вечерам собирались знакомые, играли в винт; беременная Анна Ивановна сидела с пяльцами, слушая краем уха докторские разговоры. Монотонная жизнь вовсе не казалась ей несносной: по своему обыкновению, она постоянно устраивала маленькие незаметные радости – ходила с падчерицей на карусели, покупала

ей и себе какие-нибудь лакомства или читала после полуночи. Страсть к французским романам не оставляла ее и была, вероятно, единственным недостатком в глазах мужа. Увлеченная каким-нибудь особо занимательным поворотом сюжета, она вмиг позабывала все на свете, и даже если Степану Яковлевичу случалось в это время обратиться к ней – нетерпеливо махала рукой:

– Сейчас, сейчас, папочка, я только один момент!..

Новорожденную дочку она нянчила самозабвенно и, выхаживая ее, отрешилась от прочих домашних забот. Тем временем наставница Шуры Гумилевой забила тревогу: войдя в опасный возраст, отроковица обнаружила дурные наклонности – упрямство, злобу и скрытность. Степан Яковлевич поспешил устроить выросшую старшую дочь в институт благородных девиц. В первый же день за какую-то пустяковую шалость ее поставили к стене «замаливать грехи». Она только кривила губы в злой улыбке. Другие ученицы давно извинились и ушли спать. Не добившись от новенькой ни слова, классная дама со вздохом отпустила упрямицу:

– Что только скажет твоя мама, когда это узнает?

– У меня нет мамы, она давно умерла.

– Ах, бедняжка, ну не плачь, я сама росла без матери…

«Целый час проговорили они, и с этих пор девочка окончательно переменилась: стала кротка и послушна, и учителя не могли нахвалиться ее успехами. Пребывание в институте было самое счастливое время в жизни Шурочки. Подруги ее любили за ее веселый характер, увлекательные «романы», которые она сочиняла и, не имея времени и бумаги, рассказывала, за ее незлобивые шалости и «честность», не позволявшую ей выдавать подруг! Да, это было, действительно, счастливое время!»[18]

А Анну Ивановну со Степаном Яковлевичем постигло большое горе: несмотря на все заботы, их первенца не перенесла какой-то детской болезни и умерла в 1883-м, не достигнув пяти лет. На следующий год, в утешение осиротевшим супругам, родился сын Дмитрий, здоровый и крепкий мальчик. Годом позже Анна Ивановна снова понесла, и в грозовую ночь со 2-го на 3-е апреля 1886 года на свет появился последний, младший ребенок – Николай.

Книга первая. Завоевание Ахматовой

I

Крещение. Отставка С. Я. Гумилева и переезд в Царское Село. Братья Гумилевы в детстве. «Колдовской ребенок». Дача в Поповке. Б. В. Покровский. Поручик Сверчков. Замужество Шуры Гумилевой. Неудачное начало учебы. Болезнь. Домашний учитель Б. И. Газалов. Смерть императора Александра III. Смерть Л. И. Львова. «Северное страховое общество». Переезд в Петербург. Подготовка в гимназию. Ходынское предзнаменование.

15 апреля младенец Николай был крещен в кронштадтской Морской Военной Госпитальной Александро-Невской церкви. Таинство крещения совершал протоиерей Владимир Краснопольский, восприемниками были дядя новорожденного, капитан 1-го ранга Л. И. Львов и сводная сестра Александра, институтская выпускница. Вскоре вся семья вместе с крестным отправилась отдыхать в Слепнево, так что первые месяцы жизни Гумилев провел в древнем родовом имении предков под Бежецком:

О Русь, волшебница суровая,
Повсюду ты свое возьмешь…

Николай был поздним ребенком. Год его рождения оказался последним годом морской службы для пятидесятилетнего родителя. Старший судовой врач 6-го экипажа, кавалер орденов св. Анны 3-й степени и св. Станислава 3-й и 2-й степеней Степан Яковлевич Гумилев вышел в отставку в феврале 1887 г. в чине статского советника «с увольнением по болезни с мундиром и пансионом». Карьера получилась основательной: носитель чина статского советника, пятого в «Табели о рангах», считался «гражданским генералом».

Излюбленным местом проживания заслуженных столичных ветеранов было в те времена Царское Село, считавшееся самым здоровым во всей Петроградской губернии. Закрытое от холодного морского ветра Пулковскими и Дудергофскими высотами, Царское, возвышаясь над Павловском и Гатчиной, не знало туманов, до глубокой осени омывалось легкими вечерними росами и славилось кристальной чистотой воды в источниках. Знаменитая железная дорога за полчаса доставляла царскоселов прямо в петербургский центр, к Семеновским казармам и Гороховой улице. Всю вторую половину XIX века уютный

придворный городок, затерявшийся в зелени императорских парков, не переставал быстро расти. Никакой промышленности, не считая небольшой обойной фабрики, в Царском Селе никогда не было в помине, равно как и крупной торговли – рост шел за счет гвардейской аристократии, пополнявшей военный гарнизон, шедших в гору петербургских чиновников-карьеристов, первыми в России оценивших прелести жизни в *suburb*[19], и удалявшихся на покой маститых отставников. Военные облюбовали себе район Софии на юге, чиновники селились в кварталах, примыкающих к вокзалу, а отставники населяли центр города, вокруг Екатерининского собора и Гостиного двора. Степан Яковлевич не стал исключением из общего правила: в начале 1887 года он купил деревянный дом с мезонином, флигелями и садом на улице Московской, ставший для его младшего сына обиталищем младенческих пенатов.

– Меня очень баловали в детстве, – рассказывал Гумилев. – Больше, чем моего старшего брата. Он был здоровый, красивый, обыкновенный мальчик, а я – слабый и хворый. Ну, конечно, моя мать жила в вечном страхе за меня и любила меня фантастически…

Отец, вздыхая, величал свое болезненное голубоглазое и белобрысое чадо *«опавшим листиком»*. Из-за преступной небрежности кормилицы к многочисленным хворям, постоянно одолевавшим младшего сына, добавился зрительный астигматизм – годовалым он серьезно повредил себе бровь и веко осколком стекла. Зрение удалось спасти, но левый глаз после операции заметно косил, делая взгляд похожим на иконописные взоры древних святых. Сверстники дразнили его, и бедный малыш, в отличие от брата, постоянно носившегося с соседними мальчишками, отсиживался в детской, в компании ежа, морских свинок и попугая, или бегал в саду у дома наперегонки с рыжей собакой Лиской, которая от него не отходила ни на шаг:

Косматая, рыжая, рядом
Несется моя собака,
Которая мне милее
Даже родного брата,
Которую буду помнить,
Если она издохнет.

Он поздно начал говорить, плохо выговаривал многие звуки и, стесняясь, предпочитал молчать. Но добрым был очень, прятал за обедом свои пряники и конфеты, собирая гостинец для старой прислуги Гумилевых, «тетеньки» Евгении Ивановны, навещавшей

прежних хозяев по воскресеньям. Других гостей он не любил. Если к Степану Яковлевичу приходили морские товарищи, привозившие отставному корабельному врачу чужеземные диковины и бочонки с заморским вином, младший сын дичился где-нибудь в углу гостиной, ища случай поскорее улизнуть. Но мог и удивить всю отцовскую компанию, откликнувшись на экзотические речи мореходов, под аплодисменты и хохот, неожиданным экспромтом:

Живала Ниагара
Близ озера Дели́!
Любовью к Ниагаре
Вожди все летели́!

Любил он слушать, как мать или нянька читают волшебные сказки, истово верил в существование чародеев и магов, заучивая наизусть их мудреные заклинания. Когда явившиеся в грозовой день царскосельские гости заскучали за картами под ливень на сырой веранде, Степан Яковлевич кивнул на младшего сына, неприметно возившегося с Лиской:

– Никакой надежды на прогулку нет, господа! Разве вот только мой волшебник нам поможет…

«Опавший листик» послушно соскользнул из плетеного кресла и встал в скользком и ветреном дверном проеме перед водными потоками. Выученные заклинания почему-то позабылись, поэтому он протянул руку и просто попросил:

– *Дождик, перестань!*

Молния расколола напополам небо над Царским Селом, докатившись послушным блеском к ногам четырехлетнего малыша, рыжая Лиска отпрянула, ощетинившись и рыча, глухо отозвался последний гром – и ливень исчез как ни бывало, и ветер тут же стих. Морские волки переглянулись.

– Ну вот, господа, я же говорил, – нашелся Степан Яковлевич. – А теперь прошу на прогулку…

«Когда сыновья были маленькими, Анна Ивановна им много читала и рассказывала не только сказки, но и более серьезные вещи исторического содержания, а также и из Священной Истории, – сообщает один из первых биографов Гумилева. – Помню, что Коля как-то сказал: «Как осторожно надо подходить к ребенку! Как сильны и неизгладимы бывают впечатления в детстве! Как сильно меня потрясло, когда я впервые услышал о страданиях Спасителя». Дети воспитывались в строгих принципах православной религии. Мать часто заходила с ними в часовню поставить свечку, что нравилось Коле. С детства он был

религиозным и таким же остался до конца своих дней – глубоковерующим христианином. Коля любил зайти в церковь, поставить свечку и иногда долго молился перед иконой Спасителя. Но по характеру он был скрытный и не любил об этом говорить».

В 1890 году Степан Яковлевич, повинуясь необоримому модному поветрию, приобрел у инженера-технолога Михаила Подобедова дачный участок в местечке Поповка, верстах в десяти к востоку от Царского Села. Глава «Товарищества для эксплоатации электричества М. М. Подобедов и К°», оборудуя на полустанке Николаевской железной дороги пункт погрузки, увлекся окрестными лесными красотами и, завершив железнодорожный подряд, прикупил вокруг полустанка земли под собственное имение и для продажи под летнее жилье. Дачный бум бушевал в России, а предприимчивый Подобедов обещал покупателям участков выгодную рассрочку и – в ближнем будущем – загородный рай с конкой от станции, электрическим освещением, магазинами, купальнями, летним театром и прочими благами цивилизации. Степан Яковлевич попал в число первых дачников «Подобедовки», вступив (не без выгоды для себя) в местный кооператив по мелиорации и благоустройству дорог. Вероятно, на следующий год он уже начал вывозить семейство. В лесном приволье Поповки «опавший листик» ожил, сражался с соседским индюком, выслеживал драконов в зеленом болоте за околицей и даже присоединился к приятелям брата, устраивавшим индейские войны. В новой компании он вдруг немедленно пожелал быть вождем, а когда добродушный Дмитрий попытался урезонить малолетнего властолюбца – горячо пообещал, что непременно подчинит себе всех:

– Я же упорный, я заставлю…

– Если хочешь быть вождем, упорства мало, – засмеялись мальчишки и протянули малышу с иконописным взглядом только что пойманную трепещущую рыбку. – На-ка вот… Откуси живому карасю голову – тогда и посмотрим!

И Гумилев отказался стать индейским вождем. Он стал воевать в одиночку, сокрушая целые легионы лопуха и мать-и-мачехи:

Я за то и люблю затеи
Грозовых военных забав,
Что людская кровь не святее
Изумрудного сока трав.

У Гумилевых появился приживальщик Борис Покровский,

явившийся из Курска. Там средняя из сестер Львовых, Агата, выбивалась из сил, ухаживая за своим бесталанным мужем-жандармом – после отставки, вслед за алкоголизмом, его постигло слабоумие. Агата Ивановна умоляла родню устроить единственному сыну возможность без помех завершить школьный курс и получить аттестат. Степану Яковлевичу пришлось усиленно хлопотать в «придворной» царскосельской Николаевской мужской гимназии[20]. Вместе со старшим сыном Дмитрием, зачисленным в подготовительный класс, племянник был пристроен в класс выпускной. Впрочем, Покровский-младший оказался необременительным постояльцем, возился с двоюродными братьями, был смышлен, неприхотлив и учился на совесть[21]. Куда больше волнений балтийскому ветерану доставляла дочь, неожиданно влюбившаяся в *вертопраха*. То был сын местного художника-неудачника, поручик пограничной стражи Леонид Сверчков, прибывший на побывку к родителю. Гол как сокол, этот поручик обладал многими талантами – с чувством пел, играл на скрипке, умел поддерживать оживленный разговор, описывая всевозможные приключения на границе. Недавняя институтка, мало разбиравшаяся в жизни, натурально, потеряла голову, разрушив, к отчаянью Степана Яковлевича, сразу две намечавшиеся солидные партии. Степан Яковлевич сначала пытался убеждать добром, потом вспылил, отказал вертопраху от дома. Но ничуть не бывало: дочь стояла на своем так упорно, что оставалось лишь махнуть рукой. В мае 1893-го Шурочка Гумилева превратилась в *Александру Степановну Сверчкову*, получила от негодующего отца 10 000 приданого[22] и укатила с мужем куда-то в пограничную тьмутаракань, на кордон Радоха у польских Катовиц.

Младший ее брат как раз в это время начал готовиться к поступлению в Николаевскую гимназию. Вступительные экзамены в подготовительный класс семилетний Гумилев сдал с легкостью, поскольку «незаметно», по выражению матери, выучился читать и даже самостоятельно освоил том «Сказок» Андерсена. Но в гимназических классах он пробыл только месяц с небольшим – слег с кашлем и жаром. Больному поставили диагноз – острый бронхит. То ли произошла врачебная ошибка, то ли возникли какие-то неизвестные медицинской науке осложнения, но ребенок провел в постели всю осень и зиму, постоянно впадая в беспамятство и угасая. Для Анны Ивановны, не отходившей от больного сына, начался многомесячный кошмар. Кое-как поднялся на ноги он только к весне, но плохо слышал и мучился сильнейшими головными болями, которые лечащий врач приписывал «повышенной умственной деятельности» (!). После

болезни с мальчиком явно происходило что-то странное. Апатичный и сонный, он сутками не обращал никакого внимания на окружающих, не откликался на вопросы, затем, словно пробудившись, вдруг изумлял красноречием – и тут же начисто позабывал сказанное. Похоже, что он мучительно вспоминал что-то, давным-давно известное, но ускользающее из памяти. Так некогда древние философы описывали таинственный αναμνησισ – *анамнесис*, мистическое *припоминание* у пророков и ясновидцев.

О гимназии нечего было и думать. В доме, в помощь к царскосельской няньке Мавре Ивановне (души не чаявшей в «малóм»), появился студент Баграпий Газалов, понемногу занимавшийся с выздоравливающим по школьным учебникам. Эти домашние занятия затянулись почти на два года – все это время лечащие врачи категорически не рекомендовали родителям допускать младшего сына к классным занятиям. Терпеливый Газалов, тоже привязавшийся к воспитаннику, старался приноровиться к его необычной манере общения, но представить такого ученика на рядовом школьном уроке не представлялось возможным. Была и еще одна странность, возникшая в ребенке после болезни: он, по словам матери, постоянно сочинял и пытался записать некие стихотворные «басни». Однако, за всем прочим, на эти непонятные литературные опыты никто из домашних и врачей серьезного внимания, разумеется, не обращал.

20 октября 1894 года Царское Село вместе со всей Россией облеклось в глубокий траур: в крымской Ливадии безвременно ушел из жизни император Александр III. В историю он вошел под именем *Миротворца* – тринадцать лет страна не знала ни мятежей, ни кризисов, ни войн, двигаясь, по выражению премьер-министра Витте, «на путь спокойного либерализма». Для отечественных смутьянов, загнанных в глухое подполье или эмиграцию, внезапная кончина государя подавала надежду на ослабление политического гнета. Большинство же россиян, не имевшее причин сетовать на ровное течение будней, искренно оплакивало могучего царя-миротворца, внушившего каждому обывателю незыблемую уверенность в своем завтрашнем дне. Оставалась надежда на наследника-цесаревича, вступившего на русский трон под именем Николая II, но он был юн, и можно было только гадать, как успешно он сможет распорядиться громадным и изобильным до пестроты отцовским наследством.

В траурный для России год Гумилевых постигла семейная утрата: скончался любимый брат Анны Ивановны и друг-сослуживец Степана Яковлевича Лев Иванович Львов. Выйдя в отставку контр-адмиралом, он жил с женой в родовом Слепневе,

прослыв у местных мужиков крепким хозяином и добрым человеком[23]. Смерть произошла от того самого, заработанного на балтийских броненосцах ревматизма, который мучил и Степана Яковлевича. Но бывший морской врач еще держался. Бездеятельный покой начал его тяготить. Через каких-то знакомых (возможно, встреченных на поминках по ушедшему контр-адмиралу) Степан Яковлевич оказался вовлечен в дела «Северного страхового общества», ведающего огневым и транспортным страхованием по всем губерниям Российской Империи, – и вскоре получил выгодную должность в Петербургском отделении.

Присутственное место новой службы находилось в Кокоревских складах на Лиговском проспекте близ Николаевской железнодорожной ветки. Осенью 1895 года Степан Яковлевич продал царскосельский особняк своему доброму знакомому, старшему лекарю Кирасирского полка В. А. Бритневу, и перевез семью в Петербург, в дом купца Шалина на углу Дегтярной и 3-й Рождественской улиц. Братьям Гумилевым предстояло осваивать теперь петербургские городские кварталы-муравейники, примыкающие к вокзальной Знаменской площади. Транспортное городское подбрюшье было, в отличие от загородного царскосельского рая, и чадным, и шумным, и людным, но на младшего брата пребывание среди петербургской человеческой суеты подействовало самым благотворным образом. К весне 1896 года он окончательно расстался и с мигренями, и с глухотой, и с «баснями». Правда, десятилетний отрок так и продолжал держаться вялым нелюдимом, неуклюжим, неряшливым и застенчивым, но это в глазах докторов не было препятствием к школьному образованию. Баграпий Газалов готовил воспитанника к вступительным экзаменам. В самый разгар их занятий из Москвы, где после завершения годичного траура начинались коронационные торжества, пришло грустное известие. Во время раздачи «царских гостинцев» (кружка с позолоченным вензелем, пряник, булка с колбасой да чарка вина) черный народ, загодя ринувшийся толпой на Ходынское поле, произвел кровавую давку у деревянных буфетов и павильонов. Задохнулась и покалечилась насмерть едва ли не тысяча человек. Называли, впрочем, и более устрашающие цифры, но и без преувеличений сплетников было ясно, что на коронации юного царя случилось некое зловещее предзнаменование и что на привычный будничный мир в новом царствовании подданным Российской Империи надеяться, вероятно, не стоит.

II

В гимназии Я. Г. Гуревича. Классный наставник Ф. Ф. Фидлер. Кончина А. И. Покровской. Поездка в Железноводск. Пушкинский юбилей. Гумилев и одноклассники. Круг чтения и ранние творческие опыты. Подростковый кризис. Отъезд из Петербурга. Путешествие по Волге и Кавказу.

Частную гимназию Якова Григорьевича Гуревича, занимавшую огромное Т-образное здание с внутренними дворами на перекрестке Лиговского проспекта и Бассейной улицы, в Петербурге насмешливо именовали *«гимназией для двоечников»*[24]. Столичные аристократы и знаменитости охотно сбывали сюда малолетних лоботрясов-наследников, уверенные, что в области просвещения и воспитания для редактора-издателя «Русской школы»[25] и его педагогов ничего невозможного нет (по слухам, у Гуревича притих, взявшись за ум, даже такой редкостный оболтус, как Феликс Юсупов, неудавшийся младший сын графа Сумарокова-Эльстона). Словесность тут преподавал литературный критик Евгений Гаршин (брат писателя), родную речь – университетский лингвист Сергей Булич, рисование и черчение – известный от Петербурга до Казани и Нежина скульптор-монументалист Пармен Забелло, немецкий язык – поэт и переводчик Федор Фидлер. Возможно, обилие громких имен и явилось для нечуждого тщеславия Степана Яковлевича Гумилева решающим импульсом, подвигшим остановить родительский выбор на «Лиговский гимназии».

Разумеется, «золотая молодежь» привносила в местную гимназическую среду своеобразные оттенки. Как раз в дни, когда Степан Яковлевич вел разведку, в очередной раз нашумели выпускники. Семиклассники Михайловский (сын *«того самого»* Михайловского[26]) и Гайдебуров (сын *«того самого»* Гайдебурова[27]) вместе со своим заводилой Сергеем Маковским (сыном *«того самого»* придворного художника[28]) устроили для однокашников литературно-мистическую вечеринку: оклеили квартиру Маковских черной бумагой вперемешку со страшными рисунками, добыли из биологического кабинета человеческий череп, зажгли церковные свечи, облачились в саваны и, завывая, читали мерзкие вирши под похоронные аккорды фортепиано и взвизги приглашенных курсисток (кто-то даже упал в обморок). Это было новомодное *«декадентство»* – умственная зараза, занесенная в Россию вместе с переводными томиками сумасшедшего немца *Нитче* и французского извращенца

Гюисманса, автора «À rebours»[29]. Но в младших группах, куда Степан Яковлевич прочил своих сыновей, судя по всему, царила полная благодать; отставной статский советник, вздохнув, начал составлять соответствующее прошение.

Десятилетний Гумилев выдержал экзамены и с осени 1896 года стал ежедневно посещать классы. Тоска охватывала его уже в Греческом садике, на Бассейной становилась невыносимой, а вид утреннего Лиговского проспекта, уходившего стрелой к Знаменской площади отзывался болезненной зевотой. Весь первый учебный год он одиноко маялся на «камчатке»[30], равнодушный как к одноклассникам, так и к педагогам. Энергичный немец Федор Федорович Фидлер, взявший под руководство младших учеников, приходил в отчаянье от косоглазого переростка – все хитроумные приступы вызвать его на беседу разбивались об угрюмое тупое молчание[31]. Впрочем, иногда на уроках истории и географии мизантроп вдруг, ни с того ни с сего, принимался блистать, и потому, по общему приговору, первоклассник Гумилев считался хитрецом и лентяем каких поискать.

Летом 1897 года после завершения учебного года Гумилевы, как обычно, отправились в Поповку. Братья освоили велосипед. Модная новинка – чудо европейской технической мысли, – приобретенная Степаном Яковлевичем, имела большой успех среди подобедовских дачников, и его сыновья, щедро ссужая своего железного коня напрокат, оказались в центре внимания всего дачного поселка. Дмитрий инструктировал новичков, а Николай следил за строгим исполнением прокатных сроков. От желающих не было отбоя, и на улице постоянно слышались его картавые звонкие команды:

– Петухов! Немедленно с'езайте! Петухов, дайте же п'окатиться д'угим! Петухов! Вы с'ышите меня?! Гово'ю Вам, как дво'янин дво'янину!!

В 1897 году Анну Ивановну настигла печальная весть из Курска – от черной оспы скоропостижно скончалась ее несчастливая сестра Агата Покровская, ненадолго пережившая безумного супруга. А сырым летом внезапно резко ухудшилось здоровье Степана Яковлевича, приступы ревматизма продолжались непрерывно, и врачи потребовали срочного лечения больного на Кавказских водах. По настоянию испуганной Анны Ивановны, главу семейства в Железноводск сопровождали все домашние. «… Я мальчиком попал на Кавказ, – рассказывал Гумилев. – И на Кавказе впервые влюбился, не во взрослую барышню, а в девочку. Я даже не помню, как ее звали, но у нее были голубые глаза и светлые волосы. Когда я, наконец,

осмелился сказать ей: «Я вас люблю!», она ответила: «Дурак!» – и показала мне язык». Других сведений о первом кавказском путешествии Гумилева история не сохранила.

К началу занятий в гимназии Гумилевы вернулись в Петербург на новую квартиру – в дворах проходного квартала с Невского проспекта на Гончарную улицу. Гумилев-второклассник вполне освоился с ролью вечного троечника. Между тем он был уже абонирован у букиниста и постоянно пополнял домашнюю библиотеку новыми книгами. Стартовал он, разумеется, с приключений, зачитывался Жюлем Верном, Фенимором Купером, Густавом Эмаром, но к концу учебного года, следуя тогдашней моде, переключился на сочинения Александра Пушкина. Во всей стране по инициативе великого князя Константина Константиновича (президента Академии Наук и популярного лирического поэта *«К. Р.»*) разворачивалась подготовка к празднованию грядущего столетнего юбилея поэта. В кинематографах демонстрировалась «фильма» о дуэли Пушкина, ставились «живые картины» на пушкинские сюжеты. Рестораны предлагали жаркое *à la Пушкин* и салат *«Евгений Онегин»*. В продаже появились конфеты *«Пушкин»*, табак *«Пушкин»*, спички *«Пушкин»* и даже мыло *«Пушкин»* с духами *«Bouquet Pouchkine»*. Живописцы писали «пушкинские» картины, композиторы – «пушкинские» песни, марши и вальсы. Свою лепту во всенародное торжество внес и тринадцатилетний Гумилев: среди одноклассников он организовал «пушкинский кружок», для вступления в который нужно было выучить наизусть какое-нибудь стихотворение классика. Начинание имело внезапный успех, и Гумилев, совсем свыкшийся с одиночеством, вдруг оказался окружен компанией приятелей-гимназистов. Тут был и будущий писатель-беллетрист Лев Леман, был потомок мелкопоместных польских дворян Леонид Чернецкий, докторский сын Дмитрий Френкель, сын польского нотариуса Владимир Ласточкин и Федор Стевен, чей отец работал в придворной канцелярии. Новые друзья приезжали с родителями летом 1898 года в Поповку – к радостному изумлению Степана Яковлевича и Анны Ивановны, уже свыкшихся с горестной мыслью, что их младшему сыну уготована в гимназии судьба анахорета. А Гумилев получил первый опыт литературной общественности. Под влиянием Пушкина он вновь начинает сочинять и записывать стихи. К концу года их набралась целая тетрадь, до нас не дошедшая. Является ли эта утрата несчастием или благом – судить сложно. Известно только, что там была большая поэма *«о превращениях Будды»*, навеянная чтением приключенческих книг об Индии.

За 1898/99 учебный год незаметный троечник преображается

в гимназическую достопримечательность. Гумилев и его новые друзья затевают рукописный журнал, в котором из номера в номер публикуются очерки о захватывающих полярных приключениях в духе «Капитана Гаттераса» Жюля Верна. Для пущей достоверности изложения Гумилев привлек в соавторы ледовой саги своего отца – все подробности морского дела, к удивлению читателей, излагались в рукописном журнале с тонким знанием деталей. Между угрюмым, вечно раздраженным Степаном Яковлевичем и младшим сыном выросла суровая мужская дружба. Новоявленный писатель-маринист стал частым гостем в отцовском кабинете, приносил на суд родителю некие географические «рефераты» и даже сопровождал его в театр и в Благородное собрание. Степан Яковлевич открыл сыну неограниченный кредит для книжных закупок. В домашнем обиходе третьеклассника в изобилии появляются тома из «Антологии русских переводов», которую издавал Н. В. Гербель: *«Неистовый Роланд»* Людовика Ариосто, *«Потерянный и возвращенный рай»* Джона Мильтона, *«Поэма о старом моряке»* Самюэля Колриджа. Уму непостижимо, как при таком насыщенном культурном досуге Гумилев умудрялся не обнаруживать признаков неординарной эрудиции перед учителями. Но факт остается фактом – выше удовлетворительной отметки на уроках он поднимался редко. Более того, как раз в это время гимназические достижения, и без того невеликие, быстро умаляются, приближаясь даже не к нулевым, а к отрицательным величинам. С начала четвертого класса у Гумилева пошли чередом крайне неприятные конфликты с наставниками и гимназическими надзирателями. Вызывались родители, нарушитель порядка получал очередной нагоняй, но прогулы и невыполнение учебных заданий не прекращались. Вялый чудак вдруг стал неуправляемым проказником и грубияном. В немалой степени метаморфозе способствовало восторженное чтение романа Оскара Уайльда *«Портрет Дориана Грея»* (из той же «Антологии переводов»), после чего меланхоличный поклонник Пушкина решил взять на вооружение рекомендации демонического лорда Генри.

– Я стал придавать огромное значение внешности и считал себя очень некрасивым, – вспоминал Гумилев. – И мучился этим. Я действительно, должно быть, был тогда некрасив – слишком худ и неуклюж. Черты моего лица еще не одухотворились – ведь они с годами приобретают выразительность и гармонию. К тому же, как часто у мальчишек, ужасный цвет кожи, прыщи. И губы очень бледные. Я по вечерам запирал дверь и, стоя перед зеркалом, гипнотизировал себя, чтобы стать красавцем. Я твердо

верил, что могу силой воли переделать свою внешность. Мне казалось, что с каждым днем становлюсь немного красивее. Я удивлялся, что другие не замечают, не видят, как я хорошею. А они действительно не замечали.

У Гумилева начинался «трудный возраст», и среди гимназистов младших классов тринадцатилетний подросток чувствовал себя явной «белой вороной» (вот когда сказалось опоздание с поступлением в школу!). Первое полугодие четвертого класса Гумилев завершает с двойками по греческому, латинскому, французскому и немецкому языкам. А в следующем полугодии отчаявшийся Степан Яковлевич обратился в гимназию с просьбой освободить сына *«по малоуспешности»* во французском языке *«совсем от уроков оного»*. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но весной 1900 года семья пережила куда более серьезное потрясение: у Дмитрия Гумилева был обнаружен развивающийся процесс в легких. Степан Яковлевич, уже переживший в молодости одну чахоточную смерть, на этот раз среагировал моментально. Дети с матерью тут же были отправлены из коварной сырости весеннего Петербурга на кумыс, в местечко Подстепановка близ Самары, а отец семейства убыл в Тифлис, принимать дела в закавказском отделении «Северного страхового общества» и искать новое жилье. Дача в Поповке и обстановка петербургской квартиры выставлялись на продажу, сама квартира срочно пересдавалась. Отъезд был настолько поспешным, что завершение второго полугодия в гимназии Гуревича прошло уже без братьев Гумилевых. Для младшего из братьев, впрочем, это было несущественно: все равно он по неуспеваемости оставался в четвертом классе на второй год.

11 августа 1900 г. Анна Ивановна с сыновьями покинули Подстепановку и отправились в Тифлис: пароходом по Волге – до Астрахани, по Каспийскому морю – до Баку, а далее, поездом, – до грузинской столицы. На Гумилева виды Большого Кавказа произвели огромное впечатление, гораздо большее, чем тремя годами ранее – предгорья Железноводска. Только попав в Тифлис, он, по собственному признанию, «впервые почувствовал себя поэтом». Все предшествующие царскосельские и петербургские литературные опыты не имели для него решающего значения и, думая о своем будущем, Гумилев-подросток, разумеется, «о стихах не помышлял». «Зато с какой невероятной силой обрушились они на меня и завладели мной в четырнадцать лет, – вспоминал Гумилев. – Мы переселились в Тифлис. И там, когда я проезжал впервые по Военно-Грузинской дороге, это и началось. Кавказ просто ошеломил меня. На меня вдруг нахлынули стихи Пушкина и Лермонтова о Кавказе. Я их знал и любил уже прежде.

Но только здесь я почувствовал их магию. Я стал бредить ими, и с утра до вечера и с вечера до утра твердил их».

III

Тифлис. Михайловская гимназия. Кираселидзе, Питоевы, Марксы. Головинская гимназия. Братья Легран. Тифлисские стихи. Первое лето в Березках: история мистическая. Второе лето в Березках: история политическая. Литературный дебют. Гимназистка Воробьева. Последние месяцы в Грузии.

Степан Яковлевич встретил семейство на Тифлисском вокзале. Квартира была уже снята – в центре города, в доме нефтепромышленника Мирзоева на углу Сергиевской и Сололакской улиц. Район Сололаки к западу от Старого Города, где располагался дом Мирзоева, со второй половины XIX века считался одним из самых престижных и «европейских» в Тифлисе. Тут селились богачи: «нефтяные короли» Манташевы, Арутюнянцы и многие другие, подобные им, хозяева жизни. Тут же, в Сололаки, находился и дом Исайи Егоровича Питоева, оставшегося в истории не нефтяным и рыбным магнатом, а создателем городского театра.

Квартира еще ремонтировалась и обставлялась, так что последние летние недели Гумилевым пришлось провести в гостинице. За это время во Вторую Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Николаевича Тифлисскую гимназию были поданы документы обоих братьев: Дмитрий был зачислен в шестой, а Николай как второгодник, не прошедший переэкзаменовку по месту прежней учебы, – в четвертый класс. Михайловская гимназия считалась в городе «новой» и вольнодумной[32], но, устраивая сюда сыновей, Степан Яковлевич, по всей вероятности, еще не знал этих тифлисских тонкостей.

О трех месяцах занятий Гумилева во 2-й Тифлисской гимназии известно только то, что его одноклассниками оказались братья Иван и Давид Кираселидзе, с которыми юный поэт быстро подружился. Дед и бабушка новых друзей Гумилева в середине XIX века вместе с драматургом Эристави и супругами Станиславом и Вассой Маркс возрождали в Грузии традиции профессиональных театральных представлений[33]. Дружба с семьей Кираселидзе связала четырнадцатилетнего Гумилева с артистическими кланами Тифлиса – семьями Михаила Станиславовича Маркса и его сестры Ольги Станиславовны Питоевой, жены грузинского мецената.

Тесное общение младшего сына с тифлисской творческой элитой казалось отцу подозрительным – среди грузинской

интеллигенции преобладали бунтарские настроения. Не нравился благонамеренному Степану Яковлевичу и весь «дух» 2-й гимназии. В январе 1901 года он переводит сыновей в Первую гимназию – старейшее учебное заведение Тифлиса (и Грузии), основанное в 1804 году как «Благородное училище для обучения российскому и грузинским языкам». В 1831 году училище получило гимназический статус и переехало в великолепное здание на Головинском проспекте – в самом центре города, напротив Военного собора на Царской площади. В отличие от Михайловской, в Головинской гимназии строго следовали принципам классического образования, которые были заложены в 1871 году обер-прокурором Д. И. Толстым в ходе борьбы с нигилизмом и крамолой в просвещении. Директор 1-й гимназии, этнограф и историк литературы Алексей Владимирович Марков стремился привить вверенным ему гимназистам собранность, дисциплинированность и деловитость, а от наставников требовал неукоснительного исполнения требований учебных программ и административных предписаний. Нельзя сказать, что переход в «строгую» гимназию не пошел на пользу Гумилеву. Уже к концу второго полугодия он подтянулся по всем предметам и вновь оказался в привычной роли благополучного троечника. Однако *свободолюбие* уже не оставляло его. Он воспламеняется поэзией Некрасова, стихи которого, по собственному признанию, в детские годы «не знал почти, а что знал, то презирал из-за эстетизма». «Некрасов, – писал Гумилев, – пробудил во мне мысль о возможности активного отношения личности к обществу. Пробудил интерес к революции». Никакого сочувствия у отца и домашних *«интерес к революции»*, разумеется, не вызывал, и четырнадцатилетний Гумилев отводил душу в стихотворчестве, пытаясь подражать гражданскому негодованию некрасовского лирического героя:

Я всю жизнь отдаю для великой борьбы,
Для борьбы против мрака, насилья и тьмы.
Но увы! Окружают меня лишь рабы,
Недоступные светлым идеям умы.

Ни глубокого дыханья, ни власти над выбранным образом, которые пленяли Гумилева в некрасовских стихах, в его собственных гражданских виршах, разумеется, не было. Однако идейная тенденция, перепугавшая Степана Яковлевича, присутствовала налицо. Надо полагать, что возможность развития в младшем сыне подобного умонастроения озаботила отца не меньше, чем возможность развития туберкулезного процесса у

сына старшего. Но, передавая мятежного Николая от фрондеров Михайловский гимназии в охранительную тишину Головинской, Степан Яковлевич позабыл про народную мудрость, точно указывающую, в каком именно омуте водятся черти.

В новой гимназии ближайшими друзьями Гумилева становятся братья Георгий и Борис Легран. Последний, несмотря на юный возраст (он учился вместе с Дмитрием Гумилевым в шестом классе), являлся членом подпольной городской организации Российской социал-демократической рабочей партии. Только что созданная РСДРП еще не поделилась на «большевиков» и «меньшевиков», а Борис Легран был уже завершенным большевиком-террористом и по складу характера, и по образу мыслей[34]. Он вел в гимназии осторожную и умелую агитацию, передавал брату Георгию нелегальную марксистскую литературу, которую тот распространял среди одноклассников – Борцова, Крамелошвили, Глубоковского. Эта группа «конспираторов» и стала ближайшим школьным окружением Гумилева в годы его пребывания в Тифлисе.

Стоило ли Степану Яковлевичу так стараться изолировать сына от наивных и прямодушных романтиков Кираселидзе![35] Впрочем, и с ними, как и с прочими тифлисскими театралами, Гумилев общаться не перестал. Он подружился с сыном директора Тифлисской оперы Жоржем Питоевым (племянником мецената), а к дочери актера Маркса питал безответную привязанность:

Я песни слагаю во славу твою
Затем, что тебя я безумно люблю,
Затем, что меня ты не любишь.
Я вечно страдаю и вечно грущу,
Но, друг мой прекрасный, тебя я прощу
За то, что меня ты погубишь.

Благодаря Марии Михайловне Маркс, которая полвека хранила рукописный сборник стихов, составленный для нее влюбленным поэтом-гимназистом, можно сейчас судить о творчестве «допечатного» Гумилева[36]. По его полудетским опытам, подражательным, как и у большинства начинающих поэтов, ясно, что в тифлисские годы он зачитывался не только некрасовской гражданской лирикой, но и лирикой *декадентов* – Дмитрия Мережковского и Константина Бальмонта, новаторские интонации которых старался усвоить:

Вечно жить среди мучений, среди тягостных сомнений —

Это сильных идеал…

Бунтарство эстетическое казалось ему неотделимым от бунтарства общественно-революционного. Это первое впечатление сохранится в Гумилеве на всю жизнь.

Вынужденно поменяв место жительства, Степан Яковлевич Гумилев стремился обеспечить для семьи тот же привычный по Царскому Селу и Петербургу уклад жизни. В первой половине 1901 года он приобрел на имя жены небольшое (60 десятин) именье Березки в Затишьевской волости Рязанской губернии – для традиционного дачного семейного отдыха. Именье находилось на реке Рака (приток Оки), в десяти верстах от железнодорожной станции Вышгород. Неподалеку лежало село Коротково, а к самой усадьбе подходила великолепная березовая роща, давшая название всей местности[37]. В конце мая, после того как оба сына благополучно перевелись в следующие классы, вся семья отправилась на новую дачу. По воспоминаниям родных, Гумилев тогда очень увлекся мистической литературой, «стал глубоко вдумываться в жизнь, его поразили слова в Евангелии: «вы боги»[38], и он решил самосовершенствоваться. Живя в Березках, он стал вести себя совершенно непонятно: пропадал по суткам, потом оказывалось, что он вырыл себе пещеру на берегу реки и проводил там время в посте и раздумье… Разочаровавшись в одном, он тотчас же хватался за другое, занимался астрономией, для чего проводил ночи на крыше, делал какие-то таинственные вычисления и опыты, не посвящая никого в свои занятия». Мать поэта впоследствии считала, что такой была реакция пятнадцатилетнего Гумилева на знакомство с какими-то книгами поэта и философа Владимира Сергеевича Соловьева. Возможно, это были знаменитые «Три разговора», содержащие в виде приложения «Краткую повесть об антихристе», и Гумилев пытался точно вычислить дату конца света и во всеоружии встретить грядущие испытания:

На крутых песчаных косогорах,
У лесных бездонных очастей[39]
Вечно норы он копал, и в норах
Поджидал неведомых гостей.

В сентябре, вернувшись в Тифлис, Гумилев приступил к занятиям в пятом классе гимназии. В этот учебный год обозначились два предмета, которые вызывали особые затруднения уже не из-за обычного его школьного лентяйства, а в

силу невосприимчивости к этим сферам знания – математика и древние языки (по греческому он в итоге получил переэкзаменовку на осень и едва перешел в следующий VI класс). Но, как на грех, школьная учеба теперь окончательно перестала интересовать Гумилева. Да и мистика тоже была отставлена. На осенне-зимний сезон 1901–1902 гг. приходится пик его увлечения социал-демократическими идеями и вдумчивое знакомство с трудами однофамильца дамы сердца – Карла Маркса. Дружба с кружком братьев Легранов в эти месяцы окрепла окончательно:

> C'est la lutte finale:
> Groupons-nous, et demain
> L'Internationale
> Sera le genre humain[40].

Летом 1902 г. Георгий Легран гостил у друга в рязанском имении. Весь июнь братья Гумилевы вместе с ним и с молодым владельцем местной мельницы Сергеем Кураповым гоняли по окрестностям на велосипедах, ходили на охоту и затевали всевозможные дачные игры. Затем Легран уехал, а Курапов… донес рязанскому исправнику Вострухину, что в Березках собираются эмиссары революционного подполья. Он сообщал, что сын хозяев имения Николай Гумилев «принадлежит к тайному противоправительственному обществу, имеющему цель возмущения простого народа против помещиков и зажиточных людей для отнятия от последних земли и имущества в пользу простого народа». Согласно показаниям Курапова, Гумилев рассказывал, что членами «общества» являются уже более 500 человек, «все действия и распоряжения общества ведутся успешно без всякой переписки и что по заполнении общества достаточным числом членов оно откроет более активные действия и произведет открытый бунт черни». Более того, из этой беседы выходило, что Гумилев непосредственно приступил к созданию местной боевой ячейки из работников кураповской мельницы и уже нашел две подходящие кандидатуры. Гумилев, по словам Курапова, производил впечатление умного человека, правда, немного странноватого, так как и его, хозяина мельницы (!), тоже пытался завербовать в свое общество.

15 июля 1902 года Вострухин передал полученные материалы рязанскому губернатору, присовокупив от себя, что старший из братьев Гумилевых, Дмитрий, знает о подпольной деятельности Николая, но «не сочувствует» ему, а хозяин Березок не только не осведомлен о происходящем, но если проведает, то «сживет со света» сына и его сообщников. Что же касается самого

подозреваемого Гумилева, то, по мнению Вострухина, он представляет собой «тип юного теоретика, который является самым подходящим орудием в руках политических злоумышленников, тем легкомысленным агентом, при посредстве которого действуют социал-революционеры».

Известно, что за Березками, по распоряжению губернатора, было установлено секретное наблюдение, однако конец детективной истории теряется во мраке. Понятно одно: Степану Яковлевичу каким-то образом удалось совершенно замять политическое дело, уже готовое вот-вот обрушиться на обоих сыновей. Никаких репрессий и даже – никаких административных взысканий в отношении Николая и его невольного соучастника Дмитрия не применялось. Правда, главный виновник всего переполоха был поспешно отправлен на август из Березок в Тифлис – готовиться к переэкзаменовке по греческому.

Ничего определенного нельзя сказать и о дальнейшем участии Гумилева-гимназиста в деятельности «противоправительственного общества». Вероятно, тогда же, в августе 1902 года, он, под впечатлением происшедших семейных потрясений, навсегда дезертировал из подпольного марксистского движения:

Я грешник страшный, я злодей:
Мне Бог бороться силы дал,
Любил я правду и людей,
Но растоптал я идеал…

Я мог бороться, но, как раб,
Позорно струсив, отступил
И, говоря: «Увы, я слаб!» —
Свои стремленья задавил…

По странному стечению обстоятельств, этот стихотворный манифест об общественно-политической капитуляции стал через несколько недель, 8 сентября 1902 года, поэтическим дебютом Гумилева в печати. «Однажды Коля, – гласит семейное предание, – поздно пришел к обеду, отец, увидя его торжествующее лицо, спросил, что с ним? Коля весело подал отцу «Тифлисский листок», где было напечатано его стихотворение – «Я в лес бежал из городов». Коля был горд, что попал в печать. Тогда ему было шестнадцать лет»[41].

К концу 1902 года врачи, наблюдавшие Дмитрия Гумилева, заключили, что он совершенно здоров и никакой угрозы чахотки больше не существует. А здоровье Степана Яковлевича Гумилева в

это время, наоборот, пошатнулось настолько, что стала ясна необходимость завершения службы в «Северном страховом обществе» в самое ближайшее время. В совокупности два этих обстоятельства заставили главу семейства задуматься над возвращением на север, в милое его сердцу Царское Село. Это давало возможность выросшим сыновьям продолжить образование в столичных высших учебных заведениях, а ему самому – вновь, уже окончательно, – обрести достойный звания и возраста старческий покой. В январе 1903 года переезд был окончательно решен.

О последних месяцах, проведенных Гумилевым в Грузии, известно лишь из несколько разрозненных биографических эпизодов. По успеваемости его шестой класс в Головинской гимназии ничем не отличался от двух предыдущих. Несколько раз за осенне-зимний сезон 1902–1903 года он посещал домашние танцевальные вечера и влюбился в гимназистку Воробьеву. Та отвечала взаимностью. Подробностей счастливого романа и даже имени героини мы не знаем, как не знаем, связана ли со встречами с Воробьевой туманная история с взысканием, вынесенным Гумилеву его гимназическим начальством за появление 9 мая 1903 г. в городском театре «без разрешения и в блузе». В Тифлисе он задержался дольше всех из семьи. Степан Яковлевич устраивал дела в Царском Селе, Анна Ивановна и Дмитрий, сдав квартиру на Сергиевской, уехали в Березки, а Гумилев вплоть до конца мая 1903 года домучивал годовые экзамены. Жил он в последние тифлисские недели в семье Борцова, одного из своих гимназических «марксистских конфидентов», и брал у репетитора уроки математики, которую никак не мог сдать. Наконец, в 20-х числах он дожал и математику, был переведен в предпоследний VII класс, получил в Головинской гимназии отпускной билет для следования в Рязанскую губернию и покинул Тифлис навсегда.

IV

Третье лето в Березках. Тютчев и Гамсун. Переписка с Воробьевой. Злоключения Александры Сверчковой и ее воссоединение с семьей отца. Переезд в Царское Село. Николаевская гимназия и И. Ф. Анненский. Смерть Воробьевой. Ницшеанство. Влюбленный Дмитрий Гумилев. Валерия Тюльпанова. Знакомство с Анной Горенко.

Новое лето в Березках разительно отличалось от бурного летнего сезона прошлого года. Семнадцатилетний Гумилев вел жизнь исключительно созерцательную, одиноко бродил по рязанским проселкам и размышлял:

Сплеталися травы
И медленно пели и млели цветы,
Дыханьем отравы
Зеленой, осенней светло залиты.

В новых стихах после «побега» от общественности и политики чувствовалось сильное влияние лирики Тютчева, который одухотворял природу и любовался игрой ее стихийных сил. Сборник тютчевских стихотворений неизменно сопровождал мечтателя в летних прогулках. Это засвидетельствовал В. В. Тютчев, один из потомков Федора Ивановича: «… В дни моей собственной юности я как-то встретил вечно бродившего по полям, лугам и рощам нашего соседа по имению, будущего поэта Николая Гумилева. В руках у него, как всегда, был томик Тютчева. «Коля, чего Вы таскаете эту книгу? Ведь Вы и так знаете ее наизусть?». «Милый друг, – растягивая слова, ответил он, – а если я вдруг забуду и не дай бог искажу *его* слова, это же будет святотатство».

Помимо Тютчева Гумилев в летний сезон 1903 года штудировал только что вышедший в русском переводе роман норвежского писателя Кнута Гамсуна «Пан». История сумасбродного лейтенанта Томаса Глана, общавшегося со зверями, деревьями и лесными ду́хами, поразила русскую молодежь начала XX века. Гумилев не был исключением. К тому же, как и лейтенант Глан, он переживал в эти деревенские месяцы упоительный любовный роман в мечтаниях и грезах. В Тифлис к Воробьевой летели страстные послания, ответные письма не заставляли себя ждать, и вскоре, в сентябре, влюбленные должны

были встретиться вновь – уже в Петербурге, куда Воробьев-отец переносил адвокатскую практику.

В конце августа Анна Ивановна с сыновьями отправились из Березок в Царское Село обживать новый, только что снятый Степаном Яковлевичем дом. Вместе с ними поехала и облаченная в глубокий траур Александра Сверчкова, которая в это лето также жила на рязанской даче со своим потомством – девятилетним Николаем (*«Колей-Маленьким»*, как его тут же прозвали в семье) и семилетней Марусей. За десять лет, прошедшие со времени замужества, в жизни Александры Степановны случилось много печальных событий. Ее избранник, черноокий поручик Сверчков, оказался редким неудачником. Пограничная карьера у него не задалась, он вышел в отставку, поменял, одно за другим, несколько мест на гражданской службе в Петербурге и Москве, но так ничего и не добился, пока, по выражению Александры Степановны, «смерть не положила конец его непоседливой жизни». Молодая вдова осталась без всяких средств и вернулась за поддержкой в родительский дом. Степан Яковлевич был согласен передать дочери сохраненную от *вертопраха* часть приданого, но только при условии, что *внуки будут при нем*. Умудренная горьким опытом непослушания, притихшая *Шурочка* была согласна. В Царском Селе она собиралась учительствовать и, действительно, сразу по приезде получила место в частной школе, недавно открытой Еленой Левицкой, энтузиасткой английской системы совместного обучения детей.

Гумилевы и Сверчковы поселились в доме Полубояринова на перекрестке Оранжерейной и Средней улиц, в двух шагах от Екатерининского парка. В городе помнили заслуженного морского врача, отставного статского советника и балтийского ветерана. Старые царскосельские друзья Степана Яковлевича – военный врач Бритнев (так и живущий в бывшем гумилевском особняке на Московской) и «придворный адмирал», заведующий Петергофской военной гаванью Евгений Иванович Аренс[42] – со своими многочисленными семействами нанесли приветственные визиты. Директор Николаевской гимназии Иннокентий Федорович Анненский оказался самой любезностью. В отсутствие вакансий для экстернов «мальчики Гумилевы» были зачислены интернами… с разрешением жить на дому. Николай попал в VII, а Дмитрий – в выпускной VIII классы.

Для читателей XXI века Иннокентий Анненский предстает прежде всего великим лириком, замыкающим вслед за Фетом и Тютчевым «большую тройку» классической русской философской поэзии:

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя…[43]

Но среди современников Анненский-поэт, автор «Тихих песен» и стихотворных пьес, был известен лишь узкому кругу знатоков-эстетов. Для всех прочих он представлялся маститым ученым-филологом, и вместе с тем – решительным и хитроумным чиновным карьеристом с большими связями в Министерстве народного просвещения. Анненский действительно являл собою редчайший образец органического сочетания творческого, педагогического и административного дарований. Без малейшего видимого усилия, словно шутя, он отбирал в штат и расставлял на места способных людей, вел свою линию в министерстве и излагал в классных залах премудрости латинской грамматики. Величественный на парадных приемах, Анненский никогда не делал замечаний ни подчиненным, ни ученикам, ни от кого не требовал отчетов и в стенах вверенного ему учебного заведения пребывал обыкновенно в некой тихой прострации. Однако дела Николаевской гимназии с момента появления Анненского в директорском кабинете вдруг сами собой уверенно пошли в гору, министерство и двор были неизменно благосклонны к желаниям и просьбам учителей, а неприкаянные гимназисты почему-то успевали по всем предметам. На Николаевскую гимназию и ее директора на рубеже XIX–XX веков современники смотрели во все глаза – кто с изумлением, кто с раздражением, кто с восторгом. Со времен «пушкинского» Царскосельского Лицея при директорстве Егора Энгельгардта ничего подобного в истории отечественного образования не было. И, конечно, особым промыслом судьбы стало то, что Гумилев, мелькнув первый раз в Николаевской гимназии еще семилетним, вновь возвращался сюда.

Но это ясно сейчас. А в сентябре 1903-го и педагоги, и одноклассники весьма сдержанно приветствовали возникшего среди них великовозрастного генеральского сынка, троечника и лентяя. Тот даже в гимназическом мундире смахивал на какого-то венского героя-любовника из оперетт Штрауса, только что без монокля – набриолиненные волосы на прямой пробор, аккуратные усики, накрахмаленные воротнички, белоснежные манжеты. Держался прямо, вышагивал неспешно, смотрел свысока, ни с кем не знался. Сидел себе за учебной партой и молчал, уставившись косыми глазами в какое-то далекое пространство. Важничал.

А Гумилев, вероятно, даже не замечал своей новой гимназии,

не видел новых лиц и не слышал речи педагогов. Внезапное несчастье обрушилось на него. Долгожданная Воробьева, едва приехав в сентябре с семьей из Тифлиса в Петербург, слегла в тифозной горячке и в несколько дней сгорела:

Мне снилось: мы умерли оба,
Лежим с успокоенным взглядом,
Два белые, белые гроба
Поставлены рядом.

В печальные осенние дни 1903 года единственным утешением для Гумилева стала книга Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра». Слепые силы, учил мудрец, чередуют рождение и смерть бесчисленных живых существ в едином стихийном жизненном потоке, повторяя это на земле вечно, бессчетное количество раз. Только слабые духом пытаются уловить здесь добрый или злой смысл – сильные принимают мироздание таким, каким оно существует, и наслаждаются его несправедливой и безжалостной мощью. Не «доброе» или «злое», а одно лишь *«красивое»* ищут они в мире:

Горе, не знающим света!
Горе, обнявшим печаль!

Руководствуясь указаниями Заратустры, Гумилев пытался подавить в себе «человеческое, слишком человеческое» и героическим напряжением воли переплавить боль от утраты в трагическую красоту творческого порыва. В новых стихах замелькали любимые *ницшеанцами* «высоты», «бездны» и «глубины»:

Я шел один в ночи беззвездной
В горах с уступа на уступ
И увидал над мрачной бездной,
Как мрамор белый, женский труп…

Дмитрий Гумилев, оказавшись в Царском Селе, тоже стал героем любовной истории, однако, в отличие от младшего брата, ничего «сверхчеловеческого» на его долю, к счастью, не выпадало. Предметом его сердечных забот была ученица 6-го класса царскосельской женской Мариинской гимназии Валерия Тюльпанова, с которой Дмитрий, бравший, по настоянию матери,

уроки фортепиано, встретился у своей новой учительницы музыки. Тюльпанова была дочкой петербургского чиновника, снимавшего, как водится, жилье в вокзальном квартале Царского Села, в Безымянном переулке. Родители Дмитрия Гумилева поощряли эту привязанность сына. Симпатичная белокурая Тюльпанова была обходительна, добропорядочна, уверенно проходила гимназический курс и считалась в Царском Селе неплохой партией в недалеком будущем. Пожалуй, единственным ее недостатком в глазах той основательной и домовитой части царскоселов, к которой принадлежали и Степан Яковлевич с Анной Ивановной, была тесная дружба Тюльпановой с Анной Горенко, соседкой по дому в Безымянном переулке.

Семья Горенко обосновалась в Царском Селе еще в 1892 г., но с Гумилевыми, разумеется, никогда дружбы не водила. Отец семейства, отставной черноморский капитан 2-го ранга, служил тогда в Государственном контроле, пропадал на службе в столице и в царскосельском обществе почти не бывал. Супруга его именовалась *Инной Эразмовной* и слыла особой очень странной, совсем под стать своему диковинному имени. Целиком поглощенная домашними заботами, она совершенно не следила за собой, одевалась как придется, не интересовалась ни знакомствами, ни городской жизнью, однако хозяйство, по слухам, вела из рук вон плохо (насмешливые соседки прозвали ее Инной *Несуразмовной*). В семействе Горенко постоянно происходили какие-то драмы, супруги несколько раз пытались разъезжаться, отправляли из города малолетних детей к родственникам. Понятно, что добродетельные царскоселы сомнительную чету старались не замечать – казалось, среди здешних обитателей это были люди случайные. Тем не менее, вопреки злым языкам, Горенко в конце концов укоренились в Царском Селе, а отставной кавранг Андрей Антонович к моменту возвращения сюда Гумилевых даже попал в придворный фавор – великий князь Александр Михайлович взял его заместителем в только что созданное Главное управление торгового мореплаванья[44]. Впрочем, неприязнь царскоселов к скандальному семейству оставалась неизменной. Шептались, что великокняжеский выдвиженец семью давно забросил и чуть ли не открыто живет в Петербурге с какой-то именитой вдовой, что *«Несуразмовна»* так и осталась *«Несуразмовной»*, хоть и при муже на генеральской должности, что одна из их дочерей, подброшенная далекой родне, умерла малолетней, а прочие дети выросли без всякого светского воспитания, совершенными дичками. Некоторую поблажку городская молва делала лишь для старшей Инны Горенко, ходившей в лучших ученицах в

Мариинской женской гимназии. Зато ее сестра Анна считалась в той же гимназии enfant terrible[45] и была пугалом для всех чадолюбивых родителей Царского Села.

Домашние знали, что все несчастья их Анны начались с таинственной детской болезни, которая в 1900 году несколько месяцев держала ее между жизнью и смертью. Как ни странно, но последствия этой «внутренней оспы» (такой диагноз был поставлен недоумевающими медиками) точь-в-точь повторяли последствия «острого бронхита» Гумилева – и глухота, и неуемное желание писать стихотворные «басни». Правда, мучительных мигреней не было – зато возник лунатизм. Каждое полнолуние бледная, сонная девочка, не чувствуя ничего вокруг, устремлялась с постели навстречу сияющему ночному светилу. Многие стали считать ее помешанной. Она, зная о недоброй славе, постоянно дерзила и сверстникам, и старшим. Отец попытался сдать ее в петербургский Смольный институт, славящийся строгостями по отношению к строптивым воспитанницам. Но там после первой ночной прогулки новой пансионерки с распущенными волосами и мертвенным ликом по бесконечным институтским сводчатым коридорам поспешили возвратить Анну Горенко в родительские руки – с сумасшедшими в Смольном старались дела не иметь. После этого царскоселы стали сторониться ее еще больше, хотя лунатизм (как и мигрень у Гумилева) исчез с наступлением отрочества. В Мариинской гимназии ее еле терпели, несмотря на то, что она, повзрослев, подражала манерам благовоспитанной барышни: складывала по форме руки, делала реверансы, учтиво и коротко отвечала по-французски на вопросы дам и говела на Страстной в гимназической церкви. Унаследовав от *«Несуразмовны»* полное бесчувствие к одежде и украшениям, неряшливая, угловатая Анна Горенко, как нарочно, вытянувшись, приобрела к пятнадцати годам царственную осанку – все вместе делало фигуру и смешной, и юродивой. Училась она скверно. Как вышло, что примерная отличница Тюльпанова стала ее закадычной подругой – никто не понимал, а между тем они были неразлучны. Вот и Дмитрий Гумилев, представляя брату новую симпатичную знакомую, вынужден был представить и Горенко, обретавшуюся рядом хмурой дуэньей.

Был рождественский сочельник, вся компания отправлялась в Гостиный двор за елочной мишурой; затем воспитанные «мальчики Гумилевы» вызвались доставить коробки гимназисткам домой. Дмитрий впереди хохотал, перебрасываясь какими-то шутками с Тюльпановой и ее младшим братом, Николай с большой картонкой под мышкой невозмутимо

вышагивал рядом с Горенко. Рождество этого года выдалось для него совсем грустным, и он сразу позабыл любезные проводы, несмотря на то, что вслед за первой звездой, появившейся над Царским Селом, все храмы славили чудеса, таинственно совершавшиеся вокруг:

Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит. Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют…

V

Начало русско-японской войны. Первые месяцы в Николаевской гимназии. Марианна Полякова. На катке с Анной Горенко. Пасхальный бал. Неприступные гимназистки. Проваленная переэкзаменовка. Выпускной бал в Городовой Ратуше. Пятнадцатилетие Анны Горенко. Журнал «Весы» и увлечение символизмом. Литературные собрания у Штейнов, Анненских и Коковцевых. Падение Порт-Артура. Рождественская годовщина.

24 января (6 февраля) 1904 года далекая страна Нихон (Родина Солнца), именуемая на европейском Западе *Японией*, внезапно открыла боевые действия против военных сил Российской Империи, сосредоточенных в дальневосточной Маньчжурии и на Корейском полуострове. «Мы изъявили согласие на предложенный Японским Правительством пересмотр существовавших между обеими Империями соглашений в Корейских делах, – обличал вероломство вышедший тремя днями позже царский манифест. – Возбужденные по сему предмету переговоры не были, однако, приведены к окончанию, и Япония, не выждав даже получения последних ответных предложений Правительства Нашего, известила о прекращении переговоров и разрыве дипломатических сношений с Россиею. Не предуведомив о том, что перерыв таковых сношений знаменует собою открытие военных действий, Японское Правительство отдало приказ своим миноносцам внезапно атаковать Нашу эскадру, стоявшую на внешнем рейде крепости Порт-Артура. По получении о сем донесения Наместника Нашего на Дальнем Востоке, Мы тотчас же повелели вооруженною силою ответить на вызов Японии».

Несмотря на то что и об Японии, и об упомянутых в манифесте «корейских делах»[46] подавляющее большинство россиян имели представление самое смутное, всех возмутило коварное и предательское нападение из-за угла, в нарушение всех правил войны. Газеты и журналы принялись наперебой объяснять, что диким желтолицым карликам цивилизация неведома, что воюют они голыми, в древних лакированных шлемах, вроде воронки, иногда – с пустым ружейным чехлом за плечами, но обязательно с тесаком в руках, ибо главной военной добычей считают человеческие уши. Писали также, что варвары молятся восьми миллионам морских, небесных и сухопутных демонов, главным же божеством почитают хитрую и изворотливую лисицу, поскольку, в противовес русским, живущим по Правде, служат Кривде. Более осведомленные издания осторожно намекали на

известный технический и военный прогресс, достигнутый Империей Восходящего Солнца в последние десятилетия, подчеркивая, впрочем, что народ на загадочных островах подобрался в целом умственно и физически слабый, похожий на лесных мартышек – без личной инициативы, хотя и с большой способностью к подражанию. «Все эти реформы, – заключали военные эксперты, – легли на японскую армию лишь сверху, и при первой боевой встряске все наносное и привитое должно слететь с армии, и тогда выступят коренные свойства народа».

В храмах по всей стране шли молебны о даровании победы над новым врагом, с амвонов звучали проповеди о «желтой опасности» Западу, о столкновении христианства и язычества:

– Как и Русь во времена монголо-татар, Россия вновь вынуждена теперь вести в одиночку борьбу не только за себя, но и за всю Европу!

Подданные великой Российской Империи, не знавшей поражений уже полстолетия, оживились, предвкушая грядущие военные триумфы. В театрах невозможно было начать спектакли – зрители вновь и вновь требовали исполнения гимна:

– Боже, Царя храни!..

В Петербург сплошным потоком шли верноподданнические адреса, бодро собирались пожертвования на нужды армии и флота, объявленная мобилизация вызвала большой энтузиазм у молодежи – на «ура» шла запись добровольцев в народные дружины. Оба брата Гумилевы, разумеется, немедленно изъявили желание сразиться на дальневосточных рубежах с коварными врагами Отечества, но Степан Яковлевич решительно воспротивился их порыву. Исход далекой войны казался старому, видавшему виды моряку предрешенным и без помощи царскосельских гимназистов. Сам командующий Маньчжурской армией генерал Куропаткин, боевой товарищ и ученик незабвенного покорителя азиатов Михаила Дмитриевича Скобелева, заверял возбужденных соотечественников:

– Можете спать спокойно. Ныне можно не тревожиться, если даже бóльшая часть японской армии обрушится на Порт-Артур. Мы имеем силы и средства отстоять Порт-Артур, борясь один против 5–10 врагов!

И, действительно, уже первые известия о событиях в Корее явили свидетельство несокрушимого боевого духа русских воинов на Дальнем Востоке. Быстроходный крейсер «Варяг», находившийся стационером при посольстве в Сеуле, принял в одиночку бой с целой японской эскадрой, так и не посмевшей войти в гавань Чемульпо до того, как героическая команда крейсера сама не затопила израненный корабль. Правда, Порт-

Артур все-таки оказался в осаде – через неделю с малым после начала конфликта. Но такая невероятная оперативность «желтолицых чертей» была не иначе как результатом коварной внезапности их морского нападения. Со дня на день ожидали начала больших сражений в Маньчжурии, которые, без сомнения, быстро расставят все по местам:

> А это – тебе, Японец, игрушка —
> Наша Российская пушка!..
> Ну, скорей что ль начинай,
> К нам на сушу вылезай![47]

Уже в марте возбуждение, охватившее россиян, постепенно улеглось – до первых газетных викторий. Патриотические манифестации на несколько недель отвлекли Гумилева от мрачного ницшеанства, а когда он попытался вновь сосредоточиться на горестных размышлениях, оказалось, что воспоминания о покойной Воробьевой уже отлетели далеко. Вместе с другими николаевскими гимназистами он теперь караулил у подъезда Мариинской гимназии, когда на улицу гурьбой выбегут розовощекие хохотушки:

– Пойдемте в парк, погуляем, поболтаем…

Настойчивость Гумилева была немедленно удовлетворена благосклонностью Марианны Поляковой (младшей сестры входившей в моду мариинской танцовщицы[48]). Это был успех, затмивший Дмитрия с его Тюльпановой, оказавшейся, несмотря на природную живость, чопорной до неприступности. Их зимние встречи происходили исключительно на царскосельском катке, куда Тюльпанова, соблюдая приличия, являлась со своей молчаливой подругой. Дмитрий не унывал, призывал на помощь младшего брата, и тот, становясь в пару с Горенко, увлекал ее на другой конец ледового ринга, оставляя влюбленных наедине. Говорил он при этом что в голову взбредет, до Заратустры и Соловьева включительно, – Горенко, сосредоточенно кружась рядом, все равно была нема и непроницаема, нельзя было понять, слышит ли она его вообще. Дмитрий, впрочем, на этих ледовых встречах тоже не преуспел и, возвращаясь со скейтинга, постоянно хмурился и разочарованно пожимал плечами. Но он все бодрился, рассчитывая на весенний пасхальный бал, который давали в этом году для вновь обретенных царскосельских друзей Гумилевы. Тут были Аренсы и Бритневы, несколько гимназистов Николаевской гимназии, были соседские семьи, была учительница музыки Баженова, немедленно засевшая за рояль, была вместе с ней и Тюльпанова, а с той – Анна Горенко,

подобная неизбежной и неотвязной тени. Скучающий Гумилев, не любивший музыку («Большой шум!») и танцевавший плохо, заговорил с ней, помня зимние катания, о недавно появившемся литературном журнале «Весы», чрезвычайно его заинтересовавшем. Вдруг немая пробудилась и стала отвечать, да так ловко и живо, что он заслушался (все-таки на катке она, оказывается, что-то поняла из его разглагольствований), а, посмотрев внимательнее, остолбенел. Ангел, сошедший с края небосклона, сияя бездонными бледно-голубыми глазами, говорил с ним, сам-друг, испуганный и взволнованный, открывая в предвечном ужасе азбучные откровения первых дней нового мира! Исчезли и музыка, и гул, и топот танцующих, тих был мировой ад и замер вверху рай – лишь один небесный ангел волновался, жестикулировал, шевелил губами, читая, кажется, какие-то стихи, потянул его в переднюю и хрястнул, уходя, дверью перед носом:

– Вот так!

Гумилев осторожно потрогал дверную ручку, отворил. Там не было никого, только вечерние небеса, как и положено в пасхальные дни, были полны высокими и радостными звездами:

Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!

Так завершилось для него Светлое Воскресенье 28 марта 1904 года.

Лишь только праздники подошли к концу, Гумилев был на стратегическом пятачке у подъезда Мариинской гимназии. В половине третьего, после заливистой трели последнего звонка, Тюльпанова со своей долговязой подругой появлялась в дверях. Он радостно кидался наперерез; гимназистки переглядывались и… начинали по очереди декламировать немецкую балладу Людвига Уланда «Sängers Fluch»:

> Es stand in alten Zeiten ein Schloß, so hoch und hehr,
> Weit glänzt’ es über die Lande bis an das blaue Meer…[49]

«И этого риторически цветистого стихотворения, которое мы запомнили на всю жизнь, нам хватало на всю дорогу, – вспоминала Тюльпанова. – А бедный Коля терпеливо, стоически слушал его всю дорогу и все-таки доходил с нами до самого дома! Ну, не гадкие ли это, зловредные маленькие женщины! Мне и сейчас и смешно, и грустно вспоминать об этом». Выслушав несколько раз «Sängers Fluch», Гумилев смиренно отстал от неприступной парочки. Лик небесного ангела продолжал сиять перед его мысленным взором, и, чтобы разобраться в

хитросплетении судеб, он сам написал балладу в духе романтика Уланда, где были и скорбная тень Воробьевой, и новая, непонятная и странная Анна Горенко:

Мой замок стоит на утесе крутом
В далеких, туманных горах,
Его я воздвигнул во мраке ночном,
С проклятьем на бледных устах.

«Песня о певце и короле» имела успех у одноклассников, успевших уже притерпеться к эксцентричному николаевскому гимназисту, так рьяно поддерживающему лихие традиции невероятного учебного заведения. Гумилев весной стал востребован: теперь его звали почитать стихи в разные компании, сложившиеся среди здешних учеников. Он не отказывался, декламировал; многие просили переписать. По слухам, сам директор Анненский, насмешливо морщась, познакомился с романтическими излияниями усатого семиклассника:

Был праздник веселый и шумный,
Они повстречалися раз…
Она была в неге безумной
С манящим мерцанием глаз.

Но утвердившаяся в гимназии репутация «стихотворца» не спасла Гумилева от весенней переэкзаменовки по математике. Известие об этом он встретил сентенцией, достойной римских стоиков:

– Прийти на экзамен, подготовившись к нему, – это все равно что играть с краплеными картами!

В итоге, в седьмом классе он остался на второй год. Брат его, Дмитрий, не был столь глубокомыслен и благополучно завершил гимназический курс. Накануне получения аттестата зрелости полагался выпускной бал. По случаю войны (из патриотических соображений, чтобы не тратить «бешеные деньги, когда оставшиеся без поддержки семьи убитых простирают руки с мольбой к своим братьям за помощью») Николаевская гимназия объединилась совместно со всеми выпускными классами царскосельских училищ в здании Городовой Ратуши. На бал допускались и несовершеннолетние члены семейств выпускников. Вместе с праздничным Дмитрием Гумилев столкнулся в танцевальной зале с Анной Горенко, сопровождавшей сестру Инну, завершившую Мариинский курс с серебряной медалью. Как

всегда в дни больших праздников, царскосельская Городовая Ратуша заполнилась сверх меры, и в плотной толпе гимназисты-выпускники и их юные гости причудливо перемешались в вихре вальса с мокрыми правоведами и чиновниками. Передавали шарики мороженого на запотевших блюдечках, в липкой и сладкой тесноте, наполненной запахами пыли и пудры, раздавалось отчаянное «гран-рон, силь ву плэ!»[50]. Несмотря на хаотичную пестроту этого странного *всеобщего* выпускного бала, одна постоянная пара сразу бросалась в глаза – Николай Гумилев кружился с Анной Горенко так легко, словно вокруг них чудесным образом повсюду возникало свободное пространство. Возвращаясь, они вновь отстали от всех, занятые спором всю дорогу до глухих дощатых заборов Безымянного переулка, и, оставшись, наконец, один, счастливый Гумилев уже точно знал, каким невероятным букетом он удивит тут через несколько дней пятнадцатилетнюю именинницу.

И букет удался на славу! Оказавшись в низкой гостиной дома Шухардиной, Гумилев подумал, что, возможно, он даже перестарался: шедевр цветочного искусства, благоухая и переливаясь красками, решительно затмевал собой прочие детали скромного домашнего пиршества. Гимназические гости именинницы совсем стушевались, а «Несуразмовна» (действительно странная вблизи со своими душегрейками и тесемочками) благодушно изрекла, прерывая повисшую паузу:

– Ну, вот и последний гость, и уже седьмой букет у нас на столе. Ставьте-ка его сюда, в дополненье к остальным!

За столом хихикнули. Букет тут же угас. Озадаченный Гумилев что-то отвечал невпопад, потом задумался и, едва помедлив, потихоньку покинул собрание. Вновь он возник уже к шапочному разбору, почему-то запыленный, перемазанный землей – и с охапкой свежих лилий. Все вновь застыли, только Инна Эразмовна смогла сохранить раз уже взятый тон:

– Как это мило с Вашей стороны, Николай Степанович, осчастливить нас и восьмым букетом!

– Простите, но это не *восьмой* букет, – веско возразил Гумилев, – это – ***цветы императрицы***.

И положил влажные стебли перед именинницей. Чудак забрался в императорский Собственный сад и обобрал оранжерею…

Именинница скромно потупилась.

В это лето и в Царском Селе, и в Березках Гумилев был весь поглощен чтением. Журнал «Весы», который начал издавать в Москве скандальный поэт и литературный критик Валерий Брюсов, увлек его неодолимо. Это было на редкость насыщенное

просветительское издание, положившее главной целью подробно и обстоятельно ознакомить подписчиков с европейскими художественными новинками, которые демонстрировали достижения *«символизма»* – художественной школы последнего десятилетия. Для восемнадцатилетнего Гумилева, как и для большинства россиян, «символизм» так и продолжал оставаться загадкой, возникая в разговорах лишь применительно к очередной выходке петербургских и московских писателей-*декадентов*, время от времени пугавших публику прославлением «бледных ног», «фиолетовых рук» и публичной демонстрацией мании величия:

> … Люблю я себя, как Бога,—
> Любовь мне душу спасет![51]

«Декадентом» теперь считал себя и сам Гумилев, начитавшийся Оскара Уайльда, Владимира Соловьева, Кнута Гамсуна и Ницше. Однако все оказалось куда интереснее и сложнее, и он вот уже несколько месяцев упивался новыми идеями и именами Верлена, Малларме, Рембó, Обри Бердслея, Габриэля Росетти, Эмиля Верхарна. Вернувшись осенью в Царское Село, Гумилев делился своими открытиями с Анной Горенко.

Возникновение символизма было связано с многочисленными европейскими научными открытиями, доказывающими наличие неизвестных, *«тонких»* сфер существования материи. Впервые о символизме заговорил в год рождения Гумилева французский писатель Moréas. В статье 1886 года, так и названной *«Le Symbolisme»*, Мореас говорил о перенесении внимания писателя с внешних форм жизни на ее внутренние процессы и, соответственно, – о необходимости «нового языка». Вместо «слова-понятия» писатели, по мнению Мореаса, должны искать *«слово-символ»*, позволяющее обозначить всю сложность изменчивого до непостижимости мироздания. «Отсюда, – заключал Мореас, – непривычные словообразования, периоды то неуклюже-тяжеловесные, то пленительно-гибкие, многозначительные повторы, таинственные умолчания, неожиданная недоговоренность…». Именно так пытался говорить с читателями великий несчастливец, maudit, французской поэзии Поль Верлен, требовавший от себя и от других – ***музыки*** прежде всего:

> Et tout le reste est littérature[52].

А порочный друг и главный враг Верлена, гениальный юноша Артюр Рембо, – тот вообще полагал, что звуками слов нужно живописать, приближая свои стихотворения к цветным холстам прославленных парижских художников-импрессионистов:

А – черный; белый – Е; И – красный; У – зеленый.
О – синий: тайну их скажу я в свой черед[53].

Анна Горенко оказалась на редкость интересной собеседницей – собственно говоря, единственной, кому Гумилев мог, не чувствуя неловкости, часами рассказывать о восхитительных статьях и рецензиях Брюсова и каких-то, неизвестных никому Юргиса Балтрушайтиса, Андрея Белого, Вячеслава Иванова и Максимилиана Волошина, нашедших прочное пристанище на страницах московского литературного журнала. Незаметно сложилось, что они вдвоем каждый день после занятий кружили по старому Екатерининскому парку среди мраморных скульптур и призрачных павильонов, воспетых Державиным и Пушкиным. По Царскому, натурально, пошли изумленные толки, Марианна Полякова была горько возмущена, но Гумилев даже не заметил неминуемого расставания – что́ могла понимать в страданиях безумного Шарля Бодлера эта резвая мариинская хохотушка:

Souvent, pour s'amuser, les hommes d'equipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers[54].

Серьезно и молчаливо, в нелепом, подобно одеяниям «Несуразмовны», детском потертом пальто горбоносая Горенко, сосредоточенно вслушиваясь, шагала рядом, деловито шурша божественным золотом вековых екатерининских кленов. Ничего в ней не было от давешнего померещившегося ангела, но Гумилева постоянно одолевала теплая, странная нежность, и почему-то приходил на ум бодлеровский финал:

Поэт, как альбатрос, отважно, без усилья,
Пока он – в небесах, витает в бурной мгле;
Но исполинские, невидимые крылья
В толпе ему ходить мешают по земле.

Особую увлекательную пряность их ежедневным осенним литературным беседам придавал только что прочитанный новый роман модного англичанина *Киплинга* (Kipling'a) «Свет погас». Играя между собой, оба воображали себя его героями: Гумилев – суровым колониальным воином и художником Диком Хелдаром, влюбленным в Африку и считавшим, что для достижения совершенства необходимо изучение строгих законов живописи, Анна Горенко – гениальной анархической разрушительницей Мэйзи, видевшей лирическое выражение чувств главной задачей творческой личности. Конечно, это была только игра: стихи, которые Горенко читала Гумилеву, были обычной неумелой женской рифмованной чепухой. Возмущал Гумилева и ее круг знакомств. У ее сестры Инны, только что вышедшей замуж за студента-филолога Сергея фон Штейна, собиралась по четвергам компания столичных университетских повес и острословов. Та же студенческая компания собиралась по понедельникам у сестры фон Штейна Натальи, супруги богемного Валентина Анненского, придумавшего себе нелепое прозвище *Кривич*. Сын директора Николаевской гимназии жил с молодой женой в казенной отцовской квартире, но был независим от строгой гимназической жизни. Его друзья-студенты регулярно посещали университетский «Кружок изящной словесности» и находились в курсе всех событий литературного и театрального Петербурга. Приставший к ним ненадолго Гумилев был вместе с Горенко и Штейнами на нашумевшем выступлении американской танцовщицы-«босоножки» Айседоры Дункан в петербургском Дворянском Собрании, а на благотворительном студенческом вечере в зале царскосельского Офицерского собрания даже сидел в литерной ложе среди почетных гостей. Но ничего хорошего для мечтательной дурнушки Анны Гумилев тут не видел и удивлялся в душе беспечностью ее старшей сестры, как нарочно оставлявшей долговязую недотепу в самые рискованные моменты студенческих вечеринок наедине со своими разудалыми гостями.

У Гумилева в эти месяцы складывается совсем другой круг знакомств. Родители его нового одноклассника Дмитрия Коковцева весь 1904 год устраивали у себя в доме на Магазейной улице «Литературные воскресенья». Неизвестно, успел ли Гумилев застать на них самого знаменитого участника – великого поэта, философа и придворного историографа Константина Константиновича Случевского (тот, совсем одряхлев к шестидесяти семи годам, скончался в сентябре). Но в число постоянных посетителей Коковцевых в осенне-зимний сезон 1904–1905 гг. входили писательницы-монархистки Мария Григорьевна Веселкова-Кильштет и Лидия Микулич (Л. И.

Веселитская), популярный политический обозреватель Михаил Осипович Меньшиков и известный всей России яростный гонитель вольнодумцев, фельетонист газеты «Новое время» Виктор Петрович Буренин. Среди этих пожилых консерваторов и «реакционеров» юный Гумилев чувствовал себя куда более уверенно, чем в либеральной студенческой вольнице. Тут с неподдельной тревогой и недоумением говорили о грозном обороте, который приняла едва заметная теперь по однообразным сводкам в периодике «японская война», о невообразимой благодарственной телеграмме Государя за *«выдающееся по трудности отступление»*, отправленной командующему Куропаткину после Ляоданской битвы в Маньчжурии, о страшной опасности, вдруг нависшей над самоуверенной Российской Империей. Затаившись в углу на креслах, незаметный Гумилев слушал, как толстая, некрасивая, искренняя генеральша Кильштет срывающимся голосом читает свой реквием русским офицерам и солдатам, оказавшимся, паче всех чаяний, живым щитом перед железными морскими и сухопутными желтыми когортами:

С тьмой над пучиною
Борется рассвет,
В песню лебединую
Вылился привет.
Песнь под грозной тучею
Чем была полна?
Верою ль могучею,
Скорбью сложена?
Иль молила, нежная,
Чтоб к земле родной
Даль несла безбрежная
Весть про смертный бой?[55]

21 декабря 1904 года император Николай II, испугавший накануне своей ледяной флегмой придворных, записал в своем дневнике: «Получил ночью потрясающее известие от <генерала> Стесселя о сдаче Порт-Артура японцам ввиду громадных потерь и болезненности среди гарнизона и полного израсходования снарядов! Тяжело и больно, хотя оно и предвиделось, но хотелось верить, что армия выручит крепость. Защитники все герои и сделали более того, что можно было предполагать. На то, значит, воля Божья!» А спустя два дня его юный царскосельский тезка назло всем слухам и сетованиям накупил в подарок годовщины встречи в Гостином дворе всякой всячины для своей странной до

неприличности конфидентки.

– Я купил у Александра на Невском, – мечтательно вспоминал он, – большую коробку, обтянутую материей в цветы, и наполнил ее доверху, положил в нее шесть пар шелковых чулок, флакон духов «Коти», два фунта шоколада Крафта, черепаховый гребень с шишками – я знал, что она о нем давно мечтает, – и томик Тристана Корбьера «Желтая любовь». Как она обрадовалась! Она прыгала по комнате от радости. Ведь у нее в семье ее не особенно-то баловали.

В коробку был положен и листок с аккуратной записью нового стихотворения «Русалка»:

На русалке горит ожерелье
И рубины греховно-красны,
Это странно-печальные сны
Мирового, больного похмелья.
На русалке горит ожерелье
И рубины греховно-красны.
……
Я люблю ее, деву-ундину,
Озаренную тайной ночной,
Я люблю ее взгляд заревой
И горящие негой рубины…
Потому что я сам из пучины,
Из бездонной пучины морской.

Как сокрушенно признавалась сама получательница гумилевского дара, ***«с этого стихотворения все и началось»***.

VI

Мукденская битва и «Кровавое воскресенье» в Петрограде. Объяснение с Анной Горенко. Ветераны «японской войны». В. В. Голенищев-Кутузов. Семейство Вульфиусов. Дуэль с Куртом Вульфиусом. Крушение любви. Цусима. Мятежные месяцы и Портсмутский мир. Покровительство И. Ф. Анненского. Знакомство с французской поэзией. «Путь конквистадоров». Беспорядки в Николаевской гимназии. Манифест 17 октября 1905 г. Уход И. Ф. Анненского с директорского поста.

25 февраля 1905 года у китайского города Мукден (Шеньян) после двадцатидневного ожесточенного боя были окончательно разгромлены боевые порядки основных сухопутных сил русской армии в Маньчжурии. Но это известие об очередном поражении на Дальнем Востоке почти затерялось среди ошеломляющих новостей из российской столицы, уже несколько недель занимавших всю Россию. Во второе январское воскресенье, вдогонку Крещенским торжествам, в Петербурге случилась невероятная, невообразимая здравым рассудком бойня: войска городского гарнизона почему-то расстреляли… православный крестный ход рабочих, идущий с иконами и хоругвями со всех застав во сретенье царю Николаю II. Передавали, правда, что это был не совсем крестный ход – скорее пролетарская массовка, поднятая попом-расстригой Георгием Гапоном, известным своими связями с подпольными агитаторами-социалистами. Говорили и страшнее: японские агенты, неумолимые в своей решимости сокрушить враждебную Россию, потратили невообразимые миллионы, чтобы воскресить давно позабытые террористические революционные банды нигилистов. Но эти голоса почти не были слышны в общем страдальческом вопле – русские пули, дробя православные святые лики, проливали кровь единоверцев на мостовую Нарвской заставы, Выборгской стороны и даже Дворцовой площади!

Чудовищнее беды представить себе было нельзя.

– Нет больше Бога! Нет больше Царя! – кричал, по слухам, плачущий Гапон среди разбегающихся во время кровавой бани путиловских мастеровых. И эхом на эти вопли по всей России раздавалось:

– Царь Николай… *Кровавый*!

У студента Селиверстова, репетитора детей Горенко, тряслись руки, когда он рассказывал о *«Девятом января»* (роковая дата в разговорном обиходе тут же стала нарицательной) в

Петербурге. Гумилевы пережили случившееся с мрачным недоумением и тревогой. Уже несколько последних месяцев и на газетных полосах, и в гостиных сначала потихоньку, сдержанно, потом громко, с надрывом звучали речи о сплошных фатальных неудачах русских в Приморье и о фанатичной храбрости, «немецкой» муштровке и невероятной выносливости «желтолицых сынов Микадо»:

– Если японцы идут на верную смерть потому, что 40 лет учились жертвовать собой во имя народной идеи, то русские – только потому, что они русские!!

«Презрение к противнику – плохое и глупое оружие», – пророчески предупреждал россиян уже в первых корреспонденциях с дальневосточного фронта ветеран отечественной военной журналистики Василий Немирович-Данченко. Зимой 1904–1905 гг. в обществе царило панихидное настроение, столичные газеты панически сетовали, что вовремя «не увидели перед собой грозно разинутой пасти дракона». Обстановка внутри страны накалялась. Дело дошло до того, что, услышав о падении Порт-Артура, петербургские студенты, демонстрируя общественный протест, отослали издевательскую поздравительную телеграмму… японскому императору. И вот теперь, после расстрела рабочих и проигранной битвы под Мукденом, все катилось к настоящей внутренней смуте, к мятежу, если, помилуй бог, не к революции… Правда, оставалась еще надежда на мощную Балтийскую эскадру, которую кругосветным путем вел из Петербурга на Дальний Восток вице-адмирал Зиновий Рожественский. Но ощущение какого-то жизненного кануна, приблизившегося вплотную, владело всеми как в Царском Селе, так и в Петербурге, и по всей стране.

В доме Степана Яковлевича Гумилева в наступившее безвременье был, помимо всего, собственный источник досадной заботы: младший сын влюбился в царскосельское пугало! На стене его комнаты даже возник рисованный на обоях портрет чаровницы в виде… то ли утопленницы в водорослях, то ли русалки (помог самодеятельный живописец-одноклассник). Прислуга и та удивлялась и хихикала втихомолку:

– Горбоносая, тощая… ничего в ней нет! Наш-то Коля – первый жених в Царском!

А Гумилев тем временем, выслушав в домике в Безымянном переулке легенду об убитом вероломной наложницей ордынском хане Ахмате, далеком предке Горенко[56], рассказывал, в свою очередь, волшебную историю, как некий гениальный скульптор изваял для знатного флорентийского вельможи статую дамы, любовь к которой стала единственной властительницей души

могучего владыки. С раннего утра до поздней ночи с рыданиями и вздохами склонялся несчастный влюбленный перед недвижной статуей, и великая любовь сотворила великое чудо:

– Однажды, когда особенно черной тоской сжималось сердце вельможи и уста его шептали особенно нежные слова, рука статуи дрогнула и протянулась к нему, как бы для поцелуя…

Провожая его в темных сенях, Анна Горенко вдруг спохватилась:

– Кажется, я потеряла кольцо… Посмотрите там, на полу, не видите?

Гумилев едва наклонился, как тонкая рука с бледно-голубыми жилками будто случайно скользнула по его лицу, на миг задержавшись у губ.

– Нет, верно, кольцо закатилось куда-то… Но чем же кончилась история вашего флорентийца?

– Лучезарная радость прозвенела в самых дальних коридорах его сердца, – сказал Гумилев, – и он стал сильным, смелым и готовым для новой жизни. А статуя так навечно и осталась с протянутой рукой.

Поглощенный счастьем, Гумилев оставался в эти последние зимние дни, вероятно, единственным из царскосельской молодежи, кому решительно не было дела до политических тревог. Между тем в городе стали появляться дальневосточные ветераны, свидетели недавних военных схваток в Корее и Маньчжурии. Их рассказы вызывали жадный интерес – всем хотелось из первых рук узнать о подлинном облике, обычаях и нравах таинственного *«японца»*, устроившего русскому воинству такую грозу в Приморье. На мартовской Масляной неделе из Маньчжурии в Царское Село вернулся прикомандированный к российской военной миссии Красного Креста выпускник факультета восточных языков Петербургского университета Владимир Викторович Голенищев-Кутузов, один из прежних студенческих заводил у Штейнов и молодых Анненских. О «герое Мукдена» немедленно заговорили все вокруг. Двадцатичетырехлетний Кутузов, не принимавший непосредственного участия в боевых действиях, тем не менее охотно разыгрывал перед старыми товарищами роль бывалого солдата, рассказывал казарменные анекдоты, затягивал под гитару щемящие фронтовые песни и рассыпался перед восхищенными дамами в замысловатых брутальных комплиментах. Анна Горенко не пропускала ни одного собрания у старшей сестры с его участием и, устроившись поближе к вулканическому ветерану, не сводила глаз. Гумилев тоже побывал на таком «сольном представлении» в странноприимном

студенческом пристанище Сергея и Инны Штейн у Бабловского парка. Прославленный участник военной миссии Красного Креста (визитировавший к Гумилевым вместе с родными) выглядел здесь помесью барона Мюнхгаузена и Тартарена из Тараскона, а усиленное внимание, которое он демонстрировал младшей сестре хозяйки, явно выходило за границы приличия даже для студенческой вечеринки. На очередной прогулке в Екатерининском парке Гумилев заикнулся было об этом, но Анна Горенко вспылила, запретила говорить и даже пригрозила расставаньем. Их встречи, в самом деле, прекратились. Впрочем, как раз в это время семья Горенко была занята переездом из Безымянного переулка в городской центр: глава семейства шел на очередное повышение в морском Управлении и снял, наконец, приличную положению «барскую» квартиру в доме Соколовского на Бульварной. Кроме того, Гумилев знал, что с наступлением весны здоровье Инны Штейн вдруг пошатнулось и ее младшая сестра теперь проводит в домике за Бабловским парком все свободные часы. Дела там, кажется, складывались совсем плохо, у больной внезапно открылось сильное кровохарканье, и ее собирались срочно отправлять на юг, к родне в Евпаторию.

Пережидая разлуку, Гумилев коротал свободное время в поэтических беседах у Коковцевых на Магазейной или за картами и болтовней в доме смотрителя царскосельских уделов А. А. Вульфиуса на Малой улице. Дом Вульфиусов был симпатичным, литературным – мать семейства являлась родной дочерью прославленного писателя графа Соллогуба, друга Пушкина и Белинского. Впервые появившись тут минувшей зимой, Гумилев немедленно оказался атакован многочисленным потомством Екатерины Владимировны. Анатолий, Александр, Николай, Михаил, Нина и Нелли Вульфиусы наперебой спрашивали его:

– Николай Степанович, что нового написали? Прочитайте…

Их брат, румяный николаевский старшеклассник Курт Вульфиус, пригласивший гимназическую знаменитость в гости, довольно улыбался. Гумилев не ждал, чтобы его долго упрашивали, и без всякого жеманства начал декламировать, чеканя каждый стих:

Я конквиста́дор в панцире железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду.

Ему восторженно аплодировали:

– Еще, еще прочитайте…

С тех пор Гумилев с удовольствием навещал Вульфиусов по их субботним журфиксам, а в смутные апрельские дни пристрастился играть с картежным виртуозом Куртом в «винт». «Они играли запоем, как говорится, до потери сознания, – вспоминал Анатолий Вульфиус. – Если не было партнеров, они играли вдвоем в так называемый гусарский винт». В первый день пасхальных каникул, 18 апреля, Гумилев победно завершал второй роббер, когда разговор за столом вдруг съехал на фривольные слухи, вовсю идущие по городу об одной примечательной мариинской гимназистке и некоем славном герое Мукденского сражения. Ослепленный неожиданностью, Гумилев швырнул карты, громко вспылил и взвился. Разъяренных партнеров все бросились разнимать:

– Драться! Немедленно! До крови!

Постановили встретиться через час у Николаевской гимназии и ехать затем по Виндавской дороге в местечко Вырицу для сведения окончательных счетов. Гумилев, не теряя времени, вызвал с Бульварной Андрея Горенко, старшего брата Анны. Тот, очень расстроенный, сказал только, что сестра не выходит несколько дней из дома, и немедленно согласился быть секундантом Гумилева. У гимназии обоих поджидали Курт Вульфиус и ассистирующий ему хмельной студент, начинавший, кажется, трезветь и проявлять явные признаки беспокойства. В руках у Вульфиуса были рапиры, тайно изъятые из спортивного гимназического зала. Свернув в ближайший двор, оба врага вместе с помощниками сбили булыжниками защиту наконечников и принялись ожесточенно оттачивать острия. Бледные, яростные, они терзали металл о каменное точило с такой силой, что вскоре острия рапир блестели узкими смертельными жалами. Студент, все время пытавшийся дружелюбно подшучивать то над одним, то над другим, совсем потерялся, жалобно крутил головой и вдруг запросился в отлучку. На него не обращали внимания, кое-как обернули орудия убийства в тряпки и газеты и направились к вокзалу: белый от возмущения Гумилев впереди, трясущийся от гнева Вульфиус позади и Андрей Горенко – между ними. Поезд уже подходил, когда на перрон выскочил ладный морской кадет в щегольском черном бушлате, торопливо озиравшийся по сторонам. Заметив, наконец, среди отъезжающих пассажиров странную троицу, он со всех ног побежал к ним, маша руками и призывая:

– Стойте! Стойте!! Директор зовет вас к себе! Директор зовет вас к себе!..

Гумилев, увидев рядом запыхавшегося брата Дмитрия (это был он), в бешенстве швырнул тряпичный сверток под ноги.

Сталь тяжело звякнула.

Среди пряного аромата увядающих лилий Иннокентий Федорович Анненский, восседающий за столом в директорском кресле, с отвращением созерцал выложенные на стол изуродованные спортивные рапиры и трех несостоявшихся гимназистов-дуэлянтов. Выслушав их сбивчивые объяснения, он, лениво потянувшись всем корпусом, встал, брезгливо провел пальцем по рапирному эфесу и, обернувшись, без злобы, задумчиво уронил:

– *Вульфиус, какая же Вы дрянь!*

Гумилев рванулся что-то сказать, но Иннокентий Федорович махнул рукой:

– Убирайтесь!

Из гимназии Гумилев и Андрей Горенко направились на Бульварную улицу. В «барской квартире» Анна только показалась им на мгновение, но сердце Гумилева оборвалось и упало – какая-то катастрофа, точно, произошла. Зато «Несуразмовна» была в исступлении: орала на сына, а ошеломленному поклоннику дочери, собиравшемуся отдать жизнь за ее доброе имя, наговорила обидных резкостей, выставила вон и недвусмысленно отказала от дома. К себе Гумилев вернулся, раздавленный всем происшедшим, и вечером того же дня попытался самоубиться. Это был какой-то дурацкий слепой эмоциональный порыв: ни брат Дмитрий, так кстати оказавшийся на побывке в Царском Селе (именно ему, вместе с директором Анненским, пришедший в себя студент успел сообщить об имеющем начаться кровопролитии), ни переполошившаяся Анна Ивановна не отходили от него ни на шаг.

История вышла очень громкой. По завершении пасхальных каникул педагогический совет решал судьбу преступников: неудовлетворительная отметка за поведение и последующее исключение из гимназии. Участники собрания были настроены решительно, однако председатель Иннокентий Анненский, сокрушенно качавший головой в знак согласия с каждым обвинением против хулигана и второгодника Гумилева, взяв в конце слово, веско заметил:

– Все это правда, господа, *но ведь он же пишет стихи!*

И принял злостного нарушителя дисциплины на поруки, разрешив ему, по сдаче экзаменов, переход в следующий, выпускной класс. Директору никто возразить не посмел. Гумилев же тогда был равнодушен к своей судьбе, принимая все с полной бесчувственностью[57]. А через несколько дней все вокруг забыли думать о несостоявшейся царскосельской дуэли. Пришли первые известия, что японский адмирал Хэйрахито Того пустил на дно

весь идущий на Дальний Восток русский флот, встретив корабли Рожественского в Цусимском проливе.

Мало кто верил, но и корреспонденты нейтральных европейских держав всюду подтверждали – ***весь***! Хуже того: сам Рожественский, оказавшийся подонком, не застрелился и не погиб в бою, а позорно попал в плен. Жалкие остатки разгромленной эскадры, не видя возможности сопротивления, сдались на милость победителя, трусливо спустив Андреевские флаги. За всю историю России это было самое чудовищное национальное поражение. Военная победа Империи Восходящего Солнца под Цусимой оказалась настолько эффектной, что парализовала волю государственных мужей, понимающих, что Япония, со всеми ее триумфами, весной 1905 года была уже не в состоянии воевать, что все резервы, заготовленные ею за сорок предшествующих лет, уже начисто истрачены под Ляоданом, Порт-Артуром и Мукденом[58]. Генерал Куропаткин заклинал императора Николая не спешить с переговорами о мире, призывая (здраво) вспомнить хотя бы о печальной судьбе армии победоносного Наполеона Бонапарта зимой 1812 года. Но Цусима внушила фатальную мрачную уверенность: ***это конец, война окончательно проиграна***. Помимо того действовал и «революционный проект» хитроумного полковника японской разведки Мотодзиро Акаси: на русских, польских и финских «борцов за свободу» пролился золотой дождь, были проведены съезды подпольных партий и закуплено оружие для мятежа. В мае забастовал Иваново-Вознесенск, текстильная столица страны, в июне баррикадами покрылась польская Лодзь, и пошли кровавые беспорядки в Финляндии. На Черноморском флоте летом вспыхнул бунт, флагманский броненосец «Князь Потемкин-Таврический» поднял красный флаг социальной революции и бомбардировал Одессу. 23 августа (3 сентября) в американском Портсмуте премьер-министр Витте подписал мирный договор, уступающий Японии Приморье. «Не Россию разбили японцы, – подытожил Витте, – не русскую армию, а наши порядки или, правильнее, наше мальчишеское управление 140-миллионным населением в последние годы».

Осенью, с началом учебных занятий, Гумилев наконец пробудился к жизни. Все Горенко к этому времени исчезли из Царского Села, как будто и не жили тут вовсе. Злосчастную Анну поспешили отправить к старшей сестре в Крым еще в мае. А позже статский советник Горенко во время опальных мер, принятых против морской администрации после цусимского апокалипсиса, со скандалом был изгнан в отставку, дотла разорился, позорным образом порвал с женой и затаился где-то в Петербурге.

Брошенная на произвол судьбы «Несуразмовна» с остальными детьми уехала к дочерям в Евпаторию – там все они и осели из-за полного отсутствия средств для устройства жизни где-нибудь, кроме глухой южной провинции. От своего бывшего секунданта Андрея Горенко Гумилев получил из Крыма несколько печальных писем. Потом тот замолчал.

В первые же дни нового учебного года директор Николаевской гимназии, верный обязательству перед родительским комитетом, решительно взял Гумилева под строгий патронаж:

> Я помню дни: я, робкий, торопливый,
> Входил в высокий кабинет,
> Где ждал меня спокойный и учтивый,
> Слегка седеющий поэт.

Влияние Иннокентия Анненского на девятнадцатилетнего Гумилева оказалось огромным и во всех отношениях благотворным. Впервые в жизни хронический лентяй и второгодник принялся за учение всерьез, уверенно продвигаясь к итоговым экзаменам. Но дело было не только в учебе. Директор и гимназист имели общие *профессиональные* интересы в художественной словесности. Анненский не терпел интеллектуальный провинциализм отечественных литераторов. От своей сестры, вышедшей замуж за главного хранителя Muséum national d'histoire naturelle[59] в Париже, он получал новейшие французские журналы и книги, собрав в Царском Селе уникальную иностранную библиотеку. Анненский склонялся в своих творческих пристрастиях к поэзии французских *«парнасцев»*[60], совершенно неведомых в России. Гумилеву пришлось налечь на французский, но результат оправдал все потраченные усилия. С этого времени французская поэзия XIX века стала его вторым «литературным отечеством». А под воздействием *l'art robuste*, «мощного искусства» Теофиля Готье и Леконта де Лиля поменялся гумилевский поэтический язык: подобно им, он начинает сознательно стремиться к изобразительной точности и «вводить реалистические описания в самые фантастические сюжеты»:

> Чеканить, гнуть, бороться,—
> И зыбкий сон мечты
> Вольется
> В бессмертные черты[61].

Домашние Гумилева не могли нарадоваться, видя сына не только избавленным от «пугала», не только сохранившим место в гимназии, но и взявшимся наконец за ум. Степан Яковлевич уже прикидывал про себя: гуманитарий, должно быть, филолог или историк, возможно, в недалеком будущем приват-доцент, а там и профессор… Воодушевленные родители, поощряя сына, даже согласились оплатить расходы по изданию его собрания стихов, названного по полюбившемуся всем звонкому стихотворению – ***«Путь конквистадоров»***.

На очередном гимназическом уроке латыни благоухающий типографией экземпляр книжки был тайно вложен в классный журнал. Разумеется, титул уже имел заблаговременную надпись:

Тому, кто был влюблен, как Иксион,
Не в наши радости земные, а в другие,
Кто создал Тихих Песен нежный сон,
Творцу Лаодамии —

от автора[62].

Вошедший Анненский невозмутимо пролистнул журнал и начал урок, как будто ничего не заметив. Завершая, он, как всегда, забрал журнал с собой, и опешивший Гумилев вынужден был целую перемену томиться перед приемной. Наконец дверь отворилась, и сосредоточенный директор, нахмурившись, молча передал журнал дисциплинированному дежурному, вытянувшемуся в струнку. Лишь в классе, собравшись с духом, Гумилев заглянул на место своей закладки – там лежал второй выпуск «Книги отражений»[63] со свежей надписью:

Меж нами сумрак жизни длинной,
Но этот сумрак не корю,
И мой закат холодно-дынный
С отрадой смотрит на зарю.

Анненский был одним из тех редких людей, одно нахождение рядом с которыми внушало благородную уверенность в собственных силах. Но осенью несчастного российского 1905 года руководителю Николаевской гимназии приходилось трудно: мятежные беспорядки, охватившие страну, заразили и царскосельских недорослей. В гимназических классах появились фигуры, щеголявшие в кумачовых рубахах. Демонстрация бунтарских нарядов не прошла, разумеется, мимо внимания

надзирателей. Послали за директором. Анненский спокойно подошел к гогочущей компании «революционеров».

– Я бы советовал вам не носить красной рубахи, – веско произнес он.

– Почему?

– ***Красная рубаха – одеяние палача***, – любезно пояснил Иннокентий Федорович.

«Революционеры» онемели. Анненский покачал головой и, не прибавив ни слова, удалился. Вплоть до октября ему удавалось сохранять в гимназических стенах привычную спокойную и деловую обстановку, однако подпольные агитаторы работали вовсю, а подбить гимназистов из числа сынков местных камер-лакеев на хулиганские выходки было всегда несложно. То там, то тут на уроках с треском лопались электрические лампочки, имитировавшие террористические бомбы, испуганных учителей третировали и запирали в классах, в химической лаборатории подожгли серу… После «газовой атаки», 16 октября, Николаевская гимназия по особому распоряжению Министерства просвещения закрылась на неопределенный срок. На следующий день, 17 октября 1905 года во всех газетах появился *«Высочайший Манифест об усовершенствовании государственного порядка»*. Тут провозглашались гражданские свободы – слова, собраний, печати, и гарантировался созыв постоянно действующего законодательного парламента – *Государственной Думы*. Казалось, примирительный исход найден. На очередном литературном собрании на Магазейной полная энтузиазма писательница Микулич, ставшая *«октябристкой»*, трогательно просила присутствующих записать ей в альбом какие-нибудь строки *«на день российских свобод»*. Приняв заветную тетрадь, Гумилев, усмехнувшись, набросал несколько строф. Микулич, заглянув, опешила:

Захотелось жабе черной
Заползти на царский трон,
Яд жестокий, яд упорный
В жабе черной затаен…

– И как же это понимать, Николай Степанович? – осторожно осведомилась «октябристка».

– А как хотите, так и понимайте, – пожал плечами Гумилев.

С нового 1906 года И. Ф. Анненский был отстранен с поста директора Николаевской гимназии[64].

VII

Обновленная Николаевская гимназия и Я. Г. Мор. Революционный хаос. Литературное признание. Выпускные экзамены. Д. И. Коковцев. «Оккультное Возрождение». Миссия мартиниста Папюса. Поездка в Евпаторию и отъезд во Францию. «Факультет герметических наук». Переписка с Валерием Брюсовым. Литературное ученичество и парижские знакомства. Киевское послание.

Петербургский немец Яков Мор, сменивший Анненского в Николаевской гимназии, говорил с акцентом, путал Некрасова с Добролюбовым, но в дисциплине толк знал. Николаевские гимназисты при виде нового директора как-то сами собой затихали и застывали, вытягиваясь во фронт. Деловитый Мор внимательно осматривал каждого из новых подопечных и, заметив малейшую неряшливость, грозил пальцем:

– И это – есть – ученик – Императорской – Николаевской – Царской Гимназии?!

На каждом слове его визгливый фальцет повышался, начиная грозно позвякивать металлом. Далее следовали выговоры, оставления в классах, вызовы родителей и прочие бичи и скорпионы школьной Немезиды. Слов на ветер Яков Георгиевич не бросал никогда. Но Гумилева заведенные новым директором строгости не задели. За своим мундиром гимназический франт-*белоподкладочник* следил и без немецких рекомендаций, а по благонамеренности вряд ли Мору уступал. При известии об очередном мятежном возмущении (а в декабре в Москве дошло до уличной стрельбы и рукопашной) Гумилев морщился, отмалчивался или резюмировал кратко:

– Отвратительный кошмар!

Страна стремительно катилась к хаосу и анархии; депутаты избранной среди неслыханной смуты Думы грозили:

– Если надо будет, мы поставим *гильотины на площадях*!..

Крестьянских мужиков подбивали к убийствам, поджогам и погромам наводнившие провинцию горлопаны-агитаторы. Кто они и откуда взялись, никто не знал, но призывы к буйству всюду находили отклик. Из Слепнева дошло, что местные озорники едва не пустили на барском дворе *«красного петуха»*, напугав до полусмерти вдову почившего контр-адмирала Льва Ивановича Львова. А в Березках дворовые постройки все-таки полыхнули, подожженные неведомыми хулиганами (дом, к счастью, уцелел). Мало кто представлял, что́ ожидает впереди. В семье Гумилевых –

все-таки в них, точно, текла кровь Рюриковичей! – было принято держаться всем мужественно и спокойно: чему быть, тому не миновать. Младший сын демонстративно предпочитал политике поэзию.

«Путь конквистадоров», продававшийся в царскосельской книжной лавке Митрофанова, имел успех. Сергей Штейн, получивший отдел словесности в ежедневной петербургской газете «Слово», написал хвалебную рецензию и усиленно зазывал Гумилева к сотрудничеству (имя свояченицы Штейна, по обоюдному молчаливому согласию, не произносилось). Редактор газеты «Царскосельское дело» Павел Загуляев забрал два новых гумилевских стихотворения в готовящийся литературный альманах «Северная речь». Даже Валерий Брюсов упомянул Гумилева в своих «Весах», с восточной витиеватостью выразив надежду, что вышедшая книга «лишь «путь» нового «конквистадора», а все его победы и завоевания впереди». Прочитав эту рецензию, Гумилев не понял красноречия московского витии и расстроился. Но вскоре в Царское пришло любезное письмо редактора «Весов» с предложением включить автора «Пути конквистадоров» в число постоянных сотрудников. Проницательный, осторожный и умный Брюсов сразу сообразил что к чему и теперь принимал оперативные меры, чтобы закрепить за перспективным царскосельским гимназическим выпускником статус *«ученика русских символистов»*.

На весенних выпускных экзаменах в Николаевской гимназии Гумилев без особых затруднений и срывов получил в итоге *«отлично»* по Логике, *«хорошо»* по Закону Божиему, Русскому и Французскому языкам, Истории и Географии и *«удовлетворительно»* по Математике, Физике, Математической географии (геометрии), Латинскому и Греческому. *«Отличным»* было признано и поведение аттестуемого. Сверх всех ожиданий, аттестат за № 544, торжественно принятый из рук сияющего по случаю первого «собственного» выпуска директора Якова Мора, выглядел вполне сносно. Можно было подумать о продолжении образования.

В последние гимназические месяцы Гумилев тесно сошелся с Дмитрием Коковцевым. Болезненный, толстый, экзальтированный Коковцев мнил себя духовным наследником средневекового рыцарства, был убежденным мистиком и видел за всем происходящим в стране схватку могущественных сил, тайно состязавшихся в человечестве еще с допотопных эпох. Рассказы о верных хранителях королей и пап увлекли Гумилева, и, среди хаоса революции, рыцарственный пыл ударил ему в голову:

Я откинул докучную маску,
Мне чего-то забытого жаль…
Я припомнил старинную сказку
Про священную чашу Грааль[65].

По всей вероятности, именно Дмитрий Коковцев привлек внимание Гумилева к пребыванию в Царском Селе гроссмейстера Ордена Высших Неизвестных («l'Ordre des Superieurs Inconnus») Жерара-Анаклета-Винсента д'Анкосса, известного более под кратким прозвищем «Врач» – ***Папюс***. Это был один из самых ярких деятелей «оккультного возрождения», наступившего на рубеже столетий, когда в Европе и России странные пророки – то ли шарлатаны, то ли одержимые – наперебой объявляли себя хранителями древнего тайного (оккультного) универсального знания, сообщающего магическую власть над стихиями, вещами и людьми. Оккультные группировки множились, возникали особые ордена, негласные союзы, масонские ложи, религиозные братства[66]. В 1891 году свой «Орден Неизвестных» создал и Папюс, взяв на вооружение забытые уставы шотландских роялистских лож Сен-Мартена[67]. В качестве главы *мартинистов* Папюс развил деятельность, напоминающую сказочные истории о борьбе белых и черных магов. Себя и своих сторонников он считал «мистическими христианами», которые защищают Запад от демонических разрушительных сил, наступающих с языческого Востока. Особой заботой рыцарей-мартинистов были европейские христианские монархи, троны которых восточные демоны и их прислужники из «черных» тайных обществ искали разрушить в первую очередь.

Духовный наставник Папюса Филипп Низье, известный гипнотизер-целитель, в последние годы жизни был знаком с российской императорской четой и в качестве «медицинского советника» бывал в Царском Селе и Петербурге[68]. В августе 1905-го Филипп умер, успев предсказать Николаю II военное поражение и близкие великие потрясения. Уже в ноябре в Россию был вызван ученик прозорливца. В отличие от учителя, народного самородка, Д'Анкосс в 1894 году получил степень доктора медицины в Сорбонне и преподавал там «философскую анатомию» (отсюда и его знаменитый псевдоним). Он был великим знатоком древних манускриптов, и даровитым писателем, и хитроумным политиком. Прибыв в Царское Село, рыцарский гроссмейстер вел себя скромно, не заботясь в своих прогулках по тихим улочкам ни о страже, ни о свите. В Александровском дворце Папюс успокоил августейшую чету, что

мятежный мрак, атаковавший страну, непременно рассеется:

– Рыцари-мартинисты будут защищать и Вас, и Россию до последнего вздоха!

Дивясь патриархальной простоте российской имперской цитадели, гроссмейстер следовал к себе. Вдруг на его пути возникла некая фигура в гимназическом мундире. Папюс зорко присмотрелся:

– Comment vas-tu, jeune chercheur de verite![69]

После беседы с Папюсом Гумилев оповестил родителей, что желает ехать учиться во Францию, в Парижский университет. Нельзя сказать, что идея сомнительного басурманского образования вместо надежного, отечественного так уж вдохновила Степана Яковлевича. Но было обстоятельство, существенно повлиявшее на его решимость. Старший сын Дмитрий, завершивший гимназический курс год назад, пошел, уступая отцовскому настоянию, в петербургский Морской кадетский корпус. Ничем хорошим это не кончилось. Совершенно не способный к морскому делу Дмитрий Гумилев после первого плаванья так затосковал, что был отчислен и вернулся (с трудом, окольными путями его удалось устроить в царскосельское Николаевское кавалерийское училище). Ввиду неудачного дебюта старшего сына, Степан Яковлевич не стал проявлять непреклонное своеволие в выборе пути для сына младшего. К тому же в Париже жила сестра Иннокентия Анненского, который охотно согласился снабдить любимого ученика рекомендательным письмом. Пост и научные связи мужа Натальи Deniker явились в глазах прагматичного Степана Яковлевича существенным аргументом в пользу затеи сына Николая. Что же касается романтической мечты овладеть попутно в Сорбонне и тайнами оккультизма, сохраняющими христианских государей Европы от злых чар, то, вообще-то, ничего против такой защиты отец Гумилева иметь не мог, хотя вряд ли верил в ее действенность.

Перед отъездом Гумилев виделся с Андреем Горенко – тот сопровождал с юга сестру Инну Штейн, находящуюся в последнем градусе чахотки. Ни грязелечебница в евпаторийских Саках, ни здравница в Севастополе, где Инна провела зиму, нисколько не помогли, и несчастная, изможденная болезнью молодая женщина приехала умирать на родину к мужу. «Несуразмовна» с детьми горько бедствовала в крымском захолустье. Печальные рассказы Андрея поразили Гумилева настолько, что, уже имея на руках выездные документы, он, позабыв обиду, ринулся в Евпаторию, предварительно составив с одним из гимназических выпускников оригинальный заговор.

Его конфидент, Алексей Ягубов, был влюблен в гимназистку из Рязани, не достигшую совершеннолетия и разлученную потому строгим отцом-инспектором с царскосельским воздыхателем. План заговорщиков заключался в том, чтобы выкрасть притесняемую девицу из Рязани, отсидеться несколько дней в Березках, следовать затем в Крым, забрать из Евпатории Анну Горенко и вчетвером бежать морем на пароходе во Францию. Но замысел, достойный пера лорда Байрона, дал сбой уже на первом этапе. Жившая в это лето в Березках Александра Сверчкова употребила все свое педагогическое красноречие, убеждая Ягубова оставить инспекторскую дочку в родительском доме до положенных законом лет – а потом и искать путей к счастливому брачному союзу. Действовала умудренная жизнью Александра Степановна тактично и хитро. Через несколько дней Ягубов совершенно потерял решимость и, укрощенный, покинул Рязанскую губернию ни с чем. Но упрямый Гумилев, проводив друга, все-таки отправился в Крым.

Весь прошедший год Анна Горенко неукоснительно начинала каждый новый день с похода на евпаторийскую почту, спрашивая там письмо от Владимира Голенищева-Кутузова из Царского Села. Письма почему-то не оказывалось, и она отправлялась восвояси, недоуменно размышляя о таком странном происшествии. С тем, что царскосельский сорвиголова о ней и думать забыл, Горенко никак не могла освоиться, предполагала потому разное, бесконечно разгуливая по грязному и дикому местному пляжу. В годовщину разлуки с Голенищевым-Кутузовым она бросила, наконец, ходить на почту, так и не разгадав задачи, куда же запропастилось послание из Царского. Гимназию в Евпатории посещать она не хотела. Книг в руки тоже не брала.

Гумилев, извещенный Андреем Горенко о новых привычках сестры Анны, нашел ее гуляющей по своему обычному евпаторийскому прибрежному маршруту с царственной неторопливостью. Он обрадовался полученной в ответ на горячее приветствие любезной улыбке и поспешил – время было дорого! – объявить о тайных срочных сборах и немедленном отъезде в Севастополь, а оттуда – в Марсель. Горенко, слушая его, согласно кивала. Ободренный, он стал говорить о Париже, о Сорбонне, где их ждет встреча с удивительным Папюсом и «белыми рыцарями», о музейном парке дикой природы, прямо в котором, по рассказам Анненского, находится дом семейства Deniker. Она продолжала улыбаться и кивать, потом вдруг, присев на прибрежный валун, закурила папихотку (об этой новой привычке Андрей умолчал). Гумилев, остановившись рядом, продолжил торопить ее собираться.

– Куда?

Было похоже, что пряный табачный дым как будто заставил Горенко пробудиться: она перестала улыбаться и смотрела на Гумилева во все глаза. Он принялся вновь повторять про Севастополь, Марсель и Париж.

– Не надо!

Минуту спустя растерянный Гумилев уже был у черты прибоя один. Вдали дельфины, резвясь, выпрыгивали из волн стремительной цепочкой – потом и они унеслись в море. Гумилеву ничего не оставалось, как вернуться из Евпатории в Березки, а оттуда, оставив мечтательное чудачество, ехать в Царское Село и отбыть во Францию заурядным экспрессом через Варшаву. Уже в начале июля он был в Париже, первые дни прожил в гостинице на бульваре Сен-Жермен, а затем нашел студенческую комнату на rue de la Gaite, 25.

Вплоть до конца года Гумилев делил свое время между лекциями в аудиториях древнего Сорбоннского колледжа в Латинском квартале и усиленными вечерними занятиями в огромном, похожем на вокзальный павильон новом зале библиотеки св. Женевьевы:

> О, пожелтевшие листы
> В стенах вечерних библио́тек,
> Когда раздумья так чисты,
> А пыль пьянее, чем наркотик!

В выборе чтения он руководствовался сведеньями, почерпнутыми на «Факультете герметических наук»[70], организованном Папюсом в Сорбонне как просветительский центр мартинистов. Известно, что в первые парижские месяцы Гумилев освоил труды мистика Элифаса Леви, исторический очерк E. Bossard «Gilles de Rais, maréchal de France, dit Barbe-Bleu»[71] с приложением материалов судебного процесса над средневековым чернокнижником-убийцей и «Практическую магию» самого Папюса. Но вообще сведений об общении с сорбоннскими мартинистами осталось очень мало, как, в общем, и полагается при контактах с тайным мистическим союзом. Известно, что среди учеников и последователей Папюса были распространены маскарадные собрания. Сам *Врач* охотно принимал в них участие, облекаясь в средневековые гроссмейстерские одеяния. Одно из таких собраний описано Гумилевым в стихотворении «Маскарад»:

> Мазурки стремительный зов раздавался,

И я танцевал с куртизанкой Содома…

Стихотворение это обращено к некой загадочной *«баронессе де Орвиц-Занетти»*, которая, по всей вероятности, и играла на маскарадном действе роль «Царицы Содома»[72]. Похоже, что она была «посвященной» высокой степени и имела с юным русским неофитом эротическую связь. Был ли этот роман собственно «любовным», можно только гадать: в стихах Гумилева той поры упоминаются магические обряды, связанные с ритуальным половым соитием:

Спеши же, подруга! Как духи, нагими,
Должны мы исполнить старинный обет,
Шепнуть, задыхаясь, забытое Имя
И, вздрогнув, услышать желанный ответ[73].

Вообще, несмотря на то, что «неизвестные рыцари» мыслили себя защитниками христианства – в области «практической магии» слушатели «Факультета герметических наук» напоминали скорее тамплиеров[74] или доктора Фаустуса. Позднее Гумилев с иронией рассказывал, как из научного любопытства пытался вместе с группой неких сорбоннских студентов вызвать на собеседование… князя тьмы. По его словам, он, следуя указаниям каббалистических трактатов, добрался до конца длительного ритуала и, действительно, «видел в полутемной комнате какую-то смутную фигуру». Уже в ноябре Гумилев пресытился двусмысленными парижскими оккультными приключениями и раздраженно признавался в письме к Валерию Брюсову: «Когда я уезжал из России, я думал заняться оккультизмом. Теперь я вижу, что оригинально задуманный галстук или удачно написанное стихотворение может дать душе тот же трепет, как и вызывание мертвецов, о котором так некрасноречиво трактует Элифас Леви».

Переписка Гумилева с Брюсовым, поместившим в июльских «Весах» стихи «ученика символистов», касалась в основном технических вопросов литературного мастерства. Впрочем, поэтическое творчество изначально также было для Брюсова связано с оккультизмом, правда, в особом, неожиданном ракурсе. В своих работах о символизме в искусстве он не уставал напоминать, что латинское слово «carmina» (стихи) происходило от «carmen» – магический обряд, чародейство. Брюсов был убежден, что поэтический дар связан с деятельностью *прапамяти*, таинственно сохраняющей в душе избранника все древнее знание о «началах и концах» мироздания:

Что знали – Орфей, Пифагор,
Христос, Моисей, Заратустра, Друиды![75]

Поэтому, даже обладая обширными сведеньями в разных книжных науках (а сам Брюсов был великим эрудитом, ощущавшим живую связь с культурным наследием всех народов и эпох), истинный поэт все равно выше всего должен ставить собственное словесное умение, постоянно оттачивать его, доводя стихотворную речь, передающую неуловимые грезы прапамяти, до предела выразительного совершенства. Гумилев взял за правило пересылать Брюсову все свои новые стихотворения – и регулярно получал в ответ лаконичный, но содержательный разбор их художественных достоинств и недостатков. Кроме того, Брюсов рекомендовал «ученику символистов» не ограничиваться книгами, а заводить личные знакомства с носителями пророческого поэтического дара. Впечатления от этих встреч возникали разные. Полубезумный патриарх французских модернистов Леон Дьеркс, доживавший век в Батиньолях на городской окраине среди призраков прошлого, старых вещей и ветхих книг, взял с юного поэта торжественную клятву не предавать гласности ни одно из высказанных в беседе великих откровений. Пережидавший русскую смуту в парижских апартаментах на rue Théophile Gautie Дмитрий Мережковский поднял явившегося за советами и руководством поклонника на смех и выставил вон[76]. А Константин Бальмонт просьбу о встрече просто проигнорировал – под впечатлением революционных событий и вынужденной эмиграции он беспробудно пил, был угнетен психически и нуждался не в дискуссиях о символическом творчестве, а в серьезном лечении.

Но к концу года у Гумилева постепенно и в самом деле начал складываться круг любопытных парижских литературных и художественных знакомств, как русских, так и французских. В этом ему очень помогло семейство Deniker, где старший сын, Nicolas, был литератором, входившим в поэтическое общество «La Plume»[77], собиравшееся в «Taverne du Panthéon» Латинского квартала, а младший, Georges, – художником-кубистом. В числе их друзей находились те, чьи имена звучали все громче: поэт Гийом Апполинер, историк искусства Андре Сальмон, живописец Амедео Модильяни. Помимо того, молодой поэт из «Весов» был благосклонно принят политическим эмигрантом, философом и стихотворцем Николаем Минским, имевшим многолетние связи в творческих и научных кругах «большого русского Парижа»[78]. А художников-дебютантов Мстислава Фармаковского и Александра

Божерянова, начинавших завоевание французской столицы, Гумилев даже приютил у себя. Под мудрым водительством Брюсова от сомнительных оккультных собраний и одиноких бдений над каббалистическими и алхимическими манускриптами «ученик символистов» переключился на обычное для юных обитателей мансард Латинского квартала творческое общение, особенно продуктивное в Париже с его богатыми богемными традициями.

Занятия в Сорбонне также потихоньку эволюционировали от «герметического факультета» в сторону обычных филологических курсов по истории французской литературы. Еще немного и Гумилев, отложив в сторону фантастические проекты, погрузился бы с головой в общую студенческую жизнь, чередуя с лекциями и семинарами посиделки в литературных кафе. Мантия бакалавра Парижского университета отчетливо возникла впереди, уже двинувшись навстречу. Но тут, в очередной канун русского Рождества, великое знамение повергло хозяина школярской кельи на rue de la Gaite в новое восторженное смятение. Знамение, явившееся при посредстве обычного почтальона, представляло собой письмо с незнакомым киевским обратным адресом.

На конверте было проставлено имя Анны Горенко.

VIII

Переписка с Ахматовой и ее согласие на брак. «Сириус». Поездка в Россию. Свидание в Киеве. Новый дом в Царском Селе. Встреча с Брюсовым в Москве. Военный «жеребий». Скандал в Севастополе. Средиземноморские приключения. Каирский сад Эзбекие. Возвращение в Париж.

Внешне в содержании чудесного послания не было ничего особенного. Анна Горенко буднично сообщала, что перебралась из Евпатории в Киев и теперь живет у родственников, завершая курс в Фундуклеевской гимназии. Но скупые строки пели для Гумилева голосом небесной спасительницы Беатриче, возрождающим к новой жизни[79]. Не веря своим глазам, он видел ***ее имя и адрес***. Это, разумеется, и было главным и единственным содержанием корреспонденции. В Киев немедленно ушел ответ, и вскоре Горенко уже извещала знакомых: «Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже три года, и я верю, что моя судьба быть его женой. Люблю ли его, я не знаю, но кажется мне, что люблю».

Возникшая переписка стала большим потрясением для обоих. До своего послания в Париж Анна Горенко пережила убогие похороны старшей сестры (ни у кого не оказалось денег даже на гроб, и, чтобы по-людски предать земле тело сгоревшей в чахотке Инны, пришлось брать ссуду), совершила попытку самоубийства (от нахлынувшего в Евпатории отчаянья она вешалась – веревка оборвалась) и теперь вела жизнь безответной приживалки киевского дядюшки (у того слова «продажные женщины» и «публичный дом» в разговорах о будущем племянницы обычно не сходили с уст). Жила она какой-то отлетающей жизнью, пытаясь смириться с ролью обманутой и отверженной бесприданницы, «вечной скиталицы по чужим грубым и грязным городам». Теперь же все менялось. Получив очередное письмо от Гумилева, она начинала паниковать, боялась распечатать, потом справлялась у знакомых – правильно ли поняла прочитанное. Помимо прозы там были и стихи – и она, еще недавно никому не нужная и жалкая, едва узнавала себя в этих волшебных зеркалах:

Знаете ль вы, что недавно
Бросила рай Беатриче?..

Но и у Гумилева неожиданно появился влиятельный

собеседник, едва ли не сильнее Брюсова. В письмах Горенко звучала неожиданная твердость, когда речь заходила об оккультной мистике, которую она считала ересью и не переносила. Ее православная религиозность всегда доходила до некой простодушной умильной изнеможенности, а в несчастьях – утвердилась до фанатизма. Эта решительность Горенко оказалась созвучна собственному совершающемуся разочарованию Гумилева: он не только оставил встречи с Орвиц-Занетти (в сложившихся обстоятельствах это было необходимостью), но и утратил весь интерес к обществу мартинистов. Он даже усомнился в символизме. Отложив на время поэтические опыты, Гумилев вдруг принялся за большую философскую повесть об оккультизме и… Иисусе Христе. Под именем *Эгаима*, «Бога богов»[80], Назарянин появлялся в оккультных мирах среди посвященных в тайное знание титанов и творил над ними суд:

– Они прекрасны, они обольстительнее утренних звезд. Но они дети не нашей земли, они пришли издалека. Ее горести, ее надежды для них чужды, и за то *Я обрекаю их гибели!*

Повесть «Гибели обреченные» предназначалась для небольшого художественного журнала «Сириус», который Гумилев, Божерянов и Фармаковский взялись издавать в Париже с начала 1907 года при помощи живописцев и литераторов местной российской общины. Автором «Сириуса» стала и Горенко, приславшая во второй номер свои стихи, удивившие Гумилева:

> На руке его много блестящих колец
> Покоренных им девичьих нежных сердец.
> ……
> Но на бледной руке нет кольца моего,
> Никому, никому не отдам я его.

Однако он безропотно отдал неожиданную стихотворную клятву *«Анны Г.»* в печать: материала для безгонорарного издания катастрофически не хватало. На третьем, мартовском номере журнал совсем заглох – к огромному огорчению Гумилева, пытавшегося спасти дело, дополняя публиковавшуюся из номера в номер философскую повесть очерками и стихами под псевдонимами *«Анатолий Грант»* и *«К-о»*. «Анна Г.» отнеслась к краху предприятия иронически:

– Зачем Гумилев взялся издавать «Сириус»? Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастиев перенес наш Микола, и все понапрасну! Вы заметили, что сотрудники почти все так же известны и почтенны, как я!

Куда больше ее занимал скорый приезд жениха:

– Мой Коля собирается, кажется, приехать ко мне – я так безумно счастлива… Всякий раз как приходит письмо из Парижа, его прячут от меня и передают с великими предосторожностями. Затем бывает нервный припадок, холодные компрессы и общее недоумение. Это от страстности моего характера, не иначе. Он так любит меня, что даже страшно.

В апреле Гумилеву исполнялся призывной 21-й год: по законам Российской Империи, было необходимо лично явиться в уездное военное присутствие по месту жительства для *«выемки жеребия»*, определявшего перевод в запас или прохождение срочной службы. В Киеве он был в конце месяца. Все три дня Анна Горенко среди любовных признаний постоянно принималась твердить о некой фатальной мистической идее, поразившей ее накануне:

Но – для нас перед богами
Брачный гимн не возгремит;
Вижу: грозно между нами
Тень стигийская стоит.
Духи, бледною толпою
Покидая мрачный ад,
Вслед за мной и предо мною,
Неотступные, летят…[81]

По ее сбивчивым испуганным объяснениям, чем безмятежнее она ликовала, предвкушая любовную встречу, тем сильнее были одолевающие ее пророческие кошмары. По ночам на узорах обоев появлялись шевелящие губами скорбные лики – и она по нескольку ночей подряд не могла заснуть, помимо воли и страха жадно прислушиваясь к *ужасному*. Днем она исступленно каялась, выстаивая службы в Софийском соборе, но, покидая храм, вновь вспоминала о своем близком счастье, и темное мучительное томленье немедленно приступало к ней опять. Родные считали это родом религиозной истерии (если не обычным болезненным помешательством, вызванным внезапным благим поворотом судьбы). Гумилев смотрел на вещи по-иному и окончательно уверился в том, что его избранница – существо необыкновенное. Но, так или иначе, определенного решения о помолвке до отъезда Гумилева из Киева принято не было. К тому же Горенко еще не получила в своей Фундуклеевской гимназии аттестата зрелости: решительное объяснение в семьях договорились отложить на лето.

Первого мая Гумилев был в Царском Селе. За время его отсутствия домашние перебрались в благоустроенную квартиру

первого этажа каменного особняка Белозеровой на Конюшенной улице – Степан Яковлевич из-за осложнений ревматизма стал совсем плох, а в новом жилье было удобнее ухаживать за лежачим больным. Наверху, во втором этаже, помещалась семья недавно приехавших из Петербурга художников Дмитрия Кардовского и Ольги Делла-Вос. Последняя вспоминала, что у новых соседей накануне приезда сына шли постоянные споры: раздраженный отец слышать не хотел об его литературных успехах и настаивал, чтобы тот в первую очередь завершил университет и избрал научную деятельность. О самом прибытии студента-парижанина Делла-Вос-Кардовская не упоминает, но понятно, что с явившимся на поклон младшим сыном суровый ветеран, прикованный недугом к кожаному кабинетному дивану, беседовал в том же духе. Мятеж в России, слава Богу, понемногу шел на убыль, новый премьер-министр Петр Столыпин железной рукой укротил и уличных возмутителей, и распоясавшуюся было Думу, а в наступавшей мирной тишине диплом и ученая кафедра обещали и почет, и достаток.

Почтительный сын показал себя совершенным молодцом. О литературной белиберде не заикался, был кроток, рассудителен – и получил в итоге от родителя благословление и средства на продолжение учебы (хотя по несолидной французской Сорбонне Степан Яковлевич прошелся не раз и не два, недоумевая, чем плох императорский университет в Петербурге). Обрадованный Гумилев среди завязавшихся затем бесед невзначай упомянул об исчезнувшей с горизонта Горенко. Насторожившаяся Анна Ивановна сдержанно заметила, что скандальная девица слыла *дурнушкой*. А Степан Яковлевич – тот ничего и не понял вовсе, и даже позволил себе легкомыслие:

– Не скажи, матушка: дурнушки-то тоже такие бывают!..

И махнул рукой.

По просьбе отца Гумилев, в ожидании военной жеребьевки, отправился на несколько дней в Рязанскую губернию – то ли с поручением к тамошней родне, то ли по делам с продажей дома в Березках (потрепанная пожаром усадьба ввиду болезни владельца была выставлена на торги еще в прошлом году). В Москве он задержался, достигнув, наконец, здания новой гостиницы «Метрополь», где в верхних этажах расположились комнаты издательства «Скорпион» и редакция журнала «Весы». Из дневника Валерия Брюсова следует, что личное знакомство учителя с учеником состоялось 15 мая: «Сидел у меня в «Скорпионе», потом я был у него в какой-то скверной гостинице, близ вокзалов. Говорили о поэзии и оккультизме. Сведений у него мало. Видимо, он находится в своем декадентском периоде.

Напомнил мне меня 1895 года».

После возвращения Гумилев тянул призывной жребий – выпала действительная служба. Теперь по принятому порядку призывнику предстояло освидетельствование на осенней медицинской комиссии. Однако студентам полагалась отсрочка, и Гумилев, сдав все экзамены за первый курс Парижского университета, мог просто отправить почтой в комиссию необходимые документы. В России его больше ничего не удерживало, и он, изъявив желание испытать на этот раз морской путь, простился с родными и отбыл из Царского Села в Севастополь. Впрочем, заказывать билет на марсельский пароход он не торопился, а снял себе комнату в одном из коттеджей севастопольской «Дачи Шмидта» – популярной курортной грязелечебницы в Песчаной бухте. Временное жилище оказалось хоть куда: в двух шагах вместе с матерью, братьями и сестрой проводила лето выпускница Фундуклеевской гимназии Анна Горенко.

У нее была… свинка!

Детскую эту и, в общем, невинную болезнь Горенко, которой только что исполнилось восемнадцать лет, переживала мучительно. Как положено, лицо распухло – и вся заранее продуманная роль счастливой невесты рухнула в тартарары!! Гумилев нашел ее до бровей закутанную в газовый платок и в первый момент перепугался. Узнав же причину, успокоился, деликатно заметив:

– Вы похожи теперь на Екатерину Великую!

Мужчина, он не придал, разумеется, досадной случайности никакого значения. А зря! Несчастная хворь, усилив мнительность, раздразнила уязвленное самолюбие. Гумилев, принятый в семье Горенко по-дружески, не знал, что и делать. Благодушная «Несуразмовна» расспрашивала его о нынешней Франции, Андрей, уже по-родственному, подумывал осенью присоединиться к студенту Парижского университета и поступить учиться в Сорбонну, а Анна… только огрызалась и безутешно страдала. Гумилев старался ее развеселить, рассказывая разные, приходящие на ум занимательные истории. Так родилось одно из самых волшебных стихотворений, когда-либо написанных на русском языке:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф…

Но Горенко не унималась. Все окружающее день ото дня раздражало ее больше и больше, а нетерпеливый жених-стихотворец, как назло, лез со своими стихами и историями под горячую руку. В конце концов она вспылила и запретила рассказывать и читать ей что-нибудь – даже специально привезенную (по ее же просьбе!) пьесу о «Шуте короля Батиньоля»[82]. Терпение Гумилева лопнуло – и он с досады швырнул рукопись в горящую печь. И тогда взбешенная Горенко, собой не владея, наговорила ему…

Мысль о том, что в Севастополе никто ничего не слышал о недавнем прибытии бродячего цирка с мощными африканскими борцами, и, следовательно, упоительные любовные страсти на тайном ложе не более чем фантастический бред – эта первая за минувшие сутки здравая мысль пришла в голову Гумилеву, когда крымский берег исчез из виду. Пароход «Олег», должно быть, направлялся в Константинополь (Гумилев взял билет на ближайший по времени отправки рейс, не затрудняя себя прочими сведеньями). Над водной пучиной плясали искры и лучилось полуденное солнце. За бортом реяла какая-то горемычная береговая пичуга, пытаясь догнать корабль, но силы ее слабели, и она, то приближаясь почти вплотную к спасительной палубе, то отставая, была, конечно, обречена. Гумилеву показалось, что он ясно видит наполненные укором и ужасом молчаливо рыдающие птичьи глаза. «Не рассчитала, далеко залетела», – жалели пассажиры.

С таким же укором и ужасом смотрела на него из своего платка Горенко, когда он машинально прощался с ее домашними (никто, вероятно, ничего не понимал, все ожидали – не сегодня, так завтра – объявления помолвки). Потом он расспрашивал хозяйку и прохожих про севастопольский цирк с африканскими борцами (все изумлялись, а некоторые шарахались), потом оказался в портовой конторе РОПиТ[83], потом – на борту «Олега». Пароход, точно, шел в Константинополь. Достигнув османской столицы, верно, следовало делать пересадку на марсельский рейс, но Гумилев никак не мог связать внезапно вышедший из-под его власти ход событий:

– В жизни бывают периоды, когда утрачивается сознанье последовательности и цели, когда невозможно представить своего «завтра» и когда все кажется странным, пожалуй, даже утомительным сном.

Вместо портовой пересадки он оказался на холме Галаты, в доме невероятно красивой греческой гадалки, которая, раскидывая свою колоду, смотрела то печально, то любовно, вскрикивала, указывала пальцем на легшие карты, пытаясь что-то

пояснить и как будто от чего-то отчаянно предостеречь. Внизу дремал пестрый город со своими древними куполами и минаретами, полный чужой и опасной жизни. Из этого неожиданного убежища, опомнившись, он бросился вон, из Константинополя поплыл, меняя пароходы, в Смирну, оттуда – в Александрию, потом поездом – в Каир. Среди пестрых, меняющихся картин восточных и африканских древностей он искал исцеления мыслям, все так же своевольно не подчиняющимся ему. В Александрии гид из местных оборванцев за несколько медяков охотно указал ему некие каменные руины, скрывающие, по мнению аборигенов, могилу Клеопатры и Антония[84]. Гиена, соскользнув тенью с вечерних плит, ощерилась вдалеке и закликала, воя. Потом он сообразил, что Клеопатра явилась только потому, что знаменитый горбоносый профиль вероломной и распутной царицы этих мест на монетах и изваяниях удивительно повторял профиль Анны Горенко – об этом заходили у них разговоры…

В Каире он остановился в гостинице, расположенной в Аль-Азбакее, центральном районе города. В давние времена эмир Азбак построил здесь, между двух прудов, свой дворец, который повелел окружить роскошными садами. Около садов Азбакеи селилась каирская знать – вплоть до XIX века, когда городской центр постепенно был перестроен на европейский лад. Однако садовая зона была тут оставлена, превращенная в парк с газонами, беседками, фонтанами и водопадом. Гумилев, весь день бесцельно метавшийся по галдящему городу, забрел в сад *Эзбекие* (так он слышал от прохожих наименование центра Каира) уже поздним вечером. Течение мыслей сделалось несносным, и единственным выходом остановить приближающееся безумие была, конечно, смерть.

О том он, опустившись на колени, и помолился от души – впервые за все это время.

Вокруг него немедленно воздвигся рай. С изумлением он разглядывал окружающие платаны и пальмы, над которыми нависали невероятно яркие и низкие звезды, а под звездами бесшумно носились переливающиеся ночные бабочки:

> И, помню, я воскликнул: «Выше горя
> И глубже смерти – жизнь! Прими, Господь,
> Обет мой вольный: что бы ни случилось,
> Какие бы печали, униженья
> Ни выпали на долю мне, не раньше
> Задумаюсь о легкой смерти я,
> Чем вновь войду такой же лунной ночью

Под пальмы и платаны Эзбекие».

Вернувшись в гостиницу, он впервые осознал, что находится в Северной Африке, в древней стране Пирамид, за тысячу километров от Франции, и что лето уже на исходе, и что все родительские деньги, выданные на грядущий учебный год, за время его морского и сухопутного бегства из Севастополя до Каира потрачены без остатка…

Возвращение в Париж оказалось очень трудным! С грехом пополам он добрался до Александрии и сел на пароход, идущий в Марсель. Тут финансы Гумилева иссякли окончательно, и в этом южном французском порту, воспетом Александром Дюма, он застрял на несколько дней уже на положении бездомного бродяги. Дело осложнялось еще и тем, что Марсель летом 1907-го был охвачен уличными беспорядками, и Гумилев оказался вовлечен в какую-то скверную полицейскую историю («воевал с апашами», как он выразился позднее). Выручил случай: он познакомился с паломниками, возвращавшимися из Святой Земли, которые имели разрешение на проезд до Нормандии на угольном пароходе. Вместе с ними Гумилев обогнул Европу и, вконец измотанный тяготами пути, оказался в Трувиле. Внезапно в глазах опять померкло, и лошадиная голова с оскаленной пастью вновь начала хохотать перед глазами. Никаких сил уже не осталось! В Севастополь на последние гроши была отправлена парадная фотокарточка, которую он мечтал преподнести Горенко в миг помолвки – с только что начертанной прощальной цитатой из «Жалобы Икара» Бодлера:

Mais brulé par l’amour du beau
Je n’aurai pas l’honneur sublime
De donner mon nom à l’abime
Qui me servira de tombeau[85].

Но тут вмешалась доблестная французская полиция. Странное поведение и еще более странная (после нескольких дней на угольном транспорте) одежда Гумилева привлекли внимание постовых, и сразу же по выходу с почты он был задержан en état de vagabondage, за бродяжничество. Узнав, что несостоявшийся самоубийца является студентом Сорбонны и русским дворянином, полицейские, дав возможность Гумилеву прийти в себя и принять приличный вид, отправили его по месту учебы. В 20-х числах июля он вновь объявился в Париже – без денег, без крыши над головой, без надежд и планов на будущее.

IX

Коммуна «Аббатство». Богемная жизнь. Поэтическая лихорадка. Знакомство с Е. И. Дмитриевой. Андрей Горенко. Тайная поездка в Россию. Освобождение от военной службы. Новые несчастья Анны Горенко. Самоубийственное отчаянье. Творческое самоопределение. Новая философская проза. Jardin des Plantes и салон Кругликовой. Издание «Романтических цветов». «Было – не было». А. Н. Толстой. Возвращение в Россию и объяснение с Анной Горенко.

Вернувшись в Париж, безденежный и бесприютный Гумилев первые дни проживал у приятелей Николая Деникера в художественной коммуне «L'Abbay», занимавшей пустующее здание бывшего монастыря Кретей (Abbay de Créteil) на берегу Марны к юго-востоку от Парижа. Год назад эту творческую общину организовали молодые парижские поэты Шарль Вильдрак и Рене Аркос, а идеологом ее стал поэт, переводчик и литературный критик Александр Мерсеро, увлеченный модными идеями русского «толстовства»[86]. Члены «Аббатства» соединяли занятия поэзией и живописью с земледельческим и ремесленным трудом и стремились к простоте и безыскусности мыслей и чувств. В искусстве они были *унанимистами*[87], т. е. искали «душевности» и отвергали творчество предшественников-символистов как слишком сложное по форме и чересчур ученое по содержанию. Искусство виделось тут обычным ремеслом в ряду прочих ремесел. Быт был спартанский, зато духовная жизнь коммунаров оказалась исключительно насыщенной – дни, проведенные в «Аббатстве», стали для пригретого французскими *«задушевниками»* Гумилева первым наглядным опытом преимуществ существования писателя в окружении дружеской творческой артели.

Вскоре Гумилев, получив из России денежный перевод «на малые издержки», покинул гостеприимный монастырь Кретей и вновь снял студенческое жилье в Латинском квартале на rue Bara, 1. Но в Сорбонне он больше не показывался. Дни и ночи напролет он проводил в кафе «Closerie des Lilas»[88] на Монпарнасе, где собирались участники «Аббатства», и в «Taverne du Panthéon» Латинского квартала, вотчины «La Plume». Завсегдатаев этих собраний русский поэт поражал крайней воздержанностью, ограничиваясь большей частью одной-двумя чашками кофе или стаканом гренадина. О том, что деньги, предназначенные на новый учебный год, рассеялись уже в июле по разным странам и

городам Азии и Африки, Гумилев родителям сообщать не спешил, предпочитая неделями питаться одними жареными каштанами. Зато в новых стихах недостатка не было: как по волшебству, живые картинки, всплывающие в памяти, – измученная птица над бесконечной морской гладью, воющая над погребальными камнями гиена, пьяная африканская танцовщица в портовом марсельском кабаке – немедленно превращались в строчки, которые он торопливо записывал, даже не прерывая беседы. Похоже, и его, как Анну Горенко, любовные страдания подвигли к какой-то потусторонней стихии, сообщающей избранникам в муках и отчаянии новые слова и гармонии. Брюсов и символисты оказались правы, но ощущение, что пером движешь не ты сам, а какая-то неведомая сила, было не из легких. Так, вероятно, чувствовал себя некогда юный Нико Паганини, получив свою волшебную скрипку от мрачного духа тьмы:

> Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,
> У того исчез навеки безмятежный свет очей,
> Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
> Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.

Письма с новыми стихами шли в Москву к Брюсову сплошным потоком. «Если бы мы писали до Рождества Христова, – заклинал Гумилев, – я сказал бы Вам: Учитель, поделись со мной мудростью, дарованной тебе богами, которую ты не имеешь права скрывать от учеников. В Средние века я сказал бы: Maître, научи меня дивному искусству песнопенья, которым ты владеешь в таком совершенстве. Теперь я могу сказать только: Валерий Яковлевич, не прекращайте переписки со мной…» Но Брюсов и не собирался прекращать переписку. Пока «ученик символистов» куролесил в Средиземноморье, в № 7 «Весов» вышла новая подборка его стихотворений, имевшая успех. На дебютанта немедленно обратил внимание главный конкурент брюсовского журнала, экстравагантный московский богач Николай Рябушинский, издатель роскошного ежемесячника «Золотое Руно». «Надо быть искренним и честным, – писал Гумилеву Рябушинский, – в Вашем стихотворении прелестные образы, в нем есть нечто родственное нашим стремлениям. Поэтому я с радостью помещаю Ваше имя в числе сотрудников «Золотого Руна». Известный щедрыми авансами и гонорарами Рябушинский собирался в Париж и настоятельно звал Гумилева встретиться. Но тот, sancta simplicitas[89], не преминул сообщить об этом своему «Maître-у», получил в ответ выволочку и, проигнорировав заманчивое предложение, так и остался сидеть

на постном пайке.

Бывшего редактора «Сириуса» поддерживали и развлекали друзья-художники: Мстислав Фармаковский водил в музей живописца Гюстава Моро и в популярный японский театр Отодзиро Каваками, а Себастьян Гуревич приглашал ужинать к себе в мастерскую. «Он был совсем еще мальчик, – вспоминала поэтесса Елизавета Дмитриева, мельком столкнувшаяся с Гумилевым в собраниях русской парижской богемы, – бледное, манерное лицо, шепелявый говор, в руках он держал небольшую змейку из голубого бисера. Она меня больше всего поразила… Н.С. читал стихи… Стихи мне очень понравились… Маленькая цветочница продавала большие букеты пушистых белых гвоздик. Н.С. купил для меня такой букет».

В сентябре из России, как обещал, приехал Андрей Горенко и поселился у Гумилева на rue Bara. Устраивая гостя, Гумилев намекнул, что его собственный скорый отъезд из Севастополя в июне не был случайностью. Андрей от души посоветовал Гумилеву не принимать всерьез близко к сердцу все, что взбредет в голову сестре, дикие выходки и фантазии которой давным-давно стали притчей во языцех:

– Это еще что! В тринадцать лет она поругалась в Севастополе с родителями, взяла и перемахнула через борт баркаса и уплыла в море, а вернулась только под вечер, когда уже собирались искать утопленное тело!

Гумилев признался: тоскует так, что ежедневно ходит из своего Латинского квартала на другой берег Сены гулять на бульваре *de Sébastopol*. Рассудительный Андрей, посочувствовав, рекомендовал Гумилеву поскорее увидеться с сестрой вновь и переговорить с ней, наконец, без горячки, стихов и истерик (ну и, разумеется, быть всегда готовым к разным сюрпризам, если свадьба все-таки состоится).

Гумилеву, действительно, так или иначе, нужно было попасть в Россию, чтобы явиться во время осеннего призыва для прохождения медицинской комиссии – экзамены в Сорбонне он не сдал, и студенческая отсрочка на него уже не распространялась. Беда заключалась в том, что родители в Царском Селе, регулярно получая бодрые парижские послания, пребывали в уверенности, что сын успешно проходит во Франции курс наук, а о появлении в родном доме с кошмарной повинной нельзя было и думать. Поэтому, разжившись деньгами у ростовщика, ему пришлось действовать конспиративно. Были заготовлены еще несколько бодрых писем о парижских делах, которые в отсутствие Гумилева Андрей Горенко должен был периодически отсылать с rue Bara – сам же автор писем отбыл на

родину *инкогнито*. Путь его, как и весной, лежал через Киев: по указаниям Андрея, Анна Горенко, квартируя у кузины Марии Змунчиллы, должна была держать вступительные экзамены на киевские Высшие женские курсы. Здесь, правда, получилась накладка. Постоялица квартиры на Мерингофской улице, почему-то срочно собравшись, возвратилась к матери в Севастополь. Зато по прибытии в Петербург все пошло без помех: в Царскосельское военное присутствие удалось проникнуть без лишней огласки, и 30 октября (по «русскому» стилю, разумеется) Гумилев предстал перед военными медиками. Тут не задержали: сильный астигматизм делал призывника «совершенно неспособным к военной службе». В тот же день был выписан «белый билет», и Гумилев, свободный с этого момента от воинской повинности ***навсегда***, так же незаметно покинул Царское Село. По всей вероятности, вечером он был уже на пути в Севастополь. В знак примирения Гумилев вез купленную в Константинополе чадру. Теперь Горенко, подцепив невзначай еще какую-нибудь детскую болезнь, могла скрывать от него свое лицо сколько угодно.

Но так шутить не получилось.

Оказалось, что она, действительно, поступала в Киеве на Высшие женские курсы, но заболела катаром легких. Болезнь быстро приняла острые формы, и врачи заподозрили начало туберкулезного процесса. Приговор их был однозначен: курсы – смерть, равно как и пребывание в зимний период где-нибудь, кроме южных широт:

– Теперь-то я понимаю, что переживала бедная Инна и понимаю состояние ее духа!

В старом доме на Малой Морской, где уже несколько лет проживала Инна Эразмовна со своими младшими, царил настоящий ужас: в семье намечалась *третья* чахоточная смерть среди детей (маленькая Рика Горенко умерла от легких еще в 1895-м). Несчастная «Несуразмовна» все время порывалась немедленно везти больную на лечение в Италию или на французскую Ривьеру, хотя денег в доме не было даже на расчет с прислугой. Сама же Анна, напротив, оцепенела: у нее день ото дня сильнее болело горло, и она боялась, что туберкулезный процесс поразит глотку:

– Очень боюсь горловую чахотку. Она хуже легочной. Sic transit gloria mundi[90].

Столь кроткой Гумилев ее еще не видел. Она с благодарностью приняла чадру и была с ним очень добра и обходительна, но объясняться сразу же отказалась наотрез:

– Кажется, болезнь окончательно отняла у меня надежду на возможность счастливой жизни…

Гумилев и сам видел, что строить какие-либо планы на будущее в сложившейся ситуации нельзя. Безысходность происходящего глубоко поразила его. Оказавшись через несколько дней в Париже, он позабыл про все свои жизнелюбивые обеты, отмахивался от Андрея, сохранявшего обычное хладнокровие, пил, бродил по каким-то малайским опиумным притонам и в конце концов, очутившись однажды в блудном и пьяном ночном парижском Булонском лесу, нащупал в потайном кармане купленный в Каире крошечный пузырек с цианидом. Разломив стекло, он стряхнул на ладонь белый спекшийся кусок, похожий на половину рафинадного сахара, бросил в рот, мучительно сглотнул и, пока еще было сознание, со злостью полоснул осколками по запястью. Ангелы, толпившиеся вокруг, укоризненно закивали. Они шли мимо по лазоревому полю, все в белом, с покрытыми головами, и ему вдруг стало любопытно: смерть ли это уже или лишь завершение жизни? Вглядываясь, он тревожно ждал, что лазоревое поле померкнет и белые навсегда уйдут, но его, видно, не хотели оставлять. Делать было нечего, он двинулся навстречу – и услышал чей-то громкий стон…

Гумилева спасла чудовищная передозировка отравы. Он принял порцию цианида, способную поразить насмерть едва ли не дюжину человек, и потому яд не усвоился. Окоченев от холода, с рукой, почерневшей от запекшейся крови, он лежал навзничь на склоне крепостного рва, уставившись в утреннее лазоревое небо, в котором торжественной чередой проходили белые, кружевные облака. Кое-как он поднялся на ноги. Рядом валялись разорванный воротник и галстук. Все вокруг: деревья, мансардные крыши, асфальтовые дороги, небо, облака – казалось ему жестким, пыльным, тошнотворным. В ужасном состоянии он добрался до rue Bara, перепугав Андрея Горенко. Тот, вызвав врача, бросился на телеграф и отправил сестре телеграмму о случившемся. Ответ последовал незамедлительно. Телеграммой же Анна Горенко сообщала, что с чахоткой у нее вроде бы обошлось. Вслед пришло письмо: туберкулеза нет, все позади, она ждет встречи. Андрей, пробежав послание сестры вслед за счастливым Гумилевым, иронически заметил, что, выходит, в Париж пропутешествовал все-таки не зря. Он возвращался в Россию: Сорбонна оказалась ему и не по нраву, и не по карману.

Оставшись один, Гумилев под впечатлением всего происшедшего принялся за философскую прозу. Взяв путь профессионального литератора (то, что ученая стезя в Сорбонне не сложилась, он понимал не хуже Андрея Горенко), следовало наметить вехи – и в рассказах, появившихся за четыре следующих месяца, это удалось сделать. Смирение и целомудрие хранят

земную любовь поэта Гвидо Кавальканти, тогда как животная чувственность Лесного Дьявола и разбойная похоть Черного Дика превращают их в отвратительных чудовищ и ведут к гибели. Высшей доблестью, как следует из истории о Золотом Рыцаре, является простодушная и твердая вера в Христа и готовность идти за Ним, вплоть до смерти, а дерзкое проникновение в оккультные тайны, лежащие за пределами простых евангельских истин, приводит лишь к бесплодной мучительной тоске, настигающей в итоге храброго героя странной легенды о двенадцати дочерях Каина. Мастерство, трезвый расчет и мудрое здравомыслие позволяют старому Придворному Поэту превзойти молодых новаторов и создать совершенное стихотворение. И, напротив, безумное стремление скрипача-виртуоза Паоло Белличини к идеальному совершенству, лежащему за пределами земного бытия, становится дьявольским искушением, погубившим и талант, и душу, и самую жизнь музыканта. В отличие от неоконченной повести о «гибели обреченных», рассказы Гумилева соединяли философскую сложность с совершенством слога – мастерству повествования он теперь сознательно и упорно учился у Данте, Пушкина, Карамзина, Вальтера Скотта, Эдгара По, Гилберта Честертона. Брюсов, ценивший изысканность прозаической речи, признавал успехи ученика, но принимал к публикации в «Весах» далеко не все: установки нового рассказчика явно расходились с общим направлением журнала, прославлявшего демонический героизм и наития символизма.

Наступавший год Гумилев встречал в привычной богемной компании, нашедшей помимо шумных посиделок в кафе новую забаву. Николай Деникер раздобыл у отца ключи от Jardin des Plantes, и его друзья совершали теперь экзотические ночные прогулки по пустынному Ботаническому саду и Зверинцу. При свете луны французские и русские поэты читали свои стихи под ветвями ливанских кедров, забирались на вершину Лабиринта, созданного графом Буффоном еще в XVIII веке, и любовались, гуляя между бассейнами и вольерами, тибетскими медведями, гиппопотамами, фламинго, павлинами и огромным мандрилом Бу-Бу. Но, следуя мудрейшему совету Брюсова неустанно расширять круг эстетических впечатлений и литературных знакомств, ночные богемные кутежи и прогулки в Jardin des Plantes Гумилев чередовал с посещениями знаменитых парижских живописных салонов Société Nationale и Société des Artistes Indépendants (его очерк о них появился в «Весах»)[91], а также – собраний в художественной студии Елизаветы Сергеевны Кругликовой, с которой его познакомил Жорж Питоев. Бывший

тифлисский гимназист, а ныне студент Сорбонны, встретив старого приятеля в Париже, немедленно заинтересовал Гумилева рассказами о «Русском артистическом кружке», собиравшемся по четвергам у Кругликовой на улице Буассонад. Высокоталантливая художница и крупный гравер Кругликова принимала у себя как начинающую богемную молодежь, так и цвет «русского Парижа», признанных творческих мастеров, ученых из «Высшей школы общественных наук»[92], громких политических эмигрантов и всевозможных знаменитостей. Гумилев был представлен ей как литератор-*«весист»* и вскоре превратился в желанного гостя. Став горячей поклонницей стихов Гумилева, Кругликова, по-видимому, содействовала публикации сборника *«Романтические цветы»*, увидевшего свет в начале 1908 года. Это был блестящий итог как завершившегося литературного ученичества, так и всей подходящей к концу «французской» юношеской эпопеи. Разумеется, сборник был посвящен *Анне Андреевне Горенко*, а первый экземпляр тиража немедленно ушел в Севастополь.

Между тем их возобновленная переписка приняла странный характер. Горенко, перемогая свои хвори в зимнем Севастополе, очевидно, томилась от безделья и затеяла игру, внушенную скандальными литературными новинками последних месяцев. В повестях и рассказах Михаила Арцыбашева, Лидии Зиновьевой-Аннибал, Михаила Кузмина с невиданной еще откровенностью говорилось о сексуальных переживаниях героев, обнимающих даже и извращенные сферы. Манифестом предельной откровенности, охватившей новейшую словесность, стал рассказ молодого писателя Анатолия Каменского «Леда», героиня которого, хозяйка модного столичного салона, проповедуя античный идеал «прекрасной наготы и душевной чистоты», принимала своих гостей совершенно голой:

– Спросите себя, может ли женщина с прекрасным молодым телом, не стыдясь, не преследуя грязных целей, появляться обнаженная в толпе? Конечно, может, и даже смешно говорить, так это старо и просто. Однако все признают, и никто не делает…

Подражая «Леде», Анна Горенко с увлечением излагала в прибывающих в Париж корреспонденциях свои изысканные эротические фантазии, искусно оставляя открытым вопрос: было ли описанное пережито ей *в опытном порядке* или не было. Помня мудрое предостережение Андрея Горенко, Гумилев не спешил принимать душераздирающие письма всерьез, но чем дальше, тем больше эта затеянная от севастопольской скуки игра начинала обнаруживать дурной до оскорбительности тон, не возможный в любовном общении:

Пусть не запятнано ложе царицы,
Грешные к ней прикасались мечты…

Сияющий и небесный облик далекой возлюбленной в эти дни в сознании Гумилева постепенно померк, не совместимый с эротическими фантазиями глупой провинциальной кокетки. Впрочем, в любом случае необходимо было личное объяснение. Возвращение в Россию было давно решено, но, не желая лишнего скандала с отцом, Гумилев дипломатично ожидал весеннего завершения учебного года, чтобы предстать в Царском Селе вернувшимся «на щите», подобно греческому герою: что делать, если испытания второго курса оказались не по силам русскому студенту! В апреле он уже отдавал прощальные визиты, приобретя напоследок в салоне Кругликовой еще одно приятное знакомство с молодым поэтом и прозаиком Алексеем Толстым[93]. «Мы часто сходились и разговаривали, – вспоминал Толстой, – о стихах, о будущей нашей славе, о путешествиях в тропические страны, об обезьянках, о розысках остатков Атлантиды на островах близ южного полюса, о том, как было бы хорошо достать парусный корабль и плавать на нем под черным флагом… Лето было прелестное в Париже. Часто проходили дожди, и в лужах на асфальтовой площади отражались мансарды, деревья, прохожие и облака – точно паруса кораблей, о которых мне рассказывал Гумилев».

В конце «европейского» апреля Гумилев выехал из Парижа, чтобы через несколько дней с пересадками добраться до Севастополя. Там, наконец, состоялось решительное объяснение с Анной Горенко, увы, совершенно не такое, как хотелось. В сердцах, Гумилев вернул «эротоманке» ее скандальные письма и потребовал назад… константинопольскую чадру. Горенко вынесла ему все их реликвии и драгоценные сувениры:

– А вот чадру я не отдам – пока совсем не изношу…

X

У Брюсова в Москве. Возвращение в Царское Село. «Вечера Случевского». Сотрудничество в «Речи». Вера Аренс. Летние разъезды. Первое Слепнево. Случайная встреча. У Андрея Антоновича Горенко на улице Жуковского. «Анна Ахматова». Поступление в Петербургский университет. Меланхолия. Поездка в Средиземноморье. Египетское путешествие. Новый переезд. Граф Комаровский. В мастерской Ольги Делла-Вос.

Из писем домашних Гумилев знал, что отец очень недоволен его неудачей с Сорбонной, а о литературных занятиях сына по-прежнему и слышать не хочет. Поэтому из Севастополя, не заезжая в Царское Село, Гумилев отправился в Москву, договариваться с Брюсовым об издании новой книги стихов в издательстве «Скорпион». В сочетании с уже вышедшими «Романтическими цветами» такая наглядная демонстрация литературных успехов была не лишней перед грядущим объяснением. «Мэтр» принял Гумилева у себя дома как доброго знакомца, согласился включить в планы издательства большую книгу стихов «Жемчуга» и поместить об этом соответствующий анонс в списках готовящихся изданий «Скорпиона». С этим последним козырем Гумилев и прибыл в конце «русского» апреля в дом на Конюшенной.

Выдержав бурную родственную встречу («козырь» не подействовал, отца удалось утихомирить только твердым обещанием немедленного поступления в *«императорский университет»* – да не на историко-филологический, а на… юридический факультет), Гумилев стал осваиваться в изменившейся за время отсутствия царскосельской жизни. Он познакомился с соседями-художниками, найдя уже с первой беседы множество общих тем, нанес визит на Фридентальскую улицу к Иннокентию Анненскому, который тепло принял врученную учеником книжку «Романтических цветов» («Темно-зеленая, чуть тронутая позолотой… Можно пить, как глоток зеленого шартреза!»), и стал кандидатом на баллотировку в литературный кружок «Вечера Случевского», образовавшийся из прошлых собраний на Магазейной улице. Теперь общество стало весьма влиятельным среди литераторов столицы и потому закрытым – вход разрешался лишь для поэтов «с книгой», по авторитетной рекомендации и с испытательным ритуалом. Искомой книгой Гумилева стали, естественно, «Романтические цветы», поручителем парижского гостя выступил Анненский-

младший (он же *Валентин Кривич*), а открытая баллотировка состоялась на заседании 24 мая, после авторского чтения только что написанной под впечатлением от севастопольского объяснения с Горенко жестокой эротической баллады «Царица»:

Когда зарыдала страна под немилостью Божьей
И варвары в город вошли молчаливой толпою,
На площади людной царица поставила ложе,
Суровых врагов ожидала царица нагою…

Эффект, произведенный чтением, был велик. Восторженный Кривич превозносил балладу, указывая на сходство ее со «стихотворной живописью» Леконта де Лиля. Как раз в это время его отец работал над статьей о французских *парнасцах,* и Валентин Иннокентьевич не упустил случая блеснуть познаниями перед старшими участниками кружка, не искушенными в европейских литературных изысках. «Старики» и в самом деле оробели, лишь прямодушная Веселкова-Кильштет, секретарствовавшая в кружке, возмутилась:

– Но, позвольте, это же… порнография!

Ей пояснили: не порнография, а *экзотика*.

– Заморская штучка!

Гумилева приняли в «действительные члены», а слава «заморской штучки» и «русского Леконта де Лиля» следовала теперь за ним по пятам. Газета «Речь», склоняющаяся к передовым взглядам на искусство, пригласила его постоянным рецензентом поэтических книг в отдел литературной критики, за стихами и рассказами потянулись журналы «Весна», «Образование» и даже солидная «Русская мысль». Привлекательной «заморской штучкой» слыл Гумилев и у царскосельских барышень, трепетавших от его французских нарядов, щегольских сюртуков и высокого шелкового цилиндра. Его считали завидным женихом, и, зная это, Гумилев очертя голову пускался во все тяжкие, призывая любопытствующих дам «быть, как солнце»:

– Николай Степанович, посоветуйте, какое мне сделать платье?

– Платье? Пурпурно-красное или серо-голубое с серебром. Но, дитя мое, зачем, вообще, платье? Помните, у Бальмонта: «Хочу упиться роскошным телом, хочу одежды с тебя сорвать»…

Особенно он обхаживал дом Аренсов, превратившийся в главный городской «цветник». Трое дочерей «придворного адмирала» – Вера, Зоя и Анна – не только ходили в модных красотках, но и интересовались современным искусством, пробовали сами писать стихи и прозу. В здании царскосельского

Адмиралтейства на берегу Большого пруда Екатерининского сада, где находилась должностная квартира Евгения Ивановича Аренса, постоянно бывали юные царскосельские интеллектуалы – братья Николай и Александр Пунины, «музыкальный вундеркинд» Владимир Дешевов, филолог Евгений Полетаев. Все они были недавними выпускниками Николаевской гимназии, и имя Гумилева было тут «на слуху» даже в годы его заграничного отсутствия. Сразу после возвращения из Парижа он получил от Веры Аренс послание с восторженным отзывом о «Романтических цветах» и с просьбой прислать новые стихи и рассказы. Гумилев охотно откликнулся: «Что есть прекрасная жизнь, как не реализация вымыслов, созданных искусством? Разве не хорошо сотворить свою жизнь, как художник творит картину, как поэт создает поэму?» Вера Евгеньевна имела, по его словам, «творческий ум, художественный глаз и, может быть, окажется твердость руки»[94]. Кроме того, она была настоящей красавицей и настроена решительно. В отличие от сестры Зои, давно влюбленной в Гумилева *безнадежно и безмолвно*, Вера Аренс легко добилась внимания «заграничной штучки» и уверенно вела дело к помолвке. Головы она при этом не теряла и, принимая знаки внимания от экстравагантного поэта, сохраняла в качестве надежной альтернативы старого и верного поклонника – инженера Владимира Гаккеля. Что же касается Гумилева, то он, освобождаясь от прежних любовных чар, «переадресовал» Вере Аренс одно из лирических обращений к Анне Горенко:

Сады моей души всегда узорны,
В них ветры так свежи и тиховейны,
В них золотой песок и мрамор черный,
Глубокие, прозрачные бассейны.

Растенья в них, как сны, необычайны,
Как воды утром, розовеют птицы,
И – кто поймет намек старинной тайны?
В них девушка в венке великой жрицы.

В июле они уже строили планы совместного путешествия по Греции, Италии и Швейцарии. Обе семьи не были против. Анна Ивановна, догадывавшаяся о пережитых сыном в Париже душевных катастрофах и, главное, об их *сомнительном источнике*, принимала благую перемену с радостью и была готова на любые издержки.

Но перед тем, как привести эти планы в исполнение, Гумилев был вынужден на несколько летних недель оставить Царское

Село, устраивая за родителей дела по наследованию Слепнева, переходившего после кончины адмиральской вдовы к Анне Ивановне Гумилевой и ее старшей сестре Варваре Ивановне Лампе. С деловыми бумагами он ездил к родне в Рязанскую губернию, затем в Максатиху за теткой Лампе, доставив ее в бежецкое имение вместе с двумя юными внучками Машей и Ольгой Кузьмиными-Караваевыми. На него самого заново увиденное родовое гнездо в российской глубинке произвело после Парижа сильное и тревожное впечатление:

Мне суждено одну тоску нести,
Где дед раскладывал пасьянс
И где влюблялись тетки в юности
И танцевали контреданс.

«В Париже я слишком много жил и работал и слишком мало думал, – писал он из Слепнева Брюсову. – В России было наоборот: я научился судить и сравнивать». Он сомневался даже в необходимости срочно издавать «Жемчуга». Впрочем, Брюсов и не торопил. «Скорпион» переживал нелегкие времена, и в первую очередь в работу шли прибыльные издания литераторов «с именем». А Гумилев томился и маялся среди бескрайних русских тверских равнин с поскрипывающими «воротцами» на проселочных дорогах. В здешней тишине он словно слышал или, может, предчувствовал что-то неизбежное для себя.

В Царское Село он вернулся в конце августа. На вокзале его встречали Вера и Зоя Аренсы. Оживленно болтая, они шли втроем по перрону – Гумилев с Верой, парочкой, впереди, Зоя чуть позади, – как вдруг Гумилев на полуслове застыл словно вкопанный, настолько внезапно, что Зоя, налетев, толкнула сестру. Та, стрельнув испуганно глазами, испугалась еще больше: с лица ее спутника стремительно сходил цвет, точно он умирал. Напугать его могла только горбоносая, длинная и прямая, как жердь, тощая девица с зализанными назад волосами, одиноко ожидавшая подачи состава на Петербург. Девица тоже поворотилась к ним и недовольно нахмурилась. Взяв себя в руки, Гумилев бессвязно отослал сестер:

– Умоляю… Внезапная необходимость… простите…

Уходя, Вера видела, как он скоро подошел к тощей, и та нехотя молвила что-то вроде: «К отцу… У отца… К знакомым… Приходите…»

Встреча с Горенко в Царском Селе Гумилева потрясла. Махнув на все рукой, он отправился по сообщенному (сквозь зубы) адресу в Петербург, на улицу Жуковского. А там, у себя в

гостиной, бушевал бывший великокняжеский заместитель, пробавляющийся ныне службой в Петербургском общественном управлении:

– Как вы смеете оба выставлять меня на посмешище! Ну и олух, Господи, прости, этот твой писака-декадент!..

На журнальном столе, гневно брошенный на развороте, валялся номер «Весов». Броский, черным по белому, прихотливо набранный заголовок гласил:

Н. Гумилев
РАДОСТИ ЗЕМНОЙ ЛЮБВИ

Чуть ниже, столь же броско, значилось посвящение:

Посвящается А. А. Горенко

Андрей Антонович Горенко кипел от возмущения:

– Этот твой декадент, он что, не понимает, что мои и твои инициалы и фамилия полностью совпадают?! Да как он посмел!.. На службе… в присутствии самого… Суют под нос… «Вот, говорят, какие, оказывается Вам статьи в декадентских журналах посвящают, хе, хе, хе…»

Он задохнулся от возмущения, но, заметив, что губы у дочки трясутся от едва сдерживаемого смеха, воздев руку, натужно закричал:

– Прекрати – трепать – мое – имя – в печати!!!

– Да не нужно мне твоего имени, – озлясь в свою очередь, огрызнулась она. – Другое найду!

– Вот, вот!.. Найди! Хоть бабки… Хоть прабабки…

– *Прабабки?!!*

Пронзенный кинжалом ордынский хан Ахмат, хватаясь за горло и грудь, валился к ее ногам…

Ни отец, ни дочь не услышали, как трезвонил звонок.

– К барышне просятся, – заявила горничная, заглядывая в гостиную. За ней маячил гость с букетом.

– *Здравствуй!* – перепутав от волнения формы обращения, сказал Гумилев.

– *Здравствуй!* – так же на «ты» ответила Ахматова, улыбаясь.

Андрей Антонович, зорко поглядывая то на дочь, то на гостя, почему-то притих.

– Здравствуйте, молодой человек, – сухо промолвил он, пожимая руку. – М-да… Ну, что ж, оставлю вас…

Странно, но с этой встречи Андрей Антонович стал внимательно следить за стихами и статьями Гумилева в

«декадентских» газетах и журналах. Ахматова же во время ежедневных визитов из Царского Села неизменно оставалась радушна, но неприступна. Разумеется, вновь говорили они только на «вы»:

– Я все поняла: наша с Вами близость не любовная, это некоторый союз двух существ, связанных друг с другом каким-то непостижимым образом, витающих в таинственных высях и имеющих некоторые смутные обязательства по отношению друг к другу. Вы – мой духовный брат. Я – Ваша духовная сестра.

Гумилев, млея от звуков ее голоса, слушал и покорно соглашался, не понимая. Ахматова приехала к отцу объявить, что осенью поступает на юридическое отделение киевских Высших женских курсов. Профессиональный выбор дочери Андрей Антонович полностью одобрил, обязался помогать деньгами и выправил, как того требовал закон, вид на ее отдельное жительство. Погостив с неделю, она покинула Петербург. Гумилев радостно махал рукой вслед поезду, потом, на выходе, присел у знакомых касс на скамью – да так и остался сидеть. В Царское он вернулся последним поездом, мрачнее тучи, и до конца лета оставался мизантропом. Правда в сентябре, выполняя данное отцу слово, Гумилев подал документы в университет, но юридический факультет не посещал, равно, впрочем, как не посещал и иные деловые, увеселительные и дружеские адреса – заперся у себя наглухо. От нервных переживаний у него сделалась лихорадка, он зябко кутался в свитера, но согреться никак не мог. Анна Ивановна не знала, что и делать, как вдруг ей пришло в голову напомнить сыну об обещанном Вере Аренс путешествии. К тому же вокруг начинала свирепствовать холера, учебные занятия всюду приостанавливались, студенты митинговали, а жители, если могли, на время уезжали подальше от опасной Петербургской губернии. Услышав о путешествии, Гумилев и вправду ожил:

– Может, хоть там согреюсь.

Но Аренс после истории на вокзале не спешила с Гумилевым ни в Грецию, ни в Италию. Сошлись на том, что он отправится один, а она нагонит в дороге – в Константинополе, например, или в Афинах. Гумилев завернул в Киев, отыскав Ахматову в большой квартире на Предславинской улице, где соединилось все ее семейство. Он был принят «по-братски» – но и только. Тогда он продолжил путь, гадая, что́ будет, когда к нему приедет Вера Аренс и приедет ли она вообще. Несколько дней Гумилев развлекал себя красотами Константинополя, потом перебрался в Афины. Тут его ожидало письмо. Аренс сообщала доброму другу о состоявшейся у нее помолвке с инженером Гаккелем. Она была

умной девушкой. Зябкая дрожь, не отпускавшая Гумилева ни в Петербурге, ни в Киеве, ни в Константинополе, была заметна и на борту парохода, идущего из Афин к египетским берегам, и только когда он ступил на африканскую землю – лихорадка прошла, и сразу стало легко и радостно:

– Если бы вы знали, какая там тишина!

Из Египта Гумилев отправил Аренс любезную открытку с приветствием, просьбой «кланяться Владимиру Андреевичу» и извинением за отсутствие письма: «Я все время в разъездах». Он вел беззаботную жизнь туриста, обосновавшись в каирской Аль-Азбакее около любезного его сердцу сада и предпринимая из Каира длительные вылазки на руины древнеегипетского Мемфиса, где вдохновенный философ Гермес Трисмегист вел некогда сокровенные беседы с Великим Драконом Мирозданья, и в долину смерти, на плато Гиза, к трем Пирамидам, медленно выраставшим на горизонте и заслонившим, в конце концов, вселенную:

На седые от мха их уступы
Ночевать прилетают орлы,
А в глубинах покоятся трупы,
Незнакомые с тленьем, средь мглы.
Сфинкс улегся на страже святыни
И с улыбкой глядит с высоты,
Ожидая гостей из пустыни,
О которых не ведаешь ты[95].

Постепенно все скромные средства, отведенные на путешествие, иссякли, и Гумилев, заняв в Александрии деньги у знакомого по прошлому году ростовщика, вернулся в Россию. Во время его странствий Анна Ивановна перевезла больного мужа с Конюшенной на Бульварную улицу в освободившийся от постояльцев дом Георгиевского. Опустевшую квартиру на первом этаже особняка Белозеровой Кардовские заняли под художественные мастерские, и Делла-Вос, оборудовав свою часть студии, тут же предложила Гумилеву позировать ей для большого мужского коленного портрета, который она задумала написать к петербургской выставке «Нового общества художников»:

– Ваша внешность незаурядная: какая-то своеобразная острота в характере лица, оригинально построенный, немного вытянутый вверх череп, большие, серые, слегка косящие глаза, красиво очерченный рот.

Польщенный Гумилев охотно согласился стать натурщиком, терпеливо выдерживал позу, вертел, как приказано, головой,

поправлял цветок в петлице и, окончательно осмелев, порекомендовал:

– Может, лучше без косоглазия? Пусть глаза смотрят прямо…

Непреклонная Делла-Вос сказала, что иконописный двоящийся взгляд – как раз то, что нужно, что это идеально завершает весь облик. Гумилев вздохнул. На долгих сеансах он рассказывал про Египет, оживленно спорил о современном искусстве и в подтверждение своих слов читал на память одно за другим стихотворения Бальмонта, Брюсова и входящего в моду поэта Максимилиана Волошина. Во время одной из таких дискуссий в мастерскую заглянул редкий гость, «царскосельский отшельник» граф Василий Комаровский:

Вдали людей, из светлых линий,
Я новый дом себе воздвиг.
Построил мраморный триклиний
И камнем обложил родник[96].

Родовитый Комаровский страдал наследственным психическим заболеванием и годами пропадал жалким безумцем в клиниках Германии и Швейцарии или под замком в царскосельском доме. Когда же безумие отступало, в нем пробуждался лирический поэт-виртуоз, иногда затмевавший мастерством самого Иннокентия Анненского. Никакого значения своим стихам Комаровский не придавал и во время редких выступлений в царскосельских салонах, если восхищенные слушатели просили переписать тот или иной стих из его тетради – просто выдирал страницы и раздавал желающим. Гумилев лишь покосился на вошедшего аристократа и, прихлебывая чай, продолжил свой монолог о преобладании формы над содержанием стиха. Комаровский, прислушавшись, взволновался и принялся громко, горячо, скороговоркой возражать, взмахивая руками. Гумилев отрезал:

– Это дилетантизм!

Задетый Комаровский тут же откланялся. Гумилев, усмехнувшись, заметил:

– А чудак этот ваш Комаровский, с ним и разговаривать невозможно…

К удивлению Делла-Вос, на следующий сеанс в мастерскую оба явились вместе, ничуть не поменяв тон в непрекращающемся споре, – Комаровский, в азарте, бросив взгляд на портрет, даже хохотнул:

– Эх, как Вы его… Вот таким он и должен быть – со своей вытянутой жирафьей шеей.

Гумилев, приняв позу, стал читать стихи из «Романтических цветов». Слушая одно за другим стихотворения, Делла-Вос, не переставая работать, заметила:

– Вы постоянно воспеваете какой-то один демонический женский образ. Кто же героиня этих стихов?

– Одна гимназистка, с которой я был дружен, – ответил Гумилев. – Впрочем, я и до сих пор с ней дружен. Она тоже пишет стихи…

XI

Сергей Ауслендер. На «башне» Вячеслава Иванова. Блок, Городецкий, Судейкин, Ремизов. У Михаила Кузмина. Время завоеваний. Ресторан Альбера Бетана. С. К. Маковский. «Академия стиха». Максимилиан Волошин. Несостоявшаяся дуэль. Елизавета Дмитриева. Возникновение «Аполлона». Журнал «Остров».

Вскоре после возвращения Гумилев узнал в редакции журнала «Весна», что с ним искал встречи Сергей Ауслендер – писатель из близкого окружения Вячеслава Ивановича Иванова, хозяина *«салона на башне»*. Об этом ареопаге законодателей литературной моды в Петербурге не стихала громкая молва. Одевшись как нужно для столь ответственного знакомства, Гумилев прибыл на Вознесенский проспект; указанный адрес почему-то оказался хирургической лечебницей. Дав знать больничному привратнику о своем прибытии, он, ожидая приглашения, задумчиво теребил белоснежные перчатки. А швейцар тем временем бурей ворвался в полуказенное пристанище, устроенное писателю дядей-врачом, владельцем лечебницы:

– Немедленно вставайте, к Вам пришли-с!

– Кто пришел? – испугался со сна Ауслендер, еще не отошедший от вчерашней студенческой попойки.

– Да уж из тех, какие к Вам не ходят-с…

Гумилев, играя цилиндром, изумленно вступил в огромную неуютную комнату, мало чем отличающуюся от складской или больничной палаты. На кровати сидел растрепанный миловидный юноша, поспешно застегивающий ворот измятой рубахи.

– Ауслендер Сергей Абрамович?

– О-он самый, – ответил юноша, судорожно сглотнув.

– Пришел по приглашению, а также чтобы высказать некоторые мнения о вашей прозе…

«Сначала с ним было очень трудно, – признавался Ауслендер. – Я был еще молодым студентом, хотя уже печатался тогда. Но вот явился человек, которого я не знал, сразу взявший тон ментора и начавший давать советы, как писать… Просидели мы долго, впечатление сглаживалось, но Гумилев все еще был накрахмаленным. Я сказал, что вечером буду на «среде» Вячеслава Иванова, и он выразил тоже желание поехать со мной, но с таким видом, точно он делает это из уважения к Вяч. Иванову».

Литературно-артистический салон в огромном, похожем на

средневековый замок доме с башней на углу Таврической и Курской улиц, куда, взяв извозчика, направились Гумилев и Ауслендер, прославился впервые четыре года назад. Слава эта имела скандальный отголосок. Блестящий историк, Вячеслав Иванов был знатоком античных языческих культов и думал оживить скудную духовную жизнь петербургской интеллигенции древнегреческими *вакханалиями* – буйными танцами, песнопениями и хмельным оргийным весельем, в котором некогда эллинские поклонники бога Диониса черпали энергию для своих головокружительных вдохновений. После гибели писательницы Зиновьевой-Аннибал[97], жены Иванова и главной вдохновительницы «башенных» радений, жизнь салона стала куда тише, но «башня» продолжала оставаться собранием самых ярких и оригинальных дарований в столичном литературном, художественном и научном мире. Теперь это был своеобразный гостевой клуб, куда завсегдатаи приводили неофитов на поздние домашние обеды-*симпозионы*[98]. «За обедом всегда сидело человек восемь-девять или больше, – вспоминала Лидия Иванова, юная дочка хозяина «башни». – И обед затягивался, самовар не переставал работать до поздней ночи. Кто только не сиживал у нас за столом! Крупные писатели, поэты, философы, художники, актеры, музыканты, профессора, студенты, начинающие поэты, оккультисты; люди полусумасшедшие на самом деле и другие, выкидывающие что-то для оригинальности; декаденты, экзальтированные дамы». Спровадив гостей, Вячеслав Иванов неизменно отправлялся работать. Писал он всю ночь напролет, а спать укладывался с восходом солнца. Утро его начиналось в два-три часа дня, когда новые гости уже рекомендовались внизу, в роскошном вестибюле, и важный швейцар в ливрее (в том же доме проживал бывший военный министр, несчастливый генерал Куропаткин) пропускал их на устланную коврами парадную лестницу.

По средам, в память славных былых времен, на «башне» часто устраивались музыкально-поэтические домашние концерты, на которых вместе со знаменитостями обычно выступали дебютанты – Иванов славился умением открывать для большой публики новые дарования. «Гумилев читал стихи и имел успех, – вспоминал Ауслендер. – Стихи действительно были хорошие. Вяч. Иванов по своему обычаю превозносил их. Гумилев держался так, что иначе и быть не может». Между тем среди всех, известных Гумилеву до того новейших русских литераторов, Вячеслав Иванов был самым загадочным и далеким. Еще в Париже Гумилев бился над крепко скроенными ивановскими стихотворными сводами, продираясь сквозь ухищренность и витиеватость и в то

же время подлинность языка, изломанного по правилам чуть ли не латинского синтаксиса:

В ночи, когда со звезд Провидцы и Поэты
В кристаллы вечных форм низводят тонкий яд,
Их тайнодéянья сообщницы – Планеты
Над миром спящим ворожат[99].

Адресат этих стихов, Брюсов, отдавая дань изощренному мастерству Иванова, самого хозяина «башни» не особенно жаловал, считал чересчур замысловатым, двусмысленным и хитроумным и строго предостерегал Гумилева, чтобы тот не «совратился в дионисийскую ересь». В салоне Кругликовой тоже насмешливо вспоминали неудобопонятные лекции о «дионисийстве», которые Иванов пытался прочесть русским парижанам в «Высшей школе общественных наук» несколько лет тому назад. Ходил анекдот, как великий князь Константин Константинович (он же поэт «К. Р»), повстречав на кадетском смотре ивановского пасынка Сергея Шварсалона, спросил, читал ли тот стихи отчима.

– Так точно, Ваше Императорское Высочество!

– И понял их?

– Так точно, Ваше Императорское Высочество!

– Ну, значит, ты умней меня, я ничего не понял…

И тем не менее оказавшись на «башне» лицом к лицу с Ивановым, похожим на улыбчивого, румяного и белокурого немецкого профессора с цепким взглядом, разлетающимся пухом волос и порывистыми движениями, Гумилев, с преувеличенно-надменной учтивостью принимая похвалы, был счастлив, как школьник, сдавший решающий экзамен. Волю себе он дал, вернувшись на Вознесенский, к Ауслендеру, кухонный шкаф которого скрывал неисчерпаемые запасы вина.

Всю зиму Гумилев, игнорируя занятия в университете, пропадал на «симпозионах», каждый раз встречая здесь воочию какое-то «имя», давно знакомое по книгам, художественным галереям или театральным афишам. Сумрачный, сосредоточенный молодой атлет, античным изваянием молчаливо возвышавшийся за столом, был Александром Блоком, автором пленительных «Стихов о Прекрасной Даме», а шумный хохотун с хитрой физиономией большеклювой птицы – скандальным «мистическим анархистом»[100] Сергеем Городецким, кумиром студенческих литературных кружков. Художник Константин Сомов являл собой редкую бестию и своими насмешками едва не вывел Гумилева из себя. Зато писатель Алексей Ремизов выглядел

милым чудаком, толкующим прибаутками:

– Здравствуй, здравствуй, кум-Гум, куманек-Гумилек…

Вместе с Ремизовым Гумилев встретил на Таврической и парижского знакомца Алексея Толстого, недавно вернувшегося из Франции. Тот, вспоминая Париж, жаловался на невозможный петербургский режим с бессонными ночами, всякими фокусами жизни и особенно с бессмысленными скандальными кутежами:

– Думаю, конечно, уклоняться, по возможности, но это страшно трудно в нашем литературном мире – там все пьяницы…

В первые дни нового 1909 года Толстой с Гумилевым сделали визит к Михаилу Кузмину. Об этом богемном dandy[101] с постоянной свитой бесшабашных гуляк (вроде его племянничка Ауслендера) и жеманных эстетов, воскрешавших французские придворные нравы времен Генриха III и королевы Марго[102], постоянно вспоминали на «башне». Блок был убежден, что в Кузмине скрыт великий дар *народного певца*, проявиться которому в полной мере мешает «ветошь капризной легкости»:

– Кузмин, надевший маску, обрек самого себя на непонимание большинства, и нечего удивляться тому, что люди самые искренние и благородные шарахаются в сторону от его одиноких и злых, но, пожалуй, невинных шалостей.

Одна из таких «шалостей» привела к тому, что среди гостей Вячеслава Иванова Кузмин считался в последнее время persona non grata[103]. Тем не менее, если речь заходила об австрийских барочных музыкантах[104], живописи итальянского кватроченто[105] или философии гностиков[106], хозяин «башни» обычно оговаривался:

– Возможно, конечно, у Михаила Алексеевича были бы более точные сведенья по данному вопросу…

Гумилева дивили эти разговоры. В блестящих стихах Кузмина представлялась душа своеобразная, тонкая, но не сильная и слишком далеко ушедшая от тех вопросов, которые определяют творчество истинных мастеров. В этом мнении Гумилев лишь укрепился, когда в номере затрапезной гостиницы, среди разбросанных рукописей перед ним предстал тихий, удрученный отшельник, явно на мели. Со своими гостями dandy беседовал любезно и здраво, касаясь, преимущественно, тем деловых. Впрочем, он Гумилеву понравился. Кузмин же (действительно переживавший в удалении от «башни» томительные и нищие месяцы) зафиксировал в дневнике:

Гумилев имеет благовоспитанный, несколько чопорный вид, но ничего.

Зимой на Бульварную в Царское Село зачастили петербургские визитеры: Ремизов с Толстым и Сергеем

Ауслендером, знаменитый шахматист, изящный беллетрист и тонкий знаток театра Евгений Зноско-Боровский, мрачный поэт-юморист Петр Потемкин (также сочетающий литературное творчество с составлением шахматных этюдов), режиссер Всеволод Мейерхольд, уже снискавший у петербургских театралов репутацию «обыкновенного гения». В доме Георгиевского с ними сходились царскосельские гости – Дмитрий и Ольга Кардовские, Валентин Кривич и граф Василий Комаровский, которого Гумилев, пропуская мимо ушей вечные шпильки и брюзжание, усиленно продвигал к профессиональному литературному творчеству (о чем безумец боялся вслух и помыслить)[107]. На этих собраниях появлялся Иннокентий Анненский, с любопытством присматривавшийся к новым лицам. Со своим бывшим учеником он добродушно пикировался:

– А неточно Вы цитируете из «Тараса Бульбы», Николай Степанович…

Гумилев взял гоголевский том, открыл нужную страницу.

– Виноват. Ну и память у Вас!

Незаметно для всех Гумилев оказался притягательным центром для целого поколения столичных писателей. «Он отличался особенными организационными способностями и умением «наседать» на редакторов, когда это было нужно, – вспоминал Ауслендер. – Мы расширяли свою платформу и переходили из «Весов» и «Золотого Руна» в другие журналы. Везде появлялись стайками. Остряки говорили, что мы ходим во главе с Гумилевым, который своим видом прошибает двери, а за ним входят другие… Это было веселое время завоеваний». Кроме того, Алексей Толстой, обосновавшись в Петербурге, носился с идеей создания собственного, первого в России «журнала стихов». Эта идея занимала его со времени парижских бесед с Гумилевым. Тот договорился об участии в будущем стихотворном ежемесячнике с Ивановым и Кузминым и пропагандировал идею Толстого среди литературной молодежи. Деньги на первые расходы обещала внести еще одна «русская парижанка», также проследовавшая в Петербург устраивать свою выставку, – Е. С. Кругликова. Зимой у Толстого на Глазовской улице возникла редакция нового издания, которое, в память грез о пиратах под черным флагом, было решено назвать *«Островом искусств»* или просто – *«Островом»*.

Помимо завоеваний всевозможных редакций и подготовки «Острова» «стайка» Гумилева, по примеру парижской богемы, облюбовала для постоянных встреч французский ресторан Альбера Бетана («Chez Albert»)[108]. Великие тени витали тут на каждом углу. Отсюда, когда комнатки réz de chaussée[109] дома на углу Невского и набережной Мойки арендовали кондитеры Вольф

и Беранже, Пушкин уехал на смертельную дуэль с Дантесом; здесь, в бытность владельцем заведения ресторатора Франца Лейнера, Чайковский выпил роковой стакан отравленной воды. Теперь «Chez Albert», как на парижском Монмартре, распоряжались молодые поэты, совершая отсюда вылазки на концерты, публичные лекции и вернисажи. В толпе спорщиков, собравшихся под змеиной улыбкой древней богини, крушащей молниями грешную Атлантиду на монументальном полотне Леона Бакста, Гумилева окликнули. Он, прервавшись, раскланялся с кем-то из знакомых писателей. Рядом стоял моложавый gentleman[110], бесцеремонно изучавший студенческий сюртук, модный темно-синий воротничок и прическу Гумилева взглядом профессионального живописца, наткнувшегося на любопытную натуру.

– Познакомьтесь: Сергей Константинович Маковский, организатор этого восхитительного «Салона».

Художественный «Салон» Маковского в Меншиковских палатах был и в самом деле хорош – не хуже парижских выставок Société Nationale и Société des Artistes Indépendants. Гумилев, протянув руку, счел долгом кратко подытожить впечатление:

– Декаданс и ренессанс. Первые стремятся к новым переживаниям во что бы то ни стало, вплоть до гротеска. Но, чтобы дразнить наши притупленные нервы, ликеров уже мало – нужен стоградусный спирт. Сомов, Бакст и Бенуа прекрасны, но они не нашего поколения, они уже сказали свои слова. А вот Рерих, несомненно, не декаданс, а ренессанс: могуч, здоров, прост с виду, утончен по существу. И, главное, глубоко национален…

– «Народен», хотите Вы сказать?

– Нет, именно национален. Наша «народность» – это в основном березки, лапти, армяки и бороды, а Рерих открывает нам области духа. Я непременно об этом напишу.

– А я *уже* об этом написал, – признался Маковский.

За двенадцать лет, минувших с той поры, когда выпускник гимназии Гуревича в погребальном саване читал перепуганным курсисткам кладбищенские вирши, судьба Сергея Маковского, сделав несколько зигзагов в естествознание, юриспруденцию и тайную дипломатию[111], окончательно связала сына придворного художника с изящными искусствами. Он публиковал стихи (в отличие от гимназических, вполне «благовоспитанные»), слыл у именитых коллекционеров знатоком музейного дела, но настоящую известность получил своими очерками о европейских художественных выставках. На фоне кустарных поучений престарелого критика Владимира Стасова, судившего о современной живописи по старинным рецептам Чернышевского и

Добролюбова и невежественной ругани газетных «искусствоведов» Виктора Буренина и Николая Кравченко, эти статьи читались как захватывающие сказочные повести о заморских диковинах. «Бывает странное соотношение между творчеством художников и красотой драгоценных камней, – чаровал Маковский робких российских дилетантов, привыкших рассматривать в дешевых журналах плохие черно-белые репродукции с картин европейских мастеров. – Искусство Тициана напоминает жемчуг с дымно-золотистыми отливами. Искусство Беклина – изумруд ярко-зеленый, как вода южного моря у скалистых побережий. Картины Пювиса светят сказочно и смутно, как бледные, многоцветные опалы. Бен-Джонс прозрачен и таинственно-нежен, как лунный камень. Творчество Бердслея – черный алмаз с тонко отшлифованными гранями, с острым холодным блеском, с загадочными мерцаниями преломленных лучей, черный алмаз в филигранной оправе, восхищающий совершенством работы и в то же время наводящий жуткий трепет, словно талисман волшебника…»

Среди эстетов из петербургского творческого объединения «Мир Искусства» Маковский прославился тем, что даже свои сорочки отправлял стирать в Лондон, где, по его мнению, только и могут накрахмалить белье как следует. Однако и о России он не забывал никогда, считая себя, как истинный петербуржец, ***просвещенным националистом***.

– Почему-то, – иронизировал Маковский, – мы обретаем национальное непременно в отречении от западного, а тяготея к Западу – обязательно отрекаемся от России. Даже среди художников произошел этот дурацкий раскол на «западников» и «патриотов», хотя все направления в искусстве на Западе и в России развиваются сейчас в едином русле, и резкой границы тут просто нет…

После того как главный импресарио «Мира Искусства» Сергей Дягилев, занятый подготовкой «русских сезонов» в Париже, перестал издавать художественно-литературный ежемесячник[112], «мирискусники» обратили взоры на Маковского. Тот отнекивался, указывал друзьям на московские «Весы» и «Золотое Руно», но мысль о собственном журнале его, по-видимому, не оставляла. Устроившись с Гумилевым в секретарской комнате при выставочных залах, Маковский увлеченно развивал возможную программу издания, поминутно цитируя Шеллинга, Ницше, англичанина Джона Рескина и златоуста петербургских театральных гостиных Акима Волынского:

– Даже в своем искусстве, не говоря уж о религии и

общественности, Россия не ушла пока дальше Диониса, самого эмоционального из всех богов древней Эллады. Но где же, спрашивается, храм разумного бога Аполлона? Твердого, строгого, творящего духа в России как не было, так и нет. А надо, чтобы с экстазным сердцем в русском человеке заговорил и ум, который умеет видеть и понимать это сердце. От Диониса к Аполлону: таков, по-моему, лозунг современной минуты. *Мы идем к Аполлону*[113].

Гумилев задумчиво листал надписанный ему хозяином «секретарской» томик «Страниц художественной критики». «Сразу разговорились мы о поэзии и о проекте нового литературного журнала, – вспоминал Маковский, – от многих писателей уже слышал он о моем намерении «продолжать» дягилевский «Мир Искусства». Тут же поднес он мне свои «Романтические цветы» и предложил повезти к Иннокентию Анненскому. Возлагая большие надежды на помощь Анненского писательской молодежи, Гумилев отзывался восторженно об авторе «Тихих песен» (о котором, каюсь, я почти ничего не знал). Гумилев стал ежедневно заходить и нравился мне все больше. Нравилась мне его спокойная горделивость, нежелание откровенничать с первым встречным, чувство достоинства, которого, надо сказать, часто не достает русским. Нас сближало, несмотря на разницу лет, общее увлечение французами-новаторами и вера в русских модернистов. Постепенно Гумилев перезнакомил меня со своими приятелями – Алексеем Толстым (в то время он только писал стихи), с Ауслендером, Городецким…». И все же, несмотря на то что «у Альбера» вовсю поднимались тосты за будущий журнал и звучали речи «во имя бога Аполлона», Маковский колебался и медлил с принятием окончательного решения:

– Нам всем необходим *старший советчик*. Это необходимо прежде всего мне самому, чтобы придать авторитетность в трудной роли редактора и оградить меня от промахов.

Гумилев вновь предложил Маковскому встречу с Иннокентием Анненским.

Маковский заверил, что обязательно наведается в Царское Село, как только немного утихнет выставочная суета. Тем временем Гумилев приступил к Вячеславу Иванову с просьбой прочитать будущим сотрудникам «аполлонического» журнала курс лекций об искусстве поэзии. Иванов, недоуменно пожимая плечами – «Ну, если вам так хочется!» – согласился, поколдовал несколько ночей над своими книгами, и… «Появилась большая аспидная доска, – вспоминал поэт Владимир Пяст, примкнувший тогда же к гумилевской башенной «стайке», – мел в руках лектора; заслышались звуки «божественной эллинской речи»;

раскрылись тайны анапестов, пеонов и эпитритов, «пародов» и «экзодов»[114]. Все это ожило и в музыке русских, как классических, так и современных, поэтов… Из уст Вячеслава Иванова извергались светящимися потоками самоцветные мысли по вопросам поэтического мастерства».

– Да тут у вас настоящая ***Академия Стиха!***

Новый гость на Таврической был огромен, толст и бодр, соединяя в своем облике Пантагрюэля Рабле, Портоса Дюма и Тартарена Доде. Главный художественный критик брюсовских «Весов» Максимилиан Волошин, с которым Гумилев разминулся в Париже, настиг его в Петербурге, оказавшись на редкость сговорчивым. Он тут же согласился прочесть на «башне» собственную лекцию о поэзии, добрался к «Альберу», мгновенно сдружился со всей «стайкой», горячо поддержал «Остров», а немного спустя доверительно обратился к Гумилеву и Алексею Толстому с просьбой… выступить его секундантами на наметившейся вдруг после прибытия из Парижа в Петербург дуэли. Правда, несколькими часами позже просьба оказалась отозвана – к неудовольствию Толстого, уже затеявшего решительные переговоры с волошинским супостатом, и к удивлению Гумилева, не подозревавшего, что смертельные картели могут раздаваться и отзываться с такой легкостью[115]. У петербургских дам парижский бонвиван[116] пользовался, судя по всему, головокружительным успехом. На публичную лекцию Вячеслава Иванова о «Terror Antiquus»[117] Бакста, проходившую в набитом битком Конюшенном зале (выставленная в «Салоне» Маковского страшная картина про Атлантиду сделала настоящую сенсацию в столице), Волошин явился в сопровождении трех очаровательных спутниц.

С одной из них, забавной недотрогой в пестрых одеяниях, Гумилев дружески раскланялся. Букет пушистых белых гвоздик в кафе у Люксембургского сада вспомнился и ей. По завершении лекции Гумилев и Елизавета Дмитриева уже дружески болтали в ресторане «Вена», вспоминая Париж. Гумилева смешила ее необъятная юбка-хламида, смешили всклокоченные волосы, папихотки, неряшливость и задорный тон, который принимала эта чудесная дурнушка:

– Вот вы пишете об императоре Каракалле, который делал мумии крокодилов… Как же это нехорошо – убивать крокодилов!..

Гумилев отозвал Волошина в курительную залу:

– Она что, *всегда так говорит*?

– Не поверишь – *всегда*! – со смехом отвечал тот.

4 марта 1909 года Максимилиан Волошин и Сергей

Маковский приехали на литературный вечер, который Гумилев устроил у себя в Царском Селе. В дом на Бульварной был зван Иннокентий Анненский. «Он был весь неповторим и пленителен, – вспоминал Маковский. – Таких очарователей ума – не подберу другого определения – я не встречал и, вероятно, уже не встречу». Необыкновенное обаяние Иннокентия Федоровича произвело на Маковского столь сильное действие, что он немедленно объявил о начале работы над новым литературно-художественном журналом ***«Аполлон»***:

– Аполлон – только символ, далекий зов из еще не построенных храмов, возвещающий нам, что для искусства современности наступает эпоха устремлений – всех искренних и сильных – к новой правде, к глубоко сознательному и стройному творчеству от разрозненных опытов – к закономерному мастерству от расплывчатых эффектов – к стилю, к прекрасной форме и животворящей мечте!

Возле собственных апартаментов на набережной Мойки, 24 Маковский снял для «Аполлона» просторное помещение с гостиными залами. Помимо заседаний редакции тут планировались выставки и публичные собрания. По требованию Маковского, постоянные авторы журнала должны были появляться в редакционных стенах исключительно в смокингах (художник Михаил Нестеров шутил: богемная братия, сменив блузы и бархатные пиджаки с бантами на белые накрахмаленные груди, жилеты с особенно глубоким вырезом, высокие воротнички и лакированные ботинки, вознамерилась проводить в «Аполлоне» дипломатические приемы!) *Pápá Makó*[118], как тут же прозвали элегантного шефа «аполлоновцев», искал меценатов, договаривался с художниками и типографами, чтобы обеспечить невиданное качество иллюстраций и заставок, и, готовя программные статьи для первых номеров, подолгу засиживался в своем редакционном кабинете с Иннокентием Анненским, Максимилианом Волошиным (тот, впрочем, вскоре уехал на лето в свой крымский за́мок в Коктебеле), Акимом Волынским, Вячеславом Ивановым и духовным вождем «мирискусников» Александром Бенуа. Это была «старшая редакция» журнала. Редакцию «молодую» возглавлял Гумилев, получивший в помещениях на Мойке собственное присутственное место. «Гумилев горячо взялся за отбор материала для первых выпусков «Аполлона» – с полным бескорыстием и примерной сговорчивостью, – вспоминал Маковский. – Мне он сразу понравился тою серьезностью, с какой относился к стихам, вообще к литературе, хотя и казался подчас чересчур мелочно принципиальным судьей. Зато никогда не изменял он своей

принципиальности из личных соображений или «по дружбе», был ценителем на редкость честным и независимым». Изящество манер и вдохновенную увлеченность молодого поэта первыми оценили молодые дебютантки, как бабочки на огонь слетавшиеся в залы на Мойке, отделанные по образцу парижского светского салона L'Empire des Français[119]. Гумилев иногда предлагал собеседнице продолжить разговор в «Chez Albert», а переместившись на противоположную набережную в уютный ресторанный кабинет, заводил издалека беседу о связи творческого духа с пылкими вожделениями плоти:

– Состояние влюбленности – профессиональная необходимость для подлинного поэта, поймите это, дитя мое…

Маковский отметил, что юный помощник, не отличавшийся, на его взгляд, благообразием внешности, весьма бойко завоевывает сердца капризных богемных красавиц:

– Да Вы, оказывается, повеса из повес!

А Вячеслав Иванов иронизировал на лекциях в «Академии стиха»:

– Николай Степанович очень близок первобытным певцам северных народов – он тоже пишет только о женщинах и о море…

Там, действительно, почему-то непременно было море, над бледными дюнами нависала неправдоподобная луна, с тонкой фигуры тихо скользил на мокрый песок плащ, и оставалось лишь взглянуть пришедшей в лицо… Но жалобы, рыдания, упреки всегда возвращали его назад, и он, мучительно оцепенев, смотрел на очередную разгневанную любовницу, не пытаясь удержать. Так завершалось каждое из свиданий. Все женщины, которых он с ожесточением отчаянья призывал к себе, неумолимо поглощались лунным морским видением, тонули и исчезали в нем без следа[120].

– Так Вы не будете обижать крокодилов?

Вот на кого не распространялось морское проклятье! Но Елизавета Дмитриева нисколько не стремилась ни к мелодраматическим сценам, ни даже к человеческой определенности отношений. Угловатая, отчаянно картавящая, она вообще как будто ни на кого не обижалась, ничего не требовала и с необыкновенной бодростью несла крест нищей учительницы в гимназии на Петроградской стороне[121]. Это было странное существо: забавная и несуразная коротышка с чуть вихляющей (после перенесенного в детстве костного туберкулеза) походкой. Говорили, правда, что в Париже Дмитриева оказалась недаром и что среди «посвященных» в оккультные тайны она занимает не последнюю степень. Но одного взгляда на трогательную пигалицу, весело ковыляющую рядом с ним по деревянным

торцам Большого проспекта, Гумилеву было достаточно, чтобы посрамить сплетников.

Она писала звонкие стихи, которые Гумилев пристроил во второй номер «Острова». Впрочем, выйдет ли этот № 2, никто не знал – грядущий «Аполлон» с его роскошным литературным отделом охладил издательское рвение Толстого и других «островитян»[122]. А № 1 весной уже находился в продаже; по замечанию Сергея Ауслендера, после знакомства со всем содержимым «стихотворного журнала» можно было смело сказать:

– Право, не очень плохо пишут стихи и в наше время!

XII

В Коктебеле у Волошина. У Ахматовой в Одессе. Свадьба Дмитрия Гумилева. Перемена факультета. В редакции на Мойке. «Общество ревнителей художественного слова». Черубина де Габриак. Первые номера «Аполлона». «Письма о русской поэзии». Надежда Войтинская. Возвращение Елизаветы Дмитриевой. «Ангел-чертовка». Вызов на дуэль.

«В мае мы вместе поехали в Коктебель, – пишет Елизавета Дмитриева. – Все путешествие туда я помню как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала его «Гумми», не любила имени «Николай» – а он меня, как зовут меня дома, «Лиля» – «имя похоже на серебристый колокольчик». Тут многое не досказано. И то, что путешествовали из Петербурга они не одни, а в компании с подругой Дмитриевой Майей Звягинцевой и со Звягинцевым-отцом (а в Москве к ним присоединилась другая подруга – Марго Грюнвальд). И то, что, отправляясь, Дмитриева почему-то письмом предуведомила Волошина о *напросившемся* к ней в спутники Гумилеве («но т. к. мне нездоровится, то пусть»). Помимо этого, сама Дмитриева не скрывает, что в момент отбытия в Коктебель «была невестой другого, была связана жалостью к большой, непонятной мне любви»[123]. Впрочем, по ее словам, в те минуты, когда она была с Гумилевым, она «ни о чем не помнила». В Москве, пересаживаясь на крымский экспресс, оба производили впечатление безоблачной молодой четы (умиленный Брюсов, встретивший их в «Славянском базаре», приказал ученику немедленно осчастливить трогательную спутницу каким-нибудь подарком у букиниста). Чувствовал ли Гумилев по пути в Крым всю эту тьму разнообразных интриг – неизвестно.

Маленький поселок Коктебель, находящийся в пятнадцати верстах от Феодосии, на другой стороне бухты, близ скалистой гряды Карадаг (чудесным образом повторяющей своими очертаниями профиль Волошина), являл собой безрадостную картину нищей южной рыбачьей деревни, совсем не похожей на величественные ансамбли военного Севастополя с пригородами или на открытки с видами императорской курортной Ялты. Огромный волошинский дом возвышался над избушками, придвинутый к самому побережью; с оградой, пристройками, лоджиями и длинной нештукатуреной апсидой с огромными витражными окнами, он напоминал виллу средневековых итальянских магнатов – Борджа или Медичи. Казалось, небеса были разверсты и над домом, и над его хозяином,

преобразившимся после Петербурга в древнего эллина, голоногого, в грубой холщовой хламиде и цветочном венке. Вдруг померещилось, что не добродушный толстяк Волошин, а сам таинственный гроссмейстер Папюс, улыбаясь, раскрывает навстречу объятья. Более того, как год назад, в парижскую осень, за волошинским порогом на Гумилева обрушились голоса и мелодии, как будто вновь исступленно запела волшебная скрипка – да так, как не пела еще никогда:

На полярных морях и на южных,
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.

Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстремы и мель…

В Коктебеле царило радостно-тревожное возбуждение, словно на маскарадных съездах «ордена Неизвестных». И Волошин, и Дмитриева, и Грюнвальд, и ранее прибывшие Алексей Толстой со своей женой – художницей Софьей Дымшиц – безудержно веселились, увлекая за собой затянутого в жилет и галстук нового гостя:

Описывать не стану я
Всех этих дерзких ухищрений,
Как Макс кентавр, и я змея
Катались в облаке камений.
Как сдернул Гумилев носки
И бегал журавлем уныло,
Как женщин в хладные пески
Мы зарывали… Было мило…[124]

Дмитриева, тут же нахлобучив на себя что-то вроде античной туники, увлеченно искала первобытные сердолики, которые вымывала вода на дикий пляж у стен волошинской твердыни. Ликующая, она прибегала к Гумилеву, который, затворясь в клубах табачного дыма в подлестничной клетушке, дописывал свалившуюся с неба поэму о капитанах…

Но в мире есть иные области,

Луной мучительной томимы.
Для высшей силы, высшей доблести
Они навек недостижимы…

Он оборвал чтение, оглядел завороженных слушателей.

– Почему-то в последнее время я все время думаю о том, что апостол Петр был рыбаком в нищем рубище… В блеске наших маскарадов мы следуем мимо врат рая, которые, думается, просто бедная дверь в какой-то заброшенной стене. Камни, мох – и ничего больше!

В своей прокуренной комнате он повесил иконы и долго вечерами молился. Удивленный Волошин говорил Дмитриевой:

– Это какой-то православный аскет; выбирай сама, но если ты уйдешь к Гумилеву, я буду тебя презирать…

«Выбор был уже сделан, – признавалась Дмитриева, – но Н.С. оставался для меня какой-то благоуханной алой гвоздикой. Мне казалось: хочу обоих, зачем выбор?»

Как и в Париже все завершилось знамением, доставленным почтой. Гумилев, усмехнувшись, отложил послание, потом решительно придвинул чернильницу и стал писать ответ. Но ответ так и канул, разумеется. Тогда он написал еще. «Есть шанс думать, что я заеду в Лустдорф, – сообщал он Андрею Горенко в самый разгар волошинских «китоврасьих игр». – Анна Андреевна написала мне в Коктебель, что вы все туда переезжаете, обещала выслать новый адрес, но почему-то не сделала этого. Я ответил ей в Киев заказным письмом, но ответа не получил. Сообщите хоть Вы настоящий адрес, а то я кидаю письма наудачу, и это лишает меня сил написать что-нибудь связное». Ответ с адресом пришел в тот миг, когда Дмитриева, решившись, наконец, объявила Гумилеву, что не вернется с ним в Петербург:

– Уезжайте без объяснений, прошу Вас!

Гумилев перед отъездом устроил для Волошина и его гостей показательный бой пауков-тарантулов, которые в коктебельские дни жили у него в картонных коробках. Подравшись всласть, пауки разбежались.

– Желаю здравствовать!

В тот же день он был в Одессе, откуда до немецкой пригородной колонии Лустдорф была протянута ветка трамвая. «Сестра» встретила его на остановке. На этот раз он и не обмолвился о своей влюбленности, был весел, рассказывал об «Аполлоне» и читал свои новые стихи.

– Ну, мне пора. Нужно в Петербург, брат венчается, а я у него на свадьбе, как положено, шафер.

В обратном трамвае в Одессу Гумилев и Ахматова ехали вместе.

– Вы совсем не любите меня? – спросил он у Ахматовой, прощаясь.

– Не люблю, – задумчиво ответила она, – ***но считаю Вас великим человеком.***

– Как Будда или как Магомет? – улыбнулся Гумилев.

Свадьба ротного командира 147 Самарского пехотного полка подпоручика Дмитрия Гумилева состоялась в Царском Селе 5 июля 1909 года. Невестой была Анна Андреевна Фрейганг[125]. Много лет спустя А. А. Гумилева-Фрейганг оставила яркие мемуары о семье мужа и о его младшем брате. В частности, касаясь первых месяцев своего пребывания в доме Гумилевых, она упоминает о полной поглощенности деверя литературными делами и о постоянных конфликтах его со свекром: «Коля тогда весь отдался своему творчеству. Он сблизился со многими поэтами и совершенно забросил занятия в университете. Это вызвало сильное недовольство отца, который упорно требовал, чтобы он закончил университет, и этот спор обычно кончался тем, что Коля обнимал отца, обещая серьезно взяться за занятия и окончить университет». В конце августа 1909 г. Гумилев и в самом деле перевелся с невозможного юридического на более близкий ему историко-филологический факультет Петербургского университета, но «серьезно взяться за занятия» не получилось. Работа по созданию «Аполлона» шла полным ходом. Оставшиеся летние недели Гумилев провел на «башне» Иванова или в «Аполлоне» на Мойке. Здесь помимо издательских собраний с сентября возобновились заседания «Академии Стиха», которая теперь получила официальный статус *«Общества ревнителей художественного слова при журнале «Аполлон»*. «В сущности, – замечал Маковский, – это общество и создало тот литературный фон, на котором разросся журнал. Учреждение такого общества вовсе не было делом простым в то время – усмирения Столыпиным «первой» революции. Тут пригодились мои связи в бюрократическом мире. Мы отправились втроем в градоначальство: Анненский, Вячеслав Иванов и я. Все было улажено в несколько минут. Тотчас начались поэтические собрания Общества, уже в редакции «Аполлона», и на них успел выступить несколько раз с блеском Иннокентий Анненский». Все складывалось удачно, даже столь желательная для старта журнала сенсация в самый разгар работы над первым номером вдруг замаячила на горизонте. В редакцию поступила запечатанная гербом с девизом *«Vae victis!»*[126] корреспонденция от неизвестной поэтессы, подписавшейся одной буквой «Ч».

Звучные стихи, написанные необыкновенно изящным почерком на бумаге с траурным обрезом, благоухающей ароматом пряных духов, с классическим благородством и изысканной простотой рассказывали о роковой участи героини, томимой среди горячих молитв мучительными искушениями и греховными соблазнами:

И я умру в степях чужбины,
Не разомкну заклятый круг,
К чему так нежны кисти рук,
Так тонко имя *Черубины*.

На Маковского изящное послание произвело сильное действие. Он даже попенял только что вернувшимся из Крыма Волошину и Алексею Толстому:

– Вот видите, я всегда вам говорил, что вы слишком мало обращаете внимания на светских женщин. Посмотрите, какие одна из них прислала мне стихи! Такие сотрудники для «Аполлона» необходимы!

Вскоре незнакомка телефонировала Маковскому, и тот был очарован беседой. Юную поэтессу-аристократку звали Черубиной Георгиевной де Габриак, она была дочерью провансальского графа и русской дворянки, воспитывалась до совершеннолетия в испанском католическом монастыре, а оказавшись в России, жила уединенно. Маковский настаивал на встрече, Черубина отвечала уклончиво. Весь сентябрь и октябрь она так и оставалась неуловима, присылала новые стихи, телефонировала, назначала свидания, но не приходила на них (хотя Маковскому казалось, что он видел вдали печальную тонкую женскую фигуру в трауре). Редактор «Аполлона» был заинтригован и влюблен. Кроме того, им двигал опыт профессионала. Таинственную Черубину де Габриак Маковский решил сделать главным «открытием сезона» и поручил Волошину написать для журнала статью, представляющую читателям новую поэтическую звезду. Волошин подхватил идею с энтузиазмом и тут же принялся писать «Гороскоп Черубины де Габриак». А все «аполлоновцы» наперебой обсуждали столь неожиданное явление примадонны, жадно ловили отрывочные слухи о ней, являвшиеся через вторые и третьи руки. Религиозная аристократка, похоже, и в самом деле жила в добровольном затворе и не зналась с богемой. Один Иннокентий Анненский скептически вчитывался в каллиграфически начертанные строки:

– Нет, воля ваша, что-то в ней не то. Нечистое это дело. Я боюсь этой инфанты, этого папоротника, этой черной склоненной фигуры с веером около исповедальни. ***Если является попытка***

ввести в самую поэзию то, что заведомо не поэзия, – это уже поэтическое декадентство, темные чары, враждебные Аполлону, но любезные Дионису.

Гумилев, появляясь на Мойке, охотно принимал участие в захватывающих беседах и даже торжественно поклялся первым обнаружить неуловимую Черубину и, разумеется, покорить ее сердце. Но исполнять клятву он не спешил – за неимением времени. Для стартовой книжки «Аполлона» он написал большой критический обзор, помещенный в разделе *«Письма о русской поэзии»*, и готовил теперь новый.

Первый номер «Аполлона» вышел 25 октября 1909 года. В редакции на Мойке была устроен прием и открытие художественной выставки, а в ресторане «Pivato» состоялся банкет, на котором присутствовал весь петербургский литературный, художественный и театральный свет. «Аполлон» возник, когда уже закрылось московское «Золотое Руно» Рябушинского, а «Весы» доживали последние дни. В речи новых оракулов – Маковского и Анненского – вчитывались потому с особенным вниманием, а гумилевские «Письма о русской поэзии» даже вызвали переполох. Критические обзоры получились острыми, ироничными и непримиримыми. За спиной Гумилева вырастал недовольный ропот: двадцатитрехлетний юнец брал на себя слишком много! На одном из заседаний «Общества ревнителей…» на Гумилева внезапно обрушился Максимилиан Волошин, обвинив новоявленного литературного арбитра в невежестве и снобизме. С Волошиным был солидарен ветеран «борьбы за идеализм» в русском искусстве Аким Волынский:

– Под флагом «Аполлона» я вижу пока, если выключить имена художников, дешевое литературное донкихотство на случайно заданную тему и ни капли чистого вдохновения!

Конечно, Волошина и Волынского раздражал не столько задиристый мальчишка Гумилев, сколько «почтеннейший» Иннокентий Анненский, достигший такой власти над умами всей «молодой редакции». Но Маковский стоял за Анненского и Гумилева горой. Уязвленный Волошин затих, а Волынский, кипя гневом, демонстративно покинул «Аполлон». Было ясно, что предстоят какие-то новые схватки и интриги – возвышение во влиятельном столичном журнале мало кому известного царскосельского *«поэта Н.И. К-то»*[127] и боевое усердие его ученика, окруженного компанией по-хозяйски рассевшихся в редакции наглых юнцов, задевало многих литераторов «с именами». Масла в этот огонь писательских самолюбий добавил и появившийся во второй книжке «Аполлона» великолепный графический портрет Гумилева, выполненный по заказу

Маковского молодой художницей Надеждой Войтинской. Главный редактор, желая познакомить читателей с постоянными авторами «в лицо», планировал помещать в первый год издания по одной такой графике в каждом номере: вслед за Гумилевым для Войтинской позировали Ауслендер, Кузмин, Волошин, художники Мстислав Добужинский и Александр Бенуа, критик Корней Чуковский и «декадентская мадонна» Зинаида Николаевна Гиппиус, добрая знакомая Маковского со времен «Мира Искусства». Однако первая же графика-вклейка с Гумилевым породила такой всплеск негодования, что Маковский от затеи отказался, поссорившись в итоге с разочарованной портретисткой[128].

Исполняя завет Пушкина, Гумилев равнодушно относился и к похвалам, и к клевете. К тому же после нескольких сеансов у Войтинской он оказался на время востребован миловидной юной художницей в качестве поклонника, «проповедовавшего кодекс средневековой рыцарственности» («Ни капли увлечения, ни с его, ни с моей стороны, но он инсценировал со своей стороны поклонение и увлечение. Это была чистейшая игра»). Снова возникла и Елизавета Дмитриева, вернувшаяся из Коктебеля к началу учебного года, чтобы скромно приступить к занятиям в приготовительных классах своей гимназии. Вела она себя так, как будто летней размолвки с Гумилевым и не было вовсе – радовалась встречам, все чувствовала, все понимала, все прощала. Уроков у нее было много, оплачивались они скудно. Выкроив свободный час, Дмитриева появлялась то на редакционных собраниях на Мойке, то на «башне», где Гумилев с «аполлоновцами» помогал готовить для публикации конспективные записи прошлогодних лекций Иванова по теории стиха. Падчерица Иванова Вера Шварсалон и Михаил Кузмин, примирившийся с хозяином «башни» и вновь обосновавшийся на Таврической улице, мешали работе, расспрашивали про путешествия и египетские чудеса. Гумилев, рассказывая об Африке, так увлекся, что на несколько вечеров образовал вокруг себя целое «геософическое общество». Тут спорили о таинственных древних святынях черного континента, и Гумилев уже звал Иванова и Кузмина совершить совместное паломничество в глубину Египта и далее – в Абиссинскую Империю, легендарную землю библейской царицы Савской. Идея была тем привлекательней, что общую поездку на юг завсегдатаям «башни» сулил и Петр Потемкин. Его друг, киевлянин Владимир Эльснер, готовил большой вечер современного искусства, «гвоздем» которого должны были стать петербургские поэты.

– А из Киева, – убеждал Гумилев, – рукой подать до Одессы. Неделя не пройдет, как все мы будем в Александрии…

Иванов воспламенялся, потом трезвел и скептически качал головой:

– Я болен, оцеплен делами и беден, очень беден деньгами. Какая там Африка! Да и в Киев, наверное, не поеду.

В начале ноября на устах у всех «аполлоновцев» вновь оказалась Черубина де Габриак, поразившая редакцию очередными шедеврами. Внучка графини Нирод (новый слух из достоверных источников) живописала мистический оргазм (!), испытанный ей, подобно св. Терезе Авильской, перед изваянием Распятого:

> Эти руки, как гибкие грозди,
> Все сияют в камнях дорогих.
> Но оставили острые гвозди
> Чуть заметные знаки на них[129].

Но сама Черубина, так и не добравшись до редакции на Мойке, внезапно заболела воспалением легких. Голос кузины несчастной страдалицы, звонившей Маковскому, дрожал от слез. Всю ночь Черубина молилась, а на следующее утро ее нашли без сознания, в бреду, лежащей в коридоре на каменном полу возле своей комнаты. Конец мог наступить в любую минуту, и медлить с публикацией ее стихов было нельзя! Выход был только один – *снять из уже готового набора второго номера «Аполлона» подборку стихов Иннокентия Анненского и поставить вместо них стихи умирающей Черубины.*

И Маковский потерял голову. Его не остановило даже то, что отмена публикации нарушала планы Анненского по подготовке отдельного собрания своих стихов. «… Мне очень, очень досадно, что печатание расстроилось, – горько признавался старый поэт. – Ну, да не будем об этом говорить и постараемся не думать». Эскапада влюбленного редактора наделала много шума. Ужиная с Кузминым в ресторане Палкина, Гумилев не переставал возмущаться:

– Как он мог! Больную Черубину никто даже в глаза не видел, а вот что Анненский очень болен сердцем, прекрасно известно всем…

Подсевший к ним хмельной немецкий переводчик из «Аполлона» Иоганнес фон Гюнтер вдруг захохотал:

– Да нет никакой Черубины, ни больной, ни здоровой… Какая там католическая графиня! Это Лиля Дмитриева все выдумала, и стихи сама пишет, и Маковскому голову по телефону морочит.

Гумилев окаменел, а Кузмин с любопытством стал допрашивать немца. На того нашел припадок болтливой откровенности. Тайну «Черубины де Габриак» Гюнтер узнал недавно, причем при самых пикантных обстоятельствах. История Гюнтера напоминала новеллу из «Декамерона»: безнадежно влюбленный в художницу Лидию Брюллову, он не нашел ничего лучшего, как затеять роман с Дмитриевой, ее интимной подругой…

На следующий день Гумилев, встретив Дмитриеву в редакции, потребовал объяснений, выслушал ее лепет, закричал, не помня себя от ярости и возмущения: «Вы еще меня узнаете!», – уехал в Царское и на выходные пропал. Но уже в понедельник он, спокойный и сосредоточенный, держал совет с Ивановым, Кузминым и Алексеем Толстым: что делать? Толстой сообщил, что игра в *Ангела-Чертовку* (от «херувима» и «габриаха», беса, защищающего мага от других злых духов) была затеяна Волошиным летом в Коктебеле как продолжение «китоврасьих игрищ» – уже после того, как Гумилев покинул волошинский дом. От имени роковой графини-католички все писали стихи; победительницей оказалась Дмитриева. Эти же стихи несколько недель спустя Толстой услышал от Маковского в редакции «Аполлона», но, по просьбе Волошина, помалкивал. Но мистификация зашла слишком далеко. Дмитриева, талант которой в призрачном обличье Черубины за несколько месяцев невероятно вырос, и в самом деле превратилась в беса-габриаха, расчищающего магу-Волошину дорогу к высотам в «Аполлоне».

И тут не выдержал Михаил Кузмин:

– Действительно, история грязная. Любовница и Гумми, и еще кого-то, и теперь Гюнтера, креатура Макса Волошина, пугающая бедного Мако, рядом Гюнтер и Макс… Компания почтенная!

Он взялся рассказать Маковскому о мистификации и рассеять ложь и клевету, которая возникла из-за нее. Вопрос был уже решен, как вдруг на «башне» оказался Гюнтер, вызвавший Гумилева на конфиденцию:

– Ты должен жениться!

– На ком?

– На Дмитриевой! Ты должен жениться на поэтессе, только настоящая поэтесса может тебя понять и вместе с тобой стать великой. Кроме того, она великолепная женщина, а ты и без того обещал жениться на ней.

«Он как будто бы согласился с моим предложением, – вспоминал Гюнтер. – Втайне я торжествовал, так как объяснение должно было произойти у ее подруги, обольстительной Лидии

Брюлловой, и после их несомненного примирения мы образовали бы две пары. Я приложил старание ускорить встречу… Мы отправились. Они нас ожидали. На Дмитриевой было темно-зеленое бархатное платье, которое к ней шло. Она находилась в состоянии крайнего возбуждения, на лице горели красные пятна. Изящно накрытый стол, казалось, тоже ожидал примирения. Лидия Брюллова в черном шелковом платье приветствовала нас как очаровательная хозяйка дома. Но что случилось? С небрежным и даже заносчивым видом Гумилев приблизился к обеим дамам.

– Мадемуазель, – начал он презрительно, даже не поздоровавшись, – вы распространяете ложь, будто я собирался на вас жениться. Вы были моей любовницей. На таких не женятся. Вот что я хотел вам сказать.

Презрительно-снисходительный кивок. Он повернулся к обеим спиной и ушел. Я был совершенно ошеломлен его неожиданной грубостью, но мне ничего другого не оставалось, как последовать за ним… Я был в ярости. Он меня безгранично разочаровал. С усмешкой он заявил, что так уж положено! С подобными женщинами следует именно так держаться. Я покачал головой.

– Это варварство! Ты глубоко оскорбил ее в присутствии постороннего человека. *Она будет мстить*».

Месть «Черубины де Габриак» не заставила себя долго ждать и была еще более безобразной, чем история с Анненским. На следующий день в Мариинском театре, в мастерской художника Головина, который собирался писать коллективный портрет сотрудников редакции «Аполлона», Максимилиан Волошин бросился на Гумилева и ударил по лицу. Гумилев тут же попросил Кузмина быть его секундантом. Вторым секундантом вызвался стать писатель-шахматист Зноско-Боровский. Со стороны Волошина секундантами были назначены Алексей Толстой и художник Шервашидзе[130]. «Макс все вилял, вел себя очень подозрительно и противно, – записывал 21 ноября в дневнике Кузмин. – С Шервашидзе вчетвером обедали и вырабатывали условия. Долго спорили… У нас уже сидел окруженный трагической нежностью «башни» Коля. Он спокоен и трогателен. Пришел Сережа [Ауслендер] и ненужный Гюнтер, объявивший, что он всецело на Колиной стороне. Но мы их скоро спровадили».

Дуэль была назначена на шесть часов утра. Гумилев завершал письмо к Ахматовой:

– Я понял, что в мире меня интересует только то, что имеет отношение к Вам!

«Решили не ложиться, – записывал Кузмин. – Я переоделся, надел высокие сапоги, старое платье. Коля спал немного. Встал спокойно, молился».

XIII

Дуэль Гумилева и Волошина. Газетная шумиха. Литературный вечер в Киеве. Объяснение с Ахматовой. Первое путешествие в Абиссинию. Возвращение в Россию. Смерть С. Я. Гумилева. История кончины Иннокентия Анненского и финал «черубинианы».

Ранним утром 22 ноября 1909 года все участники дуэли собрались на заболоченной поляне у перелесков Старой Деревни, удаленного местечка, имевшего дурную «дуэльную славу» еще с прошлого века. Неподалеку, за Черной речкой, находилась Комендантская дача, у которой в январе 1837-го Пушкин был смертельно ранен на поединке с кавалергардом Жоржем Дантесом. «Выехав за город, – вспоминал Алексей Толстой, – мы оставили на дороге автомобили и пошли на голое поле, где были свалки, занесенные снегом. Противники стояли поодаль, мы совещались, меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилев, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил пятнадцать шагов, просил противников встать на места и начал заряжать пистолеты. Пыжей не оказалось, я разорвал платок и забил его вместо пыжей. Гумилеву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным, черным силуэтом различимый во мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, взял пистолет, и тогда только я заметил, что он не отрываясь, с ледяной ненавистью глядит на Волошина, стоявшего, расставив ноги, без шапки.

Передав второй пистолет Волошину, я, по правилам, в последний раз предложил мириться. Но Гумилев перебил меня, сказав глухо и недовольно: «Я приехал драться, а не мириться». Тогда я просил приготовиться и начал громко считать: раз, два… (Кузмин, не в силах стоять, сел в снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком, чтобы не видеть ужасов.) … три! – крикнул я. У Гумилева блеснул красноватый свет и раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилев крикнул с бешенством: «Я требую, чтобы этот господин стрелял». Волошин проговорил в волнении: «У меня была осечка». «Пускай он стреляет во второй раз, – крикнул опять Гумилев, – я требую этого…» Волошин поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожащей руки пистолет и,

целя в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилев продолжал неподвижно стоять. «Я требую третьего выстрела», – упрямо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали. Гумилев поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилям».

Дуэль, хотя и безрезультатная, получила большую огласку. Стрелялись гражданские, которым, в отличие от военных лиц, вооруженные противоборства были запрещены законом. К Шервашидзе уже на следующее утро явился квартальный надзиратель. Были выяснены имена всех участников и допрошены шоферы такси, доставлявшие их в Старую Деревню. К тому же участники поединка были модными литераторами. Данные расследования оказались в руках газетчиков, и те ухватились за потерянную кем-то галошу, обнаруженную полицией при осмотре места происшествия:

Жили-были два писателя, два поэта, два критика и вдруг воспылали друг к другу ненавистью лютою, непримиримою. Тесно им стало жить на белом свете, и решили, что надо им друг друга истребить.

– Ради Бога, что вы делаете? – умоляли их друзья-приятели. – На кого вы литературу русскую оставляете. Осиротеет она, бедная. Подумать только: варварский обычай дуэли уже лишил русскую литературу Пушкина и Лермонтова, а теперь, пожалуй, останется литература русская и без Волошина и Гумилева. – Но писатели и слышать не хотели…

… Когда дым рассеялся, на снегу вместо двух поэтов осталась одна только галоша.

Над поэтами-дуэлянтами радостно зубоскалили «Вечерний Петербург», «Новая Русь», «Газета-копейка», «Русское слово», «Утро России», «Одесские новости», «Киевская мысль» и другие столичные и провинциальные издания, именуя Волошина – «Марком», а Гумилева – «Гумилевичем-Немезером», сообщая душераздирающие подробности (вроде стрельбы с двух метров в упор) и на все лады склоняя Пушкина, Черную речку и злополучную галошу. Всероссийская шумиха, неожиданно поднятая вокруг поединка, не улеглась до конца месяца, когда Потемкин привез Гумилева, Кузмина и Алексея Толстого к Владимиру Эльснеру в Киев. Оказалось, что обстановка тут накалена до предела. Купеческое городское собрание, предоставлявшее «Вечеру современной поэзии» свою залу, теперь наотрез отказывалось принимать «декадентов-дуэлянтов». Правда, Эльснера выручил Малый театр Крамского, но, полагая,

что скандальным петербуржцам не избежать обструкции, свое согласие выступать отозвали некоторые из заявленных ранее участников. Собравшаяся 29 ноября 1909 года аудитория была настроена большей частью агрессивно, причем главной жертвой был избран, разумеется, Гумилев. Явной обструкции не было, но публика, как потом говорилось в газетных отчетах, воспринимала звучащие с эстрады стихи *«иронически»*. Вокруг раздавались смешки и покашливания, и Гумилев, представляя новую поэму «Сон Адама», не декламировал, а выпевал строфы полным голосом, повышая тон по мере развития рассказа о библейском Первом Человеке, взыскующем утраченный рай:

Устанет и к небу возводит свой взор,
Слепой и кощунственный взор человека:
Там, Богом раскинут от века до века,
Мерцает над ним многозвездный шатер.
Святыми ночами, спокойный и строгий,
Он клонит колена и грезит о Боге.

Этот непривычный речитатив, упрямо звучащий со сцены, увлекал, так что Гумилеву без особых помех удалось довести поэму до финала:

И Ева кричит из весеннего сада:
«Ты спал и проснулся… Я рада, я рада!».

Только тут самые непримиримые, спохватившись, ответили глумливым эхом: *«Мы тоже проснулись, мы рады, мы рады!..»*. Менее непримиримые, пожав плечами, промолчали. Благодушные же из вежливости хлопнули несколько раз в ладоши и потянулись к выходу. В стремительно пустеющем театральном зале оставалась неподвижно сидеть Ахматова. Когда все разошлись, она встретила у артистического выхода измученного выступлением Гумилева и повела его пить кофе в ресторан гостиницы «Европейская». Письмо Гумилева Ахматова получила, и, по ее словам, сделанное там признание *«показалось убедительным»*:

– Я согласна стать Вашей женой.

На следующий день петербургские поэты покидали Киев. Кузмин, Толстой и Потемкин возвращались в Петербург. А Гумилев, потрясенный событиями последней недели, отправился в Одессу, чтобы оттуда следовать средиземноморским маршрутом в Египет. Африканское паломничество он непременно решил

совершить, хотя бы и в одиночку. Счастливое киевское свидание в «Европейской» мгновенно вытеснило из его памяти все осенние кошмары и далекий путь, паче чаянья, был весел, как никогда. Во время стоянки парохода в афинском Пирее Гумилев возликовал до того, что вообразил себя новым Одиссеем-странником, избавленным от напастей волшебной помощью Афины Паллады, специально поехал в Акрополь к Парфенону[131] и от переизбытка чувств оставил в мраморных руинах золотую монету. За несколько дней он настолько отдохнул и окреп физически и морально, что, едва достигнув Каира и совершив ритуальную вечернюю прогулку по желанному *Эзбекие*, начал подумывать вернуться в Александрию и сесть на пароход в Одессу. Однако вместо Александрии Гумилев отправился поездом в Порт-Саид и взял билет на рейс до Джибути, морских ворот в Абиссинию. «Завтра еду в глубь страны, по направлению к Адис-Абебе[132], столице <императора> Менелика, – писал он оттуда Брюсову в православный сочельник 24 декабря 1909 г. (6 января 1910 г.). – По дороге буду охотиться. Здесь уже есть все, до львов и слонов включительно. Солнце палит немилосердно, негры голые. Настоящая Африка. Пишу стихи, но мало. Глупею по мере того, как чернею, а чернею я с каждым часом. Но впечатлений масса. Хватит на две книги стихов. Если меня не съедят, я вернусь в конце января».

Абиссиния в момент появления там Гумилева представляла собой обширную африканскую империю, земли которой простирались от бассейна Верхнего Нила до побережий Красного и Аравийского морей и лесов Центральной Африки. Эта страна была похожа на огромную крепость на скале, пологой с запада и крутой с востока, возвышающейся террасами и прорезанной долинами рек. На вершинах горной цитадели располагались земли метрополии – Амхары на севере, Тигрэ на северо-западе и Шоа в центральной части. Внизу же, по склонам нагорья, жили многочисленные вассальные племена, среди которых выделялись воинственные мусульмане-галласы, населяющие восточные области, где властным центром был город Харрар.

История Абиссинии восходила ко временам Великого Потопа, ибо основателем Аксума, первого из городов-крепостей на Абиссинском нагорье, считался внук Ноя – Арам. Наследницей его и была знаменитая Хазнеб, царица Савская, которая побывала в Иерусалиме, испытывала загадками царя Соломона, уверовала и принесла великие дары для строительства Храма. Предание гласило о любви Соломона и Савской, сын которых сел царем в Аксуме, став основателем династии черных императоров-соломонидов. Сюда, согласно многочисленным легендам, был

перенесен исчезнувший из Иерусалима Ковчег Завета – то ли уже во времена Савской, то ли в царствование нечестивого израильского царя Манассии, то ли перед разрушением города вавилонским владыкой Навуходоносором[133].

Во второй половине XIX века, после открытия Суэцкого канала и последующего оживления судоходства в Красном море, Абиссиния оказалась в центре стратегических интересов великих европейских держав[134]. Упомянутый Гумилевым абиссинский император Менелик II пытался наладить прочные связи с Францией, Англией и «единоверной Россией»[135]. Во время победоносной войны Менелика против колонизаторов-итальянцев русский санитарный отряд находился в составе абиссинской армии. А по завершении боевых действий в только что отстроенную имперскую столицу Адис-Абебу (Новую Розу), торжественно прибыла в 1898 г. российская дипломатическая миссия, первая в Черной Африке. Русские военные, специалисты и ученые принимались при дворе просвещенного абиссинского монарха и становились его доверенными лицами. Но, путешествуя самодеятельным туристом на «аполлоновские» гонорары, Гумилев не мог долго задержаться в удивительной стране, и «Новая Роза» на далеком нагорье так и осталась для него недоступной мечтой. Примкнув к торговому каравану в порту Джибути, он преодолел вместе с купцами и погонщиками около трехсот верст до Харрара, осмотрел в несколько дней этот средневековый мусульманский город, совершил охотничью вылазку в окрестности, встретил «русский» Новый год и начал собираться с другим караваном в обратный путь на побережье. «Я в ужасном виде, – писал Гумилев Михаилу Кузмину, – платье мое изорвано колючками мимоз, кожа обгорела и медно-красного цвета, левый глаз воспален от солнца, нога болит, потому что упавший на горном перевале мул придавил ее своим телом. Но я махнул рукой на все. Мне кажется, что мне снятся одновременно два сна, один неприятный и тяжелый для тела, другой восхитительный для глаз. Я стараюсь думать только о последнем и забываю о первом».

В начале февраля 1910 года он был уже в Киеве, где обсуждал с Ахматовой будущую помолвку. Однако финал этой бравурной и победительной поездки оказался очень печальным. Сразу после возвращения младшего сына в Царское Село, 6 февраля Степан Яковлевич Гумилев, жаловавшийся с утра на какие-то клокотания в груди, тихо, без звука, отошел в своем кабинете, пока Анна Ивановна, ожидая вызванного доктора, читала в гостиной очередной французский роман. Доктор обнаружил на диване в кабинете уже остывающее тело.

Смерть отца совпала для Гумилева с известием о другой кончине, случившейся два месяца назад, 30 ноября 1909 года, в тот момент, когда он, ликующий, отправлялся с киевского перрона навстречу абиссинским чудесам. Иннокентий Анненский, позабыв случайно дома сердечные капли, умер на петербургском Царскосельском вокзале от мгновенного приступа. Тело перенесли в близкую Обуховскую больницу, где бывшего инспектора Петербургского учебного округа вскоре опознали. «Мы хоронили его на Казанском кладбище Царского Села, – вспоминал Маковский, – отпевание вышло неожиданно многолюдным, его любила учащаяся молодежь, собор был битком набит учениками и ученицами всех возрастов. Чувствовалось, что ушел человек незабываемый. В полях был серый, тающий снег, были нищие ветки берез на мглистом небе. Катафалк с дубовым гробом жалко подпрыгивал на ухабах. Было невероятно сознание: Анненский мертв… Он лежал в гробу торжественный, официальный, в генеральском сюртуке Министерства народного просвещения».

Оказавшись в редакции «Аполлона», Гумилев узнал подробности этой смерти, ставшей мрачным эпилогом истории призрачной «черной инфанты» Черубины де Габриак. На похоронах все обратили внимание на странное поведение Максимилиана Волошина – тот хихикал, ерничал и строил догадки, как удивляется сейчас покойный *«в новой обстановке»*:

– Люди, умирающие скоропостижно (как Иннокентий Федорович), не успевши приготовиться к иному существованию в другом измерении, бесконечно изумлены в первое время, что все вокруг них словно так, да не так… Положение трудное. Многие от неожиданности, догадавшись внезапно, что они – мертвые, сходят с ума…

«Волошин это «сходят с ума» произнес особенно улыбчивым голосом, – рассказывал Маковский, – и меня отшатнуло от него в эту минуту, он показался мне другим каким-то: или не совсем нормальным, или уж очень бессердечно-умствующим философом, смакующим приключения своей фантазии даже перед гробом друга, только что опущенным в могилу. Иначе говоря – эстетом невысокого уровня…» Смерть Анненского «отшатнула» от Волошина и других «аполлоновцев», и теперь главный защитник Черубины де Габриак, являясь в редакцию на Мойке, встречал, по выражению Маковского, «общую холодность». Литературная интрига, в самом деле, зашла *слишком далеко*… За день до возвращения Гумилева Волошин уехал из Петербурга в Феодосию, чтобы, как он говорил знакомым, «закрыться в Коктебеле».

Под впечатлением от всего происшедшего Маковский решил

прибегнуть к совету, данному ему недавно Михаилом Кузминым, и сам позвонил по рассекреченному «телефону Черубины». Теперь он беседовал с «графиней» сухо и деловито:

– Заезжайте-ка ко мне. Хоть сейчас. За чашкой чаю обо всем и потолкуем… Теперь время – поставить точки на i и разойтись à l'amiable[136].

Среди «аполлоновцев» pápá Makó никогда не замечал невзрачную Дмитриеву и теперь горько прощался со своей романтической мечтой о провансальской поэтессе-аристократке. «Она была на редкость некрасива, – признавался он. – Или это представилось мне так по сравнению с тем образом красоты, что я выносил за эти месяцы? Стало почти страшно. Сон чудесный канул вдруг в вечность, вступала в свои права неумолимая, чудовищная, стыдная действительность. И сделалось до слез противно, и вместе с тем жаль было до слез ее, Черубину».

– О том, как жестоко искупаю я обман – один Бог ведает, – торопливо говорила Дмитриева. – Сегодня, с минуты, когда я услышала от Вас, что все открылось, с этой минуты я навсегда потеряла себя: умерла та единственная, выдуманная мною «я», которая позволяла мне в течение нескольких месяцев чувствовать себя женщиной, жить полной жизнью творчества, любви, счастья. Похоронив Черубину, я похоронила себя и никогда не воскресну…[137].

Появившись в «Аполлоне» в начале февраля 1910 года, Гумилев уже не застал никаких отголосков странных событий, так больно задевших его минувшей осенью. Только Валентин Анненский-Кривич попросил Гумилева держать вместе корректуру готовящегося в издательстве «Гриф» собрания стихов покойного отца – *«Кипарисовый ларец»*. Из-за истории с сорванной по воле Черубины журнальной публикацией Иннокентий Анненский не дождался выхода своей итоговой книги. А статского советника Степана Яковлевича Гумилева похоронили в феврале на Кузьминском кладбище в окрестностях Царского Села. Кончины в семье ожидали уже несколько месяцев, когда и без того лежачий больной стал безнадежно сдавать. Это притупило боль от утраты, и траур в доме не выдерживался строго. Гумилев, к неудовольствию Анны Ивановны, вскоре занял опустевший кабинет отца и по ночам бодрствовал – домашние, засыпая, слышали за дверью равномерные шаги и чтение вполголоса. Брат Дмитрий обычно ворчал: «Опять наш Коля улетел в свой волшебный мир». Но Гумилеву было не до романтических мечтаний: близился срок, когда в Петербург должна была приехать Ахматова, и он не знал, отменять ли письмом ее поездку, а если не отменять – как приступить к матери с

объяснением о грядущей помолвке. В конце концов, он положился на судьбу, предоставив событиям течь по их собственному произволению.

XIV

Масленица 1910 года. С Ахматовой в Петербурге и Царском Селе. «Кипарисовый ларец». Неудачные «смотрины». В Окуловке у Ауслендера. Дискуссия о символизме. «Жемчуга». Красная Горка. Венчание Гумилева и Ахматовой.

В России, жившей в начале XX века по православному календарю, праздник Масленицы, предваряющий Великий пост, считался временем смотрин. Масленичные визиты «к теще на блины» делались с расчетом на то, чтобы после Великого Поста, на *Красную Горку* (Фомино воскресенье, первое после пасхального), молодые могли бы сыграть свадьбу. К сватовству и представлению молодых в роднящихся семействах, так или иначе, сводились все народные масленичные обряды:

Отдавала меня мать
Во великую семью,
Во великую семью —
В несогласную.

На масляную седмицу, пришедшуюся в 1910 году на последнюю неделю февраля, в Петербург из Киева приехала Ахматова. Как и полтора года назад, она остановилась у отца на улице Жуковского. Туда 25 февраля Гумилев, уже в качестве жениха, сделал визит, и они гуляли по Невскому, завернув в конце прогулки на Михайловскую площадь в Русский музей. Это посещение художественной галереи, хорошо знакомой ей с детства, стало памятной вехой в жизни Ахматовой: «Стихи я писала с одиннадцати лет совершенно независимо от Николая Степановича. Пока они были плохи, он, со свойственной ему неподкупностью и прямотой, говорил мне это. Затем случилось следующее: я прочла (в брюлловском зале Русского музея) корректуру «Кипарисового ларца»… и что-то поняла в поэзии». По всей вероятности, демонстрация корректуры посмертного сборника Иннокентия Анненского, которую Гумилев в эти дни все время таскал с собой, как раз и явилась аргументом в пользу ничтожества только что прочитанных стихов Ахматовой:

– Вот как надо писать!

Недовольная Ахматова присела на плюшевую скамью перед «Последним днем Помпеи» и… зачиталась. Забыв обо всем на свете, она тут же, не сходя с места, прочла книгу от корки до

корки. «Я веду свое «начало» от стихов Анненского, – писала впоследствии она. – Его творчество, на мой взгляд, отмечено трагизмом, искренностью и художественной цельностью».

А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошел и тени не оставил…[138]

Можно не сомневаться, что остаток дня они провели в беседах о кончине Анненского, об «Аполлоне» и интригах Черубины де Габриак. Ахматова на всю жизнь свирепо возненавидела Дмитриеву и Волошина (что вряд ли справедливо, ибо создатели Черубины не были злодеями, сами оказавшись, в конце концов, жертвами своего же исчадия) и потребовала, чтобы намеченная на завтра ее поездка в Царское Село началась поклонением могиле Иннокентия Федоровича.

Так и произошло, однако «смотрины» у Гумилевых на Бульварной прошли из рук вон плохо. Поездка Ахматовой в Царское не задалась с самого начала. Был Широкий Четверг, на загородные гуляния ехало множество петербуржцев, и Ахматова случайно оказалась в одном вагоне с неведомыми ей… Мейерхольдом, Зноско-Боровским и другими «аполлоновцами», решившими развеяться и заодно навестить Гумилева. Тот, встречавший Ахматову с цветами на царскосельском вокзале, увидев невесту выходящей из поезда в компании друзей, совсем растерялся и, после замешательства, представил ее как *«знакомую из Киева»* (!), которая изъявила желание посетить могилу Иннокентия Анненского (!!). Легко представить, что, попав в дом Георгиевского, Ахматова находилась не в самом дружелюбном расположении духа. «У меня в молодости, – признавалась она, – был трудный характер, я очень отстаивала свою внутреннюю независимость, была очень избалована». С другой стороны, можно лишь догадываться, как отнеслась Анна Ивановна Гумилева к свадебным хлопотам, затеянным младшим сыном спустя две недели после отцовских похорон. Подробности «смотрин» неизвестны, однако, покидая на следующий день Петербург, Ахматова отправила своей подруге Тюльпановой красноречивую записку:

Птица моя, – сейчас еду в Киев. Молитесь обо мне. Хуже не бывает. Смерти хочу.

Она пыталась жаловаться и отцу, но тот печально погладил ее по голове и покивал, а потом вдруг спохватился:

– Ах, да еще… Вот, у Николая Степановича в журнале… э-э-э… «А-по-л-лон» опубликовано сочинение «Капитаны». Так ты уж ему скажи, что *«над пасмурным морем следившие румб»* –

неправильно это. Моряки так не говорят. Непременно скажи, не забудь…

Странный он был человек, Андрей Антонович Горенко!

Зато в Киеве, где Ахматова сгоряча поведала домашним о несчастном визите к Гумилевым с теми самыми, неведомыми нам, *подробностями*, против «скандального брака» дружно восстали все (Инна Эразмовна Горенко и Анна Ивановна Гумилева так никогда и не встретились как сватьи до конца своих дней). Между тем, в отличие от рассерженных близких, ни Ахматова, быстро остынув, ни тем более Гумилев не были склонны видеть в неудаче «смотрин» нечто большее, нежели нелепое недоразумение. Сергей Ауслендер, живший тогда у родных в Окуловке под Новгородом, вспоминает, как Великим постом 1910 года к нему нагрянул взволнованный Гумилев: «В первый раз в те дни он говорил о своей личной жизни, говорил, что хочет жениться, ждет писем. Мы просиживали с ним за разговорами до рассвета в моей комнатке с голубыми обоями. За окном блестела вода. Я тоже хотел тогда жениться, и это нас объединяло… Мы оба в это время готовились жениться как-то беспокойно. Из Окуловки Гумилев посылал запрос в Царское, есть ли письма из Киева, беспокоился, как будто не был уверен в ответе, и, получив утвердительный ответ, попросил лошадей и тут же выехал на вокзал, хотя знал, что в это время нет поезда. Я провожал его, и мы ждали на станции часа два с половиной. Он не мог сидеть, нервничал, мы ходили и курили». В *«письме из Киева»* было окончательное согласие Ахматовой на брак с Гумилевым. Оба чувствовали необходимость во взаимном союзе и интуитивно понимали, что *время пришло*:

Влюбленные, пытайте рок, и вам
Блеснет сиянье розового рая.

От *Красной Горки* 1910-го – великого дня в истории российской культуры XX века – их отделяли только оставшиеся великопостные, Страстная и Светлая, седмицы.

Эти недели оказались очень насыщенными как в духовной, так и в творческой жизни Гумилева. Едва появившись после африканского путешествия в редакции «Аполлона», он сразу был вовлечен в спор о современном состоянии русского символизма, разгоревшийся после публикации в январском номере журнала статьи Михаила Кузмина «О прекрасной ясности». В этой статье Кузмин упрекал символистов в чрезмерной сложности их стихов и прозы:

– Пусть ваша душа будет цельна или расколота, пусть

миропостижение будет мистическим, реалистическим, скептическим или даже идеалистическим (если вы до того несчастны), пусть приемы творчества будут импрессионистическими, реалистическими, натуралистическими, содержание – лирическим или фабулистическим, пусть будет настроение, впечатление – что хотите, но, умоляю, будьте логичны – да простится мне этот крик сердца! – логичны в замысле, в постройке произведения, в синтаксисе.

Вячеслав Иванов вступился за символизм:

– Символизм в новой поэзии кажется первым и смутным воспоминанием о священном языке жрецов и волхвов…

Иванов был уверен: наступает некая ***высшая стадия*** в истории мирового искусства, когда поэты превращаются в *теургов*[139], посланников Св. Духа, пророков «христианства последних времен». Об этой ***высшей стадии*** (по-гречески – ***«акмэ»***, ἀκμη) он сделал доклад «Заветы символизма» на заседании «Общества ревнителей художественного слова» 26 марта 1910 года. Доклад вызвал среди участников «молодой редакции», помнивших предостережения Анненского о недопустимости попыток «ввести в самую поэзию то, что заведомо не поэзия», большие сомнения. Гумилев не имел ничего против взаимодействия поэзии с религиозными переживаниями, но знакомый ему не понаслышке образ символиста, одержимого неземными голосами и видениями, казался скорее демоническим, чем христианским:

– Я боюсь устремлений к иным мирам, потому что не хочу выдавать читателю векселя, по которым расплачиваться буду не я, а какая-то неведомая сила.

Пророческое «новое христианство», которым Иванову виделся русский символизм, смутил и главного редактора «Аполлона».

– Вячеслав Иванович, скажите прямо: *Вы верите* в божественность Христа? – спрашивал Маковский.

– Конечно, но в пределах солнечной системы! – отвечал Иванов.

«Он в Христа верил, – вспоминал Маковский, – но не менее чистосердечно «воззвывал» и богов Олимпа, и духов земли… Символы были для него не только литературным приемом, но и заклинательным орудием».

На прениях, развернувшихся в «Обществе ревнителей художественного слова» после доклада Иванова, Гумилев высказался в том духе, что поэт вряд ли вообще должен воспринимать себя *религиозным* пророком. О том, что мир полон волшебства и тайн, говорили еще французские «парнасцы», столь любимые покойным Анненским, однако ни Теофиль Готье, ни

Леконт де Лиль не видели необходимости покидать пределы искусства и искать в религии дополнительное оправдание для своих чувств и переживаний. Сторонники Иванова тут же обвинили Гумилева в *«бездуховности»*. Зато его неожиданно горячо поддержал Сергей Городецкий:

– Настоящий поэт не должен мудрствовать, он не философ и не богослов! Как наивный первозданный Адам, он должен лишь петь хвалу Богу-Творцу и сотворенному Им миру! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе? Боже!

Споры об *адамизме* и ἀκμη в развитии современного искусства продолжились на «башне» и после прений. Андрей Белый, гостивший у Иванова, вспоминал, что Гумилев, «в черном, изысканном фраке, с цилиндром, в перчатке; сидел, точно палка, с надменным, чуть-чуть ироническим, но добродушным лицом и парировал видом наскоки Иванова».

– Вы вот нападаете на символистов, а собственной твердой позиции у Вас нет! – горячился тот. – Ну, Борис[140], Николаю Степановичу сочини-ка позицию…

Эрудированный Белый, припомнив, что греческое слово ἀκμη означает еще и «острие», в шутку стал вещать что-то о «заостренных Адамах» или *«акмеистах»*. Гумилев внимательно выслушал его:

– Вот и прекрасно: вы мне сочинили позицию – против себя: покажу уже вам ***«акмеизм»***!

Под впечатлением от дискуссии вокруг символизма он подготовил для «Аполлона» большую статью «Жизнь стиха». «Не будучи аналогией жизни, – писал Гумилев, – искусство не имеет бытия вполне подобного нашему, не может нам доставить чувственного общения с иными реальностями». Он обвинял символистов в непонимании задач поэзии, в *нецеломуренности* попыток превратить ее в инструмент богословия. Как раз в эти же апрельские дни из Москвы пришел тираж отпечатанных в «Скорпионе» «Жемчугов», многозначительно посвященных автором – *«Моему учителю Валерию Брюсову»*. «Жемчугами» заканчивается большой цикл моих переживаний, и теперь я весь устремлен к иному, новому, – сообщал Брюсову бывший «ученик символистов». – Каково будет это новое, мне пока не ясно, но мне кажется, что это не тот путь, по которому меня посылает Вячеслав Иванович».

Против такого вывода maître не мог возражать. Брюсов никогда не считал символизм религиозным пророчеством, а над «теургией» смеялся:

– Быть теургом, разумеется, дело очень и очень недурное. Но почему же из этого следует, что быть поэтом – дело зазорное?..

Искусство автономно: у него свой метод и свои задачи. Когда же можно будет не повторять этой истины, которую давно пора считать азбучной! Неужели после того, как искусство заставляли служить науке и общественности, теперь его будут заставлять служить религии! Дайте же ему, наконец, свободу!

Но бывший ученик уходил не только от влияния «теурга» Иванова, но и от брюсовского понимания искусства как магического познания мира – *уходил от символизма вообще*. «Будущее, – прозорливо писал Брюсов, откликаясь на выход «Жемчугов», – явно принадлежит какому-то еще не найденному синтезу между «реализмом» и «идеализмом». Этого синтеза Н. Гумилев еще не ищет». И, действительно, пообещав сгоряча Вячеславу Иванову ***«акмеизм»***, Гумилев видел пока эту ***«высшую стадию искусства»*** в самых общих чертах:

– Мне верится, что можно много сделать, перейдя от тем личных к темам общечеловеческим, пусть стихийным, но под условьем всегда чувствовать под своими ногами твердую почву. Но я повторяю, что мне это пока неясно…

Захватив нарядный том «Жемчугов» в виде свадебного подарка, Гумилев накануне Фомина воскресенья отправился к Ахматовой. После провала «смотрин» Анна Ивановна, избегая семейной ссоры, воздержалась от решительного объяснения с сыном и не вмешивалась в его планы. Однако, видя молчаливое неодобрение домашних, Гумилев понимал, что рассчитывать на семейное торжество, подобное прошлогодней свадьбе брата Дмитрия, ему не приходится. В Киев он приехал один. Семья невесты оказалась настроена еще хуже, чем родня жениха. Прием вышел настолько холодным, что Гумилев предпочел остановиться не у будущей тещи, проживавшей тогда с младшими детьми на Паньковской улице, и даже не у Андрея Горенко, жившего отдельно от матери на Пироговской[141], а в гостинице «Национальной» на Крещатике. Обсуждая с Ахматовой накануне Красной Горки сложившееся положение, Гумилев принял окончательное решение: действовать *немедленно*, на свой страх и риск. Договорившись о таинстве венчания в храме левобережной Никольской слободки[142], Гумилев отправился к Владимиру Эльснеру, организатору прошлогоднего вечера «Острова искусств», и заручился его согласием выступить шафером. Шафером Ахматовой стал знакомый молодой офицер-литератор Иван Аксенов, недавно побывавший в политической ссылке[143]. В Фомино воскресенье, 25 апреля 1910 года, Николай Гумилев венчался с Анной Ахматовой.

Деревянная Никольская церковь была невелика, увенчана шатровым куполом, традиционным в провинциальной храмовой

архитектуре XIX столетия и, по воспоминаниям прихожан, очень уютна со своими иконами, украшенными домашними вышитыми рушниками. Уединенность храма и быстрота совершения обряда, на котором кроме жениха и невесты присутствовали только шаферы, наводила на мысль о *тайном венчании*. Заинтригованный Эльснер, рассказывая потом о неожиданном приключении, утверждал, что Ахматова, таясь от родных, выехала из дома в обычной будничной одежде, а в подвенечное платье переоделась где-то недалеко от храма[144]. Сама же Ахматова вспоминала только, что, выходя из Никольской церкви, она, впервые в жизни, увидела проносящийся над Никольской слободкой самолет: один из первых полетов совершал знаменитый спортсмен-авиатор Сергей Уточкин.

Это скромнейшее торжество в позабытом храме, на месте которого располагается сейчас станция «Левобережная» киевского метрополитена, стало началом семейного и творческого союза, которому было суждено сыграть огромную роль в российской истории XX века. Для двадцатилетней Ахматовой, одичавшей и заброшенной среди беспросветной провинциальной нужды и безвестности, венчание с Гумилевым стало событием, полностью изменившим ее жизнь и открывшим путь в большую русскую литературу. Но и для духовного и творческого развития Гумилева постоянное присутствие Ахматовой было жизненно необходимо. Когда та, в очередной раз, вздохнет с сожалением, что все в их семейной жизни получается не так, как хотелось, – Гумилев ответит:

– Нет: ты научила меня ***верить в Бога и любить Россию!***

В этом и заключалась разгадка таинственного ***акмеизма,*** которому суждено будет стать ***поэзией российского духовного сопротивления*** в катастрофическом для страны XX веке. Однако в тот момент, когда Гумилев и Ахматова следили с паперти Никольской церкви за исчезающим в сиянии весеннего киевского неба «фарманом» Уточкина – все еще было впереди.

Все только начиналось.

XV

Из Киева в Париж. Парижские встречи. Виде́ние Ахматовой. Беседы с Маковским. Из Парижа в Царское Село. Первые месяцы семейной жизни. Конфликт с Вячеславом Ивановым. Неудача Ахматовой на «башне». Ахматова и «аполлоновцы». Свадьба Ауслендера. Первая семейная ссора. Командировка в Адис-Абебу.

Супруги Гумилевы после венчания провели в Киеве неделю, которая была необходима Ахматовой, чтобы получить выходные документы с Высших женских курсов (в Петербурге она хотела продолжить образование). Кроме того, следовало предать осторожной огласке событие, свершившееся накануне в Никольской слободке. Пока Ахматова пропадала на курсах и демонстрировала свои дипломатические способности многочисленной киевской родне, Гумилев положил в банк на имя жены 2000 рублей и выправил ей личный вид на жительство[145]. «Я хотел, – вспоминал Гумилев, – чтобы она чувствовала себя независимой и вполне обеспеченной». Помимо того, новобрачным предстояло путешествие в Париж – все это было сюрпризом, которым он ошеломил молодую жену во время их первого «послесвадебного» свидания.

Гумилев продолжал жить в «Национале», занятый очередной статьей для «Писем о русской поэзии», которую необходимо было отправить в «Аполлон» до отъезда. Статья открывалась разбором только что вышедшего «Кипарисового ларца». «Читателям «Аполлона» известно, что И. Анненский скончался 30 ноября 1909 г. – заключал Гумилев. – И теперь время сказать, что не только Россия, но и вся Европа потеряла одного из больших поэтов…» Не вызывает никаких сомнений, что первой читательницей этих строк, а возможно, и соавтором их являлась Ахматова. Это была их совместная дань памяти Анненского.

2 мая Гумилев и Ахматова уезжали из Киева в Париж. На вокзале их провожала Инна Эразмовна Горенко, смирившаяся за минувшую неделю с участью дочери. Что же касается Ахматовой, то внезапное превращение из севастопольского и киевского «синего чулка» в независимую и обеспеченную замужнюю даму ввергло ее в эйфорическое состояние. По пути в Париж молодожены делали пересадки в Варшаве и Берлине. В берлинском поезде у них возникло какое-то недоразумение с билетами, и последние несколько часов до Парижа они должны были ехать в разных купе. Стояла жара. В купе Ахматовой находились три немца в жилетах. При виде попутчицы они тут же

встали и, надев пиджаки, церемонно раскланялись. Из их разговоров Ахматова, знавшая немецкий, поняла, что этот жест почтения был адресован исключительно *«русской даме»*.

– А если бы это была немка – конечно, не надели бы! – с восторгом рассказывала, воссоединившись вновь с мужем на парижском перроне, двадцатилетняя «русская дама».

По словам Ахматовой, один из немцев немедленно объявил, что хочет следовать за ней, куда бы она ни поехала, не спал и все восемь часов, не отрываясь, смотрел на нее.

– На Венеру Милосскую, – вразумительно отвечал Гумилев, – нельзя восемь часов подряд смотреть, а ведь ты же не Венера Милосская…

И знаменитую Венеру, и «Мону Лизу», и «Прекрасную Цветочницу» Рафаэля Ахматова вскоре увидела в Лувре. Молодожены остановились в гостинице на rue Buonaparte, 10. Гумилев показывал Ахматовой свой Париж, изученный и исхоженный за два года вдоль и поперек. Помимо Лувра они побывали в музее Гюстава Моро, в музее Средневековья в отеле Клюни близ Сорбонны, видели экзотические диковины музея Гимэ[146], были у Деникеров в Jardin des Plantes и гуляли в Булонском лесу. В богемных кафе Латинского квартала и Монпарнаса завсегдатаи встречали Гумилева как старого знакомца, а его юная спутница имела всюду бурный успех. Ахматова любила рассказывать о совместном ужине с прославленным инженером-изобретателем Луи Блерио, первым пилотом Франции[147]:

– В тот день я купила себе новые туфли, которые немного жали. И под столом сбросила их с ног. После обеда возвращаемся с Гумилевым домой, я снимаю туфли – и нахожу в одной записку с адресом Блерио!

Адресами с Ахматовой обменялись (менее экстравагантным способом) и другие парижские знакомые Гумилева. Тот представлял жену как *поэта*, но более всего Ахматова поражала пеструю богемную компанию своим даром угадывать чужие мысли и сны.

– On communique! – восхищенно повторял художник Амедео Модильяни. – Il n'y a que vous pour réaliser cela[148].

Чете jeunes et talentueux poètes russes[149] нанес визит литературный критик журнала «Mercure de France» Жан Шюзвиль, занятый подготовкой французской «Антологии русских поэтов»[150]. «Господин Гумилев, несомненно, сильная личность, – писал он под впечатлением от встречи. – Его можно считать наследником «парнасцев»; благодаря превосходному владению ремеслом он достигает подобных же высот». Убедившись, что

собеседник являет собой «редкостную смесь дерзости и прагматизма», Шюзвиль, получив экземпляр «Жемчугов», просил о дополнительном содействии; через несколько дней Гумилев принес ему некие «проекты» (до нас не дошедшие) и, по-видимому, опыты автопереводов на французский. Он был один, madame Goumileff в иезуитский монастырь, где квартировал Шюзвиль, идти постеснялась.

Безмятежное течение парижских дней оборвалось, когда Ахматова проснулась с воплем, перебудившим весь отель:

– Его не было! Не было!!..

Белая от ужаса, она, плача, не могла успокоиться:

– Не было! Никого *другого* просто не было! Как я не понимала!..

Через силу взяв себя в руки, она, клацая зубами о стакан с водой, сбивчиво рассказывала:

– Мне приснилось, будто кто-то… не помню кто… Я правда не помню кто… Кто-то… мне говорит: *«Фауста вовсе не было – это все придумала Маргарита… А был только Мефистофель…»* Зачем же такие сны, зачем…

Ни возражения, ни вопросы до нее не доходили.

– Тогда, в Царском… Не было Владимира Викторовича… Совсем не было… И тебе не с кем было на дуэли… Никого не было… Были только я, ты и… – ее зубы снова застучали, – *он*…

– Кто?!

Но ее уже охватил бессвязный бред: «целый год… письмо… *оно не могло прийти*… столько времени… никого… как я…». Попросив горничную приглядеть, Гумилев кинулся за успокоительным. Возвращаясь с лекарством, он налетел у гостиницы на… Модильяни. Маленький художник, задрав голову, уставился на единственное освещенное окно во втором этаже. От бежавшего Гумилева, не здороваясь, Модильяни шарахнулся в темноту. Гумилеву было не до него – всем известно, что, напиваясь до беспамятства, Модильяни петлял потом часами в одиночку по ночным улицам.

Странный сон оказал на Ахматову дурное действие: помрачнев, она не желала больше никуда выходить из гостиницы, сидела часами в кресле у окна, рассеянно созерцая детей с няньками, гуляющих в соседнем сквере, или бесконечно перелистывала купленные у букинистов на набережной Сены альбомы и книги.

Пред тобой смущенно и несмело
Я молчал, мечтая об одном:
Чтобы скрипка ласковая спела

И тебе о рае золотом.

Гумилев верил, что все тревоги Ахматовой исцелит волшебная сила *Музы Дальних Странствий*, которую он многократно испытал на себе. Поездку в Париж Гумилев считал началом их совместных путешествий, постоянно рассказывал о красотах Средиземноморья, о Леванте, Египте и Африке и говорил о «золотой двери», которую отворяют в душе древние священные земли. Ему в голову пришло даже написать об этом поэму, и он колебался, избрать ли темой египетскую экспедицию Наполеона Бонапарта или плаванье Колумба. Верх одержал Колумб, и начатая поэма «Открытие Америки» открывалась вдохновенным гимном странничеству:

Ах, в одном божественном движенье,
Косным, нам дано преображенье,
В нем и мы – не только отраженье,
В нем живым становится, кто жил…
О пути земные, сетью жил,
Розой вен вас Бог расположил!

В первых числах июня Гумилев и Ахматова возвращались в Петербург. Их попутчиком в wagon-lits[151] оказался Маковский, также проводивший весну во Франции. Гумилев до того несколько раз встречался с ним в Париже по деловым надобностям[152]. Главный редактор «Аполлона» доверительно сообщил, что дискуссия о символизме накалила страсти вокруг идейно-эстетической линии, проводимой журналом. Вячеслав Иванов получил возможность самостоятельно подготовить очередной номер (там появились и «Заветы символизма», и статья Александра Блока в поддержку «теургизма»), но призыв к обновленному символизму не нашел понимания даже у таких ветеранов, как Брюсов и Мережковский[153]. Что же касается «аполлоновской» молодежи, то здесь и подавно не видели никакой необходимости в слиянии религии и искусства. Маковский был совершенно с этим согласен:

– Кому нужны эти русские вещанья, эти доморощенные рацеи интеллигентского направленства. Разве искусство, хорошее, подлинное искусство, само по себе – не достаточно объединяющая идея?

Расстроенная Ахматова не сопровождала мужа в парижских визитах, хотя Маковский очень любопытствовал. При встрече на Gare du Nord[154] она показалась редактору «Аполлона»

удрученной и робкой («высокая, худенькая, очень бледная, с печальной складкой рта»). «По тому, как разговаривал с ней Гумилев, – вспоминал Маковский, – чувствовалось, что он ее полюбил серьезно и гордился ею». Великолепный pápá Makó обрушил на недоумевающую спутницу весь блеск светского красноречия. Он рассказывал о музеях и выставках, делился впечатлениями от художественной жизни, а потом вдруг любезно осведомился:

– А как Вам нравятся супружеские отношения? Вполне ли Вы удовлетворены ими?

Ахматова окончательно перепугалась, затворилась в купе и больше на глаза Маковскому старалась не показываться. В Царском Селе молодых ожидали с тревогой, хотя Анна Ивановна Гумилева приложила все усилия, чтобы своевольная брачная затея любимого сына не сказалась на повседневном мирном укладе всей семьи. Но Гумилева-Фрейганг (полная тезка Ахматовой) моментально угадала в невестке «чуждый элемент»: «Она держалась в стороне от семьи, поздно вставала, являлась к завтраку около часа, последняя, и, войдя в столовую, говорила: «Здравствуйте все!» За столом большей частью была отсутствующей, потом исчезала в свою комнату, вечерами либо писала у себя, либо уезжала в Петербург». Гумилев ничего не замечал. Он был приятно удивлен и очень рад царящему в доме покою, писал «Открытие Америки» и, штудируя французский географический атлас Видаль ла Бланша, планировал новое совместное путешествие с женой – на Дальний Восток, в Среднюю Азию и Китай или в Африку.

А Ахматова, несмотря на юный возраст, к моменту своего водворения в дом на Бульварной была настоящим ходячим собранием разнообразных обид, страхов и подозрений. «Когда в 1910 г. люди встречали двадцатилетнюю жену Н. Гумилева, бледную, темноволосую, очень стройную, с красивыми руками и бурбонским профилем, – вспоминала она, – то едва ли приходило в голову, что у этого существа за плечами уже очень большая и страшная жизнь…» Ни в странствия, ни в геософическую «золотую дверь» она не верила. Париж ее оглушил, Царское Село показалось мертвым, отовсюду она ожидала подвоха, а муж, занятый своими идеями и манускриптами, словно нарочно не замечал ее неуверенности и страха:

> Он любил три вещи на свете:
> За вечерней пенье, белых павлинов
> И стертые карты Америки…[155]

Впрочем, сразу по возвращении из свадебного путешествия у Гумилева появились и иные заботы, отвлекавшие от семейных интриг. После первых бесед в редакции на Мойке и походов на «башню» стало ясно, что главным виновником неудачи с пропагандой «теургии» раздосадованный Вячеслав Иванов считает именно автора «Писем о русской поэзии»:

– Ведь он глуп, да и плохо образован, даже университета окончить не мог, языков не знает, мало начитан… Удивляюсь, как Маковский мог дать ему возможность вести в журнале свою линию!

«Вячеслав его [Гумилева] *цукал*», – отмечал Михаил Кузмин в дневнике 8 июня 1910 г. В записи от 2 июля Кузмин выразился более определенно: «Вячеслав *ругал последними словами* Гумми, да и меня уж заодно». Жертвой этой литературной вражды пала и Ахматова, которую муж привел представлять на Таврическую. Иванов, окончательно уверовав, что от Гумилева ничего доброго быть не может, слушал стихи *«Гумильвицы»* (как Ахматову тут же окрестили «башенные» остряки) насмешливо:

– Какой густой романтизм!

Это прозвучало приговором, и Гумилев, расстроенный, на обратном пути даже осторожно предположил:

– Может быть, тебе и в самом деле лучше заняться танцами? Ты ведь такая гибкая!..

Вообще, с петербургским литературным окружением мужа, в отличие от его парижских знакомых, Ахматова не смогла найти общий язык. «Снобистская компания… Рестораны, «Альберы» всякие», – вспоминала она о своих первых встречах с авторами «Аполлона». Возможно, впрочем, что в возникшей острой неприязни повинны были не столько снобизм и заносчивость участников «молодой редакции», сколько болезненное самолюбие и мнительность явившейся из провинции дебютантки. Ей всюду мерещились козни и насмешки, она очень волновалась и, встречаясь с Кузминым, Ауслендером или секретарем «Аполлона» Зноско-Боровским, немедленно брала какой-то искусственный тон, казалась манерной и недалекой. Кончилось это плохо. Получив в августе приглашение на свадьбу Ауслендера и актрисы Надежды Зборовской (сестры Зноско-Боровского), Ахматова наотрез отказалась ехать к «снобам» в Окуловку, где намечалось торжество. Гумилев, который на правах друга должен был выступить шафером, разумеется, удивился и возмутился.

Тут-то и грянул первый в их совместной жизни скандал!

Ссора получилась нешуточной. В огонь полетела вся многолетняя переписка. Ахматова уехала к матери в Киев, а Гумилев, как отметил в дневнике Кузмин, был «печален»

и бессмысленно бродил по Павловскому и Царскосельскому паркам, избегая «публики» и «музыки». «Чувствовалось, – вспоминал Ауслендер, – что у него огромная тоска.

– Ну, ты вот счастлив. Ты не боишься жениться?

– Конечно, боюсь. Все изменится, и люди изменятся.

И я сказал, что он тоже изменился.

Он провожал меня парком, и мы холодно и твердо решили, что все изменится, что надо себя побороть, что не надо жалеть старой квартиры, старой обстановки. И это было для нас отнюдь не литературной фразой.

Гумилев сразу повеселел и ожил:

– Ну, женился, ну, разведусь, буду драться на дуэли, что ж особенного!»

В Окуловке, по словам Ауслендера, Гумилев «трогательно входил во всякие мелочи» и «принимал самое близкое участие в свадебном ритуале». Вернувшись в Петербург, он на последнем августовском заседании редакционного совета «Аполлона», где подводились итоги первого года издания журнала, заручился согласием Маковского ссудить деньги на новую поездку в Абиссинию – в качестве «собственного корреспондента журнала «Аполлон». Вряд ли «Аполлон» испытывал в это время срочную нужду в собственном корреспонденте в Адис-Абебе, но главный редактор журнала знал о любовных терзаниях Гумилева и очень сочувствовал. Маковский тоже прощался с холостяцкой жизнью – избранницей была москвичка Марина Рындина. Говорили, что в имении отчима-миллионера невеста pápá Makó носилась верхом голой амазонкой, в театр же приходила с живой змеей вокруг шеи вместо колье…

Гумилев отправил Ахматовой телеграмму:

«Если хочешь меня застать, возвращайся скорее, потому что я уезжаю в Африку».

Ахматова, получив послание, немедленно вернулась в Царское Село: окончательный разрыв вовсе не входил в ее планы. Гумилева эта неожиданная покорность потрясла еще больше, чем внезапный августовский бунт. «Я мечтал, – вспоминал он, – о веселой, общей домашней жизни, я хотел, чтобы она была не только моей женой, но и моим другом и веселым товарищем. А для нее наш брак был лишь этапом, эпизодом в наших отношениях, в сущности ничего не менявшим в них. Ей по-прежнему хотелось вести со мной «любовную войну» – мучить и терзать меня, устраивать сцены ревности с бурными объяснениями и бурными примирениями. Все, что я ненавижу до

кровомщения. Для нее «игра продолжалась», азартно и рискованно. Но я не соглашался играть в эту позорную, ненавистную мне игру».

Свои планы он менять не стал, пояснив родным и знакомым:

– Между мной и моей женой решено отныне продолжительными разлуками поддерживать взаимную влюбленность!

В конце сентября Гумилев уже плыл в Константинополь.

XVI

Большое африканское путешествие 1910–1911 гг. Вверх по Нилу. Из Джибути в Адис-Абебу. В русской миссии Адис-Абебы и при дворе лиджа Иасу. Африканская охота. Е. В. Сенигов. Из Адис-Абебы в Каффу. Схватки с адалями. Экваториальный лес. Кения. Порт Момбаса. Тропическая лихорадка. Трудное возвращение в Одессу.

Из Константинополя Гумилев через Кипр и Бейрут отправился в Порт-Саид. Во время морского перехода была завершена поэма «Открытие Америки». Сойдя на египетский берег, Гумилев выслал рукопись в Петербург для декабрьской книжки «Аполлона» и отправился на поезде в Каир, в последнее в своей жизни паломничество в сад Эзбекие. Путешествие стало прощанием Гумилева с Египтом. Из Каира он на нильском пароходе добрался до Хальфы, связанной железной дорогой с Порт-Саидом, и 25 октября (7 ноября) сел на пароход, который шел в Джибути:

Здравствуй, Красное море, акулья уха,
Негритянская ванна, песчаный котел,
На твоих берегах вместо влажного мха
Известняк, как чудовищный кактус, расцвел.

В Джибути Гумилев обратился за содействием к греческому купцу Иосифу Галебу, исполнявшему в африканском порту обязанности «внештатного русского вице-консула». В Адис-Абебу как раз отправлялся караван, в составе которого была русская прислуга нового поверенного в делах Российской Империи в Абиссинии Бориса Чемерзина[156], и Гумилев присоединился к этому каравану. Дорожное знакомство обеспечило «корреспонденту журнала «Аполлон», остановившемуся в Адис-Абебе в «Hôtel d`Imperatrice», радушный прием в русской миссии.

Из сохранившихся писем супруги Чемерзина Анны Михайловны известно, что Гумилев произвел на дипломатическую чету впечатление «богатого человека, очень воспитанного и приятного в обращении». За месяц с небольшим своего пребывания в абиссинской столице он несколько раз гостил у Чемерзиных, приезжая на муле в дом русского посланника, расположенный в нескольких милях от городского центра. Здесь Гумилев познакомился с бывшим драгуном Иваном

Бабичевым, попавшим в отряд военного сопровождения миссии еще в 1890-е годы и перешедшим после женитьбы на родственнице императора Менелика II на абиссинскую службу в звании *«фитуерари»* (барона)[157]. Другим постоянным собеседником Гумилева в русской миссии стал врач А. Н. Кохановский. Это были знатоки местных обычаев и нравов, и, вероятно, под их влиянием путешествие в Абиссинию 1910–1911 гг., в отличие от прежних странствий, приобрело познавательно-этнографический характер. Гумилев переложил на русский язык несколько абиссинских песен и заинтересовался амхарской живописью, традиции которой уходили далеко за пределы краткой истории Адис-Абебы:

Абиссинец поет, и рыдает багана,
Воскрешая минувшее, полное чар:
Было время, когда перед озером Тана
Королевской столицей взносился Гондар.

Под платанами спорил о Боге ученый,
Вдруг пленяя толпу благозвучным стихом…
Живописцы писали царя Соломона
Меж царицею Савской и ласковым львом.

Посланник Чемерзин был в курсе последних новостей великой африканской империи, переживавшей в эти недели острейший политический кризис. После того как престарелый Менелик II перенес второй апоплексический удар, состояние его постоянно ухудшалось, и к сентябрю 1910 г. он, по выражению одного из лечащих европейских врачей, «жил только телесной жизнью». Смерти императора ждали со дня на день, и при дворе развернулась жестокая борьба за освобождающийся престол между внуком Менелика лиджем (принцем) Иассу, императрицей Таиту, возглавившей Государственный совет, и знатными сановниками (расами), имевшими влияние в армии и провинциях.

На православное Рождество Чемерзин выхлопотал для Гумилева приглашение на парадный обед в императорском дворце, который задавал Иассу. Это был, разумеется, политический демарш, и потому торжество проводилось с особым размахом. Всего было приглашено около трех тысяч человек, а за стенами дворца проходило угощение абиссинских войск, начавшееся в пять часов утра и завершившееся только в шесть часов вечера. В приемном зале стоял отдельный большой стол, накрытый для европейцев – дипломатов, советников, врачей и

банковских служащих. Сам Иассу, пятнадцатилетний юноша, славящийся необыкновенной красотой и звериной жестокостью, сидел под прозрачными занавесями на императорском троне, окруженный телохранителями и пажами, которые дегустировали все поступающие наследнику блюда. В конце обеда состоялось отдельное угощение ветеранов и солдат императорской гвардии. «Входили войска по старшинству, – пишет А. М. Чемерзина, – и усаживались на полу, укрытом коврами и циновками, у невысоких столов, а служащие дворца вносили туши сырого мяса на больших палках, которые обносили между столами; каждый брал нож со стола и отрезал себе желаемый кусок мяса от туши».

Гумилев, по свидетельству Чемерзиной, «остался очень доволен всем, что видел». К тому же во время обеда он познакомился с одним из принцев крови, лиджем Адену, который пригласил русского путешественника на охоту в свое загородное поместье. Оставшиеся до «русского» Нового года дни Гумилев провел в разъездах с Адену и его свитой и участвовал в большой облаве в кишащем всевозможной дичью тропическом лесу. «Ночью, – писал Гумилев, – лежа на соломенной циновке, я долго думал, почему я не чувствую никаких угрызений совести, убивая зверей для забавы, и почему моя кровная связь с миром только крепнет от этих убийств. А ночью мне приснилось, что за участие в каком-то абиссинском дворцовом перевороте мне отрубили голову, и я, истекая кровью, аплодирую уменью палача и радуюсь, как все это просто, хорошо и совсем не больно».

На «русский Новый год» Гумилев вернулся в Адис-Абебу и отпраздновал его наступление у Чемерзиных, где была установлена «елка» (деревце, похожее на русскую ель, украшенное свечками, лентами и цветами). А накануне, по-видимому, произошло событие, которое спустя много лет он вспоминал среди важнейших в жизни:

> Старый бродяга в Адис-Абебе,
> Покоривший многие племена,
> Прислал ко мне черного копьеносца
> С приветом, составленным из моих стихов.

Автором стихотворного приветствия был Евгений Всеволодович Сенигов, один из самых ярких персонажей в истории «русской Африки» конца XIX – начала XX в. Он родился в Петербурге, учился в Московском Александровском военном училище, служил в Фергане. В 1898 г. Сенигов, по собственному выражению, «числясь неблагонадежным, эмигрировал из России в Абиссинию, где прожил безвыездно в течение 24 лет». Он

полностью натурализовался, носил амхарское платье, женился на абиссинке, а о покинутой родине отзывался неприязненно и даже враждебно. При императорском дворе Сенигов входил в число доверенных лиц, в 1901 году был официально назначен «начальником правого крыла армии раса Вольдогеоргиса», т. е. одним из заместителей князя, управлявшего тогда покоренными южными территориями. До 1918 года Сенигов оставался абиссинским (имперским) администратором в озерной стране Каффа. Тут у него была собственная резиденция на реке Омо, а под Адис-Абебой – жалованная за заслуги усадьба Дауро, куда он часто приезжал, появляясь иногда и в русской миссии. Осенью – зимой 1910 г. «абиссинский администратор» Каффы был по делам в Адис-Абебе и познакомился с новым русским посланником и его женой. Гумилева в миссии он тогда не застал, но, по-видимому, заметил книгу «Жемчуга», подаренную Чемерзиным, прочитал, восхитился и решил завести знакомство с автором, по правилам местного придворного этикета. Сенигов был не чужд стихотворчеству, имел книжные собрания на обеих своих «фермах» и являлся к тому же замечательным художником, которого некоторые современники сравнивали с Полем Гогеном[158].

Гумилев никогда не рассказывал о своей встрече с «белым абиссинцем» – ведь Сенигов был в глазах российских властей дезертиром, перешедшим на иностранную службу, да еще и политическим смутьяном[159]. Однако эта встреча существенно повлияла на планы Гумилева. Сразу после «русского» Нового года он внезапно покидает Адис-Абебу. Чемерзина пишет о каких-то «невероятных проектах», возникших у «корреспондента «Аполлона», которые сотрудники миссии сочли за поэтические фантазии. Все были уверены, что Гумилев отправился на родину традиционным для иностранных гостей абиссинской столицы путем – с караваном через Черчерские перевалы в Харрар, Дире-Дауа и Джибути. Между тем заключительный этап путешествия Гумилева, благодаря встрече с Сениговым, оказался и в самом деле фантастическим:

> Я пробрался в глубь неизвестных стран,
> Восемьдесят дней шел мой караван;
> ……
> И в стране озер пять больших племен
> Слушались меня, чтили мой закон.

Разумеется, без помощи Сенигова Гумилеву и думать было нечего о «стране озер», т. е. о Каффе. И дело не только в том, что

на пути к южным границам Абиссинии путешественника, совершенно незнакомого с этим неспокойным краем, ожидала бы неминуемая гибель. Перемещение иностранцев по стране жестко контролировалось имперскими властями, и Гумилеву по своей охоте просто не удалось бы далеко уйти от Адис-Абебы. Но Сенигов, насколько можно понять из имеющихся разрозненных сведений, предложил Гумилеву принять участие в экспедиции абиссинского военного отряда, выступавшего из столицы на очередное усмирение непокорных *«сидамо»* (как жители христианской метрополии называли южных мусульман и дикарей-язычников)[160]. Неизвестно, участвовал ли сам Сенигов в походе или просто сумел прикомандировать Гумилева к отряду в качестве советника[161]. Так или иначе, но присутствие в их рядах европейца воодушевило абиссинцев. На марше из Адис-Абебы в город Гинир они пели:

Нет ружья, лучше маузера!
Нет вахмистра лучше З-Бель-Бека!
Нет начальника лучше Гумилеха!

Абиссинцы шли усмирять сомалийские племена *афар*, которых единоверцы-арабы называли *данакилями*, а христиане-амхарцы именовали *адалями* и считали сущими разбойниками:

В целой Африке нету грозней сомали,
Безотраднее нет их земли.

Ожесточенные схватки абиссинцев с *адалями* («Под ногами верблюдов сплетение тел, / Дождь отравленных копий и стрел») произошли на берегу реки Уэби на западной границе Данакильской пустыни. Гумилев впервые принимал участие в сражении, и земли под Гиниром стали для него местом боевого крещения:

Весело думать: если мы одолеем —
Многих уже одолели мы, —
Снова дорога желтым змеем
Будет вести с холмов на холмы.

Если же завтра волны Уэби
В рев свой возьмут мой предсмертный вздох,
Мертвый, увижу, как в бледном небе
С огненным черный борется бог.

«Черный бог» оказался повержен на берегах Уэби, и Гумилев, по-видимому, стал свидетелем весьма сурового вразумления абиссинскими карателями мятежных селений[162]. От Гинира отряд двинулся на юго-запад, в озерную Каффу, и тут Гумилев был вполне вознагражден за все тяготы странствия:

Европеец, если он счастливо проскользнет сквозь цепь ноющих скептиков (по большей части из мелких торговцев) в приморских городах, если не послушается зловещих предостережений своего консула, если, наконец, сумеет собрать не слишком большой и громоздкий караван, может увидеть Африку такой, какой она была тысячи лет тому назад: безыменные реки с тяжелыми свинцовыми волнами, пустыни, где, кажется, смеет возвышать голос только Бог, скрытые в горных ущельях сплошь истлевшие леса, готовые упасть от одного толчка; он услышит, как лев, готовясь к бою, бьет хвостом бока и как коготь, скрытый в его хвосте, звенит, ударяясь о ребра; он подивится древнему племени шангалей, у которых женщина в присутствии мужчины не смеет ходить иначе, чем на четвереньках; и, если он охотник, то там он встретит дичь, достойную сказочных принцев. Но он должен одинаково закалить и свое тело и свой дух: тело – чтобы не бояться жары пустынь и сырости болот, возможных ран, возможных голодовок; дух – чтобы не трепетать при виде крови своей и чужой и принять новый мир, столь не похожий на наш, огромным, ужасным и дивно-прекрасным.

Неизвестно, насколько долго оставался с абиссинским отрядом Гумилев. Возможно, он побывал в резиденции Сенигова на караванном пути из Каффы в Адис-Абебу, неподалеку от впадения Омо в великое озеро Рудольфа. А может быть, на очередном марше, где-нибудь у реки *Гуммо*, поразившей его созвучием названия с собственным именем, он отделился от сениговских ашкеров[163] с несколькими добровольцами, вызвавшимися сопровождать боевого товарища до первого английского форпоста в соседней с землями Каффы Кении. С такой охраной Гумилеву нечего было опасаться даже в экваториальном лесу – тем более что ратный авторитет его невероятно вырос после того, как он случайным удачным выстрелом убил слона, на которого наткнулся военный караван. Убийца слонов в глазах абиссинцев являлся великим героем: каждый подобный трофей приравнивался к сорока поверженным

врагам, давал право носить в ухе золотое кольцо и выставить хвост убитого зверя перед своим домом (о своем триумфальном шествии «со слоновьим хвостом» Гумилев потом будет рассказывать петербургским знакомым).

Абиссиния оставалась позади, в небесах по ночам сияли неведомые северянам созвездия. Над Гумилевым было поразившее его *чужое небо* – в первый и единственный раз в своей жизни он пересекал границу Южного полушария:

Я поставил палатку на каменном склоне
Абиссинских, сбегающих к западу, гор
И беспечно смотрел, как пылают закаты
Над зеленою крышей далеких лесов.
……
И однажды закат был особенно красен,
И особенный запах летел от лесов,
И к палатке моей подошел европеец,
Исхудалый, небритый, и есть попросил.

В отличие от независимой Абиссинии, с большой осторожностью впускающей на свою территорию чужеземцев, земли Экваториальной Африки были давно колонизированы англичанами, французами и немцами, вывозившими отсюда слоновую кость, кофе, ценную древесину и, главное, каучук, являвшийся источником сверхприбылей и причиной невероятных жестокостей и злоупотреблений колониальных властей. Для работы на африканских «станциях» многочисленные компании вербовали искателей быстрой наживы со всей Европы, многие из которых, разумеется, бесследно пропадали в ходе освоения новых территорий. Отряд Гумилева встретил на своем пути какого-то безумного француза, без документов, оружия и провизии, по-видимому, много дней плутавшего по лесу и истощенного до последней степени. Был ли это в самом деле географ-путешественник из погибшей «большой экспедиции к Верхнему Конго», как предполагал Гумилев, сочиняя балладу об «Экваториальном лесе», или просто авантюрист-неудачник – навсегда осталось тайной:

Он стонал и хрипел, он хватался за сердце
И наутро, почудилось мне, задремал;
Но когда я его разбудить попытался,
Я увидел, что мухи ползли по глазам.

Я его закопал у подножия пальмы,

Крест поставил над грудой тяжелых камней
И простые слова написал на дощечке:
«Христианин зарыт здесь, молитесь о нем».

Что же касается Гумилева, то он, миновав экваториальный лес, смог, по-видимому, беспрепятственно добраться до англичан и затем – до одной из станций Угандийской железной дороги, связавшей в 1901 г. кенийский порт Кисуму на озере Виктории с портом Момбаса на побережье Индийского океана. В марте 1911 года, спустя восемьдесят дней после январского прощания с Адис-Абебой, Гумилев, сев в Момбасе на английский пароход, возвращался – через Джибути и Константинополь – в Россию:

… Я плыл и увозил клыки слонов,
Картины абиссинских мастеров,
Меха пантер – мне нравились их пятна —
И то, что прежде было непонятно,
Презренье к миру и усталость снов.

Это было трудное возвращение: тропическая лихорадка, погубившая безвестного француза в лесах Кении, настигла и Гумилева. Все время – в поезде по пути в Момбасу, потом в портовой гостинице в ожидании парохода и в желанной каюте – он испытывал внезапные приступы жара, который длился сутками, вызывая озноб, бред и странные святые виденья.

Выходят из мрака, выходят из ночи
Святой Пантелéймон и воин Георгий.

Он пробуждался, радостный, и тут же, едва осознав окружающую реальность, погружался в беспросветную, смертную тоску. Она мельком являлась и раньше, бесприютная и лютая, подобная ветхозаветной тоске отвергнутых ангелов и соблазненных ими допотопных исполинов-каинитов[164], теперь же длилась постоянно, пока нарастающий жар вновь не валил с ног в золотое, счастливое сонное сияние:

Вот речь начинает святой Пантелéймон
(Так сладко, когда говорит Пантелéймон):
– «Бессонны твои покрасневшие вежды,
Пылает и душит твое изголовье,
Но я прикоснусь к тебе краем одежды

И в жилы пролью золотое здоровье».

Самым странным и раздражающим было полное отсутствие чувства победительного вдохновения, которое Гумилев всегда переживал, возвращаясь из очередного странствия. Только что он совершил невероятное путешествие, далеко превосходящее все, когда-либо виденное и испытанное им, но воспоминания о пережитом нагоняли лишь печальные мысли о наивности «геософических» мечтаний о «золотой двери»:

Я молод был, был жаден и уверен,
Но дух земли молчал, высокомерен,
И умерли слепящие мечты,
Как умирают птицы и цветы.
Теперь мой голос медлен и размерен,
Я знаю, жизнь не удалась…

И, уже готовый оплакать, позабыть навсегда и отвергнуть всю свою нелепую судьбу, он проваливался вновь в лихорадочное забвение, в блаженный жар целительного инобытия:

И другу вослед выступает Георгий
(Как трубы победы, вещает Георгий):
– «От битв отрекаясь, ты жаждал спасенья,
Но сильного слезы пред Богом неправы,
И Бог не слыхал твоего отреченья,
Ты встанешь заутра, и встанешь для славы».

В Константинополе, пересаживаясь на российский пароход до Одессы, Гумилев выглядел настолько подавленным и изможденным, что от него, как от зачумленного, шарахались местные нищие:

– «Хочешь, горбун, поменяться
Своею судьбой с моей,
Хочешь шутить и смеяться,
Быть вольной птицей морей?» —
Он подозрительным взглядом
Смерил меня всего:
– «Уходи, не стой со мной рядом,
Не хочу от тебя ничего!»

XVII

Из Одессы в Москву и Петербург. Успехи Ахматовой. Осип Мандельштам. Литературные сплетни и провал выступления в «Аполлоне». Страстная неделя. «Божья тоска». Смертное виде́ние. «Блудный сын». Столкновение с Вячеславом Ивановым. Духовная и творческая работа. Бунт Ахматовой.

Ступив после полугодовой разлуки на российскую землю, Гумилев отправил багажом в Петербург все африканские трофеи – коллекцию картин, звериные шкуры, чучела, экзотическое оружие и прочие диковины, – а сам, по сложившемуся обыкновению, сел в поезд до Москвы. В особнячке на 1-й Мещанской он занимал домашних Брюсова рассказами о пережитой в Красном море буре и о совершенстве телосложения эфиопок вперемешку с рассуждениями о заграничных музеях и выставках. «И тут нас всех поразила огромная эрудиция Гумилева, – вспоминала брюсовская свояченица Бронислава Погорелова. – О всемирно известных музеях он принялся говорить, как ученый-специалист по истории искусств. О знаменитых манускриптах – как изощренный палеограф. Мы прямо ушам не верили. Куда исчезли «знойные африканские танцы»?» У Брюсовых он услышал о столичной литературной сенсации вокруг… Ахматовой, которая в конце минувшего года писала московскому maître'у, присылала некие стихотворные образцы и спрашивала мнение о них[165]. Дипломатичный Брюсов мнение не составил, не желая осложнять отношения с учеником (ибо история получалась какая-то *семейная*). Сама Ахматова встречала мужа на петербургском перроне. «В нашей первой беседе, – вспоминала она, – он, между прочим, спросил меня: «А стихи ты писала?» Я, тайно ликуя, ответила: «Да». Он попросил почитать, прослушал несколько стихотворений и сказал: «Ты поэт – надо делать книгу».

По ее словам, после памятного чтения корректуры «Кипарисового ларца» в Русском музее с ней произошел какой-то переворот. Летом в Киеве, постоянно перечитывая уже вышедшую книжку Анненского, она *«сходила с ума»*, пробовала писать сама, искала, находила, теряла:

– Стихи шли ровной волной, до этого ничего подобного не было!

Сразу после отъезда мужа Ахматова, желая продолжить образование, подала документы на петербургские Высшие женские историко-литературные курсы, учрежденные Н. П. Раевым. Тут она встретила Вячеслава Иванова, читавшего

курсисткам лекции по греческой и римской литературе. Получив настоятельное приглашение на ближайший «башенный» понедельник, Ахматова, поколебавшись, явилась на Таврическую. Среди «снобов» держалась по-прежнему сурово и гордо, слушала выступавших, а когда дошел черед до нее, прочла:

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король…

Просиявший Иванов торжественно поцеловал *Гумильвице* руку:

– Поздравляю, Анна Андреевна, это стихотворение – *событие в русской поэзии!*

Ахматова тут же растаяла. Затем она бывала и на «башне», и в «Обществе ревнителей художественного слова», читала стихи на домашних вечерах в Петербурге и Царском Селе – и всюду имела успех. А «теург» сажал теперь Ахматову рядом с собой и, приглашая к чтению, веско добавлял:

– Вот новый поэт, открывающий нам то, что осталось нераскрытым в тайниках души Иннокентия Анненского!

Ахматова уже напечаталась во «Всеобщем журнале литературы, искусства, науки и общественной жизни», в студенческом журнале «Gaudeamus» и готовила публикацию в «Аполлоне». Из-за этой публикации Гумилеву в первые же дни после Африки пришлось выдержать натиск возмущенного юного поэта Осипа Мандельштама, до того несколько раз уже мелькнувшего – и в Париже, и в Петербурге во время издания «Острова». Маковский со смехом рассказывал о визите на Мойку почтенной матушки этого Мандельштама, которая приволокла сконфуженного сына в кабинет редактора «Аполлона» и потребовала немедленного приговора: «У нас торговое дело, кожей торгуем. А он все стихи да стихи! Но если одни выдумки и глупость – ни я, ни отец не позволим. Работай, как все, не марай зря бумаги… Сделайте одолжение, скажите прямо, есть у него талант или нет?»

– Что мне оставалось? – разводил руками Маковский. – Беру листки, буквы путаными петельками, даются с трудом, стихов не разобрать. Вижу, смотрит он на меня со страдальческой мольбой. Ну, я и перешел на его сторону, за поэзию против торговли кожей. «Да, говорю, сударыня, Ваш сын – талант». А она мне: «Отлично! Значит – печатайте». Вот и… печатаем…

Теперь Мандельштам шумел, что стихотворная часть журнала попала в «безраздельное владение» семьи Гумилева, ибо вирши его жены, «наивные и слабые в техническом отношении», начисто

вытеснили из апрельской книжки стихи достойных поэтов. Стихи Мандельштама, например. Гумилев сначала пытался вразумлять и даже пригласил страдальца к себе на двадцатипятилетие. Но тот был настойчив, и после очередных выпадов против *«урожденной Ахматовой»* (как Мандельштам неизменно величал конкурентку) Гумилев вспылил. А Мандельштам тут же стал рассказывать петербургским знакомым об его «крайней невежливости»[166]. Впрочем, это были еще цветочки. По Петербургу циркулировали иные слухи – о завистливом деспотизме Гумилева по отношению к собственной жене, которой он якобы специально не давал ходу, чтобы рядом не было конкурента. Перед Гумилевым вдруг замаячил призрак новой «Черубины де Габриак», но теперь в роли кукловода-режиссера выступал не взбалмошный Волошин, а сам хитроумный хозяин «башни», столь эффектно открывший юное дарование.

– А вот моему мужу не нравится! – восклицала разгоряченная похвалами Ахматова.

– Что он понимает в поэзии, этот бездушный формалист! – громко сокрушался Иванов.

«Башня», взяв реванш за прошлогоднее поражение «теургов», ликовала. А тут еще и сам подзабытый за шесть минувших месяцев Гумилев, едва появившись в редакции, вдруг показал себя таким Тартареном, что над ним потешался весь «Аполлон». Распаковав пришедшие багажом коллекции, он устроил на Мойке импровизированную выставку своих африканских трофеев и выступил с поясняющей речью. Но абиссинское путешествие сложилось так, что подробно рассказать о нем в открытой российской аудитории было невозможно. Восседая в «аполлоновской» гостиной среди амхарских примитивов и груд пушистых звериных шкур, Гумилев, опуская неблагонадежные имена и опасные детали, налегал на экзотические анекдоты и охотничьи подвиги, тут же демонстрируя соответствующий трофей. Выходило какое-то пустое бессвязное хвастовство:

> Перьями страуса гордо украшен,
> С гривою льва над челом благородным,
> Пред крокодиловым зевом голодным,
> Грозно отверстым, стоял он, бесстрашен…[167]

Все обратили внимание, что Ахматова, не дождавшись завершения «доклада», покинула гостиную. Михаил Кузмин зевнул:

– Интересно, но туповато.

Слушатели веселились, а Гумилев, как будто не замечая

провала, обстоятельно излагал историю добычи очередной шкурки. По всей вероятности, под конец своего несчастного выступления он уже плохо воспринимал происходящее:

Но теперь я слаб, как во власти сна,
И больна душа, тягостно больна…

Сам день выступления не располагал к рассказам о воинственных дикарях, черных одалисках, тропических птицах и свирепых хищниках – это был *Великий Вторник*. Шла Страстная седмица и в эти торжественные и скорбные дни африканская болезнь Гумилева разыгралась так, что он уже и не знал – точно ли это привезенная из тропических лесов лихорадка или ***«божья тоска»***, как говорила Ахматова. Его богемные друзья, малочувствительные к православному календарю, не меняли привычек. На Великую Среду, под всенощную Тайной Вечери, жизнерадостный Михаил Кузмин, любитель контрастов, предложил устроить интимный вечер по рассказу Теофиля Готье «Клуб гашишистов» – с наркотическими эффектами, спиритическим сеансом, наемными гуриями и продажными отроками. В полдень в ресторане на Большой Морской «аполлоновцы», закусывая, обсуждали заманчивое предложение. Гумилев в обсуждении кое-как участвовал, но потом лихорадочный жар накатил всерьез и среди всеобщего оживления он, по выражению Кузмина, «делся куда-то». В Царское Гумилев возвращался в жарком полубреду, а в храмах повсюду уже восторженным песнопением звучали причастные стихи:

«Вечери Твоей тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

Слова эти, с детства знакомые, переплетались в сознании с вспыхивающими обрывками минувшего странствия, чужое небо вновь висело над головой – и музыка рождающихся строк сплелась с гремящим вокруг по всей стране пением:

Ни врагам не предам лукаво,
Ни лобзания Иуды дам
Я пути, что лег величаво,
Молчаливо лег по холмам…

«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца

Моего. И отныне знаете Его и видели Его» (Ин. 14. 6–7).

Лихорадочные сияющие сны и явь вновь начинали мешаться. Два дня Гумилев еще держался на ногах, в Великую Пятницу даже добрался до Петербурга, пытаясь решать там какие-то дела, а свалился уже вечером, когда отзвучали Двенадцать Евангелий и Плащаница скрылась за затворенными Царскими Вратами:

«Положиша Мя в рове преисподнем, в темных и сени смертной» (Пс. 87. 6).

В Великую Субботу 9 апреля 1911 года он был при смерти, в исступленном жару, тоскуя во время прояснения сознания до слез:

Ведь я не грешник, о Боже,
Не святотатец, не вор,
И я верю, верю, за что же
Тебя не видит мой взор?
Ах, я не живу в пустыне,
Я молод, весел, пою,
И Ты, я знаю, отринешь
Бедную душу мою!

Испуганная Ахматова не отходила от постели больного и к пасхальной заутрене не пошла. Только она и была свидетельницей, как в самый миг наступления Светлого Воскресения с беспамятным мужем стало *свершаться нечто*, словно бы он слышал радостные возгласы иерея в Екатерининском соборе, и пытался отвечать и петь с торжествующим хором, и ужасался, и радовался вместе:

В мой самый лучший, светлый день,
В тот день Христова Воскресенья,
Мне вдруг примнилось искупленье,
Какого я искал везде.
Мне вдруг почудилось, что, нем,
Изранен, наг, лежу я в чаще,
И стал я плакать надо всем
Слезами радости кипящей.

Он видел свою смерть (в подробностях, говорила Ахматова, до пыльной, мятой августовской травы). И он знал теперь твердо,

что в последний миг не дрогнет, что ***путь в Царство Небесное будет открыт*** – и словно в недавнем африканском сне радостно удивлялся, насколько же это просто, хорошо и совсем не больно:

И умру я не на постели
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще,

Чтоб войти не во всем открытый,
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут: вставай!

Рыжая Лиска, кружа по комнате, захлебывалась от радостного лая, и он, едва шевелясь от испарины, из-за ликования глупой собаки не мог ни успокоить Ахматову, ни расслышать толком Степана Яковлевича. Тот рассудительно басил что-то сердитое про Сорбонну и про басурман-французов, не желая отпускать. Гумилев наверняка знал, что простодушный старик, конечно, и вновь не станет перечить любимому сыну. Но Лиска, вскочив лапами на кровать, оглушительно залаяла, не давая вымолвить ни слова, Георгий метнул на него гневный взгляд, Пантелеймон же сурово напомнил: *уже расточил в дальней стороне имение свое*.

– Мальчиком я поверил в символизм, ***как люди верят в Бога!***

«… Как верят в Бога!» – в бессчетный раз, на этот раз радостно, словно найдя какой-то окончательный ответ, повторил больной фразу, которую на разные лады твердил всю пасхальную ночь, умолк и открыл глаза. Врач, срочно прибывший в разгар фейерверков и гуляний, констатировал благополучный исход кризиса, посидел еще немного со всеми бессонными домашними пациента, шутливо сетуя на любителей африканской экзотики, и, окончательно убедившись, что опасность миновала, стал собираться восвояси:

– Теперь все будет хорошо. ***Христос Воскресе!***

– *Воистину воскресе!*

Гумилев понимал, что окончательно *пришел, наконец, в себя*:

Ах, в рощах отца моего апельсины,
Как красное золото, полднем бездонным,
Их рвут, их бросают в большие корзины
Красивые девушки с пеньем влюбленным.
И с думой о сыне там бодрствует ночи
Старик величавый с седой бородою,

Он грустен… пойду и скажу ему: «Отче,
Я грешен пред Господом и пред тобою»[168].

Новую поэму «Блудный сын» Гумилев читал на заседании «Общества ревнителей художественного слова» 13 апреля, на третий день после Светлого Воскресенья. С начала пасхальной седмицы он был на ногах – лихорадка, к удивлению врача, быстро шла на убыль. Все теперь стало ясно, и великая евангельская притча легко переложилась в лирическую исповедь о преодоленных бывшим «учеником символистов» демонических соблазнах.

– Это слишком… Вы нарушаете пределы той свободы, с которой может поэт обрабатывать традиционные темы!..

Порозовев от возмущения, Вячеслав Иванов, выросший перед аудиторией «ревнителей», был сосредоточен и яростен. Не противостать христианству были призваны теурги-символисты, а воспламенить его, как воспламеняли некогда древние народы неистовые вакханты и вакханки, служители бога Диониса:

– Для меня кроткий Христос – ***что***, а ярый Дионис – ***как***.

Со студенческой берлинской юности, видя, какой неповоротливой, бестолковой и вялой видится из Европы родная страна, Иванов страстно мечтал о России, сплоченной как один человек в несокрушимое соборное единство великой национальной религиозной идеей:

Нет, Ты народа моего,
О, Сеятель, уж не покинешь!
Ты богоносца не отринешь:
Он хочет ига Твоего![169]

Он мечтал о преображенной русской церкви, об огненных духовных вождях, глаголящих восторженному народу с амвонов, о вдохновенных бардах, слагающих гимны и марши для миллионов согласно поющих голосов. Но Гумилев ничего не понял, ни в чем не разобрался, стал путаться под ногами, мешать, дерзить и вот сейчас договорился до обличения символистов в духовной пагубе:

– Вам лучше знать, милостивый государь, умер ли *для Вас* символизм. Мы же, умершие, свидетельствуем, шепча на ухо пирующим на наших поминках, что смерти нет!

Всегда отрешенный взглядом от собеседника, Иванов внезапно вонзил ледяное сияние глаз прямо в лицо Гумилеву. Тот, побледнев, бестрепетно выдержал. Оба были похожи на фанатичных пастырей раскольных времен, состязающихся каждый

в своей правде. Гумилев весь собрался, но совладать с Ивановым было сложно: звонкий ивановский тенор покрывал бессвязные реплики наглого юнца, терзал, рвал и швырял его навзничь. В Царское Гумилев возвращался совершенно раздавленный происшедшим. Ахматова рядом посматривала то сочувственно, то насмешливо.

– Иванов, – вяло откликнулся на очередной ее взгляд Гумилев, – как и все символисты, верит в того бога, в которого он сам хочет верить. А я – просто поверил в Бога. Вот и все.

Ахматова, не склонная к умствованиям, навела разговор на печальную судьбу великого Льва Толстого, который, добравшись до религиозных тем, бросил литературу, раздавал испуганным монахам Оптиной пустыни «душеспасительные» брошюры собственного сочинения, заново перевел Евангелие и провозгласил себя единственным пророком его истин. Жена на первых порах, конечно, поддерживала Толстого в духовных исканиях, но потом попыталась объявить душевнобольным и взять в опеку. А в ноябре прошлого года восьмидесятидвухлетний старец тайно сбежал из собственного дома да и умер на полустанке под Рязанью… Гумилев устало посмотрел на Ахматову:

– Анечка, если и я вдруг начну *пасти народы* – немедленно отрави меня, пожалуйста.

Преображение, происшедшее с ним, совсем не искало какого-то особого выражения ни среди дружеского круга, ни среди домашних. Те замечали только, что в обиходе появились православные книги, а сам он зачастил сверх обыкновенного в Екатерининский собор. «Христос победил смерть, – провозглашал там пасхальный тропарь, – Сам воскрес из мертвых и даровал жизнь всем, пребывающим в гробовом мраке!» Священники *«веселыми ногами»* (как предписывает одно из правил пасхального богослужения) бегали по поющему храму, образуя среди прихожан крестный ход и подвигая исхудавшего Гумилева с трепещущей восковой свечой в руке вместе со всеми вслед за плывущими впереди хоругвями:

> Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ,
> И сущим во гробех живот даровав!

Между тем в части творческой Гумилев, разведя для себя религию и искусство, стал вновь очень активен и заметен. В очередном «Письме о русской поэзии» он позабавил весь литературный Петербург, поделив накопившиеся в редакции за время его отсутствия сборники стихов на *«любительские»,*

«дерзающие» и *«книги писателей»*, выделив затем в особую группу *«книги, стоящие вне литературы»*, а также продемонстрировав авторские типы *«способных, одаренных и талантливых»*. Кто хохотал от души, а кто, посмеиваясь, все-таки считал «научную классификацию поэтов» выходкой хулиганской, тем более что главным образцом «книги писателя», по методике Гумилева, получался сборник какой-то никому не известной москвички Марины Цветаевой.

Гумилев вновь сидел в «Аполлоне» на Мойке, принимая и наставляя молодых поэтов. Студента-юриста Михаила Зенкевича, явившего на суд тетрадь на редкость банальных стихов, он очень заинтересовал рассказом о теории «научной поэзии» французского литератора Рене Гиля, и Зенкевич, оставив шаблонные приемы, пустился экспериментировать. Курсистку Елизавету Кузьмину-Караваеву поразил его совет: взяв перо в руку, мысленно «рисовать ковры, на которых были бы бабочки, птицы, цветы и пальмы, еще обезьянки и жирафы – все, имеющее цвет, форму, неизменное, вещи». Единственным из «аполлоновских» поэтических дебютантов, с кем он никак не мог найти общий язык, была Ахматова.

– Не следует все время писать о своих вымышленных любовных похождениях и бессердечных любовниках, это дурной вкус и дурной тон, – убеждал ее Гумилев. – Нельзя же, чтобы роковые страсти с изменами, побоями и побегами бушевали на каждой странице…

Ахматова горько жаловалась, что муж придирается к ее стихам, и оставляла все как есть. На «башне» она продолжала оставаться желанной гостьей, подружилась с Верой Шварсалон и усиленно вникала в ивановскую проповедь вакхического стихийного и беззаконного безумья как необходимого условия вдохновенного творчества:

– Наше восприятие прекрасного слагается одновременно из восприятия окрыленного преодоления земной косности и восприятия нового обращения к лону Земли… Туда, за низвергающимися, кипящими в бездонности силами, в пропасть, зияющую мутным взором безумья!.. Это царство не знает межей и пределов. Все формы разрушены, грани сняты, зыблются и исчезают лики, нет личности. Белая кипень одна покрывает жадное рушенье вод. В этих недрах чреватой ночи, где гнездятся глубинные корни пола, нет разлуки пола… В ней становление соединяет оба пола ощупью темных зачатий. Эта область – поистине берег «по ту сторону добра и зла»…

Зачарованная, она возвращалась в Царское Село, где Гумилев поднимался навстречу с исчерканной рукописью:

– Вот тут, я думаю, следует выразиться точнее…

Между тем после появления стихов Ахматовой в апрельском «Аполлоне» баллада о «сероглазом короле» стала кочевать, переписанная от руки, по девичьим альбомам в губерниях и уездах, грозя заполнить собой всю Империю. Открытый вечер поэтов-дебютантов в «Обществе ревнителей художественного слова» превратился в ахматовский бенефис, где прочие участники – Алексей Скалдин, Владимир Волькенштейн, Маргарита Моравская, Владимир Пяст, Сергей Радлов – подавались как пестрый гарнир к ожидаемому всей публикой основному блюду. Впервые пережив публичные овации и восторг, Ахматова уже не владела собой.

– Вот тут, я думаю, следует поискать какую-то иную рифму…

– Ничего я не буду искать! ***Все равно мои стихи лучше твоих!*** – и выдала вдобавок все, что слышала на «башне» о невежестве и малой образованности Гумилева.

«Он страшно обиделся, – вспоминала Ахматова. – Я потом говорила, что не лучше, что хуже, что это я так сказала – но… Ничего не помогало. Он очень обиделся». Подвергнутая бойкоту на Бульварной, Ахматова ринулась за утешением и советом на Таврическую улицу. Величавая Вера Шварсалон ласково склонилась над плачущей, утешая, а Иванов, улыбаясь, с настойчивой вкрадчивостью заговорил, как трудно найти общий язык с тем, у кого слова – не эхо иных звуков, о которых не знаешь, откуда они приходят и куда уходят… Отводя душу, Ахматова раскрылась, что уже год ведет дивную французскую переписку с неким молодым парижским художником.

– Так вот и поезжайте же к нему, к этому художнику… А Гумилева бросьте. Может, хоть этим Вы его сделаете человеком.

Вновь на Бульварной, Ахматова решительно объявила, что немедленно уезжает… к матери в Киев. Раздосадованный Гумилев, швырнув перо, поклялся не притрагиваться больше к ее стихам:

– Не веришь мне – не надо. Хочешь, я напишу Брюсову? Ему-то ты поверишь?

На перроне, провожая жену, он продолжал недоумевать:

– Что за прихоть! Мы ведь с тобой должны быть в Слепневе!

Ахматова заверила, что в Киеве прогостит недолго, недели две. А вскоре на Таврическую из Каза́тина, завершающего первый железнодорожный перегон от Киева к юго-западным границам Империи, на имя Веры Шварсалон пришло лаконичное письмо: ***«Еду и пишу Вам»***.

Тут же были стихи:

Твоя печаль, для всех неявная,
Мне сразу сделалась близка,
И поняла ты, что отравная
И душная во мне тоска.

XVIII

Бежецк и Слепнево. Варвара Лампе. Семейство Кузьминых-Караваевых. Традиции усадебного быта. Племянницы Мария и Ольга. Несостоявшаяся встреча. Болезнь Маши Кузьминой-Караваевой. В Борисково. Дмитрий и Елизавета Кузьмины-Караваевы. Владимир Неведомский. Возвращение Ахматовой. В Подобине. «Бродячий цирк» и commedia dell'arte[170]*. С Ахматовой в Москве. Письмо Веры Неведомской. Москва, Ярославль и вновь Слепнево. «Любовь-отравительница». Убийство Столыпина.*

Восьмичасовой поезд с петербургского Николаевского вокзала прибывал в Бежецк в шесть часов утра. Лошади уже ждали: кучер Василий принялся усаживать Гумилева в допотопный шарабан. Потянулись ладные купеческие домики (город был зажиточным), мелькнула река, изящно перетянутая мостом, и белая колокольня храма на прибрежном погосте. За городом открылась знакомая огромная равнина с редкими холмами и чернеющей полосой далекого леса. До Слепнева отсюда было девять верст. В родовой усадьбе, повидавшей разных хозяев, теперь утвердилась на постоянное жительство тетка Гумилева, семидесятидвухлетняя Варвара Ивановна Лампе, старшая из трех сестер Львовых. Необыкновенная красавица в молодости, Варвара Ивановна оказалась героиней любовной истории, словно сошедшей со страниц романтической беллетристики: расквартированный в уездном Бежецке лейб-гвардии уланский полк; молодой командир-улан Фридольф Янович Лампе; вспыхнувшая взаимная страсть и счастливый брак, преградой которому не смогла стать даже спесь прибалтийских аристократов, родителей жениха. После прибавления семейства лейб-гвардейский офицер, обратившись в нежнейшего мужа и отца, вышел на статскую службу, но смертельное поветрие в Царицыне безвременно сразило его, оставив безутешную вдову до конца дней носить, не снимая, траур. Судьба их дочери Констанции писана уже пером желчного реалиста: мечтательная юность, московская консерватория, солидное приданое, придирчивый и неверный супруг, скучные будни, частые ссоры, трое детей. Ныне муж Констанции Фридольфовны, подполковник в отставке Александр Дмитриевич Кузьмин-Караваев, служил по Министерству путей сообщения, был в постоянных отлучках, постаревшую жену едва замечал, на выросших дочерей и сына внимания не обращал вовсе, встречаясь с тещей, ворчливо бранился. Впрочем, как можно понять, и родниться со своими, не

в пример более удачливыми братьями, железнодорожный чиновник имел мало охоты[171]. По крайней мере, родовую усадьбу Кузьминых-Караваевых Борисково (соседнюю со Слепневым) он игнорировал, предпочтя провести с семейством летний сезон у добросердечной, не чаявшей души во внучках и внуке бабушки Варвары Ивановны, вместе с Гумилевыми и Сверчковыми.

Деревня Слепнево, жители которой по сей день, как и в крепостные времена, славились жизнелюбием, плясками и склонностью к «озорству» (разбою), занимала три *посада* на склоне холма, застроенных приземистыми домами с высокими соломенными или деревянными крышами и маленькими окнами. Поля вокруг были сплошь засеяны овсом, рожью и льном; внизу неспешно текла речка Каменка, огибая слепневский холм с юга. Барская усадьба показалась на вершине холма. Большой помещичий дом стоял между фруктовым садом и буйным парком, над зеленью которого возвышался приметный с любой стороны единственный дуб-исполин, помнивший, вероятно, еще свирепого князя-воеводу Милюка. У заблаговременно растворенных «воротец» перед въездом с проселка на деревенскую улицу стоял в ожидании награды белобрысый и босоногий страж. Гумилев протянул ему конфету, и шарабан, пропылив по деревне, живо достиг ворот усадьбы.

Оставив молодого барина перед теплицей и огородами у бокового крыльца (парадным, с цветником и курдонером, на который вела из парка липовая аллея, пользовались только при большом съезде гостей по праздникам), кучер погнал ветхую колесницу к каретному сараю. Дом уже просыпался. Вышедшая Анна Ивановна, увидев Гумилева одного, удивилась, а узнав в чем дело, заметно расстроилась. После майского известия об отчислении младшего сына из университета (пропустив учебный год, Гумилев, даже не заикаясь об экстернате, сам написал прошение), она изменила своему обычному добродушию, недовольно косилась на вечно витающую в каких-то облаках молчаливую невестку, была необычно глуха к рассказам о путешествиях и литературной жизни и таяла, лишь когда Дмитрий и Николай – один в обнимку, а другой за ручку – ходили с ней взад-вперед по гостиной, подшучивая друг над другом (в семье это называлось *«уютным кустиком»*). Выходка Ахматовой была вдвойне неприятна среди установившегося в жизни всех, съехавшихся в усадьбу семейств патриархального благочиния, которое строго поддерживала помнящая старые добрые времена Варвара Ивановна Лампе.

Поднимались в восемь, в девять завтракали, расходились

затем по делам до обеда – в два часа дня. В четыре часа чаевничали с пирогами или домашним печеньем, а в семь был ужин. Прежде чем сесть за стол, все ждали, пока не займет место старшая в семействе. Варвара Ивановна нарочно гримировалась под Екатерину Великую и очень любила, когда ее сравнивали с императрицей. Вокруг и впрямь был один XVIII век с редкими вкраплениями минувшего XIX: невообразимый диван красного дерева, гнутые стулья, кресла, обитые траченным бархатом или плюшем, аллегорические гравюры и царские портреты по темно-синим стенам, большие лампы с богатыми хрустальными подвесками, библиотека с подписными изданиями державинской и пушкинской поры, зала с фисгармонией и гигантская золотая узорчатая клетка с зеленым попугаем, которого местные крестьяне именовали *«заморской птицей»*. Многочисленная, также на старый лад, слепневская дворня почтительно стояла у дверей. За столом младшее поколение не имело права начинать разговор, а в послеобеденное время, когда старшие отдыхали, старалось не шуметь и не затевать игры в парке. Прочие же часы разрешалось устраивать каждому по своему произволению – к услугам помимо библиотеки, фисгармонии и допотопной роскоши слепневского экипажа были верховые лошади (хотя, конечно, не такие, как при старом барине Льве Ивановиче), крокет, столб с «гигантскими шагами» и лаун-теннис. Гумилев, отдавая дань всем развлечениям, завершал очередное «Письмо о русской поэзии» для «Аполлона» и заполнял новыми стихами альбомы кузин Кузьминых-Караваевых.

Они были почти ровесниками дядюшки – двадцатитрехлетняя Мария и Ольга, которой в феврале исполнилось восемнадцать. Словно в пушкинском «Евгении Онегине», старшая была серьезна и задумчива, младшая же, подобно литературной тезке, постоянно резвилась, как ребенок, и, в восторге от своего совершеннолетия, забавляла родню рассказами о многочисленных поклонниках:

Он в четверг мне сделал предложенье,
В пятницу ответила я «да».
«Навсегда?» – спросил он. «Навсегда».
И конечно отказала в воскресенье.

Гумилев помнил обеих племянниц по Слепневу двухгодичной давности, особенно, конечно, Марию, которая с видимым интересом помогала ему разбирать фолианты XVIII века, сохранившиеся в библиотеке (Ольга в те дни была ребенком не только по нраву, но и по летам). Высокая, тонкая, голубоглазая и

белокурая Маша Кузьмина-Караваева напоминала грустных богинь и ангелов Боттичелли («светлым ангелом» ее величали и в семье), никогда не принимала участия в усадебных забавах, была пуглива и беседовала со всеми с необычайной для возраста рассудительностью. По-видимому, она была поражена, услышав рассказ Гумилева о приключениях в Амхаре и Каффе, допытываясь затем, для чего же понадобилось дядюшке совершать столь дальний и опасный путь. Гумилев, отчаявшись объяснить, прозвал рассудительную Машу *«тургеневской девушкой»*:

Никогда ничему не поверите,
Прежде чем не сочтете, не смерите,
Никогда никуда не пойдете,
Коль на карте путей не найдете.

«Я живу здесь очень мило, – писал он на исходе второй слепневской недели Зноско-Боровскому. – Здесь две прелестные кузины, крокет, винт, верховая езда и т. д.». Приходил срок встречать в Петербурге Ахматову. В Царском Селе на Бульварной он нашел письма от Андрея Белого со стихами для «Аполлона» и от писателя Робакидзе с просьбой о публикации грузинских символистов, ответил и тому, и другому, а вечером демонстрировал Комаровскому и Ольге Делла-Вос-Кардовской купленную в дом модную мебель «птичий глаз» (серо-зеленое дерево и фарфоровые медальоны-инкрустации). О подробностях следующего дня сведений нет, но известен его итог: Гумилев (письмом или через какого-то вестника) узнал про ахматовское бегство в Париж. Тут уже и гадать было нечего – разрыв. В Бежецке Анна Ивановна была вне себя:

– Служил бы в гвардии, пошел бы по дипломатической части! Нет, стал поэтом, пропадал зачем-то в Африке, – вот и жену нашел чудну́ю – себе под стать!..

Нахмурившись, Маша Кузьмина-Караваева строго и правильно, как всегда, говорила о святости семейных уз и очень сочувствовала дядюшке. Гумилев уже знал, что она с зимы стала слаба легкими и недомогает все больше и больше – лихорадочный румянец с каждым летним днем проступал отчетливее. С ней происходило что-то необычное, далекое и неземное, словно усадебная «тургеневская девушка» в темно-лиловом платье на глазах превращалась в просветленную молитвой и постом послушницу-черницу. В эти тяжелые июньские недели Гумилев постоянно искал встреч во время неизменного дневного отдыха больной, сидел в соседней комнате

с книгой, открытой на одной и той же странице. Вместе они ездили в Борисково, к тамошним Кузьминым-Караваевым, и, устроив в шарабане невесомую, тихо улыбающуюся спутницу, Гумилев договаривался с прочими участниками поездки не обгонять шарабан верхом – «чтобы Машенька не дышала пылью».

Борисково, в семи верстах севернее Слепнева, как и следует вотчине рода, громкого в российской истории с XIV века[172], было куда внушительнее деревянной усадьбы Львовых. Огромный старинный парк, обнесенный валом и рвом, виднелся неподалеку от торгового тракта, ведущего из Бежецка на Красный Холм. Двухэтажный барский дом с флигелем и другие постройки, скрытые в глубине парка, возводились из кирпича по петербургской моде, введенной некогда светлейшим князем Потемкиным-Таврическим, – портики, колонны, купола. Теперь в этом бравом великолепии обитало обширное семейство знаменитого на всю страну думского «демократического реформатора», одного из столпов тверского земства генерал-майора Владимира Дмитриевича Кузьмина-Караваева, и его жены Екатерины Дмитриевны, урожденной русской француженки Бушен. Как и в Слепневе, тут было полно молодежи: трое хозяйских сыновей и дочь, воспитывающийся в семье племянник Митя Бушен, приживалка Марья Шмидт, а также Юрий Пиленко, брат молодой жены старшего из генеральских сыновей Дмитрия Кузьмина-Караваева.

И Дмитрий Владимирович, и его жена хорошо знали Гумилева по Петербургу. Дмитрий слыл студенческой достопримечательностью юридического факультета – как из-за облика двухметрового жука-богомола с иссохшим вдохновенным лицом средневекового инквизитора, так и в силу склонности к разрушительным общественным идеям и странным мистическим гипотезам. А Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, урожденная Пиленко, была ближайшей подругой «аполлоновской» портретистки Войтинской (давно покинувшей невские берега) и одной из тех поэтесс, которым Гумилев в свое время особенно усиленно рекомендовал влюбленность в качестве подспорья для занятий поэзией. Впрочем, это не повлияло на установившуюся теперь дружбу: супруги Кузьмины-Караваевы, увлеченные идеями социализма, видели в браке гражданский союз единомышленников и отвергали патриархальные «предрассудки». На их вопрос о собственной жене Гумилев кратко отвечал, что та во Франции.

Об Ахматовой зашла речь и с Владимиром Неведомским, студентом-технологом, недавно отбывшим добровольную военную повинность в конной артиллерии, женившимся и

получившим после кончины матери в наследство богатейшее имение Подобино, близ недавно построенного железнодорожного полустанка за Бежецком. Прослышав о новых летних соседях, легкий на ногу Неведомский поспешил лично рекомендоваться, а узнав, что в Слепневе обитает известный поэт, пришел в восторг, выпросил «Жемчуга» с автографом и, листая книгу, вслух мечтал познакомить с автором свою жену:

– Очень талантливая художница, сейчас живет за границей…

– Моя – тоже.

От Ахматовой больше месяца не приходило никаких вестей. Маша Кузьмина-Караваева трогательно утешала Гумилева, и тот, в тоске, внезапно пал на колени:

– Машенька, Вы и в самом деле ангел. Если бы не родственная близость, я, не раздумывая ни минуты, сделал бы Вам предложение руки и сердца!

Маша кротко объяснила, что подобные речи с ней вести нельзя, поднялась и оставила его. Старая нянька Кузьминых-Караваевых тут же налетела на Гумилева:

– Как же Вам не стыдно, барин, при живой-то жене!.. Что тревожите понапрасну? Не знаете что ли еще – *кровью она стала харкать*.

Гумилев только крепко обнял старуху. Та утерла глаза.

– Господь с Вами… нельзя сердиться на Вас…

Утром того дня, когда договорились принимать в Слепнево чету Неведомских, прямо к крыльцу на взмыленном жеребце влетел верхом один из дворовых людей:

– Приказывайте, барыня, Василию Андреичу запрягать шарабан… Слышал, толкуют в Бежецке – к слепневским господам *хранцужанка* приехала!..

– Постой, Николай, что за француженка? – не поняла Варвара Ивановна.

Всадник сделал таинственное лицо:

– Передают люди, что… *мумия*!

«Пристяжная косила глазом и классически выгибала шею», – это было единственным, что запомнилось Ахматовой по дороге из Бежецка в Слепнево.

Боль я знаю нестерпимую,
Стыд обратного пути…
Страшно, страшно к нелюбимому,
Страшно к тихому войти.

– Здравствуй, ненаглядная! – встретил жену Гумилев. – Где… за меня молилась?

Ахматова, не узнаваемая с постриженной по последней парижской «египетской» моде челкой до бровей, ставшая еще у́же и выше в странной черной юбке с пикантным разрезом, звенящая какими-то цепочками и ожерельями, не могла от волнения связать слов. Она то порывалась «объясниться», то начинала совать в руки Гумилеву толстый том Теофиля Готье, привезенный из Парижа «в подарок». Из тома посыпались какие-то французские письма, на конвертах которых Гумилев успел заметить имя *«Modigliani»*, а Ахматова, вспыхнув, начала их собирать и прятать в саквояж… Меж тем часы пробили два, и Гумилев, взяв растерянную жену за руку, повел ее в столовую:

Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
А думал забавницу,
Гадал – своенравницу,
Веселую птицу-певунью.
……
Твержу ей: крещенному,
С тобой по-мудреному
Возиться теперь мне не в пору;
Снеси-ка истому ты
В днепровские омуты,
На грешную Лысую гору.

В столовой все уже собрались вместе с Неведомским, явившимся с рыжей тициановской красавицей. Ахматова, затравленно озираясь, встала за предназначенный стул, рядом с Гумилевым. Тут явилась благодушная Варвара Ивановна Лампе, царственно опустилась на свое место и сделала ручкой, чтобы и все садились. Анна Ивановна, темнее тучи, едва не в голос жаловалась гостям, твердя опять про счастливых гвардейцев и дипломатов и про несчастных поэтов и их чудных жен. «Все черты слишком острые, чтобы назвать лицо красивым, – зорко отмечала Вера Неведомская. – Серые глаза без улыбки… В семье мужа она чужая… А вот он… не то Би-Ба-Бо, не то Пьеро, не то монгол… а глаза и волосы светлые». Гумилев сидел прямой, рот его слегка усмехался, словно ему хотелось немедленно подшутить над Варварой Ивановной и Сверчковой, затеявшим долгий разговор об уборке хлеба. Вздохнул свободно только после чая, когда молодежь повела Неведомских смотреть лошадей на конюшне. В парке, у пруда, он читал для всех стихи «на бис» и был в ударе. Расставались друзьями, пообещав, не откладывая, навестить

Подобино. Впрочем, всем предстояло на днях встретиться и в Борисково, где бежецкие помещики, земцы и многочисленная родня чествовали в именины почтенного хозяина поместья. Во время этого шумного застолья Гумилев, взяв слово, торжественно представил жену многочисленным гостям:

– Анечка, ты позволишь?

– Да.

Гумилев начал читать «Из логова змиева…». Сосед Ахматовой, очкастый и бородатый увалень из земских начальников, смущаясь, осведомился:

– Холодно Вам, должно быть, в наших краях… после Египта-то?

Он тоже слышал, как уездные гимназисты и молодые чиновники за сказочную худобу и таинственность называли Ахматову *«знаменитой лондонской мумией, которая всем приносит несчастье»*[173].

В Подобине, где самовластно царил двадцатишестилетний Владимир Константинович Неведомский, порядки были иные, без чинного гнета старших. Внук известного военного писателя Н. В. Неведомского старался утвердить за своим Подобином славу обиталища муз. Сам он избрал путь военного техника и изобретателя – окончил Николаевский кадетский корпус, четыре года проучился на механическом отделении Технологического института, прервав (с гарантией восстановления), курс чтобы практически освоить премудрости артиллерийского искусства. Его молодая жена мечтала о художественной славе и изучала современную живопись Европы, развивая собственную технику и вкус. Под стать творческой чете было и доставшееся им поместье: романтический дворец с ампирными колоннами в изысканно-запущенном английском парке. Помимо Владимира и Веры Неведомских в Подобине проводили лето несколько ветхих тетушек, но те сидели тихо, издали наблюдая за забавами молодых хозяев. «Здесь Гумилев мог развернуться, дать волю своей фантазии, – вспоминала Неведомская. – Его стихи и личное обаяние совсем околдовали нас, и ему удалось внести элемент сказочности в нашу жизнь». Оживились даже древние приживалки: восьмидесятишестилетняя тетя Пофинька (Прасковья) под большим секретом читала Гумилеву выдержки из своего многотомного дневника, а семидесятишестилетняя тетя Соня встречала полюбившегося гостя неизменной просьбой:

– Пожалуйста, душка, прочти мне… как это: «Как будто не все пересчитаны звезды, как будто весь мир не открыт до конца…»

Вскоре вся молодежь из Слепнево и Борисково вслед за Гумилевым и Ахматовой верховыми кавалькадами стала

ежедневно съезжаться в Подобине. Гумилев, критически созерцая сдобную Елизавету Кузьмину-Караваеву рядом с унылым дылдой-мужем, задумчиво изрек:

– А ведь у нас готовая театральная труппа commedia dell'arte, господа! Или по крайней мере табор бродячего цирка…

Идея понравилась. Гумилев тут же раздал всем роли-маски – Панталоне, Арлекина, Коломбины, Труффальдино, Тартальи, Скрамуччи, Смеральдины, – поясняя по ходу дела, кто должен быть *«великой интриганкой»*, кто *«любопытным»*, кто *«простаком»*, кто *«человеком, говорящим всем правду в глаза»* и т. д. На чердаках выпотрошили сундуки с сюртуками прадедушек и платьями прабабушек и стали репетировать трюки – шпагат, танцы на канате, хождение колесом. Гумилев носился по парку на горячем скакуне из подобинской конюшни, пытаясь вскочить ногами на седло. Ахматова, сидя под колоннами в кресле, бесстрастно наблюдала за творящимся на дворе содомом. Рыжая Коломбина-Неведомская сделала прямо у ее ног несколько сальто-мортале.

– В наше время были приличные игры: фанты, горелки, шарады… – сокрушалась тетя Пофинька. – А у вас – это что же такое? Прямо умопомрачение какое-то!

Ахматова сочувственно покивала ей и, привлекая к себе внимание, несколько раз громко хлопнула в ладоши над головой. Через мгновение в кресле качалась на животе изогнутая кру́гом женщина-змея, тетя Пофинька хваталась за сердце, а весь двор заходился в восторженных овациях.

Петровки уже миновали, и сенокос был в самом разгаре[174], когда разодетая в пестрое тряпье кавалькада двинулась из Подобина по полевому проселку. Увидев работающих в поле крестьян, Гумилев осадил лошадь, спешился, нахлобучил на лоб цилиндр пушкинских времен и, взмахнув черным плащом, шагнул навстречу:

– Не желает ли почтеннейшая публика уделить пять минут внимания бедным артистам?

– Алле-ап!..

На скачущем коне встал в седле отважный вольтижер, изгибалась невозможной змеей гуттаперчевая женщина, дудели в дудки, били в бубны, жонглировали, кувыркались, плясали, вставали с ног на голову… Ошалевшие от счастья крестьянские ребятишки звонко хохотали, вместе с ними смеялись, перешептываясь, молодухи и ухмылялись, качая головой, мужики. Степенный дед протянул Гумилеву горсть медяков:

– Благодарствуем, господа хорошие, чем Бог послал!

Гумилев приложил цилиндр к сердцу:

– Grazie!.. Grazie per la vostra attenzione…[175]

Рядом с Ахматовой рыжая, зеленоглазая Коломбина зачарованно, не отрываясь, смотрела на Гумилева.

Это было ужасно!

Ахматова ничего не могла поделать с мучительной ревностью. Вернувшись в Слепнево, она задыхалась от возмущения и, презирая себя, устроила скандал на всю ночь. Хуже всего было, что выстраданная по пути из Парижа в Тверскую губернию собственная сцена тяжелого, позорного, мучительного примирения («Уж лучше б я повесилась вчера / Или под поезд бросилась сегодня!») так и не состоялась. Муж, незрячий и убогий, почему-то ничего и слышать не желал! Уличив момент, она на следующий день вновь подкараулила его, сурово опустив глаза:

– Николай, нам надо, наконец, объясниться!

И получила в ответ:

– Да оставь ты меня в покое, мать моя! Все же хорошо!

Гумилев, счастливый, разгуливал по усадьбе в невообразимой турецкой феске, красной крестьянской рубахе, атласных африканских шароварах и лиловых носках. Бледная Маша Кузьмина-Караваева со своим скомканным платочком, увидев его, радостно улыбнулась. Из комнаты она, не желая никого пугать, теперь почти не выходила – кровь шла горлом, был вызван доктор и, по его совету, Констанция Фридольфовна срочно повезла дочку в столицу. Вскоре из Слепнево уехал и Гумилев: Ахматова увлекла его в Москву, подальше от подобинской commedia dell'arte с рыжей Коломбиной. Выглядело так, что Ахматовой неотложно потребовалось личное знакомство с Брюсовым, но, ступив на улицы Первопрестольной, она мгновенно утратила всякий интерес к литературе. В «Скорпионе» Брюсова не оказалось, и Ахматова еле вытерпела длинный монолог владельца издательства Сергея Полякова, который обстоятельно излагал Гумилеву историю закрытия «Весов», жаловался на московскую литературную молодежь, сбитую с толку неистовым безумцем Андреем Белым. Сам Белый тоже забежал вниз, в номер «Метрополя», где остановились супруги Гумилевы, и, рассыпаясь в поспешных комплиментах, забрал у них стихи для какого-то необыкновенного альманаха, которым желал сразить всю столичную публику – Ахматова и этот искрометный визит пропустила мимо внимания. Равнодушной ее оставили вечерние с утренними красоты древней столицы. Побродив по Третьяковской галерее, они вернулись в номер – там, наконец, ей на глаза нечаянно попало пришедшее Гумилеву письмо от Веры Неведомской. К счастью, оно было любовным (точнее, по выражению Ахматовой, *«не поддающимся двойному толкованию»*):

– Николай, нам все-таки следует объясниться!

После того как негодующая Ахматова укатила из Москвы в Киев, Гумилев перебрался из «Метрополя» в гостиницу поскромнее: в отличие от жены, он в самом деле хотел повидаться с Брюсовым. Встреча состоялась: Брюсов представил тогда Гумилеву народного поэта-самородка Николая Клюева, издававшего в Москве первый сборник стихов.

Оставшись один, Гумилев не спешил в Тверскую губернию. Из Москвы он съездил на несколько дней в Ярославль к проводившему там лето Сергею Ауслендеру, а в Слепнево вернулся только в середине августа, беззаботно объявив домашним, что Ахматова вновь пожелала повидаться в Киеве с матушкой. Анна Ивановна помертвела, но Гумилев только махнул рукой:

– Вернется!

Это было не раз, это будет не раз
В нашей битве глухой и упорной:
Как всегда, от меня ты теперь отреклась,
Завтра, знаю, вернешься покорной.

Уже зарядили осенние дожди, и, оказавшись вновь под гостеприимной кровлей Подобина, Гумилев предложил «актерам» завершить дачный сезон настоящей театральной постановкой. Пьесу в духе commedia dell'arte он вызвался написать сам и тут же принялся сочинять сюжет. Тут был раненый рыцарь в монастырском госпитале, была влюбленная в него монахиня, были строгая игуменья и бродячие артисты – Коломбина, Пьеро, Арлекин. Импровизируя на ходу, Гумилев, увлекаясь все больше, разыгрывал на два голоса диалог Коломбины с игуменьей:

– Христос велел любить!
– Как сестры и как братья…
– По-всячески, и, верно, без изъятья!!

Все получалось шаржированным до гротеска, так что каждая «маска» могла обнаружить себя по ходу действия в полной мере. Вера Неведомская нетерпеливо полюбопытствовала: какой же будет финал у этакой буффонады? Гумилев задумался:

– Вероятно, все-таки очень печальный. Явится какой-то страшный призрак, рыцарь погибнет, а влюбленная монахиня примет яд…

Представление «Любви-отравительницы» состоялось перед самыми разъездами летних обитателей бежецких поместий, и

огненная Коломбина в исполнении Веры Неведомской покорила всех собравшихся в Подобино зрителей. Никто не мог и помыслить, что всего через несколько часов в Киеве, где в год 50-летия отмены крепостного права торжественно открывался памятник Царю-освободителю, темный негодяй Богров двумя выстрелами смертельно ранит премьер-министра России Петра Аркадьевича Столыпина. 6 сентября 1911 года газета «Новое время» поместила на первой странице краткое объявление:

Киев. **В 10 час. 12 мин. Петр Аркадьевич тихо скончался. В истории России начинается новая глава.**

Книга вторая. Поэт и воин

I

Киевская трагедия. Особняк на Малой улице. Воссоединение с Ахматовой. Тревожная осень. С. М. Городецкий. Споры об «адамизме». «Театрализация жизни». Вечер на Крюковом канале. Хлопоты Бориса Пронина. Подвал на Михайловской площади.

«На очереди главная наша задача – укрепить низы, – говорил Столыпин два года назад среди наступившего зыбкого умиротворения. – В них вся сила страны. Их более 100 миллионов! Будут здоровые и крепкие корни у государства, поверьте, и слова русского правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед целым миром. Дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа – вот девиз для нас всех, русских. Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России!»

Выстрелы Богрова не только сразили Столыпина. Они поколебали тот *общественный мир*, который начинал складываться вокруг энергичного и мужественного премьера-реформатора. То, что желанных *двух десятилетий покоя не будет*, первыми почувствовали киевляне. Уже на следующий день после покушения, когда Столыпин еще боролся за жизнь, Киев замер, ожидая погрома, – Богров был сыном местного зажиточного еврея-домовладельца. В город срочно вошли войска, предотвратившие беспорядки, но напряжение сохранялось более недели, вплоть до погребения премьер-министра в ограде Трапезной церкви Киево-Печерской лавры (он завещал предать его земле *«там, где убьют»*). Из Киева все это время спасались бегством еврейские семьи. Уезжали и русские, успевшие отвыкнуть от подобных потрясений. Среди них была Ахматова, хорошо помнившая хаос 1905 года.

В Царском Селе Гумилевы обживали новый дом, который Анна Ивановна, посчитав накладным тратиться на съемные квартиры, приобрела в конце лета на Малой улице напротив памятного для обоих ее сыновей здания Николаевской гимназии. Это был деревянный двухэтажный особняк с палисадником, непримечательный снаружи, но имеющий какой-то собственный, строптивый нрав, со своими скрипучими ступенями, принимавшимися вдруг трещать и стонать среди глухого ночного покоя.

– Интересно, кого *там* постоянно таскают по лестнице? – вслух задумался Гумилев, вконец перепугав мнительную жену.

– Очень страшно жить в этом доме!

Они заняли комнату в первом этаже, рядом с библиотекой, соединенной с кабинетом (особнячок на Малой, не в пример предыдущим квартирам, оказался для всего семейства тесноват). Как часто бывает среди внезапной беды, память о недавней семейной ссоре оказалась поглощена эмоциями иного порядка. Порог нового жилища Ахматова переступила в часы нарастающей в Петербурге и Царском Селе всеобщей тревоги, едва не переходящей в панику.

Всюду шли заупокойные богослужения, газеты выходили в траурных рамках; в многочисленных статьях, равно как и в частных беседах, звучало лишь одно: *как могло произойти такое злодеяние?* Поступавшие подробности ошеломляли: выходило, что главу правительства охраняли так небрежно, что его мог легко застрелить любой встречный проходимец или психопат[176]. А после того как таинственного Богрова внезапно вздернули на киевской виселице, затратив на судебное разбирательство чуть более трех (!) часов, всюду – от Государственной Думы до бульварных листков и модных салонов – вслух заговорили о заметании следов, о заговоре – то ли придворном, то ли полицейском, то ли масонском, то ли еще каком[177]. Гумилев твердил домашним и знакомым о роковых исторических сроках, о грядущем *«двунадесятом годе»*, отмеченном во всех столетиях русской истории смутами и войнами:

> Он близок, слышит лес и степь его;
> Какой теперь он кроет ков,
> Год Золотой Орды, Отрепьева,
> Двунадесяти языков?[178]

Вера Неведомская вспоминала, что, явившись на ее именины, Гумилев возбужденно пророчествовал о близких бедах, ожидающих не только Россию, но и всю белую европейскую расу, «погрязшую в материализме»:

– Ну что же, если над нами висит катастрофа, надо принять ее смело и просто. У меня лично никакого гнетущего чувства нет, я рад принять все, что мне будет послано роком.

О *смелом и простом взгляде* на жизненные испытания Гумилев говорил в эти дни и Сергею Городецкому. Возвращаясь вместе после очередного заседания в «Аполлоне», они свернули в какое-то кафе на Фонтанке и засиделись допоздна. Оба бранили современную русскую культуру – культуру истонченных, изломанных, изогнувшихся столичных интеллигентов.

– Сейчас нужны другие слова, другое искусство! Нужно отстаивать в России мужественно-твердый и ясный взгляд на мир.

– И такой взгляд, – подхватывал Городецкий, – может быть только народным, патриархальным, первобытным…

Воспитанный отцом-славянофилом[179], Городецкий с детства был увлечен фольклорными былинами, песнями и сказаниями, уходящими в глухую языческую старину. В университете, вдохновленный летней студенческой поездкой в Псковскую губернию, он написал несколько книг стихов на темы древнеславянских мифов:

Во плену лежат поляны,
Во плену и птичий крик.
Душу утренней Смугляны
Душит хвоей Лесовик[180].

Увлечение древним язычеством привело Городецкого на «башню» Вячеслава Иванова, где молодой поэт пытался «радеть» и безумствовать. После нескольких неприятных личных и политических историй он охладел и к славянскому колдовству, и к Иванову, и к символизму. Но мечту соединить народную поэзию с современной литературой Городецкий не оставил. Путешествуя с молодой женой Анной Козельской по живописным волжским городкам, он стал склоняться к отечественному патриархальному примитиву:

Русь! Что больше и что ярче,
Что сильней и что смелей!
Где сияет солнце жарче,
Где сиять ему милей?[181]

В новой книге «Русь» Городецкий принялся воспевать березки, палисадники, сарафаны, фуражки набекрень и улыбающиеся красные губы. Вячеслав Иванов объявил бывшего ученика «художественным маразматиком», Блок обозвал книжку «лубочной», а Гумилев в «Аполлоне» неожиданно похвалил: «Имеет ли это какое-нибудь отношение к литературе, я не знаю, но к поэзии, мне кажется, имеет». С этой поры Городецкий числил Гумилева в единомышленниках:

– Все эти городские интеллигенты, символисты, мистики ничего не знают ни о русском народе, ни о народном мифе. Между тем все очень просто. Раз человек почувствовал, что тоска не нужна, – он русский!

Городецкий был единственным среди «аполлоновцев», с кем Гумилев в тревожную осень 1911 года мог отвести душу. На

страницы «Аполлона» политические известия не допускались: в сентябре тут писали о живописи Жоржа Сера, о современном творчестве китайцев, об изящной словесности Франции, в октябре – о юбилейной царскосельской выставке, о новом балете, о музыке в Париже, в ноябре – о художниках зверей и мертвой природы, о международной выставке в Риме и о хореографии Лои Фуллер. В компании «молодой редакции» политику также не жаловали и, если речь заходила об отечественных потрясениях, куда больше интересовались перспективами, которые развивал входивший в моду режиссер Николай Евре́инов[182]. Тот был убежден, что в эпохи «исторической активности» люди повсеместно превращаются из пассивных «зрителей» в стихийных «актеров», все хотят играть самодеятельную роль в уличной толпе, в боевом строю, среди сослуживцев, в дружеском кругу, в будуаре и алькове. Евреинов призывал вернуть театр из концертных залов на улицы и в жилища:

– Клич, пронесшийся в новое время по всему свету «retheatraliser le theatre»[183], правилен, но недостаточен, и ему должен сопутствовать другой, еще более радикальный лозунг: ***«театрализация жизни»***!

Во время новой встречи с Городецким в кофейне на Фонтанке Гумилев, вспомнив страстные речи Евреинова, задумался: не преобразить ли петербургских поэтов в боевой орден в духе «белых» рыцарей-мартинистов Папюса? Городецкий понял с полуслова и тут же начал развивать идею:

– Это будет союз ***адамистов*** – от имени первого жизнерадостника, прародителя Адама. Каждый, вступающий в наш союз, должен будет, подражая Адаму, совершить два подвига. Во-первых, он должен будет опять назвать имена мира. Никаких двусмысленностей, никаких намеков и символов, никаких туманных тайн. Что сказано – то сказано! Всякая тварь, всякая вещь получает свое законное имя, все слова устойчивы и понятны. Во-вторых, нужно пропеть хвалу всему живому. В этом – высшая мудрость. Ничего нельзя отрицать, все – и прекрасное, и безобразное в жизни – от Бога. В этом – и твердость, и мужественность. Новые Адамы соединят русскую интеллигенцию и русский народ!

Гумилеву оставалось лишь удивляться буйной фантазии Городецкого, не знающей, по-видимому, ни сомнений, ни преград.

– Он слишком ребенок, – говорил Гумилев, – доверчив, восторжен… и прост. Я – серьезный, скучный. А Городецкий живет – точно в пятнашки играет. Должно быть, нас и привлекло друг в друге то, что мы такие разные.

«Адамизм» Городецкого казался ему слишком примитивным и наивным, но сама идея «поэтического ордена» обещала принести скорые и обильные плоды. Вокруг день ото дня множились различные закрытые общества, приватные клубы, несущие «театральность» со сцены в домашний быт. Иногда получалось смело, до экстравагантности: евреиновская актриса Бельская проводила у себя на дому даже *«афинские вечера»*.

– Не пугайтесь, – добавлял Евреинов, заметив недоумение. – Ничего такого, что было бы неприятно, там не увидите, а там есть много занятного и там можно встретить ряд интересных людей…

Имя Паллады Богдановой (подлинное имя Бельской)[184] было на слуху в «Аполлоне», где горячим поклонником нового дарования стал обычно равнодушный к женским чарам Михаил Кузмин:

– Такой оригинальный и несуразный человек мог произойти как-то сам собою, а если и имел родителей, то разве сумасшедшего сыщика и распутную игуменью!

На один из «афинских вечеров» Кузмин затащил Гумилева. Тот, увидев хозяйку, являвшуюся среди гостей в экстравагантных нарядах – прозрачных туниках, мехах, наброшенных на голое тело, с браслетами на босых ногах и т. п., – вообразил, что имеет дело с обычной камелией[185], и принялся за неизбежные в подобных случаях комплименты. Мгновенно сымпровизировав, Богданова тут же обратила петербургскую гостиную в древнегреческий андрон[186], подгулявшее собрание – в симпозион, себя – в неприступную для мужских грубостей пленительную поэтессу Сафо, а восхищенного (теперь уже искренне) Гумилева – в воинственного поэта Алкея, явившегося к ней с безнадежной мольбой о любви[187]. Войдя в роль, Гумилев провел весь «афинский вечер» в возвышенной беседе (попутно опьянев и одурманившись до беспамятства, – Богданова была любительницей опиумных курительных смесей):

Орел Сафо у белого утеса
Торжественно парил, и красота
Безтенных виноградников Лесбоса
Замкнула богохульные уста.

Малозаметная на сцене, Богданова-Бельская становилась неистощимо талантливой актрисой в собственном «театрализованном представлении», главным содержанием которого являлись эротические приключения, разнообразные и по количеству, и по полу, и по возрасту участников. Далеко не все поставленные ею интимные мизансцены оказывались так

безупречны, как воспетая Гумилевым. Но в чудачествах скандальной Паллады и ее друзей, актеров и художников, окружавших Евреинова, было нечто, сближавшее их в грозные месяцы уходящего 1911 года с героями пушкинского «Пира во время чумы»:

> Все, все, что гибелью грозит,
> Для сердца смертного таит
> Неизъяснимы наслажденья —
> Бессмертья, может быть, залог!
> И счастлив тот, кто средь волненья
> Их обретать и ведать мог.

Вечером 20 октября 1911 года к угловому дому при впадении Крюкова канала в Фонтанку, неспешно беседуя, подходили по набережной супруги Александр и Любовь Блок в компании счастливого Владимира Пяста (у того накануне произошло прибавление семейства). Наверху, у Городецкого, уже все были в сборе. Помимо хозяина с женой (которую все именовали *Нимфой*) тут была чета Толстых и чета Кузьминых-Караваевых; был почитаемый при жизни за классика Федор Сологуб; была невероятно популярная фельетонистка Надежда Тэффи, которую Гумилев «открыл» в «Письмах о русской поэзии» как недюжинного лирика; был громадный Петр Потемкин; был педагог Тенишевского училища Владимир Гиппиус, считавший себя первым русским поэтом-декадентом (под именем *Вл. Бестужев* он издал сборник модернистских «Песен» еще в 1897 г.); был и его брат, студент-филолог Василий Гиппиус, пробовавший себя под именем *Вас. Галахова* и как поэт, и как критик[188]; был Михаил Зенкевич, преобразившийся после весенних бесед с Гумилевым и написавший на летних каникулах целую стихотворную книгу в духе «научной поэзии»; была Мария Моравская, писавшая стихи для детей, похожие на лирическую тайнопись; были даже директор Школы восточных языков в Париже Paul Boyer и искусствовед Louis Réau, которых организаторы сумели ангажировать на позавчерашнем открытии петербургского Institut Français[189].

В тесной гостиной стоял гул голосов. Городецкий певуче рассказывал о своей поездке в Воронеж на открытие памятника поэту Ивану Никитину, возмущаясь смешной и трагической бестолковщиной в организации торжеств, неожиданно собравших многотысячные толпы:

– Хочу я прочесть стихотворение, написанное на заре. Посылают к губернатору цензурировать… Когда возвращаюсь к

памятнику, передают отказ городского головы в разрешении читать. А памятник очень хорош! Потихоньку, про себя сказал я ему свои стихи. И всю ночь в вагоне от досады проплакал!

Другую группу собрал Алексей Толстой, только что вывезший из Парижа жену с новорожденной дочкой Марьянкой (Софью Исааковну Дымшиц-Толстую все поздравляли). Толстой громогласно сообщал последние парижские анекдоты и сплетни, живописуя, кто кого в очередной раз побил в богемных кабачках на Монмартре. Помимо того, Толстого, едва успевшего перешагнуть порог петербургской квартиры в Басковом переулке, неожиданно атаковал постоянный мейерхольдовский ассистент, актер и режиссер Борис Пронин, задумавший создать в Невской столице к Новому году нечто вроде парижского «Le Chat Noir»[190]:

– Знаете, как сам Мейерхольд говорит о Пронине? «Какая-то мания создавать проекты. Это – болезнь!»

Открывая вечер, Городецкий ознакомил собравшихся с задачами нового (пока еще безымянного) общества и предложил состав учредителей: Блок, Толстой, Кузмин (его имя внесли заранее, но на Крюков канал он почему-то не явился), Гумилев, Потемкин… Докладчика и так слушали вполуха, а на перечне вовсе стали заглушать перешептываниями и беседами вслух. Впрочем, кандидатуры одобрили охотно. Приняли к сведенью и приглашение на следующее заседание – в ноябре, у Гумилевых, в Царском. Название обществу решили придумать позднее – заседание уже начинало надоедать. Но, выполняя взятую на себя миссию, несколько торжественных приветственных слов русским поэтам счел долгом произнести любезный директор Буайе. Далее началась творческая часть – читали стихи Ахматова, Гумилев, Блок:

Там дамы щеголяют модами,
Там всякий лицеист остер —
Над скукой дач, над огородами,
Над пылью солнечных озер.

Туда мани́т перстами алыми
И дачников волнует зря
Над запыленными вокзалами
Недостижимая заря[191].

Елизавета Кузьмина-Караваева под аккомпанемент «Нимфы» станцевала какой-то только что разученный сложный танец, а ее муж, на закуску, рассмешил всех импровизированной ответной речью в адрес только что откланявшихся французских гостей,

отвечая сам себе и за проф. Буайе, и за проф. Рео.

«Безалаберный и милый вечер, – отметил в дневнике Блок. – Было весело и просто. С молодыми добреешь». Все гости были довольны. Но Ахматова, покидая Городецких, недоуменно пожимала плечами.

– Да, – откликнулся Гумилев, – у нас в Царском нужно будет поставить дело как-то иначе.

А настырный Борис Пронин так и не отвязался от Алексея Толстого. С упорством фанатика Пронин бомбардировал пригласительными записками его и других своих знакомых – Евреинова, актера Александра Мгеброва, художников Сергея Судейкина и Николая Сапунова, композиторов Илью Саца и Василия Шписа фон Эшенбрука… Собравшись в очередной раз на пронинский зов в ресторанчике Франческо Тани` на набережной Екатерининского канала, все, угостившись итальянскими макаронами и дивным красным вином, отправлялись бродить по промозглому осеннему Петербургу в поисках подходящего помещения для ***«арт-кабаре»*** – просторного подвала или чердака. Задумчиво заглядывали в подворотни бесконечных дворов-колодцев. Исследовали черные лестницы, благоухающие кошками и пригорелым кофе. Наконец, после очередного «захода» Алексей Толстой, отряхивая испачканный рукав, изрек:

– А не напоминаем ли мы сейчас, господа, *бродячих собак*, которые ищут приюта?

Евреинов живо обернулся к нему:

– Вы нашли *название* нашей затее!

В конце концов остановились на большом сводчатом подвале в доме Дашкова на Михайловской площади, где жил сам Пронин. «С улицы вход был забит, – вспоминал он, – и мы его так и оставили. Для нас это была идеальная штука, подвал и вход во дворе, тут не нужен был бельэтаж, куда на шум могла ворваться полиция». Пронин, славящийся своим умением непринужденно занимать всюду достаточно крупные денежные суммы «без отдачи», тут же отправился на обход подходящих петербургских знакомых, начав с журналиста Николая Могилянского, своего однокашника по Черниговской гимназии:

– Понимаешь! Гениальная идея! Все готово! Замечательно! Это будет замечательно! Только вот беда – надо денег! Ну, я думаю, у тебя найдется рублей двадцать пять. Тогда все будет в шляпе! Наверное! То есть это, я тебе говорю, будет замечательно…

– Денег, рублей двадцать пять, я тебе дам, – прервал Пронина рассудительный Могилянский. – Но скажи же в двух словах, что ты еще изобрел и что затеваешь? Только в двух словах, ясно?

– Мы откроем здесь «подвал» – *«Бродячую собаку»* – для себя, только для своих друзей, для знакомых. Это будет не кабаре и не клуб. Ни картежников, ни программ. Все это будет замечательно, уверяю тебя. Интимно, понимаешь… Интимно, прежде всего.

Могилянский, вздохнув, вынул деньги и, вручая их Пронину, строго наказал:

– Выбирайте меня в члены «Собаки», но я прошу: пусть это будет по соседству со мной, иначе не буду ходить!

Обрадованный Пронин посулил Николаю Михайловичу произвести его в «члены-учредители» и сделать «крестным отцом «Бродячей собаки». Кроме Могилянского еще несколько пронинских приятелей согласились стать «членами-учредителями». Оплатив аренду, Пронин немедленно вызвал Сергея Судейкина. «Пронин встретил меня, – вспоминал Судейкин, – и сейчас же повел в подвал, на Михайловскую, № 5. Чудный, сухой подвал настоящей архитектуры старых городов. Подвал был сводчатый, делился на четыре комнаты и выкрашен был в белый цвет. Он был невелик и мог вместить около двухсот человек».

– Вот здесь будет наш театр, – безапелляционно объявил Пронин. – А ты распишешь его.

И стал деловито показывать, где какая роспись потребна.

Судейкин, не слушая, скрестив руки, молча обводил глазами чистые белые своды.

Поднявшись наверх, они направились по Михайловской улице к Невскому проспекту.

На перекрестке какой-то бродяга совал прохожим меланхоличного, лохматого, бесцветного щенка.

– Какая прелесть! – сказал Пронин. – Бродячий щенок, нет, будущая «бродячая собака»… Символ! Купи!

Судейкин безропотно отдал два серебряных рубля.

Это была Мушка – самая знаменитая собака в истории российской культуры.

II

Рождение «Цеха поэтов». В Халиле у Машеньки Кузьминой-Караваевой. Домашний арест. Первые заседания «Цеха поэтов». Михаил Лозинский. Осип Мандельштам. Владимир Нарбут. Провозглашение акмеизма. Раскол в «Обществе ревнителей художественного слова». Учреждение «транхопса». Проводы Машеньки Кузьминой-Караваевой. Открытие «Бродячей собаки». Смерть в Санремо.

Второе собрание «нового литературного кружка» состоялось в царскосельском особняке на Малой улице 1 ноября. В гостиной, меблированной «птичьим глазом» (новички иронически косились на конфетных розово-голубых пастушков и пастушек, улыбавшихся с медальонов, и на легкомысленные диванчики модерн), Гумилев решительно взял с самого начала строгий тон.

Он говорил, что литература и искусство есть целый мир, управляемый законами, равноценными законам жизни, и что собравшиеся, подобно великому французу Теофилю Готье, должны ощущать себя гражданами этого мира. Говорил о могуществе, которое сообщает мастеру власть над материей – камнем, звуком или словом, – и вспоминал о средневековых «цехах вольных каменщиков», о таинственных артелях зодчих, строивших по всей Европе готические храмы и, по легендам, имевших непонятную власть над волей королей и судьбами народов. Завершая речь, Гумилев предложил собравшимся возродить это благоговейно-строгое отношение к художественному ремеслу, создав профессиональный ***«Цех поэтов»***, где, не касаясь содержания, можно было бы говорить о форме и технике поэтической речи. Разумеется, добавил он, взглянув на Городецкого, поиск идеальной формы будет идти на заседаниях «Цеха» не только внешним путем – с помощью изучения классиков, штудировки ритмов и т. д., – но и путем внутренним, т. е. путем выявления содержания в форме.

Идея понравилась, и Гумилев, развивая свою мысль, продолжил. «Цех поэтов» должен стать именно «цехом», не по букве, а по духу. Как средневековые мастера, возводя готические громады, никого не подпускали к инструментам и чертежам, скрывая их в своих убежищах-*ложах* (lodge), так и заседания «Цеха поэтов» должны быть недоступны для праздных посетителей и для литераторов-дилетантов. Доступ сюда возможен лишь для тех, кто, пройдя испытания, докажет на деле свое мастерство – например, после особого показательного

выступления с чтением образцовых стихотворений и последующей тайной баллотировки.

Согласны!

Все участники «Цеха» доказывают серьезное отношение к творческому ремеслу, добровольно подчиняясь строгой дисциплине: заседания нельзя пропускать без уважительной причины, нельзя выступать без подготовки и очередности, нельзя игнорировать постановления и рекомендации «Цеха».

Согласны!

Устанавливается внутренняя иерархия общества: вести заседания и направлять участников «Цеха» в области их творчества представляется *синдикам*[192] – Гумилеву и Городецкому. Помимо того, в ранг *синдика-стряпчего*, ведущего юридические и финансовые дела и ведающего казной общества, возводится Дмитрий Кузьмин-Караваев. Ахматовой поручается роль *подмастерья-секретаря*, чтобы своевременно рассылать повестки о намеченных заседаниях «Цеха». Все же прочие становятся отныне *подмастерьями*, от которых требуется творческая активность, товарищеское чувство локтя и отношение к поэзии как к строгому и благородному ремеслу.

Согласны!

Черная фигура Гумилева в пластроне и галстуке торжественно возвышалась над собранием, и даже «синдик № 2» Сергей Городецкий, все время лучезарно улыбавшийся рядом, под конец речи подобрался, выпрямился и стер улыбку. Все, переваривая происшедшее, заново озирали веселые обои, диванчики модерн и подмигивающих с медальонов розово-голубых пастушков. Золотое средневековое марево окутало гостиную домика на Малой.

Все выше храм, торжественный и дивный,
В нем дышит ладан, и поет орган.
Сияют нимбы. Облак переливный
Свечей, и солнце – радужный туман.
И слышен голос Мастера призывный
Нам, каменщикам всех времен и стран.

Гумилев, не делая паузы, предложил «цеховикам» немедленно приступить к работе и для начала подвергнуть обсуждению новые стихи Брюсова, на днях поступившие в редакцию «Аполлона». Алексей Толстой, почувствовав себя не в своей тарелке, бросил что-то ироничное. Гумилев, терпеливо проглотив реплику и подождав, пока смешки угаснут, любезно разъяснил ошибку: *подмастерье* должен а) сначала спросить

разрешения на выступление у *синдика*; b) получить таковое разрешенье; c) встать и подробно выступить.

– А говорить репликами с места, без придаточных предложений я запрещаю. Запрещаю высказывать свое суждение по поводу прочитанных стихов без мотивировки этого суждения!

Толстой негромко присвистнул, Потемкин покачал головой – и воцарилась тишина. Михаил Зенкевич и Елизавета Кузьмина-Караваева смотрели на «синдика № 1» с восторгом. После завершения обсуждения (по очереди и «с придаточными») Гумилев, вновь неспешно воздвигшись над столом, веско произнес:

– Настоящее собрание объявляю закрытым!

Возбужденные только что испытанной новизной переживаний «подмастерья» и довольные «синдики» переместились в столовую, где уже был накрыт обильный стол. Но финал исторического дня оказался для Гумилева тревожен. Анна Ивановна, приехав из Петербурга к шапочному разбору, принесла с Фурштадтской улицы от племянницы Констанции скверные известия: Машенька Кузьмина-Караваева умирала в туберкулезном санатории Халилы – легочный процесс принял скоротечную форму.

До деревеньки Халилы, затерявшейся в лесах финской волости Уусикиркко между Териоками и Выборгом, Гумилев добрался назавтра за полдень (путь – по железной дороге и затем в экипаже от станции – был неблизким). Климат в окрестностях озера Халиланярви считался целебным. Частная лечебница для чахоточных возникла тут еще в минувшем столетии, а после того, как земли выкупила императорская канцелярия, благотворительное ведомство вдовствующей императрицы Марии Федоровны воздвигло в Старой, Новой и Малой Халиле огромный многокорпусный лечебно-оздоровительный комплекс для легочных больных, с особым городком для медицинского персонала, гостевым домом, почтой, церковью, библиотекой-читальней, школой для малолетних пациентов и даже с внутренним хозяйственным узкоколейным сообщением. Все это было скрыто в грандиозной лесопарковой зоне, тянущейся вдоль озера, и выступившие неожиданно из-за заснеженных еловых лап фонари, террасы, колонны, балконы и церковные маковки напомнили Гумилеву сказочный замок Спящей Красавицы в заколдованной чаще:

Стоит ее хрустальный гроб
В стране, откуда я ушел…

Методика лечения, разработанная врачами Халилы,

сводилась к особой системе пользования свежим воздухом с постоянной «гимнастикой легких». Ухоженный лесопарк с лабиринтом тропинок недаром окружал больничные хоромы: больным предписывались ежедневные прогулки по особым маршрутам с обязательным отдыхом на умело расставленных скамейках (об этом напоминали прикрепленные на их спинках надписи) и с особыми памятными столбиками, у которых следовало остановиться и глубоко вздохнуть назначенное количество раз. Тут повсюду все гуляли, в одиночку или в сопровождении сиделок, как будто с утра до поздней ночи, расцветающей фонариками по лесным изгибам аллей, шло непрерывное праздничное шествие потусторонних полулюдей-полутеней.

В финской Халиле, в головокружительной лесной красоте Семиозерья, сопровождая закутанную в шубку невесомую Машу от одного дыхательного столбика до другого (с непременным отдыхом на скамейках), Гумилев прожил очень важные в своей жизни сутки, точнее – два неполных дня, о которых мало что известно. Они говорили об ангелах и о рае; она просила его остаться еще; он не остался:

> Знаю, томясь смертельной тоскою,
> Ты повторяла одно: «Вернись!»…

Гумилев покидал Халилу, не столько по своей воле, сколько по необходимости выполнить судебное предписание: в конце октября его настиг двухлетней давности (!) иск по делу о дуэли с Максимилианом Волошиным. Петербургский Окружной суд из-за отсутствия обоих обвиняемых около года отлагал рассмотрение дела, однако в октябре 1910-го все-таки принял решение заочно приговорить дуэлянтов к домашнему аресту – «поэта Гумилева» на семь дней (как вызывавшего), «беллетриста Волошина» – на один (как принявшего вызов). Еще год потребовался, чтобы исполнители Окружного суда смогли довести до Гумилева приговор, но в конце концов неторопливая российская Фемида все-таки восторжествовала: pereat mundus et fiat justicia![193]

Российское «Уложение о наказаниях» не определяло порядок отбывания домашнего ареста, представляя суду самому оговаривать налагаемые на осужденного ограничения и условия контроля в каждом отдельном случае. Какие арестные ограничения и условия получил Гумилев, неизвестно, но, если принять в расчет состав совершенного им проступка, вряд ли к нему был применен полицейский надзор или тем более приставлена стража. Скорее всего, он просто дал *слово дворянина*

(сословный характер применения такого вида наказаний законодательством подразумевался) с заранее оговоренного времени не покидать особняк на Малой улице в течение недели – и слово, разумеется, сдержал. Из-за этого он вынужден был письменно извиниться перед Михаилом Кузминым, приглашавшим на именины, и пропустить – уважительная причина налицо! – очередное заседание «Цеха поэтов» (в свою очередь, проводимое из-за домашнего ареста «синдика № 1» на выезде). Впрочем, очевидно, что через «подмастерья-секретаря» Гумилев немедленно получил исчерпывающие сведенья о состоявшихся в Манежном переулке[194] чтениях и дебатах, равно как и о первой успешной (хотя и с перевесом всего в один голос – 4:3) баллотировке в состав «Цеха» студента-филолога Михаила Лозинского, креатуры Василия Гиппиуса. У Лозинского на Васильевском острове было назначено следующее заседание. Новый «подмастерье» являл собой сочетание добродушного «белоподкладочника»-сибарита[195] с редкой эрудированностью и остротой ума. Но главным открытием василеостровского собрания 20 ноября стал не гостеприимный остроумец Лозинский, а Осип Мандельштам, состязавшийся за право поступить в «подмастерья».

В те же пасхальные дни 1911 года, которые чудесами и видениями преобразили Гумилева, иудей Мандельштам, гостивший в Выборге, неожиданно принял крещение в общине местной методистской епископской церкви:

> «Здесь я стою – я не могу иначе»,
> Не просветлеет темная гора —
> И кряжистого Лютера незрячий
> Витает дух над куполом Петра[196].

Пастор Нильс Розен, производивший допросы, касающиеся веры и обязанностей христианина, предварявшие крещение, был незаурядным миссионером[197] и сумел донести до неофита главное в методистском вероучении – каждый ***подлинно культурный человек и есть христианин***, а ***«церковь»*** представляет собой не что иное, как ***«культуру»***. Одухотворенную и плодотворную культурную деятельность методисты считали непосредственным и главным выражением христианской веры. Торжество христианства было для них торжеством бытового, технического и научного прогресса, делающего жизнь людей богаче, чище, красивее и, как следствие, гуманнее[198]. В свете вероучительных бесед с пастором Розеном Мандельштам переменил взгляд и на задачи поэзии. Теперь вместо мистических

туманов и озарений он был склонен воспевать кинематограф, спорт, великие открытия и архитектурные красоты:

– Строить – значит бороться с пустотой, гипнотизировать пространство.

Чудесное превращение утонченного мистика-символиста в горячего сторонника цехового «ремесленничества» было внезапным, неожиданным и, разумеется, радостным для руководителей «Цеха». Но Мандельштам стал не единственным их приобретением. В «подмастерьях» Гумилева и Городецкого оказался и Владимир Нарбут, молодой малороссийский помещик, приехавший из Глухова в Петербургский университет шесть лет назад и с той поры промышлявший на жизнь публикациями стихотворений *«о природе»*, которые выходили из-под нарбутовского пера в невиданных количествах. Его лирическими пейзажами и эпическими лесными и полевыми зарисовками были наполнены стихотворные отделы «Сельского вестника», «Светлого луча», «Журнала для всех», «Русского паломника», «Пробуждения», «Стража», «Нивы», «Новой Жизни», «Вестника Европы», «Современного слова», «Всеобщего Журнала», «Родины», «Современного Мира», «Севера», «Жизни для всех», «Биржевых ведомостей», «Нового Слова», «Всемирной Панорамы», «Родной Страны», «Солнца России», «Родника», «Голоса Земли» и «Воскресной вечерней газеты». Но, кормясь «природными» стихами, одаренный и темпераментный Нарбут умудрялся разнообразить приемы творчества, не казался ни графоманом, ни литературным поденщиком. Если Гумилев в «Письмах о русской поэзии» иронизировал над нарбутовской «специализацией», то Городецкий, напротив, приветствовал такую верность патриархальным истокам и корням:

– В его смелых описаниях деревенской природы, лесной глуши, житья-бытья грибного, поганочьего, цветов и ягод есть самостоятельное восприятие мира, свой подход, свой взгляд.

Нарбут был активен, общителен, имел многочисленные связи в самых неожиданных закоулках литературного и издательского мира и даже сумел выпустить несколько номеров собственного «эстетического студенческого журнала» «Gaudeamus». Кроме того, при личном знакомстве он удивил Гумилева неожиданной осведомленностью в… абиссинских делах. Оказалось, что соседом Нарбутов по глуховскому имению был африканский путешественник Александр Булатович, автор лучших русских очерков об Абиссинии, затворившийся ныне на Афоне под именем иеросхимонаха Антония.

«Юбилейное» заседание «Цеха поэтов» у Гумилевых в Царском 1 декабря было триумфальным: целый месяц

непрерывной работы и роста! «Синдик № 1» блистал, выступая с экспромтной критикой новых стихотворений Мандельштама, Ахматовой, Нарбута, Зенкевича, Лозинского, Моравской, Василия Гиппиуса, Елизаветы Кузьминой-Караваевой, поражал искрометными суждениями, как по существу, так и в частностях, говорил и пространно, и интересно, и весьма образно. В конце концов, у него полюбопытствовали: чем же он руководствуется, так уверенно и твердо вынося своим приговоры?

– Если в немногих словах… – задумался Гумилев. – Получается так: в содержании не нужно никакой мистической стихии, которую принесли в поэзию символисты. Не нужно поисков других миров. Главная ценность – окружающий нас мир, с его веществом, пространством и временем. И, разумеется, вера в Бога, но только как содрогание души, ощутившей Иное, не больше. В области формы – принимаются все технические нововведения символистов, но все излишества сглаживаются. Ритм, стиль, композиция стихотворения должны быть в равновесии. Символисты увлекались передачей музыки слова, а нужна еще и его живопись, и «архитектура»…

– И как же это все называется?

Гумилев пожал плечами:

– ***Акмеизм!***

Слово, выдуманное два года назад Андреем Белым, громыхнуло громом. «Подмастерья-секретаря» Ахматову послали за гимназическим «Латинско-русским словарем» Шульца, проверили ἀκμη – точно, ***«цветение, вершина, острие»***. «Меня, всегда отличавшуюся хорошей памятью, – рассказывала Ахматова, – попросили запомнить этот день».

3 декабря на заседании «Общества ревнителей художественного слова», посвященном памяти Иннокентия Анненского, ***«акмеизм»*** уже пошел в ход. Слово об Анненском, на правах председательствующего, принадлежало Вячеславу Иванову, но Гумилев и Осип Мандельштам, как гласит официальный отчет, «высказывались о значении поэта для современной лирики», превратив заседание в полемическую распрю («Разговоры и споры до ½3-го», – пометил в дневнике Блок). «Цеховики» выступали со своим ***«акмеизмом»*** сплоченной группой, и озабоченный Иванов сетовал потом:

– Этот «Цех поэтов» просто поедом ест «Академию стиха»!

Сокрушенное ивановское mot[199] вызвало среди «подмастерьев» на декабрьских заседаниях «Цеха» прилив веселья. Михаил Лозинский, ратовавший за учреждение *«сессий Транхопса»* – коллективных состязаний в написании буриме, палиндромов, акростихов[200], – вынес фразу «ЦЕХ ЕСТ

АКАДЕМИЮ» в качестве задания на одной из первых шутовских «сессий»:

Царит еще над ширью этих мест
Един Иванов в башне из гранита,
Хоть в ней уж реже хлопает подъезд…

И так далее, пока не составится полный классический сонет из 14 стихов. «Транхопс» забушевал: искали необходимые рифмы:

– Иванов – обманов – увянув… Диванов!!!

Вячеслав, Чеслав Иванов
На посмешище для всех
Акадэмию диванов
Колесом пустил на Цех!

Татьяна Лозинская-Шапирова, молодая жена учредителя «Транхопса», расставляла угощения. Выросшая в доме лейб-медика Двора Его Императорского Величества, она была очень хлебосольна, и каждое литературное собрание у Лозинских завершалось изобилием кулинарных чудес.

За «транхопсовыми» шутками стояла истина. «Поэтическая академия, – вспоминал Маковский, – вскоре заглохла, отчасти из-за восставшей на символизм молодежи с Гумилевым и Городецким во главе. Вместе они основали «Цех поэтов», который и явился дальнейшим питомником русского поэтического модернизма».

Зимние недели «бури и натиска» новорожденного «Цеха поэтов» были вдвойне счастливы для Гумилева. После его ноябрьской поездки в Финляндию произошло чудо – волшебный воздух Халилы и «гимнастика легких» сделали свое дело, и кровохарканье отступило от Маши Кузьминой-Караваевой. Больная быстро пошла на поправку, окрепнув к середине декабря настолько, что мать с сестрой решили везти ее на Лигурийскую Ривьеру – для окончательного выздоровления. В снежное Рождество Гумилев вместе с прочей родней провожал воскресшую Машеньку на Николаевском вокзале. Пристроившись у почтовой конторки, он, царапая лист альбома скверным пером, торопливо импровизировал:

Хиромант, большой бездельник,
Поздно вечером, в Сочельник
Мне предсказывал: «Заметь:

Будут долгие недели
Виться белые метели,
Льды прозрачные синеть.

Но ты снегу улыбнешься,
Ты на льду не поскользнешься,
Принесут тебе письмо
С надушенною подкладкой,
И на нем сияет сладкий,
Милый штемпель – Сан-Ремо!»

Праздничной ночью 31 декабря 1911 года лохматая собака Мушка, отъевшаяся за два минувших месяца, звонко облаивала гостей, прибывавших на торжественное открытие «артистического подвала» на Михайловской площади. Сонный дворник за малую мзду открывал внешние ворота, далее следовали два засыпанных снегом двора и налево, под обычным петербургским козырьком-навесом, – лестница в несколько ступенек вниз. Гумилев и Ахматова оказались в узкой прямоугольной передней с гардеробом, завешанным шубами. Перед маленькими зеркалами, загораживая проход, прихорашивались дамы. На специальном столике у кассы лежал внушительного вида альбом для автографов в кожаном переплете – *«Свиная собачья книга»*. Далее, за открытой дверью, виднелся уже первый зал.

Декоративная роспись, созданная Судейкиным за несколько дней «на страшном темпераменте», сияла на сводах в первозданном великолепии: состязались Пьеро и Арлекины, плясали арапчата, загадочно улыбались красавицы, полыхали крыльями сказочные птицы, и всюду тянулись к сводам огромные фантастические цветы – небесно-голубые, ядовито-зеленые, алые, бордовые… Сияющий Пронин в бархатном академическом берете, приличествующем титулу *«доктора эстетики honoris causa»* (как было проставлено на его визитках), бросился к Гумилевым:

– Ба, кого я вижу?! Сколько лет, сколько зим! Идите! – торжественным жестом он указал куда-то в пространство. – ***Наши уже все там!***

Роспись была единственным украшением подвала, интерьер же был изящно-скромный: кустарные плюшевые диваны у стен, деревянные некрашеные столики, уютный камин, миниатюрный буфет, крохотный помост сцены. В глаза бросался только большой круглый стол с 13-ю табуретками в самом центре большого зала и свисающий над ним деревянный обруч люстры на 13 светильников. Евреинов, встав коленом на табурет, цеплял к

одному черную бархатную полумаску, а актриса Ольга Высотская, смеясь, перебросила рядом длинную белую перчатку…

Гостей оказалось больше, чем ожидали устроители: помимо режиссеров и актеров «Общества интимного театра» тут собрался весь «Аполлон» с Маковским во главе. Пришли великий Михаил Фокин, хореограф парижских «Русских сезонов», и его балетная прима Тамара Карсавина. За столиками обменивались первыми впечатлениями от нового *«арт-кабаре»* мариинские оперные примадонны Евгения Попова и Наталья Ермоленко-Южина, трагики Александринки Василий Далматов и Юрий Юрьев, модные музыкальные критики Вячеслав Каратыгин и Альфред Нурок, композиторы Михаил Гнесин и Анатолий Дроздов, искусствоведы граф Зубов и князь Волконский, профессор Е. П. Аничков, архитектор Бернардоцци, любимец Петербурга клоун Жакомино, студенты консерватории Сергей Прокофьев и Юрий Шапорин. «Посетители «Собаки» в тот вечер представляли собой квинтэссенцию артистического Петербурга, и появление некоторых из них на нашей маленькой эстраде было глубоко радостным для всех нас событием», – вспоминал актер Коля Петер (Николай Петров), которому Пронин поручил вести новогоднюю программу. Из-за обилия импровизированных номеров приходилось поминутно отступать от заготовленного сценария. Алексей Толстой, автор написанной к открытию артистического подвала одноактной пьесы об аббате, родившем ежа (!), едва оглядев собравшихся, тут же – в шубе нараспашку, цилиндре, с трубкой в зубах – протиснулся к Петеру и потребовал снять «ежово действо»:

– Не надо, Коля, эту ерунду показывать столь блестящему обществу…

Пронин произнес «спич». Всех «друзей собаки» он приглашал на регулярные «интимные собрания» по средам и субботам – собрания, на которых «всякие выступления не обусловлены заранее, а всецело зависят от общего настроения». Вслед за ним юный поэт Всеволод Князев исполнил под музыку Шписа фон Эшенбрука сочиненный к случаю «собачий гимн»:

Во втором дворе подвал,
В нем – приют собачий.
Каждый, кто сюда попал, —
Просто пес бродячий.
Но в том гордость, но в том честь,
Чтобы в тот подвал залезть!
Гав!

Похожий на сказочного царевича белокурый Князев радостно улыбнулся и азартно залаял. Художник Николай Сапунов, один из главных устроителей вечера, захохотал; оскалился в улыбке усатый композитор Илья Сац, сидевший близ рояля; а вслед за ними хохот, завывание и разноголосое тявканье прокатились среди всей «собачьей публики»:

Лаем, воем псиный гимн
Нашему подвалу!
Морды кверху, к черту сплин,
Жизни до отвалу!
Лаем, воем псиный гимн,
К черту всякий сплин!

– Гав! Гав!! Гав!!! Гав!!! – оглушительно загремело под сводом с птицами и цветами, а Судейкин, наклонившись к Гумилеву, зашептал:

– Хороши цветочки? Это – *«Цветы Зла»*, помните, у Бодлера?…

C'est le Diable qui tient les fils qui nous remuent!
Aux objets répugnants nous trouvons des appas;
Chaque jour vers l'Enfer nous descendons d'un pas,
Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent…[201]

Вернувшись домой после невероятной, шумной и блестящей ночи в новогодней «Бродячей собаке», Гумилев узнал, что Машенька Кузьмина-Караваева, едва ступив на итальянскую землю, умерла.

III

Последние месяцы «вечного мира» в Европе. Московские «младосимволисты» и журнал «Труды и дни». Несчастья Михаила Кузмина. Отречение от символизма. Издательство «Цеха поэтов». Чествование Ахматовой и Михаила Зенкевича. Поездка в Италию. Слухи о гибели «Титаника». В Оспедалетти. Генуя, Пиза, Флоренция.

Високосный 1912 год стал последним, который Старый Свет, поделенный на *«Тройственный союз»* Германии, Австро-Венгрии и Италии и *«Тройственное согласие»* («Антанту»[202]) Великобритании, Франции и России, встречал незыблемым миром, установившимся в общем «европейском концерте» великих и малых держав четверть века назад. Предоставив государственным лидерам и их министерским кабинетам вести словесные баталии на всевозможных политических конференциях, умудренная и осторожная Европа слышала в последний раз боевую канонаду лишь в былинных 1870-х. С той поры военное кровопролитие превратилось в удел экспедиционных войск, которым противостояли далекие заморские племена. Европейские же народы состязались друг с другом на промышленных выставках, финансовых биржах, спортивных аренах и особенно – в рекордных свершениях человеческого гения, покоряющего природные стихии. Вот и теперь новогодний канун ознаменовался потрясающей гонкой, разыгравшейся в Антарктике, где две конкурирующие экспедиции – норвежца Руала Амудсена и англичанина Роберта Скотта – одновременно устремились к неоткрытому доселе Южному Полюсу. Кроме того, газеты и журналы трубили о новом рукотворном чуде инженеров и рабочих компании «Харланд & Вольф», создавших на верфях ирландского Белфаста величайший пассажирский корабль в истории мореплаванья. Монстра водоизмещением 52 310 тонн нарекли *«Титаником»,* и весной он должен был появиться на уже открытом под маркой англо-американского синдиката «Белая Звезда» трансатлантическом «маршруте миллионеров»[203]. Внутренняя отделка и условия для путешественников на сказочном лайнере затмевали все представления о роскоши и комфорте, а главное, по словам конструкторов и капитана, – он был *непотопляемым*. На последнее особенно налегали газетчики, превратившие «Титаник» в символ торжества европейского прогресса. Это было рискованным сравнением. Катастрофы настигали Европу, и война

стояла у дверей. В минувшем 1911 году Германия едва не сцепилась с Францией из-за колоний в Северной Африке[204], а Италия уже вовсю воевала там с Османской Империей за земли Триполитании[205]. Но и теперь благоденственный мир, установившийся в Старом Свете, представлялся большинству благодушных европейских обывателей – ***«вечным»***!

В России, пережившей внутреннюю смуту, этой наивной веры не было. Разверзшаяся внезапно бездна, едва не поглотившая Империю, мерещилась затем постоянно, заставляя россиян по-особому ценить покойные будни. Осеннее киевское убийство всколыхнуло все затаенные смертные страхи, окончательно повернув общество к охранительному консерватизму. Для былых мечтателей, идеалистов и романтиков настали тяжелые времена.

– Я не узнал той России, из которой выехал; не узнал потому, что до путешествия я Россию не видел такой (а она уже стала *такой*), – возмущался вернувшийся из заграничных странствий Андрей Белый. – Этот привкус мне открывшегося теперь впервые пережил я, как нечто глубоко враждебное мне; отныне я обречен был встречать не «близких знакомых», а социальных врагов, поработителей моей свободы…

Сплотив в Москве ветеранов и новобранцев символизма, Белый мечтал вновь развернуть борьбу и посрамить «буржуазию, наложившую лапу на искусство». Был объявлен журнал *«Труды и дни»*. В Петербурге к новому изданию охотно присоединился Вячеслав Иванов, косо поглядывавший после «теургических» споров на эстетов из «Аполлона». Согласие сотрудничать дал и Александр Блок, не питавший, впрочем, особых надежд на успех:

– Не забывайте, что сейчас не 1905, а 1912 год!

Для «аполлоновцев» известия о планах москвичей издавать «Труды и дни» стали неприятным новогодним сюрпризом. Компанию Андрея Белого недаром именовали *младосимволистами* – по аналогии с «младоитальянцами», «младогерманцами» и прочими революционными экстремистами[206]. Роль Джузеппе Мадзини[207] среди них играл сам Белый. «Младосимволисты» имели обыкновение идти напролом, не останавливаясь перед скандалами, конфликтами и разрушенными репутациями. Их боевой задор некогда с успехом использовал Валерий Брюсов против конкурировавшего с «Весами» Вячеслава Иванова. И вот теперь сам Иванов призывал московских башибузуков для похода на «Аполлон»!..

В отличие от других участников «молодой редакции», Гумилев не был склонен к паническому кликушеству. Он усиленно зазывал Иванова с гостившим на «башне» Андреем Белым на февральское заседание «Цеха поэтов» – поспорить о

символизме, загодя повернув дискуссию из скандального в дипломатическое русло. Но вместо Иванова и Белого у Гумилевых на Малой улице в феврале возник… Михаил Кузмин, удрученный душевно и физически. Это, впрочем, не помешало ему выступить с чтением новой любовной лирики и так заворожить всех, что, в нарушение правил, никто не захотел обсуждать услышанное «с придаточными предложениями»:

Я знаю, я буду убит
Весною, на талом снеге…
Как путник усталый спит,
Согревшись в теплом ночлеге,
Так буду лежать, лежать,
Пригвожденным к тебе, о мать[208].

Несчастья преследовали Кузмина уже несколько месяцев с той поры, как в его жизни появился беспутный гусарский офицер Сергей Миллер. Тот третировал своего покровителя, спаивал его и постоянно требовал денег. Слабохарактерный Кузмин пропадал с Миллером в притонах, скандалил, хулиганил, разорился в пух и, в конце концов, пьяный до безумия, обворовал для очередного кутежа насельников «башни», стянув что плохо лежало. Как теперь показаться на глаза Иванову, Кузмин не знал, кочуя по петербургским знакомым. Гумилеву и Ахматовой пришлось оставить похмельного страдальца у себя – Кузмин обосновался на диване в библиотеке в компании бульдожки Молли. Несколько следующих дней ушли на устроение дел пропойцы и на защиту его от преследований деклассированного гусара. Благодарный Кузмин, отрабатывая приют и заботы, написал в Царском Селе блестящую вступительную статью для книги стихов, которую, наконец, завершала составлять Ахматова. Но суровая Ахматова все равно косо смотрела на благотворительные хлопоты мужа и других «аполлоновцев» за нашкодившего dandy – алкогольным и педерастическим страстям Кузмина она нисколько не сочувствовала. Как обычно, ее вдруг одолело желание недельку-другую повидать матушку, и она покинула Царское Село. А Гумилев в ходе переговоров вынес убеждение, что на ивановской «башне» и без скандалиста Кузмина творится нечто неладное.

В середине февраля Гумилев отправился за женой в Киев. Вернулись оба торжественные, объявив домашним о грядущем прибавлении семейства – Ахматовой определили второй месяц беременности. Анна Ивановна от счастья не знала, что и делать. Прижившемуся в библиотеке Кузмину Ахматова немедленно дала от ворот поворот (он, впрочем, уже начал потихоньку мириться с

Ивановым). Почувствовав материнство, она, подобно толстовской Наташе Ростовой, преобразилась, стала необыкновенно положительна и домовита, с нескрываемым обожанием смотрела на изумленного мужа и писала ему трогательные покаянные стихи:

Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,
Ты в своих путях всегда уверенный,
Свет узревший в шалаше.

И тебе, печально-благодарная,
Я за это расскажу потом,
Как меня томила ночь угарная,
Как дышало утро льдом…

18 февраля, в преддверии выхода стартового № «Трудов и дней», Вячеслав Иванов и Андрей Белый выступили в «Обществе ревнителей художественного слова» с манифестами «подлинного символизма». Если Белый, рассуждавший о свободе искусства («Да, я – символист. И, да, – я утверждаю, что искусство свободно, а поэт есть певчая птица!»), в завершении выступления еще мудрил о «теургии», то Иванов словно вовсе позабыл о мистических премудростях. Высокий, бледный, решительный, с каким-то страдальчески просветленным, незнакомым лицом, он говорил о великом даре художника возвышать переживания и мысли людей, увлекать их за границы, определенные жизненным опытом, заставлять мечтать и грезить о недосягаемом совершенстве:

– Я не символист, если слова мои равны себе, если они не будят эхо в лабиринтах душ… Символизм – это внутренняя человеческая связь между поэтом и слушателем. Символист-ремесленник немыслим!.. Поэт должен быть личностью, а не даровитым и искусным в своей технической области «художником-стихотворцем»!

«Цеховики», сидевшие в гостиной «Аполлона» сплоченной группой, тихо переговаривались. Дмитрий Кузьмин-Караваев, вынырнув над головами, рассудительно заметил, что оба докладчика призывают поэта к достижению целей, более приличных политическому оратору или религиозному миссионеру:

– Вы зовете поэта на площадь, чтобы он вмешивался в шумящую там жизнь, проповедуя какие-то непонятные толпе истины…

Сразу вслед за «синдиком-стряпчим» слово взял «синдик № 2». Волнуясь и жестикулируя, Городецкий завел что-то долгое и сбивчивое о наивной простоте первобытного народного мифотворчества:

– Символисты самораспинаются в своем стремлении в беспредельную даль! Вы превратили мир в фантом, важный лишь постольку, поскольку он сквозит и просвечивает иными мирами. А мы боремся за этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, вес и время, за нашу планету Землю.

Увлекаясь, он воодушевлялся все более и завершил выступление громогласным отречением от символизма:

– После всех ваших «неприятий» мы принимаем мир во всей совокупности его красот и безобразий! Отныне безобра́зно только то, что *безо́бразно*, что недовоплощено, что завяло между бытием и небытием!!

Во время всей речи Городецкого Иванов, ссутулившись, сосредоточенно изучал поверхность лекторской кафедры и вдруг, вскинув лицо, впился, как год назад, взглядом в сидевшего напротив Гумилева.

«Синдик № 1» нехотя поднялся. Воцарилась тишина.

За этими двумя отчаянными бессребрениками-идеалистами, Вячеславом Ивановым и Андреем Белым, была одна лишь мечта, великая мечта российской интеллигенции о красоте и совершенстве жизни. А против них была сама русская жизнь – неистовая, шумная, нелепая, разноголосая, несправедливая, страстная, крестьянская, мещанская, купеческая:

> На базаре всякий люд,
> Мужики, цыгане, прохожие,—
> Покупают и продают,
> Проповедуют Слово Божие.

– Я тоже… *отрекаюсь*, – сказал Гумилев.

Иванов помолчал.

– Ну что же, – спокойно произнес он потом, – в конце концов, мы и выступали так, чтобы произошла перегруппировка поэтических сил, чтобы возникло отталкивание…

В зале поднимался удивленный шум. Вожди символизма на глазах тушевались перед напором молодых акма… акме… ***акмеистов***, так кажется. Сергей Маковский, впечатленный эффектной схваткой, прикидывал, насколько этот *акмеизм* может быть полезен при задуманной реорганизации «Аполлона» (новая книга стихов Гумилева «Чужое небо» уже готовилась в издательстве журнала). Столичная публика любопытствовала

вовсю. У Бориса Пронина в «Бродячей собаке» участники «Цеха поэтов» с начала года постоянно выступали и вместе, и врозь – опытный рекламист Городецкий даже смастерил особый цеховой *фетиш*[209], позолоченную деревянную лиру, осенявшую эстраду во время появлений перед петербургскими зрителями «синдиков» и их «подмастерьев». Впрочем, в растущем «Цехе» числились уже и *«кандидаты-соревнователи»*, и *«постоянные гости»* – семнадцатилетний поэт Георгий Иванов, обретавшийся в сообществе каких-то «футуристов» (?!); бывший политический узник «Крестов», вдохновенный бард русского анархизма Борис Верхоустинский[210]; ученик консерватории, живописец, футболист и полиглот Николай Бруни, пребывавший в убеждении, что среди его разнообразных талантов присутствует и поэтический дар; студенты-филологи Лебедев и Владимир Чернявский[211]. Поэты-«цеховики» оказались модной новинкой литературного сезона, о них заговорила столичная печать:

«До сих пор мы знали цехи часовщиков, портных, сапожников и т. д., которыми ведают ремесленные управы. Поэты же, как вообще жрецы искусства, имели отношение единственно к храмам, именуемым академиями. Ведь понятия: храм и жрец – синонимы. Но вот часть наших молодых поэтов скинула с себя неожиданно греческие тоги, – кстати, не внесенные в список форм, присвоение коих ненадлежащим образом карается действующими законами, – отвернулась от своих храмов и взглянула в сторону ремесленной управы, образовав свой цех – ***Цех поэтов»***[212].

Эпоха символизма в русской литературе завершалась. «Младосимволистский» двухмесячник «Труды и дни», стартовавший вслед за нашумевшим февральским заседанием «Общества ревнителей художественного слова», оказался настолько витиеват и далек от литературной повседневности, что его не мог осилить даже искушенный в «туманностях» Александр Блок.

– Опять я в недоумении от «Трудов и дней», – жаловался он, получив очередной номер. – Ужасно все «умно»!..

Московские шутники утверждали, что журнал получился «не от мира сего» и имеет потому больше корректоров в издательстве, чем читателей в библиотеках и книжных лавках[213]. Тем временем, «подмастерье-секретарь» Ахматова получила от «синдиков» задание закупить для «Цеха поэтов» в садоводстве Фишера запас ветвей благородного лавра. К началу весны ожидалось появление серии книг под общей «цеховой» маркой

(все та же лира, выполненная Городецким на этот раз в виде изящного графического силуэта). Авторы-триумфаторы, вслед за Сафо и Петраркой, должны были получить лавровые венки в знак славы и пророческой власти поэтов.

Учреждая в январе издательство «Цеха», Городецкий и Михаил Лозинский, взявший на себя редактуру, лелеяли грандиозные замыслы. Гумилев пообещал им собрание всех своих баллад. Михаил Кузмин клялся отдать в «Цех» лирический сборник «Яблочный сад». Мандельштам заявил о книге «Раковина». Гиппиус-Галахов взялся готовить «Росу», Гиппиус-Бестужев – «Завет», а анархист Верхоустинский, увлекшийся духовными песнями и гимнами изуверских народных сект, – свод фольклорных стилизаций «Яворчатые гусли». Однако в итоге до типографских станков добрались лишь многострадальный ахматовский *«Вечер»*, натурфилософская *«Дикая порфира»* Михаила Зенкевича[214] и *«Скифские черепки»* Кузьминой-Караваевой, написанные по воспоминаниям об археологических раскопках под Анапой[215]. Но Городецкий ничуть не был обескуражен:

– На одной популярности Гумилева или Кузмина все равно ничего не построишь. Публика требует от новой поэтической школы новых имен!

Он был уверен, что жестокие любовные страсти Ахматовой, археологический эпос Кузьминой-Караваевой и первобытные этюды Зенкевича прекрасно отражают «земную» природу акмеизма. К тому же особую «акмеистическую» книгу готовил и Владимир Нарбут. По указаниям брата-художника и его наставников Билибиных[216], Нарбут закупил серую бумагу, вроде той, на которой писали в XVIII веке, киноварь и церковнославянский синодальный шрифт. Вчетвером все они колдовали вместе над макетом, создавая типографский шедевр, а от протестов Городецкого, требовавшего для «цеховых» изданий единообразия (с лирой на обложке), упрямый хохол только отмахивался:

– Не в тім сила, що кобила сива, а як вона везе!

10 марта в Манежном переулке у домашних Елизаветы Кузьминой-Караваевой на пятнадцатом заседании «Цеха поэтов» состоялось первое увенчание лаврами. Триумфаторами были Ахматова и Михаил Зенкевич. Гумилев получил экземпляр «Вечера», прочитав на титуле:

Коле Аня. «… Оттого, что я люблю тебя, Господи!»

На фронтисписе, по воле Евгения Лансере, грустила над озером дева с книгой, с виньеток, щедро рассыпанных по страницам графиком Андреем Белобородовым, смотрели

конфетные амуры, наяды и герольды в духе увражей Персье и Фонтэна[217]. Все любовные мелодраматические эффекты в стихах «Вечера» Ахматова, конечно, оставила в неприкосновенности. Пролистав изящный томик, Гумилев с чувством продекламировал:

Ты с приданым, гувернантка,
Плюй на все и торжествуй![218]

«Увенчание» привело его в бодрое состояние духа. Из Манежного переулка он отправился на Невский, в редакцию почтенной «Нивы», неожиданно заказавшей переводы из Оскара Уайльда[219], потом на 16-ю линию Васильевского острова, где проходил очередной «Вечер Случевского» (это именитое сообщество Гумилев не забывал и даже принимал у себя в Царском), а полночь встретил на Михайловской площади в «Бродячей собаке», в компании захмелевшего московского поэта и филолога Бориса Садовского, очень расстроенного неуспехом «Трудов и дней». Тот разносил стихи петербургских «цеховиков» за отсутствие *«магического трепета поэзии и веянья живого духа»*, а потом неожиданно полюбопытствовал:

– Вы ведь охотник? Я вот тоже охочусь…

– На какую дичь?

– На зайцев.

– По-моему, – задумчиво произнес Гумилев, – приятнее застрелить леопарда.

Ахматова уже не бывала с ним в пронинском подвале – врачи запрещали ночные бдения, беспокоясь за наследственную предрасположенность к чахотке и опасаясь осложнений в протекании беременности. Ей усиленно рекомендовали уехать из весенней петербургской слякоти, и 3 апреля, отметив двадцатишестилетие обедом в компании Кузмина, Ауслендера и Зноско-Боровского, Гумилев повез покорную и влюбленную Ахматову на итальянскую Ривьеру. Весенняя Польша расстилалась за солнечным окном, весело стучали колеса берлинского экспресса, сбывались мечты, и он, счастливый, не заметил, кто же из соседних пассажиров первым произнес:

– ***«Титаник»!..***

Символ «непотопляемой» Европы в первый же рейс наткнулся на айсберг и затонул в два часа, утащив на дно полторы тысячи душ! Русские газеты, соболезнуя англичанам и американцам (во время крушения погибли советник президента США Арчибальд Батт и миллионер Джон Астор), сдержанно намекали на мрачную символику разыгравшейся в Атлантике трагедии:

«Титаник» погиб от роскоши. Строители не думали о средствах спасения… Спасения? Разве можно было допустить мысль о каком-нибудь крушении? Разве гибнут *Титаны*?»[220]

Журналисты, атаковавшие в Нью-Йорке выживших пассажиров несчастного флагмана «Уайт Стар Лайн»[221], состязались в поиске душераздирающих сюжетов. Всю дорогу из Берлина в Лозанну и Уши Гумилев и Ахматова слышали об обитателях кают первого класса, веривших в «непотопляемость» настолько, что в самый момент катастрофы они продолжали невозмутимо ужинать, о ресторанном оркестре, скрашивавшим этот чудовищный ужин веселыми мелодиями, а в последний миг исполнившим хорал «Ближе к Тебе, Господи!» и «God Save the King»[222], о потонувшем капитане Эдварде Смите, который, по колено в воде, кричал со своего мостика: «Господа, покажите себя настоящими британцами!..» Сюда же вплетались фантастические сюжеты о прославленном журналисте, без пяти минут лауреате Нобелевской премии Уильяме Стеде и… египетской мумии, которую он под видом ручной клади протащил на корабль. Молва тут же связала экзотический подарок, предназначавшийся кому-то из американских друзей журналиста, с *«лондонской мумией, приносящей несчастья»* (Ахматовой оставалось только изумляться!), и даже разнесла девиз, якобы начертанный на амулете грозной египтянки:

ВОССТАНУ ИЗ ЗАБЫТЬЯ И СОКРУШУ ВСЕХ НА ПУТИ[223].

Под аккомпанемент этих слухов, легенд и пророчеств Гумилев и Ахматова оказались на via San Rocco в итальянском Санре́мо, где за низкой белой стеной приморского кладбища Фоче среди русских надгробий, окружающих православную часовню св. Николая Чудотворца, три месяца назад нашла последний приют Маша Кузьмина-Караваева. Осиротевшие Констанция Фридольфовна и Ольга жили неподалеку в местечке Оспедалетти, древнем оплоте Родосских рыцарей-госпитальеров – от Санремо туда вела тянувшаяся вдоль побережья и пляжей шоссейная дорога. У Кузьминых-Караваевых Гумилев и Ахматова остановились на неделю, отогреваясь после Петербурга среди курортных аристократических вилл и средневековых странноприимных паломнических келий, теснящихся у орденского храма св. Иоанна Крестителя на via Cavalieri di Rodi[224]. Спустя три столетия после разгрома госпитальеров флот Итальянского Королевства вновь устремился на Додеканесские острова[225] и ветхая рыцарская старина словно оживала заново:

Мы идем сквозь туманные годы,
Смутно чувствуя веянье роз,
У веков, у пространств, у природы,
Отвоевывать древний Родос.

Родос был с боем взят итальянцами у турок 24 апреля (7 мая) 1912 г., когда Гумилев и Ахматова, покинув Оспедалетти, добрались морем из Санремо в Геную и путешествовали по северной Италии. На пизанской Piazza dei Miracoli[226] они долго бродили по кладбищу Кампосанто, на котором тосканская земля была перемешана с камнями и прахом Голгофы[227]. В погребальных галереях гладкие плиты каменного пола чередовались с рельефами надгробий, бесчисленные античные саркофаги матово белели у стен, расписанных изображениями смертных мук, фигурами безобразных крылатых демонов и гневных ангелов, теснящих адские силы. Был виден и сам ад с проступившей из багровых сполохов неописуемой рогатой личиной, что долго продолжала мерещиться снаружи под радостный гомон прихожан, выходивших на солнечную площадь из собора Успения Пресвятой Девы:

Сатана в нестерпимом блеске,
Оторвавшись от старой фрески,
Наклонился с тоской всегдашней
Над кривою пизанской башней.

Военные сводки гремели известиями о морских и сухопутных победах над одряхлевшей Высокой Портой:

– Ewiva Tripoli Italiana![228]

Вся Италия ликовала, и в радостных уличных толпах с живыми patrioti ferventi[229] мешались воинственные мертвецы в латах и епанчах, уставшие дремать в каменных склепах. Иногда Гумилев видел очень ясно картины и события вне круга привычной жизни; они относились к каким-то давно прошедшим эпохам. Ступив во Флоренции на площадь Синьории, он ощутил запах гари, и палаццо Веккьо внезапно скрылся из глаз, заслоненный клубами дыма. В огонь, разгоравшийся среди огромной груды всевозможных мирских «сует», vanitates[230], летели все новые и новые драгоценные шелка, маскарадные платья и парики, флаконы с благовониями, шахматные доски, колоды карт, шутовские флейты и бубны, соблазнительные живописные холсты в богатых рамах и тома досужих, фривольных и еретических сочинений:

– К чему служит красноречие, не достигающее предположенной цели? К чему служит корабль, разукрашенный и расписанный, который постоянно борется с волнами, но никогда не приводит путешественников в порт, а напротив, удаляет их от него? О, великое стяжание для душ! Услаждают уши народа, восхваляют самих себя божественными похвалами, в громких фразах делают ссылки на философов, изысканно декламируют стихи, а Евангелие Христово оставляют или вспоминают весьма редко… Ключом правды я отомкну ваш мерзостный ларчик, и выйдет такое зловоние, что содрогнется весь мир!

Вдруг жар полыхнул прямо в лицо, и Гумилев, оглушенный ревом народной толпы, отшатнулся от каких-то бешеных оборванцев, шарящих руками у его ног и орущих дурными голосами:

– Где же ты обронил свой ключик, пророк?! Смерть! Смерть Савонароле!

IV

Флорентийский монастырь Сан-Марко. Поездка в Рим. В Болонье и Падуе. Венеция. Возвращение в Россию. Конец «башни» на Таврической. Реорганизация «Аполлона». Крамольная «Аллилуйя». Семейная драма Кузьминых-Караваевых. Вновь в Слепневе. Военная тревога в Европе.

Гостиничные номера в непроезжем тупичке на флорентийской окраине, утопающей в бело-розовых облаках цветущего миндаля, были на редкость уютны и невероятно дешевы. Выяснилось, правда, что недавно в них кто-то повесился, но Ахматова, утомленная зноем, накатившим в конце мая на Тоскану, уже прочно обосновалась в красных плюшевых креслах, тенистой прохладе и миндальном благоухании. На раскаленные улицы она носа не высовывала, предпочитая любоваться видом на долину Арно, холмы и горные вершины из окна. Гумилев в одиночку держал путь в сторону башни Арнольфо, все так же грозно нависающей над городом. Бросив взгляд на белеющую перед Старым Дворцом фигуру обновленного «Давида»[231], он направлялся дальше, к алому великолепию исполинского купола на Piazza del Duomo, откуда было рукой подать и до монастыря Сан-Марко.

Здесь всегда царил покой, хотя никогда не пустовали ни сам музей, ни храм, ни великая библиотека, спасенная Савонаролой в стенах Сан-Марко[232]. В те времена книги были единственным сокровищем обители – монастырские земли, драгоценности и казну Савонарола разделил между флорентийскими бедняками и провозгласил начало Царства Божия на земле, как на небе. И все же, став нищими по доброй воле, насельники Сан-Марко, никогда не запиравшие ни ворот, ни дверей и добывающие пропитание ежедневным черным трудом, обретались в невиданном великолепии! Монаха-богомаза Джованни из Фьезоле, который расписывал монастырь, недаром величали *Fra Beato Angelico* – «Братом Блаженным Ангельским»[233]. Говорили, что он дружил с небесными серафимами: незримой веселой артелью они окружали своего *confratello*[234], готовили ему волшебные краски, каких не бывало на земле, а иногда и сами брались за кисти, состязаясь в живописном мастерстве. Вокруг Гумилева, как некогда в далеком саду Эзбекие, расцвел рай. Неземные, смеющиеся краски сияли повсюду: в алтаре храма, в монастырском дворе, в зале капитула, в трапезной, в библиотеке, в коридорах, в кельях. У последней двери музейный привратник

помедлил и, отворив, каким-то особенно торжественным жестом пригласил Гумилева войти. Тут было голо и пусто – один только портрет, на который из узкого окна падал косой солнечный луч.

– В чем состоит красота? В красках? Нет. В линиях? Нет. Красота – форма, в которой гармонично сочетались все ее части, все ее краски… Откуда же проистекает сама красота? Вникни, и ты увидишь, что из души… Поставь рядом двух женщин одинаковой красоты. Одна из них добра, нравственна и чиста, другая – блудница. В доброй светится красота почти ангельская, а другую нельзя даже и сравнивать с женщиной чистой и нравственной, хотя она и блистает внешними формами…

Гумилев уже и не знал, куда деться от этого странного бремени прошлого, продолжавшего для него жить в настоящем!.. Сонная Ахматова, перебив взволнованные речи, невпопад объявила мужу, что твердо решила переждать жару в покое и уюте и в Рим потому не поедет:

– А когда снова будем в Италии – вот тогда и вдвоем съездим…

Поглощенная ожиданием материнства, она упорно оставалась глуха и равнодушна ко всем вещим чудесам, кошмарам и тревогам.

– Похоже, земные наши роли переменятся, – вздохнул Гумилев. – Ты-то и будешь настоящей акмеисткой, а я еще немного – и превращусь в мрачного символиста.

В Риме он окончательно убедился, что прославленные шедевры Высокого Возрождения станут, вероятно, главным итальянским разочарованием. Идеальное совершенство фигур и поз на живописных полотнах и в пластике скульптур делали их безжизненными, грандиозная архитектура дворцов и храмов напоминала ухищрения театральных декораторов, и весь огромный город после смиренной и мудрой простоты Сан-Марко казался блистательным иллюзионом или роскошным занавесом. Что́ скрывалось за ним – было неясно.

– Знаешь, что я хочу тебе сказать, – насмешливо произнес Савонарола, вертя в руках какую-то травинку. – В первоначальной Церкви потиры были деревянными, зато прелаты были золотые. Теперь же Церковь имеет потиры из золота, зато прелатов из дерева.

Гумилев, плутавший весь последний день по Колизею и развалинам палатинских дворцов, растянулся на горячих от жары античных обломках и даже головой не повел. Разомлев в ускользающем вечернем зное, он лениво следил за припозднившимися ящерицами, снующими среди цветов по треснувшей мраморной глыбе, вросшей в склон. Темная железная

ночь стремительно падала на древнее Семихолмие[235], вокруг не было ни зданий, ни людей – только пенился водоворотами Тибр, светил кровавый месяц, и волчица далеко внизу, у подножья Палатина, долго и страшно выла, ожесточенно разбрасывая рыхлую землю, как будто готовя могилу:

И город цезарей дивных,
Святых и великих пап,
Он крепок следом призывных
Косматых звериных лап[236].

По возвращении из Рима Гумилева ожидала посылка от Маковского – первые книжки «Чужого неба». Надписав несколько штук, он тут же отправил их обратно в Россию – Блоку, Брюсову и другим необходимым петербургским и московским адресатам. Покидая Флоренцию, Гумилев вновь навестил Сан-Марко, постоял напротив ветхой твердыни рода Данте Алигьери на via Santa Margherita и замедлил шаг у круглой плиты перед фонтаном Нептуна:

Qvi dove conisvoi confratelli fra Domenico Bvonvicini e fra Silvestrtro Marvffi il XXIII maggio del MCCCCXCVIII per iniqva sentenza fv impiccato ed arso fra Girolamo Savonarola. Dopo qvattro secoli fv collocata qvesta memoria[237].

А перед самым отъездом из благоухающих миндальных рощ его измучил бесконечный диковинный сон, похожий на кинематографические гиньоли Жоржа Мельеса[238]:

На скале, у самого края,
Где река Елизабет, протекая,
Скалит камни, как зубы, был замок.

На его зубцы и бойницы
Прилетали тощие птицы,
Глухо каркали, предвещая…

Проснувшись разбитым и с головной болью, Гумилев всю дорогу до Болоньи был не в духе, и развеялся, лишь оценив знаменитую романскую кухню, букет местных вин, тихое ликование живописных влюбленных парочек на вечерних улицах и хмурое величие университета, древнейшего в Европе. В Падуе же вновь начал хандрить. Среди пурпура и томных фигур обнаженных мучеников на полотнах Веронезе в колоссе Санта-Джустины[239] тоска по утраченному раю Сан-Марко стала

пронзительной до смертного воя. Он сердито посмотрел на кукольную красоту овала Prato della Valle[240].

– Вот, что я тебе скажу, братец, – решительно, как напутствие, прозвучал рядом уже привычный за последние недели голос. – ***Беги!*** Беги из земли Содома и Гоморры! Беги из Египта и от фараона! Беги из своей страны, где порок восхваляется и добродетель подвергается поруганию, где человек, изучающий искусства и философию, называется мечтателем, живущий скромно и честно – безумцем, верующий в величие Божие – глупцом, уповающий на Христа – достойным насмешек… Беги из этой земли, где тот называется благоразумным, кто грабит бедного, вдову и сироту; тот считается мудрым, кто думает только о накоплении богатств; тот благочестивым, кто грабит другого с наибольшим искусством! Поверь, ничего там нет, кроме нечестия, ростовщичества, грабежа, богохульства, хищничества, содомства и распутства…

– Сам-то ты почему не убежал? – проворчал Гумилев.

На террасе ветхой таверны времен, наверное, войны с Камбрейской лигой[241], над позеленевшим за века гранитом обмелевшего канала Piovego Гумилев и Ахматова пили великолепное токайское вино, любуясь на готические шпили и башни городской цитадели. Сияние Сан-Марко медленно угасало, и с последними сполохами небесных фантазий Беато Анджелико до Гумилева донеслось:

Есть Бог, есть мир – они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога.
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

Затем время сомкнулось, и XX век вступил вокруг в свои безраздельные права. Первые дни в Венеции он еще сторожился, но город на лагуне не исчезал, не становился маревом, не начинал звучать потусторонними голосами былого, не увлекал по сокровенным тропам – и вскоре, вместе с другими европейскими вояжерами, Гумилев безмятежно наслаждался византийскими куполами собора св. Марка, св. Теодором с крокодилом и крылатым Львом с Евангелием на Пьяцетте, бронзовыми Гигантами Часовой башни с их колоколом, не умолкающим пять столетий подряд[242]. Ахматова была рядом: в морской Венеции ее не так душил зной, и она воспряла, очарованная разноязыким гомоном туристов, множеством ухоженных голубей, бесцеремонно требующих пшена и крошек, и, главное, обилием соблазнительно дешевых лавочек, предлагающих невероятный

выбор сувенирных поделок с обязательным львиным геральдическим знаком Serenissima Repubblica di San Marco[243]:

Сколько нежных, странных лиц в толпе.
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе![244]

Дней десять до начала «европейского» лета Ахматова, уже заметно раздавшаяся, азартно закупала везде эти подушечки, маски котов и венецианских дам, бауты[245], веера, шляпы с кружевами, расписные кораблики с оловянными гондольерами и стеклянную муранскую дребедень[246]. На «русское» 19 мая она с гордостью демонстрировала свои трофеи киевской кузине Нанике Змунчилле. Гумилева в это время в Киеве уже не было – накануне он отправился в Петербург.

В редакции «Аполлона» наперебой судачили про таинственное исчезновение из города Вячеслава Иванова, который на днях, наскоро собравшись, отбыл за границу вместе с падчерицей Верой Шварсалон и дочерью Лидией. Жилье на «башне» ликвидировалось. Потерявший кров Михаил Кузмин, безденежный и озлобленный, делал всем намеки на пикантные обстоятельства, сопутствовавшие внезапному бегству. За обедом «Chez Albert» Кузмин туманно витийствовал о постоянно посещавших Иванова видениях покойной супруги Зиновьевой-Аннибал, о мистической экзальтации отчима и падчерицы, уверовавших в подлинность призрачных призывов, и о вторжении в эту небесную мистику неких *обстоятельств*, вполне земных… В роковой водоворот едва не затянуло и самого Кузмина, которого Вера Шварсалон в припадке отчаянья стала склонять к фиктивному браку. Избегавший женщин Кузмин был, по его словам, «потрясен» и, по-видимому, от потрясения так и не отошел. Взволновавшись, он увязался за Гумилевым до Царскосельского вокзала, все толкуя о своей несостоявшейся «женитьбе»:

– Если кому-то покойница вручает свою дочь заместить себя на земле – лучше держаться подальше. А я никаких загробных голосов не слышал! Шутка ли: девица брюхата на шестом месяце…

История была непонятной и диковатой, тем более что разыгралась она во время публикации Ивановым двухтомного стихотворного собрания «Cor Ardens»[247], посвященного *«бессмертному свету Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал»*:

Той, что, сгорев на земле моим пламенеющим сердцем,
Стала из пламени свет в храмине гостя земли.

Оба тома были наполнены стихотворными заклинаниями, взывающими к тени мертвой жены с невероятной даже для Иванова действительно *волшебной* художественной силой. Что за «дионисийские вихри» закрутились, разбуженные этой сверхчеловеческой словесной магией, Гумилеву не хотелось и представлять. «Как же должно относиться к Вячеславу Иванову? – писал он, откликаясь в «Аполлоне» (июньском) на выход второго тома «Cor Ardens». – Конечно, крупная самобытная индивидуальность дороже всего. Но идти за ним другим, не обладающим его данными, значило бы пускаться в рискованную, пожалуй, даже гибельную авантюру. Он нам дорог как показатель одной из крайностей, находящихся в славянской душе. Но, защищая целостность русской идеи, мы должны, любя эту крайность, упорно говорить ей «нет» и помнить, что не случайно сердце России – простая Москва, а не великолепный Самарканд».

Маковский, непроницаемый на людях для сплетников, с досадой признавался Гумилеву:

– Не нравится мне очень эта история. Есть вещи слишком житейские, чтобы могли позволить их себе такие люди, как Вячеслав. Вообще, башенный корабль потерпел, по-видимому, крушение. Одни круги остались.

Одинокий верховой гусар промчался мимо в сторону Софии; напротив, на зеленых площадках, разбитых на месте прежних фонтанов, гувернантки с солнечными зонтиками пасли нарядный выводок малышей. Больше года Маковский жил в Царском Селе, перебравшись в один из особняков на Новой улице сразу после женитьбы. Брак был, на удивление, удачен: его москвичка оказалась хоть и взбалмошной, но милой и домовитой, быстро освоившись среди царскоселов. Супруги привечали у себя местных литераторов и художников, граф Комаровский сошелся с шефом «Аполлона» накоротке, а Марина Маковская была хороша с Ахматовой. Гумилев, по-соседски, составлял компанию pápá Makó в царскосельских прогулках.

Сам покинув Мойку, Маковский переносил теперь редакцию «Аполлона» на Разъезжую улицу, к Пяти Углам[248], чтобы в новых стенах вести на новый лад непомерно разросшееся хозяйство. При «Аполлоне» уже выходили «Русская художественная летопись» и «Литературный альманах», издавались книги, выставочные буклеты, открытки, репродукции, была открыта собственная издательская лавка. Недавняя «аполлоновская» выставка «Сто лет

французской живописи» прошла под покровительством русского двора и французского министерства иностранных дел, соединив в залах Юсуповского особняка на Литейном живописные шедевры Парижа, Версаля, Люксембурга и Гренобля с французскими коллекциями Петербурга и Москвы. С нового сезона перемены должны были затронуть как художественную, так и театральную часть преобразившегося журнала. Что же касается части литературной, то редактор «Аполлона» не имел ничего против передачи ее в полное владение *акмеистов* из «Цеха поэтов».

– Думаю, что и «Академия стиха» окажется после отъезда Вячеслава совсем сиротой бесприютной, чем-то вроде «Академии без Ломоносова». На мой взгляд, надо решиться – чтобы дело не завяло, как цветок без росы небесной, – на полную реорганизацию…

Серия изящных стихотворных томиков с лирой на обложке произвела сильное действие. Заговорили о «направлении», созданном молодыми столичными литераторами. «Какова ценность этих попыток? – гадали критики. – Истоки ли это великих рек или только ручейки? Кустарник ли это или «племя младое, незнакомое», которое перерастет великанов русской поэзии?» К «цеховикам» теперь причисляли всех, без разбора, стихотворцев-дебютантов, даже москвичек Марину Цветаеву и Любовь Столицу. Но Гумилев, вернувшись из Италии, нашел «Цех» заглохшим и испуганным. В самый разгар лаврового триумфа Владимира Нарбута, выпустившего, наконец, свой типографский шедевр, поименованный *«Аллилуйя»*, пришло известие о привлечении триумфатора к суду по ст. 74 Уголовного уложения (кощунство) и ст. 1001 Уложения о наказаниях (порнография). Сам же шедевр Петербургский цензурный комитет предписывал из продажи изъять и, изъяв без остатка, уничтожить[249].

– Это все из-за шрифта, – объяснял Гумилеву расстроенный Михаил Зенкевич. – Шрифт-то славянский. И она, «Аллилуйя» эта, с титлами, с красным титлом была напечатана… После этого: что такое «Аллилуйя»? Смотрят: божественное, должно быть, что-то, а там – хреновина какая-то…

Против «хреновины» Нарбут пытался протестовать. Вообразив себя «новым Адамом», он хотел следовать ветхозаветному 148-му псалму, где говорилось о двух путях «хваления Господа» – небесном и земном, о «великих рыбах и всех безднах», «зверях и всяком скоте, пресмыкающихся и птицах крылатых», которые призваны *«хвалить Господа от земли»* (Пс. 148. 7–10). «Хвалу от земли» возносили в стихах Нарбута зобатые степные волы с «глазами-лупами», «разухабистые» жеребцы, радостно

случающиеся с кобылами, щенок первого приплода, отбрасывающий «огороды между ног», сочные украинские девки, ползающие, «как ублюдки», по клубничным грядкам, сизоносые пьяницы в шинке, влюбленный чумазый шахтер, «залихватски жарящий на гармошке», и сельский «подпасок долгоспинный» в коровьем хлеву:

> В пригороде всем раскидисто живется —
> парубкам, девчатам, бабам матерым…[250]

– Потому и «аллилуйя», и шрифт церковный, и титла. При чем тут кощунство и порнография? Я же *земняк*, а не *небесняк*!

Гумилев выразил сомнение, что уголовный суд примет это во внимание.

– Не лучше ли уехать на время? А то еще на каторгу пойдешь. Сиди пока у себя в Глухове. Только ведь и там достанут, это же не Африка…

– Африка? – оживился Нарбут. – Можно и в Африку!

Среди «цеховиков» Гумилев не обнаружил супругов Кузьминых-Караваевых. Тут тоже была семейная драма, впрочем, без всякой мистики. Не успев получить лавры за «Скифские черепки», Елизавета Юрьевна внезапно влюбилась в красавца молдованина, брата воспитанницы одной из караваевских дам-благотворительниц. Человек искренний и прямой (как и подобает социалистке), она открылась мужу, объявив о расторжении их взаимного «общественного союза». Но Дмитрий Владимирович оказался плохим общественником, скандалил, плакал, не давал развода. Возмущенная ретроградством Кузьмина-Караваева укрылась в родной Анапе, а «синдик-стряпчий» загулял с горя в каких-то сомнительных кабачках на Лиговке, да так и исчез с глаз. В начале июня Гумилев нашел его в родовой усадьбе под Бежецком – томного, унылого, но благопристойного, в компании оживленных земцев (на время уездных выборов в Борисково располагалась штаб-квартира местных либералов).

В Подобине вновь жили Неведомские. Гумилев навещал их верхом вместе с Ольгой Кузьминой-Караваевой, вернувшейся из Оспедалетти. Он снова пытался освоить на рьяных подобинских рысаках верховые трюки, вскакивал в седло и соскакивал без помощи стремян, но цирковых представлений уже не затевал. Зато все четверо пускались в долгие объезды по соседям. Впрочем, лето выдалось дождливым, и частую непогоду Гумилев коротал один в слепневской библиотеке с итальянской грамматикой и томом «Inferno»[251], который пытался читать «с листа»:

Luogo è in inferno detto Malebolge,
tutto di pietra di color ferrigno,
come la cerchia che dintorno il volge[252].

Он схватывал лишь общий смысл итальянских стихов, но от этого безумные картины Данте – скалы, пропасти, зубчатые башни и стены, озаренные кровавым адским пламенем, – выступали еще страшнее и загадочнее, воскрешая флорентийский сонный бред. Опять томила тоска, казалось, что во всей вселенной нет ни одного атома, который бы не был полон глубокой и вечной скорби, тощие вороны глухо каркали, предвещая, над дряхлой готической твердыней Запада, где затаилось зло:

Сам хозяин был черен, как в дегте,
У него были длинные когти,
Гибкий хвост под плащом он прятал.

Жил он скромно, хотя не медведем,
И известно было соседям,
Что он просто-напросто дьявол.

В эти дни, изнемогая под ударами итальянских броненосцев, бомбардировавших Дарданеллы с моря, невероятных сухопутных бронемашин, наступающих на Триполи и воздушных дирижаблей, терзавших турецкие экспедиционные части у Бенгази, Высокая Порта отчаялась отстоять за собой африканские земли и запросила пощады. Но над европейскими рубежами само́й обескровленной Османской Империи уже нависли молодые балканские хищники, Болгария и Сербия, алчущие сокрушительного реванша за все былые обиды. 29 мая (11 июня) в их военно-политический союз против Турции вступила Греция.

ВОССТАНУ ИЗ ЗАБЫТЬЯ И СОКРУШУ ВСЕХ НА ПУТИ!

Кабинеты великих держав Антанты и Тройственного союза лихорадочно искали возможные комбинации политических и военных демаршей, ультиматумов, торговых санкций и даже совместного контроля над Проливами в случае катастрофического развития событий во Фракии, Македонии, Приштине и Салониках.

Европа доживала последние недели мира.

V

В ожидании наследника. Встреча в Москве. Журнальные отзывы. Дипломатия Брюсова. Томительное лето. Несчастье Бориса Покровского. Странности Маруси Сверчковой. «Коля-маленький». В номерах «Белград». Помощь Тюльпановой-Срезневской. Переезд «Аполлона». Второе рождение Михаила Кузмина. Конец «молодой редакции». Создание «Гиперборея». В. И. Гедройц. Эго-футуристы. Балканский кризис. Рождение Льва Гумилева.

– *Молитесь!* – объявила в июле Анна Ивановна Гумилева крестьянскому сходу. – Если даст Бог наследника – *все долги прощаю*…

Слепневские мужики и бабы истово крестились вслед промчавшемуся по деревне шарабану с озабоченным молодым барином – недоимок за крестьянскими хозяйствами накопилось довольно. Встретив в Москве киевский поезд, Гумилев повез вконец располневшую Ахматову в гостиницу (вероятно, в знакомый по прошлому году «Метрополь»). Устроившись, пошли по книжным лавкам. Ахматова бережно снимала с полок номера журналов, долго вертела в руках, потом, решившись, пугливо заглядывала в отдел критики, захлопывала книжку и торопливо ставила на место. Гумилев, невозмутимо следуя рядом, забирал обнаруженный том и отдавал приказчику. Так, вдвоем, напоминая со стороны охотника, промышляющего с породистой собакой, они добыли «Русскую мысль», «Заветы», «Путь», «Известия» Вольфа[253] и «Современник». В гостиничном номере добыча была подвергнута тщательному исследованию. «Я приоткрывала последние номера журналов и находила сочувственные отзывы о «Вечере», – вспоминала Ахматова. – Я немедленно закрывала книгу и старалась сделать вид, что я ничего не видела. Мне казалось, что иначе они исчезнут». Гумилев, раздраженно отшвырнув невозможную статью Бориса Садовского («О «Чужом небе» Гумилева, как о книге поэзии, можно бы не говорить совсем, потому что ее автор – прежде всего не поэт»), сосредоточенно углубился в огромный брюсовский очерк «Сегодняшнего дня русской поэзии». Вместе с Маковским они рассчитывали на присоединение Брюсова к «Аполлону», особенно теперь, когда московский maître, рассорившись с владельцем «Скорпиона» Сергеем Поляковым, кажется, не нашел общего языка и с редактором «Русской мысли» Петром Струве. Маковский намекал, что готов печатать Брюсова по *червонцу за строчку*, как

Смирдин[254] издавал в свое время Пушкина:

– Группа молодых писателей, составляющая теперь редакцию «Аполлона», тяготеет именно к тому литературному credo[255], которое закреплено Вашим авторитетом.

Однако опытный дипломат Брюсов явно не спешил заключать с «молодыми писателями» союз. Он с похвалой отзывался об искусной технике Гумилева и об умении Ахматовой «замыкать в короткие, из двух-трех строф, стихотворения острые психологические переживания», приветствовал попытки Зенкевича «вовлечь в область поэзии темы научные», отмечал «интересно задуманные «Скифские черепки» г-жи Кузьминой-Караваевой». Но итоговый вывод брюсовской статьи был, как обычно, замысловат:

– Можно сказать, что вообще в изданиях «Цеха поэтов» плохих стихов мы не встречаем. Молодые поэты, объединившиеся в этом издательстве, писать умеют <…> и пользуются всеми техническими завоеваниями нашей «новой поэзии». Однако этим молодым поэтам, при всем их порывании к «стихийности», угрожает одно: впасть в «умеренность и аккуратность».

Натянуто-двусмысленной оказалась назавтра и встреча с maître'ом в редакции «Русской мысли». Принимая петербургских гостей, тот был очень осторожен, от прямых ответов уходил, говорил глубокомысленно и округло, то ли набивая цену, то ли посмеиваясь про себя.

– Прямо какой-то замоскворецкий купчик, начитавшийся в тридцать лет Буало[256], – разочарованно подытожила Ахматова, покидая Ваганьковский переулок. – Куда он денется от своего символизма: «И Господа, и дьявола хочу прославить я…»[257]

В Слепневе на вопрос домашних «Что о вас пишут?» Гумилев гордо ответил: «Бранят!», а Ахматова сказала сдержанно: «Хвалят». С ней возились, позволяли дремать до полудня, готовили отдельно, приносили лакомства, не прекословили ни в чем, хранили покой. Дворовые девчонки по просьбе Анны Ивановны незаметно присматривали за нелюдимой барской невесткой, когда та, закутанная в шаль, прогуливалась с бульдожкой Молли в парке, долго просиживая в беседке около пруда. Ахматовой нездоровилось. Лето в Слепневе не задалось – ближе к августу дождь лил не переставая, стоял промозглый холод. Да и в доме было невесело. Незадолго до ее приезда во флигеле поселился с семьей Борис Покровский, племянник слепневских хозяек, который, как всем становилось ясно, необратимо сходил с ума. Офицер Генерального Штаба, большой приятель Дмитрия Гумилева, любимец тетушек, здоровяк, шутник и любезник, после прошлогодней длительной командировки на

Дальний Восток вдруг начал хиреть, впал в меланхолию, жаловался на потерю памяти. Жена забила тревогу, отказалась ехать на обычный летний курорт, напросилась к родственникам – и не напрасно. В несколько недель недужный страдалец утратил речь, обезножил и лишь жалобно мычал, седея на глазах. Болезнь, сгубившая некогда Покровского-старшего, забубенного курского жандарма-пьяницу, настигла и Покровского-младшего, поднявшегося до столичного генштабиста. Помешанный по категорическому требованию уездного врача был отправлен в Петербург, но, как обычно бывает, оставил по себе в Слепневе гнетущую память. К тому же странности стали происходить и с шестнадцатилетней Марусей Сверчковой, дочерью Александры Степановны. Вечная тихоня, она совсем перешла на шепот, сидела часами по неприметным уголкам и постоянно затягивала одну и ту же жалобную песенку:

Маруся ты, Маруся,
Открой свои глаза.
А если не откроешь,
Скажи, что умерла.

То ли на нее так подействовало зрелище умоисступления троюродного дядюшки, то ли просто время было несчастное.

«Николай Степанович не выносил Слепнева, – вспоминала Ахматова. – Зевал, скучал, уезжал в невыясненном направлении». Ему обычно сопутствовал Николай Сверчков, состоявший последний год при Гумилеве на положении домашнего адъютанта. Завершив гимназию, *Коля-маленький*, готовясь продолжать учебу, колебался в выборе занятий. Он прекрасно рисовал, увлекался фотографией, с интересом слушал рассказы дяди о нравах и обычаях обитателей далеких стран и о дикой природе. Художественных книг юный Сверчков не признавал, но штудировал Брема[258], изучал популярные труды по ботанике и зоологии и, составляя «большому Коле» компанию в конной прогулке или партию в теннис, непременно расспрашивал, как на деле выглядят описанные там растения и животные.

В августе Ахматова совсем скисла, сутками под монотонный шум дождя сидела на диване в библиотеке, латая растрепанные тома XVIII века цветными тряпочками и кожаными обрезками в тон старых переплетов. Другие занятия ее не привлекали, даже близкие прогулки она игнорировала, жалуясь на головокружения и одолевающую слабость. Встревоженная Анна Ивановна, опасаясь выкидыша, приказала Коле-маленькому, равно как и «Большому», дежурить при беременной неотлучно, сменяя друг

друга, всюду водить под руку, на подъемы и лестницы носить на руках. В конце концов, в середине месяца она услала невестку в Петербург, наблюдаться у профессора Д. О. Отта в императорском Институте повивального искусства. Гумилев, хранительным стражем, находился, разумеется, при жене.

Клиника Отта была оборудована по последнему слову акушерской науки и считалась лучшей в городе. Анна Ивановна не пожалела денег для тщательного многодневного обследования будущей матери желанного *наследника*; на все это время супруги Гумилевы поселились в меблированных комнатах «Белград», у перекрестка Невского с Адмиралтейским проспектом и Дворцовой площадью. Отсюда до стрелки Васильевского острова, где располагался Институт повивального искусства, на трамвае было несколько минут. Но ежедневно разъезжать с Невского на Васильевский Гумилеву не пришлось. Едва Ахматова появилась в Петербурге, как строгое шефство над ней взяла «Птица» Тюльпанова, недавно превратившаяся в Валерию Сергеевну Срезневскую, жену молодого врача, сотрудника великого Бехтерева. С беременной подругой Тюльпанова-Срезневская, как в гимназические времена, была неразлучна целыми днями, предоставив супругу Ахматовой устраивать литературные дела в наступающем новом сезоне. То, что этот сезон обещает стать незаурядным, он понял, едва переговорив с первыми встреченными знакомцами.

За лето, с переездом редакции «Аполлона» от Мойки к Пяти Углам, в ближайшем окружении Гумилева все решительно переменилось, как будто переезд оказался сменой декораций между двумя разными действиями театрального представления. Поразил Михаил Кузмин, осевший после крушения «башни» у четы Судейкиных. Ко всему «башенному» прошлому Кузмин пылал лютой ненавистью, особенно нападая на Вячеслава Иванова. Снова и снова, он твердил про *«коварство»*, про *«кровосмешение»*, про *«погубленную девицу»*. Судя по доходившим в Россию вестям об Иванове и Вере Шварсалон, в действительности все развивалось иначе[259]. Но Кузмин уже собирался писать ядовитую сатирическую повесть о «покойнице в доме», главным действующим лицом которой должен был стать *«высокий человек, приближающийся к пятому десятку, похожий на английского проповедника или старинного доктора более, чем на писателя»*.

Как будто преображенный недобрыми чарами, Кузмин с ожесточением рвал все былые человеческие нити. Впрочем, он и в самом деле родился заново. Летом, катаясь с друзьями по Финскому взморью, он перевернулся в лодке и полчаса, пока не подоспела помощь, барахтался в воде, цепляясь за

кувыркавшуюся вверх дном посудину. Художник Сапунов рядом потонул, а Кузмин, по его словам, несколько раз начинал погружаться, каждый раз думая: «Неужели это смерть?» – но выплывал со стонами и криками. Пережитый смертный страх увлек его в сторону, далекую от душевной благости. В новой книге «Осенние озера» первые же строки являли образ хихикающего будуарного циника, слагаясь в издевательски похабный акростих:

Хрустально небо, видное сквозь лес;
Усталым взорам
Искать отрадно скрытые скиты![260]

В «Аполлоне» на богемного гения стали посматривать с плохо скрытой брезгливостью, да и ему в новом качестве было куда уютнее с всеядными беллетристами из «Синего журнала», «Нового слова», «Аргуса», «Огонька» и прочих изданий для «непретенциозной» публики.

Алексей Толстой, разочарованный и в стихах, и в петербургских издателях[261], решил перевезти семейство в Москву, а секретарь «Аполлона» Евгений Зноско-Боровский был готов покинуть журнал из-за постоянных ссор Маковского с соредактором Николаем Врангелем (конфликтовавшим, в свою очередь, с меценатом Ушковым)[262]. Прежняя «молодая редакция» распалась. Зато приободрились новички из «Цеха поэтов», предвкушавшие превращение «Аполлона» в журнал акмеистов. Впрочем, «синдики» загорелись идеей создать при разросшемся «Цехе» собственный печатный орган. «Я и Гумилев, – писал Городецкий 3 сентября 1912 г. книготорговцу Аверьянову, – издаем ежемесячный журнал стихов, очень маленький: в 24 страницы номер, в количестве 500 экз., с подписной ценой в полтора, должно быть, или два рубля».

Гумилев самостоятельно внес свой пай в новое предприятие, Михаилу Лозинскому ссудил необходимую сумму отец-адвокат, Городецкий привел мецената – присяжного поверенного Жукова. Остальные три денежные доли пожертвовала врач-ординатор царскосельского Дворцового госпиталя Вера Игнатьевна Гедройц, массивная зрелая дама с хриплым прокуренным голосом и натруженными красными руками постоянно практикующего хирурга. Судьба природной княжны из древнего рода средневековых литовских феодалов сложилась необычно. Семнадцатилетней курсисткой она побывала в политической ссылке, в двадцать два года с отличием закончила медицинский факультет университета в Лозанне, в двадцать восемь лет –

получила боевое крещение в сражениях Японской войны, оперируя раненых в поезде Красного Креста. Тут она впервые (!) стала делать полостные операции, попала в газетные фронтовые сводки и собрала для «Общества военных врачей» материал, позволивший столичным светилам говорить о появлении в отечественной хирургии новой звезды[263]. По личному ходатайству императрицы Александры Федоровны, княжна-медик была переведена в госпиталь придворного ведомства, немедленно став одной из царскосельских достопримечательностей:

Княжна Гедройц, хирург прекрасный,
Но любит почести и лесть,
И нрав имеет грозно-ластный —
Ведь и на солнце пятна есть![264]

Удивительно, но честолюбие этой *«эмансипе»* простиралось и за пределы медицины! Наряду с трудами о коренной операции бедренной грыжи и новом способе иссечения коленного сустава, она публиковала беллетристику в «Светлом луче» и «Современнике», издала том «Стихов и сказок». Не чуждая мистики, Гедройц полагала, что ее литературным вдохновением руководит воля покойного брата Сергея, и подписывала художественные сочинения его именем. Возможно, потустороннее происхождение поэзии и прозы *«Сергея Гедройца»* оправдывало в глазах поэтессы-хирурга многочисленные промахи пера. Критики (и Гумилев в их числе) были немилосердны, но Вера Игнатьевна не унывала и не обижалась. Явившись на Малую улицу (Гумилевы уже перебрались из номеров «Белграда» в царскосельский дом), она скромно расположилась среди пайщиков, следя за перепалкой двух главных небожителей.

– Я полагаю, что простое и благородное имя *«Невской цевницы»* звучит вполне акмеистично и как нельзя лучше подходит к журналу «Цеха поэтов», – сердито настаивал Городецкий.

Гумилев только качал головой.

– «Мы – ***гипербореи***, – торжественно процитировал он Ницше, – мы довольно хорошо знаем, насколько в стороне мы живем… По ту сторону севера, льда, смерти – наша жизнь, наше счастье». Будем же подражать обитателям волшебной *страны Аполлона*, жители которой проводили время за песнями, музыкой и пирами, вечно веселясь и славя свое светозарное божество[265].

Грубые черты Гедройц по-детски просияли, и она поспешно закивала. Старый зеленый дом на Малой улице «с крыльцом простым и мезонином» стремительно превращался в заповедную

обитель –

Где в библио́теке с кушеткой и столом
За часом час так незаметно мчался,
И акмеисты где толпились кругом,
И где *Гиперборей* рождался[266].

Такое искреннее участие тронуло «синдика № 1» – Вера Гедройц оказалась «кандидатом-соревнователем» в «Цех поэтов». На первых заседаниях нового сезона юные «подмастерья» с иронией следили, как Гумилев терпеливо наставляет «седую даму, мужественного вида», потешавшую «цеховиков» лирическими откровениями в духе Полонского и Апухтина[267]:

Засыпая от дум безысходной тоски…[268]

«Поэта «Сергея Г<едройца>» «открыл» и приобщил к литературному высшему обществу Гумилев, – вспоминал Георгий Иванов. – До этого княжна «блуждала в потемках» – боготворила Щепкину-Куперник и печатала свои стихи на веленевой бумаге с иллюстрациями Клевера… Гумилев дал пятидесятилетней неофитке прочесть Вячеслава Иванова. Княжна прочла, потряслась, сожгла все свои бесчисленные стихи и стала писать о «волшбе»…»[269]

Сам Георгий Иванов вместе со студентом-астрономом Степаном Петровым, именовавшимся *Граалем Арельским*, представляли в «Цехе» радикальных литературных новаторов – из тех, кто подхватил в России лозунги итальянского писателя-скандалиста Маринетти:

«Поэты-футуристы, я учил вас презирать библиотеки и музеи. Врожденная интуиция – отличительная черта всех романцев. Я хотел разбудить ее в вас и вызвать отвращение к разуму. В человеке засела неодолимая неприязнь к железному мотору. Примирить их может только интуиция, но не разум. Кончилось господство человека. Наступает век техники! Но что могут ученые, кроме физических формул и химических реакций? А мы сначала познакомимся с техникой, потом подружимся с ней и подготовим появление механического человека в комплексе с запчастями. Мы освободим человека от мысли о смерти, конечной цели разумной логики»[270].

Оба поэта входили в «ректориат» некой «Академии Эго-поэзии», проявившейся в начале года. Их издательство «Петербургский глашатай» публиковал газетные листки и «альманахи» с невразумительными статьями о «самосожжении во

имя «Ego», ответственного за весь мировой процесс» и особыми «скрижалями эгофутуризма»: «Человек – дробь Бога», «Рождение – отдробление от Вечности», «Жизнь – дробь от Вечности», «Смерть – воздробление» и т. п. Разумеется, подобные «скрижали» каждый мог толковать как хотел. Георгий Иванов подражал (талантливо!) Михаилу Кузмину, а «Грааль» истово перепевал Гумилева:

> Я тебе расскажу (ты забудь наши хмурые дни?!)
> Про далекие страны, где жрицами черные девы…[271]

Странная «Академия» уже разваливалась. Чтобы ее укрепить, Иванов и Петров задумали соединиться с «Цехом поэтов» и сводили теперь Гумилева с главой «эго-поэзии» Игорем-Северяниным, чью брошюру «Интуитивные краски» («Вонзите штопор в упругость пробки, – / И взоры женщин не будут робки!..) некогда публично бранил сам Лев Толстой. В отличие от покойного великого старца, Гумилев относился к выходкам европейских и русских последователей Маринетти очень серьезно:

– Мы присутствуем при новом вторжении варваров, сильных своей талантливостью и ужасных своей небрезгливостью.

Бессвязный бред «футуристических» брошюр и листовок, набранный по диковинным правилам, со строчными и заглавными буквами вперемешку, с иероглифами и математическими символами, казался иногда бормочущим голосом одряхлевшего до потери рассудка европейского мира, гибнущего на глазах:

Истертому стереотипа тип истерию истории Астория Австрия Австрией Вера суеверия на штыке штуки тюком вокзалезала отправления правлению право правда прав да Верю сегодня день автра не верю заутреня Утро России три копѣйки ѣ е? копье монета казнь казна[272]

На юге Европы уже лилась кровь. Разгромленную Италией Турцию сотрясали внутренние смуты. В Качанике и Щипе македонские террористы атаковали турок бомбами, вызвав в ответ жуткие погромы христианских кварталов. На границе с Черногорским королевством турецкие каратели сожгли тринадцать мятежных сербских деревень, школу, церковь в Беране и зарезали много женщин и детей. В ответ черногорские и сербские отряды делали боевые вылазки в Беранскую казу[273]. 16 (29) сентября Стамбул отдал приказ об общей мобилизации; 17 (30) сентября общую мобилизацию объявили София, Белград,

Афины и Цетинье.

Счет до начала войны пошел на дни.

Казалось, что природа тоже сходит с ума: холод повсюду стоял зимний, в Петербурге в сентябре валил снег. Ночью метель накрыла Царское Село. Ветер еще завывал, когда Ахматова перебудила домашних:

– Кажется, надо ехать в Петербург!..

Толчки опередили расчеты ученых акушеров, и теперь до василеостровского Александрийского родовспомогательного приюта, где Ахматову ожидали на днях, приходилось добираться немедленно, первым утренним поездом. В поезде, а затем в трамвае роженицу «растрясло», чем дальше, тем хуже. Последнюю часть пути к больничному корпусу на перекрестке Большого проспекта и 14-й линии перепуганные супруги шли пешком, с передышками – Гумилев растерялся настолько, что мысль об извозчике не пришла в голову. Сдав Ахматову на руки врачам, он в первую половину дня периодически заходил справляться, затем, без утешительных известий, коченея от ветра и снега, отправился через Николаевский мост к Дмитрию Кузьмину-Караваеву на Ново-Исаакиевскую улицу. Брошенный муж, вернувшись из Борисково, вновь пребывал в угнетенном состоянии. Выпив с ним после холода, Гумилев протелефонировал в родовспомогательный приют, помрачнел и выпил вновь. Роды тянулись нескончаемо долго. Гумилев, возможно, первый раз в жизни испытал приступ панического ужаса. Кузьмин-Караваев все подливал. После очередного безрезультатного звонка Гумилев почувствовал, что его мысли начинают мешаться. За окном в наступающих сумерках вновь, кружась вихрями, заводила метель. Гумилев еще выпил. Очнулся он на следующий день в каком-то притоне, где бессонный Кузьмин-Караваев, салютуя очередной бутылкой, был, как дома. Гумилев ужаснулся, наскоро привел себя в порядок и ринулся на Большой проспект. Караваев увязался следом. В Александрийском приюте у Ахматовой были уже Анна Ивановна, Александра Сверчкова, Срезневская. Гумилев ворвался с букетом.

– Мальчик!

От стыда и счастья Гумилев стушевался вконец. Спутник его бодро завел околесину о совместном пребывании с «троюродным братом» на… всенощном бдении в Новодевичьем монастыре. Срезневская живо вытолкала непрошеного лжесвидетеля в коридор:

– Подвернись другой приятель, менее подверженный таким «веселиям», – и поехали бы в монастырь, мужской или женский, и отстояли бы там монастырскую вечерню с переполненным

умилением сердцем. Молчите уж…

В Слепневе старики долго рассказывали внукам:

– Еще в «мирное время» слепневские крестьяне жили бедно и были много должны барыне за аренду земли. В семье у барыни ждали ребенка и заранее объявили крестьянам: если родится наследник, то им будут проценты и долги прощены. И, действительно, родился наследник и был назван – ***Лев***. На сходе, собранном по этому случаю, было объявлено, что долги мужикам прощаются, и состоялось угощение яблоками. Были вынесены большие лукошки, из которых раздавали яблоки, всем хватило по одному, по два…

Рыжий львеныш
С глазами зелеными,
Страшное наследье тебе нести!
Северный Океан и Южный
И нить жемчужных
Черных четок – в твоей горсти![274]

VI

Петербургский университет. Д. К. Петров и романо-германский семинарий. «Гиперборейские пятницы». Во главе литературного отдела «Аполлона». Игорь-Северянин. Годовщина «Цеха поэтов». Славянский триумф на Балканах. Николай Клюев и Павел Радимов. Обновленный «Аполлон». Ссора с Михаилом Кузминым.

Ахматова с грудничком еще лежали в Александрийском приюте, когда Гумилев подал прошение о повторном зачислении на историко-филологический факультет университета. Анна Ивановна не верила своим глазам: младший сын, ощутив бремя отцовства, образумился! Гумилев со смехом рассказывал домашним, как на экзамене по литературе, где он собирался блеснуть остротой суждений, почтенный профессор Шляпкин[275], издатель Грибоедова и Пушкина, после первой же фразы, поспешно перебил:

– Скажите лучше вот что… как Вы полагаете, что сделал бы Онегин, если бы Татьяна согласилась бросить мужа?

Слава «декадентского поэта» не оставляла его в университетских аудиториях. Студенты перешептывались – *«Гумилев… Тот самый, «Чужое небо»…»* – и разглядывали украдкой: узкоголовый, косоглазый, прямой, сухопарый, жесткий. Не в пример прошлому, в аудиториях он появлялся часто, но полного расписания все равно не высиживал. Среди обязательных семестровых курсов *русской литературы* (Шляпкин), *языкознания* (Бодуэн де Куртенэ[276]), *истории* (Платонов[277]) и *философии* (Введенский[278]) Гумилев жаловал в основном *литературу зарубежную* и молодого профессора Дмитрия Петрова, о котором был много наслышан еще со времен первой атаки на университетскую филологию. Среди универсантов Петров слыл оригиналом, соскочившим со страниц Диккенса или Жюля Верна. Не заботясь об академической субординации, он постоянно воспламенялся какими-то безумными гипотезами, азартно спорил со студентами, вечно попадая впросак, издал сборник невообразимых «Элегий и песен» («Из сада в сиявшие пышно палаты / Комар прилетел; / Смутился он – сумрачным страхом объятый / На все он глядел» и т. п.)[279], а взойдя на кафедру, вдохновенно нес возвышенную чепуху:

– Если бы дать Шекспиру изобразить его жизнь, то у того не хватило бы красок на палитре!!

Слушатели фыркали, закатывали глаза и уверяли друг друга,

что изобразить красками жизнь самого Дмитрия Константиновича, верно, еще трудней, чем жизнь Шекспира. При всем романо-германский семинар, который вел Петров, из года в год собирал лучших студентов факультета[280]. Возможно, это происходило потому, что участники семинара, следуя старому доброму правилу docendo discimus[281], изо всех сил старались просветить незадачливого путаника-профессора. Под их горячие выступления и острые дискуссии Петров подремывал на председательском месте, благодушно кивал и жмурился, как сытый кот, взвиваясь, по своему обыкновению, внезапно:

– Вы там, сидящие на последних скамейках! Как вы смеете разговаривать между собой? Вы не можете так разговаривать, ибо это на семинаре запрещено! А ну-ка встаньте! Пусть все посмотрят на них!

Гумилев, Осип Мандельштам и Михаил Лозинский воздвиглись над аудиторией, немедленно взорвавшейся ироническими аплодисментами.

По составу романо-германский семинар мог вполне сойти за филиал «Цеха»: в учениках Петрова ходили, помимо Мандельштама и Лозинского, Владимир Пяст и Василий Гиппиус. Гумилев немедленно загорелся идеей проводить тут дополнительно особые заседания «кружка изучения поэтов». По факультету, разумеется, пошли насмешливые слухи, что «синдик № 1» создает филологическую группу для изучения… *самого себя*[282]. Однако Гумилева поддержали распорядитель (староста) семинара Константин Мочульский[283], Григорий Лозинский[284] и Константин Вогак[285]. Наладить работу кружка не получилось, но Мочульский, Вогак, Борис Эйхенбаум[286] и другие университетские филологи смешались с «цеховиками», зачастив в Волхов переулок к Михаилу Лозинскому – поболтать о том, о сем. В хозяйском кабинете с желтыми кожаными креслами, толстым ковром и окнами на далекий Тучков буян[287] получались многолюдные сборища – то ли «Цех поэтов» на отдыхе, то ли петровский семинар на выезде. Сидели на подоконниках, пили чай, курили; в красном зимнем закате чернели бесконечные ряды неподвижных парусников и барок на том берегу.

Так возникли *«гиперборейские пятницы»*.

Лозинский, взяв на себя техническую сторону подготовки «Гиперборея», мыслил проводить в этот день недели обычные заседания редколлегии. Но вышел творческий журфикс, собиравший публику пеструю и любопытную, хотя и мало связанную с работой над журнальным номером:

По пятницам в «Гиперборее»

«Сначала приходила мелкота – совсем молодые поэты, разные студенты, «интересующиеся», но скрывающие, что «они тоже пишут», – вспоминал Георгий Иванов. – Мэтры прибывали позже, по-генеральски. Из внутренних комнат появлялся хозяин дома. Статный, любезный, блестяще остроумный, он имел дар очаровывать всех – и случайного посетителя, и важного гостя, какого-нибудь профессора или знаменитого иностранца (заплывали в «Гиперборей» и такие)». Кто-то со смехом обсуждал перспективу «дней трезвости», учреждаемых городскими властями:

– То-то очереди у казенок будут, на два дня вперед запасаться! Шаляпин позавидует!

Судачили и о самом Шаляпине, поклонники которого перед представлениями «Бориса Годунова» и «Хованщины» сутками осаждали кассы Мариинского театра. Припозднившийся Мандельштам в распахнутой заснеженной шубе громко просил одолжить расплатиться с извозчиком. Городецкий пел здравицы победам славянского оружия на Балканах, наскакивая на недоумевающих филологов:

– Как можно относиться равнодушно к европейским событиям?! Неужели вы не понимаете, что война приближается к нам?

– Войны не будет. Кто угрожает нам?

– Как кто? Вильгельм! Германия!

– Пустяки…

Интерес к внешней политике в университетских кругах считался недостойным, и сражения, уже несколько недель сотрясавшие Восточную Румелию, Македонию и Албанию, в разговорах старались игнорировать.

– Не будет войны. Говорят, сам Распутин Григорий Ефимович видел недавно вещий сон – величавую женщину, символизирующую Россию, а над ней носился пылающий меч. Женщина схватила меч и мирно вложила его в ножны. Так-то вот…

– Но старец же этот… вещий… этот Распутин – в Сибири теперь, у себя, безвыездно, в деревне; кто же знает в Петербурге, какие ему там сны снятся? Или опять к нам сюда пожаловал?..

Народный пророк и целитель Григорий Распутин, очень популярный в аристократических салонах и при дворе, уже больше года вызывал повсюду пристальный интерес и горячие споры. В самый разгар перепалки Гумилев спрятал в карман

сюртука огромный, точно сахарница, серебряный портсигар, и неспешно поднялся из кресла, в котором незыблемо расположился сразу после появления на «пятнице». В отличие от собраний «Цеха», тут ему, конечно, «тыкали» и называли по имени, но это студенческое *«ты, Николай»* у большинства гостей все-таки звучало как *«Ваше Превосходительство»* в устах унтер-офицеров. Вслед за Гумилевым в соседнюю комнату двинулись Городецкий с Лозинским – начиналась редколлегия. Разговоры притихли. В святилище выкликнули Николая Бруни. Тот, растерянно улыбаясь, исчез за дверью – вынырнул же, несколькими минутами спустя, красный, как кумач, со слезами на глазах:

– Исключили… Сказали – совсем плохие стихи!

Разом все заговорили вновь, преувеличенно оживленно. В дверях появился Гумилев, поискал глазами Георгия Иванова:

– На пару слов, прошу…

Первый номер «Гиперборея» увидел свет в октябре. Тогда же Гумилев получил от Маковского письменное уведомление о начале руководства литературным отделом «Аполлона» («что могло бы, – уточнял скрупулезный pápá Makó, – выразиться в объявлениях следующей формулой: *«Литературный отдел – при непосредственном участии Н. Гумилева»*).

– Согласно нашим разговорам, – отвечал Гумилев, – я считаю, что предложенье Ваше входит в силу во всех своих подробностях с первого номера 1913 года. Теперь же я приступаю к приглашению сотрудников и подготовке материала.

Слухи о головокружительном возвышении «синдика № 1» ширились по Петербургу. Пробегая корреспонденцию, поступающую в редакцию «Аполлона», Гумилев теперь натыкался на излияния записных угодников:

«Я неколебимо исповедую, что в области поэзии Вы самый крупный и серьезный поэт из всех русских поэтов, рожденных в 1880-е гг., что для нашего поколения Вы – то же, что Брюсов для поколения предыдущего»[289].

К «Цеху поэтов» решила, наконец, пристать «Академия Эго-поэзии». Георгий Иванов привез на переговоры в Царское Село Игоря-Северянина. «По дороге в «Цех», – вспоминал Иванов, – Северянин, свежевыбритый, напудренный, тщательно причесанный, в лучшем своем костюме и новом галстуке, сильно волновался и все повторял, что едет в «Цех» только для того, чтобы увидеть эту бездарь in corpore[290] и показать им себя – настоящего гения. Гумилев, синдик «Цеха поэтов», принял его со

свойственным ему высокомерием и важной снисходительностью и слушал его стихи холодно и строго. Северянин начал читать их преувеличенно распевно, но под холодным, строгим взглядом Гумилева все больше терял самоуверенность. И вдруг Гумилев оживился:

– Как? Как? Повторите!

Северянин повторил:

И, пожалуйста, в соус
Положите анчоус.

– А где, скажите, вы такой удивительный соус ели?

Северянин совершенно растерялся и покраснел:

– В буфете Царскосельского вокзала.

– Неужели? А мы там часто, под утро, возвращаясь в Царское, едим яичницу из обрезков – коронное их блюдо. Я и не предполагал, что там готовят такие гастрономические изыски. Завтра же закажу ваш соус! Ну, прочтите еще что-нибудь.

Но от дальнейшего чтения стихов Северянин резко отказался и, не дожидаясь ни ужина, ни баллотировки, ушел». **«Эго-Футуризм базируется на Интуиции,** – прокомментировал случившееся очередной альманах «Петербургского глашатая». – **Если Ты не Интуит, не приближайся к Эго-Футуризму. Он светит только имеющим Душу. Для Импотентов Души и Стиха есть «Цех поэтов», там обретают пристанище Трусы и Недоноски Модернизма»**.

«Вульгарность и безграмотность, – отвечал Гумилев во второй книжке «Гиперборея», – переносимы лишь тогда, когда они не мнят себя утонченностью и гениальностью». Георгий Иванов и Грааль Арельский, повинуясь решению «Цеха», публично заявили о выходе из «ректориата» «Академии Эго-поэзии», и она тут же распалась[291]. Гумилев настаивал на превращении собраний «цеховиков» в верховный литературный ареопаг[292] и вольностей не терпел. В кратких рецензиях «Гиперборея» зазвучал металл судебных вердиктов:

«Несмотря на то, что Валерий Брюсов был одним из первых русских символистов, он сохранил во всей полноте свое значение и до наших дней…»

«В своих последних книгах К. Бальмонт находится в том же кругу переживаний, что и десять лет назад. Опыт этих лет прошел мимо него».

«Творчество Ю. Балтрушайтиса вряд ли характерно для поэзии наших дней, но как одиночка он ценен и интересен».

Сергей Городецкий горячо призывал «подмастерьев» во имя окончательного торжества *акмеизма* припасть к родным истокам и брать пример с народных певцов и сказителей, простых душой, мудрых сердцем. В «Цех» приняли открытого год назад Брюсовым олонецкого поэта-самородка Николая Клюева, научившегося «песенному складу и всякой словесной мудрости» у матери, крестьянской «былинщицы и песельницы»:

Как у девушек-согревушек
Будут поднизи плетеные,
Сарафаны золоченые…[293]

Приняли и оригинального сермяжного живописца и поэта Павла Радимова, воспевавшего крестьянское житье античным гомеровским гекзаметром:

Виден весь двор мужика Агафона: омшанник, закуты
Для лошадей и коров, с дверцами все, катухи…[294]

В первую годовщину «Цеха» на праздничном заседании у Михаила Лозинского лаврами за новую книгу «Ива» был увенчан сам неутомимый «застрельщик» Городецкий, прикоснувшийся, как утверждал Гумилев, «к глубинам славянства»:

Под окно мое, окошко, тихо ка́лики пришли,
Смирноглазые, седые, дети бедственной земли.

И про Лазаря запели дружно, ладно, не спеша,
Будто в этом теле давнем трепетала их душа…[295]

В тот же вечер, под неизменной лирой, в лавровом венке Городецкий, побратавшись в «Бродячей собаке» с заезжими актерами из Кракова, произнес экспромтом с эстрады блестящую речь о польской поэзии, вновь налегая на «народность», «почву» и «славянское братство».

В России едва поспевали следить за невероятными успехами Балканского союза: *турки за месяц были сокрушены в Южной Европе!* Фантастические грезы болгар о «целокупной» Болгарии, сербов – об открытом море, греков – о Крите, Эгейских островах,

Салониках и северном Эпире, а черногорцев – о Скутари, казалось, материализуются на глазах. Ликовали петербургские и московские славянофилы, принимавшие победы балканских *«братушек»* как собственные. На выборах в Государственную Думу ожидался решительный успех националистов. Вождь думских «правых» граф Владимир Бобринский пригрозил европейским державам:

– Отныне любовь россиян к *«вечному миру»* будет базироваться исключительно на осознании возродившейся мощи России![296]

Городецкий появлялся среди «цеховиков», потрясая ворохом закупленных по пути газет:

– Лозеноград *наш*! А вот Скутари пока еще держится… Ну, ничего! Ничего! Болгары начали наступать на Чаталджу!..

Теперь даже Гумилев с его пристрастием к *инородным* и *инославным* красотам фресок Беато Анджелико в Сан-Марко казался Городецкому недостаточно «акмеистичным»:

> О, неужель художество такое,
> Виденья плотоядного монаха,
> Ответ на все, к чему рвались с тоскою,
> Мы, акмеисты, вставшие из праха?[297]

За акмеизмом стала крепнуть двусмысленная слава искусства былинно-славянского, наивного, игнорирующего сложные религиозно-философские проблемы предшественников-символистов. Это вызывало недоумение и конфликты среди «подмастерьев». Владимир Гиппиус-Бестужев вовсе покинул былых соратников. В стихах только что изданной под маркой «Цеха» книги «Возвращение» он бился над вопросами мировыми и установки на патриотический фольклор разделить никак не мог. Сергей Маковский, по мере приближения Нового года, встречал заведующего литературным отделом с возрастающей тревогой, словно опасаясь однажды увидеть Гумилева стриженным в кружок, в косоворотке-*вышиванке* и смазных сапожках-*бутылочках*. Верный обязательству посвятить акмеизму новогоднюю книжку журнала, Маковский выражал осторожное пожелание сократить в ней участие Городецкого до возможного минимума.

Впрочем, pápá Makó было не до того. Из «Аполлона» вышли соредактор журнала Николай Врангель и первый редакционный секретарь Зноско-Боровский (на место последнего прочили Михаила Лозинского). Строгий знаток балетной классики Андрей Левинсон торжествовал победу над экстравагантным новатором

Сергеем Волконским. Зато молодые искусствоведы Николай Пунин и Всеволод Дмитриев, призванные Маковским в осиротевший отдел художественной критики, напротив, ратовали за *авангардные* формы творчества. От прошлого не оставалось камня на камне. «Общество ревнителей художественного слова» заглохло. Обеды «Chez Albert», собрания на «башне» и споры с «младосимволистами» остались далеко позади. Где-то вновь шумел и скандалил Михаил Кузмин, опять несчастный, пьяный, буйный, но в обновленном «Аполлоне» на Разъезжей он был редким гостем. Воюя в своих воспаленных фантазиях с коварным соблазнителем Вячеславом Ивановым, Кузмин постепенно проникся подозрениями ко всему кругу «башенных знакомств».

– Могу я видеть отклик на «Осенние озера»?

Гумилев протянул гранки: «Поэзия М. Кузмина – «будуарная» поэзия по преимуществу, – не то чтобы она не была поэзией подлинной и прекрасной, напротив, «будуарность» дана ей, как некоторое добавление, делающее ее непохожей на других…».

– Вот как? – удивился Кузмин. – Оказывается *«будуарная»*…

«Коля написал рецензию на «Осенние озера», в которых назвал стихи Кузмина «будуарной поэзией». И показал, прежде чем напечатать, Кузмину. Тот попросил слово «будуарная» заменить словом «салонная» и никогда во всю жизнь не прощал Коле этой рецензии…», – вспоминала Ахматова. В начале декабря она задержалась, прихорашиваясь, перед зеркалом в фойе литерной ложи нового Драматического театра, открытого меценатом Арнольдом Рейнике в Панаевской зале[298] на Адмиралтейской набережной. Шла комедия Бенавенте[299] «Изнанка жизни» в переводе Кузмина. Вдруг страшный человек в смокинге заметался по фойе из угла в угол. Лицо и губы его были белее бумаги. Обомлевшая Ахматова едва признала в свирепом страшилище – Сергея Шварсалона, симпатичного дерптского студента, приезжавшего позапрошлой весной в каникулы на «башню». Но Шварсалон не видел ничего вокруг. Бывший студент совсем ошалел от слухов про «инцест» в семье Вячеслава Иванова. К сплетнику Кузмину были посланы секунданты, но тот высокомерно заявил, что дворянину негоже стреляться с разночинцем, да еще иудейского происхождения. От нового оскорбления Шварсалон потерял голову. Заметив, наконец, за кулисами вход в ложу, он ринулся туда. Немедленно раздался грохот и истошный поросячий визг. Распахнув дверь, Ахматова увидела запыхавшегося Гумилева, скрутившего мстителя. В противоположном углу дрожал и скулил Михаил Кузмин. Лицо поэта было разбито, пенсне раскололось пополам, глаз заплыл.

Так была поставлена точка в истории «башни»[300].

VII

«Тучка». Споры об акмеизме. Покаяние Мандельштама. Заботы Ахматовой. Владимир Шилейко. Кубо-футуристы. Домашняя политика Анны Ивановны. Поклонницы. Кружок «Акме». Акмеизм и адамизм.

С октября Гумилев, занятый ежедневно до вечера в университете и в «Аполлоне», снимал для ночевок крохотную комнатку в Тучковом переулке. Этот район Васильевского острова петербургские студенты именовали «Тучкой» и полагали своей цитаделью, вроде Латинского квартала в Париже или московской Козихи. Грустный Ангел над куполом церкви св. Екатерины кротко осенял крестом студенческую вольницу внизу, где все доходные дома и съемные квартиры были превращены в университетские общежития. По вечерам окрестные пивные, трактиры и кухмистерские заполняли шумные школярские ватаги, но более всего процветали бесконечные визиты, длительные домашние беседы и споры под крепкий чай с сайками или за бутылкой *«флогистона»* (дешевого вина). Тут все знали друг друга, и каждый новый постоялец немедленно обрастал визитерами из ближних и дальних соседей, к которым и сам забегал проведать и перемолвиться словечком по нескольку раз на дню.

«Гумилев поселился в одном доме со мной, этажом выше, – сообщал в одной из корреспонденций Константин Мочульский. – И часто вечерами мы плаваем с ним в облаках поэзии и табачного дыма, обсуждая все вопросы поэтики и поэзии; споря и обсуждая новое литературное течение «акмеизм», maitr-ом которого он себя считает. Все это хоть и не соответствует моим вкусам, тем не менее очень оригинально и интересно».

– Символизм считал мир своим представлением, а потому Бога иметь не был обязан, – Гумилев, рассуждая, перемещался по каморке от лежанки к колченогому столику с креслом у окна (кроме табуретов, вешалки и печки, больше никакой обстановки тут не было). – Акмеизм поверил, и все отношение к миру сразу изменилось. Есть Бог, значит, есть и сотворенный Им мир. Все получает смысл и ценность, все явления находят свое место, все весомо, все плотно. Но символисты не хотели ***«верить»***, они хотели непременно все ***«знать»***, даже «непознаваемое», хотя, по самому смыслу, такое невозможно. Да и нужно ли? Вся красота, все священное значение звезд в том, что они бесконечно далеки от земли и ни с какими успехами авиации не станут ближе…

Осип Мандельштам, завернувший на «Тучку» после занятий, горячо заступался за *«звезды»*.

– Я борюсь с Гумилевым, как Иаков боролся с Богом, – пояснял он Ахматовой, испуганно наблюдавшей за мудреной перепалкой. – «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня»[301].

Ахматова предложила, чтобы акмеисты ***начисто отказались от какого-либо пересмотра или дополнения христианства***:

– Пусть оно будет у нас традиционным и церковным, пусть все «вечное» и «бесконечное» за ним так и останется, как есть.

На Мандельштама аргумент произвел впечатление. Провожая Гумилева и Ахматову до Царскосельского вокзала, он сосредоточенно молчал, покачивал головой на какие-то свои мысли, потом замурлыкал, просиял и остановился у витрины часового магазина, в которой мерцал электрическим светом огромный рекламный муляж со стрелками:

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?

И Батюшкова мне противна спесь:
«Который час?», – его спросили здесь,
А он ответил любопытным: «Вечность»[302].

– Исторический момент! – Гумилев торжественно поднял палец. – Строки эти суть литературное покаяние Мандельштама. Этим он окончательно открыл двери в свою поэзию для всех явлений жизни, живущих во времени, а не в вечности или в мгновении.

Ахматова, занятая ребенком, редко выбиралась в Петербург. Гумилев произвольно циркулировал между Васильевским островом и Царским Селом, возникая вечером в родных сенях радостным гостем.

– Гуси! – кричал он, отряхивая от снега бобровый воротник щегольской студенческой шинели.

– Лебеди! – звонко откликался счастливый голос Ахматовой, и он, не сняв даже шинель, бежал к ней в темно-синюю детскую, и они начинали бегать и гоняться друг за другом. «Он искренне любил детей и всегда мечтал о большой семье, – вспоминала Гумилева-Фрейганг. – Коля был нежным и заботливым отцом. Всегда, придя домой, он прежде всего поднимался наверх, в детскую, и возился с младенцем». Камин, уютно потрескивая, отбрасывал огненные блики. Ахматова, кутаясь в платок, жаловалась на домовую нечисть, беспокойную, как никогда. Не

умолкая, стонали ступени, кто-то царапался и завывал у дверей, заглядывал в окошки, мелькал в зеркалах. Ребенок постоянно пробуждался и плакал. Ахматова то рассыпала по углам хлебные крошки для *суседушек*, то твердила про себя:

– Да отбе́гнут и отступят от дому сего и от места сего…

За всеми литературными и студенческими делами Гумилев все чаще опаздывал на последний царскосельский поезд и вскоре совсем переместился на «Тучку», навещая семейное гнездо только по выходным и праздникам. Место распавшейся «стайки» богемных эстетов в его жизни занимал теперь студенческий «триумвират»[303] с Михаилом Лозинским (штаб-квартира «Гиперборея» была в двух шагах) и загадочным *Вольдемаром Каземировичем Шилейко*, что процветал за казенный счет в университетской Александровской коллегии[304].

Злые языки утверждали, что забота начальства о благоденствии «Шилея» обусловлена тем, что при убытии его пришлось бы ликвидировать все отделение семитических наречий – по «еврейско-арабско-сирийскому разряду» Шилейко числился *единственным* учащимся на курсе. Гумилев встретил уникума в университетском Кабинете древностей, каковой жаловал даже в пору своего раннего студенчества[305]. Помимо великолепных монет, археологических черепков и мраморных обломков, книжных раритетов, слепков и диапозитивов Кабинет представлял невероятный паноптикум ученых чудаков-энтузиастов. В пенсне, с лекционной папкой под мышкой, вывернув плечи, проходил тут царственный бородач с ассирийских росписей, млели в уютных преподавательских креслах египетские мумии, несущие на себе прах веков под длинными сюртуками современного покроя. Здесь говорили на всех живых и мертвых наречиях Европы, Азии и Африки, но терялись, переходя на русский язык из-за юных дикарей, нетвердых даже в греческом и латыни:

– Прокне, Прок – нээ, она превратилась… ну да… в птичку, как это… пев… ну, что поет. Nachtigall, как это, да, вспомнил, да, да: *зо – ло – вей*!.[306].

Шилейко был под стать своим учителям. Еще гимназистом он воспылал любовью к «угасшему солнцу Востока» и приступил к изучению шумерского языка, мечтая переложить на русский сказания народа, для которого Всемирный потоп был недалеким прошлым[307]. Поглощенный событиями, разыгравшимися на заре человеческой истории, он уже к двадцати годам утратил собственный возраст и выглядел согбенным старцем с отрешенным и вдохновенным ликом, напоминавшим иконы старого письма. Мысли Шилейко витали так далеко, что среди

универсантов он долго не находил подходящего собеседника, скрашивая в трактире вечернее одиночество неизменной кружкой пива. А Гумилев мог часами, не перебивая, слушать толкования на Талмуд, комментарии к надписи Лугаль-Заггиси, царившего в Уруке в XXIV до Р.Х., и хвалу подвигам славных побратимов Эабани и Гильгамеша. Из этого Шилейко заключил, что умственная дегенерация, свирепствующая в Петербургском университете, задела Гумилева лишь отчасти. Сам же знаток шумерских клинописных таблиц и посвятительных гвоздей, оказавшись на «гиперборейских пятницах», неожиданно обнаружил вкус к богемной жизни. Он состязался с Михаилом Лозинским в изысканном остроумии, любезничал с его добродушной супругой, завидев угрюмую Ахматову, бурно восхищался стихами «Вечера» и не чурался дружеских пирушек по окончании дел.

– В одной из сказок Андерсена, – глубокомысленно замечал он, поднимая фужер «флогистона», – рассказывается про некий дом, в котором обитали ученый, булочник и домовой. Домовой любил книги и булочки. Однажды ученый собрал книги и уехал. Домовой, любивший книги, растерялся, но невольно вспомнил о вкусных булочках и понемногу успокоился…

Среди «цеховиков» Шилейко заявил об изобретении новой поэтической формы **ЖОРА**:

> Све**ЖО РА**но утром. Проснулся я наг.
> У**Ж ОРА**нгутанг завозился в передней…

Все кинулись было писать стихи-«жоры», но непреклонный Шилейко напомнил, что патент на изобретение «Цеху поэтов» не принадлежит и для самодеятельного творчества в этом роде необходимо получить письменное разрешение правообладателя… Гумилев и Лозинский немедленно рекомендовали кооптировать[308] изобретателя в «Цех».

– Да это детство какое-то, дилетантизм! – возмутилась было Ахматова, но Гумилев замахал на нее руками, а Лозинский веско заметил:

– Драгоценнейшая Анна Андреевна, Вы подумайте только – какое еще литературное объединение в России, и даже, не побоюсь, в Европе, может похвастать *собственным шумерологом*?

И Ахматова сдалась. Влияние «подмастерья-секретаря» теперь было ничтожно, да и сама она лишь мельком, по случаю вспоминала про «Цех». Все новости добирались в основном, через «синдика № 1», радостно горланящего субботним утром в царскосельских сенях:

– Лебеди!

– Мы! – вздыхала она.

Ахматовой приходилось туго. Она пыталась сама кормить и выхаживать младенца, но молока не хватало, голову ломило от недосыпания, руки не доходили до тысячи неведомых мелочей. И хуже всего – повсюду возникали свекровь Анна Ивановна и золовка Александра Степановна, сочувственно кивали головами, поправляли, пособляли, настойчиво намекая, что *наследника* вполне можно доверить их заботам:

– Ты, Анечка, еще молодая, красивая, куда тебе возиться с ребенком?! Да и не ровен час… Известно: первый ребенок – последняя кукла. А у нас-то и кормилица есть на примете, и няньку уже нашли.

Возмущенная Ахматова призывала мужа вступиться, звала на помощь, но тот даже не понял ее тревоги:

– Почему бы тебе, действительно, не взять в дом опытную няню, почему не взять кормилицу? Бывают, конечно, еще и чудаки-отцы, катающие колясочки, но…

«Гумилев был любящим сыном, любимцем своей умной и властной матери, – вспоминала Срезневская, навещавшая Ахматову в Царском, – и он, несомненно, радовался, что его сын растет под крылом, где ему самому было так хорошо и тепло». Ахматова горько жаловалась подруге, что свекровь совсем «отняла ребенка»:

– А Николай Степанович, как выяснилось, на стороне бабушки!

Гумилев, вернувшись на «Тучку», со смехом рассказывал о домашних видах на него в качестве няни-компаньонки. Ропот жены он не принимал всерьез, считая за очередной каприз:

У Николая Гумилева
Высоко задрана нога,
Далеко в Царском воет Лева,
У Николая Гумилева
Для символического клева
Рассыпанные жемчуга,
У Николая Гумилева
Высоко задрана нога[309].

В ноябре открытое заседание «Цеха поэтов» состоялось в новой «аполлоновской» гостиной на Разъезжей улице. Городецкий усиленно зазывал Александра Блока, который, числясь в учредителях, так и не удостоил своим посещением «цеховиков» за весь минувший год. Но Блок и тут игнорировал призывы, а когда

Городецкий явился к нему на Офицерскую – долго бранил «Цех» с его средневековой иерархией и регламентом, Гумилева, пытающегося вдвинуть поэзию в какие-то школьные рамки, и стихи самого Городецкого в «Иве»:

– Нет работы, все расплывчато, голос фальшивый, все могло бы быть в десять раз короче, сжатей. Есть строфы, которые блестят самоценно, но бóльшая часть оставляет равнодушие и скуку.

Городецкий, оправдываясь, заикнулся было о стремлении акмеистов к простоте и искренности:

– Мы должны снять с себя наслоения тысячелетней культуры! Мы должны припасть к земле! Мы должны быть, как дети, как звери! Как лесные звери…

Блок только окинул насмешливым взглядом ладно сидевший на Городецком черный сюртук, манжеты, безупречные воротнички и галстук-аскот[310]. Куда убедительнее, чем эстеты из «Аполлона», крушили культуру в эти дни заезжие московские футуристы, о которых заговорили в столице. Двое дюжих парней напоминали не то оборванцев с большой дороги, не то анархистов-бомбометателей: набычившийся главарь в цилиндре набок, грубошерстном пальто нараспашку, широченных брюках, отвратительном пестром жилете и с лорнетом (!), а при главаре – долговязый беззубый цыган в широкополой шляпе, желтой кофте (!!) и черной морской пелерине с львиной застежкой на груди. В отличие от петербургских, московские футуристы были не ***«эго-»***, а ***«кубо-»***. Этому, собственно, и была посвящена лекция, которую Давид Бурлюк (так звали главаря) приехал читать в «Бродячей собаке» и в Троицком театре. *«Что такое кубизм»* (как значилось на афишах), Бурлюк не разъяснил. Содержанием лекции оказались оскорбительные насмешки над классиками и символистами, хлесткие лозунговые выкрики и стихотворные репризы:

> **Душа – кабак, а небо – рвань**
> **ПОЭЗИЯ – ИСТРЕПАННАЯ ДЕВКА**
> **а красота кощунственная дрянь**[311]

В «Собаке», если верить молве и газетам, все обошлось, и даже аплодировали, главным образом из-за Владимира Маяковского (так звали цыгана, в котором, по словам «Обозрения театров», «слушатели сразу почувствовали настоящее большое поэтическое дарование»). А в Троицком театре, когда Бурлюк стал обзывать Рафаэля и Пушкина падалью и г… ом, все-таки хотели побить. Положение спасли полицейские и вновь – Маяковский,

сразу закатавший рукава:

– Желающие получить в морду благоволят становиться в очередь!

«Футуристы в целом, вероятно, явление более крупное, чем акмеизм, – отмечал Блок в дневнике. – Последние – хилы, Гумилева тяжелит «вкус», багаж у него тяжелый… У Бурлюка есть кулак. Это – более земное и живое, чем акмеизм».

Пока «кубофутуристы» хулиганили в публичных залах и художественных салонах Петербурга, «акмеисты-цеховики» вместе со всем романо-германским семинаром чествовали в университете 350-летний юбилей Лопе де Вега. Торжественное заседание было обставлено всей возможной академической помпой. Лекторскую кафедру в IV аудитории осенял портрет великого испанца, украшенный лавровым венком. Вступительное слово сказал проф. Петров; его недавний выпускник С. М. Боткин прочел доклад о классическом испанском театре XVI–XVII вв.; другой выпускник, Б. А. Кржевский, выступил с рефератом «Эстетический анализ «La estrella di Sevilla»[312]». В перерыве звучал испанский язык, пахло Севильей и Гренадой, и чай в буфете казался manzanill'-ьей[313]. Затем был банкет-симпозион в немецком погребке на 1-й Линии. Гумилев, развеселившись, объявил всех присутствующих филологов *«гостями Цеха»*. «Когда в час ночи нас стали гнать из Kneipe[314], – писал Константин Мочульский, – все порешили отправиться в «Бродячую собаку»; там мы тоже устроили чествованье Лопе-де-Веги; Боткин и Кржевский с эстрады сказали несколько слов о нем, но в более легкомысленном стиле. Я познакомился с Кузминым, Потемкиным, Судейкиным и прочими знаменитыми людьми; было много угара, шампанского, споров, импровизации. Появились какие-то очаровательные артистки. В заключение меня стали качать – обстановка была столь необычная и оригинальная, что я почувствовал себя как дома и, наверное, выступил бы в качестве танцора, певца, имитатора или жонглера, если бы не студенческая тужурка. Noblesse oblige![315] Когда же Кузмин запел «Коль славен наш Господь», Боткин заговорил по-испански, а Гумилев стал изъясняться мне в любви, я решил, что наступает maximus gradus[316], и очень ловко удрал. Было 5 ч. утра…» Двумя днями позже свежий и радостный Гумилев, как обычно, крикнул, затворяя за собой стылую дверь:

– Курры и гуси!!

– Николай, нам надо объясниться, – сказала Ахматова, выходя навстречу.

Монолог Ахматовой был долгим. В дом взяли кормилицу и няньку. Анна Ивановна, потеснив невестку, окончательно

установила строгий протекторат над внуком (тот – надо признать! – сразу перестал плакать по ночам и демонстрировал полную удовлетворенность таким поворотом в судьбе). Но самым странным – и, если вдуматься, *возмутительным*! – было стремление свекрови вовсе отправить Ахматову *«к мужу в Петербург»*. На недоуменные вопросы Анна Ивановна ничего не отвечала, только многозначительно качала головой. А вот Сверчкова – так та с вульгарной прямолинейностью классной дамы вслух высказывала, что-де ***«знает братца»***, что ***«не кончится добром»*** и прочие невозможные вещи…

Гумилев выглядел озадаченным. Ахматова, вновь сопутствуя ему, с удивлением обнаружила, что за осенние месяцы, проведенные врозь, муж и впрямь стал каким-то неловким, неучтивым, словно отбился от рук. На эстраде конферансье «Бродячей собаки» Костя Гибшман, выпучив глаза, уже завершал коронный номер, изображая подгулявшего немца:

Ein Buttel Bier,
Zwei Buttel Bier,
Drei Buttel Bier…[317]

В бесчисленный раз под расписными сводами, в подогретой винными парами атмосфере гремели безудержные рукоплескания, сигнал к которым подавался возгласом «Hommage! Hommage!»[318]. Маяковский, облюбовавший за время гастролей собственный угол в подвале, оглушительно бил в турецкий барабан при появлении новых гостей.

– Бум! Бум! Бум!

Веренице этой не было конца. По городу завершались спектакли, и в «арт-кабаре» на Михайловской, как в инкубатор, переносились недовысиженные восторги театрального зала. Необычно суетливый Гумилев то возникал рядом с Ахматовой, то исчезал, поминутно раскланивался, слал кому-то воздушные поцелуи, а когда она собралась уезжать, чтобы успеть к последнему поезду в Царское Село – долго целовал ей руку и тут же, на правах «синдика», шутливо принимал решение: ждать до утра, до семичасового поезда.

– Оставалось обычно 5–6 человек, – вспоминала Ахматова. – Сидели за столом… Я поджимала губы и разливала чай, а Николай Степанович усиленно флиртовал с Адой Губер…

Были еще и поэтесса Вера Яровая, и актриса Ольга Высотская, и Ольга Амосова, приехавшая из Рима со своими пейзажами на выставку «Нового общества художников». Свита пылких богемных поклонниц сплелась вокруг Гумилева в осенние недели как-то

незаметно, сама собой. На «Тучке» он получал страстные послания в надушенных конвертах, выслушивал признания в кулуарах «Аполлона», интриговал среди полночного содома «Бродячей собаки» и увлекался подчас сверх всякой меры, беззаботно позабывая об Ахматовой.

– Я был во многом виноват, – признавался он потом. – Но я не видел греха в моих изменах. Они, по-моему, прекрасно уживались с моей бессмертной любовью. А она требовала абсолютной верности. От меня. И от себя. Она даже каялась мне, что изменяет мне во сне, каялась со слезами и страшно сердилась, что я смеюсь. Смеюсь – значит, разлюбил. Или, вернее, никогда не любил…

Ахматова недоумевала, устраивала мужу сцены ревности, сравнивала его бегающий взгляд с «глазами осторожной кошки» и с тоской вспоминала о восторженно-простодушном царскосельском гимназисте:

Только, ставши лебедем надменным,
Изменился серый лебеденок.
А на жизнь мою лучом нетленным
Грусть легла, и голос мой незвонок[319].

Эту свою зимнюю жизнь между Царским Селом и Петербургом Ахматова с иронией именовала *«первой Тучкой»*. Рядом с Гумилевым она была как на иголках и торопилась к сыну. Оказавшись на Малой улице – спешила обратно к мужу. Несмотря на все семейные неурядицы и ссоры, она гордилась, что Гумилев «взял ее с собой в акмеизм». Вместе с ними «мужественно-твердый и ясный взгляд на мир» отстаивал на литературных собраниях Мандельштам:

Ритмичный Мандельштам Иосиф,
Покачивая головой,
В акмеистическое ландо сев,
Ритмичный Мандельштам Иосиф,
Одежды символизма сбросив,
Сверкает резко, огневой,
Ритмичный Мандельштам Иосиф,
Покачивая головой[320].

Городецкий неутомимо восхвалял «нового Адама», который «пришел в русскую современность». Ему поддакивал Михаил Зенкевич, державшийся обычно в стороне от горячих дискуссий.

Потомок мелких чиновников приволжских провинций, Зенкевич пронес через студенческие аудитории Берлина, Иены и Петербурга саратовское добродушие, скромность и осторожность, всосанные с молоком матери. Однако в своем бунте против символистской духовности во имя «земной плоти» тихий Зенкевич превращался в экстремиста. От «научной поэзии» он перешел к жестокому натурализму, воспевал *«Посаженного на кол»* (!), перещеголяв в описании физиологических деталей этой изощренной восточной казни даже автора крамольной «Аллилуйи», свирепого «земняка» Владимира Нарбута. Тот, скрываясь от суда, уехал из России и, по слухам, действительно, как и хотел, добрался до Африки. Книга его пошла под нож. Однако нарбутовские стихи печатались в «Гиперборее», в рецензиях повсюду мелькало имя скандалиста и «порнографа», а Сергей Городецкий превозносил «химический синтез» реального и фантастического в поэзии Нарбута как высшее достижение акмеизма.

Эти шестеро – Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Городецкий, Зенкевич и (заочно) Нарбут – составляли в «Цехе поэтов» особую группу, ***«кружок Акмэ»***, по выражению «синдика № 1». Прочие «цеховики» не проявляли интерес к акмеизму, ограничиваясь внешним соблюдением дисциплины и субординации. Что же касается несогласных, вроде Александра Блока или Владимира Гиппиуса-Бестужева, то они, как правило, не вступая в полемику, просто игнорировали заседания и, через некоторое время, подвергались «почетному исключению». Между тем приближался новый 1913 год, с началом которого, согласно планам Маковского и Гумилева, начиналось и акмеистическое преображение «Аполлона». 19 декабря в «Бродячей собаке» Городецкий прочитал лекцию *«Символизм и акмеизм»*, собравшую много любопытствующих. По своему обыкновению «синдик № 2» сыпал всевозможными «бонмо»[321]. Он упомянул и *«развращение слов»*, и *«мир в паутине»*, и *«перекрестный сквозняк в мирозданий»*, и *«алмаз целомудрия»* и т. д., и т. п. «Около часу лектор читал отходную символизму вообще и русскому символизму в частности», – передавал свои впечатления от услышанного один из петербургских репортеров. Вместе с символизмом увлекшийся Городецкий отправлял в небытие всю философию, политику и религию.

– Нужно освободить творчество от посторонних задач! – самозабвенно восклицал он. – Мы хотим земли, хотим сильных, здоровых чувств, хотим прочного здорового… *тела!*

Гумилев, не выдержав, сразу вслед за лектором пустился разъяснять: в лекции говорилось главным образом об *адамизме*, а

не об акмеизме.

– *Адамизм* же, являясь не миросозерцанием, а мироощущением, занимает по отношению к акмеизму то же место, что декадентство по отношению к символизму. Подобно тому как символизм был торжеством женского начала духовной культуры, акмеизм отдает решительное предпочтение мужскому началу…

Городецкий снова ринулся на кафедру:

– Требование настоящего момента принуждает меня отрицать эту женственность во имя мужского начала!

Некоторое время оба «синдика» препирались, постоянно упоминая про *«адамизм»*, про *«тело»* и *«мужское начало»*. По подвалу прошел ропот: многие подумали, что готовится сексуальный демарш. После выступления Городецкого от «*адамистов»* стали ожидать каких-то особенных акций – ведь их неистовые конкуренты, «кубофуturисты», уже успели приучить публику к метанию в зрительный зал графинов и дохлых мышей. Тут вспомнили о средневековой секте «адамитов», бегавших голышом для демонстрации райской невинности[322]. Дамы загодя ужасались, а знатоки лишь головами качали, беседуя об изобретательности руководителей «Цеха поэтов»:

– Ишь мышиные жеребчики, вообразившие себя новорожденными: куда как хорошо!.. Ежели на улице, среди бела дня, начнут кувыркаться голые люди – поневоле публика соберется.

Гадали: что же будет теперь с «Аполлоном»? Прошел слух, что впавшие в первобытное варварство *акмеисты-адамисты* помешаны на яростном преследовании всех «старших» писателей:

– Как в былые времена считалось почетным для молодого считать себя чьим-нибудь учеником (ну, хоть Брюсова, Бальмонта), так теперь считается почетным быть врагом старших, не признавать никого, кроме себя…

Масла в огонь подлил Мандельштам, хваставшийся под Новый год в петербургских литературных салонах:

– Отныне ни одна строка Сологуба, Брюсова, Иванова или Блока не будет напечатана в «Аполлоне» – он скоро станет органом акмеистов!

Возмущенный Александр Блок пометил в дневнике:

Надо предпринять что-нибудь по поводу наглеющего *акмеизма* и *адамизма*.

VIII

Вторая новогодняя ночь в «Бродячей собаке». Провозглашение акмеизма. Петербургские толки и литературная травля. «Общество поэтов». Возвращение Нарбута. Б. А. Тураев. Знакомство с В. В. Радловым и подготовка этнографической экспедиции в Абиссинию. Отъезд из Петербурга. Военный Константинополь и Айя-София. Мозар-бей. Плаванье на «Тамбове».

От рождения подвала
Пролетел лишь быстрый год,
Но «Собака» нас связала
В тесно-дружный хоровод.
Чья душа печаль узнала,
Опускайтесь в глубь подвала,
Отдыхайте,
Отдыхайте,
Отдыхайте от невзгод!

Фортепианные трели разливались под сводами новогодней «Бродячей собаки». Исполняя только что написанный юбилейный «гимн», Михаил Кузмин иронически косился на столики, занятые поэтами-«цеховиками»:

Наши девы, наши дамы,
Что за прелесть глаз и губ!
«Цех поэтов» – все ***«Адамы»***,
Всяк приятен и не груб.

К новоявленным *«адамитам»* присматривались с любопытством. Впрочем, куда больше толков вызывала любовная интрижка актрисы Ольги Глебовой, жены Судейкина, явившейся на праздник вместе с Всеволодом Князевым. Шептались, что ангелоподобный поэт-гусар, прибывший на новогоднюю побывку из Риги, несколько месяцев назад страстно влюбился в Глебову, рассорившись при этом со своим давним покровителем и воздыхателем Кузминым. На эстраде разыгрывали веселую оперетку Николая Цыбульского *«Скала смерти или Голос жизни»*. Все члены правления «арт-кабаре» восседали на почетных местах в «собачьих» орденских лентах и со знаками отличия, соответствующими роду занятий: хмельной Цыбульский – с

камертоном и медными тарелками, невозмутимый Судейкин – с кистями и палитрой, увенчанный миртовым венком Кузмин – с позолоченной лирой, Коля Петер – с маской и погремушкой арлекина. Пронин нацепил на голову цветочную корону и держал в руках огромный бокал-кубок, который периодически воздевал приветственным жестом. Среди «отцов-основателей» «Бродячей собаки» незримо зияли пустоты: потонувший летом Сапунов покоился на кронштадтском кладбище, а жизнерадостного композитора Илью Саца три месяца назад схоронили в Москве. Возвращаясь утром в Царское Село, Ахматова, под впечатлением от «Скалы смерти», прямо в поезде набросала строки:

Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!..

На праздниках к Гумилевым на Малую улицу очень поздно, без зова и предупреждения нагрянул озабоченный Маковский. В руках у главы «аполлоновцев» были наборные рукописи акмеистических «манифестов» для январского номера журнала. Уединившись с Гумилевым в кабинет, Маковский битый час уговаривал заведующего литературным отделом согласиться, чтобы статья Городецкого об *«адамизме»* не шла в «Аполлоне»:

– Николай Степанович, воля ваша, но вот мое впечатление: читаю ваше *«Наследие символизма и акмеизм»* и вижу – входит человек, читаю Городецкого – входит обезьяна, которая бессмысленно передразнивает жесты человека… Пока не поздно… Будет скандал…

Гумилев заупрямился, и расстроенный Маковский ушел ни с чем. Ахматовой Гумилев объяснил: уступать нельзя.

– Хотя, может быть, pápá Makó и прав…

Стало понятно, что о публикации третьего «манифеста» – статьи Мандельштама об *«утре акмеизма»* – не может быть речи. Ахматова обозлилась на Маковского:

– У-у… моль в перчатках!

Положения статьи Мандельштама («Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя») она разделяла целиком и считала «Утро акмеизма» лучшим из «манифестов». Но и редактора «Аполлона» можно было понять. Слухи о неких непристойных *«адамистских»* демонстрациях, которые собираются предпринять участники «Цеха поэтов», витали по городу. Неожиданно был задержан цензурой январский номер «Гиперборея», отведенный под поэму Василия Гиппиуса-Галахова «Волшебница». Сначала все списали на очередное российское полицейское недоразумение. «Дорогой Василий

Васильевич! – ерничал Лозинский, извещая автора о происшествии, – 4-й № «Гиперборея» конфискован за «Волшебницу». В «Гиперборее» полиция. Отобраны все экземпляры у меня, в типографии и на складе. Городецкий арестован, Мандельштам выслан, с меня взяли штраф в 5000 р.» Но вскоре стало не до шуток: в аллегорической поэме о звездочете-короле, его безумной жене и лесной волшебнице цензура усмотрела… пропаганду инцеста![323] В это время «манифесты» Гумилева (***«Наследие символизма и акмеизм»***) и Городецкого (***«Некоторые течения в современной русской поэзии»***) уже печатались в «Аполлоне». Повисло предгрозовое затишье.

А потом грянула гроза!

«С необычайным воодушевлением и редкостным единодушием все и вся ринулись душить новое течение, – вспоминала Ахматова. – От суворинского «Нового времени» до футуристов; салоны символистов (Сологубы, Мережковские), литературные общества <…>, бывшая «башня», т. е. окружение В. Иванова и т. д., и т. д., без жалости когтили аполлоновские манифесты. Борьба с занявшими командные высоты символистами была делом безнадежным. Они владели огромным опытом литературной политики и борьбы, мы и понятия обо всем этом не имели. Дошло до того, что пришлось объявить «Гиперборей» не акмеистическим журналом».

Действительно, в февральской книжке «ежемесячника стихов и критики» редакция поместила специальное разъяснение:

«В опровержение появившихся в печати неверных сведений, редакция считает необходимым заявить, что «Гиперборей» не является ни органом «Цеха поэтов», ни журналом поэтов-акмеистов. Печатая стихотворения поэтов, примыкающих к обеим названным группам, на равных основаниях с другими, редакция принимает во внимание исключительно художественную ценность произведений».

Но что оставалось делать, если столичные критики вмиг превратили обоих «синдиков» «Цеха поэтов» в зловещих *акмеистических* деспотов, дрессирующих литературную молодежь как цирковых гуттаперчевых мальчиков:

– Если ты наш, свой (т. е. в данном случае из «Цеха») – будь написанное тобою непроходимо бездарно, – мы выскажемся в самом благоприятном тоне. Напиши о том же талантливый чужой, не наш, – кроме поголовной брани огулом ничего не заслужишь…

«Цеховая этика не обязывает, видно, к тому, к чему обязывает этика литературная, – сокрушался Виктор Ховин. – Прочтите рецензии Городецкого в «Речи», – какое откровенное и восторженное воскурение фимиама своим товарищам по цеху, и то же самое в рецензиях Гумилева в «Аполлоне». Но что может быть пошлее лишенных всякого критического отношения, но почти циничных в самовосхвалении, «критических отзывов» в «Гиперборее»?» Язвительный фельетонист Виктор Буренин сравнивал «манифесты» акмеистов с гоголевскими «Записками сумасшедшего» («г. Гумилев для него, г. Городецкого, а может быть, и для самого себя, совсем не Гумилев, а не кто иной, как воскресший Адам, прародитель всех людей»), а поэт-юморист Николай Агнивцев горестно вздыхал:

… Есть кубисты, адамисты,
Акмеисты, футуристы,
Лишь… поэтов только нет![324]

Приходилось защищаться. Книга Мандельштама «Камень» появилась под особой издательской маркой «Акме» – чтобы доказать автономность кружка акмеистов от всего «Цеха поэтов»[325]. Срочно готовился особый выпуск «Гиперборея», посвященный символистам – чтобы отвести от акмеистов обвинение в «ненависти к старшим»[326]. В «Цех» немедленно кооптировали разношерстную группу «поэтов вне направлений», преимущественно мистиков-эстетов: антропософа Вадима Гарднера[327], неоязычника-скандофила Владимира Юнгера[328], ученицу писателя-эзотерика Г. О. Мебеса Нину Рудникову[329], приверженца петербургских масонов-розенкрейцеров Бориса Зубакина[330], поклонника античной драматургии Сергея Радлова[331], жеманного резонера Всеволода Курдюмова[332], бравировавшего лихими рифмами и мрачным романтизмом, и даже самобытного философа-стихотворца Алексея Скалдина[333], которого год назад Городецкий лично не допустил в «члены-соревнователи»:

– Стихи Ваши бесстильны, неорганичны и суесловны!

Обиженный Скалдин, считавший себя продолжателем «теургического символизма» Вячеслава Иванова, на мировую с «синдиками» не пошел. Вместе с критиком Николаем Недоброво (также имевшим давние счеты с Городецким)[334], искусствоведом Евгением Лисенковым[335] и переводчиком Рейнгольдом Вальтером[336] он вознамерился возродить в Петербурге распавшуюся «Академию стиха», учредив при ней собственное «Общество поэтов» – без дисциплины, иерархии, муштры и,

главное, без *акмеизма* и *адамизма*. Духовным вождем Скалдин и Недоброво провозгласили «почетно исключенного» из «Цеха поэтов» Александра Блока, а Гумилева в обновленную «Академию» даже не пригласили.

15 февраля 1913 года Городецкий повторил свою лекцию «Символизм и акмеизм» уже не в богемной «Бродячей собаке», а на открытом заседании «Всероссийского литературного общества». Тут страсти разгорелись нешуточные, причем сторону докладчика целиком принял только почтенный критик-марксист М. П. Неведомский (Миклашевский), который в призывах к «первобытности» и «народности» увидел «возврат к действительности, к конкрету, к краскам и трепету жизни». Большинство же собравшихся, не вникая в смысл развернувшейся полемики, напряженно ожидали от *«адамитов»* порнографических эскапад. В конце концов, старый петербургский врач-гигиенист Иван Маркович Радецкий, взяв слово, горячо и взволнованно заговорил о… сексуальной развращенности молодежи. Изумленная Ахматова негромко отпустила какую-то реплику. Тут-то нервы и сдали. Словно ужаленный, Радецкий, обернувшись, затопал ногами и, потрясая кулаком, истошно закричал:

– Вот они – *Адамы*… и их тощая Ева!!

Председательствующий в собрании Федор Сологуб прекратил прения, порекомендовав судить молодых поэтов «не по словам, а по делам»:

– Жизнь покажет, насколько прочен акмеизм.

Осторожный «песельник» Николай Клюев на всякий случай немедленно отмежевался и от акмеизма, и даже от «Цеха поэтов»:

– И рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше!

В «Аполлоне» Маковский, очень недовольный постоянными скандалами, не скрывал разочарования. Гумилев упрямо гнул свою «линию». В февральском номере появилась статья Мандельштама «О собеседнике», в мартовской – подборка стихотворений всех участников кружка «Акме», в апрельской – материалы о «предтече акмеизма» Франсуа Виллоне (Вийоне). Но было ясно: альянс «Аполлона» с «Цехом поэтов» доживает последние дни. На помощь «цеховикам» неожиданно пришел Владимир Нарбут, вернувшийся в Россию сразу после всеобщей амнистии ввиду годовщины 300-летия Дома Романовых. Едва оглядевшись в Петербурге, Нарбут неожиданно очутился в кресле главного редактора «Нового журнала для всех»[337]. Журнал был «идейным», демократическим, с устоявшимся кругом подписчиков – земских учителей, сельских фельдшериц и прочей крепкой провинциальной интеллигенции «из народа». Но Нарбут планировал повернуть почтенное издание к новейшей столичной

литературе и искусству, прежде всего – к акмеизму:

– То, что на обложке стоит «журнал для всех», вовсе не должно означать «для всех тупиц и пошляков»!

О пережитом в Африке Нарбут, жестоко страдавший от приступов тропической лихорадки, вспоминал с отвращением: грязь, скука, пьянство, хуже, чем в пинском или могилевском захолустье.

– Ну-ка, – недоверчиво спрашивал Гумилев, – скажи, что такое *«текели»*?

– Треть рома, треть коньяку, содовая и лимон, – отвечал Нарбут. – Только я пил без лимона.

– А если пойдешь в Джибути от вокзала направо, что будет?

– Сад.

– Верно. А за садом?

– Каланча.

– Не каланча, а остатки древней башни… Да, действительно, был в Джибути…

Контраст африканских впечатлений Нарбута с восторженными картинами из собственной памяти не переставал изумлять Гумилева.

Он вновь собирался в Абиссинию!

На минувшее Рождество в Царском Селе появился профессор Борис Александрович Тураев. Автор фундаментальной «Истории Древнего Востока», Тураев желал обозреть африканскую живописную коллекцию, о которой некогда писал петербургский «Синий журнал»[338]. Вечер получился незабываемым. Все трофеи по случаю были расставлены в гостиной на стульях и диванах. Стремительный, сам похожий на какую-то ощипанную африканскую птицу, Тураев ахал и охал, скакал от одного картона к другому, тут же принимаясь излагать свое виденье каждого сюжета. У складня, изображавшего Деву Марию и крылатого святого Абуну Тэкле-Хайманота, восхищенный профессор окончательно возликовал и зашелся красноречием, живописуя мучения чернокожего подвижника, простоявшего во имя Господа семь лет на одной ноге:

– Видите, он изображен шестикрылым, с отделенной левой ногой?! Это потому, что, согласно преданию, ангел-хранитель Абуны положил прямо к небесному престолу отсохшую конечность своего подопечного, потребовав взамен шесть крыльев, как у серафимов, – как знак невиданной славы! А какие глаза! Удивительно лаконично, ярко, выразительно…

Коля-маленький внимал необычной экскурсии, по-детски приоткрыв рот. Казалось, из благоговения, он сам, подобно св. Абуне, готов стоять перед Тураевым на одной ноге. Гумилев, не

избалованный вниманием ученых востоковедов, растрогался. Проводив гостя, он упаковал складень в нарядную обертку и на следующий день повез Тураеву в университет рождественский подарочный сюрприз.

Гумилев поджидал Тураева в стеклянном кондитерском павильоне, устроенном в начале знаменитого коридора Петровских Коллегий – «одном из тех прелестных, заставленных книгами уголков Петербургского университета, где студенты, магистранты, а иногда и профессора пьют чай, слегка подтрунивая над специальностью друг друга». «В этом маленьком собраньи, – вспоминал Гумилев, – мой складень имел посредственный успех: классик говорил о его антихудожественности, исследователь Ренессанса о европейском влияньи, обесценивающем его, этнограф о преимуществе искусства сибирских инородцев. Гораздо больше интересовались моим путешествием, задавая обычные в таких случаях вопросы: много ли там львов, очень ли опасны гиены, как поступают путешественники в случае нападения абиссинцев. И как я ни уверял, что львов надо искать неделями, что гиены трусливее зайцев, что абиссинцы – страшные законники и никогда ни на кого не нападают, я видел, что мне почти не верят».

Тем не менее присутствовавший при оживленной беседе проф. С. И. Жебелев[339] осведомился у занятного студента: был ли тот с рассказом о своих приключениях в Академии Наук? Гумилев честно признался Жебелеву, что академические служители в мундирах с галунами, охраняющие официальную науку от внешнего мира, внушают ему робость куда большую, чем африканские гиены. Через полчаса Гумилев уже стоял с рекомендательным письмом от Жебелева в приемной директора Музея антропологии и этнографии академика Василия Васильевича Радлова. А тот, выслушав краткий отчет об Абиссинии, внезапно предложил энтузиасту *возглавить научную экспедицию в Северо-Восточную Африку!*

Окрыленный Гумилев представил в Музей этнографии проект грандиозного проникновения в Данакильскую пустыню от южных ее границ до северных, в ходе которого планировалось даже объединение местных племен и перемещение их на территорию султаната Рагета, поближе к побережью. Однако к ведению столь масштабных действий в Сомали ведомство Радлова оказалось неготовым. К февралю 1913 года Гумилев разработал новый план, который и был благополучно утвержден:

«Я должен был отправиться в порт Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе, оттуда по железной дороге к Харару, потом,

составив караван, на юг в область, лежащую между Сомалийским полуостровом и озерами Рудольфа, Маргариты, Звай; захватить возможно больший район исследования; делать снимки, собирать этнографические коллекции, записывать песни и легенды. Кроме того, мне предоставлялось право собирать зоологические коллекции. Я просил о разрешении взять с собой помощника, и мой выбор остановился на моем родственнике Н. Л. Сверчкове, молодом человеке, любящем охоту и естественные науки. Он отличался настолько покладистым характером, что уже из-за одного желания сохранить мир пошел бы на всевозможные лишения и опасности».

Отъезд был назначен на начало апреля. Гумилев делил время между экзаменами в университете и визитами в Артиллерийское управление и правление Добровольческого флота. Он познакомился с главным хранителем Музея этнографии, страстным исследователем архаических культур Львом Яковлевичем Штернбергом[340] и с маститым апологетом дарвинизма академиком Дмитрием Николаевичем Анучиным, мечтавшим добыть экземпляр африканского красного волка для подтверждения гипотезы о трансформации биологических видов[341]. «Принцы официальной науки, – вспоминал Гумилев, – оказались, как настоящие принцы, доброжелательными и благосклонными». В последние недели марта Гумилев и Сверчков вдвоем трудились без устали дни напролет, получая ружья, седла, вьюки, а также – удостоверения и рекомендательные письма. Накануне отъезда Коля-маленький, прибыв, как было условлено, из Царского Села на «Тучку», обнаружил там лежащего в полубеспамятстве Гумилева и Ахматову, растерянно хлопотавшую над бредившим мужем.

Вызванный врач поставил предварительный диагноз – тиф.

Бред и жар продолжались всю ночь. Георгий Иванов, навестивший Гумилева утром 7 апреля, вспоминал, что сознание больного оставалось «не вполне ясно»: «Вдруг, перебивая разговор, он заговаривал о каких-то белых кроликах, которые умеют читать, обрывал на полуслове, опять начинал говорить разумно и вновь обрывал. Когда я прощался, он не подал мне руки: «Еще заразишься», – и прибавил: «Ну, прощай, будь здоров, я ведь сегодня непременно уеду». На другой день я вновь пришел его навестить, так как не сомневался, что фраза об отъезде была тем же, что и читающие кролики, т. е. бредом. Меня встретила заплаканная Ахматова: «Коля уехал».

Оказалось, что за два часа до отхода поезда Гумилев, пребывавший в забытьи, вдруг встрепенулся, очнулся, потребовал воды для бритья и платье. Ахматова, Сверчков и неожиданно

возникший на «Тучке» Сергей Городецкий наперебой пытались урезонить забуянившего тифозника. Однако Гумилев, не слушая никого, встал, побрился, оделся, выпил стакан чаю с коньяком, сложил чемоданы и пошел искать извозчика. Всем осталось лишь сопровождать его на Николаевский вокзал, с которого, как и было запланировано, в 7 часов 25 минут вечера Гумилев и Сверчков отбыли в Одессу.

Дорога целительно подействовала на Гумилева. Из Одессы он сообщал Ахматовой, что «совершенно выздоровел, даже горло прошло» (врач ошибся с тифом). А 11 апреля 1913 г. местная газета «Южная мысль» оповестила читателей:

«Вчера ушел из Одессы на Дальний Восток пароход Добровольного флота «Тамбов» под командой капитана М. И. Снежковского. На пароходе в числе пассажиров выехали в Джибути командированные антропологическим и этнографическим музеем Императорской Академии Наук Н. С. Гумилев и Н. Л. Сверчков. Последние едут в Абиссинию для производства научных исследований».

Рейс «Тамбова» был грузовой. Помимо Гумилева и Сверчкова на пароходе вначале находился лишь один каютный пассажир с билетом до Владивостока. Впрочем, через два дня в Константинополе «Тамбов» взял на борт еще три десятка «каютных» и «палубных» пассажиров. Это были мусульманские паломники, направлявшиеся в Мекку, а также молодой турецкий дипломат Мозар-бей, следующий в Абиссинию в качестве нового генерального консула Османской империи в Харраре.

Русский пароход оказался в акватории Золотого Рога в черные для Турции дни. Страны Балканского союза, уже полгода отделявшие под девизом ирредентизма[342] от Великой Порты все новые и новые территории, придвинулись в итоге вплотную к турецкой столице. «Мы прошли мимо эскадры европейских держав, введенной в Босфор на случай беспорядков. Неподвижная и серая, она тупо угрожала шумному и красочному городу, – пишет Гумилев. – В Галате, греческой части города, куда мы пристали, царило обычное оживление. Но как только мы перешли широкий деревянный мост, переброшенный через Золотой Рог, и очутились в Стамбуле, нас поразила необычная тишина и запустение. Многие магазины были заперты, кафе пусты, на улицах встречались почти исключительно старики и дети. Мужчины были на Чаталадже. Только что пришло известие о падении Скутари. Турция приняла его с тем же спокойствием, с каким затравленный и израненный зверь принимает новый

удар»[343].

Под гнетущим впечатлением от военного Стамбула, Гумилев и Сверчков, минуя обязательные для туристов базары и кафе, прошли прямо к Айя-Софии: «Мрачный сторож надел на нас кожаные туфли, чтобы наши ноги не осквернили святыни этого места. Еще одна дверь, и перед нами сердце Византии. Ни колонн, ни лестниц или ниш, этой легко доступной радости готических храмов, только пространство и его стройность. Чудится, что архитектор задался целью вылепить воздух. Сорок окон под куполом кажутся серебряными от проникающего через них света. Узкие простенки поддерживают купол, давая впечатление, что он легок необыкновенно. Мягкие ковры заглушают шаг. На стенах еще видны тени замазанных турками ангелов. Какой-то маленький седой турок в зеленой чалме долго и упорно бродил вокруг нас. Должно быть, он следил, чтобы с нас не соскочили туфли. Он показал нам зарубку на стене, сделанную мечом султана Магомета; след от его же руки омочен в крови; стену, куда, по преданию, вошел патриарх со святыми дарами при появлении турок».

Не слушая далее бормотание непрошеного гида, Гумилев повторял про себя слова молитвы Господней:

– Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да пришедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Томительное предчувствие надвигающихся катастроф, уже позабытое в незыблемом российском спокойствии, теперь вновь возродилось в нем.

Турецкий дипломат оказался славным попутчиком. Он принадлежал к «новым османам», оказавшимся во главе страны после парламентского переворота, случившегося в минувшем январе. Вдохновенный романтик Мозар-бей находился под обаянием стихов духовного отца *младотурков* Намыка Кемаля, где слова *«ватан»* (родина) и *«хюрриет»* (свобода) были неразделимы. «Мы подолгу с ним беседовали о турецкой литературе, об абиссинских обычаях, но чаще всего о внешней политике, – вспоминал Гумилев. – Он был очень неопытный дипломат и большой мечтатель». В отличие от петербургских скептиков Мозар-бей выразил полное сочувствие гумилевской идее перемещения данакилей из пустыни на побережье Красного моря и заинтересованно обсуждал проект организации иррегулярного войска сомалийских мусульман под началом османских военных инструкторов. Помимо того, он изъявил

желание помогать новому русскому другу в сборе абиссинских песен и пригласил остановиться в Харраре в помещении турецкого консульства.

«Тамбов» уже миновал Суэцкий канал и приближался к Джедде, морским воротам Медины и Мекки. Тут была чума, и на берег утром 20 апреля сошли только паломники. В ожидании, пока агент компании, принимая новый груз, выправляет бумаги, старший помощник капитана с матросами затеяли акулью ловлю: «Акула бешено вертелась, и слышно было, как она ударяла хвостом о борт корабля. Помощник капитана, перегнувшись через борт, разом выпустил в нее пять пуль из револьвера. Она вздрогнула и немного стихла. Пять черных дыр показались на ее голове и беловатых губах. Еще усилье, и ее подтянули к самому борту. Кто-то тронул ее за голову, и она щелкнула зубами. Видно было, что она еще совсем свежа и собирается с силами для решительной битвы. Тогда, привязав нож к длинной палке, помощник капитана сильным и ловким ударом вонзил его ей в грудь и, натужившись, довел разрез до хвоста. Полилась вода, смешанная с кровью, розовая селезенка аршина в два величиною, губчатая печень и кишки вывалились и закачались в воде, как странной формы медузы. Акула сразу сделалась легче, и ее без труда вытащили на палубу. Корабельный кок, вооружившись топором, стал рубить ей голову. Кто-то вытащил сердце и бросил его на пол. Оно пульсировало, двигаясь то туда, то сюда лягушечьими прыжками. В воздухе стоял запах крови».

В половине шестого, когда вечерние сумерки уже сгущались над зелеными мелями Джедды, «Тамбов» снялся с якоря и направился к берегам Африки – прямо на просиявший в небе Южный Крест.

IX

Джибути. Дорога в Дире-Дауа. Исследование Харрара. Дедъязмаг Тафари Макконен. Гостеприимство и помощь Мозар-бея и его сотрудников. Вылазка в Джиджигу. Галасская равнина. Некрополь Шейх-Гусейна. Гинир и Аруси. Болезнь Сверчкова и встреча с Чарльзом Реем. Возвращение в Дире-Дауа и Харрар. Трудности с возвращением в Россию.

23 апреля (6 мая) в 4 часа 15 минут пополудни «Тамбов» стал на якорь на рейде Джибути, белеющего на побережье своими арабскими домиками с плоскими крышами, зубцами, террасами и аркадами. Гумилев, Сверчков и Мозар-бей съехали на берег в моторной лодке (нововведение порта, быстро растущего под патронажем французского губернатора). От Джибути в глубь континента французы тянули железнодорожную ветку, но до полного завершения работ было еще далеко. По готовым перегонам поезда ходили два раза в неделю – по вторникам и субботам. Узнав в гостинице, что ближайший состав до абиссинского городка Дире-Дауа ожидается через три дня, путешественники решили не связываться с караваном, а использовать эти дни для отдыха на морском пляже, в уютных местных кафе, заполненных европейцами, и в загородном саду, куда их повез хорошо знакомый Гумилеву русский вице-консул Иосиф Галеб. «Там узкие тропки между платанами и банановыми широколиственными пальмами, жужжанье больших жуков и полный ароматами теплый, как в оранжерее, воздух, – записывал Гумилев в путевом дневнике. – На дне глубоких каменных колодцев чуть блестит вода. То там, то сям виден привязанный мул или кроткий горбатый зебу. Когда мы выходили, старик араб принес нам букет цветов и гранат, увы, неспелых».

Путевой дневник Гумилев пока вел подробно, «так, чтобы прямо можно было печатать» – для полевых заметок имелись блокноты и карандаши. Впрочем, работа уже началась: в Джибути Гумилеву с помощью Галеба удалось записать несколько песен местных сомалийцев из племени Исса (по слухам, одного из самых свирепых):

«Беринга, где живет племя Исса, Гурти, где живет племя Гургура, Харрар, который выше земли данакилей, люди Гальбет, которые не покидают своей родины, низкорослые люди, страна, где царит Исаак, страна по ту сторону реки Селлель, где царит Самаррон, страна, где вождю Дароту галласы носят воду из

колодцев с той стороны реки Уэби, – весь мир я обошел, но прекраснее всего этого, Мариан Магана, будь благословенна, Рераудаль, где ты скромнее, красивее и приятнее цветом кожи, чем все арабские женщины».

Субботним утром 27 апреля (10 мая) Гумилев, Сверчков и Мозар-бей вторым классом, которым пользовалось на колониальных линиях большинство европейцев, отправились в Дире-Дауа. Полотно оказалось поврежденным недавними ливнями, и поезд двигался, по словам Гумилева, «с быстротой одного метра в минуту». Добравшись до полустанка Айша в 150 километрах от Джибути, состав встал намертво: насыпь впереди полностью размыло. Вечером пассажирам объявили, что движение поездов будет восстановлено не раньше чем через неделю. Большинство, переночевав, с тем же поездом вернулось назад, но Гумилев со спутниками остались ждать ремонтников, надеясь на оказию. Им повезло: через двое суток они уже были в Дире-Дауа, продвигаясь по перегонам сначала – на дрезинах, затем – на платформе и в вагоне ремонтных поездов.

За четыре с лишним года, прошедшие с тех пор, когда Гумилев впервые появился в этих местах, городок Дире-Дауа, возникший в начале XX века как транспортный узел эфиопской магистрали, существенно разросся, особенно в своей европейской части, утопавшей в рощах мимоз. Гумилев и Сверчков наняли слуг-проводников, записав их и их поручителей у городского судьи. До древнего мусульманского Харрара от Дире-Дауа было пять-шесть часов пути на верховых мулах, и путешественники, оставив багаж в местной гостинице, отправились туда налегке утром 2 (15) мая: «По дороге ехали десятки абиссинцев, проходили данакили, галласские женщины с отвислой голой грудью несли в город вязанки дров и травы. Длинные цепи верблюдов, связанных между собой за морды и хвосты, словно нанизанные на нитку забавные четки, проходя, пугали наших мулов… Дорога напоминала рай на хороших русских лубках: неестественно зеленая трава, слишком раскидистые ветви деревьев, большие разноцветные птицы и стада коз по откосам гор. Воздух мягкий, прозрачный и словно пронизанный крупинками золота. Сильный и сладкий запах цветов. И только странно дисгармонируют со всем окружающим черные люди, словно грешники, гуляющие в раю, по какой-нибудь еще не созданной легенде».

Исламская твердыня Восточной Африки город Харрар был основан в X веке и до конца XIX столетия являлся столицей Харрарского эмирата, противостоящего нагорным христианским

царствам. Впрочем, последние эмиры утратили былое могущество, и власть их ограничивалась только самим Харраром и его ближайшими окрестностями. В 1875 году город захватили египтяне, а в 1887 году он перешел победоносным войскам Менелика II, железной рукой утверждавшего тогда имперское единство на всей территории Абиссинии. Правителями новой провинции стали суровые сподвижники Менелика – рас (князь) Макконен, раздвинувший границы до страны Галла на Западе и Данакильской пустыни на юго-востоке, и наследовавший ему дедъязмаг (граф) Балча, драконовскими законами принуждавший хитрых, вероломных и сластолюбивых харраритов к повиновению и кротости. Впрочем, ко времени появления Гумилева в Абиссинии свирепый Балча, поссорившийся с метрополией, был отправлен на далекий юг, а на его место сел юный дедъязмаг Тафари Макконен, сын покойного князя-завоевателя. В отличие от отца, он имел кроткий нрав и склонность к просвещению[344]. При нем в Харраре даже появился собственный постоянный театр, где давали спектакли актеры индийской труппы, полюбившейся новому наместнику.

«Уже с горы, – пишет Гумилев в путевом дневнике, – Харрар представлял величественный вид со своими домами из красного песчаника, высокими европейскими домами и острыми минаретами мечетей. Он окружен стеной, и через ворота не пропускают после заката солнца. Внутри же это совсем Багдад времен Гаруна-аль-Рашида. Узкие улицы, которые то подымаются, то спускаются ступенями, тяжелые деревянные двери, площади, полные галдящим людом в белых одеждах, суд, тут же на площади, – все это полно прелести старых сказок». В Харраре Гумилев и Сверчков остановились в греческой гостинице и три дня закупали мулов и необходимую для каравана походную утварь. Гумилев телеграфировал Чемерзину в Адис-Абебу о своем прибытии в страну в качестве представителя российской Академии Наук (о чем посланник был извещен заранее) и просил похлопотать перед имперскими властями о разрешении на свободный проезд по всем абиссинским землям. Помимо того, путешественники посетили школу для детей местной аристократии, директор которой был знаком Гумилеву еще по Адис-Абебе, а также – католическую миссию в поисках (безуспешных) переводчика для экспедиции.

Переводчика (воспитанника той же миссии) они нашли, вернувшись за оставленным багажом в Дире-Дауа. Им стал Фасика (в крещении Феликс), уроженец галасского селенья, примыкавшего к железнодорожной станции. Феликс-Фасика не только владел французским языком, но даже немного изъяснялся

по-русски. Семья его роптала, но все участники экспедиции, явившись в деревню с подарками, уладили дело, отпраздновав с галласами мировую так, что, возвращаясь вечером в город, Гумилев на привале заснул среди мимоз и едва не потерялся в сгущавшейся темноте. Помимо Фасики в составе экспедиции был погонщик Абдулай и три ашкера (охранника). 8 мая караван вновь двинулся из Дире-Дауа по дороге в Харрар. Теперь путешественники продвигались медленнее и провели первую ночь в палатках, не достигнув города до наступления темноты.

В окрестностях Харрара Гумилев и Сверчков, отправив караван вперед, навестили Мозар-бея, проживавшего все это время, как требовал этикет, на гостиничной вилле вне городской черты – в ожидании реакции имперских и местных властей на официальное уведомление о прибытии. На вилле царило многолюдное оживление: «Несмотря на то что консул еще не вступил в исполнение своих обязанностей, он уже принимал многочисленных мусульман, видевших в нем наместника самого султана и желавших его приветствовать. По восточному обычаю, все приходили с подарками. Турки-садоводы приносили овощи и плоды, арабы – баранов и кур. Вожди полунезависимых сомалийских племен присылали спрашивать, что он хочет, льва, слона, табун лошадей или десяток страусовых кож, снятых вместе со всеми перьями. И только сирийцы, одетые в пиджаки и корчащие европейцев, приходили с развязным видом и пустыми руками».

Прибыв в Харрар, путешественники обнаружили, что их собственные верительные документы, присланные из Адис-Абебы харрарскому нагадрасу (коменданту) Бистрати, не имеют силы, и городская таможня наложила арест на оружие и патроны. Нагадрасу требовалось разрешение непосредственного начальника – дедъязмага Тафари. Гумилев и Сверчков, купив для подношения ящик вермута, отправились во дворец наместника. Молва не лгала: Тафари Макконен оказался милейшим человеком. Однако бюрократический порядок требовал отдельного извещения из Адис-Абебы, адресованного непосредственно ему. Гумилеву оставалось лишь вновь телеграфировать Чемерзину о высылке очередной порции официальных бумаг и ждать затем неделю-другую прибытия гонца. На планы экспедиции это не особенно влияло, ибо исследовать Харрар и его ближайшие окрестности можно было и без оружия. Зато с дедъязмагом удалось договориться о новой встрече: просвещенный соломонид («Он был одет в шаму, как все абиссинцы, но по его точеному лицу, окаймленному черной вьющейся бородой, по большим полным достоинства газельим

глазам и по всей манере держаться в нем сразу можно было угадать принца») дал согласие сфотографироваться в своей резиденции.

10 (23) или 11 (24) мая Гумилев принимал участие в церемонии торжественной встречи въезжающего, наконец, в Харрар Мозар-бея: «Дорога имела праздничный вид. Арабы в белых и цветных одеждах в почтительных позах сидели на скалах. Там и сям сновали абиссинские ашкеры, посланные губернатором для почетного конвоя и водворения порядка. Белые, т. е. греки, армяне, сирийцы и турки – все знакомые между собой, скакали группами, болтая и одалживаясь папироской. Попадавшиеся навстречу крестьяне-галласы испуганно сторонились, видя такое торжество. Консул <…> был достаточно величествен в своем богато расшитом золотом мундире, ярко-зеленой ленте через плечо и ярко-красной феске. Он сел на большую белую лошадь, выбранную из самых смирных (он не был хорошим наездником), два ашкера взяли ее под уздцы, и мы тронулись обратно в Харрар. Мне досталось место по правую руку консула, по левую ехал Калиль Галеб, здешний представитель торгового дома Галебов. Впереди бежали губернаторские ашкеры, позади ехали европейцы, и сзади них бежали преданные мусульмане и разный праздношатающийся люд. В общем, было человек до шестисот».

После водворения Мозар-бея в своей харрарской резиденции Гумилев и Сверчков также перебрались из гостиницы в турецкое консульство, ставшее им пристанищем без малого на месяц. Все это время оба работали не покладая рук. «Мой спутник стал собирать насекомых в окрестностях города, – пишет Гумилев. – Я его сопровождал раза два. Это удивительно умиротворяющее душу занятие: бродить по белым тропинкам между кофейных полей, взбираться на скалы, спускаться к речке и везде находить крошечных красавцев – красных, синих, зеленых и золотых. Мой спутник собирал их в день до полусотни, причем избегал брать одинаковых. Моя работа была совсем иного рода: я собирал этнографические коллекции, без стеснения останавливал прохожих, чтобы посмотреть надетые на них вещи, без спроса входил в дома и пересматривал утварь, терял голову, стараясь добиться сведений о назначении какого-нибудь предмета у не понимавших, к чему все это, харраритов». Кроме того, шла постоянная фотосъемка, в том числе – и «фотосессия», во дворце дедъязмага Тафари: «Ашкеры расстелили ковры прямо на дворе, и мы сняли дедъязмага в его парадной синей одежде. Затем была очередь за принцессой, его женой. Она сестра лиджа Иассу, наследника престола, и, следовательно, внучка Менелика. Ей двадцать два года, на три года больше, чем ее мужу, и черты ее

лица очень приятны, несмотря на некоторую полноту, которая уже испортила ее фигуру. Впрочем, кажется, она находилась в интересном положении. Дедъязмаг проявлял к ней самое трогательное вниманье. Сам усадил в нужную позу, оправил платье и просил нас снять ее несколько раз, чтобы наверняка иметь успех».

Мозар-бей и сотрудники турецкого консульства проявляли живой интерес к деятельности необыкновенных русских гостей. С помощью здешнего коваса (прислуги) Муми удалось приобрести для этнографической коллекции – куда уже вошли ритуальные деревянные башмаки – *карайф*, бубен – *карабо* для исполнения духовных стихов, старинные опахала – *зимбисигайя* из листьев банана и прочие редкие вещи, – уникальный набор переплетных инструментов харрарских мастеров-книжников. В заведенном реестре рабочего блокнота Гумилев с гордостью фиксировал:

«Лебебкай – набор инструментов для переплетного мастерства в холщовом мешке. Три орнамента из кожи носорога, которые надавливают на сырую кожу переплета, четыре деревянных инструмента для тисненья и подравниванья. Цена 3 таллера. Харрар».

«Джедди – пять старых переплетов, один портфель для бумаг, один пергаментный транспарант. Цена 1 т. Харрар».

А 18 мая, после появления на аудиенции у Мозар-бея знатного посланца племени *габраталь*, обитающего на юге Сомалийского полуострова, в гумилевском реестре появилось описание вещей иного рода:

«Каисо – лук с веревочной тетивой, при нем *гобойя*, колчан с приделанными к нему двойными ножнами для кинжалов и с пятью отравленными и тремя неотравленными стрелами – *фаллат*. Из лука стреляют, держа его перпендикулярно к земле и рогами к себе; стрелу держат между согнутыми указательным и средним пальцами правой руки. Лук выделывается и употребляется в центре Сомалийского полуострова; исчезает с каждым днем. Стрелы отравляются специальными мастерами, которые живут в пустыне и скрывают не только секрет приготовления яда, но и самое ремесло, так как их презирают, как людей, получивших свое знанье от *дшиш* – злых духов. Харрар. 8 т.»

У сомалийского воина удалось добыть расшитый пояс –

бистум, который вожди надевают на голое тело во время походов и сражений, и боевой щит из кожи носорога. Визит габрательца внушил Гумилеву мысль выбраться из Харрара на земли сомали: «Мы решили, что Харрар изучен, насколько нам позволяли наши силы, и, так как пропуск мог быть получен только дней через восемь, налегке, т. е. только с одним грузовым мулом и тремя ашкерами, отправились в [город] Джиджига». Этот поход состоялся в конце мая и длился неделю. Отчета о нем не сохранилось, но сложно представить, что Гумилев и Сверчков решились бы на столь длительную вылазку сам-друг, без оружия и даже без необходимых для перемещения по абиссинским дорогам документов. По всей вероятности, речь шла о присутствии обоих в свите габратальского вождя, либо в свите самого Мозар-бея, вспомнившего о проектах «тюркизации» *адалей* и решившего лично познакомиться с сомалийскими мусульманами-*шангалями*. Так или иначе, но к началу июля Гумилев и Сверчков благополучно вернулись в Харрар с богатыми трофеями, составившими отдельную этнографическую коллекцию. Судя по ее описи, русским путешественникам, среди прочего, посчастливилось попасть на местную свадьбу:

«Дчеба – кнут; им жених ударяет невесту в день свадьбы, перед тем как стать ее мужем, в знак своего полного господства над нею; если мужчина ударит им другого мужчину, это высшее оскорбление, какое может быть нанесено, и обидчик должен заплатить обиженному пеню в пять лошадей. Джиджига. Ц. 1 т».

В Харраре их ожидали документы из Адис-Абебы, подтверждающие статус российской экспедиции. Получив, наконец, оружие и боеприпасы из таможенного хранения, караван Гумилева утром 5 (18) июня направился на юго-запад, через горную страну Черчер в земли Галла, простиравшиеся от нагорных твердынь христианской Абиссинии к далеким южным провинциям:

Восемь дней из Харрара я вел караван
Сквозь Черчерские дикие горы
И седых на деревьях стрелял обезьян,
Засыпал средь корней сикоморы.

На девятую ночь я увидел с горы —
Эту ночь никогда не забуду! —
Там, далеко, в чуть видной равнине костры,
Точно красные звезды повсюду.

И помчались одни за другими они,
Словно тучи в сияющей сини,
Ночи трижды святые и яркие дни
На широкой галласской равнине.

Миновав озера Оромайя и Адели, караван двигался через деревню Беддану, где начальником (геразмагом) был дядя переводчика Фасики, и через город Ганами, поразивший путешественников странными циклопическими постройками из выщербленных камней, напоминавшими то крепость с бойницами, то египетских сфинксов. На девятый день пути Гумилеву пришлось убедиться, что выправленные в Харраре подорожные бумаги мало помогают в объяснениях с местными чиновниками – через таможню, расположенную в одном из галласских поселений путешественникам пришлось прорываться силой: «Чиновники бежали за нами и не хотели принять разрешения, требуя такового от нагадраса Бифати. «Собака не знает господина своего господина». Мы прогнали их». Деревенские быки, никогда не видавшие белых людей, убегали от каравана с испуганным ревом, а их величавые хозяева, напоминавшие ростом и статью первобытных исполинов, зорко следили за странными путниками.

Гумилев и Сверчков постоянно пополняли как зоологическую, так и этнографическую коллекции. На четырнадцатый день в деревенской школе учитель, поразивший Гумилева европейским «профессорским» видом (он был при котелке и с зонтиком-тростью), продал набор письменных принадлежностей: смолу-*мугу*, которую смешивают с сажей и получают чернила, чернильницу-*гибет* с двумя перьями-*калам*, а также – доску-*уху* для обучения детей грамоте. Под шумок «профессор» попытался умыкнуть из багажа приглянувшиеся белые сорочки – бдительные ашкеры надавали ему на прощанье тумаков. 19 июня (2 июля), на шестнадцатый день путешествия, караван подошел к реке Уэби, памятной Гумилеву по туземным баталиям, разыгравшимся на ее берегах два года тому назад. На этот раз военной опасности не было, зато при переправе напали крокодилы, окружившие плывущих мулов. С ноги Коли-маленького крокодил сорвал гетру, другой крокодил схватил одного из ашкеров за дорожный плащ. Мерзких рептилий отпугивали криком и выстрелами, однако потерь избежать не удалось: мул Сверчкова захлебнулся и был растерзан, а его хозяин спасся лишь благодаря находчивости и хладнокровию.

23 июня (6 июля) на горизонте показалась гора, на которой в XIII веке обращал галласов в ислам подвижник и чудотворец Гуссейн. Его мавзолей (кубба) уже шестьсот лет слыл одной из главных мусульманских святынь Восточной Африки. Паломники шли сюда отовсюду: пребывание в Шейх-Гусейне считалось равнозначным *хаджу* в Медину и Мекку. Помимо того, чудеса не переставали свершаться у гробницы Гуссейна, и местные жители пользовались милостью святого для разрешения повседневных бед и недоразумений. Двух таких просителей, озабоченных пропажей мула, встретил и Гумилев, очень заинтересовался и повел караван к святилищу. По дороге туземцы развлекали путешественников чудесными историями о том, как святой превратил в камни неприятельское войско, как гора, повинуясь его приказу, передвинулась на новое место и т. п.

Ослепительно-белые стены *куббы* Гумилев и его спутники увидели 26 июня (9 июля), после трехчасового непрерывного подъема по дороге, утоптанной за многие века бесчисленными паломниками. На окраине окружающего мемориал селенья, в тени молочаев караван остановился лагерем. Слух о белых людях мгновенно разнесся по окрестностям. Вскоре появились двое галласов с подарками от *Аба-Муды*, главы мусульманской общины Шейх-Гуссейна. Этот почетный титул носили местные шейхи, являющиеся потомками святого; в тот же день Гумилев побывал на торжественной аудиенции в *мазаре*, их жилой резиденции, примыкавшей к пышным гробницам грандиозного некрополя:

Жирный негр восседал на персидских коврах
В полутемной неубранной зале,
Точно идол, в браслетах, серьгах и перстнях,
Лишь глаза его дивно сверкали.

Я склонился, он мне улыбнулся в ответ,
По плечу меня с лаской ударя,
Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего Государя.

Аба-Муда был искренно обрадован, что громкая слава его благих дел донеслась даже до обитателей столь отдаленной и дикой страны, как Россия. Переждав зной, путешественники, благочестиво разувшись, осмотрели гробницы Гуссейна, его сына и наследовавших им шейхов этого «тропического Рима». Над гордыми белоснежными куполами древних мавзолеев реяли птицы, а всюду – на деревянных оконных решетках и на ветках окрестных деревьев развевались яркие тряпки. Путешественникам

объяснили, что за помощью к Главе Мудрецов приходит *вэки фэта* (всякий человек) – и правоверный, и язычник, и даже иностранец – и каждый в память о своей просьбе оставляет тут завязанные узлом ленты. Условие одно: если желаемое исполнится, нужно обязательно вновь явиться в некрополь и развязать свой узел. Гумилев присмотрелся: на большинстве лент узлов не было…

На следующее утро Гумилев, Сверчков и двое паломников-мусульман спустились в низину, где некогда Гуссейн творил чудеса. Им показали пещеру святого, камень со следами его волшебного мула, а также два причудливых обломка скалы – все, что осталось от беременной грешницы и змеи, осквернивших ущелье. Из пещеры наружу вел узкий ход, через который, согласно преданию, мог пройти только тот, чья совесть не обременена грехами. Нераскаянный грешник безнадежно застревал в расщелине, и никто уже не смел ему помочь. Исполнить ритуал вызвался один из мусульман, а вслед за ним решительно сбрасывать одежду (пройти сквозь роковые камни следовало обнаженным) начал Гумилев. Несмотря на протесты Коли-маленького, заметившего поблизости какие-то кости, оба испытуемых, друг за другом, медленно протиснулись сквозь каменное чистилище, благополучно выбравшись из подземных недр навстречу сиянию тропического полдня. Покидая святилище черных мусульман, Гумилев записал историю Шейх-Гуссейна, а его спутник сфотографировал книгу о подвигах святого, хранившуюся в мечети.

От Гинира – крайней южной точки утвержденного Академией маршрута – Шейх-Гуссейн отделяло три суточных перехода. В город, уже знакомый Гумилеву по предыдущему путешествию, караван вступил вечером 30 июня (13 июля). Местный нагадрас был знаком Фасике, и путешественники остановились в его загородной вилле. В круг обязанностей хозяина виллы входило управление гинирским рынком, что существенно облегчало поиск редкостей для этнографической коллекции, а также способствовало необременительному пополнению запасов провизии. В Гинире караван пробыл три дня и 4 (17) июля начал обратный путь, взяв курс на северо-запад, к Лагохердиму – последней станции эфиопской железнодорожной магистрали. На этот раз дорога пролегала по области Аруси, где не было крупных населенных пунктов, а многие деревни оказались оставлены жителями, пережидавшими сезон дождей в горах.

Ливни уже начались, превращая всю открытую землю в непролазную грязь. 7 (20) июля путешественники вновь переправлялись через Уэби – на этот раз по ветхому канатному

мосту, в корзины которого помещалось по три человека (во время последнего рейса одна из опор просела, едва не вывалив людей и поклажу в реку). Все были простужены; у Сверчкова и одного из ашкеров открылась лихорадка. 15 (28) июля, когда спутники Гумилева были совсем плохи, караван внезапно наткнулся на бивак английского путешественника Чарльза Рея[345]. У англичанина имелись свободные лошади, так что соединенными усилиями оба каравана смогли благополучно доставить больных до ближайшей абиссинской таможни. Тут был туземный врач, и Коля-маленький, по его собственным словам, оказался «обязан жизнью» его мастерству. Около недели ушло на восстановление сил перед последним трехдневным переходом. 25 июля (7 августа) отдохнувший караван достиг Лагохердима, откуда на следующий день поезд отправлялся в Дире-Дауа. Почти двухмесячное странствие завершилось благополучно. Гумилев на последних страницах путевого блокнота зафиксировал: пройдено ***«всего 975 к<илометров> без Дир<е-Дауа и> Хар<рара>»***.

В Дире-Дауа Гумилев и Сверчков навестили деревню Фасики, вновь задержавшись в хлебосольном доме галласа на сутки с лишним. Тут отмечали прибавление семейства; новорожденного нарекли *Гумало* – в честь русского гостя. Помимо того, местная легенда гласит, что *«гуманист»* Гумилев, покидая Дире-Дауа, забрал с собой мальчишку-батрака, которого притеснял жестокий хозяин, увез в Харрар и там передал на попечение католической миссии. Достоверность этой легенды проверить, разумеется, невозможно. Однако точно известно, что в начале августа 1913 года Гумилев и Сверчков действительно провели в Харраре несколько дней, запрашивая оттуда помощь у российского посольства – деньги от Академии Наук, предназначенные на обратную дорогу, в отделение «Абиссинского банка» в Дире-Дауа в срок не пришли. В ожидании перевода из Адис-Абебы Гумилев и Сверчков имели возможность повидаться с Мозар-беем и сотрудниками турецкого консульства, что, несомненно, явилось приятным итогом последнего вынужденного визита российских путешественников в Харрар. Но из-за непредвиденной паузы они опоздали на пароход и еще около трех недель ожидали в Джибути следующего рейса. По иронии судьбы, расставание с Африкой оказалось самым сложным препятствием из всех, выпавших на долю экспедиции Гумилева, так что, ступив, наконец, на желанную палубу, он наверняка без особого сожаления провожал взглядом уходящий берег, не ведая, что прощается навсегда:

Сердце Африки пенья полно и пыланья,
И я знаю, что, если мы видим порой

Сны, которым найти не умеем названья,
Это ветер приносит их, Африка, твой!

X

«Сезон неудач». Письма Ольги Высотской. Огорчения в Академии Наук. «Актеон». Вторая «Тучка». Завершение «триумвирата». Фиаско в «Аполлоне». Нестроения в «Цехе поэтов». Триумф футуристов. К. Д. Бальмонт. «Готианская комиссия». «Северные записки» и салон Софьи Чацкиной. Новый, 1914-й. Татьяна Адамович.

Денежные неурядицы, заставившие Гумилева пропустить намеченный пароходный рейс, провести чуть не месяц с пустыми карманами в Джибути и добираться до родины по четырем морям на «перекладных», были лишь первыми сполохами затяжной грозы, разразившейся над ним сразу после возвращения. Путешественники прибыли в российскую столицу в середине сентября. Дачный сезон в Слепневе еще не завершился, но в Петербург уже приехала Ахматова, поселившаяся у отца. Радостный Гумилев поспешил на Крестовский остров, где проживал теперь почтенный отставник, – там гром и грянул. Не слушая приветственных излияний мужа, Ахматова брезгливо протянула ему связку почтовых конвертов.

Это были любовные письма Ольги Высотской. Ахматова наткнулась на них еще в апреле, только проводив Гумилева в Африку (Анна Ивановна в недобрый час попросила невестку прибрать бумаги в царскосельском кабинете). Изящная актриса из «Бродячей собаки» была героиней упоительной тайной интриги победного прошлого сезона – из тех интриг, которые, по глубокому убеждению Гумилева, «прекрасно уживались» с его бессмертной любовью к жене. Однако объяснить это сейчас Ахматовой, чужой и потемневшей, Гумилев не мог. Слова не находились, да еще, как на грех, не удавалось согнать с лица ненужную уже улыбку. А Ахматова, вручив остолбеневшему мужу злосчастные письма, спокойно и деловито говорила, что между ними «все кончено» и что, если Гумилев желает сохранять для сына и домашних видимость семейного благополучия, то следует «перестать интересоваться интимной стороной жизни друг друга».

Вот и наступил конец семье! Гумилев, лучезарно улыбаясь, молчал, силясь понять. На исходе минувшей зимы Высотская уехала к родным в Москву. По пути в Африку он отправил ей из Константинополя открытку: *«Целую ручки и всегда вспоминаю, напишите в Порт-Саид в июле месяце, куда привезти Вам леопардовую шкуру»*. Шкуру леопарда (точнее – черной пантеры) он, точно, добыл, но а́дреса для доставки так и не получил.

Роковая женщина возникла в жизни Гумилева мимолетным пленительным призраком и, как призрак, бесследно исчезла навсегда. Такая уж была судьба Ольги Высотской! Приехав из Москвы покорять столицу, она танцевала босоножкой в камерных постановках Михаила Фокина, входила в труппу «Старинного театра» Евреинова, была очень дружна с Мейерхольдом, но запомнилась – только перчаткой, перекинутой через обруч большой люстры «Бродячей собаки» в ночь открытия. Перчатка Высотской, белая и узкая, осталась висеть в пронинском подвале интригующим символом, когда самой ее владелицы в Петербурге уже и в помине не было. Перчатка эта стала одним из фетишей эпохи, источником сказаний и легенд. Больше от красавицы актрисы не осталось ничего. Много это или мало – можно только гадать[346].

Бури продолжали бушевать над головой Гумилева. В Музее этнографии, куда он до конца сентября сдавал многочисленные коллекции, директор Радлов учинил подробное дознание об опоздавших в Дире-Дауа денежных переводах. Гумилев, нисколько не повинный в сбоях отечественной и абиссинской бюрократии, неожиданно оказался в малопочтенной роли ответчика, не сумевшего распорядиться казенными средствами. Объяснения он дал, разумеется (дело уладилось), но был обескуражен. Прошагав по заданию Академии Наук тысячу верст по африканским просторам, он явно рассчитывал на какие-то более радостные знаки благодарности, чем только отвод подозрения в растрате[347]. Путевые записи были убраны подальше в стол. Абиссинские сувениры и реликвии, вместе с пресловутой шкурой пантеры, так и валялись нераспакованными. Вместо Африки Гумилев обратился к древней Элладе и написал пьесу о легкомысленном царевиче Актеоне. Возомнив себя сыном небес, Актеон полюбил лунную богиню Диану и поплатился за дерзость, превратившись в «пугливого оленя»:

> А сыночек-то в шерсти и с рогами,
> Хуже самого последнего сатира.

Свое новое творение Гумилев не комментировал, только внимательно выслушивал все мнения и догадки. Вскоре в родных стенах ему стало совсем невмоготу. К счастью, в университете как раз подходил осенний семестр. Покинув Царское, он забился на «Тучке», рассчитывая на возобновление прежней студенческой дружеской круговерти. Но «триумвират» уже не складывался. Шилейко в мае женился, покинул общежитие и перебрался на Пески устраивать семейное гнездо. Расстроенный Гумилев, узнав

новость, только зло съязвил:

– По всей вероятности, этот брак – дань благодарности невесте, за то что она воспитала мать жениха!

Избранница Шилейко, учительница рисования Софья Краевская, под стать мужу, была существом без возраста. Шумеролог относился к ней с тиранической суровостью древних владык: жестоко ревновал по малейшему поводу, запрещал пудриться, завивать волосы, отлучаться без спросу и вести досужие разговоры. Его патриархальное благоденствие воспел Осип Мандельштам, навестивший супругов:

> – Смертный, откуда идешь? – Я был в гостях у Шилейки.
> Дивно живет человек – смотришь, не веришь очам!
> В креслах глубоких сидит, за обедом кушает гуся,
> Кнопки коснется рукой – сам зажигается свет.
> – Если такие живут на Четвертой Рождественской люди,
> Путник, скажи мне, прошу, как же живут на Восьмой?

Михаил Лозинский побывал летом с супругой в Италии, по возвращении – принял место первого секретаря редакции «Аполлона». Новая должность поглотила все его время. «Гиперборейские пятницы» стали редкостью, тем более что сам «Гиперборей», открыв сезон гумилевским «Актеоном», тут же безнадежно забуксовал. Деньги, пожертвованные на издание, иссякли, а интерес столичных читателей к стихам и критике «Цеха поэтов» после учиненного акмеистам разгрома заметно упал.

– Послушайте, как запаздывает ваш журнал, – пеняли Лозинскому. – Что подумают подписчики?

– Вы правы, – мрачнел Лозинский. – Действительно, неудобно.

Вдруг лицо его прояснялось:

– Ну, ничего – я им скажу…

Ближе к зиме обнаружилось, что в семье Лозинских грядет прибавление. Заботы в доме в Волоховом переулке окончательно устремились в сторону от литературных собраний. Обильные дружеские пирушки отошли в область ностальгических воспоминаний, что также не преминул отметить Мандельштам:

> Сын Леонида был скуп, и кратéры хранил он ревниво,
> Редко он другу струил пенное в чашу вино.
> Так он любил говорить, возлежа за трапéзой с пришельцем:
> – Скифам любезно вино, мне же любезны друзья.

Маковский не мог нахвалиться на своего нового сотрудника, «прекрасного поэта» и «незаменимого помощника в журнальной работе». А вот Гумилев, объявившись в редакции «Аполлона», оказался не у дел. В акмеизме pápá Makó был разочарован бесповоротно. На него, как и на всех «аполлоновцев», большое впечатление произвела разгромная статья Брюсова в «Русской мысли», объявлявшая акмеистические манифесты Гумилева и Городецкого «выдумкой»:

– На привычном языке такое отношение художника к миру называется не «акмеизмом», а ***«наивным реализмом»***…

Последней каплей стала диковинная история, приключившаяся летом с Владимиром Нарбутом. Тот, приучая читателей «Нового журнала для всех» к акмеизму, растерял за несколько месяцев большинство подписчиков, запутался в долгах и продал издательские права… ультраправому Александру Гарязину, близкому к «Союзу русского народа». Возмущенные сельские интеллигенты, получив номер «Нового журнала» с гарязинской визой, рассылали куда можно отчаянные письма-протесты, обвиняя акмеистов в коварной «черносотенной интриге»[348]. С негодующим хором общественников слилось оглушительное улюлюканье «кубофутуристов», ликующих при виде такого крушения конкурентов:

– Выползла свора адамов с пробором – Гумилев, Маковский, Городецкий, – попробовавшая прицепить вывеску акмеизма и аполлонизма на потускневшие песни о тульских самоварах и игрушечных львах!

Тут уж Маковский, не желая дальше рисковать репутацией, свернул не только сотрудничество «Аполлона» с «Цехом поэтов», но и заодно всю литературную часть журнала. «Аполлон» превратился в художественно-театральное издание, тон в котором задавали молодые искусствоведы – Николай Пунин, Всеволод Дмитриев, Борис Анреп и Николай Радлов.

После всех неудач дрогнул и «Цех»: оперившиеся «подмастерья» стали потихоньку бунтовать против оскандалившихся «синдиков». Если открытие нового сезона (у Гумилевых 1 октября) прошло, как обычно, с соблюдением иерархической дисциплины, то на следующем заседании (у Николая Бруни 23 октября) из-за опоздания Городецкого «цеховики», посмеиваясь, избрали «временным синдиком»… Осипа Мандельштама. Приняв нарочито важный вид, Мандельштам, под нарастающий хохот, стал распоряжаться собранием. Но явившийся наконец Городецкий юмора не оценил.

Произошла перепалка, во время которой Мандельштам и Городецкий наговорили друг другу массу дерзостей и расстались врагами. Чтобы утихомирить возникшую борьбу честолюбий, было решено провести ноябрьский «Вечер поэтов» в «Бродячей собаке» в виде шуточного «Цеха» – со всеми торжественными строгостями, но под председательством… Ахматовой. Это была уже самопародия (удачная, ибо посетители подвала веселились от души), недвусмысленно демонстрирующая, что идея объединения стала изживать себя. И, действительно, после буффонады в «Бродячей собаке» в работе «Цеха поэтов» возникла длительная пауза. Правда, очередные стихотворные сборники под цеховой обложкой *«с лирой»* выпустили *Грааль Арельский* и *Сергей Гедройц*, но эти новинки прошли едва замеченными[349].

Победу торжествовало «Общество поэтов» Скалдина и Недоброво. Тут запросто сходились все: акмеисты, символисты, футуристы, литераторы «вне направлений», величавые дилетанты, эстетические дамы и пишущие камер-юнкеры. «Помещение было просторное, благоустроенное, где-то на Сергиевской, – вспоминал Георгий Иванов. – Выступлений эстетов-учредителей можно было бы и не слушать, коротая время в комфортабельной столовой за бесплатными сандвичами и даровым портвейном». В подобной обстановке беседы о «мужественно-твердом и ясном взгляде на вещи» угасали, разумеется, сами собой. С порочными «адамитами» акмеистов правда, уже не путали: столичная публика твердо усвоила, что акмеистический идеал заключается в некоем художественном примитиве, первобытно-экзотическом или à la russe[350]. На том все и успокоились. Прозвучала даже надежда, что, ратуя за чистоту языка и художественное мастерство, поэты «Гиперборея» придут в конце концов к «пушкинской школе». А затем отошедшая новинка затерялась среди сенсаций, скандалов и слухов бурного финала 1913 года.

Любители политики оживленно обсуждали неожиданный финал войны на Балканах: дожав Турцию, Сербия, Черногория и Греция тут же набросились на Болгарию, которая имела неосторожность «поиграть мускулами» при дележке общей добычи. В итоге Болгария лишилась всех завоеваний и, вдобавок, собственных спорных земель на границе с Румынией, удачно вмешавшейся в конфликт. Передавали, что болгарский царь Фердинанд I, подписывая в августе капитуляцию, проклял недавних союзников:

– Ma vengeance sera terrible![351]

Общественники были поглощены киевским судебным процессом – еврея-конторщика Менделя Бейлиса обвиняли в ритуальном убийстве школьника Андрея Ющинского. Следствие

по кошмарному делу, открытое еще при покойном Столыпине, тянулось, будоража как Россию, так и Европу, два с половиной года, выдав в итоге обвинительное заключение шитое белыми нитками. Присяжные, убоявшись греха, вынесли оправдательный вердикт, вместо ожидаемых еврейских погромов по Киеву прокатились манифестации, клеймящие *«полицейскую Цусиму»*, освобожденный Бейлис с семьей немедленно выехал за границу, а странная гибель несчастного подростка так и осталась загадкой[352].

Ценители прекрасного следили за визитом в Москву и Петербург бельгийского литературного классика Эмиля Верхарна, прочая публика – за российским турне кинокомика Макса Линдера (Гумилев побывал на столичных чествованиях обоих знаменитостей). Но «гвоздем» художественного сезона стали отечественные футуристы, отбросившие деление на «эго» и «кубо» и выступавшие единым строем: братья Бурлюки, Маяковский, Игорь-Северянин, Алексей Крученых, Василиск Гнедов, Василий Каменский и проч., и проч. О них говорили повсюду. Энергичный литературный критик из «Речи» и «Нивы» Корней Чуковский сделал себе имя на *«футуроедстве»*, постоянно выступая с язвительными лекциями и пикируясь в статьях и дискуссиях с теоретиками *«будетлянства»* (как, на русский лад, именовалось иногда модное течение). Даже думский монархист Василий Шульгин, упоминая нелепости следственного заключения по «делу Бейлиса», сравнивал работу киевских полицейских с живописной «мазней футуристов». Последние, действительно, старались вовсю: раскрашивали не только холсты и сценические ширмы для выступлений, но и собственные лица, подвешивали за ножки концертный рояль и собирались «неузнанными розовыми мертвецами лететь к Америкам». Среди этого содома царил Владимир Маяковский, тыкавший со сцены пальцем в какого-то невинного зрителя-бородача:

> Вот вы, мужчина, у вас в устах капуста
> Где-то недокушанных, недоеденных щей…

Грозный палец перемещался на испуганную курсистку:

> вот вы, женщина, на вас белила густо,
> вы смотрите устрицей из раковин вещей.

«Публика уже не разбирала, где кончается заумь и начинается безумие, – вспоминал постоянный участник

футуристических эскапад поэт Бенедикт Лифшиц. – Всем было весело». Литературные скандалы вошли в моду. Свою лепту внес даже ветеран-символист Константин Бальмонт, вернувшийся в Россию после многолетних зарубежных скитаний.

Первая встреча Гумилева с поэтическим кумиром юности вышла незабываемой!

Чествование устроили в «Бродячей собаке». Статный, огненно-рыжий Бальмонт с жаром поведал собравшимся гостям о недавнем путешествии в Океанию. Принимая здравицы, он возбуждался с каждым бокалом все больше, размахивал руками и громко декламировал стихи. Восторженные почитатели совсем заслонили эффектную фигуру от Гумилева. Внезапно раздался звон стекла, топот, истошный крик: «Старичок! Иди-ка ты спать! Мне не нравится твой голос!!» – и толпа раздалась, женщины завизжали, отпрыгивая от сцепившегося с кем-то Бальмонта. Городецкий, перемахнув через стол, ринулся на помощь, за ним сунулись размалеванные футуристы, а затем весь подвал затрясся во всеобщей толчее и потасовке.

Газеты и молва трубили о таких «поэтических дерзаниях» куда охотнее, чем ранее о призывах акмеистов к «мужественно-твердому и ясному взгляду на мир». Приходилось признать, что пророк из Гумилева вышел никудышный! Ведь и «Цех», и акмеизм создавались под впечатлением померещившихся катастроф и бед, подстерегающих страну. Но вокруг царило полное спокойствие. Сильная, как никогда, великая Империя, отпраздновав 300-летний юбилей царствующей фамилии, наслаждалась глубоким миром, и не виделось надобности в героических усилиях для защиты и спасения ее духовных святынь, ее культуры и истории:

Победа, слава, подвиг – бледные
Слова, затерянные ныне…

Пристыженный и разочарованный Гумилев забросил фантазии и с головой погрузился в дела романо-германского семинария, хлопотал об учреждении там особой *«Готианской комиссии»*. Над переводом книги стихов Теофиля Готье «Emaux et Camées» («Эмали и камеи») он трудился несколько лет, сдавал сейчас готовую рукопись в печать и мечтал продолжить работу по созданию образцового «русского» свода сочинений великого француза в группе филологов-единомышленников:

– Существуют разные способы переводить стихи. Иногда переводчик пользуется случайно пришедшим ему в голову размером и сочетанием рифм, своим собственным словарем, часто чуждым автору, которого переводит, по личному

усмотрению то сокращает, то удлиняет подлинник. Ясно, что такой перевод можно назвать только любительским. Переводчик-профессионал, как истинный поэт, достойный этого имени, пользуется прежде всего изученной формой стихотворения, как единственным средством выразить дух…

Из «Готианской комиссии», как ранее из «кружка изучения поэтов», ничего не вышло. Но слухи о «научной» теории перевода, которую разработал Гумилев, просочились из университетских стен и достигли редакции нового петербургского литературно-поэтического журнала «Северные записки». Этот ежемесячник в 1913 году начали выпускать известный юрист, публицист и издатель Яков Сакер и его жена Софья Чацкина, хозяйка домашнего литературного салона. Журнал был «с направлением» и, по мысли супругов-издателей, «отстаивал те течения в области мысли и жизни, которые несут в себе высшие культурные ценности и начала свободного развития общественности». Особое внимание уделялось «новоевропейской культуре» – в «Северных записках» печатались Мочульский, Эйхенбаум, Виктор Жирмунский и другие светочи романо-германского семинария. Гумилев получил от издательской четы заказы на переводы поэмы французского символиста Франсиса Вьеле-Гриффена «Кавалькада Изольды» и (по подстрочнику с английского) – пьесы одного из столпов «викторианской» литературы Роберта Браунинга «Пиппа проходит».

Вокруг Чацкиной, прозванной *«литературной тетушкой»*, собиралась пестрая компания молодых беллетристов и поэтов, многие из которых были настроены весьма «акмеистично». Редакцию «Северных записок» в Саперном переулке навещал студент-политехник Леонид Каннегиссер – беспутный, веселый романтик, влюбленный в героические баллады Гумилева. Студент-филолог Георгий Адамович хоть и ругал акмеистов за «формализм», но прилежно изучал «Гиперборей» и все издания «Цеха». Чтил акмеистов и студент-юрист Валентин Парнах, более увлеченный новейшими теориями искусства, чем вопросами римского права. В «Северных записках» сотрудничала его сестра Софья Волькенштейн, подписывающая свои великолепные античные стилизации – в духе Сафо, помноженной на Ахматову, – девичьей, измененной на православный лад фамилией *Парнок*. Начинающий поэт и музыкант Никс Бальмонт ставил стихи Михаила Кузмина выше, чем стихи отца-символиста. Попадая на литературные застолья в Саперном переулке, развенчанный «синдик № 1» мог тешить себя надеждой, что акмеизм, изгнанный из «Аполлона» и угасавший зимой вместе с «Гипербореем» и «Цехом поэтов», обретал среди молодежи «Северных записок»

второе дыхание.

Вплоть до Нового года он так и продолжал жить анахоретом на «Тучке», объясняя свое отсутствие в семье обилием университетских занятий и срочных переводов. На Малой улице появлялся лишь по большим праздникам, да еще когда тоска одолевала сверх привычной меры. Однажды, просидев за картами в студенческой компании ночь напролет, он закупил на неожиданно богатый выигрыш всякую всячину и нагрянул в Царское Село с гостинцами – игрушкой для сына, фарфоровой безделушкой для матери, желтой восточной шалью для жены…

Ахматова вежливо благодарила.

В отличие от Гумилева, в этом сезоне она блистала. Слава ее безудержно росла, издатели охотились за новыми стихами, богемная свита постоянно окружала знаменитость. Ближайшей ее подругой стала Ольга Глебова-Судейкина, чей облик femme fatale окончательно утвердило поразившее Петербург самоубийство Всеволода Князева (бедняга, потерпев любовное фиаско, смертельно ранил себя в самый канун отъезда Гумилева в Африку). В «свиту» Ахматовой входила и другая петербургская femme fatale[353] – Паллада Богданова-Бельская, а также множество поклонников – председатель «Общества поэтов» Николай Недоброво, режиссер Сергей Радлов, историк искусства граф Зубов, композитор Артур Лурье. Впрочем, на литературных торжествах, открытых лекциях и диспутах Ахматова обычно появлялась с мужем. Бывали они вместе и в «Бродячей собаке», где, по сложившейся уже традиции, встретили новый 1914 год.

«Интимной стороной» ее жизни Гумилев, как и было условлено, не интересовался.

В конце концов он совсем примирился с происшедшей метаморфозой. Он сам был кругом виноват – и не оценив вовремя огромный талант жены, и легкомысленно позабыв азбучные истины о непостоянстве земных успехов. Ничего изменить было нельзя, и следовало теперь, заботясь о покое и благоденствии ближних, строить потихоньку новую жизнь, в которой не будет уже прежних ошибок и ненужных страданий. А за Ахматову следует лишь порадоваться, и быть с ней дружным, и вспоминать все пережитое с этой удивительной, может быть, даже гениальной женщиной, как далекую историю, позабыв обиды, позабыв…

Татьяна Адамович, закуривая очередную папихотку, замолчала. Она много курила, и была у нее привычка, рассуждая вслух, расхаживать, заложив, по-мужски, за спину руки, из угла в угол. Гумилев, устроившись в кресле, наблюдал за ней, подпирая щеку кулаком. С сестрой юного поэта-филолога из «Северных записок» он познакомился совсем недавно, но проводил у нее

вечера напролет, отводя душу в разговорах, день ото дня все более откровенных. Татьяна Викторовна была выпускницей Смольного института и энтузиасткой хореографической педагогики по Жак-Далькрозу[354]. Сразу после института она устроилась преподавательницей в женскую гимназию М. С. Михельсон на Владимирском проспекте, учителем была «от Бога», на воспитанниц имела огромное влияние. «Она была худенькая, черноволосая, с огромными бледно-серыми глазами, с узкими изящными руками и необычайно интонированной речью, в которой переливались «р» и «л» и где особенно заостренно звучали все «и», – вспоминала свою классную даму одна из «михельсоновских» гимназисток.

В «Бродячую собаку» Татьяна Адамович, любопытствуя, явилась с братом Георгием в конце 1913 года и освоилась среди богемы моментально, затеяв даже (к неудовольствию Михаила Кузмина) мимолетный флирт с брутальным художником Юрием Юркуном. На новогодние праздники у Адамовичей готовился домашний спектакль, куда зазвали всех маститых «собачников». «Называлась пьеса «Король прекрасен», и, разумеется, это была не пьеса, а «мистерия», – вспоминал Георгий Адамович. – Сочинил я какой-то метерлинко-футуристический бред: ночью, в пустыне, заблудившаяся, измученная толпа ждет, как чуда, появления избавителя-короля… Король, наконец, приходит. Но это не бородатый человек в мантии и короне, а пьяный юноша в смокинге, бормочущий чудовищные пошлости». Роль пошлого юноши согласилась исполнить Богданова-Бельская, а Татьяна Адамович с несколькими подругами-далькрозистками взяли на себя хореографическую часть.

Пьеса была представлена 8 января 1914 года. Гремел барабан, под крики *«гип-гип ура!»*. Паллада Олимповна, одетая американским коммивояжером, щелкала кнутом и грубым голосом требовала виски с содовой, семеро девушек-босоножек исполняли загадочный танец, а с воображаемого неба падали семь голубых гвоздик… В первом ряду среди почетных гостей только Михаил Кузмин и Юрий Юркун сидели с задумчивыми минами, размышляя каждый о своем. Лицо Ахматовой было перекошено от усилия сохранить серьезность, Николай Врангель, сдерживая судорогу смеха, потерял монокль, прочие уткнулись в носовые платки. «Спектакль, – вспоминал Адамович, – был провалом, скандалом. Публика – наши родственники и знакомые – сначала сдерживалась, потом стала посмеиваться и, наконец, принялась громко хохотать. Звездочет на сцене, глядя в небо, проникновенно говорил:

– Я ни-че-го не по-ни-маю.

Крики зрителей:

– И мы тоже.

Занавес опустился. Автор был потрясен. Гумилев пришел за кулисы и протянул мне руку:

– Я не знаю, отчего они смеются.

Он знал, конечно, отчего «они смеются». Он смеялся, вероятно, сам. Но в его рукопожатии было столько благородства, прямоты, сочувствия и какой-то неожиданной дружественности, что я поверил ему и был за все вознагражден».

Жест Гумилева оценила и сестра создателя «мистерии». Юркун немедленно был устранен, Кузмин ликовал, а Гумилев теперь, завершив университетские занятия, спешил на Владимирский проспект. Правда, под впечатлением от танца с синими гвоздиками, он сначала истолковал свой успех превратно, оповестив скромно здоровавшуюся с ним гимназическую наставницу о решении немедленно осуществить с нею *роковое предначертание*:

– В эту первую брачную ночь Вы войдете в спальню нагая, а я – через другую дверь во фраке и с хлыстом!

Получилось неловко. Стиль «афинских вечеров» Богдановой-Бельской оказался Татьяне Викторовне решительно чужд. Но встречи продолжались, неукоснительно приобретая очертания классического, без богемных вольностей, любовного романа. В феврале в издательстве М. В. Попова вышли из печати «Эмали и камеи», и Гумилев умиленно наблюдал, как радовалась Адамович, получив книжку:

– Очаровательная. Книги не читает, но бежит, бежит убрать в свой шкаф. Инстинкт зверька…

Он преувеличивал. Татьяна Викторовна читала много и охотно, но декадентским авторам решительно предпочитала умного реалиста Бальзака, а еще более – Мопассана.

Заложив руки за спину, она ритмично перемещалась из угла в угол, спокойно и уверенно разворачивая перед завороженным Гумилевым неизбежную картину ожидающего его счастья, а как только он пробовал встрепенуться в своем кресле – принималась еще горячей расхваливать Ахматову. И Гумилев почувствовал под ногами незыблемое основание. Все было хорошо. Он даже собрался наконец отдать таксидермистам привезенную из Африки шкуру черной пантеры, а получив на руки набитое чучело, приехал в Царское Село, где гостили брат и невестка. Тайно расположив пантеру в гостиной, он, под вечер, пригласил туда домочадцев и, включив свет, продекламировал:

А ушедший в ночные пещеры

Или к заводям тихой реки
Повстречает свирепой пантеры
Наводящие ужас зрачки.

«Я подумала, что она живая, – вспоминала А. А. Гумилева-Фрейганг. – Коля был способен и живую пантеру привезти». Дмитрий, служивший земским начальником (судьей) в Ямбургском уезде, увез брата охотиться на зайцев. По воспоминаниям невестки, Гумилев был совершенно счастлив, невероятно оживлен и ошеломил лужских помещиков, участвовавших в облаве, рассказами об африканских поединках со слонами и леопардами.

С женой он стал теперь совсем ровен и дружен. В середине марта Михаил Лозинский под маркой *«издательства «Гиперборей»* выпустил ее вторую книгу стихов «Четки», и Гумилев торжественно предрек:

– Придет время – и эту книгу будут продавать всюду, даже в мелочных лавках!

По случаю выхода «Четок» в Царском Селе прошло торжественное заседание возобновленного «Цеха поэтов», на которое Гумилев, полагая, что условности уже неуместны, пригласил Татьяну Адамович. Ее брат, вошедший тогда же в «Цех» «подмастерьем», так описывал этот вечер: «Несколько чашек чая, сверкающий паркет, Ахматова молчит. Молчат гости. Холодно. В соседней комнате слышен мерный, спокойный, слегка тягучий голос:

– Я встаю в восемь часов. От девяти до половины одиннадцатого я пишу стихи, потом я читаю Гомера. Без пяти одиннадцать я беру ледяную ванну и сразу принимаюсь за работу над историей Ганнибала. Как только подают завтрак…

Ахматова вслушивается, пожимает плечами, усмехается». Когда все разъехались, она, прежде чем уйти к себе, таинственно передала мужу благоухающий типографской краской стихотворный томик. Гумилев удивленно посмотрел вслед и, открыв книгу, прочитал на титульном листе:

Мои четки никому нельзя давать!

XI

Последние выступления в защиту акмеизма. Скандал в Слепневе. Сараевское убийство. Поездка в Прибалтику. У Татьяны Адамович в Вильно. «Путешествие в страну эфира». Свадебный юбилей брата Дмитрия. Июльский кризис. На Финском взморье. Переговоры с Маковским. Дневники Веры Алперс. Послание Ахматовой. Манифестации в Петербурге. Великая война.

В новом 1914 году Сергей Маковский решил вернуть в «Аполлон» литераторов-акмеистов. В № 1 журнала было помещено обширное «Письмо о русской поэзии» Гумилева. Оба «синдика», почувствовав возможность реванша за прошлогоднее поражение, попытались восстановить деятельность «Цеха поэтов». Но это было не так-то просто. Стоило Городецкому на банкете в редакции «Северных записок» (в честь освобожденных по прошлогодней «трехсотлетней» юбилейной амнистии политических узников Шлиссельбурга) заикнуться о необходимости прежних строгостей в совместной работе, как Ахматова и Мандельштам, подделав подписи всех «подмастерьев», срочно составили петицию о закрытии «Цеха». Городецкий подделок не распознал и был очень смущен, поставив на подметной бумаге резолюцию:

Всех повесить, а Ахматову заточить в Царское Село на Малую, 63.

Потом покосился на соседей за торжественным столом и приписал:

Шутка.

15 апреля на «Тучке» «синдики» держали военный совет. Разговор велся на повышенных тонах. Гумилев без обиняков заявил, что, по его мнению, *«народная простота»* вряд ли может мыслиться ακμή современного российского искусства. Да и толковать об особой *«славянской духовности»* пока не приходится – особенно сейчас, когда братья-славяне, разгромив Турцию, тут же позорно передрались на Балканах меж собой. Гумилев настаивал, что вместо славянофильской пропаганды нужно просвещать молодых писателей, воспитывать у них хороший вкус и стремление к ценностям мировой христианской культуры, а не к мифологическим перунам, каликам перехожим и резным петушкам:

– «Цех поэтов» должен стать литературным политехникумом для молодежи – иначе он погиб. Неужели ты не понял, что акмеизм – не обычная «литературная школа»?!

Городецкий вспылил:

– Ты, с твоими эстетами…

Назревавшую ссору прервал зашедший на «Тучку» Шилейко. Наскучив семейным покоем, шумеролог оставил жену и вновь снял студенческую каморку на Васильевском острове. Городецкий убыл восвояси, но на следующий день «синдики» обменялись письмами.

– Решать о моем уходе от акмеизма или из «Цеха поэтов» могу лишь я сам, и твоя инициатива в этом деле была бы только предательской, – писал Гумилев.

– От акмеизма ты сам уходишь, говоря, что он не «школа», – отвечал Городецкий.

Разгневанные друзья встретились вновь в немецком ресторане Кинча (излюбленное местечко всех универсантов на углу Первой линии и Большого проспекта), помирились и выпили мировую. «Цех» все-таки заработал – весной 1914 года, прошли (правда, без особого успеха) несколько заседаний. Добросовестный Михаил Лозинский выпустил, наконец, в марте заключительные № № прошлогодней (!) подписки «Гиперборея»; под цеховой «лирой» вышел сборник «Песен полей и комнат» Владимира Юнгера[355]. Повод для сдержанного оптимизма был – если бы не возникший среди «синдиков» идейный кризис, разрешить который полюбовно никак не получалось. Не помогло даже новое «Письмо о русской поэзии» (для майской книжки «Аполлона»), львиная доля которого была посвящена недавно вышедшему «Цветущему посоху» – книжке философских восьмистиший Городецкого, в которых, по мнению автора, в полной мере раскрылось его понимание ακμη:

> Назвать, узнать, сорвать покровы
> И праздных тайн и ветхой мглы —
> Вот подвиг первый. Подвиг новый —
> Всему живому петь хвалы[356].

«… Носитель духа веселого и легкокрылого, охотно дерзающего и не задумывающегося о своих выражениях, словом, кудрявый певец из русских песен, – писал о Городецком Гумилев, – он, наконец, нашел путь для определения своих возможностей, известные нормы, дающие его таланту расти и крепнуть». Похвала вышла по-брюсовски замысловатой, если не сказать – *двусмысленной*. К тому же, рифмованным декларациям «Цветущего посоха» в этом «письме» противополагались «Четки», в которых, по мнению Гумилева, «женщины влюбленные, лукавые, мечтающие и восторженные говорят… подлинным и в то же время

художественно-убедительным языком».

Ахматова, впрочем, тоже обиделась.

Гумилев, по-видимому, уже отчаялся объяснить кому-либо *«что такое акмеизм»*. С начала года он постоянно выступал на эту тему. Он «ломал копья в защиту акмеизма» (выражение журналиста-обозревателя) на январском докладе мистического анархиста Георгия Чулкова в Тенишевском училище, был в феврале на диспуте об акмеизме в Политехническом институте. В апреле (уже после ссоры с Городецким) Гумилев полемизировал с Евгением Лисенковым, сделавшим доклад об акмеизме в «Обществе поэтов», а три дня спустя сам выступил с большой речью «Об аналитическом и синтетическом искусстве» на заседании Всероссийского литературного общества.

Результат был всюду неизменный – вежливое недоумение.

Георгий Адамович, побывавший на этих докладах и дискуссиях, вспоминал, что для Гумилева акмеизм сводился к провозглашению ***оптимизма как мировоззрения***: «Он знал и видел, что в человеческом существовании не все благополучно. Но никогда он не впадал в отчаяние и органически не переносил никакого копания в «задаче бытия». У него было простое, цельное и стройное представление о жизни, – и все, что могло это представление смутить, он отвергал, презрительно и спокойно, как «неврастению». Но в безмятежном, солнечном, весеннем Петербурге 1914 года среди благодушных, предвкушающих долгий летний отдых столичных интеллектуалов никто не понимал, зачем нужно вновь и вновь провозглашать с трибуны, как заклинание или девиз:

– Все будет хорошо!

Кто бы сомневался? Гумилев и сам понимал, что с акмеизмом он, вероятно, перемудрил. Акмеизм создавался в расчете на близкую катастрофу. Он был оружием и, как и всякое оружие, в мирное время казался чем-то излишним, нелепым и раздражающим. И было ясно, что в обозримом будущем применения ему не найдется. Притихли даже Балканы, только неуемные победоносные сербы, разгромив турок и проучив братьев-болгар, теперь никак не могли примириться с австрийцами, утвердившимися в славянских Боснии и Герцеговине, в двух шагах от Белграда. Но не из пастушеского же Сараева было ждать угрозу Петербургу и Москве!

Блистательный сезон 1913–1914 гг. завершался. К концу мая столица, как обычно, опустела: все разъезжались по пригородным дачам и поместьям. Двинулся в Слепнево и Гумилев вместе с Ахматовой, сыном и всеми домочадцами. О предстоящем летнем сезоне в патриархальной бежецкой усадьбе он думал с тревогой.

Ахматова после визита Татьяны Адамович в Царское Село резко поменяла тон в общении с мужем. Дело явно шло к грандиозному финальному скандалу, который Гумилев предпочел бы выдержать tête-à-tête[357], а не в присутствии дюжины родственников и слуг. Надежда была на дипломатические таланты Михаила Лозинского, собиравшегося летом навестить Гумилевых. На Ахматову Лозинский действовал благотворно – она называла его «лучшим из людей» и всецело доверяла. «Пожалуйста, вспомни, что ты обещал приехать, и приезжай непременно, – заклинал друга Гумилев, едва очутившись в Слепневе. – У нас дивная погода, теннис, новые стихи… Чем скорее, тем лучше. Я, почему-то, как Евангелию, поверил, что ты приедешь, и ты убьешь веру в неопытном молодом человеке, если только подумаешь уклониться». Пока же, в ожидании Лозинского, Гумилев предпочитал поменьше находиться в кругу семьи, разъезжая с визитами по соседям. Но Лозинский, жена которого была на сносях, так и не приехал.

А скандал все-таки грянул!

Ахматова, затворясь, ночь напролет не тушила свет, и наутро, явно заплаканная, но бодрая, внезапно заговорила о разводе: ***не пора ли?*** Говорила она точь-в-точь как Адамович, и у Гумилева мелькнула мысль: уж не перехватила ли она невзначай письмо Татьяны Викторовны? Вслух же он сказал, что, по всей вероятности, – ***да, пора***. После полугода обоюдной игнорации спокойный, приличный развод был, разумеется, наилучшим исходом. Сказал – и удивился: насколько все-таки странно непоследовательны женщины в своих решениях и действиях! На крик и грохот сбежался весь дом. Испуганная нянька Эмилия Ивановна просила не тревожить маленького Леву, Александра Степановна Сверчкова успокаивала Ахматову, а Анна Ивановна решительно приступила к сыну и невестке: в чем дело?

Ахматова выпалила, что разводится с Гумилевым, что тот ей *сам развод предложил!!* И, внезапно успокоившись, добавила, что немедленно уезжает к матери в Киев.

И сына с собой забирает[358].

Тут уж вспылила Анна Ивановна:

– Я тебе правду скажу, – гневно отрезала она, обращаясь к стушевавшемуся Гумилеву, – Леву я больше Ани и больше тебя люблю!

Ахматова, в конце концов, уехала в Киев (одна, разумеется). Гумилев же провел в Слепневе еще несколько дней и тоже уехал – в Прибалтику, где брат Дмитрий отмечал у родственников жены пятилетний юбилей свадьбы[359]. В пути его настигло событие, о котором заговорили все газеты: 15 (28) июня сербский террорист

выстрелами из пистолета убил в Сараево прибывшего на боснийские маневры австрийского эрцгерцога (наследного принца) Франца-Фердинанда. Жестокое убийство вдвойне поражало еще и тем, что среди высших австрийских политиков эрцгерцог выгодно отличался здравомыслием и терпимостью к славянам, населявшим владения Габсбургов. Он был женат на чешской графине (убитой в Сараево вместе с мужем), имел резиденцией замок в Конопиште под Прагой и мечтал о превращении Австро-Венгрии в Австро-Венгро-Славию. Жестокий, властный, своенравный и вспыльчивый Фердинанд, как и большинство австрийской знати, презирал сербов, терпеть не мог русских, но никогда не позволял эмоциям взять верх над трезвым политическим расчетом. Готовясь сменить на троне дунайской империи своего восьмидесятитрехлетнего дядю Франца-Иосифа I, эрцгерцог говорил:

– Если мы предпримем что-нибудь против Сербии, Россия встанет на ее сторону, и тогда мы должны будем воевать с русскими. А я никогда не поведу войну против России. Я пожертвую всем, чтобы этого избежать, потому что война между Австрией и Россией закончилась бы или свержением Романовых, или свержением Габсбургов, или, может быть, свержением обеих династий…

По дороге Гумилев на несколько дней задержался в Вильно. Тут проводила летние месяцы Татьяна Адамович – ее единокровный брат, генерал-майор Б. В. Адамович командовал Виленским пехотным военным училищем. Адамович жила отдельно от родных, «в одной, но очень большой комнате, снимая ее в совсем безличной и тихой семье». Вдали от французской гимназии она оригинальничала – задрапировала кровать, стол и оттоманку пестрыми восточными платками, перемешанными со старинной цветной парчой, и принимала гостей в танцевальном костюме баядеры. По-видимому, Татьяна Викторовна очень хотела выйти замуж за Гумилева. Тот же оказался до странности меланхоличен, нерешителен – и обычное самообладание на этот раз изменило ей. В Вильне, как и в Слепневе, были истерики, «мокрые полотенца и измятые подушки» и, вдобавок, – весьма сомнительный врач, щедро пользовавший «баядеру» эфирными препаратами. Ахматова впоследствии была уверена, что только обнаружившееся пристрастие Адамович к эфиру и удержали в итоге Гумилева от крутых жизненных поворотов – от наркоманок он всегда старался держаться подальше:

– Если бы я сделала что-нибудь подобное – Николай Степанович рассорился бы со мной немедленно и навсегда!

В начале июля Гумилев уже приносил поздравления брату и

невестке. «Были свои, но были и гости, – вспоминала А. А. Гумилева-Фрейганг. – Было нарядно, весело, беспечно. Стол был красиво накрыт, все утопало в цветах. Посредине стола стояла большая хрустальная ваза с фруктами, которую держал одной рукой бронзовый амур. Под конец обеда без всякой видимой причины ваза упала с подставки, разбилась, и фрукты рассыпались по столу. Все сразу замолкли. Невольно я посмотрела на Колю, я знала, что он самый суеверный: и я заметила, как он нахмурился». Дело было, конечно, не только в суеверии: в эти дни тревога постепенно охватывала всех здравомыслящих людей в Европе и России. Австрийские дипломаты без обиняков заявляли, что за убийцей эрцгерцога стоят правящие круги Сербии, обвиняя Белград в государственном терроризме. В Австро-Венгрии и в союзной с ней Германии повсеместно начинались притеснения славян, иногда перераставшие в погромы. Европейский мир, казавшийся еще весной незыблемым, повис вдруг на волоске.

На исходе первой недели трагического июля 1914 года Гумилев вернулся в Петербург, но вместо того, чтобы ехать в Слепнево, – отправился в Куоккалу, популярное в столичных литературных и художественных кругах финское курортное местечко в часе езды от города. В воскресенье, 6 июля, он остановился в пансионате «Олюсино», спустя три дня, 9-го, переехал в соседние Териоки, где снял меблированную комнату в привокзальной кофейне «Идеал». Тут он прожил неделю, покинув Финское взморье 17 июля 1914 года, когда догорал Белград, подвергнутый накануне австрийцами артиллерийской бомбардировке, а петербургские вокзалы были забиты срочно возвращающимися из летних отпусков офицерами.

Последние дни и часы мирного времени выдались в жизни Гумилева на редкость безмятежными – настоящим затишьем перед бурей. Он явился в Куоккалу, когда еще никто из ее обитателей не помышлял о близкой войне. Погода стояла прекрасная, а тревожные вести из Европы мало отражались на местных дачниках. Гумилев навестил Корнея Чуковского, готовившего большую статью об акмеизме, и начал переговоры о постановке своего «Актеона» в местном театре-кабаре (там летом играли хорошо знакомые по «Бродячей собаке» актеры – Гибшман, Сладкопевцев, Нотман и другие). В Териоках, в «Идеале», у Гумилева побывал Сергей Маковский, с которым они долго беседовали – хотя и «бурно» («Мы то чуть не целовались, то чуть не дрались»), но на темы далекие от политики. Речь шла о возобновлении в «Аполлоне» в новом сезоне отдела беллетристики. Под впечатлением от этой беседы Гумилев начал

большое «Письмо о русской поэзии» для сентябрьской книжки журнала. Кроме того, за несколько дней, проведенных на Финском взморье, он набело завершил рассказ «Путешествие в страну эфира» (ироническое воспоминание о виленских наркотических пирах Адамович) и набросал начало статьи об африканском искусстве.

По вечерам Гумилев, по примеру множества других летних насельников Териок, прогуливался по городским бульварам и аллеям великолепного приморского парка, любезничая с курортными дамами и девицами и блистая красноречием. Одна из случайных собеседниц Гумилева, юная пианистка Вера Алперс, вела дневник, в котором остались восторженные записи об этих прогулках. «Я столько узнала о себе за последние дни, – пишет она, – я точно вступила в другой мир, мне открылась возможность иной, внутренней жизни, внутренней работы… Он уверял меня, что это мне не ново, что я все это уже думала и что если б я и не встретила его теперь, то и сама через год пришла бы к тому же. Надо работать над собой, чтобы достигнуть чудес. Быть сильной духом. Вот для чего это надо!». ***Он*** был воистину неотразим! Курортное знакомство (ужин в кафе, две-три галантные вечерние встречи и поцелуй на прощанье) возбудило в Алперс фантазии и мечты, не оставлявшие эту незаурядную женщину еще несколько месяцев (!). На страницах дневника она создала собственный воображаемый роман с Гумилевым – постоянно возвращаясь к услышанным от него фразам, вновь затевая оборванные споры, мысленно восставая и сдаваясь на милость победителю.

Между тем для Гумилева милые курортные заботы, знакомства и невинные интриги были лишь способом занять время в ожидании известия, которое, надо полагать, было важнее для него, чем реформы в «Аполлоне», судьбы акмеизма и даже европейские катаклизмы. Крепко подумав обо всем случившемся в жизни за последние полгода (зачем, собственно, ему и понадобилась пауза в Куоккале и Териоках), Гумилев, обосновавшись в «Идеале», отправил Ахматовой в Киев примирительное письмо и терпеливо ждал ответа. Это долгожданное – во всех смыслах! – послание пришло к нему 17 июля, в пятницу. «Милый Коля, – писала Ахматова, – 10-го я приехала в Слепнево. Нашла Левушку здоровым, веселым и очень ласковым. О погоде и делах тебе, верно, напишет мама…» К письму были приложены какие-то стихи, но вникать далее Гумилев не стал, собрался и спустя несколько часов стоял на перроне Финляндского вокзала в Петербурге.

Он думал немедленно ехать в Слепнево, но, оказавшись на улицах столицы, поневоле задержался[360]. Уже два дня Петербург

сотрясали манифестации, невиданные со смутных времен Кровавого воскресенья и зимних волнений 1905–1906 гг. Но на этот раз источником явился не разрушительный, а патриотический порыв. Студенты и юнкера, рабочие и офицеры, чиновники и курсистки, дворяне и разночинцы, смешавшись, впервые в российской истории, в единый строй, с флагами, иконами и портретами Государя митинговали, выкрикивая проклятия и брань, у посольства Германии на Исаакиевской площади и у австрийского посольства на Сергиевской улице. Нескончаемые вереницы возбужденных горожан шли красочными демонстрациями по Невскому проспекту и распевали многоголосым хором национальный гимн перед Зимним дворцом. Власти, привыкшие к иным рабочим и студенческим «массовкам», распорядились было рассеивать стихийные уличные толпы. Но полицейские чины, сбитые с толку, большей частью бездействовали, а тех, кто (очень вежливо) просил манифестантов разойтись, митингующие петербуржцы (не менее вежливо) вразумляли:

– Вы же не австрийская полиция!

В газетах срочно публиковали фотографии задушевной беседы сурового седого генерала с видавшим разные виды пожилым мастеровым, а буйная фабричная молодежь, еще недавно готовая строить баррикады, теперь перед объективами восторженно приветствовала бравых пехотных офицеров. В концертных залах публика требовала переменить исполнение произведений Бетховена и Моцарта на патриотическую увертюру Чайковского «1812 год», церкви были переполнены, в Казанском кафедральном соборе непрерывно служили молебны.

По всей вероятности, Гумилев так и не смог в эти дни покинуть Петербург, остановившись у Шилейко, на 5-й линии Васильевского острова[361]. По крайней мере, в исторический канун 20 июля 1914 года он точно был не в Слепневе, а в Петербурге. Уже все знали, что накануне германский посланник граф Фридрих фон Пурталес вручил министру Сазонову военную ноту императора Вильгельма II. Великая война уже началась, но многотысячная толпа на Дворцовой площади ждала услышать это из уст самого Государя. Сергей Городецкий, постоянный спутник Гумилева во всех петербургских манифестациях июля 1914 года, воспел торжественный миг в стихотворении «Сретенье Царя»[362]:

До полдня близко было солнцу,
Когда раздался пушек гул.
Глазами к каждому оконцу
Народ с мечтою жадной льнул.

Из церкви доносилось пенье…
Перед началом битв, как встарь,
Свершив великое моленье,
К народу тихо вышел Царь.

В «Высочайшем манифесте» Николай II говорил о внезапной агрессии со стороны Германии и призывал подданных «отразить дерзкий натиск врага». ***Вступая в войну, Россия не нападала – Россия защищалась.*** Это было понято и принято большинством народа:

– Нам чужого не надо, но и своего не отдадим!

«Государь вышел на балкон к народу, за ним императрица, – пишет один из участников действа перед Зимним дворцом. – Огромная толпа заполнила всю площадь и прилегающие к ней улицы, и когда она увидела Государя, ее словно пронизала электрическая искра, и громовое «ура» огласило воздух. Флаги, плакаты с надписями «Да здравствует Россия и славянство!» склонились до земли, и вся толпа, как один человек, упала перед царем на колени». Во всеобщей сумятице и ликовании, охвативших Петербург, как-то позабылось, что сараевское покушение, с которого и начался весь военный кризис, было грязной и кровавой провокацией сербских заговорщиков-политиканов, подхваченной и раздутой другими европейскими политиканами, действовавшими за спинами своих монархов. И, как и предполагал убитый в Сараево мудрый эрцгерцог, и для немцев, и для россиян, такая война не могла не стать ***братоубийственным соблазном***.

Волна черного безумия на несколько дней накрыла обе столицы.

В Берлине разъяренная толпа гонялась за местными русскими обитателями:

– Смерть русским! Они обманули нашего императора! Они втянули нас в войну!

Несчастным плевали в лицо, в них бросали окурки от папирос и пивные пробки. Берлинские полицейские и солдаты врывались в отели и кафе и затевали демонстративные обыски «петербургских шпионов», заставляя мужчин и женщин раздеваться догола. Автомобили и экипажи, отвозившие на вокзал из российского посольства семьи дипломатов, прямо на Unter den Linden забрасывали камнями и бутылками. Жуткие сцены происходили на самом Центральном вокзале, который штурмовали перепуганные туристы. «С женщинами истерика, – вспоминал один из беженцев, – дети надрывают душу нечеловеческими

криками. С некоторыми происходит буквально столбняк. Картина ужасная… Раздается ругань, самая отборная, толстых, безобразных немок. Они подбадривают озверевших солдат и жандармов криками: «Бей их, русских свиней. Научи их, мерзавцев, маршировать!..» И те, подбодренные, били…»

В то же самое время в Петербурге пьяная орда мещан, рабочих «низшего класса» и хулиганствующих подростков наводнила городской центр. Ударами булыжников, кирпичей и дубинок крушились изящные венские булочные и уютные немецкие кафе, мебельный магазин братьев Тонет и книжная лавка Излера. Такого Петербург еще не видел! Смяв полицейскую цепочку, погромщики прорвались через Большую Морскую улицу к опустевшему зданию Германского посольства на Исаакиевской, взломали двери и ринулись во внутренние покои. Из окон летела мебель, раздирались старинные живописные холсты, вдребезги разлетались на мостовой мраморные антики и изваяния мастеров Возрождения из личной коллекции графа Пурталеса. С крыши рухнула вниз одна из конных скульптур Диоскуров, а вторая повисла, зацепившись за выступ. «Раздававшиеся при этом треск и грохот вызывали «ура», – сообщает очевидец. – Чем сильнее был треск, тем громче было «ура» и улюлюканье».

Как в Берлине, так и в Петербурге бесчинствующая чернь находила в эти дни сочувствие и поддержку среди чистой публики. На Исаакиевской раскрасневшийся Городецкий бурно восхищался зрелищем *«русской удали»* и, тыча кулаком в сторону затянутого клубами дыма и пыли посольства, восклицал:

– Как славно, что оно так разгромлено!

Гумилев смотрел на происходящее с равнодушным любопытством. Из всего увиденного и услышанного в эти дни он уже сделал для себя тот главный практический вывод, какой сделали тогда же по всей стране миллионы простых крестьянских мужиков, деловито изготовлявшихся к военному походу:

– Ежели немец прет, то как же не защищаться?!

«Не то чтобы патриотизм его был так пылок, – вспоминал Георгий Адамович, – или действительно он был убежден, что «немцы – варвары», и «вопрос поставлен о гибели или спасении всей европейской культуры», как тогда говорили. Нет. Но Россия воюет, – как же может он остаться в стороне. Он считал, что это прямой, простейший гражданский долг. Он не рассуждал о целях войны, он сознательно сливался с теми, кто говорил: «раз объявили войну, значит, так надо… не нашего ума дело».

XII

Поступление на военную службу. Жертвы военных известий. Война в Европе. «Немецкие зверства». Прибавление в семье Лозинских. Отправка в часть. Обучение в Кречевицком лагере. Лейб-гвардии Уланский Ее Величества полк. Второй Прусский поход. «Записки кавалериста». Передислокация в Польшу. Сражение за Петроков и первый Георгиевский крест. Рождественский отпуск. Выступление в «Бродячей собаке». Карл Бехгофер. «Военная» поэзия в «Аполлоне». С Ахматовой в Вильно.

Как и большинство петербуржцев, все семейство Анны Ивановны Гумилевой после начала войны прервало загородный летний сезон и вернулось в столицу. С 23 июля Гумилев был в Слепневе, помогая домашним в нежданном отъезде, и 25-го вместе с Ахматовой вновь оказался в Петербурге:

> И в город печали и гнева
> Из тихой Корельской земли
> Мы двое – воин и дева —
> Студеным утром вошли[363].

Все любовные раздоры остались в другой эпохе. В петербургских газетах уже появились «Правила о приеме в военное время охотников на службу в сухопутные войска», и Гумилев начал выправлять указанные там необходимые документы. 30 июля он получил медицинское свидетельство о годности к строевой службе («за исключением близорукости правого глаза и некоторого косоглазия, причем, по словам г. Гумилева, он прекрасный стрелок»), а на следующий день – полицейское свидетельство о благонадежности. В первых числах августа его приняли на военную службу «в качестве охотника с предоставлением выбора рода оружия». Гумилев избрал кавалерию и получил направление на шестинедельное обучение в сводный запасной Кавалерийский полк, расквартированный под Новгородом. В тот же учебный полк был направлен и Николай Сверчков – заявление в добровольцы Коля-маленький подал вместе с дядей[364]. А Дмитрий Гумилев в это время уже воевал: он был призван из запаса в 146-й пехотный Царицынский полк на второй день войны. Анна Гумилева-Фрейганг стала сестрой милосердия.

Война, еще не переступив русские рубежи, уже начинала

ломать судьбы. Когда Гумилев созерцал разрушение германского посольства, скончался, не выдержав потрясающих новостей, его двоюродный брат Борис Покровский, два года как скорбный главой. Пришел черед и другому безумцу – графу Василию Комаровскому. Сергей Маковский рассказывал, как утонченный поэт, выпустивший наконец недавно желанное собрание своих пленительных, очень «царскосельских» стихотворений, явился утром 20-го на Новую улицу, сияющий от счастья.

– Привет путешествующему! – весело сказал он, подавая руку. – Как не стыдно спать, когда весь мир загорелся! Слышали последние события? Николай все-таки оказался молодцом. Вызвал Вильгельма на поединок! Навстречу выезжают друг другу: он на белом коне, а державный супостат на вороном. Кто другого свалит, в пользу того и решится война. Très drôle, et quand même magnifique![365] Вы не находите?

«Я внимательно всмотрелся в него, – вспоминал Маковский. – Голос, улыбка, манера себя держать были те же. Но глаза! Они потеряли то, что можно назвать «духовной искрой», они стали матовыми, без блеска, отсутствующими, какими бывают только глаза сумасшедших…» Растерянный Маковский не отходил от своего друга до того, пока тот не стал проявлять явные признаки буйства, а затем – препроводил в лечебницу[366].

Чудовищные известия приходили из Европы, где Германия, выступив против Франции, вознамерилась совершить *«Blitzkrieg»*, молниеносный разгром. Нарушая все мыслимые представления о международном праве, войска кайзера Вильгельма II ринулись в обход пограничных французских крепостей через земли нейтрального Бельгийского королевства, не удосужившись даже объявить войну! В ответ на ультимативные требования предоставить германцам «право свободного прохода», армия и население Бельгии по призыву короля Альберта оказали захватчикам ожесточенное сопротивление и развернули партизанскую борьбу. Начались жестокие расправы. Наряду с людьми жертвами нашествия становились памятники культуры. Дотла был разрушен древний Лувен с собором св. Петра, ратушей и университетом, сгоревшим вместе с 300 000 средневековых книг и рукописей. В руины превратились города Малин, Термонд, кварталы Льежа подвергалась бомбометанию с дирижабля (это был первый воздушный налет в истории войн).

– Разумеется, наше наступление носит зверский характер, – констатировал глава германского Генерального Штаба Гельмут Мольтке-младший, – но мы боремся за нашу жизнь, и тот, кто посмеет встать на нашем пути, должен подумать о последствиях…

Петербургские газеты и журналы были полны душераздирающими статьями о *«бельгийских ужасах»*: сотни сожженных младенцев, поголовное изнасилование женщин, массовое четвертование и обрубание рук…[367] Разгромленное германское посольство смотрело на Исаакиевскую площадь пустыми глазницами мертвых окон, петербургские немцы поспешно меняли фамилии, но истерический морок никак не уходил. На этом фоне Гумилев от души порадовался известию, поступившему от Михаила Лозинского: 20 июля, в самый день объявления войны, его Татьяна Борисовна благополучно разрешилась сыном Сергеем. Гумилев побывал у счастливых родителей и написал мадригал новорожденному:

Вот голос томительно звонок —
Зовет меня голос войны,—
Но я рад, что еще ребенок
Глотнул воздушной волны.
……
Он будет любимец Бога,
Он поймет свое торжество,
Он должен! Мы бились много
И страдали мы за него.

Это было его первое и единственное в эти дни «военное» стихотворение. Получив в распределителе солдатскую форму и обрившись наголо, Гумилев, ожидая отправки в часть, с недоумением смотрел на усилия «штатских» петербургских поэтов немедленно перестроиться на боевой лад.

– Неужели и его пошлют на фронт? – говорил он Ахматовой, повстречав во время призывных хлопот Александра Блока (тот был уверен, что «война очистит воздух», и активно участвовал в земской благотворительности в пользу семей военнослужащих). – Ведь это то же самое, что жарить соловьев!

Сам он себя среди «соловьев» не числил, от воззваний пока воздерживался, но договорился с редакцией газеты «Биржевые ведомости» о публикации фронтовых корреспонденций. Впрочем, до фронта было еще далеко – пока предстояло обучение кавалерийскому искусству. В Кречевицких казармах у новгородской деревни Наволоки, где шла подготовка в кавалерию, выяснилось, что навыки слепневских вольтижировок для конного строя не годятся. «Я навещала его под Новгородом, – рассказывала Ахматова, – и он говорил мне, что учится верховой езде заново. Я удивлялась – он отлично ездил на лошади, красиво и подолгу, по много верст. Оказалось – это не та езда, какая

требуется в походе. Надо, чтобы рука непременно лежала так, а нога этак, иначе устанешь ты или устанет лошадь. И без битья не обходится учение. Он рассказал, что великого князя ефрейторы секут по ногам». За отдельную плату Гумилев брал индивидуальные уроки рубки и защиты шашкой у одного из унтер-офицеров. А в огневой подготовке он постоянно показывал лучшие результаты в полку, прочно поделив первое место со своим новым приятелем Юрием Янишевским, соседом по двухъярусной койке. Гумилев рассказывал Янишевскому и другим вольноопределяющимся о своих африканских приключениях. Вскоре «охотник на львов» стал популярной фигурой в Кречевицком лагере. «Самовар не сходит со стола, наши шахматы заняты двадцать четыре часа в сутки, хотя люди в большинстве случаев милые, но все же это уныло, – писал Гумилев матери. – Только сегодня мы решили запираться на крючок, не знаю, поможет ли. Впрочем, нашу скуку разделяют все и мечтают о походе, как о Царствии Небесном».

За месяц, проведенный в Запасном полку, Гумилев дважды побывал в краткосрочном отпуске в Петербурге и Царском Селе и знал, разумеется, что кампания в Восточной Пруссии, где с начала августа действовали две русские армии, складывается неудачно. Вырвавшаяся далеко вперед 2-я армия генерала А. В. Самсонова была окружена и разгромлена в сражении у местечка Танненберг в Мазурских болотах, 1-я армия генерала П. К. Ренненкампфа спешно отходила на исходные рубежи. Зато разворачивающаяся на юге битва с австрийцами день ото дня приобретала все более победоносный характер: войска Юго-Западного фронта, захватив земли Восточной Галиции и Буковину, приступили к крепости Перемышль. На европейском фронте германцы продрались сквозь Бельгию, разбили французов в грандиозном Приграничном сражении, едва не достигли Парижа, но, в свою очередь, были разбиты на реке Марне. Сейчас обе армии, стремясь зайти противнику во фланг, маневрировали, устремляясь к побережью Северного моря. Ни одна из воюющих сторон пока не добилась нигде решающего успеха, и все напрягали усилия, надеясь на скорую победу.

21 сентября Гумилев и Янишевский получили назначение во 2-й Маршевый эскадрон Лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка и в конце месяца прибыли в уездный городок Россиены Ковенской губернии. Здесь после недавних боев в Восточной Пруссии уланы были расквартированы на отдых. Пополнение распределили по боевым подразделениям. Янишевский получил назначение в 6-й эскадрон, Гумилев – в первый, именуемый *«эскадроном Ее Величества»*. Эскадроном командовал ротмистр

князь Илья Кропоткин, а взводным командиром Гумилева стал поручик Михаил Чичагов. Для всех новичков были организованы ежедневные учения, конные и пешие, продолжавшиеся десять первых дней пребывания Гумилева в полку.

Лейб-гвардии Ее Величества уланский полк входил во 2-ю Гвардейскую кавалерийскую дивизию 1-й армии и успел отличиться во время августовского наступления в победном бою под Каушенами. Уланы еще не успели остыть от тех событий, неудача летнего вторжения казалась им временной, и все ожидали возобновления боевых действий:

Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня,
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.

В октябре российское командование вновь подняло войска Северо-Западного фронта в наступательную операцию. Уланский полк был временно включен в состав 1-й отдельной кавалерийской бригады генерал-майора В. Н. Майделя и выдвинулся к германской границе по направлению к городу Владиславову (здесь уланы пересекали границу и два месяца тому назад). 17 октября Владиславов взяли пехотинцы, которых кавалерия поддерживала в арьергарде. Бой поразил Гумилева сочетанием мирных окрестных пейзажей с ощущением грозящей повсюду опасности, когда «напрягается воля, прямо до физического ощущения какого-то окаменения»:

Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет,
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед.

А «ура» вдали, как будто пенье
Трудный день окончивших жнецов.
Скажешь: это – мирное селенье
В самый благостный из вечеров.

25 октября «эскадрон Ее Величества» был уже на германской земле: «Эти шоссейные дороги, разбегающиеся в разные стороны, эти расчищенные, как парки, рощи, эти каменные домики с красными черепичными крышами наполнили мою душу сладкой жаждой стремления вперед, и так близки показались мне мечты Ермака, Перовского и других представителей России, завоевывающей и торжествующей[368]. Не это ли и дорога в Берлин, пышный город солдатской культуры, в который надлежит входить не с ученическим посохом в руках, а на коне и с винтовкой за плечами?»

Два дня уланы продвигались на север, вдоль речки Шешупы, взяли штурмом города Вилюнен и Шиленен, после чего их полк был выведен из-под командования Майделя и отправлен в Ковно для отдыха[369]. «Все, что ты читал о боях под Владиславовом и о последующем наступленьи, – писал Гумилев Михаилу Лозинскому, – я видел своими глазами и во всем принимал посильное участие. Дежурил в обстреливаемом Владиславове, ходил в атаку (увы, отбитую орудийным огнем), мерз в сторожевом охраненьи, ночью срывался с места, заслыша ворчанье подкравшегося пулемета, и опивался сливками, объедался курятиной, гусятиной, свининой, будучи дозорным при следованьи отряда по Германии». По всей вероятности, во время недельного отдыха в Ковно Гумилев начинает работу над «Записками кавалериста» – корреспонденциями для «Биржевых ведомостей», где также получили отражение только те военные события, которые автор «Записок» *«видел своими глазами»* и в которых *«принимал посильное участие»*. Вслед за пушкинским батальным очерком «Путешествия в Арзрум» с его знаменитым ***«Вот все, что в то время успел я увидеть»*** – очерки Гумилева показывают боевые действия в максимальном приближении к той, неудобной для любых идеологических доктрин, *личной правде жизненного факта*, которая одна только и может воспитать «мужественно-твердый и ясный взгляд на вещи» в такой специфической области, как война. «При наступлении все герои, при отступлении все трусы – это относится и к нам, и к германцам, – подытоживал Гумилев опыт своих первых военных недель. – В частности, относительно германцев, ничто так не возмущает солдат, как презрительное отношенье к ним наших газет. Они храбрые воины и честные враги, и к ним невольно испытываешь большую симпатию, потому что как-никак ведь с ними творишь великое дело войны. А что касается грабежей, разгромов, то как же без этого, ведь солдат не член Армии Спасенья…»

9 ноября уланский полк начал погрузку в эшелон, следующий

из Ковно в Ивангород (Южная Польша). Царство Польское осенью 1914 года подвергалось ожесточенному натиску германцев, дошедших до Варшавы, выбитых затем на первоначальные позиции к границе, но возобновивших натиск. На этот раз в центре сражения оказалась Лодзь, у которой с ноября развернулись жестокие бои в районе Петрокóвского тракта. Туда походным маршем и двинулись уланы, вступив в схватку с германскими частями на Велепольской позиции. В ночь на 20 ноября Гумилеву представилась возможность отличиться в опасной пешей разведке. «Вот я совсем один посреди молчаливой, словно притаившейся деревни, – рассказывает он об этой вылазке, – из-за угла одного дома перебегаю к углу следующего. Шагах в пятнадцати вбок мелькает крадущаяся фигура. Это мой товарищ. Из самолюбия я стараюсь идти впереди его, но слишком торопиться все-таки страшно. Мне вспоминается игра в палочку-воровочку, в которую я всегда играю летом в деревне. Там то же затаенное дыхание, то же веселое сознание опасности, то же инстинктивное умение подкрадываться и прятаться. И почти забываешь, что здесь вместо смеющихся глаз хорошенькой девушки, товарища по игре, можешь встретить лишь острый и холодный направленный на тебя штык. Вот и конец деревни. Становится чуть светлее, это луна пробивается сквозь неплотный край тучи; я вижу перед собой невысокие, темные бугорки окопов и сразу запоминаю, словно фотографирую в памяти, их длину и направление». После стычки с германскими разведчиками и перестрелки отряд улан благополучно вернулся в свое расположение. За «дело 20 ноября 1914 года» Гумилев был представлен к Георгиевскому кресту.

Непрерывные бои продолжались четыре дня, немецкое наступление захлебнулось, и уланский полк, имевший серьезные потери, отошел на бивак в Кржижанове, южнее района сражения. Следующая неделя, проведенная здесь, была, по словам Гумилева, «сравнительно тихой», хотя постоянно шла перестрелка и высылались разъезды (в одном из них автор «Записок кавалериста» едва не погиб). «В конце недели нас ждала радость, – пишет Гумилев. – Нас отвели в резерв армии, и полковой священник совершил богослужение. Идти на него не принуждали, но во всем полку не было ни одного человека, который бы не пошел. На открытом поле тысяча человек выстроились стройным четырехугольником, в центре его священник в золотой ризе говорил вечные и сладкие слова, служа молебен. Было похоже на полевые молебны о дожде в глухих, далеких русских деревнях. То же необъятное небо вместо купола, те же простые и родные, сосредоточенные лица. Мы хорошо

помолились в тот день».

Молебен, описанный Гумилевым, состоялся в полковой праздник 29 ноября в Лонгиновке за Петрокóвым. Через три дня генерал-майор Я. Ф. Гилленшмидт, командовавший кавалерийским корпусом, в который с момента передислокации в Польшу входила 2-я Гвардейская кавалерийская дивизия, отдал приказ на отход за реку Пилица для выравнивания фронта. Два уланских эскадрона должны были осуществлять связь между частями, осуществляющими маневр. Гумилев подробно описывает поиск штабов, встречи с «бородатыми казаками» из Уральской дивизии, стычки казачьих разъездов с германскими и ночевку в доме деревенского пастора, напоминавшего «тех удивительных стариков-отшельников, которые так же ссорятся и дружатся с ночными путниками в давно забытых, но некогда мною любимых романах Вальтера Скотта». К 8 декабря фронт за Пилицей был выровнен. Начались контратаки на преследовавшие отход немецкие части, перераставшие во «встречные» сражения (российское командование не оставляло мысли развернуть наступательные действия с новых рубежей):

«Дивное зрелище – наступление нашей пехоты. Казалось, серое поле ожило, начало морщиться, выбрасывая из своих недр вооруженных людей на обреченную деревню. Куда ни обращался взгляд, он везде видел серые фигуры, бегущие, ползущие, лежащие. Сосчитать их было невозможно. Не верилось, что это были отдельные люди, скорее это был цельный организм, существо бесконечно сильнее и страшнее динотериумов и плезиозавров. И для этого существа возрождался величественный ужас космических переворотов и катастроф. Как гул землетрясений, грохотали орудийные залпы и несмолкаемый треск винтовок, как болиды, летали гранаты и рвалась шрапнель. Действительно, по слову поэта, нас призвали всеблагие, как собеседников на пир, и мы были зрителями их высоких зрелищ. И я, и изящный поручик с браслетом на руках, и вежливый унтер, и рябой запасной, бывший дворник, мы оказались свидетелями сцены, больше всего напоминавшей третичный период земли».

17 декабря фронт окончательно стабилизовался, и уланский полк получил приказ на отдых в районе железнодорожной станции Држевицы, где находился штаб корпуса. 19 декабря там было торжественное построение в конном строю по случаю приезда великого князя Николая Михайловича[370]. Тот объезжал войска и благодарил за службу – от своего имени и от имени Государя. Кампания 1914 года завершалась. Все фронтовые

впечатления внушали Гумилеву твердую уверенность в близком окончании войны. Впереди ему виделся «блистательный день вступления в Берлин». «В том, что он наступит, – писал он Ахматовой во время последних боев на Пилице, – сомневаются, кажется, только «вольные», то есть не военные. Сообщенья главного штаба поражают своей сдержанностью, и по ним трудно судить обо всех наших успехах. Австрийцев уже почти не считают за врагов, до такой степени они не воины, что касается германцев, то их кавалерия удирает перед нашей, наша артиллерия всегда заставляет замолчать их, наша пехота стреляет вдвое лучше и бесконечно сильнее в атаке».

Сразу после торжественного построения Гумилев получил первый за три фронтовых месяца краткий отпуск. 23 декабря он неожиданно появился в «Бродячей собаке». Прочитанное со сцены «Наступление» имело невероятный успех:

О, как белы крылья Победы,
Как безумны ее глаза!
О, как мудры ее беседы,
Очистительная гроза!

И как сладко рядить Победу,
Словно девушку в жемчуга,
Проходя по дымному следу,
Отступающего врага.

После долгой овации («Hommage! Hommage!») к Гумилеву подсел корреспондент английского журнала «The New Age» Карл Бехгофер, собиравший материал для очередного «Письма из России».

– Вы думаете, что на войне ужасно? – сказал ему Гумилев. – Нет, там весело.

– Вряд ли может быть что-нибудь ужаснее… ***Петрограда***, – пожаловался Бехгофер.

За время военного отсутствия Гумилева столица была переименована на русский лад и повсеместно введен «сухой закон».

– Тогда завтра вечером Вы должны поехать со мной на фронт! – засмеялся Гумилев.

В эту первую ***петроградскую*** побывку Гумилев встречался с Маковским. Тот переехал из Царского Села и теперь занимал роскошные апартаменты в огромном доходном доме Сидорова, в нескольких минутах ходьбы от редакции. С первого «военного» номера в «Аполлоне» вновь публиковались стихи – Ахматовой,

Гумилева, Блока, Кузмина, Мандельштама, Вячеслава Иванова, Георгия Иванова, Шилейко, Лозинского, Бориса Садовского, Владислава Ходасевича и самого Маковского:

Да будет! Венгра и тевтона
Сметут крылатые знамена
Ивановских богатырей![371]

Как и пророчил Гумилев, мировая катастрофа заставила русских литераторов настроиться в унисон – на фоне военной бури, разразившейся над Империей, все звучало «акмеистично»[372]. По-видимому, у Маковского опять зашла речь о вручении акмеистам carte blanche[373] на литературную политику. В объявлении о подписке на новый год *«Письма о русской поэзии Н. Гумилева»* уже значились среди главных материалов журнала. Разумеется, со стороны редактора-издателя это был, скорее, дипломатический жест. Судьба охотника уланского Ее Величества полка оставалась в рождественские дни туманной, как и судьба всей грядущей военной кампании 1915 года.

В сочельник 24 декабря Гумилев и Ахматова, навестив семейство ротмистра Кропоткина (командира эскадрона ЕВ), отправились в Вильно. Гумилев возвращался в полк, а Ахматова ехала на рождественские праздники в Киев. Рождество они встретили вместе в виленской гостинице. На следующее утро Ахматова, проснувшись, была поражена открывшимся из окна зрелищем: громадная толпа горожан ползла на коленях по улице к Остробрамским воротам с чудотворным надвратным образом Богоматери.

– И я помолилась, – рассказывала она, – чтобы Гумилева не тронула пуля.

XIII

Новый год в полку. Петроградский триумф. Зимние бои в Литве. Отпуск по болезни. Новая ссора с Ахматовой. «Лазарет деятелей искусства». Михаил Струве и Елена Бенуа. «Канцоны» для Татьяны Адамович. Горлицкий прорыв. Возвращение в строй. Битва на Буге. Великое отступление.

24 декабря приказом по Гвардейскому Кавалерийскому корпусу было объявлено о награждении Гумилева «за отличие в делах против германцев» Георгиевским крестом IV степени; по артикулу, это награждение возвышало обладателя ордена в унтер-офицеры. Новый 1915 год Гумилев встречал с сослуживцами: все были уверены, что это будет год победы. «Приближается лучший день моей жизни, – писал Гумилев Лозинскому 2 января, – день, когда гвардейская кавалерия одновременно с лучшими полками Англии и Франции вступит в Берлин. Наверно, всем выдадут парадную форму, и весь огромный город будет как оживший альбом литографий. Представляешь ли ты себе во всю ширину Фридрихштрассе цепи взявшихся под руку гусар, кирасир, сипаев, сенегальцев, канадцев, казаков, их разноцветные мундиры с орденами всего мира, их счастливые лица, белые, черные, желтые, коричневые.

… Хорошо с египетским сержантом
По Тиргартену пройти,
Золотой Георгий с бантом
Будет биться на моей груди…»

12 января 2-й гвардейской кавалерийской дивизии официально был объявлен отдых, и она отошла в тыл. Уланский полк расквартировался в Кржечинене. Гумилев вновь смог выхлопотать у начальства разрешение на отлучку. На этот раз в Петрограде его ждали и готовили торжественную встречу. *«Вечер поэтов при участии Николая Гумилева (стихотворения о войне и др.)»* прошел в «Бродячей собаке» с аншлагом, зрители жались у стен и теснились в дверях вестибюля. «Талантливый молодой поэт, как известно, пошел на войну добровольцем, участвовал в сражениях, награжден Георгием и приехал в Петроград на короткое время, – сообщал корреспондент «Петроградского курьера» (у этой газеты был безошибочный нюх на сенсации). – Переживания поэта-солдата, интеллигента с тонкой психикой и

широким кругозором, запечатленные в красивых, ярких стихах, волнуют и очаровывают. Бледной, надуманной и ненужной представляется вся «военная поэзия» современных поэтов, в своем кабинете воспевающих войну, – рядом с этими стихами, написанными в окопах, пережитыми непосредственно, созревшими под свистом пуль».

На следующий день Гумилев читал «военные стихи» в Петроградском университете. «Был Гумилев, и война с ним что-то хорошее сделала, – описывал увиденное романо-германист Борис Никольский. – Он читал свои стихи не в нос, а просто, и в них самих были отражающие истину моменты – недаром Георгий на его куртке. Это было серьезно – весь он, и благоговейно. Мне кажется, что это очень много». Не привыкший к подобному единодушному признанию Гумилев дивился непредсказуемой переменчивости читателей и критиков:

– В жизни пока у меня три заслуги – мои стихи, мои путешествия и эта война. Из них последнюю, которую я ценю меньше всего, с досадной настойчивостью муссирует все, что есть лучшего в Петербурге. Когда полтора года тому назад я вернулся из страны Галла, никто не имел терпенья выслушать мои впечатленья и приключенья до конца. А ведь, правда, все то, что я выдумал один и для себя одного, – все это гораздо значительнее тех работ по ассенизации Европы, которыми сейчас заняты миллионы рядовых обывателей, и я в том числе.

Во время побывки Гумилев отдал в «Биржевые ведомости» первые главы «Записок кавалериста» и, вероятно, успел получить в городе № газеты за 4 февраля, открывавший цикл публикаций. Перед самым отъездом в полк он нанес визит Городецким, с тревогой говорил о случившемся на днях у Ахматовой кровохаркании – врачи не исключали чахотку. Ахматова только что завершила свою поэму «У самого моря», читала ее в избранном «аполлоновском» кругу. Гумилев был в восторге от услышанного:

– Я начинаю чувствовать, что я подходящий муж для женщины, которая в детстве *«собирала французские пули, как мы собирали грибы и чернику»*[374].

Кампания 1915 года открылась Зимним сражением в Восточной Пруссии, в ходе которого генерал-фельдмаршалу Гинденбургу удалось потеснить русских с занимаемых позиций и самому вторгнуться в Литву. 7–9 февраля 2-я кавалерийская дивизия была срочно переброшена в район Олиты, где войска генерала Н. В. Рузского готовили встречный удар по германской армейской группе. Уланскому полку была поставлена задача произвести усиленную разведку в направлении города Серее.

Выступив 11 февраля, полк двое суток «искал противника», периодически натыкаясь на мелкие германские отряды и вступая с ними в бой. Уланы несли ощутимые потери не столько ранеными, сколько заболевшими – было так ветрено и морозно, что, по словам Гумилева, заступая в очередной ночной дозор, каждый словно «окунался в ледяные чернила». Тем не менее со своей задачей уланы справились превосходно: «В два дня мы настолько осветили положение дела на фронте, что пехота могла начать наступление. Мы были у нее на фланге и поочередно занимали сторожевое охранение».

Наступление успешно продолжалось до 24–25 февраля, когда противник, стремясь выправить положение, нанес контрудары и боевые порядки смешались. Уланы находились в непрерывных разъездах, поддерживая взаимосвязь и ведя разведку для наступающих пехотных частей. В одном из таких разъездов Гумилев, повстречав на шоссе отряд потрепанных боем гвардейских драгун, придержал коня.

– Ваше высокоблагородие, нашего полка не видели? – спросил он офицера.

– *Я конквистадор в панцире железном!* – продекламировал в ответ драгунский офицер и подмигнул оторопевшему Гумилеву.

Это был… Анатолий Вульфиус, брат давнего противника Гумилева по несостоявшейся царскосельской дуэли. «Он меня узнал, – вспоминал Вульфиус. – Подъехал ближе.

– Уланы в авангарде, догнать будет трудно, присоединяйтесь к моему разъезду, отдохните, – посоветовал я ему.

– У меня донесение к командиру полка, – ответил мне Гумилев.

– Ну, тогда шпоры кобыле, – ответил я, и поэт-улан, взяв под козырек, немного пригнувшись к шее рыжей полукровки, двинулся со своими товарищами размашистою рысью в темноту. Далеко впереди гремела артиллерия, доносились одиночные ружейные выстрелы, и долго еще было слышно хлесткое цоканье копыт уланских лошадей».

К концу месяца погода окончательно испортилась – непрерывно шел мокрый снег, залеплявший глаза, дул пронизывающий ветер, дороги превратились в грязное ледяное месиво. Между тем натиск германцев приобретал все более ожесточенный характер. В ночь на 26 февраля уланский полк был поднят по тревоге: предстоял бросок на пятьдесят верст, к Копциово, на оборону стратегически важного узла шоссейных дорог. «Эта ночь, – писал Гумилев, – этот лес, эта нескончаемая белая дорога казались мне сном, от которого невозможно проснуться. И все же чувство странного торжества переполняло

мое сознание. Вот мы, такие голодные, измученные, замерзающие, только что выйдя из боя, едем навстречу новому бою, потому что нас принуждает к этому дух, который так же реален, как наше тело, только бесконечно сильнее его. И в такт лошадиной рыси в моем уме плясали ритмические строки:

Расцветает дух, как роза мая,
Как огонь, он разрывает тьму,
Тело, ничего не понимая,
Слепо повинуется ему.»

Но телесная оболочка, все-таки, подвела. Через две недели, во время дальнего разъезда, Гумилев серьезно застудил почки. Некоторое время, превозмогая боль, он оставался в строю, но в середине марта на биваке слег с жаром, отстал от эскадрона, с трудом, в полубреду, нагнал полк и был отправлен «своим ходом» на излечение в Петроград. До Царского Села он добрался на исходе Страстной седмицы. Тут его ожидала до странности холодная встреча. Ахматова вдруг совершенно переменилась и была вновь отчуждена от семьи, захваченная какой-то новой фантазией. Больной и раздраженный Гумилев, полагавший, что домашние невзгоды остались в довоенном прошлом, вспылил. Объяснение вышло бурным. По всей вероятности, именно после этой родительской ссоры смышленый не по годам Лева Гумилев взял в привычку отвечать на традиционный вопрос взрослых:

– Мой папа – поэт, а моя мама – *истеричка*!

Сергей Ауслендер вспоминал, как, заехав в Царское Село на второй день Пасхи 1915 года, «неожиданно застал там Гумилева»: «Он лежал в кровати весь белый, в белой рубашке, под белой простыней. Он приехал из-за болезни, с Георгиевским крестом. Я очень обрадовался, но он был холоднее, чем это соответствовало стилю. Может быть, не хотел показаться слишком трогательным. Чувствовался какой-то раскол его с Анной Андреевной, как будто оборвались какие-то нити».

Пасхальные дни Гумилев провел в Царском Селе, в постели, а после праздников лег в «Лазарет деятелей искусства», размещенный в здании детского приюта Братства во имя Царицы Небесной на Большой Белозерской улице Петроградской стороны[375]. В лазарет поступали пожертвования и сборы от столичных выставок, художественных аукционов, спектаклей и концертов. Тут имелись подшефные койки журнала «Сатирикон», общества «Мир Искусства», театра «Кривое зеркало», именные палаты Малого театра, Шереметевского оркестра, «Общества им. А. И. Куинджи» и др. В лазарете работали члены семей

художников, писателей, музыкантов и артистов, опекавших лазарет. Некоторые пациенты также принадлежали к художественному миру. Соседом Гумилева по палате оказался Михаил Струве, поэт и мистик, служивший в аппарате Генерального Штаба. Это был прекрасный собеседник и, вдобавок, отличный шахматист. А семнадцатилетняя сестра милосердия Елена Александровна Бенуа (дочь вождя «мирискусников») теперь подолгу засиживалась по вечерам в «подшефной» палате, слушая рассказы Гумилева о военных делах:

Нет, не думайте, дорогая,
О сплетенье мышц и костей,
О святой работе, о долге…
Это сказки для детей.

Под попреки санитаров
И томительный бой часов
Сам собой поправится воин,
Если дух его здоров.

Гумилев, действительно, быстро пошел на поправку и на свой день рождения сбежал вновь в Царское Село. 3 апреля 1915 года в царскосельском фотоателье Люциана Городецкого на Московской улице были сделаны фотопортреты супругов Гумилевых с сыном. По всей вероятности, это была «примирительная» фотосессия, призванная к тому же успокоить встревоженных домашних (одна из готовых фотокарточек тут же была подарена Анне Ивановне с надписью: *«Дорогой мамочке от Коли, Ани и Левы»*). Однако побег из лазарета дорого обошелся Гумилеву – в болезни неожиданно наступило острое осложнение, на несколько недель приковавшее его к больничной койке. Теперь Ахматова сама пыталась ухаживать за мужем и даже сняла комнату на Большой Пушкарской улице, неподалеку от здания приюта Царицы Небесной. Но эта виноватая самоотверженность оказалась на деле никому не нужной и даже вредной. Комната была отвратительной, сырой, со сквозняками, приступы чахоточного кашля стали одолевать Ахматову постоянно, а опытных сиделок в «Лазарете деятелей искусства» хватало и без нее. К тому же жить на Большой Пушкарской она все равно не могла – нянька Левы Гумилева как назло внезапно отказалась от места, и измученная Ахматова металась между Петроградом и Царским Селом, никуда не поспевая и всех раздражая. Во время ее отлучек в палате появлялась (никогда не пересекаясь) Татьяна Адамович.

Она, в отличие от Ахматовой, никуда не спешила.

Предвоенная размолвка Адамович с Гумилевым не была окончательной. Она писала Гумилеву на фронт, виделась с ним мельком во время его зимних побывок. А лазарет на Петроградской был ей хорошо знаком: столичные далькрозисты имели здесь свои подшефные койки. Посетив больного в середине апреля, Татьяна Викторовна по-дружески, шутливо посетовала, что ее былая сердечная привязанность, верно, так и канет в лету, не получив и строчки стихов. Во время следующего визита она потрясенно слушала:

Печальный мир не очаруют вновь
Ни кудри душные, ни взор призывный,
Ни лепестки горячих губ, ни кровь,
Звучавшая торжественно и дивно.

Правдива смерть, а жизнь бормочет ложь…
И ты, о нежная, чье имя – пенье,
Чье тело – музыка, и ты идешь
На беспощадное исчезновенье.

Но, мне, увы, неведомы слова —
Землетрясенья, громы, водопады,—
Чтоб и по смерти ты была жива,
Как юноши и девушки Эллады.

Ахматовой, которая от весны 1915 года вела отсчет всем своим потерям и несчастьям, Адамович обычно мерещилась во всех, без исключения, стихотворениях Гумилева, созданных за его полуторамесячное пребывание в «Лазарете деятелей искусства» – включая обращение к «Сестре милосердия» и написанный от имени этой сестры патриотический стихотворный «Ответ». Это, наверняка, не так: Татьяна Викторовна никогда не была сестрой милосердия и избытком идеализма и наивного патриотизма явно не отличалась. Но и двух «Канцон» оказалось достаточно, чтобы, отправляясь из лазарета на фронт, Гумилев был уверен – во всех военных и прочих превратностях жизни в Петрограде его неизменно ожидает тихая пристань в объятьях Татьяны Адамович:

Дорогая с улыбкой летней,
С узкими, слабыми руками
И, как мед двухтысячелетний,
Душными, черными волосами.

«Лазарет деятелей искусств» Гумилев покинул в конце мая, причем перед медицинским освидетельствованием лечащий врач имел с ним долгий разговор: к строевой службе пациент по состоянию здоровья был явно негоден. Гумилев употребил все свое красноречие и не мытьем так катаньем получил направление на фронт.

Вести оттуда день ото дня становились все тревожнее.

Всю минувшую весну российские войска продолжали победоносно наступать, причем главные события разворачивались не на северо-западе, где сражался Гумилев, а на юге. В январе – феврале генерал А. А. Брусилов разгромил в Карпатском сражении австрийцев, пытавшихся прорваться на помощь к блокированному Перемышлю, а в марте 11-я Осадная армия генерала А. Н. Селиванова «дожала» эту крупнейшую австрийскую крепость, захватив 120-тысячный гарнизон и 900 орудий. Пленных прогнали по улицам восторженного Петербурга, трофейное оружие демонстрировалось на специальных выставках, а столицу и всю страну, как и в прошлом июле, сотрясали манифестации. Дни Австро-Венгрии, казалось, сочтены. Против нее поднималась даже Италия, связанная до начала войны союзным договором, но теперь припомнившая Вене все прошлые обиды и претензии[376]. Однако 19 апреля войска 11-й германской и 4-й австрийской армий под общим командованием генерала Августа фон Макензена нанесли удар в Южной Польше в районе Горлице. Русское командование, увлеченное наступлением в Карпатах, сочло эти бои отвлекающим маневром, а когда опомнилось – было уже поздно. В начале мая фронт оказался прорван, и в тридцатикилометровый *Горлицкий прорыв*, развивая успех, устремились германо-австрийские ударные части, выходя беспечному противнику в глубокий тыл. 21 мая войска Макензена отбили у русских Перемышль. По всей вероятности, это известие и подвигло Гумилева поторопить докторов с выпиской. В последних числах мая он уже был в своем полку, дислоцированном тогда в окрестностях Ковно.

Все время его отсутствия уланы вели в Литве позиционные бои, которые продолжались и после прибытия Гумилева – до 20-х чисел июня. Между тем положение на юго-западе обострилось до предела: 9 июня 1915 года пал Львов, русские войска отступали из Галиции, а над всей армейской группировкой в Польше нависла угроза окружения. 21 июня 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии было приказано начать погрузку в эшелоны к новому месту назначения – под Владимиром-Волынским. Вместе с 3-й и 16-й кавалерийскими дивизиями она вновь, как и в прошлом году, вошла в состав 4-го кавалерийского

корпуса Гилленшмидта, действовавшего на австрийской границе у Западного Буга. Стычки с наступающим неприятелем начались в первых числах июля, а в ночь с 5 на 6 у деревенек Заболотце и Джары, где находились переправы, грянула битва, заставившая потускнеть в памяти Гумилева и его однополчан все предыдущие сражения, перестрелки и разъезды.

Почти сутки уланы, спешившись, вынуждены были сдерживать превосходящие силы австрийцев, рвущихся на «русский» берег Буга. Эскадрон Ее Величества оказался в самом пекле, едва не был окружен фланговым маневром, отступал по открытой местности под ураганным огнем, вновь залег на новой позиции и, неся большие потери, продержался-таки до подхода пехотных частей, совершивших вечером 6 июля мощный контрудар по переправам. Австрийцы спасались бегством и сдавались целыми ротами (дивизионные документы сообщают о 700–800 пленных при 20 офицерах, а в газетных сообщениях о сражении на Буге эта цифра округлена до 1000). Гумилев, верный себе, описывал бой и последующий пеший отход по раскисшему от дождя полю с эпическим хладнокровием и даже не без юмора:

«Слева от меня из кустов послышался плачущий крик: «Уланы, братцы, помогите!» Я обернулся и увидел завязший пулемет, при котором остался только один человек из команды да офицер. «Возьмите кто-нибудь пулемет», – приказал ротмистр. Конец его слов был заглушен громовым разрывом снаряда, упавшего среди нас. Все невольно прибавили шаг. Однако в моих ушах все стояла жалоба пулеметного офицера, и я, топнув ногой и обругав себя за трусость, быстро вернулся и схватился за лямку. Мне не пришлось в этом раскаяться, потому что в минуту большой опасности нужнее всего какое-нибудь занятие. Солдат-пулеметчик оказался очень обстоятельным. Он болтал без перерыва, выбирая дорогу, вытаскивая свою машину из ям и отцепляя от корней деревьев. Не менее оживленно щебетал и я. Один раз снаряд грохнулся шагах в пяти от нас. Мы невольно остановились, ожидая разрыва. Я для чего-то стал считать – раз, два, три. Когда я дошел до пяти, я сообразил, что разрыва не будет. «Ничего на этот раз, везем дальше… что задерживаться?» – радостно объявил мне пулеметчик, – и мы продолжали свой путь».

За спасение пулемета и проявленные в бою мужество и стойкость Гумилев был вновь представлен к Георгиевскому кресту. Вместе с ним за «дело 6-го июля» высшую боевую награду получили 86 (!) улан – героизм был массовым. На следующий

после сражения день, когда пехота еще зачищала берег от австрийцев, Гумилев и его полковые друзья праздновали победу, валялись на сеновалах и объедались вишнями. Никто из них не знал, что российское командование уже приняло решение о всеобщем отступлении, которое войдет в историю под именем *Великого*. 11 июля перед уланами была поставлена задача прикрывать отход пехоты вдоль Буга, действуя в арьергарде армии на «австрийском» берегу и уничтожая по пути оставленные запасы фуража и хлеба. Более двух недель полк не выходил из постоянных боевых столкновений с наступающим неприятелем. Во время одной из кратких передышек Гумилев сообщал в письме Ахматовой, что в течение шестнадцати дней непрерывного боя он спал только урывками, что «солдаты озверели», что счет пленных идет ежедневно на сотни, «а уж убивают без счету».

В 20-х числах июля, после того как русскими войсками, уходящими из «польского котла», были покинуты Ивангород и Варшава, натиск как будто захлебнулся. «У нас уже несколько дней все тихо, никаких боев нет, – писал Гумилев Ахматовой из волынского местечка Столинские Смоляры. – Правда, мы отошли, но немец мнется на месте и боится идти за нами. Ты знаешь, я не шовинист. И, однако, я считаю, что сейчас, несмотря на все отходы, наше положенье ничем не хуже, чем в любой из прежних моментов войны. Мне кажется, я начинаю понимать, в чем дело, и больше чем когда-либо верю в победу». Но в это время уже пылала Курляндия и рушилась оборонительная линия польских и литовских крепостей. Новый удар крушил фланги только что образованного русскими Северного фронта.

– Батюшка, ужас! – истерически кричал Верховный Главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич-младший[377], заливаясь слезами. – Ковно отдано без боя! Комендант бросил крепость и куда-то уехал… крепостные войска бежали… армия отступает… При таком положении что можно дальше сделать?! Ужас, ужас!..

– Ваше высочество, Вы не смеете так держать себя! – уговаривал главковерха военный протопресвитер о. Георгий Шавельский[378].

Вскоре во всех частях и подразделениях был торжественно зачитан ***«Высочайший приказ по армии и флоту»***:

23-го августа 1915 года.

Сего числа Я принял на Себя предводительствование всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, находящимися на театре военных действий.

С твердой верой в милость Божию и с неколебимой уверенностью в конечной победе будем исполнять наш святой долг защиты Родины до конца и не посрамим Земли Русской.

НИКОЛАЙ

Газетные официозы сообщали о *«восторженном ликовании»*, охватившем войска при известии о переходе Верховного главнокомандования под августейшее начало. Остается только гадать, наблюдал ли Гумилев это ликование среди своих гвардейских кавалеристов. Великий князь Николай Николаевич (гигант с пудовыми кулачищами, важной осанкой и замашками старого вояки) был постоянным героем солдатской молвы[379]. Обер-офицеры пожимали плечами. Некоторые сдержанно замечали, что назначенный Государем новый начальник штаба Ставки генерал Алексеев, несмотря на неприятные манеры и плюгавый вид косоглазого профессора, обладает недюжинным талантом стратега. Прочие просто досадливо отмахивались. Уланы продолжали находиться в арьергарде *Великого отступления*. «Весь конец этого лета, – пишет Гумилев, – для меня связан с воспоминаниями об освобожденном и торжествующем пламени. Мы прикрывали общий отход и перед носом немцев поджигали все, что могло гореть: хлеб, сараи, пустые деревни, помещичьи усадьбы…». Летом – осенью 1915 года были оставлены Ивангород, Варшава, Либава, Митава, Владимир-Волынский, Ковель, Осовец, Ковно, Брест-Литовск, Луцк, Гродно, Вильно, Пинск, а отступающая русская армия потеряла *полтора миллиона* человек убитыми и ранеными и почти *миллион* – пленными:

Это было трудное лето,
Когда мы отходили с Карпатов,
А за нами, шаг за шагом,
Шла Макензенова фаланга.

XIV

Кончина Андрея Антоновича Горенко. Завершение Великого отступления. Командировка в школу прапорщиков. Военный Петроград. Общество «Трирема» и клуб «Лампа Аладдина». Возобновленный «Цех поэтов» и издательство «Гиперборей». «Молитва» Ахматовой. Посвящение «Колчана». Разрыв с Ахматовой. Балканская катастрофа. Разочарование в войне. Вечера «Красы». Сергей Есенин. Мария Левберг. Второй «Георгий».

25 августа 1915 года в Петрограде от грудной жабы скончался отставной капитан 2-го ранга Андрей Антонович Горенко. О кончине тестя Гумилев был извещен в местечке Озерец близ железнодорожной станции Ивановичи (уже две недели уланы с боями отступали от Буга к Пинску, в глубь своей территории). По магистрали, связывающей Пинский уезд со столицей, Гумилев за сутки смог добраться до Петрограда и 27 августа присутствовал при скромном погребении отставного кавранга на Волковом кладбище[380]. После похорон заплаканная Ахматова поведала мужу: испуская дух, старый нигилист не подкачал! Наотрез запретив звать священника, он до самого конца загибал такие анекдоты, что гражданская жена и дочка, находившиеся при смертном одре, сквозь льющиеся слезы заходились смехом, а в последний миг поманил Ахматову пальцем:

– Запомни: Николай Степанович – *воин*, а ты – *поэзия*…

1 сентября Гумилев вновь находился в полку, участвовал в разведке в районе деревни Козики и в перестрелке с германским авангардом у дороги на Пинск. От Козиков уланы совершили еще один переход к почти высохшему за лето Огинскому каналу, перешли его вброд и закрепились на восточном берегу. Этот рубеж завершил отход: все попытки германцев в сентябре форсировать канал терпели неудачу, а те их передовые части, которым удавалось вклиниться в оборонительные порядки русских войск, попадали в окружение, истреблялись артиллерийским огнем и зачищались отрядами пехоты и кавалерии. К октябрю неприятель был остановлен под Ригой, Двинском, Минском, Сарнами, Ровно, Кременцом, Тарнополем, Каменец-Подольском. Фронт стабилизировался, и боевые действия повсеместно приняли позиционный характер. Великое отступление русской армии завершилось.

Окончательно утвердившись на берегах Огинского канала, 2-я Гвардейская кавалерийская дивизия приступила к

переформированию частей и переназначению личного состава. Командир улан генерал-майор Д. М. Княжевич пошел на повышение, сдав полк полковнику М. Е. Маслову. Непосредственный начальник Гумилева поручик М. М. Чичагов был откомандирован в Гвардейский запасной кавалерийский полк для обучения новобранцев. Что же касается самого «унтер-офицера из охотников эскадрона Ея Величества Николая Гумилева», то он приказом от 22 сентября был направлен в Петроград, в школу прапорщиков для сдачи экзаменов на младший обер-офицерский чин.

В тылу разгром ощущался заметнее, чем на передовой. Петроградскую губернию наводнили бесчисленные беженцы, всюду распускавшие панические, нелепые и ошеломляющие слухи. На улицах, в торговых лавках, на вокзалах и рынках судачили, что Николай II *несчастлив* как рожденный в день Иова *Многострадального*[381], что власть над ним совсем забрала *немка-царица*, что в Ставке, на деле, наверно, и *нет никакого Государя*.

– Что говорить о царе, нет его уже давно в России…

– Куда же он девался?

– Известно куда – в Германию уехал.

– Вот вздор!

– Какой там вздор, царица чуть не каждый день посылает в Германию поезда с припасами.

– Да как же можно посылать поезда через фронт?

– Ну, уж там они найдут, как посылать; вот немцы-то и кормятся на наш счет и побеждают нас!

– Да разве может царь отдать свое царство немцам?

– Так ведь он только на время уехал – войну переждать…

В царскосельский дом незадолго до прибытия Гумилева также вселились курляндские беженцы (родственники А. А. Гумилевой-Фрейганг) – пришлось ютиться в крохотной комнатке на втором этаже, которую до войны занимал Коля-маленький. Отдельно от всех, в библиотеке, помещалась больная Ахматова, совсем слегшая сразу после отцовских похорон. Ее душил постоянный кашель с кровохарканьем. С постели она вставала только ради нечастых деловых визитеров. Один из них, московский издатель Александр Кожебаткин, увидев прибывшего с фронта Гумилева, предложил свои услуги для подготовки новой книги стихов, и они тут же ударили по рукам.

В Петрограде Гумилева догнал приказ о представлении ко второму «Георгию». Это превращало учебную командировку в обычный отпуск – по орденскому статуту, перевод георгиевского кавалера из «унтеров» в обер-офицеры осуществлялся без каких-либо дополнительных испытаний. Теперь, не связываясь с

курсами прапорщиков, можно было просто дожидаться награждения[382]. Свалившийся досуг позволил Гумилеву за несколько дней приготовить для Кожебаткина рукопись *«Колчана»* и окунуться с головой в позабытую за минувший фронтовой год литературную жизнь столицы. Тут многое изменилось. Притихли футуристы, а о «теургах» и «младосимволистах» уж никто и не вспоминал. Не собирались ни «Цех», ни «Общество поэтов» – взамен Георгий Иванов и Георгий Адамович, превратившиеся в неразлучных *Жоржиков*, устраивали литературные вечера под странным названием «Трирема»[383]. Не было и «Бродячей собаки», павшей жертвой «сухого закона» (с конфискацией из-под буфетной стойки запрещенных в военное время напитков, тягостным полицейским разбирательством и последующей описью имущества)[384]. Зато у Аничкова моста на Фонтанке антиквар и театрал Константин Ляндау[385], сняв по примеру Пронина полуподвал, открыл модный эстетический клуб *«Лампа Аладдина»*, щедро декорированный дорогими персидскими коврами, дымящимися кальянами, старинными гравюрами и диковинной мебелью пушкинской поры. И в «Аладдине», и у «триремщиков» успехом пользовались бывшие «цеховые подмастерья» Владимир Чернявский, Владимир Юнгер и Всеволод Курдюмов:

Он знает все – седой папирус,
Что я мечтал в больном бреду,
И для *Кого* – в моем саду
Уныло цвел лиловый ирис[386].

Компанию им составляли поэты Михаил Долинов и Александр Конге – соратники довоенного гонителя акмеистов Бориса Садовского. Приходил и сам Садовской, болезненный, желчный, скучный, в неизменном черном сюртуке. Михаил Кузмин, почитаемый в подвале на Фонтанке еще восторженнее, чем в подвале на Михайловской, исполнял на «бис» для молодых поклонников свою коронную песенку:

Дитя, не тянися весною за розой,
Розу и летом сорвешь,
Ранней весною сбирают фиалки,
Помни, что летом фиалок уж нет[387].

Кузмина тенью сопровождал Юрий Юркун, переселившись к которому на Спасскую улицу неприкаянный богемный гений

обрел наконец жизненный покой (городские сплетники окрестили их *Юриками*). Постоянно выступал со своими классическими ямбами Михаил Струве, друг и компаньон владельца «Лампы Аладдина». Коллега Струве по Генеральному Штабу Дмитрий Коковцев, мало изменившийся с гимназических царскосельских времен, читал баллады о звездочетах, ведьмах, грешных монахах и ночных королях. Его сменял жизнерадостно-плотоядный Александр Рославлев, автор политических сатир и натуралистических зарисовок. Тщедушный, хлыщеватый Рюрик Ивнев, державшийся в «Бродячей собаке» вместе с футуристами, искусно разыгрывал демонического «подпольного человека» из кошмаров Достоевского:

> Почему я как темное дно,
> Почему я такой нехороший?[388]

Иногда появлялись студенты-филологи Владимир Злобин и Георгий Маслов, организовавшие при Пушкинском обществе в университете собственный «Кружок поэтов». Появлялись участники новой театральной студии Мейерхольда на Бородинской улице, где секретарствовал юный Борис Алперс[389]. Появлялись лирические дамы, вроде Екатерины Галати[390], знакомой Гумилеву по «Вечерам Случевского», или курсистки Марии Левберг, чьей-то молодой вдовы и пассии Курдюмова, издавшей под маркой «Триремы» собственную стихотворную книжицу:

> Я пред тобой не опущу забрала,
> Мой взгляд упрям. Еще тверда рука…[391]

Появлялись, наконец, обязательные во все времена дерзкие красавицы-дебютантки, как Лариса Рейснер, дочь знаменитого правоведа-общественника, получавшая свою долю аплодисментов не столько за стихи о «красных кровяных шариках», сколько за броскую внешность оперной Валькирии.

– На первый взгляд – расцвет, изобилие, – откровенничал с Гумилевым Георгий Иванов. – Но только на первый взгляд. Все ощутительнее дает себя знать какое-то измельчание, какая-то никчемность и мелкоразобранность происходящего в литературной жизни. На поэзии это особенно заметно.

Гумилев предложил: что́ если провести, пока он в городе, несколько заседаний «Цеха», пригласив гостями всех желающих из «Триремы» и «Лампы Аладдина»? Идея пришлась по душе и

«Жоржикам», и Ляндау со Струве. Снова ощутив себя «синдиком № 1», Гумилев переговорил с ветеранами – Лозинским, Шилейко, Мандельштамом – и нанес визит Вере Игнатьевне Гедройц, истощенной, осунувшейся, но полной властной энергии. С начала войны поэтесса-хирург исполняла обязанности главного врача Дворцового госпиталя. Она коротко остриглась, носила мужской полувоенный френч, курила крепчайшие папиросы, изъяснялась отрывистым командным рыком:

– Без малого полтора года точно в чаду! У меня постоянно до пяти полостных операций. А тут еще за короткий срок нужно было открыть большое количество лазаретов. Хотелось бы, чтобы день был вдвое…

На учрежденных в госпитале курсах сестер милосердия[392] Гедройц лично курировала занятия самой императрицы. Военно-медицинская подготовка была для Александры Федоровны вопросом профессиональной добросовестности: под ее руководством в Царском Селе был развернут особый эвакуационный пункт, в который входило более 80 (!) пригородных лазаретов и 10 санитарных поездов[393]. Но Гедройц не делала никаких скидок на занятость царственной сотрудницы, привлекая ее ассистировать во время операций по общему графику:

– Неплохая хирургическая сестра, серьезная, вдумчивая. Только вот жалостливая она очень…

Первое заседание возобновленного «Цеха» прошло у Михаила Струве и было, по-видимому, и многочисленным, и удачным. Из подробностей известно только, что довоенный «подмастерье» Сергей Радлов явился с молодой красавицей-женой. Сам Радлов увлекся театральными экспериментами у Мейерхольда и стихотворчество забросил, зато Анна Радлова поразила всех дерзкими попытками «перепеть» Ахматову:

Перед вечером мы шли среди поля,
И высокая трава не шелестела,
И дальнее озеро не блестело,
У ветра и солнца была отнята воля.
Затихшее небо Господу молилось
И на меня, спокойную, ласково смотрело,
И только в руке моей загорелой
Твое взволнованное сердце билось.

Радлову тут же окрестили *«Анной Второй»*. Неизвестно, как отреагировала на это «Анна Первая». Ахматова говорила, что от нее скрывали возрождение «Цеха» – боялись зря беспокоить

угасающую больную, которая все равно едва держалась на ногах:

– По утрам вставала, совершала туалет, надевала шелковый пеньюар и ложилась опять…

Между тем доктора колебались с диагнозом. Наконец, профессор Г. Ф. Ланг решительно посоветовал пациентке пройти курс лечения в санатории Хювинге под Гельсингфорсом:

– Идеальное место для исцеления запущенных бронхиальных катаров. Да и для неврастеников, истериков, малокровных – сущий рай!

Ахматова, уверенная, что у нее чахотка, пыталась протестовать, потом покорилась. В октябре Гумилев отвез больную на две недели в Финляндию. После пережитых ужасов Великого отступления он был особенно нежен к домашним, трогательно заботился о больной жене, а во время ее отсутствия каждый день, как в юношеские годы, отправлял в Хювинге любовные послания. Взявшись за новые критические обзоры для зимних номеров «Аполлона», он засел за стихотворные томики, присланные на рецензию. Постоянную компанию Гумилеву в редакции у Пяти Углов составлял Михаил Лозинский. Он зазывал в гости: секретарь «Аполлона» осваивал купленное для вновь прираставшего семейства комфортабельное жилье. Новый дом Лозинского замыкал Каменноостровский проспект. От городского центра сюда был добрый час ходу.

К окраинам Петрограда ползла осенняя слякотная темень – фонари горели через два. У закрывающихся хлебных и зеленных лавок ругались мещанки с озлобленными лицами, проклиная невероятную дороговизну. Огромная новостройка «Товарищества постоянных квартир» приветно поблескивала огнями на месте бывшего увеселительного сада «Монплезир-Тиволи». Стряхнув у жаркой печки в кабинете промозглую уличную муть, вновь возвращались к прерванному разговору. Принимая рукопись «Колчана», Кожебаткин согласился взять в работу еще несколько стихотворных книг. Пользуясь благоприятным случаем, Гумилев и Лозинский решили возобновить печатную деятельность «Цеха поэтов» под заявленной еще до войны издательской маркой *«Гиперборей»*. Осип Мандельштам переработал свой «Камень», вдвое увеличив его за счет новых стихотворений. Георгий Иванов представил на суд книгу «Вереск». Лозинский, Михаил Струве и Георгий Адамович готовились выступить с дебютными сборниками. В сочетании с «Колчаном» объем «цеховой» печатной продукции не уступал мирным временам[394].

В начале ноября на университетском осеннем «Вечере поэзии» (под председательством неизменного профессора Д. К. Петрова) воссоединившиеся «цеховики» выступали вместе с

участниками «Кружка поэтов». Студенты-стихотворцы отчаянно робели при виде небожителей из «Аполлона» и старались не сплоховать. В перерыве Гумилев нагнал в коридоре бледного дебютанта:

– Это Вы читали сейчас о царскосельском парке? Я не ослышался? Всеволод Рождественский? Батюшки Александра, законоучителя, сын? А я учился у Вашего отца, и брат Ваш старший, Платон, мой одноклассник…

Их уже окружали плотным кольцом – ответа Гумилев не расслышал. Студенты и курсистки тянулись к нему с восклицаниями, вопросами и книжками на автограф. Белокурая головка «триремки» Марии Левберг вынырнула из толпы.

– Николай Степанович, позвольте представить – Маргарита Тумповская, моя подруга, тоже «бестужевка», ваша поклонница.

Перед Гумилевым, смущенная и счастливая, сияла небесная Пери из «Тысяча и одной ночи» – темное облако волос, уложенных в высокую прическу, летящие стрелы жгучих ресниц, алая роза в матово-белой руке… Колокольчик трезвонил, призывая в зал. «Прогремел звонок, – вспоминал Всеволод Рождественский, – я, стиснутый забившей аудиторию толпой, увидел его уже рядом с председательским столом. Он стоял, выпрямившись во весь рост, совершенно неподвижно, и мерно, но очень отчетливо, читал, не повышая и не понижая голоса:

Словно молоты громовые,
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей…

Потом, после него, были еще стихи. Много стихов. Но все остальное проплыло для меня, как в тумане. И запомнилось из всего вечера только это «Золотое сердце России».

Окончательно воскресить «Цех поэтов» Гумилеву не удалось. Война, на несколько осенних недель как будто отступившая от него, напомнила о себе самым неожиданным и болезненным образом. В одном из свежих петроградских альманахов он с удивлением обнаружил неведомое ему стихотворение Ахматовой *«Молитва»*:

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар —
Так молюсь за Твоей литургией

После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.

«Молитва» была написана Ахматовой еще весной, под влиянием всеобщей панической истерии, охватившей столицы при известиях о Горлицком прорыве и отступлении из Галиции (в Москве тогда же начались позорные немецкие погромы, после которых Неглинная была завалена грудами художественных изданий Кнебеля, а Большая Спасская – нотными альбомами фабрики Гроссе). Гумилев в это время скандалил с врачами «Лазарета деятелей искусств», требуя направления на фронт, и за всеми заботами стихотворный плод патриотической экзальтации жены оказался вне круга его внимания. А Ахматова переслала эффектную новинку в альманах «Война в русской поэзии», и теперь Гумилев (также отсылавший с фронта стихи для этого издания) не верил своим глазам.

– Я не мог примириться, не мог простить ей чудовищной молитвы, – возмущался он. – *«Отними и ребенка, и друга»*, то есть она просит Бога о смерти Левушки для того, *«чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей…»* Она просит Бога убить нас с Левушкой! Впрочем, меня она уже похоронила в стихах, как только я ушел на войну. Но просить о смерти сына, предлагать своего ребенка в кровавую жертву Богу-Молоху, – нет, этого никогда с сотворения мира не было!

Злополучный альманах попал в руки Гумилева в ноябре, после возвращения Ахматовой из Хювинке. Она заметно окрепла; может быть, потому он не взял труда как-то сдерживать негодование. Ахматова запомнила фразу, что ***«стихи всегда сбываются»***[395]. От передачи дальнейшего она воздерживалась, но после этой «литературной дискуссии» вновь возник вопрос о разводе. Ахматова исчезла из Царского Села и на несколько дней затворилась у Птицы-Срезневской в одном из преподавательских корпусов Военно-Медицинской Академии. В самый разгар катастрофы на пороге опустевшего царскосельского особняка в парадном студенческом мундире, белых перчатках и с букетом появился Всеволод Рождественский.

– Наш студенческий кружок… – выпалил он. – Наш кружок… Мы загорелись мыслью выпустить свой студенческий сборник… Мы приглашаем к нам уже известные литературные имена…

– Я дам что-нибудь для сборника, – устало согласился Гумилев. – А вот Анны Андреевны здесь нет. К Анне Андреевне Вам придется ехать отдельно.

Он пригласил гостя в гостиную.

– Давайте-ка почитаем друг другу стихи. Вы – первый. Два стихотворения. А потом то, что Вы помните наизусть из стихов своих товарищей по кружку. Вот, садитесь сюда. Спокойно, не торопитесь. Я Вас слушаю…

Рядом с Гумилевым внезапно возникла заплаканная Татьяна Адамович. По ее словам, родители учеников михельсоновской гимназии приступили к дирекции с требованием оградить учениц от дурного влияния *«любовницы Гумилева»*, и она горько переживала утрату репутации[396]. Гумилев, потрясенный видом страданий, повез Адамович в типографию Лаврова, где печатался «Колчан», и внес, прямо в гранки, посвящение несчастной жертве любви. Но прагматичная Татьяна Викторовна ожидала от него, по-видимому, каких-то иных утешений. Не дождавшись, она обратилась целиком к обществу хореографа-далькрозиста Стефана Высоцкого, уроки которого прилежно посещала весь год. Без объяснений и ссор ее встречи с Гумилевым прекратились, вероятно, еще до того, как «Колчан» увидел свет.

А посвящение осталось. И Ахматова во время «цехового» собрания в царскосельском особняке среди выступлений юных соискателей в «подмастерья» вдруг демонстративно резко поднялась с места:

– Пойду-ка я погуляю… Чтобы не мешать молодежи…

12 декабря, на заседании «Общества ревнителей художественного слова», возрожденного в «Аполлоне» стараниями Николая Недоброво, Гумилев и Ахматова были мрачнее тучи и волком смотрели друг на друга. Их опасливо сторонились. Заседание планировалось торжественное – все ждали прибытия Вячеслава Иванова. Патриарх «башни», осевший со своим новым семейством в Москве, не показывался в столице с довоенных времен. Наконец раздались приветствия. Приметив в зале строгое черное платье и вуаль Ахматовой, сияющий улыбкой Иванов по старинке, затевая разговор, завел что-то иронически-добродушное о «манерности», но та громко отрезала:

– Я в трауре. У меня умер отец…

Иванов растерянно умолк, сконфузился и держался потом подальше от Гумилевых. На великолепном «литературном ужине», устроенном в честь московского гостя у Федора Сологуба, Ахматову безуспешно пытался развеселить Осип Мандельштам:

– Мне кажется, что один мэтр – это зрелище величественное, а два – немного смешное…

Гумилев имел крупный разговор с Михаилом Лозинским. Волшебное появление посвящения ***«Татіане Викторовне Адамович»*** для редактора «Гиперборея», державшего корректуру

гумилевского сборника, было не меньшим сюрпризом, чем для Ахматовой. Лозинский пророчил, что посвящение новой книги наверняка затмит для читателей ее содержание:

– Ради минутного порыва, мой друг, Вы изменили *вечному*!

Так и случилось. Повсюду сочувствовали Ахматовой и бранили выходку автора «Колчана». Эта история губительно подействовала на «Цех поэтов». Молодежь еще пыталась собираться у Струве и Радловых, но ветераны приглашения стали игнорировать. Впрочем, к концу года все притихло: в самом воздухе столицы чувствовалась особенная тяжесть, какая-то *«чреватость»*. Газетные страницы после цензурных изъятий белели, как полотно, целыми полосами, но даже из той невнятицы, которая доходила в уцелевших материалах, было ясно: для стран Антанты настали черные дни.

Англичане и французы, весь год штурмовавшие турецкие Проливы, понесли такие потери на море и суше, что, очертя голову, бежали из Дарданелл. Герой Горлицкого прорыва Август фон Макензен (уже не генерал, а генерал-фельдмаршал), разделавшись с русскими, обрушился на Балканы. Вместе с германцами и австро-венграми в поход выступили и болгары – царь Фердинанд I дождался-таки реванша[397]. Месть оказалась, в самом деле, *ужасной* – Сербия была разгромлена дотла и ***опустела***. Четверть миллиона (!) сербов вместе с остатками армии и престарелым королем Петром уходили из древних славянских твердынь Белграда, Крагуеваца, Ниша, Кружеваца, Краниева, Рашки, Искюба, Ипека, спасаясь по зимним перевалам Албанских гор к Адриатике в одной надежде на итальянские и французские морские транспорты. Черногорцы, укрепившись на скалистых склонах Ловчена, отбивались, один против десяти, но в самую «европейскую» новогоднюю ночь австрийские войска выбили их с позиций, оставив для Цетине только капитуляцию.

Надежды на скорое и победоносное завершение войны рухнули окончательно. О Берлине никто не помышлял, напротив, многие принялись гадать втихомолку – войдут ли германские войска в новом году сразу в Петроград или все-таки сначала займут Москву? Говорили, что «пролетарии» на заводах, позабыв о патриотических клятвах, с начала осени бастуют вовсю – то против досрочного роспуска Думы, то против объявленной мобилизации ратников второго призыва, то против надвигающейся голодухи[398]. Слухи о мятежах, изменах и заговорах стали излюбленной темой для доверительных бесед, как в гостиных, так и на городских улицах.

«Разочарование в войне Гумилев тоже перенес и очень горькое», – вспоминала Ахматова. Верный присяге, он был готов

до конца делить со всей армией уготованную фронтовую участь, но о триумфах уже не мечтал.

И год второй к концу склоняется,
Но так же реют знамена,
И так же буйно издевается
Над нашей мудростью война.

Завернув по старой памяти на собрание «Вечеров Случевского», Гумилев кротко успокаивал взволнованного Ф. Ф. Фидлера (этнического немца): не *furor teutonicus*[399] является источником всех бед, а высший промысел, неведомый человекам. Болезненно постаревший Фидлер (кто-то пустил слух, что страстный собиратель литературных автографов – германский шпион) печально пошутил:

– Значит, немецкую жестокость Вы испытали лишь тогда, когда были моим учеником в гимназии и получали у меня единицы?

В действительные члены «Вечеров Случевского» избирался Сергей Городецкий. Вопреки всему, Городецкий продолжал истово верить в несокрушимость природных славян и мечтал о народных певцах, которые могли бы посрамить столичных скептиков. «Цех поэтов» виделся «синдику № 2» недостаточно боевым, – он организовал собственную группу *«Краса»*. Ее участники выступали в вышитых косоворотках, плисовых шароварах, сарафанах и боярских кафтанах, среди бутафорских снопов, жестяных серпов и картонных березок (реквизит поставляли напрокат петроградские театры). После удара бубна, заменявшего «европейский» колокольчик, на сцену выходил белокурый голубоглазый отрок Лель, в лаптях, с букетиком бумажных васильков, и, напирая на «о», читал распевно:

Между сосен, между елок,
Меж берез кудрявых бус,
Под венком в кольце иголок,
Мне мерещится Исус.

Собрания «Красы» напоминали не столько «вечера подлинно народной поэзии», сколько рождественскую балаганную антрепризу Лейферта, но отрок Лель Гумилева заинтересовал. Тот немедленно явился в Царское Село в сопровождении Николая Клюева. Оба поэта-самородка были в овчинных тулупах, дремучих малахаях и ядреных валенках.

– Сергей Есенин!

Духовный отрок оказался хитрющим. Он видел все насквозь, все схватывал с полуслова, однако при малейшей заминке сразу начинал артистически блажить:

– Мы – деревенские, мы этого вашего не понимаем… мы уж как-нибудь… по-нашему…

Появилась Ахматова и напустила такого холода, что «деревенских» как ветром сдуло:

– С детства не выношу ряженых!

«Она совсем не такая, какой представлялась мне по стихам», – горько жаловался знакомым Есенин. Но Ахматову в этот печальный новогодний канун мало заботило мнение случайных литературных визитеров[400]. Друзья находили ее подавленной, растерянной, горько пеняющей на деспота-мужа, который только тиранит и мучает понапрасну:

– У меня уже год каждый день поднимается температура! В Финляндии я сказала Коле: «Увези меня умирать-то хоть…»

Зашедший с поздравлениями на Рождество Борис Эйхенбаум едва не плакал: «Какая она хорошая, глубокая – больна… Читала стихи будущего сборника, где она и о «ребеночке» говорит, и «христовой невестой» называется – гораздо дальше «Четок», в самую глубь».

– А Гумилев – пуст, – сердито прибавлял Эйхенбаум, – и сборник его – тоже[401].

На праздниках Гумилев предпочитал домашнему очагу общество очаровательной Марии Левберг, полудетские стихи которой без зазрения совести расхвалил в декабрьском «Аполлоне». Уединившись в уютном закутке за сводчатой опорой подвала «Алладиновой лампы», он интриговал смущенную красавицу:

– Знаете, почему сейчас нет драконов? Любили драконы в старину на Русь прилетать за девушками. Народец-то тогда был не ахти какой, только слава, что богатыри, а вот девушки, так те действительно… Теперь таких уж не бывает. Да и драконы были орлы: красная краска даже синим отливала, хвост лошадиный, а клюв стрижа. И такой им закон был положен: унесет девушку за Каспий и услаждается яблочными грудями ее сахарными. А умрет девушка, и он должен в тот же час умереть. Вот и рассудите: девушек много, драконов мало. Так и повывелись…

25 декабря 1915 года приказом № 148-б по 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии было объявлено о награждении уланского унтер-офицера Николая Гумилева Георгиевским крестом 3-й степени. Получив необходимые наградные документы, Гумилев сдал их вместе с рапортом об изъявлении желания принять обер-

офицерский чин в делопроизводство по инстанциям военного ведомства. В отличие от весны, на фронт теперь он не рвался, представляя событиям развиваться с той величавой неторопливостью, которую предполагала громоздкая бюрократическая военная машина Российской Империи.

XV

Падение Эрзерума. Прощание с Городецким. Затянувшееся производство в чин. «Медный всадник». Лариса Рейснер. «Кукольный театр» Маковского. Маргарита Тумповская. «Дитя Аллаха». Новое назначение. В фольварке Рандоль.

В начале января 1916 года войска командующего Кавказским фронтом[402] генерала от кавалерии Николая Николаевича Юденича, перешли в наступление, смяли левый фланг 3-й турецкой армии, заняли укрепления Гасан-кала на южном правом фланге и загнали основные силы противника в крепость Эрзерум, издавна считавшуюся «воротами в Персию». 3 (16) февраля 1916 года после пятидневного штурма, в ходе которого турки потеряли всю артиллерию и 70 % личного состава, Эрзерум был взят, а победоносный Юденич, развивая успех, двинулся на черноморский порт Трапезонд (Трапезунд, Трабзон), древнюю вотчину византийских Комнинов[403].

Кавказские победы, как зимний гром, потрясли Империю, затмив в памяти впечатлительных россиян печальные картины прошлогодних поражений. «Тени Румянцева, Суворова, Нахимова и Скобелева витают теперь над доблестной Кавказской армией, вторгшейся в пределы Турции, – писал в военной листовке неистовый иеросхимонах Антоний (Булатович), абиссинский путешественник и афонский еретик. – Пробил час, когда крест снова воссияет над Св. Софией, и исполнится заветная мечта лучших русских людей:

Сказал таинственный астролог:
«Узнай, султан, свой вещий рок,—
Не вечен будет и не долог
Здесь мусульманской власти срок.
Придет от севера воитель
С священным именем Христа —
Покрыть Софийскую обитель
Изображением Креста»[404].

Петербург вновь накрыла волна победной эйфории. Торжествовал Сергей Городецкий, воспевший превращение мусульманского Стамбула в православный Царьград еще в октябре 1914-го, сразу после открытия боевых действий на юге:

Недаром был Олегов щит
На воротáх твоих прибит,
Царьград, томящийся в плену,
Эвксинских вод упорный страж,
Ты будешь наш, ты будешь наш
В сию волшебную войну[405].

Уверенный, что в Закавказье решается теперь судьба России (если не судьба всей войны), Городецкий вскоре отправился военным корреспондентом к Юденичу на Кавказский фронт. На прощанье «синдики» сфотографировались – Городецкий в щегольской шубе и цигейковом гоголе[406], Гумилев в унтер-офицерской шинели, с саблей. Городецкий вышел взволнованным, Гумилев – непроницаемым, как сфинкс, лишь губы чуть кривились в легкой улыбке. Судьба его тоже решалась в эти дни: предстояло производство в прапорщики и назначение в новую часть (обычная практика при переходе нижних чинов в обер-офицеры). Выпадал 5-й Александрийский полк «черных гусар», стоявший сейчас в обороне на Западной Двине. Известие почему-то потянуло за собой нехорошее видение. Радостный пожилой немец в рабочей блузе крупповских оружейников, весь в демонических огненных бликах, с любовным старанием отливал пулю для неведомого русского офицера:

Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.

Упаду, смертельно затоскую,
Прошлое увижу наяву,
Кровь ключом захлещет на сухую,
Пыльную и мятую траву.

И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век.
Это сделал в блузе светло-серой
Невысокий старый человек.

Гумилев поделился стихотворением с новым военным корреспондентом Кавказского фронта. Восхищенный Городецкий потребовал список («Может, опубликую при случае!»[407]), но гибельные предчувствия все-таки посоветовал гнать долой.

Гумилев пожал ему руку:

– В любви, на войне и в картах я всегда счастлив, ты знаешь!

5-й гусарский Александрийский Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк входил в элиту армейской кавалерии – сам наследник-цесаревич числился в его списках корнетом. Вся Россия распевала полковую песню бравых александрийцев:

Марш вперед!
Труба зовет,
Черные гусары,
Марш вперед!
Смерть нас ждет,
Наливайте чары!

К александрийским гусарам на Двину недавно был направлен из Уланского полка Юрий Янишевский, прошедший тот же, что и Гумилев, путь от охотника в Кречевицком лагере до обер-офицера. Полковым шефом и тех, и других кавалеристов была императрица, так что решения штабных кадровиков определяла ясная «ведомственная» логика. Но с Гумилевым у них произошел какой-то сбой. Производство в чин внезапно затянулось, равно как и новое лестное назначение. Тогда, памятуя о близости Веры Гедройц к августейшей начальнице «черных гусар», Гумилев вновь побывал на Госпитальной улице с настоятельной просьбой похлопотать за него перед Ее Величеством[408]. Пока же он продолжал вести «штатскую» жизнь.

Январские военные победы приободрили и встряхнули Петроград, оживив литературную и художественную жизнь столицы. С начала года Гумилев вошел в совет нового «закрытого клуба деятелей искусств», который в знак почтения к классике именовался *«Медный всадник»*. Литературоведу Константину Арабажину (председатель) и модному беллетристу Юрию Слезкину (вице-председатель) виделись камерные собрания мастеров-профессионалов, на которых поэты, писатели и композиторы могли бы выносить на суд знатоков свои новинки. Первые заседания прошли на профессорских квартирах – у В. В. Святловского[409] на Пятой линии, у А. И. Степанова[410] на Большой Пушкарской и у М. А. Рейснера на Большой Зелениной. У Рейснеров именитых участников «Медного всадника» эпатировала двадцатилетняя дочь хозяина, клеймившая в ямбах изваяние великого императора:

Боготворимый гунн

В порфире Мономаха
Всепобеждающего страха
Исполненный чугун[411].

Литературное творчество Лариса Рейснер совмещала с учебой в Психоневрологическом институте, вольным посещением лекций на историко-филологическом факультете университета и боевитой общественностью. С ученой красавицей, считавшей воздвиженье креста над Айя-Софией бессмысленной химерой, Гумилеву пришлось пикироваться. Нельзя сказать, что у нее не было резонов[412]. Но Гумилев все равно возражал. Под Новый год Рейснер вместе со своим женихом Владимиром Злобиным стала издавать журнальчик с оппозиционным и даже пацифистским направлением. Как это возможно в воюющей стране, Гумилев не понимал, да и название было соответствующим – *«Рудин»*, по имени тургеневского героя, из которого рекою лились увлекательные слова, не имеющие никакого применения к действительной жизни. Раздражал Гумилева и сам хозяин квартиры – либеральный адвокат, о котором со времен революционной смуты ходили странные слухи.

– Смотрю на него, – говорил Гумилев Георгию Иванову, возвращаясь с «закрытого» вечера на Большой Зелениной, – и меня все подмывает взять его под ручку: «Профессор, на два слова» – и, с глазу на глаз, ледяным тоном: «Милостивый государь, мне все известно». Наверняка затрясется, побледнеет, начнет упрашивать…

– Да что же тебе известно? – уставился на Гумилева Иванов.

– Решительно ничего. Но уверен, смутится. Обязательно какая-нибудь грязь водится у него за душой[413].

При «Аполлоне» открывался «Кукольный театр» – новое увлечение Маковского, удивившее многих. Маковский горячо отстаивал идею, указывая на выгодную привлекательность зрелища для всех сословий и возрастов. Первым спектаклем назначили французскую комедию *«Сила любви и волшебства»* («Les forces de l’amour et de la magie»), которую еще в XVII веке разыгрывали ярмарочные актеры-«прыгуны», нарушая театральную монополию королевской «Comédie Français»[414]. За дело взялись энтузиасты – режиссер-кукольник Петр Сазонов и его жена Юлия Слонимская, публиковавшая в «Аполлоне» статьи о марионетках. Перевод был заказан Георгию Иванову. Музыку сочинил Фома Гартман. Николай Калмаков и Мстислав Добужинский придумали миниатюрные костюмы и игрушечные декорации. Вокальные партии согласились исполнить концертные

«звезды» – Зоя Лодий, Зинаида Артемьева, Николай Андреев. 15 февраля Гумилев вместе со всем любопытствующим «бомондом» оказался в двусветной зале особняка Гауша[415], превращенном, по случаю генеральной репетиции, в кукольный вертеп. Крохотные маркиз и маркиза с изысканной грацией исполняли менуэт, извивались в сладострастном танце хищные карлики, съезжались, вонзая друг в друга копья, закованные в блестящие латы рыцари – это чародей Зороастр волшебными наваждениями пугал и пленял прекрасную пастушку Грезинду. Публика по-детски восторженно радовалась новизне: величавая замысловатость речей надменного Зороастра, кроткие слезы жертвы его темной страсти, добродетельная Юнона и румяные Амуры, спешащие на помощь в золотой колеснице, запряженной павлинами, – все было замечено и вознаграждено аплодисментами. Счастливый Маковский, принимая поздравления в гостиной анфиладе, где устроили фойе и буфет, вслух мечтал о грядущих грандиозных постановках в духе «Фауста» Гете. Гумилев, раскланивавшийся с Сазоновым, немедленно подхватил слова pápá Makó и предложил написать для марионеточного действа еще одну пьесу в стихах:

– Ведь ваш французский «комический дивертисмент» семнадцатого века явно требует разъяснения и продолжения!

Поймав недоуменный взгляд Маковского, он заметил, что подлинным волшебникам и чародеям нет никакой нужды прибегать к волхованию для покорения сердец – к ним сами слетаются не то что земные пастушки-простушки, но даже ***небесные Пери***.

– Такой отвлеченный человек! – удивлялась Маргарита Тумповская. – Его взгляды на женщину очень банальны. Покорность, счастливый смех. Когда, наконец, добиваться уж больше было нечего, он только облегченно вздохнул – «надоело ухаживать!..». Он действительно говорил, что *«быть поэтом женщине – нелепость»*!![416]

Маргарита была младшей из четырех дочерей известного петербургского педиатра Марьяна Давыдовича Тумповского – врача-подвижника, бессребреника и гуманиста. Яркие как сказочные принцессы, сестры в жизни имели мало общего. Двое старших прямо с гимназической скамьи ушли в революционное подполье[417], средняя Ольга удачно вышла замуж и уехала в Швейцарию, что же касается Маргариты, то она, далекая и от общественности, и от быта, росла среди книжных фантазий и тайных преданий о древних чудесах:

Я, девочкой, дрожа и холодея,

Заклятые слагала имена,
И сквозь нечитанные письмена
Мне виделась далекая Халдея[418].

Ей легко давались языки, с девяти лет она писала стихи и драматические сценки, штудировала, поражая гимназических учителей, философские трактаты. Новейшую поэзию интеллигентная Тумповская знала великолепно. Стихи Гумилева уже несколько лет приводили ее в восторг. Минувшей осенью, она, пользуясь случаем, возымела желание выразить автору свое восхищение, не подозревая, что тот воспримет благосклонный интерес чем-то вроде утешительного приза за все предыдущие любовные невзгоды…

Расстроенный разрывом с Татьяной Адамович, Гумилев не озаботился даже сменить привычный арсенал комплиментов! Он упорно именовал новую подругу… полькой и беседовал с ней о польской отваге и страсти. Рассердившись, Тумповская пояснила, что она – еврейка.

– Не имею против! – хладнокровно отрезал Гумилев.

По словам Тумповской, Гумилев хотел, чтобы во время любовных свиданий она именовала его *«Колей»*:

– А я никогда не могла назвать его Колей, так не шло ему это, казалось именем дачного мужа. А он удивлялся и считал себя Колей.

Сразу после представления в особняке Гауша Гумилев бесцеремонно распотрошил библиотеку Тумповской, полную книг о восточной мистике. Соорудив из раскрытых томов в ее комнате на улице Жуковского что-то вроде крепостного бастиона, он, едва заглядывая в нужную страницу, тут же перелагал прочитанное в стихи, ложившиеся на бумажном листе набело, словно под какую-то беззвучную диктовку. Безмолвной невидимкой Тумповская, осторожно наклоняясь за крепостную стену, наблюдала, как прямо на ее глазах заклинания персидских магов-суфиев[419] обращаются в русские стихотворные монологи:

Крыло лучей, в стекло ночей
Ударь, ударь, стекло разбейся!
Алмазный свет, сапфирный свет
И свет рубиновый, развейся!

Восточная сказка слагалась стремительно. Каждый день появлялись новые и новые сцены. Райская Пери, «дитя Аллаха», минуя соблазны и невзгоды, шла по грешной земле к саду поэта

Гафиза, – с возрастающим суеверным страхом Тумповская видела, как, строка за строкой, вырастает и оживает, словно в волшебном зеркальном сиянии, ее собственный ослепительно-прекрасный двойник:

Ты словно слиток золотой,
Расплавленный в шумящих горнах,
И грудь под легкой пеленой
Свежее пены речек горных.
Твои глаза блестят, губя,
Твое дыханье слаще нарда…

– Дорогой!..

– Я же просил тебя называть меня: *«Коля»*! – не оборачиваясь, наставительно поправил ее Гумилев.

Уже 19 марта «арабская сказка в трех картинах «Дитя Аллаха» была целиком прочитана автором на специальном собрании в «Аполлоне», после чего, как следует из журнального отчета, «Н.В. Недоброво подверг разбору построение действия, В. Н. Соловьев – постановочную сторону, Валериан Чудовский – лирические достоинства пьесы, Сергей Гедройц – ее идейную сторону». Но воспользоваться плодами дискуссии Гумилев не смог – штабные кадровики, наконец, пробудились, и со следующей недели гражданской вольнице наступил конец. В последних числах марта – начале апреля он, выправляя необходимые воинские документы, побывал в курляндском Люцине, куда переместился к этому времени Уланский полк, в Пскове, где располагался штаб армий Северного фронта, вернулся на несколько дней в Петроград и вновь отбыл в Люцин. Трудно сказать, удалось ли ему встретить свое 30-летие среди домашних, а для Маргариты Тумповской он и вовсе неожиданно пропал в неизвестности, оставив ее перечитывать среди разрозненных бумаг твердо выведенные строки:

Я первый в мире, и в садах Эдема
Меня любила ты когда-то, Пери…

Тем временем над штабом 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии громыхнуло: императрица ждет, так как там с Гумилевым? Штаб заверил: оный Гумилев произведен в прапорщики 5-го Гусарского полка.

«Он отбыл седьмого апреля <по> месту нового служения».

Под Пасху в фольварке (поместном владении) Рандоль, занятом под постой александрийскими гусарами, полковым священником ежедневно совершались службы: вербная всенощная и все страстные – вынос плащаницы и другие. Гумилев попал в расположение части вечером Великой Субботы, и первым его действием с новыми однополчанами оказалось богослужение над скорбным платом, изображающим Спасителя во гробе – торжественно затворялись Царские врата, иерей с прислужниками переменяли одежды и покровы на светлые, призывно звучали стихиры:

«Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всех языцех!»[420]

Назавтра, в пасхальное воскресенье 10 апреля полковник А. Н. Коленкин, поздравляя александрийцев, присовокупил в § 6-м праздничного приказа:

«Из вольноопределяющихся Лейб-Гвардии Уланского Ея Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка Николай Гумилев приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта от 28-го прошедшего марта 1916 года за № 3332 произведен в прапорщики с назначением в сей полк. Означенного обер-офицера зачислить в списки полка и числить налицо с сего числа и с назначением в 4-й эскадрон».

XVI

«Черные гусары». Позиционные бои в Курляндии. В лазарете Большого царскосельского дворца. «Привал комедиантов». «Армянский вечер» в Тенишевском училище. Анна Энгельгардт и Ольга Арбенина. Уланский праздник в Царском Селе. Александра Федоровна. Луцкий прорыв. Встреча с императрицей и великими княжнами. Новые карьерные горизонты. Огорчения Маргариты Тумповской. Направление в крымскую здравницу. Слепневские дни.

В 1813 году в битве при Кацбахе генерал Гебхард Блюхер – будущий фельдмаршал и без пяти минут победитель Наполеона – принял гусарскую гвардию императора Александра Благословенного, геройски отразившую натиск противника, за своих прусских «гусаров смерти». В восторге он ринулся поздравлять победителей.

– Мы не прусские гусары смерти, а ***русские бессмертные***! – отрапортовал Блюхеру полковник князь Валериан Мадатов.

В память о Кацбахе знаком александрийцев стал тот же, что и у блюхеровских гвардейцев, серебряный мальтийский крест с изображением «адамовой главы» (черепа со скрещенными костями). Черная форма «бессмертных гусар» с серебряными галунами, будучи одной из самых роскошных в русской армии, напоминала в то же время монашескую схиму – девизом их было *«vincere aut mori»*, победа или смерть; третьего не давалось. В начале войны 5-й Александрийский полк отличится в Польше, затем во время Горлицкого прорыва, героически сдерживал натиск германских войск, а во второй половине 1915 года был отведен за Западную Двину в резерв и больше в активных боевых действиях не использовался. Николай II, приняв Верховное главнокомандование, приберегал верных александрийцев на самый крайний, роковой случай. Среди обер-офицеров здесь была особенно распространена присущая гвардии армейская кастовость, и они встретили щеголявшего в новеньком доломане прапорщика из *штаков*, да еще вдобавок *стихоплета*, с недоверием и любопытством.

– А вот, скажите, пожалуйста, – преувеличенно вежливо спрашивали Гумилева, – правда ли это, что наше время бедно значительными поэтами? Вот если мы будем говорить военным языком, то, кажется, «генералов» среди теперешних поэтов нет.

– Ну, нет, почему так? – отвечал Гумилев. – Блок вполне «генерал-майора» вытянет.

– Ну, а Бальмонт в каких чинах, по-Вашему, будет?

– Ради его больших трудов ему «штабс-капитана» дать можно.

На второй день пасхальной седмицы гусарские эскадроны выдвинулись из ближнего тыла на передовую, сменив в окопах на берегу Двины каргопольских драгун. Гумилеву пришлось привыкать к новым боевым условиям. Ни дерзких конных разведок, ни сторожевых разъездов, ни лихих кавалерийских атак не было. За полгода его отсутствия армии Северного фронта зарылись в землю, превратив передовую линию в сплошной укрепленный рубеж с блиндажами и капонирами, проволочными заграждениями, минными ловушками, хитроумной системой проходов и наблюдательных постов. На германском берегу виднелись точно такие фортификационные лабиринты; за ними вдалеке реял привязной аэростат наблюдения. С наступлением темноты над серебристой рябью воды с той и другой стороны время от времени лопались шипящие ракеты, озаряя белым безжизненным пламенем береговые откосы. Днем над позициями изредка проносились одинокие германские и русские аэропланы, а однажды величаво проплыл, отбрасывая исполинскую тень, четырехмоторный «Илья Муромец».

Между враждующими берегами шла вялая ружейная перестрелка, не приносящая никому ощутимого вреда. Иногда с германских батарей посылали снаряд-другой в сторону железнодорожной станции Ницгаль, приметной из-за возвышающегося над лесными кронами костела. В ответ русские производили выстрел по местечку Ружа, где, по данным разведки, находился склад боеприпасов. Казалось, что основной заботой как своих, так и германских командиров является совершенствование укреплений: ночью, под покровом темноты, вдоль обоих берегов велись интенсивные окопные работы. Это спокойствие было, конечно, обманчивой иллюзией. На девятый день боевого дежурства александрийцев артиллеристы дотянулись-таки до германского арсенала. Над Ружей полыхнуло зарево, загрохотали взрывы. Ночью по Двине заметались лучи прожекторов, нащупывая цели на русском берегу, а едва рассвело, начался интенсивный обстрел всей линии обороны. Хуже всего пришлось гумилевскому эскадрону, находившемуся не в окопах, а в обеспечении в фольварке Авсеевка, куда пришелся основной удар. Германские батареи гвоздили день напролет, разнесли скотный двор и зажгли хозяйственные постройки вокруг центральной усадьбы и усадебной рощи, прикрывавшей 4-й эскадрон. Под разрывами снарядов до позднего вечера весь личный состав во главе с ротмистром Андроником Мелик-Шахназаровым и начальником участка обороны подполковником А.Е. фон Радецким мужественно боролся с огнем. Помогли

подоспевшие гвардейские саперы – рощу и господский двор, имевшие важное тактическое значение, совместными усилиями удалось отстоять. «Молодцам гусарам за самоотверженную работу спасибо», – отметил в приказе командир полка.

Боевое дежурство александрийцев завершалось в полночь с 25 на 26-е апреля, когда внезапный ливень, не уступавший в свирепости тропическим собратьям, превратил все дороги вокруг в реки жидкой грязи. Выбирая менее разъезженный путь, эскадроны, хранимые ночным сумраком, двинулись от фронта по окольным проселкам и к утру благополучно добрались до фольварка Рандоль, хотя иззябшие и вымокшие до нитки. Был дан приказ на отдых. В 4-м эскадроне «обмывали» повышение командира Акселя фон Радецкого. «Во время обеда, – вспоминал поручик Карамзин, – вдруг раздалось постукивание ножа о край тарелки и медленно поднялся Гумилев. Размеренным тоном, без всяких выкриков, начал он свое стихотворение, написанное к этому торжеству. К сожалению, память не сохранила мне из него ничего. Помню только, что в нем были такие слова: «Полковника Радецкого мы песнею прославим…» Стихотворение было длинное и было написано мастерски. Все были от него в восторге. Гумилев важно опустился на свое место и так же размеренно продолжал свое участие в пиршестве». Про легковесное прошлое нового обер-офицера уже никто не вспоминал. Напротив, в полку прошел слух, что новичок-прапорщик состоял раньше при дворе африканского царя, держал в страхе орды людоедов и обладал гаремом черных одалисок. Бывалые гусары стали поглядывать с уважением, а добрейший Радецкий на дежурный вопрос «ну, как там у тебя Гумилев?» отвечал уверенно:

– Да, да, ничего. Хороший офицер. И, знаете, *парень хороший*…

В его устах это было высшей похвалой.

Между тем *хороший парень* хандрил. Как и год назад, появился лихорадочный жар, загонявший в постель. Вместо запланированных полевых учений по настоянию полкового врача пришлось остаться на квартире. Отлеживаясь, он вспомнил наконец о существовании Тумповской и, с опозданием на полтора месяца, подал весточку:

«Мага моя, я Вам не писал так долго, потому что все думал эвакуироваться и увидеться; но теперь я чувствую себя лучше и, кажется, остаюсь в полку на все лето. Мы не сражаемся и скучаем, я в особенности. Читаю «Исповедь» блаженного Августина и думаю о моем главном искушении, которого мне не побороть, о Вас. Помните у Нитше – «в уединении растет то, что каждый в

него вносит»…»

Возможно, он рассчитывал, что длительная военная отлучка вдали от семейных ссор и любовных соблазнов как-то сама собой определит его дальнейшую «штатскую» судьбу. Но вышло иначе. Заметив, что к лихорадке прибавился кашель и легочные хрипы, полковой врач убоялся чахотки и настоял на немедленной «эвакуации»… в Царское Село. Оказавшись вновь в Петроградской губернии, Гумилев поступил в лазарет, развернутый в Большом Екатерининском дворце. До особняка на Малой было несколько минут ходьбы. Но навестить болящего воина оттуда никто не явился – накануне все переехали в Слепнево! Необычно ранние и щедрые дачники, ускорившие отъезд, возникли, должно быть, *по ахматовской «Молитве»* – Гумилев, в самом деле, словно нарочно *«отнимался»* от жены и домашнего круга.

Зато у нового больного в Большом дворце наверняка побывала Вера Игнатьевна Гедройц – и для врачебного осмотра, и с дружеским визитом, и уж, конечно, для рассказа о хлопотах императрицы за устроение судьбы некоего гусарского прапорщика. Последний месяц Гедройц приходилось оперировать без своей лучшей хирургической сестры. Александра Федоровна с великими княжнами гостила в Ставке, утвердившейся ныне в Могилеве; оттуда августейшее семейство должно было направиться в Крым на открытие военной санатории. Гумилев был растроган. Его благодарственное *«Послание в путешествие Ее Императорскому Величеству и Их Императорским Высочествам Великим Княжнам Татьяне и Ольге»* зазвучало одической медью Державина и Петрова[421] и было немедленно вручено Гедройц для быстрой передачи по каналам придворной связи.

В первые же дни пребывания Гумилева в лазарете Большого дворца выяснилось, что источником тревоги была не чахотка, а тяжелый бронхит. Трудолюбивые медики и предупредительные сиделки, любовно отобранные Александрой Федоровной, принялись усердно врачевать «черного гусара», имя которого было у многих на слуху. Тот, быстро выздоравливая, с интересом наблюдал любопытные картинки быта военно-медицинского учреждения, помещавшегося (в буквальном смысле) в самом сердце придворной императорской России. Не ведающий смертной боли, крови и рвоты Придворного госпиталя, где трудились Гедройц, императрица и великие княжны[422], лазарет Большого дворца специализировался на легкораненых и недужных незаразными болезнями. Осанка, речь и манеры большинства здешних сестер милосердия определенно указывали на высокое происхождение. Если к себе на Госпитальную улицу

Гедройц забирала лучших из лучших, то под своды дворцовых полуциркулей Растрелли попадали любезнейшие из любезных. Утопающий в весенней зелени, среди лебединых кликов, соловьиных трелей, благоухания оранжерей и боскетов, дворцовый лазарет был любим вельможными благотворителями и представителями царствующего дома, охотно посещавшими благообразных ратников в чистых повязках и выздоравливающих офицеров. Гумилев забавлялся, исподволь наблюдая, как крохотная вдовствующая императрица Мария Федоровна, знаменитая своим невообразимым русско-немецким выговором, строго допрашивает испуганного бородатого дылду в пижаме:

– Ну как твое *пузо*? Болит? Нет? Это хо-ро-шо!..

Сам Гумилев чувствовал себя настолько окрепшим, что, пользуясь положением *знакомого Веры Игнатьевны* (с которой никто не хотел связываться), стал потихоньку самовольничать, исчезая из палаты во второй половине дня, когда все предписанные лечебные процедуры были исполнены. Удивленные его внезапными вечерними набегами Шилейко и Ляндау сообщали новости. Главнейшим было недавнее открытие Борисом Прониным *«Привала комедиантов»*, нового театрального «подвала» – на этот раз прямо под известным всему городу художественным ателье Добычиной в доме Адамини. В «Привале» уже учредили «Вечера поэтов», и Гумилев, по всей вероятности, впервые очутился на углу Марсова поля и набережной Мойки как раз в разгар стихотворного действа. Прибывающих гостей, по обыкновению, встречал Пронин; у ног его крутилась лохматая Мушка, радуя ветеранов «Бродячей собаки» знакомым тявканьем. Но, помимо приветного лая, окружающее мало сочеталось с прокуренной, шумной и уютной теснотой незабвенного подвала на Михайловской площади. Там царила вдохновенная и бескорыстная импровизация, здесь – искусный расчет на утвердившуюся популярность «театрализации жизни» среди состоятельной городской публики. При новом «подвале» предполагалась постоянная труппа с репертуаром, нумерованные места перед эстрадой бронировались загодя. Досужих безденежных *«господ членов петроградского художественного сообщества»* вежливо спроваживали *«смотреть представление из другой комнаты, где все прекрасно видно»* (впрочем, и там моментально подскакивал любезный лакей с салфеткой и меню). «В общем, получился какой-то эстетический, очень эстетический, но все же ресторан, – подытоживал Георгий Иванов. – Публике нравилось. Публика платила дорогую входную плату, пила шампанское и смотрела на Евреинова в судейкиных костюмах…». Впрочем, Евреинова и Мейерхольда в «Привале комедиантов»

вскоре потеснили супруги Сазоновы с «аполлоновскими» марионетками. «Сила любви и волшебства» давалась в мае постоянно, с неизменным успехом. Для кукольных представлений новый подвал подходил идеально. Судейкин наглухо вычернил стены и потолок, броско расписал снежно-белые ставни окошек, изобразил на сводах коварную маску-бауту в компании весельчака Труффальдино. Два остальных зала населили средневековыми французскими гуляками с румяными пейзанками, трактирщиком, ярмарочными жонглерами и пр. Оставалось лишь вообразить, как в этом великолепии будут выглядеть живописные восточные фантазии художника Кузнецова[423], взявшего на себя подготовку представления «Дитяти Аллаха»…

Встреченные в «Привале» знакомцы толковали про грядущий «армянский вечер», который устраивал в Тенишевском училище на Моховой прибывший из Москвы Брюсов. Затея была не столько эстетическая, сколько общественная. Переводы стихов средневековых армянских лириков напоминали слушателям о нынешних жертвах учиненной турками резни[424]. Кроме того, вспоминался и триумф генерала Юденича, взявшего в апреле Трапезонд. Прийти на Моховую в александрийской обер-офицерской форме с «Георгиями» было и патриотично, и лестно; вечером 14 мая Гумилев снова исчез из госпиталя. В проходе из фойе в тенишевский амфитеатр он поспешно посторонился, пропуская очень грустную девушку в розовом платье, которая, скорбно опустив глаза, казалось, ничего не замечала перед собой. Снова шагнул в амфитеатр и замер: та же девушка в розовом, только веселая-веселая, вновь шла навстречу. Оторопев, Гумилев смотрел, не отрываясь. Чаровница же, задев плечиком, бросила насмешливый взгляд. Рампа зажглась, заметно постаревший Брюсов под дружные аплодисменты показался за кафедрой. Но странное происшествие не выходило из головы, отвлекая Гумилева от происходящего на эстраде.

– Мы, русские, – сурово чеканил Брюсов, – как и вся Европа, вспоминаем об армянах лишь в те дни, когда им нужна бывает рука помощи, чтобы спасти их от поголовного истребления озверевшими полчищами султана. Между тем есть у армян более высокое право на наше внимание и на внимание всего мира: та исключительно богатая литература, которая составляет драгоценный вклад Армении в общую сокровищницу человечества…

А Гумилев никак не мог собраться с мыслями. Только когда божественные строки Ованнеса Тылкуранского зазвучали в благоговейной тишине, он пришел в себя:

Жестокая! Глаза твои учить могли бы палачей,
Ты всех влечешь в тюрьму любви, и бойня – камни перед ней!

О! сердце ты мое сожгла, чтоб углем брови подвести.
О! кровь мою ты пролила, чтоб алый сок для ног найти[425].

Гумилев энергично закрутил головой. Розовое платье светлело где-то на верхних рядах. Соседи зашикали на него со всех сторон.

– Виноват! Не знаете ли ненароком, кто она? Та, в розовом?

– Тише! Тише!.. Кажется, Никса Бальмонта сводная сестрица.

В антракте Гумилев отыскал поэта-музыканта из «Северных записок».

– Николай Константинович, представьте меня Вашей сестре!

Со своим единоутробным братом – *playboy*-ем из Оскара Уайльда, огненно-рыжим, румяным, надменным и велеречивым, с чуть заметным нервным тиком, – темноволосая и кареглазая Анна Николаевна Энгельгардт имела мало общего. Была она безнадежно грустна и молчалива, отвечала односложно; монгольские скулы предательски окрашивал стыдливый румянец. Внезапно, словно узрев избавление, она подняла голову:

– Николай Степанович, вот моя подруга… Оля! Николаю Степановичу Гумилеву будет очень приятно с тобой познакомиться!..

– Вы – Гумилев?! Поэт!! Герой!!! Путешественник по Африке!!!

Восторги обрушились на Гумилева прежде, чем Энгельгардт успела представить ему *Ольгу Николаевну Арбенину*. Дочь знаменитого трагика Александрийского театра обладала темпераментом покойного родителя[426]. Гумилев только переводил глаза с одной подруги на другую. Сходство было тем более поразительным, что внешних совпадений имелось, в общем, не так уж и много. Даже оттенки модных в весеннем сезоне платьев из розового фая[427] разнились – ярко-розовый у Энгельгардт и дымно-розовый у Арбениной. Тем не менее казалось, что это не два разных человеческих существа, а зеркальные отражения одной и той же миловидной девушки в противоположных состояниях, меланхолическом и озорном. Как понятно, веселый двойник немедленно оттеснил назад своего печального протагониста. Арбенина бойко затараторила о стихах и поэтах. Слушая ее, Энгельгардт, впервые, робко улыбнулась и,

поймав паузу, восхищенно вздохнула:

– Какая ты умная! А я стою и мямлю не знаю что.

Она изъяснялась с детской примитивной точностью суждений, вызывающей у окружающих неловкость.

В гардеробе Гумилев помедлил, ожидая Арбенину.

– Я почувствовал почему-то, – сказал он, подавая накидку, – что буду Вас очень любить. Я надеюсь, что Вы не prude[428]. Приходите завтра к Исаакиевскому собору.

– Это мне очень далеко. Впрочем, вот номер, телефонируйте.

К Арбениной спешила пожилая наперсница, по виду экономка из чухонок. Гумилеву оставалось откланяться. Задумавшись, он помедлил на тротуаре у выхода.

– Как мило! Вы хотите меня проводить?! Тут недалеко, а Никсу надо на Васильевский.

Гумилев предложил Анне Энгельгардт опереться на его руку и, поймав благодарный взгляд, неспешно двинулся с ней в сторону Симеоновской улицы. Задержавшись у ограды храма, неспешно осенил себя крестом, машинально отметив, что молчаливая спутница творила рядом крестное знамение по-народному широко, с поясным поклоном, как крестятся простые крестьянские бабы.

Анна Энгельгардт жила с родителями и младшим братом на перекрестке Бассейной и Эртелева переулка, напротив знаменитой на всю Россию газетно-журнальной твердыни «Товарищества А. С. Суворина „Новое время”». В «Новом времени» печатался ее отец, популярный беллетрист и критик, автор двухтомной «Истории русской литературы XIX столетия»[429]. В писательском мире Николай Энгельгардт слыл неисправимым чудаком-романтиком. Он изъяснялся на высокопарном языке журнальных патриотов времен наполеоновских войн, мог в припадке умиления бросить в кружку церковных пожертвований золотой брегет[430], был падок на всевозможную мистику – да так, что неделями, оставив дела, не выходил из кабинета, исследуя китайскую «царственную таблицу 214-ти ключевых знаков». О его браке со скандальной красавицей Ларисой Гарелиной, первой женой Бальмонта, ходили легенды: якобы, влюбившись внезапно без памяти, Энгельгардт совершил с другом-поэтом матримониальный «обмен», уступив собственную невесту прямо во время помолвки[431]. Так или иначе, но новорожденная Анна Энгельгардт, действительно, была «записана» на Бальмонта, пока ее настоящему родителю не удалось выправить щекотливое положение и «переписать» дочку на собственное имя. Сын Бальмонта также вырос у отчима, однако, достигнув совершеннолетия, при первой возможности поспешил отделиться.

Судя по всему, детям в доме романтика жилось не сладко.

– Никс говорит, что у нас настоящая *«пошехонская старина»,* как у Салтыкова. Скандалы, ссоры… Я теперь тоже хочу жить у Никса, да младший, Шура, захворал. Еле выходили.

Вернувшись в царскосельский госпиталь полуночником, Гумилев переждал возмущение местного начальства, два дня строго придерживался всех врачебных предписаний, а на третий, упросив смущенную сиделку, телефонировал по дежурному аппарату на квартиру Арбениной.

– Сегодня? Сегодня я никак не могу, – голос даже сквозь обычные эфирные помехи звучал смело и насмешливо. – Но я не отказываюсь. Увидимся завтра.

Гумилев пожал плечами и, вновь запросив телефонистку, достал другую карточку с номером.

Форма сестры милосердия очень шла Анне Энгельгардт. Кружась с Гумилевым по аллеям Летнего Сада, она неспешно рассказывала про сестринские курсы и свой госпиталь («Прямо на нашей улице, так повезло»). Говорила, впрочем, что с трудом выносит службу и, когда война окончится, непременно попробует другое – танцы, например, театр или музыку. Вновь беззлобно жаловалась на домашних. Отец, кроме своей китайской грамоты, ничего знать не хотел, не занимался ни доходным домом в Смоленске, ни имением в Финляндии, мало заботясь, что семья еле сводит концы с концами. Мать, постарев и подурнев, совсем помешалась на ревнивых подозрениях. Поскольку муж-затворник не давал предлога для супружеского гнева, она повадилась вымещать все на его книгах, самовольно вызывая букиниста и сбывая ненавистные тома целыми корзинами.

– И смех и грех. А меня они почти не замечают. И никогда не замечали. Вот и выходит, что нет у меня ни отца, ни матери.

Беседовать плавно и даже увлекательно ей удавалось, лишь когда речь шла о предметах, прямо касающихся ее непосредственных жизненных забот. В другом она моментально терялась, краснела, отвечала невпопад и «мямлила». Между тем она была начитана, водила знакомства в «Студии» Мейерхольда, посещала вместе с братом литературные вечера, с восторгом вспоминала о Бальмонте-père[432], с которым впервые виделась прошлой осенью и который обещал непременно позаботиться о ее будущем танцовщицы или актрисы:

– Обещал словно бы заново меня удочерить!

Прохожая публика задерживала взгляд на великолепной паре – блестящий офицер-александриец и изящная сестра милосердия, сошедшие с недавних открыток военной Пасхи. Встречались знакомые. Гумилев церемонно раскланивался. Вдруг он застыл:

«синдика № 1» весело приветствовал «цеховик» Всеволод Курдюмов.

Под руку с ним была Ольга Арбенина.

«Мужчины поговорили, – вспоминала Арбенина. – Аня имела вид смущенный, девический и счастливый, а я собрала все свое нахальство и какой-то актерский талант и переглянулась с Гумилевым, как в романах Мопассана». На следующий день, едва увидев забавницу, Гумилев, без особых церемоний, пошел в решительную атаку, вручил «Жемчуга» с надписью: *«Оле – «оле́»! Отданный во власть ее причуде юный маг забыл про все вокруг…»*[433] – и пообещал, что немедленно примется за такую же объемную книгу, обращенную лично к ней.

– На днях я написал послание великой княжне Ольге Николаевне Романовой. Но теперь моя принцесса, моя царица – Вы, и все мои стихи отныне посвящены только Ольге Николаевне Арбениной!

Арбенина, ничуть не смущаясь, беспечно отвечала, что ее мечтой всегда было принадлежать поэту и будить вдохновение. Гумилев развел руками:

– Ну, тогда это сама судьба! Посудите! Бальмонт уже стар, Брюсов с бородой, Блок начинает болеть, Кузмин любит мальчиков… Вам остаюсь лишь я!

В кабинете неприметного ресторана близ Лавры, на Старом участке Невского проспекта, Арбенина одарила Гумилева поцелуями без счета. Вдруг она решительно отстранилась, порываясь уйти.

– Могу ли я хотя бы надеяться… – растерявшись, взмолился он.

– А это будет зависеть, – обернулась она в дверях, – ***от того, сколько германцев Вы убьете в мою честь!***

Расставшись с кровожадной и страстной валькирией, Гумилев припомнил кроткую Анну Энгельгардт и подивился странной прихоти судьбы, сотворившей единый облик для такого разного человеческого содержания. В сущности, это было находкой для новой романтической пьесы – героиня, поделенная на два разных лика, дневной и ночной. А вслед за ней весь мир пьесы делился на неразрывно соединенные противоположности, искушающие главного героя – поэта, пророка, вождя:

Ах, двойному заклятью покорный,
Музыкальный магический ход
Или к гибели страшной и черной
Или к славе звенящей ведет.

На этот раз в Большом дворце с беглецом обошлись почему-то необычайно любезно, на отлучку нисколько не пеняли и просили непременно быть завтра, в Вознесение, на молебне и завтраке в уланском лазарете по случаю полкового праздника. Приветствуя перед храмом былых однополчан, он заметил приближающуюся группу высших офицеров; в глаза сразу бросилась тонкая фигура в уланской форме, слишком изящная среди матерых кавалеристов. Через секунду, различив знакомые черты императрицы, Гумилев вытянулся, как все вокруг, во фронт, приметный среди синих мундиров черным доломаном александрийского прапорщика. Во время завтрака он был представлен. Александра Федоровна благодарила его за «Послание в путешествие», как показалось, преувеличенно горячо похвалив запомнившиеся строки. Она выглядела взволнованной. Гумилев, разумеется, не знал, что во время воспетого им майского «путешествия» из Могилева в Крым императрица, по просьбе Государя, негласно побывала в Киеве и Виннице, в войсках командующего Юго-Западным фронтом генерала Брусилова, которому после всех прошлогодних поражений и длительного тревожного затишья предстояло вновь наступать. Счет шел на дни и часы. Одновременно на множестве удаленных друг от друга участках тысячеверстного фронта шла лихорадочная подготовка. Противник, видя стремительно нараставшую опасность, не знал, как распорядиться резервами, теряясь в определении места главного удара русских. Сутки спустя после того, как Гумилев в Царском Селе принимал благодарность от императрицы, на юго-западных фронтовых рубежах заговорила артиллерия, по-разному дозируя ярость на 13 обнаружившихся точках прорыва и превратившись на участке под Луцком в испепеляющее море огня. Через разбитые окопы и разрушенные заграждения в 80-километровый прорыв устремилась 8-я армия генерала Каледина, захватив на второй день наступления Луцк, а неделю спустя разгромив наголову противостоявшую 4-ю австро-венгерскую армию эрцгерцога Иосифа-Фердинанда. В это же время вспомогательные удары по остальным направлениям дырявили и расщепляли австрийскую оборону, так что весь южный фланг стал вдруг рассыпаться, как проточенная напором весеннего паводка ветхая плотина. Потери австрийцев были чудовищными, невосполнимыми и сокрушительными для военной машины Габсбургов. Луцкий прорыв вызвал всеобщее смятение в умах как врагов, так и союзников Российской Империи. «Мало эпизодов Великой войны более поразительных, нежели воскрешение, перевооружение и возобновленное гигантское усилие России в 1916 году», – писал,

выражая общее настроение, главный оракул британской политики Уинстон Черчилль.

А в Царском Селе ликовали! В эти радостные дни Гумилев вновь виделся с императрицей. В форме сестры милосердия она, вместе со старшими великими княжнами, как обычно, обходила пациентов лазарета в Большом дворце. Гумилев получил портреты с автографом, Евангелие с надписью и образок Казанской Божьей Матери. Усадив собеседника на койку, Александра Федоровна опустилась рядом на табурет, странно напоминая своим белым платом и красным крестом на груди Анну Энгельгардт. Мягко, но настоятельно она советовала не спешить с выпиской, а хорошенько отдохнуть и полностью восстановить силы в новой крымской здравнице, которой, по-видимому, осталась очень довольной. Наслышанный от Гедройц про увлеченность Александры Федоровны идеей реабилитации пациентов Царскосельского эвакуационного пункта в южных санаториях, Гумилев счел ее слова за обычный минутный каприз – и ошибся:

– Что бы Вы сказали, если представится возможность командовать воздухоплавательной станцией на Аланде? Место это очень ответственное, опасное – там нужны люди смелые, решительные, талантливые и, главное, верные. Такие, как Вы, – видя изумление собеседника, Александра Федоровна улыбнулась. – У нас еще будет возможность поговорить. Подумайте. А пока набирайтесь сил, я распоряжусь насчет Крыма.

Гумилев, разумеется, был наслышан о морской базе на Аландских островах – северном форпосте российского флота у входа в Ботнический залив. Возможно, он даже знал, что там, помимо гарнизонов, крепостей и обычных корабельных стоянок, базируются русские и английские субмарины, действующие на балтийских коммуникациях. Командный пост в *таком* районе был назначением незаурядным. Боевые аэростаты, следящие за морскими просторами, и аэропланы, атакующие корабли противника с воздуха, поразили воображение. Маргарита Тумповская, вновь обретенная Гумилевым в Петрограде, вспоминала, что он был «очень обрадован предложением», оживленно развивая новые и новые дерзкие планы воздушной обороны побережья.

Но Тумповскую проекты реорганизации сторожевого воздухоплаванья в Ботническом заливе не увлекали. Она ревновала и ссорилась. «Был случай, – рассказывала Тумповская, – когда я задумала с ним (Гумилевым) разойтись и написала ему прощальное, разрывное письмо. Он находился тогда в госпитале, болен воспалением легких. Несмотря на запрет

врача, приехал ко мне тотчас, подвергая себя опасности любого обострения. Не знаю, разошлись ли мы с ним тогда, или сошлись еще больше…»

Впрочем, ревность Тумповской не имела оснований. Очередной телефонный звонок к Арбениной отнял все надежды – Гумилеву почему-то было наотрез отказано во встречах и даже в переписке. Анна Энгельгардт простодушно пояснила: у подруги несколько лет назад произошла грустная «история» с поэтом Чернявским.

– Оля долго не показывалась на людях, да и сейчас ходит всюду только в сопровождении бонны Амалии, а на свидания сбегает тайком. Вероятно, ее опять за что-то наказали. А вот я буду рада получать Ваши письма. Летом я с братом буду в Иваново-Вознесенске у родни. Хотите, приезжайте к нам в гости!..

Решительное вмешательство императрицы пробудило вокруг Гумилева работу штабных бюрократов. До конца месяца ему выплатили все задолженности по военному содержанию, продлили отпуск и оформили направление в «Дом Ее Величества» в Массандре «с оставлением на учете при Царскосельском эвакуационном пункте». Ожидая отправления из Царского Села очередного эшелона в Крым, Гумилев смог на несколько дней выбраться в Слепнево, поразив местных деревенских баб серебряными галунами и гусарской шапкой из мерлушки: высокий, красивый, интересный, «прямо не насмотришься». «Я была свидетельницей, – рассказывала дворовая крестьянка, – как он в саду играл со своим сыном, рассказывал ему о войне, объяснял, что такое окопы. А вечером к ним приехали гости, возможно, соседи по имению. Я их, к сожалению, не знаю. Было слышно, как кто-то играл на пианино или фисгармонии, кто-то пел». Дни стояли очень холодные, и несколько раз выпадал снег, воспетый Ахматовой в стихотворении, эпиграфом к которому стали строки Псалтири (6.7): *«Утомлен я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, слезами омочаю постель мою»*:

Прозрачная ложиться пелена
На свежий дерн и незаметно тает.
Жестокая, студеная весна
Налившиеся почки убивает.

И ранней смерти так ужасен вид,
Что не могу на Божий мир глядеть я.
Во мне печаль, которой царь Давид
По-царски одарил тысячелетья[434].

XVII

В крымском «Доме Ее Величества». Работа над «Гондлой». Знакомства в Массандре. В Иваново-Вознесенске у Анны Энгельгардт. Аудиенция у императрицы. Возвращение в полк. Полевые учения. Командировка в Николаевское кавалерийское училище. Полковой праздник. Ковельская «мясорубка». Офицерские экзамены. Второй «Цех поэтов». Лариса Рейснер. Вновь в окопах на Двине.

Самым громоздким звеном в заведенной Александрой Федоровной системе крымской реабилитации выздоравливающих была организованная транспортировка подопечных ее Особого эвакуационного пункта из Царского Села в Ялту. Для этого в Петрограде формировался специальный состав, который забирал пассажиров из главного павильона той же «царской» железнодорожной ветки Фермского парка, к которой был приписан и знаменитый «Полевой военно-санитарный поезд № 143 ЕИВ Государыни Императрицы»[435]. Гумилев, командированный в здравицу приказом от 30 мая и получивший на следующий день все положенные в таком случае «госпитальные» с дополнительными «прогонными», ожидал затем отправления около недели. 5 июня он еще находился в Большом дворце и участвовал в торжествах по случаю пятнадцатилетия Анастасии, младшей из великих княжон:

Сегодня день Анастасии,
И мы хотим, чтоб через нас
Любовь и ласка всей России
К Вам благодарно донеслась.
……
И мы уносим к новой сече
Восторгом полные сердца,
Припоминая наши встречи
Средь царскосельского дворца.

На этом скромном стихотворном подношении, написанном рукой *«прапорщика Н. Гумилева»*, стоят еще 15 подписей (возможно, его будущих крымских попутчиков). Очевидно, что «санаторный» поезд отправился 6 или 7 мая и следовал – через Москву и Киев – очень медленно, пропуская повсюду военные эшелоны, обеспечивающие победное наступление армий

Брусилова на Юго-Западном фронте. Впрочем, вряд ли Гумилеву досаждали многочасовые стоянки на унылых украинских полустанках. Замысел новой пьесы сложился окончательно. Еще в Сорбонне, штудируя фундаментальную «Историю кельтской литературы» Арбуа де Жубанвиля, он наткнулся на древнюю ирландскую сагу о горбатом принце Ко́ндле (Condle) Красном. Легендарный королевич поссорился с придворным жрецом-друидом Кораном, был проклят отцом, королем Коном-О-Ста-Битвах, и уплыл от разъяренных язычников в волшебной стеклянной ладье в страну Mog Mell, «где царит славный король, вечный и непобедимый, никогда не причинивший никому ни стона, ни горести». По-видимому, этот Кондл был тайный христианин, один из предшественников св. Патрика, крестившего Ирландию. Подругой выдуманного Гумилевым, по следам легенды, *королевича Гондлы*, мечущегося между «мечом и Евангелием», должна была стать двуликая героиня – «ночная» грустная Лаик-Энгельгардт и буйная «дневная» Лера-Арбенина. Местом действия выходила средневековая Исландия – страна отважных мореплавателей, умных и сильных лишь для ненависти и вреда. Не замечая дорожной скуки и неподвижно-томительных степных пейзажей за окном, Гумилев сосредоточенно изучал сборник *«Древнесеверных саг и песен скальдов в переводах русских писателей»*, составленный «нововременцем» Сыромятниковым-Сигмой[436]:

«В Исландии, на этом далеком северном острове, принадлежащем скорее Новому, чем Старому Свету, столкнулись в IX веке две оригинальные, нам одинаково чуждые культуры – норманнская и кельтская. Там, почти под Северным Полярным кругом, встретились скандинавские воины-викинги и ирландские монахи-отшельники, одни вооруженные мечом и боевым топором, другие – монашеским посохом и священною книгою…»

В Севастополь, где завершалась железнодорожная ветка, царскосельский санитарный поезд прибыл 12 мая. Далее нижних чинов доставляли по морю, офицеры могли воспользоваться автомобильной линией «Красного Креста». Со следующего 13 мая обер-офицер Гумилев числился в учетных записях ялтинской военной комендатуры как «прибывший на излечение».

«Санатория для выздоравливающих и переутомленных», именуемая также *«Домом Ее Величества»* (а в местных разговорах – «лазаретом для офицеров»), была возведена в пригородной Массандре главным архитектором Ялты Николаем Красновым. В отличие от романовских ялтинских дворцов или

аристократических крымских дач, переданных владельцами для нужд военной медицины, «Дом Ее Величества» изначально строился в 1915–1916 гг. как лечебный центр, главными целительными средствами которого были солнце, воздух, вода и диета. Расположен он был на небольшой скалистой прибрежной площадке, уединенно, что было кстати для Гумилева, поглощенного своей драматической поэмой. Судя по количеству написанного за неполный ялтинский месяц, он вообще не вставал из-за стола, общаясь только с медицинским персоналом и соседями по лечебному корпусу. Лишь в последние дни перед отъездом познакомился с пестрой компанией молодых курортников, снимавших номера на даче Лутковского на Большой Массандровской улице. Московские курсистки Варвара Монина и ее двоюродная сестра Ольга Мочалова даже принялись было состязаться за внимание литературной знаменитости. Но Гумилев уже покидал Массандру и ограничился лишь прогулками по вечернему морскому побережью с рассказами о фронтовых впечатлениях:

– Русский народ неглуп. Я переносил все тяготы похода вместе со всеми и говорил солдатам: «Привычки у меня другие. Но, если в бою кто-нибудь увидит, что я не исполняю долга, – стреляйте в меня». Физически мне, конечно, было очень трудно, но духовно – хорошо!..

Мочалова, дерзнув, срывающимся голосом прочитала *«Песню безнадежную»* собственного сочинения:

Ты – королевич мой единственный.
Безумно-милый!
Любила я тебя таинственной,
Глубокой силой.
Целую руки страшно-бледные.
Целую жадно.
Молчи, о, сердце мое бедное,
Смерть беспощадна.

– Да, в 18 лет каждый из себя делает сказку… – машинально откликнулся Гумилев. Внезапно возник финал пьесы: Лера-Лаик в волшебной ладье рядом со сраженным, мертвым Гондлой:

Я одна с королевичем сяду
И руля я не брошу, пока
Хлещет ветер морскую громаду
И по небу плывут облака.
Так уйдем мы от смерти, от жизни

– Брат мой, слышишь ли речи мои? —
К неземной, к лебединой отчизне
По свободному морю любви.

Тут звучал другой голос; ни мятежная Ольга Арбенина, ни кроткая Анна Энгельгардт были над ним не властны. Вечером, дописав последний стих, Гумилев погрузился было в размышления, но срочно осадил мысли, вслух отвечая сам себе:

– Она такой значительный человек, что нельзя относиться к ней только как к женщине…

Слагательнице *«Песни безнадежной»* благодарный Гумилев отослал фотокарточку с надписью:

«Ольге Алексеевне Мочаловой. Помните вечер 7 июля 1916 г. Я не пишу прощайте, я твердо знаю, что мы встретимся. Когда и как, Бог весть, но наверное лучше, чем в этот раз. Если Вы вздумаете когда-нибудь написать мне, пишите: Петроград, редакция «Аполлон», Разъезжая, 7. Целую Вашу руку».

А несносные мысли все донимали его, пока автомобиль «Красного Креста» пылил по дороге до Севастополя. Рискуя отстать от эшелона, он внезапно попросил шофера сделать крюк к даче Шмидта. Как и девять лет назад, в калитке появилась мало изменившаяся «Несуразмовна», за ней – изумленный Андрей Горенко:

– Аня-то должна приехать завтра! Как жаль, что вы так разминулись!

Гумилев заверил, что это не страшно. В поезде он растянулся на узком топчане в офицерском вагоне и словно умер. По всем перегонам царскосельский состав опять тормозили безбожно, на каком-то перевалочном узле остановили намертво.

– До вечера здесь стоим наверняка, – ворчал про себя санитар, не обращая внимания на томного лежебоку. – А то и до полуночи.

– Что за город?

– Иваново-Вознесенск.

Лежебока вдруг вскочил, почему-то перекрестился и явно повеселел. Вскоре он уже называл вокзальному извозчику адрес, памятный по нескольким милым летним письмам.

В Вознесенске Анна Энгельгардт гостила с младшим братом у тетушки Нюты Дементьевой, жены городского врача. Дементьевский дом оказался живописным особняком с чудесным садом, утопавшим в аромате цветов, окруженном старыми

ветвистыми липами. Визит Гумилева произвел среди обитателей уютного жилища нешуточный переполох, оставивший след в памяти маленького Шуры Энгельгардта: «Николай Степанович приехал к нам как жених сестры, познакомиться с ее родными, и пробыл у нас всего несколько часов. Он уже снял свою военную форму и одет был в изящный спортивный костюм, и все его существо дышало энергией и жизнерадостностью. Он был предельно вежлив и предупредителен со всеми, но все свое внимание уделил сестре, долго разговаривал с ней в садовой беседке».

16 июля Гумилев явился для прохождения медицинской комиссии в Царскосельский Особый Эвакуационный пункт и через два дня был признан годным к дальнейшей службе. 19 июля он получил аудиенцию у императрицы, которой «представлялся» перед отбытием на фронт. После беседы с Александрой Федоровной путь его лежал на южную окраину Петрограда, где в конце Ново-Петергофского проспекта, у Обводного канала, расположилось Николаевское кавалерийское училище (alma mater Лермонтова и композитора М. П. Мусоргского). Эта элитная военная школа всегда славилась академической требовательностью: выяснилось, что соискателю очередного обер-офицерского чина нужно было сдать Закон Божий, русский и иностранный языки, историю русской армии, военную географию, военное законоведение и администрацию, военную гигиену, тактику, топографию и топографическую съемку, артиллерию, фортификацию, конно-саперное дело, иппологию и ковку, а также продемонстрировать многочисленные практические навыки на классных и полевых занятиях. Покидая Николаевское училище, Гумилев выглядел озабоченным. Остановившись в курдонере у постамента бронзового поэта, он еще раз пробежал полученный список, грустно вздохнул и отправился отдавать прощальные визиты. Прощался ненадолго: назначение на производство в корнеты, верно, уже было в полку. Так и получилось. Когда «прибывший по выписке из лечебного заведения прапорщик Гумилев» был вновь с 25 июня «зачислен на лицо» в рядах александрийцев, штабные вовсю готовили документы для офицерских экзаменов. Осведомленный о настроениях «в верхах», гусарский командир, полковник А. Н. Коленкин, многозначительно обращал внимание подчиненных на *«незаурядные достоинства»* поэзии их сослуживца и лично попросил Гумилева исполнить несколько стихотворений (желательно, про Африку) на грядущих торжествах по случаю дня рождения наследника-цесаревича Алексея Николаевича.

К этому времени Александрийский полк был придан в резерв

12-й армии генерала Радко́-Димитриева и выведен из зоны боевых действий в тыловые порядки Рижского участка фронта. Штаб александрийцев расположился в Шносс-Лембурге, эскадроны занимали окрестные фольварки. «У нас каждый день ученья, среди них есть и забавные, например, парфорсная охота, – писал Гумилев матери. – Представь себе человек сорок офицеров, несущихся карьером без дороги, под гору, на гору, через лес, через пашню, и вдобавок берущие препятствия: канавы, валы, барьеры и т. д. Особенно было эффектно одно – посередине очень крутого спуска забор и за ним канава. Последний раз на нем трое перевернулись с лошадьми. Я уже два раза участвовал в этой скачке и ни разу не упал, так что даже вызвал некоторое удивленье». Пребывание в полку, как и ожидалось, вышло мимолетным. Уже 17 августа он вновь направился в столицу с сопроводительным «Билетом», удостоверяющим, что предъявитель «командирован в гор. Петроград для держания офицерского экзамена в Николаевском кавалерийском училище».

В Петрограде, явив командировочный билет в комендатуре и подав рапорт в Главное управление военно-учебных заведений, Гумилев получил разрешение на подготовку к сессии и возможность столоваться в Зале Армии и Флота на Литейном, неподалеку от которой снял комнату. Помня бесконечные гимназические переэкзаменовки, он был заведомо скромен в оценке перспектив. «Конечно, провалюсь, – признавался он в письме к матери, – но не в том дело, отпуск все-таки будет». Тем не менее, обосновавшись на Литейном, он, по-видимому, добросовестно выполнял все требования прохождения учебной программы. Свободные часы скрашивал привычный круг друзей – Маковский в «Аполлоне», Лозинский в семейном гнезде на Каменноостровском, Шилейко, распрощавшийся с женой и с университетом и утвердившийся у знаменитых Шереметевых, в их дворце на Фонтанке.

С сыном старого графа, историком Павлом Шереметевым, Шилейко год как стал дружен, водил в «Привал комедиантов», посвящал мадригалы его матушке и вскоре оказался своим в доме. Старик Шереметев, один из учредителей «Императорского общества любителей древней письменности», благоволил молодому энтузиасту с его невероятными, по российским меркам, *шумерийскими* исследованиями. В конце концов Шилейко был принят в Фонтанный дом учителем графских внуков, устроился в одном из бесчисленных дворцовых флигелей, перевез туда книги, картонки с бумагами, слепки с ниневийских и вавилонских диковин и хвастался:

– В моих комнатах раньше останавливался сам Петр

Андреевич Вяземский. И скончался здесь же. А теперь я тут живу. Открываю на днях ящик стола – папка старых пожелтевших рукописей. Сверху надпись: «Чужие стихи». Не иначе, думаю, Вяземский оставил…[437]

Встречался Гумилев и с Маргаритой Тумповской, которая прижилась в «Аполлоне», публиковала свои стихи, готовила по заказу Маковского критический разбор «Семи цветов радуги» – нашумевшей новой книги Брюсова. Увы, эти августовские встречи принесли Маргарите Марьяновне лишь очередное горькое разочарование. «На литературных вечерах, где мы с Николаем Степановичем тогда бывали, – возмущалась Тумповская, – он ухаживал одновременно и за Ларисой Рейснер. Уходил под руку то со мной, то с ней».

Лариса Рейснер, появлявшаяся всюду в сопровождении неизменного Владимира Злобина, действительно, обнаружила к «монархисту» неожиданный интерес. Со вздорной издательницей «Рудина» (журнальчик, конечно, уже заглох) Гумилев не встречался давно, с удивлением отметив, что та за минувшие месяцы явно… соскучилась. Заприметив друг друга, они не разлучались до конца вечера, обмениваясь язвительными и веселыми репликами, а иногда бесследно испарялись, оставляя обоих своих растерянных спутников среди шапочного разбора. Разобиженная Тумповская в итоге сочла за благо от Гумилева отойти. Но Злобин, не по годам рассудительный и корректный, всегда сохранял величавое олимпийское спокойствие.

– Видите, у него профиль Данте, – смеялась Рейснер. – Я так и зову его – Алигьери. Мы мечтаем прокатиться по Волге – о, не на пароходе, это скучно, а на лодке – спортивная прогулка. Провести неделю на свежем воздухе, в лодке, за веслами, ночевать в прибрежных деревнях…

Вскоре она, действительно, куда-то исчезла из Петрограда (может, и впрямь – вниз по Волге, на веслах, Гумилева бы это не удивило). Подготовительные занятия и консультации в Николаевском училище близились к завершению, наступала экзаменационная сессия. В конце августа Гумилев поехал в Шносс-Лембург за послужным списком и другими документами, необходимыми для аттестационной комиссии. Попал он прямо на полковой праздник (день св. благоверного князя Александра Невского). Тут прапорщик 4-го эскадрона вновь прогремел, воспев отца-командира полковника Коленкина в стихотворном тосте:

В вечерний час на небосклоне
Порой промчится метеор.
Мелькнув на миг на темном фоне,

Он зачаровывает взор.

Таким же точно метеором,
Прекрасным огненным лучом,
Пред нашим изумленным взором
И Вы явились пред полком!..

Разговоры гусар за праздничным столом были тревожны. Командующий Юго-Западным фронтом Брусилов, при всех дарованиях, оказался чересчур горяч и, по-видимому, славолюбив, из тех, кто не прочь повоевать не только умением, но и числом. Сокрушив австрийцев в Луцком прорыве, он немедленно принялся громить германскую оборону у Ковеля и крепко увяз, штурмуя укрепления на берегах Стохóда. Тогда в бой был брошен Гвардейский отряд генерал-адьютанта В. М. Безобразова, отважного до безумия. Бойцы-гвардейцы были ему под стать. Полтора месяца (!) они шли непрерывно в лобовые атаки через стоходские болота – там все и полегли. А Ковель так и остался германским. Ясно, что после австрийской катастрофы под Луцком и после кровавой бани, которую французы и англичане устроили этим летом германцам под Амьеном, войска Антанты стали задавать тон в европейском военном поединке, но решительного перелома, на который так надеялись в победном мае, все-таки не случилось. И вряд ли теперь стоит ожидать каких-нибудь существенных событий в кампании этого года.

– Ну, ничего, подождем 1917-го…

В сентябре в Николаевском училище начались экзамены, которые Гумилев, по его собственному выражению, «держал скромно», однако к концу месяца сумел сдать 11 дисциплин из пятнадцати. Невиданный успех явился результатом исключительного прилежания и добросовестного усердия в занятиях теорией военного дела. Все литературные заботы были отодвинуты до лучших времен – новым источником вдохновения стали леса и скалы Аланда, прячущиеся в лабиринте проливов грозные субмарины и охраняющие их покой сторожевые аэростаты, зависшие над свинцовыми скандинавскими волнами. Какое-то время от совершенной аскезы его отвлекала лишь Анна Энгельгардт, вернувшаяся в начале сентября из Иваново-Вознесенска в свой госпиталь. Гумилев возил ее на острова в автомобиле, угощал в «Астории» икрой и грушами, мечтал вслух, как будет славно после завершения войны отправиться вдвоем куда-нибудь за тридевять земель:

– В Америку, например. Хотите в Америку?

Она вымученно улыбалась, не зная, что отвечать. Все чаще ее стали видеть в обществе эксцентрического Рюрика Ивнева, забавлявшего посетителей «Лампы Аладдина» и «Привала комедиантов» юродивыми выходками:

– Страшнее сегодняшнего сна я не видел. С каким-то господином я спускаюсь к домику, который расположен на берегу реки и в котором я должен был жить. Наверху был какой-то бассейн, камни были мокрые, и было такое впечатление, что, когда мы спустимся вниз, вода зальет и домик, и нас. Мне стало страшно. Я и убежал… Дальше не помню… Видел еще апельсинную шкурку, всю состоящую из червячков-зверьков, присасывающихся к телу…

Вместе со всеми Энгельгардт от души ужасалась и хлопала в ладоши. Со свойственным ей простодушно-косноязычным красноречием она признавалась Ольге Арбениной: Гумилев, конечно, ей *нравится*, но и только.

– Я поступаю очень вероломно по отношению к нему, но все же я его ***не очень не не люблю!***

К концу месяца Энгельгардт совсем затерялась, и Гумилев с головой ушел в инструкции, таблицы и военные схемы. Вдруг пришло письмо от Андрея Горенко. Тот сообщал, что Ахматова живет в Севастополе, лечит свой бесконечный кашель, передавал по ее просьбе разные поручения и в конце вскользь добавлял, что у сестры *«появилась тенденция идеализировать мужа»*. В Севастополь тут же умчалось послание:

«Дорогая моя Анечка, больше двух недель от тебя нет писем – забыла меня. Я скромно держу экзамены… среди них есть артиллерия – увы! Сейчас готовлю именно ее. Какие-то шансы выдержать у меня все-таки есть. Лозинский сбрил бороду, вчера я был с ним у Шилейки – пили чай и читали Гомера. Адамович с Г. Ивановым решили устроить новый цех, пригласили меня. Первое заседание провалилось, второе едва ли будет… Курры и гуси!»

Ответа он, по всей вероятности, не получил. Артиллерию сдал. Заседание «Цеха поэтов» все-таки состоялось. На домашнем собрании у Георгия Иванова («с приглашенными гостями») Гумилев читал первый акт «Гондлы»:

Лера, Лера, надменная дева,
Ты, как прежде, бежишь от меня…

Разрумянившаяся Лариса Рейснер принимала стихи на свой счет. После ее возвращения Гумилев был с визитом на Большой

Зелениной, выслушал длинный рассказ: действительно, спускалась на веслах по Волге (!), ночевала в хибаре у «бакенщиков», потом в каком-то разбойничьем гнезде вела беседы с крестьянами, попала в грозу. Монархиста-гвардейца прогрессивная студентка Психоневрологического института не щадила:

– За Россию бояться не надо! В сторожевых будках, в торговых селах, по всем причалам этой реки – все уже бесповоротно решено. Здесь все знают, ничего не простят и никогда не забудут. *Тогда, когда нужно будет, приговор будет совершен и совершится казнь, какой еще никогда не было.* Такие стихии не совершают ошибки…

Гумилев заметил: с ее темпераментом и талантом лучше путешествовать не на Волгу, а на… Мадагаскар.

– У Вас красивые, ясные, честные глаза, но Вы слепая; прекрасные, юные, резвые ноги и нет крыльев; сильный и изящный ум, но с каким-то прорывом посредине. Вы – Дафна, превращенная в Лавр, принцесса, превращенная в статую. Но ничего! Я знаю, что на Мадагаскаре все изменится. И я уже чувствую, как в какой-нибудь теплый вечер, вечер гудящих жуков и загорающихся звезд, где-нибудь у источника в чаще красных и палисандровых деревьев, Вы мне расскажете такие чудесные вещи, о которых я только смутно догадывался в мои лучшие минуты.

Вечером, когда Гумилев сидел над учебником по артиллерии, нарочный доставил записку. Рейснер сообщала, что перечитывает «Эмали и камеи» и *томится по древней вере*. Гумилев улыбнулся, отвечая:

Я был у Вас, совсем влюбленный,
Ушел, сжимаясь от тоски,
Ужасней шашки занесенной,
Жест отстраняющей руки.
Но сохранил воспоминанье
О дивных и тревожных днях,
Мое пугливое мечтанье
О Ваших сладостных глазах.
Ужель опять я их увижу,
Замру от боли и любви
И к ним, сияющим, приближу
Татарские глаза мои?!

Несколькими днями спустя Владимир Злобин, телефонируя Рейснер, был очень удивлен:

– Алигьери?.. Вот кстати! Я только что от портнихи, выбирала материю на подвенечное платье…

– Вы замуж выходите? Вот как! За кого?..

– Как за кого? *За Вас, Алигьери*. Вечером приезжайте непременно. Я должна Вам показать образчики…

Повесив трубку, Злобин обдумывал сумасшедшую беседу с невестой – о каких-то вот-вот имеющих произойти *«роковых ложных шагах»*, о рушащихся на нее *«огненных стенах»*. Возмутившись, наконец, он написал краткое, но решительное письмо о невозможности подобной оскорбительной спешки.

Мог бы, впрочем, и не писать.

«Л. Рейснер рассказала о Николае Степановиче, – с протокольной невозмутимостью фиксировал биограф Гумилева П. Н. Лукницкий, – что она была невинна, что она очень любила Николая Степановича, совершенно беспамятно любила. А Николай Степанович с ней очень нехорошо поступил – завез ее в какую-то гостиницу и там сделал с ней «все». Правда, потом он предлагал Ларисе Рейснер жениться на ней, и Лариса Рейснер передает последовавший за этим предложением разговор так: она стала говорить, что очень любит Анну Ахматову и очень не хочет сделать ей неприятное. И будто бы Николай Степанович на это ответил ей такой фразой: «К сожалению, я уже ничем не могу причинить Анне Андреевне неприятность».

«Гостиницей», упомянутой Рейснер, были меблированные комнаты «Ира» на Николаевской улице, в двух шагах от Невского проспекта, которые и стали постоянным прибежищем для любовников на несколько феерических осенних недель. И, по всей вероятности, Гумилев-соблазнитель был ошеломлен происходящим не меньше, чем соблазненная им жертва. Во всяком случае, ему стало уже не до экзаменов! Размеренная жизнь, которую он вел в Петрограде в августе – сентябре, рухнула в одночасье, а вместе с ней обрушились и надежды на благополучное получение чина. Тактику и топографическую съемку он безнадежно завалил, а на фортификацию и конно-саперное дело не явился вовсе. Чтобы сохранить право на весеннюю переэкзаменовку, пришлось прибегнуть к помощи знакомых врачей в «Лазарете деятелей искусства», которые обеспечили медицинское свидетельство об уважительной причине неявки. Сергей Ауследнер вспоминал о странном свидании с чрезвычайно бодрым и энергичным Гумилевым в стенах лазарета на Петроградской стороне осенью 1916 года: «Он сидел на кровати и играл с кем-то в шашки. Мы встретились запросто (я тоже был в военной форме), посидели некоторое время, потом он решил потихоньку удрать… Он просил меня помочь ему пронести

шинель. Сам он был в больших сапогах, и от него пахло кожей. Мы выбрались из лазарета благополучно. В этом поступке было что-то казарменное и озорное. На ходу сели в трамвай. Затем простились. Весело и бодро он соскочил с трамвая и побежал на Галерную. На нем была длинная кавалерийская шинель. Я смотрел ему вслед».

Махнув рукой на военную карьеру, Гумилев вновь обратился к литературному творчеству. За оставшиеся до окончания командировки дни он полностью подготовил к печати «Гондлу», переделав любовную линию пьесы, как понятно, «под Рейснер», которую теперь именовал не иначе как «Лерой». Рукопись удалось пристроить в «Русскую мысль», по-видимому, с помощью литературоведа Юрия Веселовского[438]. У него на квартире Гумилев столкнулся со старинной знакомой – Елизаветой Кругликовой – и позировал ей для силуэтного портрета (художницу восхитили его выправка и Георгиевские кресты).

24 октября он возвратил в штаб Александрийского полка командировочный «Билет», а тремя днями позже вернулись из Николаевского училища его документы с приложением справки о том, что офицерский экзамен соискателем «выдержан не был». Поскольку главной причиной неудачи оказалась внезапная болезнь, настигшая гусарского прапорщика в самый разгар экзаменов, начальство и сослуживцы хранили деликатное молчание.

За время командировки Гумилева в Петроград Александрийский полк поменял дислокацию и стоял теперь в фольварках у железнодорожной станции Ромоцкое. Здесь также продолжались учения, хотя уже подмораживало и заболоченные окрестности с полевыми дорогами были хуже, чем плохи – то грязь, то ко́лоть и гололедица. Из-за нового адреса военная почта давала сбои. «Больше двух недель как я уехал, а от Вас ни одного письма, – писал Гумилев Рейснер. – Не ленитесь и не забывайте меня так скоро, я этого не заслужил. Я часто скачу по полям, крича навстречу ветру Ваше имя. Снитесь Вы мне почти каждую ночь… О своей жизни я писал Вам в предыдущем письме. Перемен никаких и, кажется, так пройдет зима. Что же? У меня хорошая комната, денщик – профессиональный повар. Как это у Бунина?

> Вот, камин затоплю, буду пить,
> Хорошо бы собаку купить[439].»

Гумилев ошибался. 18 ноября Александрийский полк вновь выдвинулся в зону боевых действий и через четыре дня оказался у

мызы Ней-Беверстгоф, в ближнем тылу линии обороны по Двине между городами Фридрихштадт и Кокенгаузен. 4 декабря эскадроны «черных гусаров» заняли в окопах участки по правому берегу излучины Двины. Новая позиция располагалась в ста с лишним верстах ниже по течению от старой, весенней, но картина ничуть не изменилась: оплетенные колючей проволокой сплошные земляные валы по обоим берегам и редкая, но подчас донимающая перестрелка. Во время обхода участка 4-го эскадрона командира Мелик-Шахназарова Гумилева и штаб-ротмистра Посажного накрыла внезапная пулеметная очередь. Шахназаров и Посажной тут же спрыгнули в окоп, Гумилев же, закуривавший папироску, оставался на открытом месте, бравируя хладнокровием. Комэск немедленно разнес прапорщика «за ненужную в подобной обстановке храбрость», тогда как штаб-ротмистр всячески демонстрировал одобрение. Оригинал, буян и славный собутыльник, Посажной именовал себя «историческим гусаром», сочиняя безграмотные, но бойкие стихи о своих похождениях и подвигах. В его сагу попал и Гумилев:

О Музах спором увлекаясь
В каком-то маленьком бою
С ним осушили спотыкаясь
И пулеметную струю[440].

Ввиду пассивности неприятеля, обнаруживавшего себя лишь беспорядочной ружейной и пулеметной стрельбой, главной заботой александрийцев вплоть до Рождества была расчистка снега, обильно засыпавшего ходы сообщений. Во время одной из отлучек с передовой в Ней-Беверстгоф Гумилев получил наконец ответ Рейснер. В штабе полка его ожидали сразу два письма, как оказалось, около месяца блуждавшие вслед за александрийцами. «Милый Гафиз, – писала Рейснер, – Вы меня разоряете. Если по Каменному дойти до самого моста, до барок и большого городового, который там зевает, то слева будет удивительная игрушечная часовня. И даже не часовня, а две каменных ладони, сложенных вместе, со стеклянными, чудесными просветами. И там не один св. Николай, а целых три. Один складной, и два сами по себе. И монах сам не знает, который влиятельнее. Поэтому свечки ставятся всем, уж заодно…»

Прямо в штабе Гумилев принялся сочинять ответ: «Лери моя, приехав в полк, я нашел оба Ваши письма. Какая Вы милая в них. Читая их, я вдруг остро понял то, что Вы мне однажды говорили, – что я слишком мало беру от Вас. Действительно, это непростительное мальчишество с моей стороны разбирать с Вами

проклятые вопросы. Я даже не хочу обращать Вас. Вы годитесь на бесконечно лучшее. И в моей голове уже складывается план книги, которую я мысленно напишу для себя одного (подобно моей лучшей трагедии, которую я напишу только для Вас.) Ее заглавье будет огромными красными, как зимнее солнце, буквами «Лера и Любовь». А главы будут такие: «Лера и снег», «Лера и Персидская Лирика», «Лера и мой детский сон об орле». На все, что я знаю и что люблю, я хочу посмотреть, как сквозь цветное стекло, через Вашу душу, потому что она действительно имеет свой особый цвет, еще не воспринимаемый людьми…»

XVIII

Рождественский отпуск. Убийство Распутина. В номерах «Ира». Явление Ахматовой. Рождество в Слепнево. Последнее боевое дежурство. 1917 год. Переформирование полка. Командировка за фуражом. Разрыв с Ларисой Рейснер. В Окуловке. Февральский переворот.

Вечером 18 декабря, когда германские осветительные ракеты, как обычно, начали тревожить сгущавшуюся темноту бело-зелеными сполохами, гусар в окопах на Двине сменил свежий драгунский полк. Позицию александрийцы сдавали в идеальном порядке – накануне армейская комиссия нашла боевую организацию на их участке безупречной. После возвращения полка на тыловую стоянку у Ней-Беверстгофа многие офицеры получили краткосрочный отпуск на Рождество. Гумилев был в их числе.

В Петрограде он оказался 21 или 22 декабря. По городу в эти дни вовсю циркулировали всевозможные слухи о гибели Григория Распутина. Во время прошлогоднего «шпионского» психоза чудотворный целитель превратился для петроградских сплетников в главного германского агента, действующего губительным гипнозом на всю царствующую фамилию, и особенно – на императрицу. Сложно представить, что Гумилев после встреч с Александрой Федоровной придавал какое-либо особенное значение этим бредовым россказням. Однако маячившая около царской семьи фигура мрачного чернобородого сибирского бродяги (Ахматова однажды видела Распутина в царскосельском поезде и потом всем рассказывала об этой поразившей ее клубящейся бороде) казалась зловещим предзнаменованием. Никто не понимал, что́ этот тобольский мужик делает при дворе. Для политических фрондеров всех мастей тайна, окружавшая Распутина, была излюбленным предметом всевозможных инсинуаций. Предвоенный думский скандалист Александр Гучков[441] даже распространял среди депутатов… гектографированные копии фальшивых любовных писем императрицы и великих княжон к «старцу». О фальшивке тогда немедленно известили Николая II, но царь лишь велел передать Гучкову, что тот – *подлец*. Что Гучков – подлец (а также, по словам экс-премьера С. Ю. Витте, «любитель сильных ощущений»), все хорошо знали и без Государя, а тайна так и продолжала оставаться тайной[442]. И вот теперь, в тот самый день, когда Гумилев получал увольнительную в Беверстгофе,

изуродованное, простреленное, утопленное тело таинственного мужика выломали из ледяной кромки полыньи под Петровым мостом на Малой Невке.

По слухам, Распутин предрекал, что с его смертью рухнет и престол Романовых. То же самое говорил некогда памятный Гумилеву Великий Магистр мартинистов Папюс, о скоропостижной кончине которого писали осенью 1916 года многие петроградские газеты[443]. Совпадение этих смертей во времени явно давало повод для мистической тревоги за судьбу правящей династии, хотя вокруг ничего, казалось, не предвещало волнений, и даже военное счастье, вопреки всем мрачным прогнозам, как будто вновь перешло на сторону России.

Впрочем, вряд ли Гумилев был очень занят подобными размышлениями. Прибыв в Петроград, он остановился в благословенных меблированных комнатах «Ира» на Николаевской. На следующий день вместе с Ларисой Рейснер он побывал в редакции «Аполлона» на Разъезжей, где все трудились в поте лица (из-за крайней неслаженности работы типографий журнал переживал тяжелые времена). «Аполлоновцам» Гумилев прочитал стихотворную сказку о приключениях абиссинского мальчика Мика (переделкой довоенных черновиков он занимал себя во время окопного бездействия на Двине в последние недели). Практичный Михаил Лозинский посоветовал направить поэму в «Ниву» Корнею Чуковскому: тот-де сам вместо статей про символистов с футуристами принялся нынче за детские стихи о крокодилах и пиратах. Прочие слушатели ограничились обычными замечаниями, и влюбленная парочка покинула гостеприимную редакцию. Но в «Ире» Гумилева догнал телефонный звонок Лозинского: сразу вслед за ним в «Аполлоне» побывала Ахматова, приехавшая из Севастополя. Лозинский сообщал, что Ахматова остановилась у Срезневских, и Гумилев отправился на Боткинскую улицу.

Ахматовой не было рядом с ним более полугода, писала она редко и жила, судя по всему, какой-то своей жизнью, никак не связанной с жизнью мужа. Гумилев уже привык мыслить свой семейный союз в прошедшем времени – даже былые обиды, как водится, совсем позабылись. «Я высоко ценю ее стихи, – грустно думал он, переступая порог квартиры Срезневских, – но понять всю красоту их может только тот, кто понимает глубину ее прекрасной души!..»

– … Я ведь к Ларисе и сама могу поехать, – задыхаясь от ярости, заключила Ахматова. – И она мне скажет!!

Гумилев вдруг осознал, что он, верно, был неправ, говоря о том, что ничем не может огорчить жену. И, собравшись, тут же

затеял рассказ, как, приехав в город, попал на заседание в «Аполлоне»; а оно затянулось; а потом он поехал по делу…

– Ты был с Ларисой Рейснер – мне Лозинский сказал!

Гумилев помолчал.

– Ну, хорошо, я тебе, по секрету, скажу. Я был с… Тумповской.

Странно, но Ахматова сразу умиротворилась. Оказалось, что Рождество все домашние отмечают в Слепневе, что Кузьмины-Караваевы уже их ждут ехать вместе.

Гумилев сказал, что ему нужно взять с собой журнальные корректуры.

«Где ты живешь?!» – внезапно вновь зашлась Ахматова. Гумилев возмутился («А вот не скажу!») и объяснил, что – у Лозинских, конечно. На улице, отдышавшись, он помчался в «Иру», но там его немедленно из номера вызвали к телефону:

– Не опаздывай, пожалуйста! – сказала на том конце провода Ахматова и повесила трубку.

«Однажды я была в Слепневе зимой, – мечтательно писала она, вспоминая о рождественской поездке. – Это было великолепно. Все как-то вдвинулось в XIX век, чуть не в пушкинское время. Сани, валенки, медвежьи полости, огромные полушубки, звенящая тишина». Гумилев этой красотой не вдохновился – внезапная материализация Ахматовой совершила в нем сокрушительное действие. Два праздничных дня он искал случая для решающего разговора, но Ахматова снова перестала его замечать, отвечала невпопад и меланхолически листала корректуру «Гондлы».

Вернувшись в Петроград, Гумилев перед отъездом на фронт сутки провел у Лозинских. С Михаилом Леонидовичем он имел конфиденциальную беседу, разъяснив допущенный промах. Лозинский повинился и безропотно позволил Гумилеву обобрать свою библиотеку для фронтового чтения на досуге. Рукопись «Мика» была отправлена Чуковскому для публикации в «Ниве». Колдовской морок Ахматовой постепенно отступал. До поезда оставалось несколько часов, и мысли Гумилева вдруг приняли игривое направление. С вокзала он телефонировал Анне Энгельгардт, сказал, что находится в городе проездом и попросил «уделить 10 минут»…

28 декабря гусары вновь выступили на боевую смену. Гумилев, вместе с корнетом Ромоцким, был прикомандирован в этот раз к 5-му эскадрону, занимавшему окопы на левом фланге. 1 января 1917 года он был дежурным офицером по участку и вел почасовую запись обстановки. Из этого донесения следует, что по обеим сторонам фронта царило относительное спокойствие. Днем

«было видно, как противник, производя работы, выбрасывал землю из окопов у деревни Кальни-Каркас», в 16 часов русская батарея десятью выстрелами обстреляла германских землекопов, и все притихло. В полночь Гумилев зафиксировал одиночный «выстрел нашей артиллерии на ту сторону Двины, причем разрыва не последовало», а в полдень следующего 2-го января – сдал дежурство. Обстановка не изменилась до конца боевой смены александрийцев. 10 января гусары вновь передали участок обороны драгунам, а вернувшись в Ней-Беверстгоф, узнали странную новость: личный полк императрицы Александры Федоровны шел… на частичное расформирование. С шести эскадронов он сокращался до двух, спешенные гусары передавались в стрелковый полк, а их лошади – на формирование артиллерийских парков. Тут же стали составляться списки на исключаемых гусар и лошадей, что, разумеется, внесло сумятицу в отлаженную полковую жизнь. Одновременно была развернута тифозная профилактика, настолько интенсивная, что, казалось, вспышка эпидемии уже произошла: проводилась массовая вакцинация личного состава (выводящая из строя на несколько дней), а офицеров командами отсылали на специальную газовую обработку в Ригу.

Зачем понадобились эти метаморфозы, никто не понимал, и все, включая Гумилева, ругали штабных бестолочей, без нужды ослабляющих боеспособность войск на передовом участке фронта. Никто, разумеется, не догадывался, что подобные странности поразили в начале 1917 года все гвардейские части, находившиеся под особым покровительством царской фамилии и расположенные в относительной близости от Петрограда. Одновременно в самой столице происходили не менее странные вещи. Во время летнего наступления были направлены на фронт все запасные батальоны постоянно расквартированных здесь гвардейских полков, а им на замену шли теперь со всех концов страны бесконечным потоком новобранцы последнего призыва – семейные, «белобилетники», ратники ополчения второго разряда. В начале нового года в городских казармах, рассчитанных на 20 000 личного состава, скопилось 160 000 (сто шестьдесят тысяч!) призывников всех возрастов, вынужденных без дела томиться взаперти на трехъярусных нарах. Офицеры, получив роты по 1000 и более человек, выбивались из сил, поддерживая среди подчиненных хоть какую-то дисциплину – об обучении речи не шло. Да и где было проводить занятия с такой массой людей в каменном городском мешке, если только не устраивать тактические учения на Конногвардейском бульваре или стрельбы на Дворцовой площади? Тут тоже вовсю костерили штабных

недоумков:

– Это же не гарнизон, а *пороховой погреб*! Готовые кадры для любой анархии, притом вооруженные до зубов… И кто-то подвозит все новый и новый порох!

Однако злой умысел ни на фронте, ни в Петрограде почти никто еще не подозревал – все валили на обычную российскую бестолковщину. Спокоен был и Гумилев, приготовляясь терпеливо переждать полковые неурядицы, как пережидают стихийное бедствие. Он даже составил для Лозинского список книг, которые просил выслать ему в Беверстгоф. А Рейснер получила задание найти финские лыжи фирмы «Telemark» для ходьбы коньковым шагом и восковую мазь к ним. Однако тылового безделья, на которое рассчитывал Гумилев, не вышло. 23 января приказом по полку он был откомандирован к интенданту 28-го Армейского корпуса для закупки фуража и убыл в Новгородскую губернию на станцию Окуловка, знакомую еще по юношеским наездам, в гости к Сергею Ауслендеру. До Петрограда оттуда было несколько часов пути, и, выправив предписание о свободном посещении столицы, Гумилев 28 января уже был там под предлогом какой-то деловой надобности. Он стремился поскорей увидеть Рейснер – как оказалось, напрасно. Эта встреча стала одним из самых печальных переживаний в его жизни.

О том, чтó произошло между ними, можно только догадываться. Очевидно, Рейснер накануне открыла некие подробности рождественского отдыха Гумилева. Это было нетрудно. Ольга Арбенина, например, узнала, что Николай Степанович просил Анну Энгельгардт *«уделить десять минут»*, когда тот еще только спешил на предстоящее свидание – подруги созвонились моментально. Вряд ли сроки, в которые о свидании Гумилева и Энгельгардт узнали затем все петербургские литературные сплетники, оказались более продолжительными. А Лариса Рейснер была не из тех женщин, которые прощают ложь и измену.

Разрыв потряс обоих. «Однажды в очень тяжелую и мертвую минуту, когда вся моя двадцатилетняя жизнь рушилась, ну словом, было мне плохо-плохо, – писала Рейснер, – я придумала сказку о том, что есть еще выход, что я смогу вырваться, уехать далеко на Восток, забыть стихи, книги, улицы и людей, каждый день и час тащивших меня ко дну». Что же касается Гумилева, то он, покидая Большую Зеленину улицу, сделался, по-видимому, невменяем и, ничего не видя вокруг, налетел на генерала от инфантерии Пыхначева, оказавшегося на пути. За «неотдание чести» последовал суточный арест, после чего по предписанию коменданта, провинившийся гусарский прапорщик был отправлен

по месту службы. Через несколько дней Гумилев смог вновь добраться до Петрограда и попытался объясниться с Рейснер, поведав, между прочим, трагикомическую историю с заточением в комендатуре. Но «Лера» уже бесповоротно исчезла, осталась *«Лариса Михайловна»*, которую эти злоключения не интересовали. Гумилеву осталось только целиком сосредоточиться на фуражных заготовках, которые внезапно затянулись на весь февраль.

В Петрограде в эти дни завершала работу международная Конференция, посвященная координации действий России, Великобритании, Франции и Италии в предстоящей кампании 1917 г. Все участники Петроградской конференции были уверены в скорой победе, и на заседаниях уже поднимались вопросы о послевоенном переделе мира. По словам главы французской делегации Гастона Думерга (будущего президента), в ходе этого передела должны были быть «исправлены исторические несправедливости», и «великая Россия, которая уже забыла о своей великой мечте – о свободном выходе к Средиземному морю, получила его»:

– Необходимо, чтобы Константинополь стал бы русским Царьградом, – говорил Думерг. – Мы очень близки к цели. Наша конференция показала, что мы теперь объединены, как никогда раньше.

Несмотря на тревожные слухи, поступавшие к делегатам во время работы международного форума, никто не мог всерьез представить, что уже составлен невероятный по глупости и подлости заговор, объединивший «любителя острых ощущений» Александра Гучкова с английским посланником сэром Джорджем Уильямом Бьюкененом, очень озабоченным грядущим невиданным возвышением России, и с главой Генерального штаба М. В. Алексеевым, мечтавшим о лаврах покорителя Германии. Декабрьское убийство несчастного Распутина должно было явиться сигналом к началу переворота, была готова ловушка для Государя, которого планировали захватить в штабном поезде. Заговорщики даже вступили в переговоры с великим князем Николаем Николаевичем, суля престол, и лишь его нерешительность сорвала их планы[444].

Государя тоже многократно предупреждали о нависшей опасности, но он лишь отмахивался:

– Ах, опять о заговоре, я так и думал, что об этом будет речь, мне и раньше уже говорили… добрые, простые люди все беспокоятся… я знаю, они любят меня и нашу матушку Россию и, конечно, не хотят никакого переворота. У них-то уж наверно более здравого смысла, чем у других!

Сам здравомыслящий, Николай II понимал, что любое

ослабление верховной власти в стране, утомленной войной, вызовет всеобщую катастрофу, и эта катастрофа неизбежно ударит, в первую очередь, как раз по доморощенным «тираноборцам» – придворным аристократам, генералам, помещикам и торговым воротилам, вроде «купчишки» Гучкова. Поэтому разговоры о перевороте виделись императору, торопящемуся завершить, наконец, победой затянувшуюся войну, политическим блефом или мстительной болтовней. Но у заговорщиков была другая логика. Именно успех Петроградской конференции вновь пробудил их к решительным действиям. «Наша армия, – писал главный идеолог февральского заговора, глава думских «кадетов» П. Н. Милюков, – должна была перейти в наступление (весной 1917 года), результаты коего в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования»[445].

Свергать царя следовало немедленно!

В начале февраля внезапный хаос поразил железнодорожные пути, связывавшие столицу с югом страны: на подъездах к городу застряли 57 000 (!) вагонов с зерном[446]. Встали, разумеется, не только хлебные эшелоны. Гумилев, принимавший дивизионный фураж на одном из перевалочных узлов Николаевской магистрали, оказался в самом пекле транспортного апокалипсиса. По февральским открыткам «Ее Высокородию Ларисе Михайловне Рейснер», которыми Гумилев пытался напомнить о себе, можно представить, что творилось в эти дни в Окуловке. «Моя командировка затягивается и усложняется, – писал он. – Начальник мой очень мил, но так растерян перед встречающимися трудностями, что мне порой жалко его до слез. Я пою его бромом, утешаю разговорами о доме и всю работу веду сам». Бром не помог. 8 февраля корпусной интендант полковник Кнорринг, не совладав с очередным приступом панического ужаса, застрелился. Гумилеву пришлось самому принимать поступавший фураж и командовать погрузкой. Матери он сообщал о настоятельном желании «удрать в полк», однако вместо этого ему пришлось отправиться в Москву, разрешая, по-видимому, какое-то очередное затруднение с доставкой дивизионного сена.

Из Москвы в Петроград Гумилев вернулся в воскресенье, 26 февраля, когда столица уже несколько дней была охвачена волнениями из-за многодневной хлебной недостачи. Таинственные «агитаторы» (выражение командующего Петроградским округом С. С. Хабалова) распускали панические слухи среди рабочих и бедноты, призывая на демонстрации. Те же «агитаторы» в казармах пугали новобранцев скорой отправкой на

передовую. Необыкновенно активизировался уголовный мир – бандиты из притонов на Лиговке и бродяги с Горячего Поля среди бела дня нападали на полицейских и терроризировали горожан. На Петроградской стороне громили булочные, на Выборгской стороне бунтовали фабричные работницы, требуя хлеба. По приказу градоначальника Балка мосты через Неву были разведены, но обезумевшие толпы прорывались из предместий в центр города прямо по ненадежному февральскому льду, и Невский проспект сотрясали многотысячные шествия. Когда московский поезд остановился у перрона Николаевского вокзала, на Знаменской площади стреляли. Вокзал со всех сторон был блокирован мятежниками, солдатами и полицией.

Гумилев, видя бунт, счел необходимым отказаться от городских визитов и немедленно вернуться к месту службы.

– Здесь цепи, пройти нельзя, а потому я поеду сейчас в Окуловку, – телефонировал он на квартиру Срезневских.

Ахматова вспоминала, как поразило ее спокойствие его голоса: «Все-таки он в политике мало понимал». Но взрыв «порохового погреба» в столице оказался неожиданным даже для профессиональных революционеров. «Революция, – вспоминал один из вождей эсеровских террористов, – застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев – спящими». Шеф социалистов-«большевиков» Николай Ленин (В. И. Ульянов) узнал о петроградском мятеже из швейцарских газет и проводил теперь в Женеве консультации с эмигрантами, срочно вырабатывая план дальнейших действий. Совещались и думские социалисты-«трудовики» во главе с А. Ф. Керенским, уверенные, что «никакой «революции» в России нет, и не будет». А глава распущенной накануне Государственной Думы М. В. Родзянко слал императору в Ставку панические телеграммы:

«В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. Растет общественное недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга».

Русский бунт, бессмысленный и беспощадный, о котором столетие назад пророчески писал Пушкин, готов был выплеснуться из разбушевавшегося Петрограда на просторы всей огромной страны. Заговорщики с упорством самоубийц продолжали осуществлять свой план. 1 марта поезд императора, срочно возвращавшегося из Ставки, оказался заблокирован под Малой Вишерой. Николай II был доставлен в Псков, в штаб Северного фронта. На следующий день мятежные генералы

заставили пленника подписать анекдотический «Высочайший Манифест» об отречении от престола… «для скорейшего достижения победы»[447].

Перед «отречением» Государь попытался объяснить входившему в заговор командующему Северным фронтом Н. В. Рузскому, что руководители переворота «все люди совершенно неопытные в деле управления и, получив бремя власти, не сумеют справиться со своей задачей». Никакого действия его слова не возымели, хотя говорил он сущую правду. Еще до возникновения Временного правительства (куда вошли глава земских союзов князь Георгий Львов, Гучков, Милюков и другие заговорщики) в ходе стихийного митинга на Таврической площади был явочным порядков создан самодеятельный революционный конвент, получивший название **«Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов»**. К *господам* из Временного правительства *товарищи* из Совета относились враждебно, и покидать захваченные по соседству с Государственной Думой помещения в Таврическом дворце не спешили. Не обращая внимания на возмущенные крики о «двоевластии», Петросовет приступил к формированию в столице собственных вооруженных отрядов и рассылал в губернии «комиссаров», уполномоченных создавать там «народные органы управления». Начиналась всеобщая смута. В российской деревенской провинции крестьяне захватывали помещичьи угодья, а польские, финские и украинские сепаратисты заговорили о выходе из Империи. Что же касается армии, то известие об «отречении» Николая II вызвало на фронте и в тылу массовое дезертирство. По словам современника тех событий, «солдат решил, что раз царя не стало, то не стало и царской службы, и царскому делу – войне – наступил конец. Он с готовностью умирал за царя, но не желал умирать за «господ».

Свергнутому императору позволили под надзором вернуться в Могилев и проститься с офицерами Ставки. Однако его прощальное обращение к армии генерал Алексеев, получивший от заговорщиков должность Верховного Главнокомандующего, передать побоялся: он уже был извещен, что в гвардейских частях раздавались призывы «идти спасать плененного Государя». Сразу после прибытия из Могилева в Петроград Николай II был арестован Временным правительством и под конвоем препровожден в царскосельский Александровский дворец, где под усиленной охраной содержалась Александра Федоровна со всеми детьми.

В тот же день, 8 марта, Гумилев совершенно больным приехал из Окуловки в Петроград; после осмотра врачебной комиссией с сильнейшим воспалением легких и подозрением на

туберкулез он был помещен в 208-й городской лазарет на Английской набережной.

XIX

«Мартовские дни» в больничной палате. Слухи о сожжении Распутина. В поверженном Царском Селе. Собрания «Второго Цеха поэтов». Сотрудничество с Генеральным Штабом. Командировка в Салоники. «Апрельский кризис». Из Скандинавии в Англию. Борис Анреп. Встречи в Лондоне и Оксфорде. Хаксли, Йейтс, Честертон. Из Соутгемптона в Гавр.

В первые дни нахождения Гумилева на больничной койке до него доходили известия настолько диковинные, что их сложно было отделить от горячечного бреда, наступавшего после очередного скачка температуры. Газеты писали, что в склепе недостроенной церкви св. Серафима Саровского в Федоровском городке Царского Села было разорено недавнее захоронение Григория Распутина. Извлеченный труп на потеху набежавшей черни выставлялся в открытом гробу в зале Городовой Ратуши. Несколько часов гроб, похоронные одеяния и самого покойника под речи революционных ораторов драли на сувениры, а то, что осталось, заколотили в ящик, вывезли куда-то под Петроград и там сожгли. Газетчикам и городским сплетникам намеренно назывались разные места этого огненного погребения – Парголово, Ланская, Воздухоплавательный парк. Деятели Временного правительства были уверены, что глухая деревенька ***Пискаревка***, в рощах которой был развеян распутинский прах, никогда уже не вспомнится жителям Невской столицы.

Неизвестно, знал ли Гумилев странное пророчество покойного Папюса: *в теле Распутина, как в ящике Пандоры, заключены все человеческие страхи и страдания*. Однако, перемогаясь в лазарете в мартовские дни 1917 года, он был почему-то уверен, что с местом таинственного погребения сибирского мужика наверняка будет связано нечто очень страшное:

Что ж, православные, жгите
Труп мой на темном мосту,
Пепел по ветру пустите…
Кто защитит сироту?

В диком краю и убогом
Много таких мужиков.
Слышен по вашим дорогам
Радостный гул их шагов.

Кошмарный образ растерзанного и воскресшего Распутина, вновь бредущего из своей далекой Сибири в потрясенный Петроград, внушил Гумилеву замысел повести о мужицком заговоре, положившем целью уничтожить мир европейской культуры (в лазарете он набросал первые сцены). Он чувствовал, что высвободилась какая-то первобытная разрушительная стихия, дремавшая до того, едва заметно в русском народе, и теперь все события и люди перемешались в едином непонятном движении, как невский ледоход, текущий под окнами палаты:

Взойди на мост, склони свой взгляд:
Там льдины прыгают по льдинам,
Зеленые, как медный яд,
С ужасным шелестом змеиным.

Покинув больницу, Гумилев долечивался в Царском Селе, опекаемый сестрой и племянницей (Анна Ивановна весну проводила в Слепневе, где срочно распродавала земли). Настроение было тревожное: повсюду в городе шли аресты придворных «контрреволюционеров». На Страстной неделе новые власти устроили перед окнами Александровского дворца, превращенного в тюрьму для царской семьи, шумные краснознаменные похороны «защитников свободы», погибших во время февральских беспорядков (в частности – при разгроме винных лавок). Дворцовое ведомство, ревниво следившее за образцовой чистотой городских улиц, разогнали, и все вокруг было завалено мусором и подсолнечной шелухой. Вместо обычной пестрой толпы на Оранжерейной и Парковой улицах виднелись одни серые шинели мятежных солдат, чувствовавших себя покорителями вражеской твердыни. Как и все царскоселы, Гумилев предпочитал не появляться им на глаза без особой нужды, сутками просиживая над «Подделывателями» (или «Веселыми братьями» – он еще не решил, как назвать «мужицкую повесть»). «Худой, желтый после недавней болезни, закутанный в пестрый азиатский халат, он мало напоминал вчерашнего блестящего кавалериста, – вспоминал Георгий Иванов. – Когда навещавшие его заговаривали о событиях, он устало отмахивался: «Я не читаю газет». Газеты он читал, конечно… Помню одну из его редких обмолвок на злобу дня: «Какая прекрасная тема для трагедии лет через сто – Керенский».

Думский златоуст Александр Федорович Керенский, ставший министром юстиции Временного правительства, был,

действительно, самым заметным и деятельным среди новоявленных российских республиканцев – ему прочили *большое будущее*. Но визит «Жоржика» в Царское Село был связан, разумеется, не с политикой. Возобновленный «Цех поэтов» упорно, несмотря на все общественные катастрофы, продолжал собираться в «Привале комедиантов», у Радловых и у Михаила Струве. Правда, под впечатлением революционных потрясений, его участники стали горячими поклонниками мистических пророчеств Александра Блока, и бывшему «синдику № 1» теперь приходилось отшучиваться:

– Я чувствую себя по отношению к Блоку как герцог Лотарингский к королю Франции!

На заседании докладчики ругали Брюсова, попытавшегося «дописать» за Пушкина незавершенные «Египетские ночи», а слушатели потихоньку обсуждали между собой роковые события минувшего марта. Разговорившись со Струве, продолжавшим и после переворота служить в Генштабе, Гумилев заметил, что не видит теперь возможности продолжения успешных боевых действий:

– Без дисциплины воевать нельзя!

Озабоченный Струве не возражал, однако неожиданно предложил разочарованному гусарскому прапорщику выполнить некую миссию в качестве уполномоченного высшего российского военного командования на Салоникском фронте.

Французы и англичане высадились в греческом порте Салоники осенью 1915 года, во время разгрома Сербии, пытаясь прийти на помощь отступавшей сербской армии. Но германцы и болгары уже завершали оккупацию несчастной страны, и десанту союзников оставалось только создать оборонительную линию в греческой Македонии, заградив Халкидонский полуостров от войск фельдмаршала Макензена. Образовавшийся плацдарм был в 1916 году укреплен за счет итальянских и русских экспедиционных частей и существенно расширен во время летних боев, образовав новый восточный фронт, доходивший до приграничных сербских городов. На весну 1917 года на Балканах было запланировано решительное наступление, в котором важная роль отводилась русским Особым бригадам, отличившимся в ходе прошлогодней кампании. Из-за февральского переворота в России масштабная операция сорвалась. Тем не менее Временное правительство, демонстрируя верность союзническим обязательствам, готовило в Салоники еще одну свежую артиллерийскую бригаду и инженерные войска. До начала отправки военных караванов из Архангельска нужно было под видом штатского корреспондента газеты «Русская воля»

самостоятельно проследовать через Стокгольм и норвежский Берген в Лондон и Париж, далее – в Марсель и, через итальянские портовые города, – в Салоники, с таким расчетом, чтобы предварить прибытие туда российских артиллеристов и инженеров. Речь шла о негласной военно-дипломатической операции Главного Управления Генерального Штаба.

Гумилев очень заинтересовался. Вскоре он был переведен «в распоряжение Начальника Штаба Петроградского военного округа для отправления на пополнение офицерского состава особых пехотных бригад, действующих на Салоникском фронте». Пришлось изучить политическую ситуацию в Греции, где премьер-министр Элефтериос Венизелос выступал против короля-германофила Константина I, и парламентские интриги в Италии, где либеральная партия Джованни Джиолитти пыталась блокировать итальянское военное присутствие в Салониках. Через несколько недель, проведенных в кабинетах ГУГШа, Гумилев ощутил себя одним из племени тех авантюристов, которые во мраке тайной дипломатии неожиданно меняли ход мировой истории:

Уже не одно столетье
Вот так мы бродим по миру,
Мы бродим и трубим в трубы,
Мы бродим и бьем в барабаны:
– Не нужны ли сильные руки,
Не нужно ли твердое сердце,
Горячая кровь не нужна ли
Республике иль королю?
– Чтоб англичане, не немцы,
Возили всюду товары,
Чтоб эльзасские дети
Зубрили Гюго, не Гете,
Чтоб Джиолитти понял,
Как сильно он ошибался,
Чтоб устоял Венизелос
В борьбе с господином своим.

В последние дни перед отъездом он перебрался из Царского Села в Петроград и ночевал попеременно у Лозинских на Каменноостровском и у Срезневских на Боткинской, деля комнату с гостившей у подруги Ахматовой. По рассказам Валерии Срезневской, Гумилев и Ахматова ночи напролет о чем-то спорили и читали стихи: «Слов нельзя было разобрать, но потом раздавался громкий голос Николая Степановича – говорящий

какую-нибудь полную иронии по отношению к стихам Ахматовой фразу. Валерия Сергеевна громко спрашивала: «Вы еще не спите? Пора спать!» И Николай Степанович отвечал из соседней комнаты: «Она теперь на месяц отбила у меня охоту ко сну». Вслед за этим раздавался счастливый, радующийся смех Анны Андреевны».

Внешне Петроград после переворота напоминал Царское Село – только солдат было гораздо больше и подсолнечная шелуха вперемешку с мусором гуще покрывала улицы. «Двоевластие» сохранялось, и ожесточенное соперничество «Временного правительства» с «Петросоветом» полностью парализовало даже обычные городские службы. Митинги и манифестации проходили ежедневно. Исключительной популярностью стали пользоваться выступления прибывшего в Петроград из многолетней эмиграции лидера радикальной партии социалистов-«большевиков» Ленина. «Большевики, – вспоминал очевидец, – заняв дворец балерины Кшесинской, собирали около него народ, и Ленин говорил с балкона речи, готовя себе последователей для свержения Временного правительства и захвата власти. Каждый приходивший туда получал по десять рублей. Казна Ленина была загадочная, очевидно, где-то он имел неисчерпаемый источник, так как народу с каждым митингом становилось все больше и больше. Временное правительство не применяло против него никаких мер. Быть может, оно чувствовало себя нестойко в присутствии совета солдатских и рабочих депутатов, а может быть, некоторые его члены сочувствовали Ленину. Ленин в своих речах умел как-то озлоблять народ. После его выступлений часто слышалось: «Довольно, попили нашей кровушки! Сто лет пили. Теперь мы вашу будем пить!»

В отличие от Ленина, февральские заговорщики быстро теряли популярность среди уличных манифестантов. В апреле вслед за публикацией в газетах заявления Милюкова о необходимости продолжения войны «до победного конца» митинговые страсти немедленно обернулись против *«министров-капиталистов»*. Никто из мятежных солдат Петроградского гарнизона и фронтовых дезертиров не желал воевать. На улицах вновь началась стрельба. В начале мая Гучков и Милюков подали в отставку, полностью оправдав за два месяца своего правления слова Государя о непосильности бремени власти для *«неопытных людей»*. В правительство вошли «министры-социалисты», которых поддерживал Петросовет. Лидером стал Керенский – газеты именовали его теперь не иначе как *«Другом Человечества»* и *«Солнцем Свободы»*.

15 мая зарубежный обозреватель «Русской воли» Николай

Гумилев, недавно принятый газетой в штат сотрудников на солидный оклад в 800 франков в месяц, в новом гражданском платье отбывал в далекий путь с Финляндского вокзала. По словам провожавшей его Ахматовой, он был оживлен, радостно взволнован и шутливо намекал, что из Салоник вполне можно «завернуть» на месяц-другой и в Африку. Чувствовалось, что «красным Петроградом» он сыт по горло. 17 (30) мая Гумилев был в Стокгольме, 21 мая (3 июня) – в Христиании, а 23 мая (5 июня) – в Бергене, где сел на пароход, идущий в какой-то из английских портов. Скандинавские страны на всем протяжении военного противоборства в Европе оставались нейтральными, и Гумилева поразил мирный городской уют, от которого он давно отвык. Были ли на пути «корреспондента» какие-то запланированные деловые встречи – неизвестно, но в Стокгольме он задержался на несколько дней (и даже посвятил «игрушечной» красоте шведской столицы грустное стихотворение):

«О, Боже, – вскричал я в тревоге, – что, если
Страна эта истинно родина мне?
Не здесь ли любил я и умер не здесь ли,
В зеленой и солнечной этой стране?»

И понял, что я заблудился навеки
В слепых переходах пространств и времен,
А где-то струятся родимые реки,
К которым мне путь навсегда запрещен.

На две недели задержался Гумилев и в Лондоне, куда попал 28 или 29 мая (10 или 11 июня). Остановился он у корреспондента лондонского журнала «The New Age» Карла Бехгофера, давнего знакомого по «Бродячей собаке»[448]. Журналист сотрудничал с Русским Правительственным Комитетом в Лондоне и, очевидно, был извещен о прибытии коллеги из «Русской воли» заранее. Помимо Бехгофера сотрудниками Комитета состояли бывший «цеховой подмастерье» Гумилева поэт Вадим Гарднер и художник-мозаичист Борис Анреп, один из «аполлоновских» авторов.

С последним Гумилев не знал, как себя вести. Как выяснилось, именно Анреп являлся злодеем, похоронившим надежды на семейное счастье. У Срезневских Ахматова ночь напролет читала лирические послания, столь же великолепные, сколько обидные для Гумилева. Получалось, что с весны 1915-го (!) мысли и чувства его жены целиком занимал этот обаятельный «русский англичанин».

Борис Васильевич Анреп, сын известного судебного медика, профессора и думского депутата В. К. Анрепа, с юности жил за границей, бывая на родине наездами. Во время этих – нечастых – визитов он появлялся в «Обществе поэтов» у своего давнего друга Николая Недоброво, не без успеха выступал со стихотворными опытами, но главным делом жизни, конечно, оставалась студия мозаики, которую Анреп открыл в Лондоне. К войне он стал весьма заметен в творческой элите английской столицы, входил в «Bloomsbury Group» вместе с Роджером Фраем[449] и Бертраном Расселом[450]. На страницах «Аполлона» публиковались его блестящие «Беседы» о живописной технике и живописном ремесле, где излагалась целая философия материала и цвета в мировой художественной практике от пещерных времен до Рембрандта и Фрагонара. Был притом неробкого десятка – храбро воевал в Галиции. Сейчас в качестве секретаря Russian Government Secretary Борис Анреп занимался военными поставками и радушно приветствовал нового русского гостя в India House, офисе Комитета.

Никакой дипломатии не потребовалось вовсе! С первых же минут Анреп увлеченно заговорил об Ахматовой:

– При встрече с ней я был очарован: волнующая личность, тонкие, острые замечания, а главное – прекрасные, мучительно-трогательные стихи. Во время одного из наших свиданий в 1915 году я говорил о своем неверии и о тщете религиозной мечты. Анна Андреевна строго меня отчитывала, указывала на путь веры как на залог счастья. «Без веры нельзя», так говорила она.

Гумилев сдержанно заметил, что на Ахматову, судя по всему, эти беседы тоже произвели неизгладимое впечатление. Анреп был искренно тронут:

– Мой друг Недоброво как-то сказал: «Я смотрю на религиозную философию как на ранний период научного знания, который я бы назвал периодом «фигурального» мышления и первоначального и патриархального обоснования моральных принципов. Но когда подумаешь, сколько красоты в искусстве и литературе обязано этой первобытной «фигуральной» философии, я отдаю ей должное преклонение». Его слова наполняют мне душу радостью, когда я делаю свои религиозные мозаики на религиозные сюжеты для церквей, так я – безбожник, творил святые лики с любовью и нежностью, и мои руки и душа тянулись к иконам, как к самым высоким выражениям человеческого духа. Теперь Вы понимаете, насколько важны и интересны для меня были беседы с человеком глубоко верующим. Мой интерес к ее стихам превратился в преклонение, и наши разговоры с Недоброво стали делаться односторонними, главный предмет

были ее стихи и ее личность…

Гумилев перевел разговор на другое. Было ясно, что Анреп, следуя обычаям своей второй (а, вероятнее, уже *первой*) родины, мыслит все, связанное с Ахматовой, в категориях publicity[451], никак не ассоциируя предмет своего поклонения с privacy[452], и любые российские душевные откровения будут отскакивать от него, как горох от стены. Между тем privacy мозаичиста оказалось весьма насыщенной: русскую жену Юнию он сочетал со второй, английской женой, скандальной богемной художницей Хелен Мэйтленд[453]. Помимо того, Анреп входил в число интимных друзей леди Оттолин Морелль[454]. Последняя, знакомясь, не преминула уточнить у Гумилева:

– Не Ваша ли жена та интересная, очаровательная и талантливая русская поэтесса, о которой мне так много рассказывает Barys?

Гумилев с достоинством поклонился, дивясь в душе Ахматовой, умудрившейся выдумать себе на два года (!) «роман на расстоянии» – как делали некогда средневековые поэтессы-трубадуры Беатриче де Диа или Мария Шампанская. В окфордском поместье Моррель Garsington Manor, куда привез его Анреп, Гумилев провел воскресный день в спорах вокруг пацифистского демарша, который намеревался совершить в парламенте поэт Зигфрид Сассун, раненный на Западном фронте. При помощи леди Отоллин, убежденной противницы войны, Сассун составил «этическое заявление». «Я верю, что война умышленно продлевается теми, во власти которых ее прекратить, – писал он. – Я солдат, убежденный в том, что я действую от имени солдат. Я глубоко убежден, что эта *Война*, на которую я пошел как на оборонительную и освободительную, стала теперь *войной* агрессии и завоевания…»[455].

Гумилев под впечатлением пережитого в революционные дни в Петрограде налегал в беседах с англичанами на фатальную апокалипсическую мистику, связанную в периоды мировых потрясений «с великими религиозными воззрениями народа»:

– В России до сих пор сильна вера в Третий Завет. Ветхий Завет – это завещание Бога-Отца, Новый Завет – Бога-Сына, а Третий Завет должен исходить от Бога Святого Духа, Утешителя. Его-то и ждут в России…

Вероятно, его собеседником в Гарсингтоне был сам Бертран Рассел. А после возвращения в Лондон переводчик из «The New Age» Морис Беринг[456] свел Гумилева с другим «живым класиком» – Гилбертом Честертоном. Этот июньский вечер запомнился германской воздушной атакой, происшедшей в разгар литературного застолья в особняке леди Дафф. Небеса

разверзлись, бомбы сыпались на Мейфэр[457], стоял адский грохот от разрывающейся где-то у Гайд-парка и Оксфорд-стрит шрапнели, прямо над Белгрейв-сквер истошно ревели моторы крылатых машин, проносившихся над самыми крышами и заглушавших голоса.

– Короли и магнаты, – орал Гумилев, воздевая свой бокал к грозному небу, – или народные толпы способны столкнуться в слепой ненависти друг к другу, люди же пера не поссорятся никогда! Став владыками мира, поэты или по крайней мере писатели, никогда не ошибутся, поскольку всегда смогут найти между собой общий язык…

«Говорил он по-французски, – вспоминал Честертон, – совершенно не умолкая, и мы притихли; а то, что он говорил, довольно характерно для его народа. Многие пытались определить это, но проще всего сказать, что у русских есть все дарования, кроме здравого смысла. Он был аристократ, помещик, офицер царской гвардии, полностью преданный старому режиму. Но что-то роднило его с любым большевиком, мало того – с каждым встречавшимся мне русским. Скажу одно: когда он вышел в дверь, казалось, что точно так же он мог выйти в окно. Коммунистом он не был, утопистом – был, и утопия его была намного безумней коммунизма. Он предложил, чтобы миром правили поэты. Как он важно пояснил нам, он и сам был поэт. А кроме того, он был так учтив и великодушен, что предложил мне, тоже поэту, стать полноправным правителем Англии. Италию он отвел д'Аннунцио, Францию – Анатолю Франсу».

Себе он оставлял Россию.

В отличие от литературной стороны двухнедельного пребывания Гумилева в Лондоне[458], деловая часть его командировки, как и полагается, не афишировалась, но, разумеется, исполнялась. В сохранившейся лондонской записной книжке «корреспондента» сохранились некие невыясненные имена и адреса, никак не связанные с миром лондонских писателей и художников (*«Петр Михайлович Ногаткин, India House, Шифровальное отделение», «Джорж Бан, англ. арт. на Сал.»* и т. п.). К середине месяца (или к 26–27 июня, по европейскому григорианскому календарю) встречи были завершены, и Гумилев мог продолжить путь. Из Лондона он прибыл в порт Соутгемптон и на пароходе пересек Солентский пролив, направляясь к западному, не тронутому военной тревогой побережью Франции:

Мы покидали Соутгемптон,
И небо было голубым,
Когда же мы пристали к Гавру,

То черным сделалось оно.
Я верю в предзнаменованья,
Как верю в утренние сны.
Господь, помилуй наши души:
Большая нам грозит беда.

XX

Русская военная миссия в Париже и события в Ля Куртин. Елена Дю Буше. Михаил Ларионов и Наталья Гончарова. «Русский балет» С. П. Дягилева. «Византийское либретто». Альма Полякова и Анна Сталь. Знакомство с Е. И. Раппом и новое назначение. Катастрофа Восточного фронта. В парижском Комиссариате экспедиционных войск. Командировка в Ля Куртин. Переговоры с мятежниками. Разгром куртинцев.

В отличие от Англии, воевавшей на морях и на территориях других государств, Франция с самого начала войны приняла на себя прямые удары неприятеля. В августе 1914-го германские армии едва не достигли Парижа, и к концу года все пространство между французской столицей и Северным морем превратилось в арену боевых действий. За кампанию 1915 года фронт практически не изменился, хотя в Артуа и Шампани шли ожесточенные бои, перемоловшие более 300 000 французских и английских солдат. Затем последовали десятимесячная «верденская мясорубка» и кровавая битва на Сомме – с гранатометами, огнеметами, химическими снарядами, 1 370 000 трупов союзников, и с тем же «ничейным» результатом. Лишь к началу 1917 года, после русских триумфов над австрийцами, открытия фронта в Румынии и вступления в войну США, французы ощутили, наконец, за собой победный перевес. Но тут грянул февральский переворот в Петрограде, смешавший все планы грядущей кампании.

Во Францию, как и на Балканы, в преддверии решающих сражений российское командование направило две Особых бригады. Это была пехота, дислоцированная первоначально в военном лагере в Шампани близ города Шалон-сюр-Марн (Châlons-sur-Marne). В ходе боевых действий русские подразделения придавались французским армиям и прекрасно зарекомендовали себя вплоть до весны 1917 года. Даже после известия о перевороте обе бригады сохранили боевой дух и доблестно сражались вместе с французами в ходе апрельского наступления под Реймсом, обеспечив тактический успех в бою за местечко Курси, превращенное германцами в укрепленный пункт. Однако в целом попытка французского командования прорвать «линию Гинденбурга» сложилась неудачно. Генерал Робер Нивель приказом в стихах (!) «L'heure est venue. Confiance. Courage et vive la France»[459] поднял на штурм германских укреплений весь Шампанский фронт, пытаясь, как Брусилов под Ковелем,

действовать не умением, а числом. Французская общественность возмутилась количеством потерь, на военных эшелонах стали появляться надписи «A la Boucherie!» («На скотобойню!»), начались забастовки и демонстрации. Горячий Нивель вынужден был уступить место Главнокомандующего более рассудительному генералу Пэтэну.

Наступление бессильно остановилось. Эта неудача озлобила русские войска, потерявшие до 30 % личного состава (особое возмущение вызвали неумелые действия французской артиллерии, по ошибке накрывшей позиции 1-й Особой бригады шквальным огнем). К тому же действовали агитаторы, социалисты-«ленинцы» и анархисты-«махаевцы»[460], расписывая крестьянским мужикам в шинелях, как их односельчане, *«сбросив бар, делят землю»*. Полномочный представитель Керенского в Париже Евгений Рапп «весьма доверительно» информировал русское и французское командование: источником *существенного недовольства* солдат является «вызванное тоской по родине и тяжелыми последними боями желание вернуться на родину или быть смененными новой частью из России». Ненадежных русских смутьянов едва успели вывести из прифронтовой Шампани в Лимузьен, как в новом лагере в коммуне Ля Куртин вспыхнул уже настоящий мятеж. В первых числах июля начались открытые вооруженные столкновения между солдатами и офицерами. Офицерский состав и нижние чины, сохранившие верность командирам, покинули лагерь и стали походным биваком в местечке Фелетин (позднее их перевели в аквитанский лагерь Курно близ Аркашона). Оставшиеся же в казарменном городке куртинцы теперь допускали к себе парижских военных начальников только для переговоров, постепенно переходя на положение мятежной вольницы.

Гумилев прибыл из Гавра в Париж 1 июля (по европейскому календарю), когда первые известия о вооруженных беспорядках в Ля Куртин уже достигли русской военной миссии. Едва отрекомендовавшись по прибытии, он оказался затем на несколько недель предоставлен самому себе. Обеспечить его дальнейшее следование в Салоники было попросту некому – все руководство миссии во главе с Представителем Временного правительства при французской армии генерал-майором Занкевичем срочно убыло в Лимузьен. В ожидании начальства Гумилев поселился в гостинице «Галилей» на rue Galilée (неподалеку от дома русского военного представительства) и стал заводить знакомства среди изменившейся за время его отсутствия российской части Парижа.

По-видимому, первой из новых знакомых стала переписчица

тылового управления русских войск во Франции Елена Карловна Дю Буше, которую Гумилев мог встретить, осваиваясь в незнакомых ему офисах служб миссии в районе Трокадеро. Она была дочерью американского француза, хирурга Чарльза Винчестера Дю Буше, и одесской студентки-медички Людмилы Орловой. Родители ее познакомились в Сорбонне. Чарльз Дю Буше некоторое время имел практику в Одессе, но во время революционных волнений 1905 года переехал во Францию. Зная русский язык, он пользовал многих русских парижан и был особенно популярен среди круга политэмигрантов. Жена постоянно ассистировала ему. Что же касается их дочери, то Елена Карловна, в отличие от родителей, увлекалась литературой и журналистикой. Наследница трех национальных культур, она выросла в Париже, работала во время войны в российском военном бюро и была просватана за американца – о чем и объявила новому русскому знакомому во время их первой парижской прогулки. Реакцией Гумилева на эту новость стало сочиненное тут же, на японский манер, трехстишие:

Вот девушка с газельими глазами
Выходит замуж за американца.
Зачем Колумб Америку открыл?!

Выслушав, Дю Буше заинтересовалась журналистом «Русской воли» – свидания, несмотря на американского жениха, продолжились. Можно предположить, что именно Елена Карловна, хорошо знавшая русскую публику, обитавшую у Трокадеро, обратила внимание своего спутника на знаменитую чету художников Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, занимавших апартаменты в отеле «Кастилья», в двух шагах от временного пристанища Гумилева на rue Galilée.

О Ларионове и Гончаровой Гумилев был, разумеется, наслышан:

Восток и нежный и блестящий
В себе открыла Гончарова,
Величье жизни настоящей
У Ларионова сурово.

Участники скандальных выставок русских авангардистов, Ларионов и Гончарова тяготели к искусству экзотического примитива, любимому Гумилевым со времен абиссинских живописных коллекций (после знакомства он получил в подарок

«амхарскую» стилизацию Н. С. Гончаровой с надписью: *«Береги Вас Бог, как садовник розовый куст в саду»*). Художники оказались в Париже по приглашению великого импресарио Сергея Дягилева, который теперь проводил свой 11-й «Русский сезон» – по случаю военного времени, один из самых скромных. Тем не менее именно в 1917 году Леонид Мясин вместе с Жаном Кокто, Пабло Пикассо и Гийомом Аполлинером поставил у Дягилева сюрреалистический «Парад» на музыку Э. Сати, открыв новую эпоху в российской и мировой хореографии. По словам Ларионова, «все полтора месяца, пока балет был в Париже, мы брали Николая Степановича каждый вечер с собой в театр «Шатле», где давались русские спектакли». Гумилев тут же предложил Ларионову создать с дягилевской труппой хореографическую версию «Гондлы», а для Гончаровой вызвался написать либретто балета о византийской императрице Феодоре (и, действительно, засел за «Тайную историю» Прокопия Кесарийского и исторические труды Клемента Юара и Шарля Диля).

Неизвестно, пересекался ли Гумилев в «Шатле» с Кокто и Пикассо, но с Аполлинером он, точно, возобновил знакомство и был вместе с ним в театре «Мобель» на Монмартре, где шла одна из аполлинеровских пьес. Вероятно, тогда же на Монмартре Гумилев и Аполлинер наткнулись на полубезумного от наркотиков и алкоголя Амедео Модильяни, который устроил скандал – всех русских французы после событий в Ля Куртин считали изменниками. Отдавал ли Модильяни отчет, что встреченный русский, которого он частит за *trahison*[461], – Гумилев, – история умалчивает.

Гончарова и Ларионов представили Гумилева «львицам» местных политических салонов Альме Поляковой (вдове известного банкира) и Анне Марковне Сталь. Первая пользовалась расположением пылкого «революционного» генерала Михаила Ипполитовича Занкевича, вторая же имела большое влияние среди русских политических эмигрантов, вроде Евгения Раппа, оказавшихся после февральского переворота в России хозяевами положения. Таким образом, к моменту возвращения Занкевича и Раппа в Париж Гумилев уже приобрел заметный вес в их ближайшем окружении. Это произвело неожиданные результаты. Рапп, получив 23 июля официальное извещение о своем назначении на должность комиссара экспедиционных войск, в тот же день телеграфом просил у Керенского назначить офицером для поручений создаваемого Комиссариата «прапорщика 5 Александрийского полка Гумилева, командированного Генеральным Штабом в Салоники». В свою

очередь, генерал Занкевич известил ГУГШ, что своей властью оставляет означенного прапорщика при Комиссариате и «ходатайствовал это узаконить». Корреспондент «Русской воли» Николай Гумилев вновь менял штатское платье на военную форму. Столь крутой поворот в судьбе посланца ГУГШа стал возможен не только из-за кадрового голода в парижской военной миссии, но и вследствие утраты петербургским Генштабом способности и воли к планомерным действиям – российская военная машина на глазах разваливалась.

Главнокомандующий Алексеев, мучительно завидовал успехам своего предшественника Николая II – было даже изобретено невероятное название *«Брусиловский прорыв»*[462], чтобы заставить россиян позабыть, *кто* на самом деле осуществлял верховное руководство армией в победном 1916 году. В июне войска Юго-Западного фронта, несмотря на очевидное падение боеспособности, получили приказ наступать на Львов. Временный успех авангарду генерала Л. Г. Корнилова принесла впечатляющая артподготовка (из стратегических запасов, созданных Государем, разумеется). Но 6 (20) июля германцы нанесли контрудар, обернувшийся для всего российского фронта невиданной катастрофой и полным крахом «алексеевской» военной политики. «Армия обезумевших темных людей, не ограждаемых властью от систематического разложения и развращения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит, – сообщал генерал Корнилов. – На полях, которые нельзя даже назвать полями сражения, царит сплошной ужас, позор и срам, которых русская армия не знала с самого начала своего существования». К 12 (25) июля германцы заняли всю Буковину с Червонной Русью и начали наступление на Ригу – их роты обращали в бегство целые русские дивизии, беспорядочно откатывающиеся за Двину. Впрочем, анархия безвластия охватила летом 1917 года не только русский фронт, но и тыл. В Петрограде необыкновенно умножились приверженцы Ленина, «неисчерпаемая казна» которого, как оказалось, была германского происхождения. Оглашение этих данных газетами ни самого Ленина, ни его *большевиков*[463] не смутили – они были сторонники всеобщей Мировой Революции, а как, где и на какие «буржуйские деньги» она начнется, их заботило мало. В июле, под панические слухи о катастрофе на фронте, Ленин попытался взбунтовать Петроград, но демонстрации разогнали. Тогда вождь большевиков затаился в подполье, ожидая своего часа.

В том, что час этот непременно настанет, кажется, уже мало кто сомневался.

В подобной ситуации Генштаб мог лишь рекомендовать

генералу Занкевичу действовать «по обстановке», равно как и Керенский не стеснял своего полномочного представителя. А Евгений Иванович Рапп оказался человеком деятельным и, в отличие от многих бывших отечественных диссидентов, – толковым.

Потомственный дворянин и матерый политэмигрант Е. И. Рапп был выпускником Харьковского университета, занимался адвокатурой, лично знал многих писателей раннего «серебряного века» (его женой стала свояченица философа Н. А. Бердяева). В молодости он участвовал в просветительской деятельности социал-демократов, создававших народные школы и библиотеки для сплочения «сознательных» рабочих и крестьян. Оказавшись в роли армейского комиссара, он использовал свой организационно-просветительский опыт, в действенности которого имел возможность убедиться еще в годы первой русской революции. С помощью «Бюро печати» при военной миссии Рапп начал издавать газету «Русский солдат-гражданин во Франции», активизировал работу «Дома русского солдата» на Монмартре, а свою канцелярию на улице Пьера Шаррона, 69 (где Гумилев получил место «столоначальника»), ориентировал на рассмотрение солдатских жалоб. По линии «Бюро печати» с Раппом сотрудничали многие литераторы из русских парижан: ветеран отечественного декадентства Николай Минский, дягилевский балетный критик Валериан Светлов (Ивченко), журналист и писатель-авангардист Сергей Ромов и даже солдатский поэт-самородок Никандр Алексеев. Однако работа Гумилева в Комиссариате имела малое касательство к литературному творчеству. Он вел делопроизводство, составлял проекты приказов и отчетные документы, ведал распространением агитационной литературы и курировал мероприятия, проводимые Комиссариатом среди личного состава экспедиционных войск. Рапп не мог нахвалиться своим помощником и признавался, что без офицера по поручениям вся работа Комиссариата оказалась бы парализованной. Что же касается Гумилева, то он видел в своей новой службе род патриотического испытания и, добросовестно высиживая рабочий день в офисе на Pierre-Charron, в душе тосковал смертельно:

Ах, бежать бы, скрыться бы, как вору,
В Африку, как прежде, как тогда,
Лечь под царственную сикомору
И не подниматься никогда.

Бархатом меня покроет вечер,

А луна оденет в серебро,
И, быть может, не припомнит ветер,
Что когда-то я служил в бюро.

Но и тут иногда возникали любопытные сюжеты. Пороги русской военной миссии в Париже обивал знаменитый анархист-экспроприатор Victor Serge (урожденный Виктор Львович Кибальчич[464]) – «чтобы поступить на военную службу в свободной России». Издатель «L'Anarchie», отсидевший три года за причастность к автомобильной банде Жюля Бонно[465], Виктор Серж вызывал брезгливый ужас у штабных «республиканцев», но очень заинтересовал Гумилева:

– Я традиционалист, монархист, империалист, панславист. Моя сущность истинно русская, сформированная православным христианством. Ваша сущность тоже истинно русская, но совершенно противоположная: спонтанная анархия, элементарная распущенность, беспорядочные убеждения… Я люблю все русское, даже то, с чем должен бороться, что представляете собой Вы…

«Шагая по эспланаде Инвалидов, мы вели споры на эти темы, – вспоминал Серж. – По крайней мере, он был честен и храбр, бесконечно влюблен в приключения и борьбу. Иногда он читал волшебные стихи».

Так прошел август, а в сентябре и комиссару Раппу, и Гумилеву пришлось на несколько недель покинуть Париж – в долгой и мучительной истории российского мятежного лагеря в Ля Куртин приближалась развязка. Власть в местном солдатском «комитете» полностью захватила анархистская группа во главе с унтер-офицером Афанасием Глобой, провозгласившая себя «Советом солдатских депутатов лагеря Куртин»[466]. 24-летний Глоба, малороссийский баптист-фанатик, убедил оставшихся в лагере солдат, что «у начальства нового нет власти той, какая раньше у царя была», что из России вот-вот должен прийти пароход, на котором всех «с почетом и музыкой» повезут на родину.

– А может, по нашему запросу французы нам и Нивеля-иуду выдадут. Потолкуем с ним тогда по-свойски. И за Курси, и за прочее…

Ожидая «пароход с музыкой», куртинцы побросали в выгребные ямы русские медали и французские croix de guerre[467], спороли погоны и проводили время за картами, выпивкой, песнями под балалайку и гармонь, а также – в конных разъездах по округе в поисках любовных приключений. Лагерная стоянка оказалась запущена, начались болезни, грозящие эпидемией.

Французские власти не успевали принимать жалобы от населения, и было ясно, что их терпения хватит ненадолго. Петербург также начал требовать от Занкевича решительных мер, разрешив использовать для «восстановления порядка» высадившуюся в Бресте артиллерийскую бригаду генерал-майора М. А. Беляева – ту самую, которую Гумилев по весеннему плану ГУГШа должен был встречать в Салониках. В первых числах сентября артиллеристов перебросили под Ля Куртин. К ним присоединились прибывшие из лагеря Курно четыре батальона солдат (в основном крестьян-староверов), непримиримых к мятежникам:

– Мелкота людская, сажееды с фабрик – народ нетвердый ни башкой, ни душой! Им без всякого труда парижский большевик мозги на сторону свернул. Одна беда, что у начальства нового смелости не достает – нам приказать бы озорникам по ряшке вдарить, слегка *покровянить патреты*. Ей-ей, сразу бы все пришло в порядок. А то ведь грех какой, да и позор во Франции, да и на всю Россию!

Тем не менее солдатский комитет экспедиционного отряда и прибывшие из России артиллеристы отправили к мятежникам собственных делегатов, которые попытались разъяснить, что приказом Временного правительства куртинцы уже объявлены «изменниками Родины и Революции», и оружием против них не действуют исключительно в человеколюбивой надежде решить дело по-товарищески, без смертоубийства. Через несколько дней делегаты вернулись назад с убеждением в бесполезности переговоров, а члены куртинского Совета разъясняли осажденным:

– Не бойтесь и не волнуйтесь понапрасну! Посмотрим, кто осмелится по нам стрелять из пушек? По нам, получившим свободу русским солдатам! Начальство русское? Да вы смеетесь! Чтоб эти болтуны, способные лишь языком чесать, решились на что-нибудь серьезное. Вы думаете, что у них расставлены пушки? Да это ведь из дерева стволы, чтоб нас перепугать! Да только нас теперь не напугаешь!

Между тем к 14 сентября сводный отряд генерала Беляева занял назначенные боевые позиции, развернув против лагеря Ля Куртин 6 орудийных и 32 пулеметных расчета. За линией расположения русских войск встали французские части, прибывшие для тесной блокады мятежников. На следующий день, 15 сентября, в три часа пополудни Рапп и Гумилев безоружными парламентерами направились к лагерю. Рапп остался на границе военного городка, а Гумилев известил членов Совета, что представитель Временного правительства ожидает их для

решительных переговоров. Вернулся он в сопровождении председателя Совета Глобы и рядовых Смирнова, Ткаченко и Лисовенко.

– Господин комиссар, – обратился к Раппу Глоба, – члены Куртинского Совета по вашему приглашению прибыли. Будем очень рады, если услышим от вас новое предложение, приемлемое и для вас, и для нас.

Рапп сухо изложил ультиматум Занкевича и Беляева: под страхом картечи покориться закону русской армии и завтра утром, ровно к десяти часам, всем оставить лагерь, следуя по одной из трех дорог к заставам.

– Опять нам золотой погон грозит своим приказом… и как ему еще нудить не надоело! – усмехнулся Глоба, а один из его спутников, выбив ногами четкую дробь, запел:

Так гуди, моя гармошка,
С Раппа выпили немножко,
А закусим под кнутом
У Занкевича потом!

Наутро площадь военного городка перед белым зданием Офицерского собрания, где заседал Совет, оказалась заполнена солдатами. Переговариваясь меж собой, они разглядывали пушки, видневшиеся среди зелени за чертой лагеря. Несмотря на то что ночью уже несколько раз вспыхивала беспорядочная перестрелка, никто не выказывал волнения. Около десяти на площадь явился военный оркестр, дружно заигравший «Марсельезу»: мятежники полагали, что у орудий, направленных на них, находятся не русские, а французы. Завершив французский гимн, музыканты, не видя никакой реакции, принялись за «Дубинушку», недавно утвержденную Временным правительством в качестве гимна русского:

Так иди же вперед,
Ты, великий народ…

Вновь никакой реакции. Музыканты, растерявшись, переминались, оглядывались, отхаркивались, дули в трубы и сморкались. Вдруг залихватски залилась дробь барабана и оркестр, встрепенувшись, задорно грянул:

Эх, понапрасну, Ванька, ходишь,
Да понапрасну ножки бьешь!..

Со стороны деревни отчетливо зазвучал часовой колокол – один, второй, третий, четвертый раз, – и по застывшим орудийным расчетам пронеслось:

– Товсь!

На колокольне отзвучал последний, десятый удар, и в мгновенной тишине все услышали звонкий голос Гумилева:

– Господи, спаси Россию и наших русских дураков!

Площадь с солдатами и музыкантами накрыла картечь.

Гумилев опустил бинокль и перекрестился.

– Вот и вправили мозги на место сажеедам, – хладнокровно сказал рассудительный пожилой фейерверкер. – И пыл ихний построить без Бога мир, что самоварный дым – паром пошел…

Куртинцы, унося упавших, разбегались. Площадь опустела; посредине остались валяться трубы и барабан. Редкий артиллерийский огонь продолжался весь день, и по дорогам от лагеря потянулись группы безоружных солдат с вещевыми мешками. «При первых разрывах сыграли в труса, – кричали им вслед. – А говорили – насмерть!» Из казарм Ля Куртин была дана пулеметная очередь: беглецы залегли и пустились затем врассыпную. До конца дня к заставам выбрались не более двухсот человек.

Наступила ночь. Совет продолжал тянуть с переговорами. Тем временем на границах лагеря происходили вооруженные стычки, продолжалась ружейная и пулеметная стрельба. Среди осаждавших появились рукописные прокламации:

«Твои родители скажут: мы твои родители, отец и мать, братья и сестры боремся за свободу, а ты проклятый каин убивал своего брата и давал помочь проклятым буржуазам душить нас; ты не сын нам, на которого возлагали с твоего отъезда все надежды, и ты оказался убийца братьев, и отца, и матери».

К утру 17 сентября взаимное ожесточение достигло предела. Начался шквальный обстрел из всех имеющихся орудий, и к полудню куртинцы выбросили белый флаг. Из пылающего лагеря вышли восемь тысяч человек, которым, на этот раз, уже никто не препятствовал. Однако занять военный городок к вечеру так и не удалось: члены Совета вместе с сотней непримиримых бунтовщиков, засев в здании Офицерского собрания, встречали атаки пехотинцев пулеметным огнем. Бой шел еще целые сутки, и лишь в девять часов утра 19 сентября командир сформированного для штурма «батальона смерти» полковник Георгий Готуа

отрапортовал Занкевичу и Беляеву о жестокой рукопашной схватке на площади, где застрелено и заколото штыками было около десятка куртинцев, и о полном подавлении мятежа.

Так, в тысяче верст от Петербурга и Москвы завершилось ***первое сражение Гражданской войны***, которая через год распространится на всю огромную территорию бывшей Российской Империи.

XXI

Возвращение в Париж. На постое у адвоката Цитрона. «Отравленная туника». Стихи к «Синей Звезде». Октябрьский переворот и ликвидация Комиссариата. Несостоявшаяся командировка в Месопотамию. «Второй Лондон»: работа в шифровальном отделе Русского правительственного комитета и литературное творчество. Возвращение в Россию. Первые дни в красном Петрограде.

Гумилев вернулся в Париж вместе со всем военным начальством в двадцатых числах сентября, после того как разоруженный гарнизон Ля Куртин, пройдя досмотры и медицинское освидетельствование, вновь оказался водворен в разбитый канонадой военный городок, из которого французы вывезли все боеприпасы. Несколько десятков зачинщиков беспорядков были арестованы, а неопознанные тела, извлеченные из-под завалов в разрушенных казармах, по соглашению с французским командованием, не желавшим лишней огласки, – тайно сожжены и погребены в окрестном лесу. В сводки потерь попали только десять жертв последнего рукопашного боя, личности которых были установлены[468].

Неизвестно, какие сцены довелось наблюдать Гумилеву, но в Париж он вернулся сумрачным и немногословным. «Прежняя его словоохотливость заменилась молчаливым раздумьем, и в мудрых, наивных глазах его застыло выражение скрытой решимости, – вспоминал Николай Минский, активный сотрудник «Бюро печати» и частый гость Комиссариата на Pierre-Charron. – В общей беседе он мало участвовал и оживлялся только тогда, когда речь заходила о его персидских миниатюрах». Работы восточных мастеров Гумилев стал покупать у вхожего к Ларионову и Гончаровой антиквара Туссана после переезда из гостиницы на квартиру русского адвоката Александра Цитрона, ларионовского приятеля. Вскоре наемная комната, выходящая окнами в сквер Альбони под виадуком станции метро «Пасси», оказалась украшена пестрой экзотической коллекцией и завалена книгами, также в изобилии скупаемыми на развалах у букинистов. Здесь осенью – зимой 1917 года была написана трагедия «Отравленная туника» – итог занятий над «византийским либретто», так и не востребованным дягилевскими хореографами.

В отличие от предыдущих пьес тут на первый план выходила политика, точнее – *политическая целесообразность*, воплощенная

в деятельности императора Юстиниана, строителя храма св. Софии Премудрости Божией. Великий законодатель Византии мечтал,

Чтоб мир стал храмом и над ним повисла,
Как купол, императорская власть,
Твоим крестом увенчанная, Боже…

Но это благородное стремление ко всеобщему благу подвигает Юстиниана коварно и хладнокровно жертвовать счастьем дочери Зои («Что́ девичьи слезы пред пользой государства!») и жизнью ее жениха, благородного Царя Трапезондского. Отравленная туника – императорский дар, несущий погибель, – становится символом неумолимой политической воли, которая подобна небесным молниям, морским бурям или самумам:

Законы человеческой судьбы
Здесь на земле, которую Господь
Ведет дорогой неисповедимой,
Подобны тем, какие управляют
И тварью, и травою, и песчинкой.

Разумеется, и Трапезонд, и воздвигаемая в Константинополе св. София возникают в трагедии Гумилева осенью 1917 года не случайно. На отбитый Юденичем у турок черноморский порт, где уже год базировались русские корабли, надвигались в жажде скорого реванша германские и османские войска и флотилии. О православном кресте над Стамбулом-Царьградом никто не вспоминал – Гумилев еще в марте на открытке, посланной Ларисе Рейснер, черными линиями перечеркнул известные стихи: *«Сказал таинственный астролог…»* и т. д. Молох большой политики, как и полтора тысячелетия назад, требовал новые и новые жертвоприношения, не делая исключений ни для поэтов, ни для императоров.

После трагедии в Ля Куртин комиссар Рапп прилагал титанические усилия, чтобы поддерживать в аквитанском и лимузьенском лагерях лояльность Временному правительству. Комиссариат был переведен на режим чрезвычайного положения и работал с девяти утра до семи вечера. Через офицера для поручений шел непрерывный бумажный поток, с которым приходилось справляться авральным методом – Гумилеву пришлось на ходу осваивать даже навыки шифровальной работы.

Зато по вечерам, освободившись, он отводил душу в беседах о поэзии Иннокентия Анненского и Жерара де Нерваля, прогуливаясь с Михаилом Ларионовым в саду Тюильри. «Недалеко от арки Carrousel, – вспоминал Ларионов, – на дорожке, чуть-чуть вбок от большой аллеи, стояла статуя голой женщины – с поднятыми и сплетенными над головой руками, образующими овал. Я, проходя мимо статуи, спросил у Н.С., нравится ли ему эта скульптура? Он меня отвел немного в сторону и сказал: «Вот отсюда». – «Почему», – спросил я – «ведь это не самая интересная сторона». – Он поднял руку и указал мне на звезду, которая с этого места как раз приходилась в центре овала переплетенных рук. – «Но это не имеет отношения к скульптуре». – «Да! но ко всему, что я пишу сейчас в Париже *под голубой звездой*». Это была его астрологическая фантазия – объяснять все безумные российские нелепости 1917 года действием таинственной, еще неизвестной науке сверхновой звезды, появившейся в созвездье Змеи[469]. Незримое сияние, распространяемое этой звездой, по мнению Гумилева, действовало на впечатлительных россиян так, как соблазн древнего Змия-искусителя подействовал на прародителей Адама и Еву. Звезда была далекой, холодной, недоступной и, вероятно, совершенно ненужной землянам, но почему-то вызывала у них страстное стремление в недостижимую и безжизненную даль.

«Синей звездой» Гумилев именовал теперь и Елену Дю Буше, с которой засиживался по вечерам в кафе «Decamps» на одноименной улице, где проживала семья почтенного хирурга:

И причуды, и мечты, и думы
Поверяла мне она свои,—
Все, что может девушка придумать
О еще неведомой любви.

Впервые в жизни оказавшись в роли поверенного в чужом любовном романе, он написал под впечатлением от этих бесед большой цикл стихотворений, напоминающий «трубадурские» ахматовские стихи к Борису Анрепу. Это была лирика психологическая, философская и даже богословская, героиня которого напоминала далекий призрак, возбуждающий горькие и мучительные переживания:

И умер я… и видел пламя,
Не виденное никогда:
Пред ослепленными глазами
Светилась синяя звезда.

На фоне отвлеченной любовной философии выделялись стихи, обращенные к… Ахматовой, по которой Гумилев тогда же начинал мучительно тосковать:

Не всегда чужда ты и горда,
И меня не хочешь не всегда,—

Тихо, тихо, нежно, как во сне,
Иногда приходишь ты ко мне.

На какое-то время он загорелся идеей – ввиду упрочения положения при Комиссариате (у Гончаровой и Ларионова его именовали теперь *«революционный поэт, товарищ Гумилев»*) попытаться переправить в Париж жену с сыном и начать здесь новую, счастливую семейную жизнь. По-видимому, Гумилев надеялся на содействие Раппа, которому покровительствовал сам министр-председатель Временного правительства Керенский. Но положение Керенского становилось все более шатким. 7 ноября (25 октября по «русскому» исчислению) боевики Ленина устроили в Петрограде новую вооруженную вылазку, захватив в Зимнем Дворце заседавших там министров Временного правительства. 10 ноября Рапп провел в Комиссариате чрезвычайное заседание представителей русских военных учреждений города Парижа, на котором этот акт политического хулиганства был единодушно осужден, и выражалась надежда, что «захват сторонниками большевиков тех или иных государственных учреждений не знаменует еще того, что народ в своем большинстве признает эту группу выразителем его воли». Никто не сомневался, что пошатнувшийся государственный порядок в ближайшие дни будет восстановлен. Однако 13 ноября из Главной квартиры французской армии в Комиссариат переслали (с пометой «к личному сведенью») странную депешу, пришедшую по правительственным каналам из Петрограда:

«Рабочие и солдатские депутаты в ожесточенном бою под Царским Селом революционной армией наголову разбили контрреволюционные войска Керенского и Корнилова. Именем Революционного Правительства приказываю всем верным полкам Революции дать отпор врагам революции, демократии, принять все меры к захвату Керенского и также недопущению подобных авантюр, грозящих завоеваниям революции и также торжеству пролетариата. Да здравствует революционная армия!»

Депеша была подписана неким подполковником Муравьевым и заверена журналистом Львом Троцким, издававшим в Париже год назад социалистическую газету «Наше слово». Газету закрыли за пропаганду пацифизма, редактор ее сбежал в Америку и вот теперь, оказывается, объявился в Петрограде. В депеше именем «Совета народных комиссаров» (?!) Троцкий провозглашал здравицу «революционному народу социалистической России» и предупреждал: «Впереди еще борьба, препятствия и жертвы, но путь открыт и победа обеспечена» (??!).

По-видимому, в Петрограде стало совсем плохо. Военная связь молчала. Телеграфные агентства донесли кошмарные известия, что прапорщик Крыленко (?!) по поручению *Совнаркома* убил в могилевской Ставке генерала Духонина[470] и провозгласил себя Верховным главнокомандующим (!!!). Это был очевидный для союзников конец российской военной организации. Премьер-министр Ж. Клемансо предложил русским военнослужащим во Франции *«трияж»* (три варианта действий на выбор): переход добровольцами во французские вооруженные силы, поступление в рабочие команды, либо перемещение в военные лагеря Северной Африки (казармы в Курно и Ля Куртин предназначались для прибывающих из-за океана американских войск). Вскоре появилось министерское «Положение о русских войсках во Франции» – командование полностью брали на себя французские военачальники. Все иные руководящие структуры и «солдатские комитеты» распускались. Законопослушный Е. И. Рапп сложил с себя обязанности армейского комиссара, а его офицер по поручениям 29 декабря вынужден был встать на учет военного коменданта Парижа «впредь до устройства служебного положения».

Устройством служебного положения Гумилев занимался первые дни нового 1918 года. Узнав, что российское военное представительство в Англии формирует офицерское пополнение на Месопотамский фронт, где вместе с британскими войсками продолжал сражаться отряд терских и кубанских казаков генерала Л. Ф. Бичерахова[471], Гумилев приступил к парижским начальникам с настоятельными рапортами как в прозе, так и в стихах:

Наш комиссариат закрылся,
Я таю, сохну день от дня,
Взгляните, как я истомился,—
Пустите в Персию меня!

Рапорты подействовали. 20 января Гумилев спешно убыл в Булонский порт, не успев толком попрощаться с друзьями-художниками и с Еленой Дю Буше, проводившей в госпиталях «русские» рождественские елки. 22 января он остановился в лондонской гостинице «Империал», в двух шагах от русского консульства на Bedford Square, и в тот же день явился к военному агенту генералу Н. С. Ермолову. Но попасть в Персию не удалось. Ни суточных, ни подъемных российские военные за рубежом уже не получали, а щепетильные англичане сочли денежное неудовлетворение дурной рекомендацией. Кандидатура Гумилева для пополнения месопотамского отряда была отклонена.

Во Францию возвращаться не имело смысла: генерал Занкевич издал приказ о полном расформировании парижской военной миссии и сам выходил в отставку. Что же касается генерала Ермолова, то он мог предложить неприкаянному прапорщику лишь возвращение в Россию с первым же пароходом. Поскольку речь шла о сроке в несколько недель, а то и месяцев (регулярное сообщение после падения Временного правительства прервалось), Ермолов, по-видимому, рекомендовал Гумилева для работы в шифровальном отделе хорошо знакомого Russian Government Secretary. Впрочем, подобную рекомендацию вполне мог устроить и Борис Анреп. Тот недавно возвратился из Петрограда и имел с Гумилевым важную беседу.

– Положение там ужасно, – мрачно объявил Анреп. – Вы даже не можете себе этого представить, за время вашего отсутствия все изменилось необратимо. Я покинул Петроград дней за десять до захвата власти большевиками. На улицах уже хватали офицеров, но перед самым отъездом, сняв погоны, я все-таки добрался до Анны Андреевны. Я предлагал ей бежать…

Лицо Анрепа сделалось торжественным.

– «К чему? В гробу теплее лежать в своей отчизне», так сказала она. И еще: «Теперь я без страха встречу день угрозы». Во мне этого чувства не было: я уехал из России десять лет назад и устроил свою жизнь за границей. Меня призывал долг служения и долг перед оставленной здесь семьей. Но, уезжая, я написал моему другу Недоброво: «Дорогой, не умирай, ты и Анна Андреевна для меня вся Россия». Да, так я написал. Теперь Вы понимаете…

– Понимаю, – сказал Гумилев.

«Гумилев, – вспоминал Анреп, – рвался вернуться в Россию. Я уговаривал его не ехать, но все напрасно. Родина тянула его». В ожидании оказии новый «шифровальщик» дружески сошелся с Николаем Губским, Иваном Курчениновым, полковником Нежиным, капитаном Перовским и прочими сотрудниками

Комитета. В гостях у Курчениновых Гумилев декламировал африканские баллады. Для всех было ясно, что Комитет доживает последние дни, и Гумилев усиленно расхваливал Абиссинию:

– Прекрасное место для русских! Теплый климат, полно солнца, а какая охота! И, главное, та же религия – греческая православная церковь. За два фунта соли вы получите слоновый бивень; за два коробка спичек – шкуру леопарда. Только нужно взять с собой центнер соли и побольше спичек…

Комитетские офицеры восторженно внимали, и в фантазиях уже разбивали палатки в джунглях, нанимая эфиопов на плантации тропических фруктов. А их жены, расправляясь на кухне с грудой грязной посуды, тряслись от смеха, представляя мужей в набедренных повязках, с копьями, луками и абиссинскими зонтиками от солнца. Как в Париже, в Лондоне Гумилев имел успех у женской части российской военно-дипломатической колонии. Судя по посвящениям лондонских стихотворений, в круг его собеседниц входила и дочка бывшего посла С. А. Абаза-Бенкендорф, которую Гумилев в галантных стихах «приглашал в путешествие»:

Уедем, бросим край докучный
И каменные города,
Где Вам и холодно, и скучно,
И даже страшно иногда.

Но подобной лирики немного: ни одна из лондонских конфиденток не смогла затмить оставшуюся в Париже «Синюю Звезду». В Лондоне Гумилев, не слишком обремененный работой в шифровальном отделе, вернулся к замыслу «мужицкой» повести «Веселые братья» (первая глава была отдана переводчику с расчетом на какую-то английскую публикацию), отредактировал «Отравленную тунику», увлекся переводами из китайской и корейской поэзии по французской антологии, составленной Жюдит Готье (дочери любимого им классика). Он загодя готовился к мирному писательскому труду на родине. С военной, общественной или политической карьерой он, под впечатлением всего пережитого, мысленно уже попрощался навсегда.

– Из Англии я решил вернуться домой, – рассказывал он. – Нет, я не хотел, не мог стать эмигрантом. Я думал о встрече с Анной Андреевной, о том, как мы заживем с ней и Левушкой. Он уже был большой мальчик. Я мечтал стать ему другом, товарищем его игр. Да, я так глупо и сентиментально мечтал…

В удостоверении личности, явленном 10 апреля в порту Ньюкасл при посадке на пароход «Handland», Гумилев значился

как «русский писатель, возвращающийся из-за границы». Золотые офицерские погоны он, покидая Лондон, оставил Борису Анрепу – в качестве сувенира. Вместе с погонами Анрепу перешел на хранение и весь гумилевский архив. Анреп в свою очередь вручил, прощаясь, подарок для Ахматовой – античную серебряную монету и несколько ярдов английской шелковой ткани. Гумилев, захлопнув чемодан, сердито посмотрел на художника:

– Как Вы можете, Борис Васильевич!? Она все-таки моя жена!

– Но это же дружеский жест! – изумился честный русский англичанин.

Роль главного адресата ахматовской лирики Борис Анреп осваивал с большим трудом.

Пароход «Handland», следующий через французский порт Гавр в Мурманск, исполнял особую миссию. Три недели тому назад, 15 марта 1918 года, IV Чрезвычайный Съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов ратифицировал заключенный ранее в Брест-Литовске «народными комиссарами» сепаратный мир с Германией, и все русские, требующие возвращения в непризнанную Антантой «Российскую Социалистическую Федеративную Республику», окончательно превратились в глазах англичан и французов в изменников и предателей. Но этот рейс являлся не столько военной, сколько благотворительной операцией. «Handland» предназначался исключительно для больных и раненых солдат. Помимо того, несколько мест было забронировано для пассажиров, следующих в РСФСР по дипломатической необходимости (генерал Ермолов оказался человеком слова). Вместе с Гумилевым на транспорт попал еще один сотрудник Russian Government Secretary – поэт Вадим Гарднер, люто возненавидевший за время службы все английское и утверждавший, что в Лондоне порядочный человек может проводить время только в обществе третьеразрядных кокоток.

Пока «Handland» принимал в Гавре русских пациентов французских военных госпиталей, Гумилев успел добраться до Парижа. Поездка была молниеносной, на сутки, в течение которых он успел лишь договориться с хозяином бывшей квартиры в Пасси о сохранности картин и книг и проститься по-человечески с парижскими друзьями. Все надеялись, разумеется, на новые встречи, но Михаил Ларионов вспоминал потом, что, покидая французскую столицу, Гумилев бесцельно бродил у Сорбонны и Пантеона по улочкам средневекового Латинского квартала, как будто перед расставанием навек:

Франция, на лик твой просветленный
Я еще, еще раз обернусь,
И как в омут погружусь бездонный,
В дикую мою, родную Русь.

13 апреля «Handland» отвалил от пристани в Гавре, и в сопровождении конвоя из трех миноносцев взял курс на северо-восток.

До Мурманска двенадцать суток
Мы шли под страхом субмарин —
Предательских подводных «уток»,
Злокозненных плавучих мин,—

писал об этом переходе Гарднер, не расстававшийся с лимонами и виски (он очень страдал от штормовой качки). Попутчиком поэтов был инженер-путеец Лавров, брат знаменитого революционера-народника. Инженер оказался интересным собеседником и оживленно обсуждал с Гумилевым… ассирийскую клинопись, которую изучал с юности. О древних поэмах на глиняных клинописных таблицах, обнаруженных при раскопках Ниневии и Вавилона, Гумилев был, разумеется, наслышан от Шилейко – даже сам пытался перевести с его подстрочника фрагмент шумерского эпоса «Гильгамеш». Сейчас же увлекательные приключения героев «Гильгамеша» отвлекали от постоянной солдатской перебранки, мрачных размышлений о национальном позоре, переживаемом Россией, и тревоги за грядущую встречу с преобразившейся родиной.

«Handland» благополучно прибыл в Мурманск 25 апреля по григорианскому европейскому исчислению. Однако делать на берегу, как обычно, поправку на «русский» стиль не пришлось – с февраля православный юлианский календарь был отменен. Это и стало первым впечатлением от российских изменений. В целом же недавно возникший северный военный порт, который контролировался моряками базировавшихся здесь английских кораблей, еще сохранял в городском укладе привычные дореволюционные черты. Лишь на вокзале документы проверяли *советские* уполномоченные чиновники: англичане не препятствовали железнодорожному сообщению Мурманска с «красным Петроградом». Весна на Кольском полуострове стояла суровая. Гумилев, ожидая поезд, добрался до местного базара и сменил элегантное английское пальто «в талию» на кустарную лапландскую доху с белым рисунком по подолу.

– Ничего! – храбрился Гумилев. – На войне я пробыл три года, на львов я уже охотился. А вот большевиков еще не видел. Вот и посмотрю. Не так страшен черт…

Сутками позже он был на петроградском перроне. Сняв, по старой памяти, номер в близкой «Ире» и оставив там багаж, Гумилев поспешил на Каменноостровский к Лозинскому. Ленинский Совнарком, убоявшись немецкого наступления на Петроград, в марте сбежал в Москву, и город уже не имел столичного значения. Стремительное запустение бывшей имперской столицы поражало воображение. На Невском и Литейном исчезли привычные рекламные вывески, а большинство знакомых магазинов, кафе и ресторанов темнели пустыми витринами. Везде было тихо и пустынно – не грохотали проезжающие телеги, не сигналили автомоторы, редкие прохожие шли прямо по мостовой, как в старинных итальянских городах. Дворники в своих фартуках не дежурили, как обычно, у подворотен, и куда-то подевались извозчики. Заводы и фабрики повсеместно остановились, ни гари, ни копоти – весенний воздух был по-деревенски свеж; а над прозрачно-голубой Невой на бледно-сиреневом небе с поразительной четкостью выступали контуры дворцов; словно гравированный, возносился Петропавловский шпиль, и темными акварельными пятнами рисовались справа минареты и купол Соборной мечети.

У Лозинских Гумилев узнал, что Ахматова, как и год назад, гостит у Срезневских, и немедленно телефонировал туда. Они встретились в «Ире». Гумилев услышал от жены, что их особняк в Царском Селе конфискован, усадьба в Слепневе разграблена крестьянами, а вся семья живет в Бежецке, где Анна Ивановна успела нанять квартиру в двухэтажном доме, прежде чем ее сбережения окончательно пошли прахом. Выслушав в свою очередь все французские и английские истории, Ахматова, захватив дары Анрепа, вернулась к Срезневским, договорившись с мужем, что тот вскоре тоже будет на Боткинской улице. Там среди общей беседы Ахматова неожиданно провела Гумилева в отдельную комнату и объявила:

– Дай мне развод…

«Он страшно побледнел, – рассказывала Ахматова, – и сказал: «Пожалуйста…» Не просил ни остаться, не расспрашивал даже. Спросил только: «Ты выйдешь замуж? Ты любишь?.. Кто же он?» – «Шилейко». Николай Степанович не поверил: «Не может быть. Ты скрываешь, я не верю, что это Шилейко».

Это была секундная слабость.

– Меня – я другого выражения не нахожу – как громом поразило, – вспоминал Гумилев. – Но я овладел собой. Я даже мог

заставить себя улыбнуться. Я сказал: «Я очень рад, Аня, что ты первая предлагаешь развестись. Я не решался сказать тебе. Я тоже хочу жениться». Я сделал паузу – на ком, о Господи?.. Чье имя назвать? Но я сейчас же нашелся. «На Анне Николаевне Энгельгардт, – уверенно произнес я. – Да, я очень рад». И я поцеловал ее руку. «Поздравляю, хотя твой выбор не кажется мне удачным. Я плохой муж, не спорю. Но Шилейко в мужья вообще не годится. Катастрофа, а не муж…»

Жизнь в России во время его заграничного отсутствия и в самом деле изменилась необратимо.

Книга третья. Северная коммуна

I

«Похабный мир». Работа в «Союзе деятелей художественной литературы» и издательская деятельность. Поэма Блока «Двенадцать». Гумилев – монархист. Новые книги. Сватовство к Анне Энгельгардт. Краткое благоденствие. Екатеринбургское злодеяние.

Гумилев оказался вновь на берегах Невы, когда «мир», заключенный Лениным с кайзером Вильгельмом, окончательно превратил земли Империи, еще год назад уверенно кроившей на свой лад чертежи послевоенной Европы, в сплошную зону вооруженного противостояния:

С Россией кончено… На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,

Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль[472].

Украинские, финские, польские и прибалтийские сепаратисты, получившие по условиям Брест-Литовского мирного договора независимость от метрополии, воодушевившись, увлекали победоносные германские войска «против банд Великороссии» – на Белгород, Курск, Воронеж, Смоленск, Псков, в Крым, Восточную Карелию и на Кольский полуостров. К торжествующей Германии срочно примкнула и Румыния, устремившаяся против своего бывшего военного союзника в Бессарабию и Причерноморье. А под Карсом, Батумом и Баку войска самопровозглашенной Закавказской федерации уже под собственными знаменами безуспешно пытались остановить турецкое наступление.

Сам председатель *Совнаркома*, переместившийся из ненадежного приграничного Петрограда в московский тыл, называл заключенный им мир с Германией «похабным», но оправдывался тем, что, как истинный коммунист-большевик, руководствовался при переговорах в Брест-Литовске не интересами России, а стратегией Мировой Революции. Эти

откровения Ленина уже никого не удивляли. Его предшественник-социалист Керенский тоже постоянно, устно и письменно разъяснял, что думать следует прежде всего о *свободе*, а уж потом – о России. Получалось, что если кто и мыслил о России за минувший фантастический год, так это непонятно кем и для чего свергнутый Государь. Но Александровский дворец в Царском Селе уже давно опустел – сразу после военного разгрома Керенский предусмотрительно отправил царскую фамилию в малонаселенные сибирские просторы, откуда вестей не доходило. И потому, выживая, каждому теперь приходилось рассчитывать только на самого себя.

Гумилев, оказавшись на руинах былой жизни, без дома, без семьи, с несколькими десятками фунтов в кармане, принялся устраивать новое, *советское* житье чрезвычайно энергично. Ему очень повезло. Сергей Маковский, покинувший Петроград «до лучших времен» (он уехал сразу после февральского переворота), передал ключи от своей квартиры Лозинскому с поручением использовать пустующее жилье на благо «аполлоновцев». Таким образом, через несколько дней после возвращения Гумилев смог переехать из гостиницы в роскошные апартаменты pápá Makó на углу Ивановской и Николаевской – с библиотекой, кабинетом, антикварными безделушками и дорогой старинной мебелью. Празднуя новоселье, Гумилев уверенно заявил Георгию Иванову:

– Теперь меня должна кормить поэзия!

– Может быть, и должна, – печально ответил Иванов, – только вряд ли она тебя прокормит.

«Красный Петроград» весной 1918 года населяли преимущественно безработные. Разогнаны были министерства, закрыты банки, опустели присутственные места и казармы гвардейских полков, остановились фабрики и заводы. Процветала лишь уличная торговля, превратившая городские площади в огромную *барахолку*, где на продажу выставлялось все – от рваных онуч и дверных ручек до столового золота, китайского фарфора и полотен европейских живописцев из дворцовых художественных галерей (лозунг *«Грабь награбленное!»*, провозглашенный на II Всероссийском Съезде Советов донским казаком Шамовым, нашел многочисленных приверженцев и в Петрограде). Впрочем, куда выгоднее сбыта вещей, своих и ворованных, была продуктовая спекуляция – пайковые карточки, выручавшие горожан в прошлом году, теперь отоваривались с трудом. Те же из петроградцев, которые еще обнаруживали способность к производительному труду, пытались объединяться во всевозможные профессиональные союзы и создавать при них собственные кооперативные предприятия.

Спустя неделю после возвращения Гумилев вступил в *«Союз деятелей художественной литературы»*, только что созданный ветераном русского символизма Федором Сологубом. Начинанию покровительствовал *«сам»* Анатолий Луначарский, незаметный ранее литератор и журналист, состоявший теперь в правительстве Ленина *наркомпросом* (народным комиссаром просвещения). Интерес к *СДХЛ* – всевозможные сокращения стали настоящей словесной эпидемией революционных лет! – проявлял и Максим Горький, главный литературный авторитет среди новых правителей-большевиков. В бывшем купеческом особнячке на 11-й линии Васильевского острова вместе с патриархом отечественной юриспруденции Анатолием Федоровичем Кони и фронтовым корреспондентом Турецкой, Японской, обоих Балканских и Великой войн Василием Ивановичем Немировичем-Данченко вопросы культурно-просветительской и издательской политики в революционной России обсуждали короли новейшей беллетристики Александр Куприн, Юрий Слезкин и Виктор Муйжель, хитроумный Зоил[473] из «Нивы» и «Речи» Корней Чуковский, автор изощренных литературных гротесков Евгений Замятин, поэты-символисты Александр Блок и Владимир Пяст. Заняв пост товарища председателя в этой странной *курии*[474], Гумилев сразу обрел общественный статус и смог быстро получить в одной из типографий кредит на издания книг под испытанной маркой «Гиперборея». Помимо того, с издательством «Прометей» был заключен контракт на переиздания прежних гумилевских сборников стихов в новой авторской редакции. Готовя наборные рукописи, Гумилев сутками просиживал за рабочим столом в бывшем кабинете Маковского и через месяц смог сдать в печать новую книгу стихов *«Костер»*, поэму *«Мик»*, свод переводов из китайской и корейской поэзии *«Фарфоровый павильон»*, а также отредактированные заново *«Романтические цветы»* и *«Жемчуга»*.

Заседания СДХЛ Гумилев старался не пропускать. Из разговоров, которые велись в особняке на 11-й линии, он мог составить ясное представление о положении дел в неведомом *советском* мире. Несмотря на покровительство *наркопроса*, все жили надеждой на скорое падение ленинских комиссаров, которых считали главными виновниками нынешних бед. Керенского, напротив, вспоминали с сочувствием, сожалея, что тот не обнаружил осенью минувшего года достаточной решительности в борьбе с большевиками и анархистами. Источником же самых горьких сожалений было Учредительное собрание, разогнанное Лениным и Львом Троцким, за которых горой стояли балтийские матросы[475].

Гумилев после Ля Куртин тоже считал большевиков и анархистов бандитами и каторжниками, но упрямая приверженность интеллигентных собеседников к идее «народоправия» изумляла его. Опыт российской демократии после февральского переворота свидетельствовал лишь об одном:

– Народ без царя – что скотина без пастуха: и вокруг все изгадит, и себя погубит!

Поэтому если и оставалась у России надежда, то лишь на реставрацию монархии. Так Гумилев прямо и говорил петроградским интеллигентам, которых от его слов бросало в холодный пот. «Суждения его о революции были неинтересны, – жаловался один из гумилевских конфидентов. – Жил в его душе армейский гусарский корнет со всей узостью и скудностью своего общественного размаха и мировосприятия, чванливостью кавалерийского юнкера, мелким национализмом, скучным кастовым задором».

Однако главным возмутителем либеральных петроградских умов был не монархист Гумилев, а новоявленный большевик Александр Блок, провозгласивший, что ленинская Мировая Революция – есть *«музыка, которую имеющий уши должен услышать»:*

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови,
Господи, благослови!

Тут уж интеллигентных петроградцев бросало не в холод, а в жар. Гумилев убедился в этом на первом же литературном *утреннике* (вечерние представления и концерты теперь были небезопасны для посетителей), куда попал недели две спустя после возвращения из-за границы. Этот «Вечер поэтов» (начало – в час пополудни!) проводило общество «Арзамас» – очередное литературно-художественное предприятие «Жоржиков». Гвоздем программы было исполнение скандальной поэмы Блока «Двенадцать» его женой, выступавшей под обычным сценическим псевдонимом *Любовь Басаргина*. После художественной декламации –

Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —

в зале Тенишевского училища поднялся невероятный содом.

Часть публики неистово аплодировала, но большинство свистело, визжало и топало ногами. Побледневший Блок отпрянул от выхода на сцену:

– Я не пойду, я не пойду!

Губы у него тряслись. Публика продолжала неистовствовать. Гумилев, оценив ситуацию, только вздохнул:

– Эх, Александр Александрович, написали, так и признавайтесь, а лучше бы не написали!

Не обращая внимания на улюлюканье и свист, он сам двинулся на эстраду. «От его стихов и от него самого разлилась такая магическая сила, что чтение его сопровождалось бурными аплодисментами, – свидетельствует поэт Леонид Страховский. – После этого, когда появился Блок, никаких демонстраций уже больше не было».

– Конечно – гениально, спору нет, – говорил впоследствии Гумилев о «Двенадцати». – Но тем хуже, что гениально. Соблазн малым сим. Дьявольский соблазн.

«Монархизм» Гумилева имел успех. Поклонницы, замирая от восторженного страха, спрашивали: правда ли, что он желает для России возобновления императорской власти?

– Да, – отвечал Гумилев, – особенно если на троне будет красивая императрица… Такая, как Вы!

Он снова был в центре внимания читателей. Издания Гумилева, выходившие летом 1918 года одно за другим, оживленно раскупались.

– Вот видишь, – наставлял он Георгия Иванова, встреченного в буфетном фойе Мариинского театра, – хожу в балет, покупаю бутерброды с икрой – и все это на доходы с моих книг.

Рядом с Гумилевым счастливая Анна Энгельгардт скромно кушала миндальное пирожное – высшую гастрономическую роскошь тех дней. Сразу после объяснения с Ахматовой у Срезневских Гумилев отправился в Эртелев переулок, вызвал Анну Николаевну и, не тратя лишних слов, объявил о своем намеренье жениться как можно скорее.

– Нет, я не достойна такого счастья! – всплеснув руками, закричала она, упала на колени и заплакала. На правах невесты Энгельгардт сопровождала теперь Гумилева во время торжественных выходов «в свет». Впрочем, в литературных собраниях его часто видели и в сопровождении других очаровательных спутниц – начинающей поэтессы Ирины Куниной[476] или присмиревшей за месяцы разлуки Маргариты Тумповской, которая в недавнем № «Аполлона» поместила большую хвалебную статью о гумилевских стихах[477].

С Ахматовой Гумилев был подчеркнуто любезен, а по

отношению к Владимиру Шилейко усиленно демонстрировал прежнее дружеское расположение. Он даже позаимствовал у шумеролога антикварный французский перевод клинописи «Гильгамеша» – мысль о русском стихотворном переложении вавилонского эпоса не оставляла его после памятного морского перехода из Ньюкасла в Мурманск. Ахматова наигранно радовалась воцарившемуся миру и мучительно ревновала. «Очень тяжелое было лето, – вспоминала она. – Когда с Николаем Степановичем расставались – очень тяжело было». Гумилев, взявший на себя хлопоты по разводу (после отмены в революционной России церковного брака это превратилось в бюрократическую процедуру), по мере приближения назначенной даты мрачнел и пускался в странные воспоминания:

– У меня ведь были кто бы с удовольствием пошел за меня замуж: вот, Рейснер, например… Она с удовольствием бы…

Ахматова сообщила ему, что Лариса Рейснер теперь не только сама комиссарит где-то, но, по слухам, замужем за комиссаром. В конце июня оба обреченно поехали в Бежецк – готовить домашних к грядущим переменам. Там, видя, как радуется пятилетний Лева, разбирая новые игрушки, Гумилев внезапно поцеловал руку жены и грустно спросил:

– Ну, зачем ты все это выдумала?!

Ахматова не ответила. Вернувшись в Петроград, Гумилев оповестил всех знакомых о грядущей свадьбе с Анной Энгельгардт и познакомил с новой родней приехавшую вслед за сыном Анну Ивановну Гумилеву. Чудаковатый профессор Энгельгардт, живущий в мире своих китайских рукописей, был очарован «прелестной старушкой, рожденной Львовой». Он галантно беседовал с будущей кумой об ее «собственном двухэтажном доме в Царском Селе, недалеко от гимназии и парка» (конфискованном) и «фамильном имении в Тверской губернии, с усадьбой, полной воспоминаний, портретов и книг еще XVIII века» (захваченной и разоренной крестьянами). Анна Николаевна без умолку радостно щебетала, и Гумилев в конце концов нежно заметил:

– Дорогая, когда ты молчишь, ты становишься вдвое красивее!

Об Ахматовой он говорил теперь коротко:

– Она все-таки не сумела сломать мне жизнь!

Анна Ивановна, оказавшись в апартаментах pápá Makó, была удивлена неожиданным процветанием сына. Гумилев и сам думал, что бури и несчастья остались позади и его собственная жизнь и жизнь покалеченной и разоренной страны войдет, так или иначе, в какое-то новое, уверенное русло. Петроград летом

1918 года оказался почти изолированным от внешних известий. Газеты страдали из-за цензурных нововведений и сообщали о происходящем вокруг скупо и невнятно. Впрочем, было ясно, что в Европе продолжалась, как и раньше, с переменным успехом война, германцы и турки, заняв западные и южные рубежи бывшей Империи, остановились, предоставив покоренной, обезоруженной России самой решать свои внутренние революционные дела. В Москве большевики ссорились с анархистами и эсерами, не принявшими Брестский мир. Что происходило далее Москвы – доподлинно никто не знал вовсе. Петроградцы привычно разъезжались на пригородные дачи, надеясь, как водится, на лучшее. В жизни Гумилева этот краткий период счастливого неведенья завершился 19 июля, когда, прогуливаясь в компании Ирины Куниной по Садовой, он услышал крик мальчишки-газетчика:

– ***Убийство царя в Екатеринбурге!!***

Гумилев опешил, затем рванулся, бросился за газетчиком, схватил за рукав, вырвал из его рук номер «Известий», позабыв заплатить. Огромные буквы сообщали:

РАССТРЕЛ НИКОЛАЯ РОМАНОВА

ПРЕЗИДИУМ УРАЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПОСТАНОВИЛ РАССТРЕЛЯТЬ НИКОЛАЯ РОМАНОВА, ЧТО И ПРИВЕДЕНО В ИСПОЛНЕНИЕ 16 ИЮЛЯ. ЖЕНА И СЫН НИКОЛАЯ РОМАНОВА ОТПРАВЛЕНЫ В НАДЕЖНОЕ МЕСТО.

Белый как мел Гумилев опустил левую руку с газетой, медленно, проникновенно перекрестился и, помолчав, сдавленным голосом сказал:

– Царство небесное… Никогда им этого не прощу!

Испуганной Куниной показалось, что сейчас он заголосит по-бабьи: «На кого ты нас, сирот, оставил!..»

И она испугалась еще больше.

Оба не знали, что расстрелян был не только император – расстреляна была вся, до единого человека, его семья, и даже слуги и врач, сопровождавшие августейшую чету в сибирских мытарствах. Впрочем, обычным расстрелом то, что творилось в доме екатеринбургского купца Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, назвать сложно. Палачи долго и неумело убивали мучеников пулями и штыками, потом глумились над бездыханными трупами, свалили их, обнаженных, в грузовые автомобили и телеги и повезли за город в местечко Ганина Яма. Там, у заброшенной шахты, около двух суток (!) тела закапывали

и вновь извлекали, расчленяли, взрывали гранатами, жгли на кострах и поливали серной кислотой. А на стене обагренной царской кровью подвальной комнаты Ипатьевского дома чья-то неведомая ликующая рука начертала стихи Генриха Гейне:

Belsatzar ward in seibier Nacht
Von seinen Knechten umgebracht[478].

II

Гражданская война и «красный террор». Развод с Ахматовой и второй брак. Болезнь Дмитрия Гумилева. Первые месяцы «военного коммунизма». Революция в Германии и завершение Мировой войны. Годовщина «Красного Октября» в Петрограде. ТЕО Наркомпроса. Детские театры. «Дерево превращений».

Екатеринбургское злодеяние было одним из тех событий трагического лета 1918 года, которые, в совокупности, ознаменовали собой начало *Гражданской войны* в России. К этому времени на непокорном Советам казачьем юге уже полгода действовала «белая» Добровольческая Армия, противостоящая Красной Армии Совнаркома. В апреле анархисты, обвиняя большевиков в «предательстве революции», стали бунтовать в Москве и, после кровавой бани, рассеялись по сельским просторам, вербуя в свою партизанскую Черную гвардию деревенских мужиков в Поволжье и на украинском Запорожье. Германцы в огромной оккупированной зоне от Балтийского до Черного морей и англичане, захватившие Северный край, формировали из аборигенов марионеточные «правительства». А в мае – июне бойцы Чехословацкого корпуса, воевавшего на Юго-Западном фронте, во время эвакуации из Киева во Владивосток заподозрили большевиков в намерении выдать их пленными германскому командованию, взялись за оружие и захватили, двигаясь тремя эшелонами, всю гигантскую Транссибирскую железнодорожную ветку от Волги и Урала до Тихого океана. Подчиняясь воле французского Верховного главнокомандования, чешские командиры разгоняли большевицкие Советы, содействуя возникновению либеральной власти в захваченных городах. Так возник Комитет членов Учредительного собрания («Комуч») – в Самаре и Временное Сибирское правительство с собственной Сибирской армией – в Омске. Наступление этой армии на Екатеринбург и стало для Уральского Совета поводом к расправе над заточенным в городе императором Николаем II и его семьей.

Большевики были готовы к Гражданской войне. Благоденствие и социальный мир в России, как, впрочем, благоденствие и мир в любой другой отдельно взятой стране, никогда не входили в число их задач. Их вдохновляла титаническая мечта о *Мировой Коммуне*. Это был образ земного рая, созданного руками людей, воплотивших вековечную мечту человечества о справедливой жизни. Тут не было богатых и бедных, никто не ощущал себя сильным или слабым, никто не

мог похвалиться особыми привилегиями – все были равны во всем, все было общее, и жизнь каждого человека содержала все возможности, присущие остальным людям. Поэтому главным противником коммунистов-большевиков был *Бог*, сотворивший мироздание несправедливым. Другим противником являлось *государство*, служители которого силой поддерживали эту несправедливость в человеческом обществе. И, наконец, третьим врагом была *собственность*, чье количество являлось выражением этой несправедливости в частной жизни каждого человека. Следовательно, в своей борьбе коммунисты могли опираться, прежде всего, на тех, кто не имел собственности, не ждал ничего хорошего от государства и не надеялся уже на Бога – т. е. на ***пролетариат***, городскую и сельскую бедноту. Все прочие в ходе коммунистической революции подлежали либо уничтожению, либо принудительному перевоспитанию.

Понятно, что сохранить гражданский мир строителям Мировой Коммуны было невозможно, и большевики, получив власть в октябре 1917 года, объявили в России *диктатуру пролетариата*, не дожидаясь, пока подлежащие искоренению *«буржуи»*[479] начнут оказывать вооруженное сопротивление. В декабре 1917 года была учреждена Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (*ВЧК*) по борьбе с контрреволюцией и саботажем, сотрудники которой – *чекисты* – должны были стать, по словам Ленина, «разящим орудием» новой власти. В «разящее орудие» превратилась и созданная в феврале 1918 года Львом Троцким Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Впрочем, первый *краском* (красный командир) Михаил Муравьев еще до возникновения *РККА* завершал военные походы своих революционных отрядов массовыми экзекуциями, приказывая беспощадно уничтожать всех офицеров, юнкеров, священников, монархистов и прочих «врагов революции» в занятых городах. Повсюду, от губерний и краев до городских районов, деревень, заводов, фабрик и даже домов, для проведения решений новой власти создавались особые комитеты бедноты (*комбеды*), готовые исполнить любой приказ комиссаров. Кроме неимущих пролетариев к большевикам шли разночинные молодые мечтатели-энтузиасты, шли энергичные и беспринципные карьеристы, шли чудаки и непризнанные таланты, шли в поисках удачи наемники, авантюристы и уголовники. В их ряды становились «красные» прибалты и финны, безвозвратно вытесненные из собственных стран после скоротечных, но кровавых гражданских войн. Их союзниками были местечковые евреи, пережившие гонения и погромы и готовые ответить тем же своим обидчикам. Вместе они составляли грозную разрушительную силу, призванную

окончательно сокрушить Россию, превратив одну шестую земной суши в плацдарм для победного шествия мирового коммунистического *Интернационала*:

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,—
Кто был ничем, тот станет всем.

За несколько дней до бойни в Екатеринбурге в Москве на только что открывшемся V Съезде Советов против большевиков выступили их последние союзники – левые эсеры, возмущенные зверствами деревенских комбедов и позорным Брестским миром. Во время работы Съезда вооруженные отряды эсеров попытались захватить в заложники руководителей ВКП (б), а лихой эсеровский боевик Яков Блюмкин застрелил германского посла Мирбаха. В это же время в Симбирске неистовый краском Муравьев отдал своим бойцам приказ идти на Москву и «свергнуть диктатуру большевиков». Московский мятеж был подавлен латышскими стрелками, Муравьев же, попав в засаду, застрелился. Но в Ярославле и Рыбинске вспыхнули новые эсеровские мятежи, а в столицах левые эсеры перешли к тактике террора, хорошо знакомой им по былому революционному подполью. В один день, 30 августа, в Москве на рабочем митинге был тяжело ранен Ленин, а в Петрограде – убит председатель ПетроЧК Моисей Урицкий. В ответ большевики, оставшиеся единственной партией, представленной в Совнаркоме, объявили собственный ***красный террор***.

Все это время Гумилев, как и большинство петроградцев, был удален от политической жизни. Погрузившись в перевод «Гильгамеша», он перелагал русскими стихами самый древний – до Библии! – рассказ о Всемирном потопе:

Шесть дней, шесть ночей бродят ветер и воды,
ураган владеет землею.
При начале седьмого дня ураган спадает,
Он, который сражался, подобно войску;
Море утишилось, ветер улегся, потоп прекратился.
Я на море взглянул: голос не слышен,
Все человечество стало грязью,
Выше кровель легло болото!

5 августа Гумилев вручил Ахматовой полученную им в

Отделе записей браков справку о расторжении семейного союза. Через три дня, так же буднично, в том же советском «отделе записей» состоялась регистрация его второго, *гражданского* брака с Анной Энгельгардт. Необходимой юридической *«свидетельницей»* бракосочетания была сумрачная Ольга Арбенина. «Аня просила меня прийти к ней, – вспоминала Арбенина, – даже приглашения (или оповещения) о свадьбе были отпечатаны по всем правилам, и она уговаривала: они оба так хотят, чтобы я пришла, – если бы я не пошла, она бы вообразила, что я ревную, а этого я не хотела показать, да, говоря правду, я была спокойна – шпоры не позванивали, шпага не ударялась о плиты, и нельзя было дотронуться до «святого брелка» – Георгия – на его груди. Он был в штатском, по-прежнему бритоголовый, с насмешливой маской на своем обжигающе-некрасивом лице. Тот – и не тот. Главное – время было другое! Проклятое время!»

На скромнейшем семейном торжестве («Что ели, пили – не помню», – признается Арбенина) счастливый жених развлекал собравшихся рассказами об Англии, о встрече с Честертоном под немецкими бомбами, пытался балагурить:

– Посмотрите: вот Аня – настоящая кроткая восточная женщина, едущая на верблюде за спиной своего повелителя! А рядом с ней Оля – да это же валькирия, которая только и знает, что бороться, отбиваться, повелевать…

Под конец затеяли гадать на Библии. Арбенина, спотыкаясь на церковнославянской вязи, прочла:

И пои́мши Са́ра жена́ Авра́мля А́гарь Еги́птяныню рабу́ свою́, по десяти́ лѣ̀тѣхъ вселе́нія Авра́мля въ земли́ Ханаа́ни, даде́ ю́ въ жену́ Авра́му му́жу своему́[480].

Гумилев никак не мог уняться.

– Ну вот, оказывается, я ошибся! Оля, оказывается, никакая не валькирия, а страстная наложница Агарь! В таком случае, дорогая, ты, как благоразумная Сарра, должна ввести ее сегодня ночью в мою кочевую палатку и оставить вместо себя!..

– Коля с ума сошел! – конфузливо смеялась Энгельгардт.

Побледневшая Арбенина растерянно бормотала что-то вроде *«она войдет в твою палатку, Авраам…»*, потом заторопилась и покинула квартиру на Ивановской так поспешно, словно бежала из пещеры людоеда.

Новобрачным предстояло совершить свадебное путешествие… в Бежецк (иные маршруты, по понятным причинам, не рассматривались). Увы! Даже эта дачная поездка в близкую Тверскую губернию продолжалась недолго: в двадцатых числах августа Гумилев с юной женой, матерью и сыном срочно вернулся в Петроград – при смерти находился старший брат

Дмитрий.

Кавалер боевых орденов св. Анны 4-й степени с надписью «за храбрость», св. Анны 3-й степеней с мечами, св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом и св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом поручик 7-го Финляндского полка Дмитрий Гумилев в августе 1916 года был тяжело ранен и контужен. Через полгода самоотверженная забота жены и мастерство петроградских докторов вернули его к жизни, но – нестроевым инвалидом, попавшим «для письменных занятий» в канцелярию Военно-Санитарного управления. К лету 1918-го Дмитрий окончательно сдал и слег. Родные были вынуждены постоянно дежурить у его постели, и, в конце концов, Гумилев перевез умирающего больного к себе на Ивановскую. Казалось, губительные силы, разгулявшиеся в России, занялись попутно и его семьей – незадолго до того в припадке буйного помешательства скончалась племянница Маруся Сверчкова, пережившая в августе 1917 года кровавый погром «буржуев», устроенный в Царском Селе солдатами краскома Муравьева, оставившего по себе страшную память. Другой племянник, Коля-маленький, верный спутник в африканских странствиях, служивший теперь в Бежецком краеведческом музее, был тоже не жилец – после германской газовой атаки он страдал легкими и постоянно кашлял кровью.

В сентябре Гумилев оказался в отчаянном положении. На его полном иждивении в доме на Ивановской жили теперь жена, мать, сын, больной брат и невестка. А Петроград уже накрывала первая волна «красного террора». Убийца Урицкого поэт Леонид Канегиссер (добрый знакомый Гумилева по литературным собраниям в «Северных записках» Софьи Чацкиной) был схвачен сразу после покушения. Расстреливать его чекисты не торопились, надеясь на признательные показания о руководителях эсеровского подполья[481]. Однако «за Урицкого» уже в первых числах сентября было уничтожено без суда 512 «контрреволюционеров и белогвардейцев» из числа заключенных в петроградских застенках ВЧК. В Кронштадте на тюремной перекличке уводили на казнь каждого десятого. Поскольку немедленно умертвить расстрелянием такое количество людей не представлялось возможным, часть жертв, связав попарно колючей проволокой, затопили в ветхих баржах. Списки казненных на фоне лозунгов *«За каждого нашего вождя – тысяча ваших голов!»* и *«Они убивают личностей – мы убьем классы»* публиковала петроградская «Красная газета». Бывший «сатириконовский» поэт Василий Князев, примеряя на себя новое революционное амплуа, писал:

Клянемся на трупе холодном
Свой грозный свершить приговор —
Отмщенье злодеям народным!
Да здравствует ***красный террор***!

Красный террор стал завершающим этапом в установлении в РСФСР режима *военного коммунизма*. К осени 1918 года подходило к концу искоренение частной собственности – в пользу Советов были конфискованы не только крупные и средние промышленные предприятия, транспорт, недвижимость, но и продуктовые «излишки» в крестьянских хозяйствах. Зажиточные крестьяне пытались прятать свой хлеб от вооруженных *продотрядов*, городские же «буржуи» оказались ограбленными до нитки. Уполномоченные домовых комитетов бедноты (*домкобедов*) регулярно обыскивали квартиры, изымая золото, наличные деньги и любые «предметы роскоши». Но деньги и драгоценности для бывших владельцев и так значили немного, поскольку частная торговля была официально запрещена. Уличные рынки существовали нелегально – во время постоянных облав вместе с торговцами краденым и спекулянтами-мешочниками теряли последнее и голодающие горожане, распродающие остатки имущества. Основным источником существования стали продуктовые пайки, которые распределялись по *классовому принципу*. Низшую категорию составляли представители «нетрудовых классов», в том числе – «лица свободных профессий с семьями». Писатели, ученые, артисты, музыканты, художники были обречены на жалкое прозябание. Впрочем, недовольны результатами коммунистического распределения были все пайковые категории – за исключением советских *ответственных работников*, счастливых обладателей весьма тучного *спецпайка*[482].

Террор, таким образом, должен был парализовать возможных внутренних бунтовщиков. «Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против Советов, – инструктировали подчиненных руководители ВЧК. – Первый вопрос, который вы должны ему предложить, – к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора». По Петрограду поползли жуткие слухи, что тела казненных в *чрезвычайке* ввиду непосильной загруженности похоронных команд отдают теперь «на утилизацию» в городской зоопарк – хищникам.

Ежедневный страх за себя и близких, голод, холод оказывали губительное воздействие на людей, у которых оставалась лишь одна забота – выжить. Мир сузился до границ собственного дома и прилегающих к нему кварталов. С наступлением ранних сумерек городской транспорт замирал, а на улицы, лишенные освещения, опускался мрак. Петроград и окрестные губернии были превращены теперь в особую область – *Северную коммуну*, где безраздельно царствовал жестокий диктатор Григорий Зиновьев, фанатик-коммунист, доводивший своими указаниями и без того драконовские меры Совнаркома до безысходного зверства. В первые дни террора он призывал рабочих «расправляться с интеллигенцией, по-своему, прямо на улице». Его урезонили, разъяснив, что отряды «красных погромщиков» наверняка начнут не с Академии Наук и университета, а с собственных зиновьевских хором в гостинице «Астория». Но Зиновьев не успокаивался:

– ЦАРСТВУ НАШЕМУ НЕ БУДЕТ КОНЦА!

В своей «коммуне» Зиновьев завел порядки осажденной крепости. Все оппозиционные газеты и журналы были закрыты, деятельность городских издательств прекращена («Гильгамеш», вышедший в самый канун «красного террора», оказался последней книжкой «Гиперборея», а «Отравленная туника» так и осталась неизданной). Из внешнего мира в Петроград поступала только та информация, которая проходила цензурную фильтрацию «Правды», «Известий», «Петроградской правды», «Красной газеты», «Вооруженного народа» и «Северной коммуны» – столичных и местных советских «официозов». Досужих болтунов чекисты выявляли как вражеских агитаторов, вербуя повсюду множество осведомителей-*сексотов* (секретных сотрудников). Зато во всех учреждениях, на заводах и в школах проводились обязательные *политинформации* и *политбеседы*, а по воскресеньям устраивались общегородские митинги, где выступали советские и партийные *активисты*:

– Из тьмы небытия, распятый капиталом на кресте жестокой войны, казнимый в веках истории всеми существующими в мире пытками и мучениями – пролетариат восстал в Европе, как в России, и поднял над всем миром алый стяг борьбы за освобождение!

В ноябре, в самую годовщину ленинского переворота, в Германии тоже вспыхнула революция, подобная российской. Германские войска на французском фронте дрогнули и начали отступать. Кайзер Вильгельм II бежал в нейтральную Голландию и там отрекся от имперского и прусского престолов. К этому времени в Австро-Венгрии и Турции уже хозяйничали войска

союзников. 10 ноября Берлин капитулировал перед Антантой. Мировая война завершилась, но большевики говорили о *начале Мировой революции* – в германской столице шли первые столкновения между социал-демократами и коммунистами из Spartakusbund-а[483] Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Гражданские волнения прокатились и по другим городам разоренной войной Европы.

– Республика в Австрии и Венгрии станет совершившимся фактом в ближайшие дни, – пророчествовал Зиновьев 7 ноября на торжественном заседании в Смольном институте, превращенном в штаб Северной коммуны. – Власть перейдет и в Вене, и в Будапеште, и в Праге к Советам рабочих и солдатских депутатов. В короткое время из Австрии революция перекинется в Италию. Близко, близко время, когда в Милане и в Риме мы увидим Советы. Триумф рабочего класса Германии неотразим. И когда окончательно взовьется красный флаг над Берлином, это будет сигнал, обозначающий, что недалек тот час, когда этот же красный флаг поднимется и над ратушей Парижа… Возможно, правда, что английский капитал просуществует несколько лет рядом с социалистическим режимом в других странах Европы. Но с того момента, когда победа социализма в России, Австрии, Германии, Франции и Италии станет фактом, с того момента английский капитализм будет доживать последние месяцы своей собачьей старости!

Заседание в Смольном стало началом революционных торжеств, которые проводились в Петрограде с невероятной пышностью. По идее наркома Луначарского, первый из трех юбилейных дней посвящался ***борьбе*** пролетариата, второй – его ***победе***, третий же должен был продемонстрировать ***упоение победой***. Поэтому 7 ноября состоялись торжественное шествие по городу краснознаменных рабочих колонн в сопровождении грузовиков, из которых уличных зевак осыпали «дождем революционной литературы», открытие памятника Карлу Марксу и огненное шоу-фейерверк, устроенное вечером на Неве эскадрой Балтийского флота. 8-го праздник переместился на Благовещенскую площадь, где перед Николаевским дворцом был установлен гигантский триумфальный монумент Михаила Блоха, изображающий рабочего-металлиста, а сам дворец стал в этот день профсоюзным Дворцом Труда. 9-го же ноября центральные городские улицы заполнили 50 тысяч воспитанников заводских детских организаций, бесплатных начальных школ и детских приютов. Под руководством девушек-работниц в красных косынках юные пролетарии с пением «Интернационала» прошли на Дворцовую площадь, где в Зимнем дворце для них были

устроены живые картины, концерты и раздача сдобных булок и конфет.

В парках выступали «пролетарские хоры», все городские театры давали бесплатные представления для рабочих, в кинематографах демонстрировался фильм *«Вселение в буржуазные квартиры»* по сценарию Луначарского. ПетроЧК провело специальную праздничную облаву, бросив в тюрьмы еще несколько сотен «врагов народа». Помимо того в городском центре были уничтожены или задрапированы красными полотнищами и декоративными панелями все архитектурные символы «старого режима», а улицы и площади получили новые названия. Невский стал *«Проспектом 25-го октября»*, Знаменская площадь – *«Площадью Восстания»*, Благовещенская – *«Площадью Труда»*, Суворовский проспект – *«Советским проспектом»*, к которому примыкали восемь *«Советских улиц»* вместо прежних Рождественских. Именем покойного Урицкого назывались теперь Дворцовая площадь, Таврический дворец и Таврический сад!

Ивановская улица, на которой жил Гумилев, превратилась в эти дни в *«Социалистическую»*. Вряд ли его порадовали ноябрьские торжества. «Он большевиком никогда не был; отрицал коммунизм и горевал об участи родины, попавших в обезьяньи лапы кремлевских властителей, – вспоминал поэт Соломон Познер. – Его жизнь при большевиках была трагически тяжела. Он голодал и мерз от холода, но мужественно переносил все лишения. Ходил на Малышевский рынок и продавал последний галстук, занимал у знакомых по полену…» О *«розничной продаже домашних вещей»* как об основном роде занятий Гумилев и сам упоминал в одной из тогдашних анкет. Тем не менее именно предъюбилейная активность Луначарского помогла Гумилеву (вероятно, по линии СДХЛ) получить от наркомпроса первый *советский* «творческий заказ». Речь шла о занимательных пьесах для репертуара детских театров – праздничной новинки советского *культпросвета*.

Культурно-просветительская работа среди «народных масс» была объявлена вождями Совнаркома одной из важнейших для коммунистов на начальном этапе Мировой Революции. Основное внимание «красных просветителей», как легко понять, было обращено на самые доступные для «масс» зрелищные действа – театральные представления, кинематограф, уличные карнавалы и т. п. При Комиссариате просвещения работал особый Театральный отдел (ТЕО), столичные секции которого возглавили Ольга Каменева[484], супруга нового московского градоначальника, и примадонна МХТ Мария Андреева, гражданская жена Максима Горького. Главным теоретиком

зрелищной пропаганды был сам Луначарский, усиленно рекомендовавший сотрудникам ТЕО сосредоточить основные усилия на молодежи – вплоть до самых юных зрителей. «Детское действо» происходило на кумачовых улицах Петрограда недаром! «Пускай Искусство найдет в своей бездонной сокровищнице дивные игрушки для детей и щедро сыплет их на детские сады, на площадки, в школы – всюду, где зеленеет новое человеческое поколение», – писал Луначарский. Ключевым в деятельности ТЕО он считал «вопрос о создании *специального театра для детей*, где законченными художниками-артистами давались бы в прекрасной форме детские пьесы, рассчитанные в особенности на наиболее нежные возрасты, для которых малодоступна даже наиболее приспособленная часть репертуара нормальных театров»[485].

Гумилев выполнил заказ в рекордные сроки. 21 октября пьеса в трех действиях для детей *«Дерево превращений»* была сдана в петроградскую секцию ТЕО и после согласования с Москвой рекомендована к постановке[486]. Действие гумилевской сказки происходило в волшебной далекой Индии, где «ангелы парят, где демоны повсюду бродят, и по-людскому говорят», и где все знают, что через миллион миллионов лет, когда наша земля рассыплется и вновь соберется, демоны превратятся в зверей, звери – в людей, а люди – в ангелов. Однако назначенный срок в «миллион миллионов лет» оказался вдруг нарушен, и превращения начались внезапно и для демонов, и для животных, и для людей… Детская пьеса вышла смешной и изящной, зло, как и полагается, было наказано, а добро торжествовало. Но, написанная в самый разгар «красного террора», она даже в буффонадных юмористических сценах обнаруживает «взрослый» подтекст.

– Скажи мне, добрый человек, – неожиданно спрашивает Змея, превратившаяся в Судью, благородного Факира, – ты не обокрал прошлой ночью храм?

Факир. Нет.

Судья. Ну, я рад, что ты этого не сделал. А то бы пришлось тебя сжечь… Но, может быть, ты вместо этого жарил и ел маленьких детей?

Факир. Никогда.

Судья. Отлично. Значит, тебя можно не четвертовать. А подписи ты подделывал?

Факир. Тоже никогда.

Судья. Я тебе верю… И, снисходя к твоему почтенному возрасту, я приговариваю тебя к наименьшей мере наказания, к повешенью, – заметь, на твоем же собственном дереве. Не благодари меня. С меня довольно сознания исполненного долга.

«Глупые и злые люди! – заключает Факир. – Лучше бы было вам остаться зверями в вашем прежнем образе, чем быть зверями в человеческих одеждах». Индийская волшебная история по-особому звучала в стране, где кухарку звали управлять государством, а авиаконструктора Сикорского, инженера Зворыкина и философа Бердяева изгоняли за ненадобностью. По крайней мере, сам Гумилев относился к своей детской сказке очень серьезно.

– А Вы по-прежнему считаете себя *«носителем мысли великой»*? – спросила его в годы военного коммунизма одна из поклонниц.

– О, да, несомненно, – ответил он. – Да вот, например…

И рассказал сюжет «Дерева превращений».

III

Нарком Луначарский. «Институт Живого Слова». Лекторский дебют. Издательство «Всемирная литература». Максим Горький. «Дом Литераторов». От эпохи воинов к эпохе поэтов. «Арион». Новогодний маскарад на Васильевском.

По всей вероятности, Гумилев встречался с Луначарским в том самом, многократно описанном мемуаристами «наркомпросовском» кабинете на первом этаже Зимнего дворца, где добрейший Анатолий Васильевич принимал тревожной осенью 1918 года бесчисленных просителей, стараясь, по-возможности, угодить каждому. Подобно утопистам-просветителям XVIII века, он был уверен в том, что при превращении искусства и науки в достояние всего народа коммунистический рай настанет помимо всякого революционного террора, сам собой. Поэтому если Зиновьев призывал расправляться с интеллигентами прямо на улицах, то Луначарский, напротив, стремился привлечь их к своим грандиозным проектам культурно-массовой работы, некоторые из которых напоминали фантастические романы Герберта Уэллса. Так, например, Луначарский планировал в ближайшем будущем радикально изменить… речь россиян. Художественное владение словом виделось ему самым действенным средством для воспитания коммунистического коллективизма, тогда как косноязычие, разделяющее людей стеной непонимания, оказывалось порождением классового угнетения и неравенства. При поддержке Луначарского педагог-театровед В. Н. Всеволодский-Гернгросс уже составил план специального *Института Живого Слова* для всестороннего изучения речи и подготовки специалистов, призванных превратить всю разноголосую крестьянскую, рабочую и мещанскую Россию в страну, изъясняющуюся по правилам театральной декламации и высокого ораторского мастерства. Сам нарком с увлечением готовился читать в новом институте курс эстетики и дал понять изумленному Гумилеву, что был бы рад видеть его в числе сотрудников и коллег.

– Луначарский, – рассказывал Гумилев, – предложил мне читать курс поэзии и вести практические занятия в «Живом слове». Я сейчас же с радостью согласился. Еще бы! Исполнилась моя давнишняя мечта – формировать не только настоящих читателей, но, может быть, даже и настоящих поэтов. Я вернулся от него в самом счастливом настроении.

На нескольких организационных собраниях в октябре – ноябре Гумилев мог оценить размах затеи Луначарского и Всеволодского. Новый институт занял помещения Тенишевского училища. Научно-лингвистическое направление изучения речи тут представляли профессоры Щерба и Якубинский, естественно-физиологическое – известный логопед Д. В. Фельдберг, детский психолог П. О. Эфрусси и медик-ларинголог М. Б. Богданов-Березовский, организовавшие опытную клинику с медпунктом по лечению нарушений речи и слуха. Стиховед Сергей Берштейн и телемеханик Коваленков взялись за создание отофонетической лаборатории для записи голосов на фонограф. Помимо того при институте создавался свой учебный театр. Правда, литературным направлением в дирекции ведал заместитель Всеволодского, поэт-*иннормист* (нечто среднее между символизмом и футуризмом и очень революционное) Константин Эрберг, встретивший нового сотрудника с подозрением:

– Если у Гумилева и было в жизни что-то «красное», то только – гусарские лосины!

Зато театральную часть возглавлял актер Юрьев, добрый знакомый по «Бродячей собаке». В число преподавателей нового учебного заведения вошли литературоведы Борис Эйхенбаум и Юрий Тынянов, критики Александр Горнфельд и Виктор Шкловский, философ Лапшин, экономист и социолог Питирим Сорокин, музыковеды Б. В. Асафьев и Надежда Брюсова (сестра поэта). На общем собрании 15 ноября, открывая работу Института Живого Слова, Луначарский с жаром говорил о грядущей новой эпохе в истории языка, эпохе ораторов и поэтов, способных передавать свои чувства, убеждать, рассеивать сомнения и предрассудки и даже преображать с помощью слова весь человеческий организм:

– Социализм является идеальной почвой для развития речевых навыков такого рода, ибо он стремится всячески поощрять общение в коллективе и положить конец буржуазному индивидуализму.

Через неделю в зале Тенишевского театра прошла первая открытая лекция курса «Теории поэзии».

– Господа, – объявил Гумилев, – я предполагаю, что большинство из вас считают себя поэтами. Но я боюсь, что, прослушав мою лекцию, вы сильно поколеблетесь в этой своей уверенности. Поэзия совсем не то, что вы думаете, и то, что вы пишете и считаете стихами, вряд ли имеет к ней хоть отдаленное отношение. Поэзия такая же наука, как, скажем, математика. Не только нельзя (за редчайшим исключением гениев, которые, конечно, не в счет) стать поэтом, не изучив ее, но нельзя даже

быть понимающим читателем, умеющим ценить стихи…

Возвышаясь над лекторским столиком у самой рампы, он был величественно-неподвижен – шевелились только бледные губы на застывшем лице. Аудитория оробела, тем более что грозный лектор позволил себе получасовое опоздание («Какая наглость, какое неуважение к слушателям! Ни один профессор не посмел бы…»). А Гумилев, целую неделю зубривший наизусть текст выступления, со смехом вспоминал потом, что на тенишевской эстраде с ним едва не случился столбняк от боязни споткнуться, упасть или сесть мимо стула на пол:

– Это я из чувства самосохранения так перегнул палку!

Другой «советской службой» Гумилева осенью 1918 года стала работа в издательстве Максима Горького *«Всемирная литература»*, куда Гумилева зазвал Михаил Лозинский. Это было необычное издательство. «Горького, – писал Корней Чуковский, – захватила широкая мысль: дать новому, советскому читателю самые лучшие книги, какие написаны на нашей планете самими лучшими авторами, чтобы этот новый читатель мог изучать мировую словесность по самым лучшим образцам». Планетарный размах представленного в Комиссариат просвещения проекта импонировал фантазеру Луначарскому, который дружил с Горьким со времен революционного подполья 1905 года и эмиграции. Но большинство петроградских писателей и филологов встретили известие о нарождавшемся книгоиздательском монстре без всякого энтузиазма.

– Трудно починить водопровод, трудно построить дом – но очень легко – Вавилонскую башню, – раздраженно иронизировали они. – И мы строим Вавилонскую башню: издадим Пантеон Литературы… Сто томов!!!

Тем не менее назначенный директором *«Всемирки»* журналист Александр Тихонов-Серебров[487] в сентябре – октябре бойко вербовал будущих сотрудников, приходивших на «переговоры» в горьковскую резиденцию на углу Невского и Караванной. Если Луначарского – ценя наркома за защиту и покровительство – в этих кругах все-таки считали восторженным придурком, то к *«Большому Максиму»* прислушивались, хотя и огрызаясь, все без исключения. Вот уже два десятилетия Горький упрямо вел собственную линию в российской общественности. Духовный наследник Петра Великого, он ратовал за новую *культурную революцию* в России и ненавидел патриархальный крестьянский и мещанский жизненный уклад, который считал выражением так и не побежденной Петром ленивой, грубой и тупой «азиатчины». Его идеалом был общественный тип, близкий к американскому self-made-man'у[488] – энергичный, деятельный и предприимчивый

интеллектуал-практик, чуткий к научно-техническому прогрессу. Зарождение подобного народного типа он наблюдал в рабочей среде, тесно связанной в крупных промышленных центрах с научной и технической элитой. Горький примкнул к марксистам и некоторое время состоял в ленинской «большевистской» группе социал-демократов. Однако вместо культурной революции, большевики устроили в 1917 году революцию социальную, отдав любимую Горьким разночинную интеллигенцию на растерзание городской и деревенской черни. Горький немедленно встал в оппозицию, демонстративно не продлевал членство в ВКП (б) и шельмовал в своей газете «Новая Жизнь» разрушительные деяния московских и петроградских комиссаров. Газету запретили, но самого Горького не тронули: художественный гений и мировая слава сделали его неприкасаемым. Длинный, как жердь, сутулый, свирепый, постоянно простуженный и харкающий кровью из разорванного после юношеской попытки самоубийства легкого, он являлся к Зиновьеву и его опричникам, скандалил, вырывая из «чрезвычайки» очередную жертву, строчил бесконечные протесты и петиции, доходя до самого Ленина, в письмах к которому в выражениях не стеснялся:

– Для меня богатство страны, сила народа выражается в количестве и качестве ее интеллектуальных сил. Революция имеет смысл только тогда, когда она способствует росту и развитию этих сил… Мы, спасая свои шкуры, режем голову народа, уничтожаем его мозг. Очевидно – у нас нет надежды победить и нет мужества с честью погибнуть, если мы прибегаем к такому варварскому и позорному приему, каким я считаю истребление научных сил страны… Я становлюсь на сторону этих людей и предпочитаю арест и тюремное заключение участию – хотя бы и молчаливому – в истреблении лучших, ценнейших сил русского народа. Для меня стало вполне ясно, что «красные» – такие же враги народа, как и «белые». Лично я, разумеется, предпочитаю быть уничтоженным «белыми», но «красные» тоже не товарищи мне.

За год, прошедший после ленинского «октября», Горький осунулся, почернел и высох, но сохранял в себе неукротимую отчаянную энергию, которая, отражаясь в чертах и жестах, преображала его, делая похожим то ли на исступленного средневекового еретика, то ли на раскольника, увлеченного идеей огненной жертвы.

– Помяните мое слово, Горький пойдет в монахи, – убеждал Гумилев знакомых. – В нем есть религиозный дух. Он так говорит о литературе, что я подумал: ого!

В коммунистические перспективы массовой культурной

работы среди русского народа Горький не верил:

– Это – среда полудиких людей.

По всей вероятности, именно беспросветный пессимизм, отличавший взгляд Горького на соотечественников en masse[489], и внушил ему парадоксальную идею: если тупые и ленивые россияне сами никогда не выучат чужие языки, то нужно ***перевести на русский язык все многоязычное духовное наследие человечества*** – авось хоть тогда что-то прочитают и поймут… Идея, конечно, была безумной, невероятной – но и время было не из простых. Происходящим во «Всемирной литературе» Гумилев заинтересовался не меньше, чем занятиями в «Живом слове». «На заседании была у меня жаркая схватка с Гумилевым, – взволнованно записывал в дневнике Корней Чуковский. – Этот даровитый ремесленник вздумал составлять *Правила для переводчиков*. По-моему, таких правил нет. Какие в литературе правила – один переводчик *сочиняет*, и выходит отлично, а другой и ритм дает, и все, – а нет, не шевелит. Какие же правила? А он – рассердился и стал кричать. Впрочем, он занятный, и я его люблю». На том дело не успокоилось. Через две недели «занятный ремесленник» явился на редколлегию с текстом *«Декларации переводчика»* – и Чуковский 24 ноября вновь с отвращением описывает идиота Гумилева с его «великолепными, но неисполнимыми» проектами и старого юрода Горького, который с «застенчиво-умиленно-восторженной гримасой» вслед за Гумилевым стал просить-умолять переводчиков переводить честно и талантливо:

– Потому что мы держим экзамен… да, да, экзамен… Наша программа будет послана в Италию, во Францию знаменитым писателям, в журналы – и надо, чтобы все было хорошо. Именно потому, что теперь эпоха разрушения, развала, – мы должны созидать… Я именно и потому и взял это дело в свои руки, хотя, конечно, с моей стороны не будет рисовкой, если я скажу, что знаю его меньше, чем каждый из вас…

Чуковскому ничего не оставалось, как присоединиться к этим двум безумным, чтобы внести хоть какой-нибудь трезвый элемент в деятельность ненормального издательства.

И «Всемирка», и «Живое слово» могли предложить сотрудникам самое скудное «пайковое» жалованье. Тем не менее вместе обе новые службы Гумилева позволили его обширному семейству к зиме худо-бедно сводить концы с концами. К тому же удалось получить заказ на «географию в стихах» от Зиновия Гржебина – талантливого литературного пройдохи, постоянно вьющегося около Горького и затевавшего при «Всемирной литературе» какое-то собственное издательство. Подспорьем в

выживании было и участие Гумилева в проектах СДХЛ, хотя в условиях военного коммунизма деятельность независимых профессиональных союзов превращалась в бюрократическую фикцию. Куда эффективней оказались кассы взаимопомощи. Так кооперативная столовая «Союза Журналистов» Абрама Кауфмана превратилась в эти дни в общегородской клуб литераторов и ученых. За небольшой ежемесячный взнос тут можно было получить не только сносный обед, но и рабочий досуг с «кооперативными» же светом, теплом, письменными принадлежностями и даже библиотекой, которую журналист-библиофил Виктор Ирецкий составлял из неприкаянных после бегства или гибели владельцев частных книжных коллекций. При помощи «Общества политкаторжан» старик Кауфман, ветеран былинных либеральных газет прошлого столетия, умудрился даже получить в Смольном официальное разрешение на клубную деятельность. Кооперативная «столовка» стала именоваться *«Домом Литераторов»* и заняла все помещения особняка на Бассейной улице.

Вероятно, не раз в эти дни Гумилев вспоминал свой весенний разговор с Георгием Ивановым. Буквально на глазах в гибнущем, разгромленном, охваченном смертным страхом «красном Петрограде» искусство из вольного художества превращалось в востребованное *трудовое ремесло*, способное *прокормить* – в самом прямом смысле этого слова. На общем фоне промышленного и хозяйственного упадка это проступало особенно ярко. Публика заполняла аудитории, библиотеки и концертные залы, демонстрируя невиданный в прежние благополучные годы интерес – как будто обещанное Луначарским коммунистическое «царство поэтов» и впрямь было уже при дверях. Но невиданно многолюдны были и православные храмы. В умножившихся и сплотившихся приходах говорили о таинственно возникшем в марте 1917 года, в страшные дни пленения Государя, новом, *Державном* богородичном чине. Тогда в подмосковном селе Коломенском, в подвале церкви Вознесения, помнящей еще первую русскую смуту, нашли, по указаниям странной крестьянки-паломницы, большую, почерневшую от времени икону, изображающую увенчанную российской императорской короной Богородицу на царском троне, с державой и скипетром в руках:

> Сама взяла Я скипетр и державу,
> Сама Я их вручу опять Царю,
> Дам царству русскому величие и славу,
> Всех окормлю, утешу, примирю[490].

Вспоминали и слова Государя, дошедшие как завет всему народу в последнем письме великой княгини Ольги из кровавого Екатеринбурга:

– Отец просит передать всем тем, кто Ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за Него, так как Он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, ***и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь…***

Умом еще мало кто понимал происходящее, но, повинуясь спасительному инстинкту, народное большинство неловко и слепо ринулось к духовному началу в своей жизни, пытаясь смириться со страшной мыслью, что дело идет уже не о сопротивлении оружием, не о хитроумных политических вождях или хищных в неумолимом трудолюбии магнатах – а об упрямом, жертвенном ***всеобщем ожидании*** – то ли на десять лет, то ли на пятьдесят, то ли на все восемьдесят два года – пока взявшая Россию под Свою руку Небесная Царица неведомыми путями сумеет провести страну по преисподним безднам двадцатого столетия. Гумилеву оставалось только удивляться, насколько точны были его акмеистические прогнозы.

– Поэзия и религия – две стороны одной и той же монеты, – объяснял он своим ученикам. – И та и другая требуют от человека духовной работы. Но не во имя практической цели, а во имя высшей, неизвестной им самим. Религия обращается к коллективу, поэзия всегда обращается к личности. Даже там, где поэт говорит с толпой, он говорит отдельно с каждым из толпы. Были времена воинов, времена купцов, времена авантюристов, а теперь наступает эпоха священников и поэтов, вернее – поэтов-священников, подобных легендарным кельтским друидам, духовным вождям народа –

Земля забудет обиды
Всех воинов, всех купцов,
И будут, как встарь, друиды
Учить с зеленых холмов,
И после стольких столетий,
Чье имя – горе и срам,
Народы станут, как дети,
И склонятся к их ногам!

Он продолжал самовластно свирепствовать в аудиториях

«Живого Слова». Одна из его «курсанток», миловидная Рада Попова, не выдержав издевательского разбора ее стихотворчества, демонстративно покинула литературную группу и распространяла потом по институту иронические эпиграммы:

Ни Гумилев, ни злая пресса
Не назовут меня талантом.
Я – маленькая поэтесса
С огромным бантом!

Но Гумилев был непреклонен. Теперь он твердо уверовал в свою великую поэтическую миссию и относился к ней с истовостью, подчас сбивавшей с толку. «Он меня пригласил к себе и встретил так, словно это было свидание двух монархов, – удивленно рассказывал о знакомстве с Гумилевым московский филолог-эрудит, автор блестящих «пушкинских» стихотворных стилизаций Владислав Ходасевич, приехавший в конце 1918 года в Петроград по делам «Всемирной Литературы». – В его торжественной учтивости было нечто столь неестественное, что сперва я подумал – не шутит ли он? Пришлось, однако, и мне взять примерно такой же тон: всякий другой был бы фамильярностью. В опустелом, голодном, пропахшем воблою Петербурге, оба голодные, исхудалые, в истрепанных пиджаках и дырявых штиблетах, среди нетопленого и неубранного кабинета, сидели мы и беседовали с непомерною важностью».

Но для молодого поколения литераторов Северной Коммуны, в отличие от московского скептика, торжественная строгость и серьезность их наставника вовсе не казались позой и бравадой. По свидетельству современника, едва появившись в «красном Петрограде», Гумилев «был чрезвычайно окружен, молодежь тянулась к нему со всех сторон, с восхищением подчиняясь деспотизму молодого мастера, владевшего философским камнем поэзии». А он, со своей стороны, как мог, укреплял их приверженность «святому ремеслу». Университетскому «Кружку поэтов» с его помощью в разгар «красного террора» даже удалось издать коллективный сборник стихов. Гумилев предложил назвать этот сборник *«Арион»* – в честь воспетого Пушкиным античного певца-мореплавателя, продолжавшего петь свои гимны среди бури и крушения. В компании молодых учеников на устроенном «арионовцами» домашнем маскараде Гумилев с Анной Николаевной встречал новый 1919 год. В чьей-то просторной съемной квартире, неподалеку от университетского городка, три десятка гостей, главным образом студентов, восторженно приветствовали супругов. Когда восторги утихли,

Гумилев начал читать старые и новые стихи. «Слушавшая молодежь – больше девушки, – вспоминал один из гостей, – относились к Гумилеву почти молитвенно. И, главное, мне и моим спутникам в наши 17–18 лет представлялось, что он принимал это преклонение как должное».

Необыкновенно похорошев, Анна Николаевна, более близкая по возрасту к слушателям-студентам, чем к мужу, с помощью булавок и безразмерного балахона, сооруженного из куска пестрой ткани, пыталась скрыть заметную полноту. Беременность она переносила легко и, наравне со всеми, под неистовое фортепиано носилась по комнатам, устраивая хороводы и игры. Предательские булавки посыпались, ткань, изображавшая юбку, стала разваливаться. «Подобрав ее на руку – как носят пальто – Энгельгардт спокойно вышла из круга. – «Я сейчас, не задержу». Нами это было расценено как великолепный жест. Она вышла из комнаты, не торопясь, и вернулась так же спокойно через минуту».

– *Я гимны прежние пою!* – провозглашал Гумилев пушкинские строки. – Это сказано раз навсегда, для всех войн, для всех революций, бывших и будущих. И я мечтаю о том, что, когда у нас появятся подлинные декламаторы стихотворений, они сумеют в этом отрывке подчеркнуть какими-то особыми средствами слово *«прежние»*… Как огонь, сколько его ни прижимай железной доской, всегда будет стремиться вверх и ни одной складки не останется на его языке, так и поэзия, несмотря ни на что, продолжает начатое и только из него создает новое.

IV

Революции в Европе и Гражданская война в России. «Принципы художественного перевода». Лекции в «Живом Слове». Неудачи «Всемирной литературы» и СДХЛ. Пролеткульт. Споры о «крушении гуманизма». Переезд на Преображенскую улицу и рождение дочери. Начало сражения за Петроград.

«Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, но 1919 был его страшней», – напишет Михаил Булгаков. Пока петроградцы, приноравливаясь к новому календарю, пытались праздновать то ли рождественские, то ли новогодние торжества, в Берлине шли жестокие бои между коммунистическими отрядами Spartakusbund-а и бойцами фрейкоров (добровольческих дружин) генералов Меркера и Густава Носке, верных германскому Временному правительству. Берлинские власти вполне усвоили уроки петроградского «ленинского Октября» и выступление спартаковцев было подавлено исключительно сурово. Карла Либкнехта разъяренные фрейкоровцы пристрелили прямо на улице, а изуродованное прикладами винтовок тело Розы Люксембург сбросили в Ландверский канал («Надо же кому-то быть кровавой собакой!» – прокомментировал случившееся Носке). Но едва потушенное в Берлине пламя коммунистического восстания перекинулось в Бремен и Мюнхен – там были провозглашены Бременская и Баварская социалистические республики. Коммунистам вновь устроили кровавую баню, однако в марте Советской республикой провозгласила себя Венгрия, отколовшаяся от разрушенной австрийской империи Габсбургов. Штабом всех этих возмущений была Москва, объединившая весной «красные» группировки стран послевоенного мира в единый политический фронт *Коммунистического Интернационала*:

Мы раздуваем пожар мировой…

Во главе *Коминтерна* Ленин поставил петроградского диктатора Григория Зиновьева, мечтавшего взорвать Европу изнутри, а секретарем-администратором у него вскоре обнаружился анархист Серж-Кибальчич, после многочисленных приключений пробравшийся из парижского Военного Комиссариата в Россию вслед за Гумилевым. Ориентировки из Северной Коммуны начали поступать в два десятка стран мира,

прежде всего – в Венгрию, где при помощи Коминтерна формировались части Красной гвардии. Венгерские красногвардейцы-интернационалисты выступили против Румынии и Чехословакии и в июне провозгласили в захваченном городе Прешове Словацкую Советскую Республику. Навстречу зарубежным коммунарам шла Красная Армия, покоряя освобождавшиеся от немецкой оккупации западные территории. Лидеры Антанты, ошеломленные неожиданным натиском Ленина, предприняли ответные военные меры против московских большевиков. Наступление французов из Одессы растворилось в общей мясорубке грандиозной распри, затеянной на Украине вольными атаманами Данилой Зеленым, Нестором Махно и Никифором Григорьевым, каждый из которых имел свои представления о «народном социализме». Но английский флот бил на Балтике красные корабли, загнал их в Финский залив, а балтийского комиссара Федора Раскольникова захватил в плен. На суше англичан поддерживали войска Временного правительства Эстляндии и русский добровольческий Северный корпус полковника Антона Дзерожинского. В мае – июне 1919 года за ними был уже весь Северо-Запад с Островом, Псковом, Нарвой, и линия фронта придвинулась к Ропше, Гатчине и Красному Селу. Петроград оказался на осадном положении.

Крах европейских революций[491] и интервенция Антанты довели гражданское противостояние в России до крайней степени ожесточения. Большевики, переходя от наступления к глухой обороне, драконовскими мерами мобилизовали подчиненное им население, мало заботясь о физическом выживании даже «революционного пролетариата», чьим именем правили в стране. В Петрограде всю зиму и весну свирепствовал голод, ужасы которого начинали постепенно затмевать кровавые кошмары «чрезвычайки». В один из январских дней Гумилев обнаружил на «Социалистической» улице лежавшего в голодном обмороке Корнея Чуковского. «Очнулся я в великолепной постели, куда, как потом оказалось, приволок меня Николай Степанович, вышедший встретить меня у лестницы черного хода (парадные были везде заколочены), – вспоминал Чуковский. – Едва я пришел в себя, он с обычным своим импозантным и торжественным видом внес в спальню старинное, расписанное матовым золотом лазурное блюдо, достойное красоваться в музее. На блюде был тончайший, почти сквозной, как папиросная бумага, – не ломтик, но скорее лепесток серо-бурого, глиноподобного хлеба, величайшая драгоценность тогдашней зимы».

Пока Чуковский приходил в себя, Гумилев развлекал гостя чтением наизусть сцен из «Гондлы», а затем оба занялись

редактированием совместного учебного пособия *«Принципы художественного перевода»*. Чуковский совершенно изменил взгляд на идеи «талантливого ремесленника» и так увлекся теорией перевода литературного текста, что хлопотал об открытии при «Всемирке» особой студии для подготовки необходимых издательству кадров профессиональных переводчиков (и – попутно – для повышения образования начинающих поэтов и беллетристов). Тем не менее, зайдя на одно из занятий Гумилева с литературной группой «Живого Слова», Чуковский вновь недоумевал:

– Он изготовил около десятка таблиц, которые его слушатели были обязаны вызубрить: таблицы рифм, таблицы сюжетов, таблицы эпитетов! От всего этого слегка веяло средневековыми догмами, но это-то и нравилось слушателям…

Гумилев, действительно, к изумлению коллег и учеников, приносил на каждую лекцию множество собственноручно изготовленных красочных «наглядных пособий» и схем. Открыв в себе педагогическое дарование, он был неистощим на методические выдумки:

– У каждого народа есть свои любимые рифмы, которые выявляют его характерные черты. Вот, например, рифмовка к слову *«любовь»*. У веселых, жизнерадостных французов *«amour»* рифмуется с *«jour»* (день). Англичане возвышенны: они рифмуют *«love»* и *«above»* (наверху, свыше). Тяжеловатые немцы нуждаются для проявления любви в сильной энергии: *«Liebe»* – *«Zwiebel»* (луковица). Русская любовь – не эротическая, родственная и кровная. Поэтому у нас рифмуется *«кровь»* – *«любовь»*.

В коридоре Павловского института, куда переехали курсанты «Живого Слова», томилась – зарок есть зарок! – гордая Рада Попова («с огромным бантом»). Гумилев, усталый после лекции, наткнулся на нее на лестнице:

– Почему Вы больше не приходите на мои занятия? Непременно приходите в следующий четверг в четыре часа. Мы будем переделывать ямбы на амфибрахии. Вы знаете, что такое амфибрахии?

Попова испуганно помотала головой.

– А знать необходимо… Вас Наташа зовут? – подобрел Гумилев.

– Нет, совсем нет! – выпалила она и торопливо побежала вниз по лестнице, перепрыгивая через ступени.

– Так в четверг. Не забудьте, в четыре. Я Вас жду, – донесся сверху голос Гумилева.

«Принципы художественного перевода» Гумилева и Чуковского вышли в феврале, но открывшиеся в помещениях

«Всемирки» на углу Невского (называть его «Проспектом 25-го октября» язык не поворачивался) и Караванной курсы переводчиков прервались, едва начавшись. Из-за неожиданного конфликта Горького с Литературно-издательским отделом (ЛИО) Комиссариата просвещения чиновники Петросовета наложили запрет на поставку бумаги. Готовые типографские наборы шести десятков книг и брошюр лежали без движения, а запас шрифта для новых изданий иссяк. Судьба «Всемирной литературы» повисла на волоске. Неизвестно, успел ли Гумилев выступить перед новой аудиторией «всемирных» переводчиков – первая его лекция, намеченная на 5 февраля, была отменена «по болезни» (простуда), а к концу месяца руководству издательства было уже не до учебных курсов. «Дело, в которое вложено столь много энергии и которое обещает колоссальные результаты, должно погибнуть, – телеграфировал Горький Ленину. – Прошу Вашего содействия».

Лихорадило не только «Всемирную литературу». С начала года Луначарский окончательно переместился в Москву, оставив наместником в Северной коммуне благодушного и недалекого Захара Гринберга, при котором городской *Компрос* моментально захватили энергичные экстремисты во главе с женой Зиновьева Златой Лилиной, пламенной революционеркой. К весне заметно пошатнулись дела Института Живого Слова, а *старорежимный* «Союз деятелей художественной литературы» оказался и вовсе придушен – со скандалом и возбуждением дела о неправильном расходовании государственных ассигнований. Зато невиданный расцвет переживал петроградский *Пролеткульт*.

Пролеткульт, то есть независимый общественный комитет пролетарских культурно-просветительских организаций, был учрежден осенью 1917 года, сразу после Октябрьского переворота. В Пролеткульт вошли энтузиасты, создававшие на заводских окраинах самодеятельные театральные студии, литературные и художественные кружки, общедоступные библиотеки и всевозможные просветительские общества. Большинство участников комитета были обычными интеллигентами-просветителями, бессребрениками и идеалистами, считавшими долгом внести свою лепту в дело народного образования. Однако общий тон задавали сторонники учения об особой *революционной* культурной миссии пролетариата, никак не связанной с освоением наследия прошлого:

> Мы во власти мятежного, страстного хмеля;
> Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты»,

Во имя нашего Завтра – сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы[492].

Пролеткультовцам выделили огромное здание Благородного собрания на Малой Садовой улице. Тут имелись своя сцена, библиотека, издательство и множество помещений для всевозможных творческих студий, где и творились шедевры пролетарского искусства, мало отличавшиеся от лубочных графоманских и кустарных поделок. Впрочем, среди руководителей студий встречались и подлинные мастера. Именно в Пролеткульте в полной мере раскрылся талант выдающегося режиссера Александра Мгеброва и его жены, актрисы Виктории Мгебровой-Чекан. Продолжая традиции своего учителя Евреинова, Мгебров работал над формами уличного, балаганного и карнавального театрального действа, нашел себя сначала руководителем театрального кружка рабочих на Балтийском заводе, а затем возглавил «Художественную Арену Петропролеткульта». По сценариям писателей-самоучек он ставил грандиозные героические мистерии, действующими лицами которых были Коммунар, ведущий страждущий пролетариат через пустыню в Царство Свободы, Мудрец, Мысль, Счастье, Сын Земли, а также – Зло, Вампир и полчища врагов, строящих коварные козни. Все это очень напоминало декадентские театральные примитивы евреиновского «Старинного театра», но цензоры Наркомпроса пока не вмешивались.

Мгебровы и их пролеткультовское окружение были связующим звеном между стихийными творцами-коммунарами и петроградской творческой интеллигенцией. Даже непримиримый к «красным хамам» Федор Сологуб, помнивший актерскую чету по «Бродячей собаке» и «Привалу комедиантов», вежливо раскланивался при встречах, хоть и морщился:

– Как Вы могли, Александр Авельевич, Вы, *художник*, пойти работать в Пролеткульт?

– Я пошел туда… *учиться*, – обычно отвечал Мгебров, лучезарно улыбаясь.

Любопытный и демократичный Корней Чуковский одним из первых проник в пролетарскую цитадель на Малой Садовой. «Палачам красоты» он прочел небольшой цикл лекций – о Некрасове, Горьком и американском классике Уолте Уитмене – и был приятно удивлен заинтересованным вниманием рабочей аудитории. Вслед за Чуковским во Дворце Пролеткульта оказался и Гумилев – на представлении очередной литературно-поэтической «героической мистерии». Мордатый Илья Садофьев,

заседатель петроградского трибунала, славил со сцены *«Именины Пролетарской Революции»*:

Вулканится радостью сердце коллективное,
Лавы раскаленной огнеликих масс…
Города салютуют трелью переливною,
Возглашая Революции именинный час.
Громовые звуки «Марсельезы», «Интернационала»
Фонтанно льются, окрыляя дерзанья…
Огненными зорями пылают полотна ярко-алы,
Озаряя гремящий путь всемирного восстанья…
Под арками – кружево человеческих сцеплений…
Над ними реет Святая Пролетарская Троица:
Отец – бессмертный Маркс, сын – великий Ленин
И дух – Коммуна, в знаменах узорится…

В антракте Гумилев, оставив Анну Николаевну в зрительном зале, изучал рабочую публику, а вернувшись, увидел в своем кресле развалившегося Садофьева.

– Извините, но это место занято.

– А мне плевать… буржуй!

– Послушайте, Садофьев, – загремел Гумилев командирским голосом, – если бы Вы не были поэтом, я бы за такие слова дал Вам по физиономии!!.

Эскапада произвела на пролетариев неожиданное действие. Гумилева окружили и… пригласили прочитать лекцию по стихосложению. К пролетарским поэтам в качестве оруженосца-телохранителя его вызвался сопровождать студент Николай Оцуп, новый участник университетского «Ариона», большой поклонник гумилевских стихов.

– Синдик «Цеха поэтов», – представился Гумилев. Суровая аудитория уважительно затихла, но тут же прозвучал вопрос о политических убеждениях гостя.

– Я монархист.

Вновь повисло молчание.

– Так нет же теперь никакого царя! – вспылил Садофьев.

– Царя нет, – согласился Гумилев, – но когда нет царя, тогда есть (он истово перекрестился) Царица:

Тогда я воскликну: «Где Ты,
Ты, созданная из огня?
Ты помнишь мои обеты,
В веру Твою в меня?
Делюсь я с Тобою властью,

Слуга Твоей красоты,
За то, что полное счастье,
Последнее счастье – Ты».

В зале недоуменно переглядывались – поэтический синдик оказался шутником. А Гумилев уже рассказывал о том, как ударные и безударные слоги, чередуясь в человеческой речи, превращают ее в стихотворные периоды:

– Наука проста – сами имена поэтов подсказывают, как это происходит. Смотрите: Ни-ко-ла́й Гу-ми-ле´в, два слога безударных перед ударным. Такой стих называется анапестом. А вот, наоборот: А́н-на Ах-ма́-то-ва, ударный и два безударных. Это – дактиль…

После лекции восхищенные слушатели провожали Гумилева гурьбой по улице. Вскоре в Пролеткульте сформировалась регулярная литературная студия, где четыре раза в неделю шли занятия по теории словесности, теории драмы, истории литературы и материальной культуры. На первом же месте, как сообщал пролеткультовский журнал «Грядущее», стояли «лекции тов. Гумилева по теории стихосложения».

– И Вы туда же, Николай Степанович! – сетовал Сологуб.

– Я уважаю их, – отвечал Гумилев. – Они пишут стихи, едят картофель и берут соль за столом, стесняясь, как мы сахар…

Пролеткультовцы напоминали ему древних варваров, готов или гуннов, начинавших новую европейскую цивилизацию на обломках разрушенной ими же Римской Империи. Нечто подобное утверждал и Блок, докладывавший о *крушении гуманизма и либерализма* на одном из последних мартовских заседаний «Всемирной литературы»:

– Если мы будем говорить о приобщении человечества к культуре, то неизвестно еще, кто кого будет приобщать с большим правом: цивилизованные люди – варваров или наоборот: так как цивилизованные люди изнемогли и потеряли культурную цельность; в такие времена бессознательными хранителями культуры оказываются свежие варварские массы.

«Гумилев говорит, что имеет много сказать, и после закрытия заседания развивает мне свою теорию о гуннах, которые осели в России и след которых историки потеряли, – записывал Блок в дневнике. – *Совдепы – гунны*».

14 апреля, в день тридцатитрехлетия Гумилева по «новому стилю», Анна Николаевна родила девочку, которую счастливый отец назвал Еленой – «в честь самой красивой женщины на земле, из-за которой греки осаждали Трою». Став впервые в жизни

главой и кормильцем большой семьи, Гумилев неожиданно обнаружил патриархальное чадолюбие, удивлявшее домашних. На Ивановской он с удовольствием играл с семилетним сыном и его соседскими приятелями, читал им вслух книжки с картинками, которыми затем одаривал детвору, льнувшую к «доброму дяде Коле». Нового ребенка он ждал с нетерпением, вслух мечтая о дочке, – передавая кулек с новорожденной, ординатор Петербургского родовспомогательного заведения Борис Иванович Ахшарумов[493] заметил:

– Вот Вам ваша *Мечта*!

К моменту рождения Елены семья проживала уже по новому адресу. *Домкомбед* (домовой комитет бедноты) на «Социалистической улице» постановил вселить в брошенную хозяевами «буржуйскую» квартиру каких-то местных прачек и обязал непонятных постояльцев «освободить площадь». Возразить было нечего – хорошо, что по-знакомству удалось быстро снять освободившееся в семействе историка Штюрмера[494] жилье на Преображенской улице. Новая квартира не могла сравниться с просторными апартаментами Маковского, но и домочадцев у Гумилева убавилось. Брат Дмитрий, чудом выживший голодной зимой, весной вновь встал на ноги и, по словам жены, «получил назначение в Петергоф» (возможно, это была обычная для тех дней военно-трудовая повинность). Не хотела оставаться в голодном, воюющем городе и Анна Ивановна, настоятельно рекомендовавшая сыну переправить ее, при первой возможности, с кормящей невесткой и внуками в тыловой Бежецк, не знавший ни массовых расстрелов, ни хлебных пайков. Из учетно-регистрационной книги дома № 5/12 по Преображенской улице следует, что новые жильцы квартиры № 2 Анна Ивановна и Анна Николаевна Гумилевы с детьми убыли из Петрограда 2 июня 1919 года и в означенной квартире, помимо приходящей прислуги, единственным проживающим остался Николай Степанович Гумилев.

На побережье Финского залива, у Ораниенбаума и Кронштадта, в эти дни шла стрельба. Неделей позже в Копорье гарнизоны форта Красная Горка и укрепленной береговой батареи на мысе Серая Лошадь перешли на сторону наступавших добровольческих отрядов Северного корпуса, над Петроградом вели разведку английские аэропланы. Большинство завсегдатаев «Дома Литераторов» с нетерпением ожидало штурма города и падения большевиков. За «кооперативным» обеденным столом вполголоса уже обсуждались планы возмездия. «Мечты были очень кровожадными, – вспоминал Георгий Иванов. – Заговорили о некоем П<учкове>, человеке «из общества», ставшем

коммунистом и заправилой «Петрокоммуны». Один из собеседников собирался душить его «собственными руками», другой стрелять «как собаку» и т. п.

– А вы, Николай Степанович, что бы сделали?

Гумилев постучал папиросой о свой огромный черепаховый портсигар:

– Я бы перевел его заведовать продовольствием в Тверь или в Калугу. Петербург ему не по плечу».

Во второй половине июня «белые» войска отошли от Петрограда к эстонской границе, фронт стабилизировался, и наступило затишье.

V

Триумф «Всемирной литературы». Литературная студия в «Доме Мурузи». Шилейко и Ахматова. Зиновий Гржебин. Переводы и редактура для «Всемирной литературы». В Институте Истории Искусств. У пролеткультовцев. Посещение Царского Села. Возвращенная библиотека. Версальский мир. Поход 14 государств. Штурм Петрограда.

10 июня 1919 года в доходном доме князя А. Д. Мурузи на Литейном, в огромной, с отдельным парадным входом хозяйской квартире, где в первые годы революции заседал районный штаб левых эсеров, а затем – действовал тайный игорный притон, возобновила работу литературная студия издательства «Всемирная литература». Распря Горького с чиновниками Комиссариата просвещения и Петросовета завершилась неожиданно. В Москве был создан *Госиздат РСФСР*, поглотивший, наряду с другими советскими и кооперативными издательствами ЛИО Наркомпроса, главного конкурента «всемирников». Между тем упрямому Горькому удалось отстоять «Всемирную литературу», вошедшую в Госиздат на правах широкой автономии. «Мы даем новый перевод Библии, а кроме того, тюбингенское критическое издание ее, даем литературу Китая, Японии, Тибета, Монголии, Персии, арабов, Турции и т. д., вплоть до индусской, египетской и ассирийского эпоса, – писал Горький главе Госиздата Вацлаву Воровскому. – Это – огромная работа, и, конечно, она хорошо поставит Советскую власть в глазах интеллигенции Западной Европы. Но еще более крупным я считаю агитационное значение «Всемирной литературы», которая охватывает в нашем плане все, что создано европейской мыслью от Вольтера до Анатоля Франса, от Свифта до Уэллса, от Гете до Рихарда Демеля и т. д. На днях будет готов наш проспект, напечатанный по-английски, по-немецки и по-французски, мы посылаем его во все страны: в Германию, Францию, Америку, Италию, Англию, скандинавам и пр. Как видите – задача грандиозная, и ***никто еще до сей поры не брался за ее осуществление, никто в Европе***. Этому делу власть должна энергично помогать, ибо пока – это самое крупное и действительно культурное предприятие, которое она может осуществить».

Журналист и дипломат Воровский проникся горьковским пафосом и ходатайствовал за «Всемирную литературу» перед Совнаркомом. Вновь заработали печатные машины в бывшей

типографии петроградской газеты «Копейка» – и переводы из Мопассана, Анатоля Франса, Мирбо и Габриэля Д'Аннунцио появились, наконец, летом 1919 года под маркой «Всемирки» на российских книжных прилавках. Угрюмый Зиновьев нехотя приказал шефу милиции Борису Каплуну выкинуть воровскую «малину» из мавританских хором на Литейном и передать их под аудитории для горьковской *мелкобуржуазной сволочи*. Помимо того, редколлегия издательства должна была вскоре получить для постоянной работы Строгановский особняк на Моховой улице.

Открытие Литературной студии для двух сотен молодых слушателей, составивших три отдельные специализированные группы (поэзии, прозы и критики), стало триумфальным праздником «Всемирной литературы». Исхудавшие и потрепанные после голодной и холодной многомесячной нищеты сотрудники «Всемирки», поднявшись по мраморной лестнице, осматривали парадный зал, напоминавший дворцовые дворики Альгамбры – с пестрыми витыми колоннами, поддерживавшими арочные своды, галереями и фонтаном – и бесконечные анфилады комнат с каминами и лепниной.

– Да ведь он из серебра! – с простодушным восторгом твердила юная студийка, поглаживая спинку одного из металлических стульев, выставленных перед небольшой эстрадой. – Из чистого серебра!

– Ошибаетесь, сударыня, – серьезно поправил ее Гумилев. – Не из серебра, а из золота. Из посеребренного золота. Для скромности. Под стать нам. Ведь мы тоже из золота. Только для скромности снаружи высеребряны.

В «Отдел поэтического искусства», которым в студии руководили Гумилев и Лозинский, поступили талантливые дебютанты Владимир Познер, Ада Оношкович-Яцына, Сергей Нельдихен, Раиса Блох, Елизавета Полонская, сестра милицейского начальника Софья Каплун, дочь ректора царскосельского Агрономического Института Мария Рыкова и Николай Чуковский. Из «Живого Слова» в «Студию» перешла Рада Попова. Помимо того, на занятия к Гумилеву записались несколько поэтов из распавшегося весной университетского «Ариона» – Николай Оцуп, Екатерина Малкина, Всеволод Рождественский. Всего же постоянных слушателей у Гумилева оказалось более трех десятков. Поскольку лекции и семинарии с групповыми занятиями шли непрерывно все лето, Гумилев, отлучаясь на два-три дня проведать своих «бежечан», призывал, по старой памяти, в помощь Лозинскому Владимира Шилейко.

Шилейко, зарегистрировав брак с Ахматовой, продолжал жить в своей «учительской» комнате в северном флигеле

национализированного Шереметевского дворца на Фонтанке. Большую часть времени он проводил за неторопливыми переводами древних клинописных таблиц. Это занятие поглощало его целиком, делая нечувствительным ко всему, кроме отсутствия чая и папирос. Ахматова находилась неотлучно рядом, искусно заваривала чай и переписывала набело готовые шумерские переводы. Гумилев несколько раз приводил к ней сына Льва, а иногда забегал поболтать по-дружески. Ангельская кротость новоявленных супругов изумляла его, а невозмутимый покой, царивший в их ученой келье, вызывал острую зависть:

– Живут же люди!

Сам Гумилев не знал минуты свободной, стараясь, помимо прочего, как можно лучше обеспечить приросшее семейство. Во «Всемирной литературе» он набрал невероятное количество переводов и редактур. Но «всемирным дебютом» Гумилева тоже стал *шумерский* перевод. Это был «Гильгамеш», купленный Зиновием Гржебиным.

Гржебин начинал общественное поприще нищим пропагандистом сионизма и художником-карикатуристом в сатирических журналах. Затем он издавал попеременно «Правду» – для революционеров, «Шиповник» – для эстетов и «Отечество» – для русских патриотов. В годы революции он увлеченно спекулировал, скупая затем за бесценок у оголодавших горожан меха, мебель, ювелирные драгоценности и произведения искусства. Скупал Гржебин и рукописи. К весне 1919 года он, по выражению Зинаиды Гиппиус, «скупил впрок всю русскую литературу на многая лета» и стремился открыть теперь под крылом «Всемирки» собственное *«Издательство З. И. Гржебина»*, чтобы выпускать отечественные новинки и классику. Предприятие было безнадежным, ибо право издавать русские книги уже год монопольно принадлежало государству. Но Гржебин не унывал, безоглядно веруя во всемогущество Горького. Правдами и неправдами он выпустил второе издание «Гильгамеша» и не отставал от Гумилева, желая получить обещанную рукопись «Географии в стихах».

Затея Гржебина давала писателям «Всемирной литературы» призрачную надежду на *собственные публикации*. Сплошные переводы угнетали и оскорбляли литераторов, привыкших к творческой самостоятельности:

Не живем на свете – маемся,
Как в подполице глухой.
Вместо дела занимаемся
Подневольной чепухой[495].

Блок появлялся в редакции с видом грустного и покорного недоумения: «И зачем я здесь? И что вы со мной сделали? И почему тут Чуковский? Здравствуйте, Корней Иванович!..»

– Подлинный поэт не может переводить чужие стихи! Данте никогда не занимался переводами…

– Так ведь и мы, Александр Александрович, раньше никогда переводами не занимались, – парировал Гумилев, – а «Божественную комедию» все равно почему-то не написали!

Гумилев не считал переводы «подневольной чепухой» и безжалостно браковал халтурную работу, если та попадала ему на отзыв. У себя в семинарии, вовлекая студийцев в деятельность издательства, он устраивал азартные конкурсы на лучший перевод европейской стихотворной классики – «Двух гренадеров» Гейне или «Correspondences» Бодлера. Сам же, подавая пример, работал не покладая рук. За несколько месяцев с листа и подстрочников Гумилев перевел большую стихотворную сатиру Генриха Гейне «Атта Троль», «Поэму о старом моряке» Самуила Кольриджа, английские баллады о Робин Гуде и работал над эпической «Орлеанской девственницей» Вольтера. Переводил он и отдельные стихотворения для поэтических собраний. Готовя том английского романтика Роберта Саути в классических переводах В. А. Жуковского, Гумилев «от себя» добавил балладу «Предостережение хирурга», проигнорированную великим переводчиком. Горький забрал сданную рукопись домой и пришел на следующий день озадаченным:

– А нельзя ли, Николай Степанович, Вам перевести и все… остальное? Честно говоря, переводы Жуковского в сравнении с Вашим «Предостережением» несколько теряют…

Из «Всемирной литературы» Гумилев шел в Институт Истории Искусств на Исаакиевской площади или во Дворец Пролеткульта на Малой Садовой. В особняке графа Валентина Зубова, превращенном его владельцем (ныне – директором) в искусствоведческий научный центр, Гумилев прочел в июле и августе несколько общедоступных лекций о поэзии символистов и футуристов – без особого успеха. На лекцию о «Двенадцати» Блока пришли лишь несколько молчаливых ученых девиц с тетрадями и… сам Блок в компании Корнея Чуковского. Зато более оригинальных слушателей, чем звероподобные мечтатели-пролетарии, оккупировавшие Благородное собрание, у Гумилева еще не было. Их вожди с дикими псевдонимами – *Рыбацкий, Арский* – и председатель странного учреждения *Самобытник* (А. И. Маширов) гордились появлением Гумилева среди «красных

поэтов» Петрограда. Секретарь Пролеткульта Машенька Ахшарумова (дочь знакомого акушерского ординатора) нежно опекала необыкновенного сотрудника. А Гумилев не только отбывал в студии Пролеткульта положенную за паек службу, но и участвовал в проходящих на Малой Садовой дискуссиях о новом искусстве, где спорили до хрипоты. Взяв слово, он неизменно обращался к собравшимся:

– Господа…

– *Товарищи*, – мрачно поправлял его Садофьев.

– Такого декрета еще не было, Илья Иванович! – замечал Гумилев и, возражая Мгеброву или Маширову, говорил о грядущем высоком гражданском призвании поэтов – не агитаторов-стихотворцев, а духовных вождей национального возрождения. Ему горячо возражали, как это было принято здесь, не стесняясь в словесной инструментовке. Но провожать Гумилева шли всегда гурьбой, как после первого его появления в пролеткультовском дворце. «То, что многие из них были коммунисты, его ничуть не стесняло, – вспоминал Георгий Иванов. – Он, идя после лекции окруженный своими пролетарскими студийцами, как ни в чем не бывало снимал перед церковью шляпу и истово, широко, крестился». Как-то, прощаясь с Садофьевым и Рыбацким у дома на Преображенской, Гумилев мимоходом пожаловался, что с переездом лишился домашней библиотеки – в отличие от квартиры Маковского в жилище Штюрмера книг не было. А собственное его книжное собрание ненужным хламом валялось теперь на чердаке реквизированного под *собес* (службу социального обеспечения) особняка в прифронтовом Царском Селе. Через несколько дней петроградская комендатура выписала Гумилеву открытый лист. В компании Рады Поповой и природного царскосела Николая Оцупа он отправился на разведку к заброшенным родным пенатам.

За минувшие годы Царское Село несколько раз подвергалось военным испытаниям. Город, некогда образцовый, производил тягостное впечатление. На дрова были разобраны заборы, ржавые кровати из дворцового лазарета стояли посреди заросших травой улиц, закрывая зияющие отверстия водопроводных колодцев. Аристократические особняки хранили следы пожаров, погромов и грабежей, Гостиный Двор был заколочен, на воротах графского дома Стенбок-Ферморов красовалась аршинная надпись – «Случный пункт». Уцелевшие царскоселы, оборванные и страшные, прятались по подворотням. Несчастный город потерял даже имя – теперь его именовали *Детским Селом Урицкого* (сюда планировали перевести все городские приюты). Перекусывая с дороги у матушки Оцупа, загрустивший Гумилев подытожил

впечатления в альбомном экспромте:

Не *Царское* Село – к несчастью,
А *Детское* Село – ей-ей!
Что ж лучше: быть царей под властью
Иль быть забавой злых детей?

Вооруженный комендантской бумагой Гумилев беспрепятственно проник на чердак родного особняка. Собесовские работники не держались за бумажное барахло – бери, сколько в руках унесешь. Добычу складировали на хранение у Оцупов. В июле – августе Гумилев с добровольными помощниками побывал на Малой улице еще несколько раз, однако результаты всех вылазок оказались неутешительными – вызволить вручную всю накопленную за полстолетия семейную библиотеку не представлялось возможным. На помощь вновь пришел «красный поэт» Рыбацкий (в миру – комиссар Обуховского завода Николай Иванович Чирков). Из своих ребят-обуховцев он в конце августа сформировал настоящую экспедицию с дерюжными заводскими мешками и ломовыми телегами, которая за раз загрузила отовсюду в Царском и доставила на Преображенскую улицу более тысячи родных гумилевских томов. Теперь Гумилев срочно призывал на помощь знакомых, чтобы успеть разобрать книжные груды до возвращения родных. «Я буду переходить на зимнее положение, – писал он в записке Ольге Арбениной. – Если Вам не покажется очень скучно уставлять вещи и книги, придите сегодня часов в семь».

Благодетельное участие пролетарских друзей Гумилева в спасении библиотеки случилось как раз вовремя: еще неделя-другая, и никакое заступничество поэтов-комиссаров не помогло бы ему выбраться на западные рубежи Петрограда. Мирная летняя передышка, возникшая после неудачи первого похода англичан, эстонцев и «белых» добровольцев на Петроград, завершалась. В дни, когда Гумилев с Поповой и Оцупом таскал свои книги с царскосельского чердака, трясся затем с Рыбацким на телегах по Пулковскому шоссе и расставлял с Ольгой Арбениной возвращенные книжные сокровища по импровизированным стеллажам в квартире на Преображенской, державы-победительницы, уже полгода заседавшие на Парижской конференции, подводили итоги Великой мировой войны.

Это были очень странные итоги.

Войну начала Австро-Венгрия, обрушившаяся на Белград после убийства эрцгерцога Фердинанда боснийскими сербами-

террористами. Именно в пятилетнюю годовщину этого убийства, в символический день 28 июня 1919 года, – был подписан Версальский мирный договор, основной документ, определяющий устройство послевоенного мира. Тем не менее главной виновницей войны (с соответствующими последствиями в виде аннексии 1/8 территории, передачи победителям колоний с торговым флотом и выплатой чудовищной репарации) была признана… Германия, вступившая в разгоревшийся европейский конфликт по союзному обязательству.

Россия, воевавшая на стороне Антанты и разгромившая в 1916 году Австро-Венгрию с Турцией, вообще *никому* не объявляла войну – *все* ее боевые действия на *всех* фронтах были ответами на агрессию. Однако российских представителей, ни на Парижской конференции, ни на последовавших за ней итоговых политических форумах, не было вовсе. Союзники не желали признавать не только «красное» правительство Ленина в Москве, но и «белое» правительство адмирала А. В. Колчака в Омске. Между тем ко времени Версальских соглашений Колчак стал безоговорочным главой «белого» движения в России, являлся Верховным главнокомандующим всех его вооруженных сил и имел в подчинении территорию от Черного моря до Японского. В отличие от московских большевиков, он не был запятнан сепаратным миром с Германией и следовал, по возможности, тем же демократическим правовым установкам, что и Франция с Великобританией. Но политическим девизом Верховного правления Колчака было требование *«единой и неделимой России»*, а англичане с французами, утвердив государственность Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы, кроили земли бывшего союзника по Антанте не хуже, чем земли побежденной Германии.

– Это не мир, а *перемирие*. Лет на двадцать, – с военной точностью оценил Версальские соглашения главный герой французской победы маршал Фердинанд Фош.

Гумилев был с ним вполне согласен.

– Да, в году 1939 или 1940-м снова будет большая война, – говорил он Раде Поповой. – И начнет ее уже сама Германия, без всяких дипломатических фокусов. Я, конечно, приму в ней участие, непременно пойду воевать. Снова надену военную форму, крякну и сяду на коня, только меня и видели. И на этот раз мы побьем немцев. Побьем и раздавим!

Однако пока версальских победителей беспокоила не Германия, а Россия с ее непредсказуемой гражданской распрей, Коммунистическим Интернационалом и (действенной, как оказалось!) ставкой Ленина на Мировую Революцию. Поэтому, дипломатично затягивая с официальным признанием омского

правительства Колчака, страны Антанты, тем не менее, самым решительным образом поддерживали его войсками и оружием, чтобы с помощью русского «белого» движения задавить последних возмутителей спокойствия у границ новой Европы. Вряд ли у Колчака были иллюзии относительно желания европейских союзников видеть затем Россию вновь «единой и неделимой», но так далеко Верховный правитель старался не заглядывать:

– Моя цель первая и основная – стереть большевизм и все с ним связанное с лица России, истребить и уничтожить его. В сущности говоря, все остальное, что я делаю, подчиняется этому положению.

В первую половину 1919 года сибирские, приморские и казацкие войска, преобразованные Колчаком в одну регулярную армию, создали сплошной Восточный фронт, протянувшийся от Перми и Уфы до Оренбурга, Уральска и северного побережья Каспия. Летом «белое» наступление с востока выдохлось, однако первый заместитель Верховного правителя генерал-лейтенант Деникин, квартировавший в Царицыне, начал наступать с юга, имея стратегической задачей «захват сердца России – Москву». К сентябрю его войска заняли всю Украину и Новороссию с Киевом и Одессой и шли на Курск, Орел и Воронеж. В это время из Прибалтики начался второй поход на Петроград. Теперь его возглавил знаменитый Юденич, недавно назначенный Колчаком Главнокомандующим вооруженными силами против большевиков на Северо-Западном фронте. В едином военном натиске, охватившем «красную» Россию огромным огненным кольцом, помимо русских, принимали участие сухопутные и морские экспедиционные отряды Франции, Чехословакии, Великобритании, США, Канады, Японии, Польши, Италии, Греции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Сербии, и в истории он остался под именем *«Похода 14-ти государств»*.

Юденич, блестяще выполнив в сентябре отвлекающий маневр и затянув красноармейские части в позиционные бои у Пскова, в начале октября ударил основными силами под Ямбургом. 13 октября была занята Луга, 16 октября – Красное Село, 17-го – Гатчина. 18 октября Юденич отдал приказ штурмовать Петроград, и через два дня его передовые части захватили пригороды Лигово и Колпино, ворвались в Царское Село. На следующий день бой шел на Пулковских высотах, а мир облетела телеграмма «белого» Освага (осведомительного агентства):

«Из официальных источников нам сообщают: английский флот бомбардировал Кронштадт и взял его. Генерал Юденич вступил в Петроград».

VI

Битва за Петроград. Лев Троцкий. Между жизнью и смертью. «Дом Искусств». Новые стихи. Инженер Крестин. Утренний трамвай.

По мере приближения Юденича жизнь петроградцев, едва воспрявших и отогревшихся в летнее затишье, становилась с каждым днем тревожнее и труднее. Газеты были полны недомолвок, но все чаще гасло электричество, керосин исчез, из-за недостатка медикаментов и лекарств закрывались аптеки и больницы. В каждом районе города появились «революционные тройки», вершившие суд и расправу. Комендантские патрули повсюду хватали уличных барахольщиков. Голод вдруг начался такой, что даже прошлую «большевицкую зиму» вспоминали с вожделением. А новая зима стояла уже на пороге – сентябрь выдался необыкновенно холодным, в октябре ударили первые морозы. Поленья приобретались теперь поштучно, в печки шла мебель, организованно или воровски разбирались на дрова заборы и деревянные строения. В постель укладывались, не снимая верхнюю одежду, – иначе к утру можно было окоченеть. В любой момент ждали обыска и ареста: облавы на дезертиров шли круглосуточно. Красный террор свирепствовал. Все городские тюрьмы были забиты «подозрительными», в Петропавловской крепости каждую ночь ревели автомобильные моторы, заглушая расстрельные залпы. Но самое страшное началось после прибытия в город *наркомвоенора* Льва Троцкого с ордой башкирских солдат и китайских наемников.

«Нельзя вести людей на смерть, – утверждал Троцкий, – не имея в своем арсенале смерти же». Смертный арсенал никогда не подводил Троцкого во время Гражданской войны – не подвел и на этот раз. Если Зиновьев и его комиссары сбивались с ног, до хрипоты агитируя бегущих с фронта красноармейцев, то Троцкий, без лишних слов, развернул башкирские заградительные отряды, которые встречали отступающих пулями и штыками. Из дезертиров сколачивались штрафные команды «черных воротничков» (знак смертников). На фронт было мобилизовано все мужское поголовье горожан от 18 до 43 лет, включая студентов университета и «белобилетников». Эту огромную массу запуганных до потери инстинкта самосохранения людей Троцкий велел гнать непрерывной толпой на Пулковские высоты.

– Единственная тактика, единственная стратегия, которая диктуется этой войной, с ее исключительными особенностями на

этом фронте, это – наступать и душить, – пояснял он в Смольном свой замысел. – Нужно, чтобы наши солдаты увидели белых и поняли, что их мало; надо, чтобы белые увидели красных и поняли, что их очень много. Как этого достигнуть? Вести красных вперед, толкать, если надо, гнать вперед… До тех пор пока злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади!

Потери под Пулковым были чудовищны, количество убитых доходило до половины личного состава атакующих. Но Троцкий оказался прав: не выдержав постоянного напора человеческой массы, войска Юденича 23 октября сдали Царское Село, в начале ноября – Лугу и Гатчину. А потом Северо-Западная армия побежала.

– Мы так сильны, – наставлял Троцкий, прощаясь с руководством Северной коммуны, – что если мы заявим завтра в декрете требование, чтобы все мужское население Петрограда явилось в такой-то день и час на Марсово поле, чтобы каждый получил 25 ударов розог, то 75 % тотчас бы явились и стали бы в хвост, и только 25 % более предусмотрительных подумали запастись медицинским свидетельством, освобождающим их от телесного наказания…

Гумилев, пережив, как ему казалось, уже достаточно в предыдущие годы, не сразу осознал наступающую погибель. В сентябре он, несмотря на протесты Анны Ивановны, прочно осевшей с внуком в Бежецке, перевез в Петроград молодую жену с шестимесячной Леночкой, нанял им в помощь на Преображенской домработницу Пашу, а сам с удвоенной энергией взялся за привычный трудовой промысел. И «Живое Слово», и Пролеткульт, и «Всемирная литература», несмотря на начинающиеся в городе тяготы, продолжали работать в полную силу. А в поисках всевозможных дополнительных пайковых заработков Гумилеву помогал Корней Чуковский, давно освоивший это великое искусство. «Перед ним, – вспоминал Чуковский, – встала задача, почти непосильная в ту пору ни для малых, ни для великих поэтов: ежедневно добывать для ребенка хоть крохотную каплю молока. Мое положение было не легче: семья моя состояла из шести человек, и ее единственным добытчиком был я. С утра мы с Николаем Степановичем выходили на промысел с пустыми кульками и склянками».

В октябре вместе со всеми горожанами Гумилев постоянно наблюдал на западе перистые облака от взрывов, несущиеся к городу, слышал надвигающийся гул артиллерии и видел толпы дезертиров, спасавшихся на пригородных трамваях. Как и у всех,

представление о происходящем у него было смутное, и вряд ли он предпринимал специальные меры к точному разъяснению обстановки. К союзникам после Версальского мира Гумилев относился немногим лучше, чем к большевикам, и будущее всей европейской и русской политики видел в самом мрачном свете:

– Вот, все теперь кричат: Свобода! Свобода! – а в тайне сердца, сами того не понимая, жаждут одного – подпасть под неограниченную, деспотическую власть. Под каблук. Их идеал – с победно развевающимися флагами, с лозунгом «Свобода», стройными рядами – в тюрьму. Ну и, конечно, достигнут своего идеала. И мы, и другие народы. Только у нас деспотизм левый, а у них будет правый. Но ведь хрен редьки не слаще. А они непременно получат то, чего добиваются!

Шли занятия в студии на Литейном, работала типография «Копейки», растиражировавшая в числе других «всемирных» изданий подготовленные Гумилевым «Песню о старом моряке» и «Баллады о Робине Гуде». Бурно обсуждались предложенная Гржебиным «русская» серия книг и поступивший от Комиссариата просвещения заказ на сценарии «Исторических картин» для зрелищной пропаганды знаний о прошлом человечества. Уже дальнобойные орудия на петропавловских бастионах били по горящему Лигову, уже с «белых» аэропланов на улицы летели листовки, разъясняющие, какой именно экзекуции будут подвергнуты сотрудники «красных», – а Горький в разгромленном для переезда на Моховую зале заседаний «Всемирки» задумчиво рассказывал членам редколлегии поучительные истории из своей босяцкой юности. Гумилев, величественный в потертом до лоска неизменном черном костюме, сосредоточенно внимал. «Гумилев и Горький, – сравнивал их Александр Блок. – Их сходство – волевое… Оба не ведают о трагедии – о двух правдах. Оба северо-восточные». Сам Блок, впрочем, не отставал – под аккомпанемент канонады Юденича он вместе с литературным критиком Ивановым-Разумников и историком философии Штейнбергом готовил открытие в Петрограде «Вольно-философской академии» *(«Вольфилы»)*. На подмогу к ним из Москвы собирался перебраться Андрей Белый. Дело оставалось за малым: падет ли Северная Коммуна или устоит.

Между тем «левый деспотизм» не заставил петроградцев долго себя ждать. За широкой спиной Горького, связываться с которым не хотел даже Троцкий, Гумилеву, как и другим сотрудникам и студийцам «Всемирной литературы», удалось избежать мобилизации, но лиха, выживая с кормящей женой и грудным младенцем, ему хватить пришлось. Полностью обесценились бумажные деньги, недосягаем стал хлеб. В соль,

которую меняли на золото, красноармейцы, торгующие военными пайками, для веса добавляли толченое стекло. От околевших лошадей за несколько часов оставались одни скелеты – мясо растаскивали в пищу. Мороз стоял убийственный. Водопроводы полопались, клозеты замерзли. Все сидели в пальто и шубах, обвязываясь для тепла веревками. Начался настоящий мор. Из-за невероятной дороговизны похорон в опустевшие квартиры подкидывали новых покойников. В конце концов в ноябре упрямое хладнокровие изменило даже Горькому:

– Нужно, черт возьми, чтобы *они* либо кормили и грели, либо – пускай отпустят за границу. Ведь вот сейчас – оказывается, что в тюрьме лучше, чем на воле: я сейчас хлопотал о сидящих на Шпалерной, их выпустили, а они не хотят уходить: и теплее, и сытнее…

Гумилев в это время был на пути в Тверскую губернию. При первой возможности сразу после отражения штурма, не слушая робких протестов Анны Николаевны, он выхлопотал пропуск и повез ее и дочь обратно в Бежецк. В Петроград Гумилев вернулся 16 ноября и на следующий день, закутавшись в мурманский чухонский тулуп, отправился с гостинцем (полфунтом крупы) к Корнею Чуковскому.

Чуковского занимала теперь лишь губительная для всей научной и педагогической работы обстановка, сложившаяся перед зимними месяцами («Да, я тоже вчера стулья на дрова пилил», – поддакнул Гумилев). Студия в Доме Мурузи просто замерзала. В классах сидели в шубах, пробивая перьями ледяную корку, нараставшую в чернильницах, а ежедневно топить печи и камины в мавританских хоромах на «всемирные» средства не было никакой возможности. Преподаватели, доковыляв пешком до Литейного (трамваи едва ходили по окраинам, редко показываясь на центральных улицах), валились от усталости и голода с ног. Вместе с директором «Всемирной литературы» А. Н. Тихоновым Чуковский уже месяц обивал пороги Смольного с ворохом петиций и уставом нового *«Дома Искусств»* – коммунального жилого оазиса с централизованным собесовским отоплением и столовыми пайками, общежитием, учебными аудиториями и залами для общественных мероприятий. На днях с помощью хозяйственника из *Госархива* Петра Сазонова удалось найти подходящий дом на Мойке, и в ближайшую среду там планировалось закрытое заседание, посвященное новоселью.

Добытый Сазоновым особняк, где суждено было расположиться спасительному писательскому ковчегу, оказался личными апартаментами купцов Елисеевых в отдельном крыле огромного архитектурного комплекса на пересечении Мойки,

Невского и Большой Морской улицы, которым почтенная торговая фамилия владела последние полстолетия. В трехэтажном купеческом жилище с окнами на набережную и проходил 19 ноября 1919 года «интимный вечер». Были жарко натоплены целых две комнаты, бывшая прислуга Елисеевых торжественно разносила гостям булочки из ржаной муки, карамель и настоящий чай. Блок взялся вести протокол: «Н.С. Гумилев съедает 3 булки сразу. Все пьют много чаю, кто успел выпить стакан, просит следующий, и ему приносят». Хозяйственника Сазонова тут же единогласно ввели заместителем председателя (Горького) в утвержденный собранием Совет «Дома Искусств». Затем участники Совета осматривали брошенную Елисеевыми квартиру. «Безвкусица оглушительная, – вспоминал Чуковский. – Уборная вся расписана: морские волны, кораблекрушение. Множество каких-то гимнастических приборов, напоминающих орудия пытки. Блок ходил и с недоумением спрашивал: «А это для чего?» По расчетам Чуковского, в жилище исчезнувших богачей могло разместиться общежитие для проживания и работы *полусотни* голодающих и мерзнущих литераторов и ученых.

В «Дом Искусств» потянулись первые постояльцы.

– Здравствуйте, Ваше сиятельство! – весело приветствовал Чуковский князя Сергея Волконского в коридоре писательской коммуны.

– Я не «сиятельство», а *светлость*, – строго поправил тот.

В руках у великого искусствоведа было помойное ведро.

Кроме беззащитных заслуженных стариков в «Доме Искусств» разместилась неустроенная городская богема всех возрастов и приезжие писатели. В декабре сюда перевели с Литейного Студию «Всемирной литературы», художники Юрий Анненков, Мстислав Добужинский и Александр Бенуа готовились проводить на Мойке городские вернисажи и аукционы, с нового года открывались Детская студия и Школа танцев энтузиаста петербургского балета Акима Волынского. Тут же расположилась и открытая в ноябре «Вольфила». Постоянные сотрудники «Всемирки» получили в Елисеевском особняке собственные закутки для отдыха, работы и, при необходимости, теплого ночлега.

Гумилеву достался предбанник в монументальных купеческих ванных комнатах. С этого момента его распорядок жизни целиком зависел от *домотопа* (отдела домового отопления) на Моховой, где личный дровяной паек сотрудникам «Всемирки» отпускал конторщик Давид Левин. Выдавая дрова писателям, этот оригинал требовал в качестве чаевых поэтические экспромты в специальный альбом. Гумилев, предпочитавший общежитию домашний рабочий покой, усиленно пытался воздействовать на

дровяника-эстета с помощью ронсаровских строф:

Левин, Левин, ты суров,
Мы без дров,
Ты ж высчитываешь триста
Мерзких ленинских рублей
С каталей
Виртуозней даже Листа[496].

Но стихотворные заклинания помогали плохо. Домотоп на Моховой большей частью простаивал, и Гумилев торопился из ледяной квартиры на Преображенской в спасительное тепло елисеевского предбанника:

Вот Николай Степаныч мчится
По Невскому, рассеян, дик,
Морозной пылью серебрится
Его курьезный воротник.
Дивит зевак его оленья
Доха – лапландских плод ловитв.
Ах, он рожден для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв…

В эпиграмме, забавлявшей обитателей «Дома Искусств», желаемое, как водится, выдавалось за действительное. Если навыки перевода и редактуры, приобретенные Гумилевым за минувший невероятный год, сделали его способным к любым условиям работы, то поэтическое вдохновение капризничало. Все эти месяцы он бился над «Географией в стихах», начав рассказ о пяти частях света, понятно, с Африки. Сначала все шло привычно. Стихи о Египте, Красном море, Алжире и Тунисе получились звонкими, запоминающимися, полными красивых описаний и звучных экзотических имен и названий – то, что нужно для мальчишек-школьников. Но потом (от недоедания, что ли?) он словно потерял власть над собственной речью. Стихотворение о борьбе англичан с африканскими повстанцами в Судане Гумилев даже не переписал набело. Навещая весной Ахматову в келье Фонтанного дома, он огорченно сетовал, что его дар универсального стихотворца-рассказчика, очевидно, иссяк:

– По-видимому, моя Муза просто впала в спячку…

Это было, впрочем, не совсем так. Скорее – Муза одичала и отбилась от рук. На занятиях в «Живом Слове» Гумилев, по старой памяти, еще посмеивался над символистами:

– Я в их ночные прозрения и ясновиденья вообще не верю. По-моему, все стихи, даже Пушкина, лучше всего читать в яркий солнечный полдень. И писать тоже. А ночью надо спать.

Между тем с ним самим происходило теперь нечто подобное. Тратя попусту драгоценный керосин и дрова, Гумилев силился воскресить на бумаге африканские события и картины. На светлеющем небе одна за другой начинали таять звезды, гревшаяся у оконного стекла ворона, проснувшись, ворошила крыльями, а в сознании вдруг сами собой возникали строки, никак не связанные ни с Африкой, ни с географией, – какой-то странный потусторонний бред, непонятная достоевщина, которую он машинально записывал, не понимая зачем.

Началось это еще весной, на Пасху, у директора «Дома Литераторов» Николая Волковысского, получившего с оказией из какого-то южного далека белую муку для настоящих куличей и устроившего пир на весь мир. Среди незнакомых гостей была рыжая красавица, гордившаяся своими жаркими локонами и распускавшая их, по общей просьбе, до пят. Восхищенный и угощением, и огненной красавицей, Гумилев блистал красноречием ночь напролет, к утру задремал, попав в дикий осенний лес, перепутанный ветвями и корнями и такой пустынный, что разбойник не гнездился тут в кустах, и пещерки не выкапывал монах,

Только раз отсюда в вечер грозовой
Вышла женщина с кошачьей головой…

Тут-то он и проснулся. Стихотворение сложилось без всякого усилия с его стороны, и Гумилев прочитал гостям, обращаясь прямо к изумленной красавице:

Я придумал это, глядя на твои
Косы – кольца огневеющей змеи…

Так с тех пор пошло и дальше. Взбунтовавшаяся Муза откликалась на событие или переживание исключительно по какому-то одной ей понятному капризу. Гуляя по царскосельскому парку с Радой Поповой (идеальной слушательницей), Гумилев увлекся воспоминаниями, а вернувшись в город, сразу записал большое исповедальное стихотворение про память, ведущую жизнь, как за уздцы коня. Споря с марксистскими начетчиками в Пролеткульте, упомянул невзначай о библейском могуществе слова, и вдруг увидел этот

начальный божественный глагол, розовым пламенем проплывший в небесной вышине… Гумилев сам не знал, как относиться к своевольным стихам. Правда, Чуковский твердил что-то о «болдинской осени», а Горький умилялся:

– Вот какой из Вас вырос талантище!

Но Горький всегда умилялся стихотворцам, а страсть Чуковского к безудержным гиперболам была известна всей России. Все же «Словом» Гумилев начал свое выступление на первом вечере «Петроградских поэтов», которым 29 декабря 1919 года «Дом Искусств» дебютировал перед городской публикой:

> В оный день, когда над миром новым
> Бог склонял лицо Свое, тогда
> Солнце останавливали словом,
> Словом разрушали города.

Вероятно, в выходках Музы был хоть и неведомый, но благой смысл – таких оваций Гумилев еще не слышал. За кулисы к нему протолкался взволнованный Николай Оцуп, долго тряс руку и обрадовал неожиданной вестью: какой-то сумасбродный зритель желал срочно заключить договор на издание гумилевских стихов. Меценатом оказался некий инженер *Крестин* с Петроградской стороны, на квартире которого Гумилев немедленно получил щедрый аванс. Сделку отметили по-новогоднему пышно, шумно и пьяно (волшебный инженер жил на широкую ногу). Попрощались, когда стало рассветать. Над куполами мечети и храма рваными хлопьями вилась метель. Потревоженные вороны гомонили в призрачном саду. Мост уходил бесконечной дугой в темное снежное марево. Вдруг в пустоте и буре кромешной распространилось сияние. Из растворившейся метели, переливаясь огнями, возник гремучий вихрь, и ослепленный Оцуп, отпрянув, едва успел различить красный борт проносящегося трамвая.

– Откуда он взялся в такую рань?!

Спутница Оцупа смотрела на него изумленно.

А Гумилев исчез.

VII

«Заблудившийся трамвай». Ольга Арбенина. Лекции в Балтфлоте и Горохре. Борис Каплун. Работа на износ. Дебют «Ирины Одоевцевой». Весенние страсти. Победа «красных» и давление на интеллигенцию.

31 января 1919 года Рада Попова явилась на Преображенскую с новогодними поздравлениями. Гумилев выглядел изможденным, но был до странности весел, отвечал невпопад, и глаза его лихорадочно сияли. Попова испугалась, вообразив у учителя тифозный жар.

– Нет, просто не спал двое суток, много пил, играл в карты, – успокоил гостью Гумилев. – Ведь мне в картах, на войне и в любви всегда везет…

– Так Вас можно поздравить с выигрышем?

Гумилев махнул рукой:

– Чушь. Поздравить Вы меня можете, но совсем с другим. С необычным стихотворением. Я и сейчас не понимаю, как это произошло. Я шел по мосту через Неву. Заря, метель, пусто, вороны каркают… И вдруг мимо меня совсем близко пролетел трамвай…

Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня.
Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.
Поздно. Уж мы обогнули стену,
Мы проскочили сквозь рощу пальм,
Через Неву, через Нил и Сену
Мы прогремели по трем мостам…

Первозданное солнце сияло над зелеными рощами пальм на берегах Нила, над священными минаретами Бейрута и страшной парижской площадью Согласия. Падал нож гильотины, и палач поднимал за окровавленные волосы срезанную голову. В небесах улыбалась дантовская Беатриче, а на земле рыдал безутешный Гаврила Державин, спеша на императорский прием от смертного

ложа несчастной Катеньки Бастидон[497]… Попова стряхнула воздвигшийся морок и снова увидела Гумилева, необыкновенно торжественного.

– Запомните: герои и великие поэты появляются во времена страшных событий, катастроф и революций. Я это теперь чувствую. Я не только поднялся вверх по лестнице, но даже сразу через семь ступенек перемахнул.

– Почему семь? – удивилась Попова.

– Ну, Вам следует знать почему. Семь – число магическое, и мой «Трамвай» – магическое стихотворение.

Новогодние праздники до православного Рождества (которое отмечали теперь 7 января, в нарушение привычного годового круга) Гумилев провел с женой, выбравшейся из Бежецка. 8-го Анна Николаевна уехала, увозя с собой деньги инженера-издателя. Теперь Гумилев мог быть спокоен за домашних по меньшей мере до весны. Сам же инженер как в воду канул – исчез, расточился, будто и не было его вовсе. Гумилеву оставалось лишь гадать, что́ в приключившемся с ним новогоднем волшебстве было мистикой, а что… мистификацией.

– В любом случае я вдвойне благодарен твоему *Крестину*, – говорил Гумилев Николаю Оцупу, – за аванс и за то, что, не засидись мы у него, я не написал бы *«Заблудившийся трамвай»*.

Оцуп только разводил руками[498].

В январе Гумилев читал «Заблудившийся трамвай» на занятиях в «Доме Искусств» и в Пролеткульте. Героиня стихотворения к этому времени из «Катеньки» превратилась в «Машеньку», ибо магические строки возникли точно в очередную годовщину смерти незабвенной Маши Кузьминой-Караваевой:

Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.

Пролеткультовский секретарь Мария Ахшарумова, бледная как полотно, чудом спаслась от обморока. А волшебные стихи продолжали вытворять с Гумилевым странные истории! Ольга Арбенина, слушая на Преображенской авторское исполнение «Трамвая», воспламенилась настолько, что… тут же доказала Гумилеву свое восхищение с несомненной достоверностью:

– ***Она вошла в твою палатку, Авраам!***

– А вот за это я, наверное, отвечу кровью, – пробормотал Гумилев, придя в себя.

Арбенина, несмотря на многолетнюю дружбу с Анной Энгельгардт, так не считала. «Мне – мелкие радости, мелкие печали, мелкие волнения, – рассуждала она, – а ей – любовь и

письма прекрасного, великого, бурного поэта?!» Теперь справедливость была восстановлена. Более того, нападению немедленно подверглись все «Машеньки» в окружении Гумилева. От Марии Ахшарумовой Гумилев публично отрекся (вот тут-то с несчастной и в самом деле случился обморок). Но этого Арбениной было мало:

– Или я, или эта Ваша… *Машенька Ватсон*!

Гумилев заметил, что почтенной переводчице «Дон Кихота» Марии Валентиновне Ватсон, вместе с которой он выступал на вечерах «Дома Литераторов», уже перевалило за седьмой десяток. В конце концов, «Машенька» в «Заблудившемся трамвае» едва не превратилась в «*Олечку*». Но стихотворение спас Корней Чуковский, вспомнивший о пушкинской Маше Мироновой из «Капитанской дочки»:

– Вы же на своем «Трамвае» переноситесь тут в XVIII век…

Для Гумилева это был решающий аргумент.

– С Вами я не чувствовал бы себя одиноким и в африканской пустыне, – объяснял Гумилев Арбениной. – Но для разговора о литературе в эту пустыню все-таки лучше было бы захватить и Чуковского…

Стараниями Чуковского преподаватели из «Дома Искусств» читали теперь выездные лекции в *Балтфлоте* (в творческих студиях при политическом отделе морского управления) и в *Горохре* (в клубе милиционеров). Среди флотских *братишек*, которых сам Троцкий именовал не иначе как «красой и гордостью революции», Гумилеву пришлось собрать волю в кулак. Оказалось, что местные любители поэзии не расстаются с оружием даже в аудитории – слушая лектора, некоторые демонстративно вертели в руках наганы.

– Будто в Африке на львов поохотился, – признавался Гумилев. – Необходимо подавлять страх, а главное, не показывать вида, что боишься.

В Горохре отношение к писателям и ученым из «Дома Искусств» было совсем иным. Шеф петроградской милиции, двадцатишестилетний Борис Каплун, принимал их запросто в своей служебной квартире, заваленной конфискатом, воровскими орудиями и вещественными доказательствами преступлений:

– Кокаинчику? Нет? Ну, тогда… – он извлекал из вороха вещественных доказательств опечатанную бутылку коньяка и, вспомнив что-то, срывался к телефону. – Алло! Чека? Позовите Бакаева. Это Вы, Иван Петрович? Нельзя ли нам получить то, о чем мы говорили? С белыми головками. Шаляпин очень просит, чтобы с белыми головками… Я знаю, что у Вас опечатано три ящика. Велите распечатать. Скажите, что для лечебных целей.

В служебные апартаменты на Дворцовой площади бывший электротехник Каплун попал почти одновременно с присвоением самой площади имени его знаменитого дяди – Моисея Урицкого. Неизвестно, руководствовался ли Зиновьев, забирая Каплуна в администрацию Северной Коммуны, чем-то большим, нежели долгом перед памятью Урицкого, но выбор куратора городской охраны и исправительных учреждений оказался удачным. Предоставив чекистам борьбу с контрреволюцией, Каплун сосредоточил усилия своих милиционеров на восстановлении в городе элементарного бытового правопорядка. Он воевал с бандами грабителей-«попрыгунчиков», создавал воспитательные колонии для проституток и беспризорников, громил игорные притоны и воровские «малины», а во время голодного зимнего мора разработал проект строительства городского крематория. Политику Каплун, по возможности, игнорировал, в милицейском хозяйстве распоряжался, как в своей вотчине, и очень сочувствовал всем бедствовавшим интеллигентам, невзирая на их убеждения. Посланцев «Дома Искусств» он немедленно отправил в коммуну Горохра на Троицкой улице с предписанием зачислить всех в штат как сотрудников просветительского отдела.

– Не беспокойтесь, жалованье и паек вы будете получать с завтрашнего дня – а просвещать не торопитесь.

– Но мы действительно, *на самом деле* хотим давать уроки и вообще работать, – сказал Чуковский.

Начиная с февраля, Гумилев по понедельникам рассказывал о стихах морякам в Балтфлоте, по вторникам – милиционерам в Горохре, по средам – рабочим в Пролеткульте, по четвергам – актерам в «Живом слове», по пятницам – начинающим писателям и переводчикам в студии «Дома Искусств». Помимо того, в клубе военных курсантов он подменял Чуковского, у которого недавно произошло прибавление семейства. Вероятно, Гумилев побывал и в колонии «сознательных проституток», где Чуковский, по просьбе Каплуна, вел литературный кружок. Эти вставшие на путь исправления проститутки работали уборщицами и вахтерами в различных учреждениях Петросовета. Каплун придумал награждать их красными косынками – в знак приобщения бывших блудниц к революционному пролетариату[499].

– А казалось бы, – недоумевал Гумилев, – красный фригийский колпак, символ Великой французской революции, для большевиков самое святое… И вот что вышло!

Уму непостижимо, как при подобном «расписании занятий» Гумилев умудрялся выкраивать время для письменной работы. Между тем за зимние месяцы он сдал во «Всемирную литературу» том «Французских народных песен», переводы поэм Гейне «Вицли-

Пуцли» и «Бимини», а также отредактировал около десятка рукописей. В группе авторов «Исторических картин» (с начала года – отдельной секции в редакции «Всемирки») он тоже являлся безусловным лидером, написав пьесу о первобытных людях «Охота на носорога», рыцарскую театральную инсценировку «Фальстаф» (по произведениям Шекспира) и киносценарии «Гарун-аль-Рашид» и «Жизнь Будды». В начале марта Гумилев – уже на последнем дыхании, спешно – подготовил для «русской» серии Гржебина том избранных произведений А. К. Толстого. Добросовестный Чуковский немедленно отругал Гумилева за небрежную работу. Впрочем, и Чуковский валился с ног.

– Просветители из-под палки! – горько восклицал он. – Проповедники из-за пайка! О, если бы мне дали месяц просто сесть и написать то, что мне самому дорого!..

Все усилия казались ничтожными. Рукописи лежали без движения – типографской бумаги не было нигде! А вырастить новое поколение поэтов в одичавшем и разоренном Петрограде Гумилеву, по-видимому, было не суждено. Особенно раздражали его пролеткультовцы.

– Пролетарской поэзии не существует! – бушевал он на занятиях. – Могут быть только пролетарские мотивы в поэзии. Каковы бы ни были стихи – пролетарские или непролетарские – но пошлости в них не должно быть. А ваши «барабаны», «вперед», «мозолистые руки», «смелее в бой» – это все пошлости!

От горьких размышлений Гумилева оторвала Рада Попова, зашедшая за обещанными селедками из академического пайка. Гумилев критически осмотрел ее клетчатое пальто и принесенный букет сирени, какими уже вовсю торговали уличные мальчишки.

– Вот Вам задание – стихами, что хотите, о сирени, не более трех строф, ямбом. Не задумываясь. Даю Вам пять минут.

Попова на секунду зажмурилась.

Прозрачный, светлый день,
Каких весной не мало,
И на столе сирень
И от сирени тень.
Но хочет Гумилев,
Чтобы без лишних слов
Я б ямбом написала
Об этой вот сирени
Не более трех строф
Стихотворенье.

– Неплохо! – удивился Гумилев. – Даже очень неплохо! Вы делаете мне честь как ученица. Только, извините, Ваша нынешняя фамилия для поэта нехороша. Да и девичье имя – Ираида Гейнике – тоже как-то…

– А материнская фамилия – *Одоевцева? **Ирина Одоевцева***?

– А вот это то, что надо! Предсказываю – Вы скоро станете знаменитой. Очень скоро.

30 апреля на домашнем вечере в честь переехавшего из Москвы в Петроград Андрея Белого он торжественно представил дебютантку:

– Одоевцева. Моя ученица.

– Вы ученица! – заблажил, по своему обыкновению, Белый. – Как это прекрасно! Всегда, всю жизнь оставайтесь ученицей!! Учитесь!! Мы все должны учиться!!! Мы все, все ученики!!!

Когда он угомонился, Одоевцева, строгая и серьезная без своего обычного банта, стала читать:

Солдат пришел к себе домой —
Считает барыши:
«Ну, будем сыты мы с тобой —
И мы, и малыши.
Семь тысяч. Целый капитал
Мне здорово везло:
Сегодня в соль я подмешал
Толченое стекло».
Жена вскричала: «Боже мой!
Убийца ты и зверь!
Ведь это хуже, чем разбой,
Они умрут теперь…»

– Это Вы сами написали?! – воскликнул Георгий Иванов. – Сами? Почему же ты так долго молчал? – набросился он на Гумилева. – Это то, что сейчас нужно, – *современная баллада*! Какое широкое эпическое дыхание, как все просто и точно…

Жаркая ранняя весна бушевала над городом. Вместе с запущенными, разросшимися городскими садами зацвели целые кварталы пустырей, образовавшихся на месте разобранных зимой деревянных домов. Трава колосилась на улицах, пробиваясь через сгнившие торцы дощатых мостовых. В Гостином Дворе на Невском можно было собрать большой букет полевых цветов. В такую весну избежавшие зимней гибели горожане теряли голову. Все жили сегодняшним днем. «Начались романы, – писал один из обитателей «Дома Искусств». – Все было голое и открытое, как открытые часы; жили с мужчинами потому, что поселились в

одной квартире. Отдавались девушки с толстыми косами в 5 часов дня потому, что трамвай кончался в шесть». На Арбенину рядом с Гумилевым никто не обращал внимания. Только близорукий Михаил Кузмин, повстречав влюбленную парочку, рассказывал знакомым:

– Как наше время меняет людей! Мне никогда не нравилась новая жена Гумилева, а сегодня понравилась – поумнела, похорошела…

Когда Михаилу Алексеевичу разъяснили ошибку, он перекрестился:

– Господи, помилуй!

«Мы много говорили, но, главное, о любви, – вспоминала Арбенина. – Очень стыдно, но мне этот разговор никогда не надоедал… Я равнодушно относилась к его поездкам в Бежецк, где была его семья, и смотрела на Аню как на случайность». Арбенина обладала ураганным темпераментом. После спектаклей Александринского театра, в труппе которого Ольга Николаевна подвизалась на второстепенных ролях, количество поклонников, желавших проводить юную актрису, затмевало свиты примадонн. Гумилев сравнивал ее с хмельной валькирией, кружащейся в языческой Валгалле:

Все забыл я, что помнил ране,
Христианские имена,
И твое лишь имя, Ольга, для моей гортани
Слаще самого старого вина.

Стихи вновь не оставляли его. «Африканский» цикл Гумилев триумфально исполнил на апрельском авторском вечере в «Доме Искусств», закончив выступление готтентотской легендой[500] о возникновении людских племен из разлетевшихся по свету перьев волшебной птицы:

Вновь срастутся былые части
И опять изведают счастье.
В белых перьях большая птица
На своей земле поселится.

– Вы заметили, почему Гумилеву так аплодируют? – спросил Чуковского пролеткультовец Павел Арский.

– Напишите Вы такие стихи, и Вам будут аплодировать.

– Ну, не притворяйтесь, Корней Иванович! Птица-то какая? *Белая*! Ясно, что намек на Деникина и прочую белогвардейскую

сволочь. Вот все и рады.

Чуковский испуганно посмотрел на Арского.

Московское наступление Деникина провалилось, армия Юденича была интернирована в Эстонии, заключившей с РСФСР мирный договор, а Колчака, брошенного союзниками, два месяца тому назад расстреляли в Иркутске. «Поход 14-ти государств» бесславно завершился, но победа, кажется, еще больше ожесточила большевиков. Чуковского и Мстислава Добужинского уже вызывали в Комиссариат Просвещения, где истеричная Злата Лилина и подвизавшийся у нее комиссаром бывший художественный критик «Аполлона» Николай Пунин с пристрастием расспрашивали о настроениях обитателей «Дома Искусств»:

– Почему ваши преподаватели, работая по всему городу, не приписаны к нашим секциям и отделам? Не притворяйтесь. Ясно, что эти буржуазные отбросы ненавидят нас…

После поэтического вечера друзья настоятельно посоветовали Гумилеву быть осторожнее:

– Видите, что Ваши суждения о поэзии и Ваш высокомерный тон лишь восстанавливают этих пролетарских поэтов против Вас же. А от негодования сейчас всего только один шаг к доносу в «чрезвычайку».

– Только так и надо с ними разговаривать, – отвечал Гумилев. – Этим я поднимаю в их глазах поэзию. Пусть и они таким тоном говорят, если они действительно поэты:

Мне муза наша с детских лет знакома,
В хитоне белом с лирою в руке.
А ваша муза – в красном колпаке,
Как проститутка из Отделнаркома!

VIII

Встреча с Ларисой Рейснер. «Красная» интеллигенция. Новое амплуа Сергея Городецкого. «Союз поэтов». Работа над «Поэмой начала». Летние неурядицы. В невской Сосновке. «Шестое чувство». Осенний Петроград. Герберт Уэллс. Скандал в Балтфлоте. Владимир Таганцев и знакомство с Голубем.

18 июля Гумилев, завернув по пути на Моховую улицу в Летний сад, лицом к лицу столкнулся с Ларисой Рейснер, недавно появившейся в Петрограде в качестве жены и старшего флаг-секретаря нового командующего Балтийским флотом Федора Раскольникова. Воцарившаяся в Адмиралтействе супружеская чета была окружена фантастической молвой. Говорили, что во время Октябрьского переворота они организовали обстрел Зимнего дворца из пришвартованного на Неве крейсера «Аврора». Им приписывали главную роль в разгоне Учредительного собрания и в расправе над бывшими министрами Керенского Андреем Шингаревым и Федором Кокошкиным, которых разъяренные матросы растерзали в Мариинской больнице. По слухам, именно Раскольников и Рейснер по приказу Троцкого заманили в смертельную ловушку непокорного командира Балтфлота Алексея Щастного. В «Доме Искусств» судачили, что после прошлогоднего пленения Раскольникова Рейснер собирала группу головорезов для… штурма Ревеля (потом узника просто поменяли на каких-то английских шпионов). Последним подвигом супругов стал недавний набег краснофлотцев на турецкое побережье Каспия и захват порта Энзели вместе с базировавшейся там эскадрой «белых». После этой громкой победы Раскольников со своим «флаг-секретарем» и получили от Троцкого в безраздельное *семейное* владение весь Балтийский флот. И вот теперь Лариса Рейснер, исхудавшая и желтая после перенесенного только что очередного приступа персидской тропической малярии, сидела перед Гумилевым на скамье Летнего Сада.

Разговора не получилось. Гумилев сухо заметил, что Ларисе Михайловне на редкость впечатляюще удалось воплотить мечту героини «Гондлы»:

Чтобы кровь пламенела повсюду,
Чтобы села вставали в огне…

На том и откланялся. Сведущие флотские знакомые утверждали, что миловидный «флаг-секретарь» при случае ругается матом не хуже матерого боцмана, а ее высокомерная жестокость к подчиненным затмевает барское самодурство крепостных времен. Так ли это на самом деле Гумилев, разумеется, не знал, но зрелище «Лери» в облике красной фурии было ему неприятно.

Как и большинство завсегдатаев «Дома Литераторов» и насельников «Диска», Гумилев надеялся на повторение истории Великой французской революции, где, в ходе военной и общественной борьбы, на смену политикам-экстремистам, вроде Робеспьера и Сен-Жюста, пришли здравомыслящие республиканцы, а там подоспел и великий Наполеон Бонапарт, положивший конец произволу[501]. Однако верх в России явно одерживали такие вот безоглядные большевики, вроде преобразившейся Ларисы Рейснер, ее лихого морского комиссара Раскольникова и их кремлевского вдохновителя Льва Давыдовича Троцкого. «Белые» были разгромлены по всей стране, сохранив за собой только Крым, защищенный мощными укреплениями Перекопа, и далекое Приморье. Не сложившие оружие участники «белого» движения пробирались теперь к польским войскам маршала Юзефа Пилсудского, воевавшим с Красной Армией за пограничные западные земли Белоруссии и Литвы. На исходе минувшего года туда сбежали из Петрограда Мережковский, Зинаида Гиппиус и Философов, захватив с собой бывшего «арионовца» Владимира Злобина. Похоже, в России повторялся не восемнадцатый, а какой-то тринадцатый век, с его альбигойскими крестовыми походами и Золотой Ордой[502].

– Мы сейчас снова живем в эпоху средневековья, т. е. когда люди задаются большими замыслами, колеблются между Богом и Дьяволом, – говорил Гумилев. – Не исключена возможность, что и я, в конце концов, окажусь одним из средневековых авантюристов…

На следующий день в Зимнем Дворце открывался конгресс *Коминтерна* (коммунистического интернационала). В Петроград приехал Ленин со всей свитой московских «вождей». Городской центр наводнили толпы оживленных разноязычных делегатов, на затянутой кумачом стрелке Васильевского острова шли последние репетиции ночной театральной феерии «К Мировой Коммуне». А в зале «Дома Литераторов», для двух-трех десятков оборванных, полуголодных интеллигентов, притащившихся послушать лекцию историка Льва Карсавина, Ирина Одоевцева читала «Балладу о толченом стекле», грозя погибелью убийце-красноармейцу:

И принесли его в овраг,
И бросили туда,
В гнилую топь, в зловонный мрак —
До Страшного Суда!

Среди сдержанных «профессорских» аплодисментов, раздался громкий иронический кашель и стук отодвигаемого стула. Лариса Рейснер, вызывающе стуча каблучками, стремительно покинула зал. Оказывается, из Зимнего Дворца она поспела и сюда! Когда же июльские сумерки, наконец, сгустились над Невой, миноносцы Балтфлота, специально вставшие на невском рейде, навели лучи своих прожекторов на Биржевую площадь. На монументальном портале и боковых парапетах Биржи, на постаментах пылающих Ростральных маяков и прямо посреди сорокапятитысячной толпы, собравшейся со всего города, «рабы» восставали на «господ». Падали на мраморные ступени расстрелянные коммунары, суетились лысые, очкастые социал-демократы с огромными книгами в руках, в артиллерийском дыму шли солдаты мировой войны. Рухнул с высоты двуглавый российский орел, затряслось над головами вздернутое потешное чучело казненного Государя. Под дождем из красных звезд портал Биржи заняли колонны победителей-большевиков, которых приветствовали народы всего мира с эмблемами, цветами и гроздьями винограда… «Все мертвое и все живое Петербурга заговорило внятно и почти одновременно, – писала Рейснер в очерке, вскоре появившемся на страницах «Красной газеты». – Первое в форме крошечной комедии, второе – на немом языке мистерии». Скромному собранию в «Доме Литераторов» она уделила не меньше внимания, чем огненному действу на Биржевой, и в выражениях не стеснялась. Больше всего досталось Одоевцевой с ее балладой.

– Читайте! – Гумилев указал Одоевцевой на газетный листок. – Только дайте я Вас под руку возьму, чтобы Вы в обморок не упали. Лариса Рейснер Вас прославила! Да еще как! Обо мне в «Красной газете» фельетонов еще не появлялось…

Гумилев не переставал удивляться брожению умов, происходившему среди былых знакомцев. Певец сверхчеловеков Валерий Брюсов славил Ленина. Вячеслав Иванов угадывал в Коммуне свою любимую «мистерию соборности». Всеволод Мейерхольд демонстративно носил черную кожаную куртку – одежду комиссаров и чекистов. Постановщиком действа о Мировой Коммуне – с подвешенным царским чучелом и красным звездным дождем – был Сергей Радлов, прилежный участник былого «Цеха поэтов». Да что там Радлов! Из Каспийского

политуправления Лариса Рейснер извлекла… Сергея Городецкого, который теперь работал под ее началом в политуправлении Балтфлота. Встречаясь с Гумилевым, перековавшийся, неузнаваемый Городецкий нес такую околесину, которой постыдились бы даже в Пролеткульте:

– Не тому, не тому ты учишь народ, Николай!..

– Но ты же знаешь о Леконте де Лиле, – обозлился Гумилев, – почему бы не узнать о нем рабочему и крестьянину? Почему они должны встречаться с литературой не в библиотеке, а лишь на улице, под выкрики митинговых ораторов?

Большевики, похоже, всерьез взялись за интеллигенцию, действуя с иезуитской изощренностью, то пряником, то кнутом:

> Прежний ад нам показался раем,
> Дьяволу мы в слуги нанялись,
> Оттого что мы не отличаем
> Зла от блага и от бездны – высь.

В Петрограде эта «борьба за души» стала особенно заметна, когда в июне на подмогу к суровой, похожей на пожилую сельскую акушерку Злате Лидиной в Комиссариат Просвещения явилась ангелоподобная поэтесса Надежда Павлович[503], посланница московского *«Сопо»* – «Союза поэтов». В отличие от петроградской «Всемирной литературы» или московского же «Союза писателей»[504], «Союз поэтов» имел особый мандат Совнаркома на издательскую и иную коммерческую деятельность. Собирая петроградских литераторов под сводами бывшего Министерства просвещения на Чернышевой площади, Павлович рассказывала удивительные вещи. По ее словам, все участники «Союза» имели преимущество в получении бумаги для выпуска собственной стихотворной продукции и приравнивались к особой категории государственных служащих при получении пайка и прочих благ:

– Маяковский говорит: «Коммуна! Кому – на! Кому – нет! Кому – зубы прикладом выставила, кому – как мне – вставила зубы». И улыбается великолепной новой вставной челюстью… А Есенин с Мариенгофом…

Целыми зубами никто из петроградцев после двух лет постоянного голода похвастаться не мог. Да и книги в Петрограде, как было уже всем понятно, оказалось не по силам издавать даже Горькому. Типография «Копейки» окончательно встала. Рабочих-печатников переводили из нее на другие предприятия, а Гржебин с Тихоновым путешествовали с наборными рукописями по Эстонии и Финляндии, пытаясь там

возобновить публикации выпусков «Всемирной литературы». Александр Блок, благоволивший к Павлович, заводил с Гумилевым и другими «всемирниками» келейные беседы на Моховой:

– Мы все тут разные, может быть, и общего языка не будет. Но материальная помощь нужна многим, нужны пайки, нужна книжная лавка. А «Союз поэтов» может все это организовать. Начнем с материальной заботы о наших поэтах, а может быть, выйдет и что-нибудь большее…

Возразить ему было сложно. Гумилев мог сам наблюдать, как разрушаются от беспросветной нужды упрямые затворники-одиночки, подобные Владимиру Шилейко. У ассиролога, продолжавшего трудиться над своей клинописью, от истощения явно мутился рассудок, а Ахматова рядом с ним постепенно превращалась в ужасный скелет, покрытый лохмотьями. Зная по слухам, что Шилейко стал настоящим тираном, одержимым манией ревности, Гумилев старался незаметно передать Ахматовой какой-нибудь гостинец – конфету или булочку. Ничем другим он помочь не мог. Неутомимый Горький организовал для таких голодающих бедолаг благотворительный «Комитет по улучшению быта ученых» (КУБУ), и Ахматова терпеливо ждала у окна появления подводы, развозившей пайки с крупой и воблой, а увидев, радовалась:

– Вот едет горькая лошадь!

В июле петроградское отделение «Союза поэтов», провозглашенного тогда же «всероссийским», приступило к работе. Председателем был избран Блок, поручивший Надежде Павлович формировать президиум. Гумилев ограничился местом в приемной комиссии. Куда больше в эти дни его занимала странная поэма о доисторическом мире земноводных чудовищ и о возникновении словесного разума. Отрывки из нее он читал на весенних занятиях в студии «Дома Искусств»:

– Поэт должен быть знаком с историей, с географией, с мифологией, с астрологией, с алхимией, с наукой о драгоценных камнях. Это – незаменимые источники образов, в совокупности своей составляющие целую науку – *эйдологию*[505]. В результате моих долгих занятий мифологией я написал следующие стихи…

Слушатели недоумевали. По словам Гумилева, о мудрых драконах, допотопных исполинах, небесных духах, волшебных растениях и минералах ему предстояло написать то ли двенадцать, то ли восемнадцать больших эпических песен, которые составят в итоге шесть книг огромной «Поэмы Начала». Острословы «Дома Искусств» шутили, что Гумилеву никак не дает покоя слава Данте или Гете, и на все лады потешались над

«эйдологией». Но он ушел в свою поэму с головой, штудируя сочинения античных философов-гностиков, труды неоламаркистов[506] и богословские книги. От ученых занятий его оторвала Анна Николаевна, приехавшая на очередную краткую «побывку» в Петроград. Ольга Арбенина, уже привыкшая смотреть на Гумилева как на свою полную собственность, немедленно принялась разыгрывать перед простодушной подругой роль преданной наперстницы, всюду сопровождая ее. Никакие резоны Арбенина не принимала, и Гумилев вынужден был постоянно появляться на публике в компании обеих дам, только гадая, какие пересуды о его «гареме» вызывает каждый подобный визит. Кое-как ему удалось сохранить при такой игре пристойную мину и, благополучно избежав семейного скандала, отправить жену обратно в Бежецк.

2 августа в «Доме Искусств» состоялся «Вечер Н. Гумилева», а двумя днями позже в театральном зале Тенишевского училища (преобразованного после переезда «Живого Слова» в образцовую «Трудовую школу № 15») прошло первое открытое заседание «Союза поэтов». Председательствующий Блок особо приветствовал среди собравшихся Ларису Рейснер и Сергея Городецкого, которые «не бьются беспомощно на поверхности жизни, где столько пестрого, бестолкового, темного, а прислушиваются к самому сердцу жизни, где бьется – пусть трудное, но стихийное, великое и живое, то есть они связаны с жизнью». Надежда Павлович выразила надежду, что в Петрограде вскоре образуется «поэтический фронт новой революционной поэзии, принявшей советскую жизнь и связанной с массами». Оказавшаяся чудесным образом в президиуме «Союза» Мария Шкапская, многолетняя политэмигрантка, помянула в стихах убиенного Марата…[507] В зале переглядывались. Стало ясно, что новорожденный «Союз» превращается то ли в филиал *Побалта* (отдела политпросвещения Балтфлота), то ли во вспомогательную секцию Наркомпроса.

Вероятно, Гумилев пропустил это заседание. В начале августа Волковысский раздобыл для членов правления «Дома Литераторов» путевки в летний пансионат для рабочих, недавно открытый на бывшей даче полковника Чернова в далекой правобережной Сосновке, куда через Неву ходил один паровой паром. Там, на невском приволье вдали от комиссаров, лозунгов, заседаний, резолюций и чекистских кожаных курток, Гумилев и обосновался сразу после выступления в «Диске». В компании литераторов, журналистов, ученых и пролетарских прелестниц, постоянно окружавших знаменитостей, он декламировал стихи, играл в шахматы, участвовал в самодеятельных концертах и

ходил слушать местных цыган. В гости к нему на пароме приезжала Ольга Арбенина. «Он встретил меня и снял с пригорка (берег был скалистый), и мы пошли по дороге, – вспоминала она. – У меня было белое легкое платье (материя из американской посылки) и большая соломенная шляпа. На пригорках сидела целая куча ребят (не цыганята, а русские дети). Они сказали хором Гумилеву: «Какая у Вас невеста красивая!» Он был очень доволен, а я смутилась». Арбениной в очередной раз предлагал руку и сердце один из ее поклонников.

– У нас с ним, – сказал Гумилев, выслушав ее, – такая разница. Я как старинная монета, на которую практически ничего не купишь, а он – как горсть реальных золотых монет.

Гумилев уже завершил первую песнь «Поэмы начала» и принимался за вторую, когда и мифологические драконы, и вечерний рай Сосновки, и откос над Невой, и тревожная Арбенина в белом платье соединились вдруг, неожиданно, в одном стихотворном порыве. В шести строфах этого нового стихотворения было все, что он силился сказать в «Поэме начала» – и первозданная воля всего живого к творчеству, мучительно преображающая мироздание, и безудержное томление любви, и страстный порыв земнородных тварей к небу. И, записав последнюю строфу, Гумилев понял, что оставшиеся шестнадцать песен поэмы уже не очень нужны:

Так, век за веком, – скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

После безмятежной Сосновки тревога, нараставшая в Петрограде по мере наступления осени, была особенно заметной. Знаменитый писатель-фантаст Герберт Уэллс, приехавший в РСФСР корреспондентом лондонской «The Sunday Express», вспоминал, как испуганно ежились в сентябре 1920 года петроградцы при первых порывах холодного ветра. «Повсюду, где только можно, вдоль набережных, посреди главных проспектов, во дворах лежат штабеля дров, – писал он в своих очерках. – В прошлом году температура во многих жилых домах была ниже нуля, водопровод замерз, канализация не работала. Читатель может представить себе, к чему это привело… Эта зима, возможно, окажется не такой тяжелой. Говорят, что положение с продовольствием также лучше, но я в этом сильно сомневаюсь». Пропаганда не обманывала никого – готовились к забастовкам и голодным бунтам. Секретный отдел «чрезвычайки» составлял

двухнедельные сводки по доносам агентов, перлюстрированным письмам и городским слухам. Гумилеву вновь советовали: осторожнее, осторожнее, осторожнее…

Но осторожнее не получилось. Когда на сентябрьском вечере «Союза поэтов» в «Диске» Блок вдруг принялся пугать одичавших за годы военного коммунизма петроградцев ужасами… царского времени, Гумилев деликатно промолчал и только прыснул в кулак, услыхав как «царь огромный, водянистый, в коляске едет со двора»:

– Это краски бывают водянистыми, а к царю – даже если Александр III и был болен водянкой – такой эпитет неприложим. Как же Блок не чувствует этого?

Но когда Мария Шкапская стала воспевать с эстрады палачей маленького царевича Алексея –

И он принес свой выкуп древний
За горевых пожаров чад,
За то, что мерли по деревне
Мильоны каждый год ребят,

– Гумилев не выдержал и возмутился вслух, а за ним – другие «союзные» поэты и зрители. Возник шум и скандал, после которого Анна Радлова и поэтесса Наталья Грушко расцеловали Гумилева, умоляя его спасти «Союз поэтов» от «красных» пропагандистов и взять на себя роль председателя.

Гумилев, не желавший ссоры с Блоком, попытался отшутиться. Но ропот не унимался. Вскоре с подачи Надежды Павлович заговорили об особом гумилевском «клане», объединившем писателей, «не принимающих Октябрьской революции». Грянул гром и в Балтфлоте. Гумилев, чеканивший в зале Морского корпуса стихи о своей встрече с мусульманским пророком в африканском Шейх-Гуссейне, громко оповестил собравшихся:

Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего Государя!

«По залу прокатился протестующий ропот, – вспоминала Одоевцева. – Несколько матросов вскочило. Гумилев продолжал читать спокойно и громко, будто не замечая, не удостаивая вниманием возмущенных слушателей. Кончив стихотворение, он скрестил руки на груди и спокойно обвел зал своими косыми глазами, ожидая аплодисментов. Гумилев ждал и смотрел на

матросов, матросы смотрели на него. И аплодисменты вдруг прорвались, загремели, загрохотали».

Тут уже заговорил весь город:

– Слыхали? Гумилев-то? Так и заявил матросне с эстрады: «Я монархист, верен своему Государю и ношу на сердце его портрет». Какой молодец, хоть и поэт!

Литературную студию при Побалте затормозили, а Гумилев лишился балтфлотского пайка. К счастью, тем дело и ограничилось. Но и пайковое наказание (на котором настояла Рейснер) было суровым – цены на продукты и одежду достигли астрономических высот. Еще стояли теплые и ясные дни, а смертное зимнее томление повергало в панику даже неробких духом. На прощальном банкете в честь Уэллса, устроенном в «Доме Литераторов», прозаик Александр Амфитеатров после слов англичанина о «курьезном историческом опыте, который развертывается в стране, вспаханной и воспламененной социальной революцией», неожиданно устроил истерику:

– Вы ели здесь рубленые котлеты и пирожные, но вы, конечно, не знали, что эти котлеты и пирожные, приготовленные специально в Вашу честь, являются теперь для нас чем-то более привлекательным, более волнующим, чем наша встреча с Вами… Ни один из здесь присутствующих не решится расстегнуть перед вами свой жилет, так как под ним не окажется ничего, кроме грязного рванья, которое когда-то называлось, если я не ошибаюсь, «бельем»…

Гумилев прервал повисшую паузу:

– Parlez de vous[508], коллега! Насчет белья…

Он мудро воздержался от объяснений с Балтфлотом и вел себя на людях исключительно ровно. Но в приватных беседах с добрыми знакомыми, вроде старого журналиста-путешественника Василия Ивановича Немировича-Данченко, отводил душу:

– Не будет у нас ни Термидо́ра, ни Брюмме́ра[509]. Наши каторжники крепко взяли власть. На переворот в самой России – никакой надежды. Все усилия тех, кто любит ее и болеет по ней, разобьются о сплошную стену небывалого в мире шпионажа. Ведь он просочил нас, как вода губку. Нельзя верить никому. Из-за границы спасение тоже не придет. Большевики, когда им грозит что-нибудь оттуда – бросают кость. Ведь награбленного не жалко. А торговать, как говорят сами англичане и французы, можно и с каннибалами… Бежать отсюда, что ли?

Разговоры о побеге постоянно затевались в эти дни в столовой «Дома Литераторов». Впрочем, мало кто верил в осуществимость подобных планов.

– Все кругом предатели, – сокрушалась за морковным чаем

какая-то древняя старушка в вязаной кофте.

– Ну зачем же все, – любезно возразил ей моложавый университетский приват-доцент Владимир Таганцев. – Если хотите бежать за границу – бегите с Голубем. Он не предаст.

Таганцев был воспитан на традициях петербургской либеральной интеллигенции, всегда оставлявшей за собой право на инакомыслие и поддержку политических диссидентов. Он помогал переправлять за границу гонимых беглецов, принимал у себя нелегальных курьеров, брал на хранение деньги и сам добывал средства «на борьбу с режимом». Собственные его интересы отстояли от политики очень далеко: талантливый ученый-естественник, он много лет с успехом занимался почвоведеньем и активно разрабатывал идею обработки полей донным илом (сапропелем). Однако общественную деятельность Таганцев почитал гражданским долгом и истово следовал заветам российского просвещенного свободолюбия.

– Кто такой Голубь? – спросил у Таганцева Гумилев.

– Настоящий конквистадор, Николай Степанович, как в Ваших стихах. Молодой еще человек, гвардейский офицер. Теперь – то ли британский, то ли финский, то ли французский агент. Конспиратор от Бога. Ходит через границу чуть не каждый день. Сегодня в Петербурге, завтра в Гельсингфорсе, через неделю опять в Петербурге. А Вы что, тоже бежать хотите?

Гумилев постучал папиросой о крышку черепахового портсигара.

– Там посмотрим. Интересно бы встретиться. Люблю таких людей.

Вскоре на Преображенскую явился бритый красавец с пронзительными ледяными глазами и безукоризненной военной выправкой:

– Здравствуйте! Я от Таганцева. Я – Голубь.

IX

Беседы с Голубем. Переворот в «Союзе поэтов». Панихида по Лермонтову. Возвращение Мандельштама. Поездка в Москву. Вечер в Политехническом. Владимир Маяковский. Во Дворце Искусств. Н. Я. Серпинская. Лекция в Бежецке. Забавы предзимнего сезона. Нина Шишкина. Пуск крематория. Петроградские заговорщики.

Он оказался очень осведомленным. Не тратя лишних слов, Голубь обрисовал Гумилеву положение в стране. На западе войска Пилсудского контратаковали «красных» и дошли до Гродно и Минска. На юге «белые» вырвались из Крыма и заняли Северную Таврию. А в Тамбовской губернии произошло массовое восстание крестьян, объединившихся против большевиков в Партизанскую армию.

– Ну, что творится в Петрограде, Вы сами видите… Разумеется, большевики все скрывают. Если желаете – могу достать свободную прессу.

Вскоре он, действительно, принес кипу русских заграничных газет, из которых Гумилев понял, что «белое» движение сменило лозунги. Вместо «единой и неделимой» его новые вожди ратовали за «волю народа в устроении государства» и за «Советы без коммунистов», явно рассчитывая на поддержку внутри РСФСР. Но в целом у «белых» царил многословный разнобой, вникнуть в который свежему человеку было непросто. К тому же, маршал Пилсудский, отбив для Польши западные земли Украины и Белоруссии, явно не спешил штурмовать Москву, а напротив, вступил с Лениным в переговоры. По крайней мере, в Петрограде большевики продолжали вести себя как несокрушимые победители. Особенно усердствовало новое командование Балтфлота. Адмиралтейская резиденция Раскольникова блистала роскошью – ковры, картины, майолика, бронза, дорогие вина, деликатесы и хозяйка в вечерних туалетах из экзотических тканей. Появляясь в Доме Мурузи, где в сентябре утвердился «Союз поэтов», Лариса Рейснер ловила негодующие взгляды, но только пожимала плечами:

– Мы – полезны. Мы строим новое государство. Мы нужны людям. Наша деятельность созидательная, а потому было бы лицемерием отказывать себе в том, что всегда достается людям, стоящим у власти.

Это действовало, особенно на молодежь. Гумилеву оставалось только наблюдать, как бывшие ученики соревнуются на заседаниях «Союза поэтов» в революционном нигилизме и

богохульстве:

Я не могу терпеть младенца Иисуса
С толпой его слепых, убогих и калек…[510]

– Я Вас понимаю, товарищ! Стихи очень хорошие… – уверенно прерывала всеобщее молчание Рейснер. Никто, кроме Гумилева, не протестовал, хотя за глаза возмущались многие, ругая на чем свет стоит «красный президиум». Доставалось и Блоку:

– Вы, Николай Степанович, лучше его!

– Бросьте! – обрывал Гумилев. – Я ведь знаю, что Вы к Блоку на поклон ходите. Твердите ему, что я в подметки не гожусь…

Однако на октябрьских выборах в «Союзе поэтов» Гумилев оказался в составе президиума, а Павлович, Шкапская и другие креатуры Блока были «забаллотированы». Обиженный Блок хотел немедленно подать в отставку, но Гумилев уговорил председателя «Союза» сменить гнев на милость. «Гумилев, действительно, высоко ценил Блока как поэта, – рассказывал Всеволод Рождественский. – Однажды после долгого и бесплодного спора Гумилев отошел в сторону, явно чем-то раздраженный.

– Вот смотрите, – сказал он мне. – Этот человек упрям необыкновенно. Он не хочет понять самых очевидных истин. В этом разговоре он чуть не вывел меня из равновесия…

– Да, но Вы беседовали с ним необычайно почтительно и ничего не могли ему возразить.

Гумилев быстро и удивленно взглянул на меня:

– А что бы я мог сделать? Вообразите, что Вы разговариваете с живым… Лермонтовым. Что бы Вы могли ему сказать, о чем спорить?»

Лермонтова Гумилев последнее время вспоминал постоянно, как будто мысль об убитом поэте почему-то не выходила у него из головы. 15 октября он внезапно предложил Одоевцевой отслужить панихиду по «*болярину Михаилу*»:

– Подумайте, мы с Вами, наверное, единственные, которые сегодня, в день его рождения, помолимся за него. Единственные в Петербурге, единственные в России, единственные во всем мире… Никто, кроме нас с Вами, не помянет его…

Когда запели *«со святыми упокой»*, Гумилев опустился на колени и не поднимался уже до конца панихиды.

– Скажите, – спросил он, покинув Знаменский храм, – Вы не заметили, что священник ошибся один раз и вместо «Михаил» сказал «Николай»?

Одоевцева покачала головой. Гумилев недоверчиво улыбнулся и закурил папиросу.

– Неделю тому назад я видел сон, – признался он. – Нет, я его… не помню. Но, когда я проснулся, я почувствовал ясно, что мне осталось жить совсем недолго, несколько месяцев, не больше. И что я очень страшно умру… Что за чушь – я уверен, что проживу до ста лет! Давайте пообещаем друг другу, поклянемся, что первый, кто умрет, явится другому и все, все расскажет, что там. Повторяйте за мной: «Клянусь явиться Вам после смерти и все рассказать, где бы и когда бы меня ни постигла смерть». Клянусь!

– Клянусь! – повторила Одоевцева.

21 октября «Союз поэтов» провел первый после перевыборов правления поэтический вечер в Доме Мурузи. «Верховодит Гумилев – довольно интересно и искусно… – отметил в дневнике Блок. – Гвоздь вечера И<осиф> Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме». Появление Мандельштама (с рукописью новой книги стихов «Tristia»[511]) стало сенсацией. В Петрограде его не видели около двух лет. Встретив ленинский переворот разрушительными стихами, он месяца через три, неожиданно для всех, уверовал в большевиков, поступил клерком в какую-то «коллегию» Совнаркома и переехал вместе с новым правительством в Москву. Гумилев, вернувшись в Россию, застал мелькавшего в 1918 году между двумя столицами Мандельштама сначала пламенным революционером, потом – запуганным диссидентом, врагом московских чекистов[512]. Вскоре, от греха, он уехал на юг, откуда вестей долгое время не доходило, и вот теперь – поселился в одной из комнат «Дома Искусств». Судя по его рассказам, от минувшего лихолетья Мандельштам получил сполна: голодал, побирался, временами едва не бродяжничал. Гибелью ему грозили не только «белые» в Крыму, но и «зеленые» на Украине, и социалисты-«меньшевики» в Грузии. От былого революционного энтузиазма в авторе «Tristia» не осталось следа. Гумилев вновь видел перед собой прежнего единомышленника-акмеиста:

> За блаженное, бессмысленное слово
> Я в ночи советской помолюсь[513].

На вечере «Союза поэтов» Гумилев произнес приветственную речь, в которой восхвалял неизменное стремление Мандельштама к высокому искусству, сознающему себя вне политики и разрушительной мистики. Блок, разумеется, принял сказанное как камень в свой огород, но аполитичные «Скорбные песни»

задели и его за живое («Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь, «жидочек» прячется, виден артист»). А финальный гимн «веницейской жизни, мрачной и бесплодной» окончательно сразил всех петроградских слушателей Мандельштама:

Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
Как от этой смерти праздничной уйти?

«Дворцовый переворот», устроенный в петроградском отделении «Союза поэтов», удивил Москву, извещенную о происшедшем жалобами Надежды Павлович. Необходима была личная дипломатия, и в конце месяца Гумилев, оформив в «Доме Литераторов» мандат на служебную командировку («для участия в литературном вечере современной поэзии, устраиваемом Культурнопросветительским отделом Дома литераторов при Наркомпросе в Политехническом музее»), отправился в «красную» столицу в компании Михаила Кузмина и Натальи Грушко, представлявшей молодую часть обновленного руководства «Союза». По дороге Кузмин, давно не покидавший город, восхищался ясным солнечным небом над белыми равнинами:

– И люди тут будто нормальны!

Происходящее в Петрограде Михаил Алексеевич считал «механизацией жизни», пригодной для машин, цифр, двуножек, но никак не для людей:

Бац!
По морде смазали грязной тряпкой,
Отняли хлеб, свет, тепло, мясо,
Молоко, мыло, бумагу, книги,
Одежду, сапоги, одеяло, масло,
Керосин, свечи, соль, сахар,
Табак, спички, кашу —
Все,
И сказали:
«Живи и будь свободен!»[514]

Гумилев, впервые за много лет оказавшись с ним накоротке, попробовал завести разговор об акмеистической миссии петроградских поэтов, но Кузмин только отшучивался. Он окончательно утвердился в убеждении, что сущность искусства – в «единственном и неповторимом эмоциональном действии, передающем в единственно неповторимой форме единственно

неповторимое эмоциональное восприятие». Вокруг Кузмина и его неизменного уже многие годы друга-сожителя Юрия Юркуна образовалось избранное келейное сообщество *«эмоционалистов»*, непроницаемых для любых общественных идей и программ. «Впрочем, – обычно уточнял Кузмин, – есть одно убеждение, которое мы разделяем, вместе со всеми, – то, что все мы когда-нибудь умрем».

Далеко за полдень 1 ноября Гумилев, Кузмин и Грушко, протомившись пять часов в намертво застрявшем на последнем перегоне поезде, были наконец на Каланчевской площади. «В Москве очаровательная погода, – записал Кузмин в дневнике, – много народа, есть еда, не видно красноармейцев, арестованных людей с мешками и торгуют. Никто нас не встретил. Поплелись в ЛИТО[515]… Во Дворце искусства[516] приготовлены нам комнаты. Брюсов, высокий, побелел, поседел, в полушубке, стройный и марциальный, по-прежнему волнующе рыкочет, опуская глаза». Но «марциальность» (воинственность) Брюсова, возглавлявшего «Всероссийский союз поэтов», никак не повлияла на петроградцев. Перевыборы правления в их отделении «Союза» были проведены в строгом соответствии с общим уставом, и придирчивые московские эксперты затихли. Никаких подробностей встречи Гумилева с бывшим учителем, а ныне – матерым советским комиссаром от литературы, история не сохранила[517].

Зато москвичи хорошо запомнили выступление Гумилева на «Вечере современной поэзии» в Политехническом музее – адский холод зала, забитого шумной, недоверчивой публикой, петроградских поэтов в шубах на эстраде и огромную фигуру Владимира Маяковского, внезапно появившегося в верхнем боковом проходе. Стихи гостей явно «не доходили» до слушателей, воспитанных на «красной» поэзии местных имажинистов и футуристов. От главного командира этого левого поэтического фронта ждали лишь знака для начала бузы и расправы. Но Маяковский, услышав первые строки «Заблудившегося трамвая», подался вперед и так замер до конца стихотворения. Обструкции не было. Напротив, москвичи, переменчивые в своей сердечности, наградили в итоге всех участников «Вечера современной поэзии» аплодисментами, а Маяковский лично приветствовал Гумилева в артистической комнате после концерта.

– Холодно, – сухо заметил Гумилев. – Я сегодня не в голосе и скверно читал свои стихи.

– Неправда! – отрезал Маяковский. – И стихи прекрасные, и читали прекрасно!

Нерешительно потоптавшись, он явил в огромной ручище «книжицу» собственных сочинений:

– Вот – книга! Возьмите! Везите ее в Африку! На озеро Чад!

Увы! Гумилев, знавший Маяковского в основном по довоенной «Бродячей собаке» и тогдашним футуристическим сборникам, пролистав на досуге заключающие том революционные агитки –

Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы![518]

– пришел к самым неутешительным выводам. Когда Корней Чуковский вскоре зазвал московского горлопана-агитатора в Петроград, Гумилев не смог досидеть до конца и потом наставлял учеников:

– Маяковский очень талантлив, но то, что он делает, – *антипоэзия*. Жаль, очень жаль.

А Маяковский обиделся:

– Мертвецы вы тут какие-то! Хлам! Все до одного, без исключения!

Но тогда, в Политехническом музее они распрощались сердечно. Покидая Лубянскую площадь, Гумилев столкнулся с Ольгой Мочаловой, счастливой и растерянной. Сосредоточившись, он несколько секунд созерцал ее самодельную шапку из свернутого в круг боа, вспомнил санаторий в Массандре и просиял:

– Да, да, конечно не забыл… Как можно! Я думал о Вас часами по вечерам…

Гумилев тут же энергично повлек заалевшую Мочалову на домашнюю вечеринку к московским знакомым. Через несколько кварталов она очнулась и ускользнула, пообещав прийти на Поварскую улицу «завтра к восьми». Но на следующий вечер во «Дворце Искусств» нарядная Мочалова нашла только осоловевшего от московского хлебосольства Михаила Кузмина, который объявил, что о Гумилеве «ничего неизвестно». «Я хотела смерти», – признавалась Мочалова.

Ее опередила художница и беллетристка Нина Серпинская, оказавшаяся рядом с Гумилевым во время праздничной трапезы, устроенной дирекцией в честь гостей. «За длинным столом, – вспоминала Серпинская, – рядом с возглавлявшим его Иваном Сергеевичем Рукавишниковым появились две новые фигуры, сразу бросившиеся в глаза высокомерным, подтянутым, не московским обликом. Один – высокий, гладко опроборенный

шатен, другой – низенький брюнет. Оба в ослепительных крахмальных стоячих воротничках и чинных галстухах, резко выделявшихся на фоне темных, мягких, небрежных рубашек москвичей. Повинуясь восьми градусам температуры, гости, как и мы все, не скинули, а только расстегнули верхнюю одежду. Оленья доха высокого шатена, окаймленная широким ручным эскимосским орнаментом, казалась музейным экспонатом рядом с деревенскими тулупами и обтрепанными шубами большинства».

Доху с орнаментом миловидная художница изучала, по-видимому, так увлеченно, что Гумилев вскоре подсел к ней:

– Я Вас сразу отметил, – сказал он. – Вы сохранили еще черты настоящей женственности. Теперь женщины или какие-то бесполые, ока́женные, грозные амазонки, или размалеванные до неприличия девки, которых раньше в хороший кафешантан не пустили бы!

– Какая милая у Вас доха! – призналась москвичка, и Гумилев, вдохновившись, тут же принялся излагать потрясающую историю эскимосского одеяния. Оказалось, что доху ему подарил зимой 1918-го английский лорд, который, рискуя жизнью, вывез из экспедиции на Крайний Север несколько драгоценных оленьих шкур, украшенных так искусно, что в Лондоне они произвели фурор даже среди равнодушных, блазированных джентльменов и леди…

«Это был звон ударяемых колоколов, трубные звуки забытых архангелов-воинов, лязг щитов и мечей средневековых рыцарей, – признавалась Серпинская. – О, такому, конечно, не нужна сильная женщина современности! Такому – привязать обессиленную, пассивную добычу к седлу». Серпинская сама не заметила, как оказалась вместе с Гумилевым в своей двадцатиметровой комнате на Поварской. «Брезжил рассвет, когда он замолк и корректно ушел, – заключает она. – Голова моя раскалывалась, мир разваливался, нельзя было дальше жить, не победив в себе древнего хаоса, разбуженного во мне…»

Утром Гумилев получил в ЛИТО обильный московский паек и, проводив на петроградский поезд Кузмина[519], сам в тот же день отбыл к родным в Бежецк. В Бежецке он вновь сорвал аплодисменты, выступив в местном «Доме Союзов» с докладом о современном состоянии литературы в России и за границей. Его выступление собрало рекордное для уездного города количество слушателей, и бежецкий *наробраз* (отдел народного образования) теперь готовил официальный запрос на продолжение сотрудничества с необыкновенным лектором. Сразу после доклада Гумилев малодушно заторопился в Петроград. Бедная Анна Николаевна совсем извелась от провинциальной скуки и все

время слезно умоляла мужа забрать ее с дочкой к себе. Никакие резоны не действовали, хотя, разумеется, везти полуторагодовалого ребенка на зиму в выморочную Северную Коммуну было бы чистым безумием.

В Петроград Гумилев вернулся 6 ноября, в канун третьей годовщины ленинского переворота. Большевики встречали свой главный праздник новыми победами. С поляками недавно было заключено перемирие, а в Таврии Красная Армия взяла верх в упорном сражении под местечком Каховка и теперь рвалась в «белый» Крым через Перекоп. Похоже, Гражданская война шла к концу. По этому случаю в Петрограде под руководством самого Евреинова готовилось очередное многотысячное театральное праздничное действо – *«Взятие Зимнего Дворца»*. Это внушило Гумилеву мысли провести во время краснознаменных манифестаций собственный «революционный маскарад». Нарядившись в английскую крылатку-макферлан, в шотландском шарфе, с зонтиком под мышкой и полевым биноклем через плечо он в рабочей толпе изображал делегата от английских лейбористов[520]. Роль его amanuensis[521] играла Ирина Одоевцева. Следуя под кумачовыми лозунгами на Дворцовую площадь, Гумилев то и дело обращался к демонстрантам:

– What is that? I see. Thank you ever so much: *Коза-Собо*… O, yes! Your great Lenin!! Karl Marks!! O, yes!![522].

Во время митинга на Дворцовой он, сымпровизировав по-английски, выводил, страшно фальшивя, в общем хоре что-то похожее на «Интернационал». Одоевцева рядом помирала со смеху. Но умиленные стараниями иностранца рабочие неожиданно стали хлопотать:

– Тут англичане от своей делегации отбились, товарищи! Надо их на трибуну проводить. Позовите милицию! Где милиция!!

Гумилев мгновенно приподнял кепи – «Thank you, *t-o-v-a-r-i-c-h*!» – дернул Одоевцеву за руку и был таков.

Дома Одоевцеву ждал неприятный разговор с отцом.

– Ты отдавала себе отчет, что могла очутиться на Гороховой или Шпалерной с обвинением в шпионаже? – бушевал старик Гейнике (недавно овдовевший). – Кто бы сейчас поверил, что нашлись идиоты, выдающие себя за английских делегатов просто так, забавы ради?! Вероятно, мне надо наконец объясниться с *твоим* Гумилевым…

Он был прав, конечно. «Белые» шпионы и диверсанты мерещились бурной осенью 1920 года сотрудникам ПетроЧК всюду. Но у почтенного Густава Гейнике был и другой повод для недовольства дочерью. Прославившись на весь Петроград

«Балладой о толченом стекле», Одоевцева уверовала во всемогущество учителя и теперь не отходила от него ни на шаг. Корней Чуковский даже посоветовал Гумилеву повесить на нее плакат с надписью *«Моя ученица»* – во избежание кривотолков. В этой шутке содержалась существенная часть истины. Муж Одоевцевой, молодой инженер-гидролог Зика (Сергей) Попов, занятый на строительстве новой электростанции под Петроградом, был очень ревнив. В конце концов, домашние отослали Одоевцеву к возмущенному супругу на Волхов, откуда к Гумилеву в середине ноября пришло печальное письмо в стихах.

Зима вступала в свои права, и ожидание новых неизбежных испытаний, конца которым не было видно, действовало на отчаявшихся горожан искусительно. Процветали, несмотря на облавы, игорные притоны с контрабандным алкоголем, огромный успех имел вновь открывшийся на Каменноостровском проспекте увеселительный театр-сад «Аквариум» с обязательными цыганами. Тут выступали уже знакомые Гумилеву заохтенские певцы, радушно встречавшие его среди других искателей приключений (при действующем в городе военном положении с комендантским часом заведение работало полулегально). Благоволила ему и юная солистка Нина Шишкина, дочь руководителя хора:

> Девушка, что же ты? Ведь гость богатый,
> Встань перед ним, как комета в ночи,
> Сердце крылатое в груди косматой
> Вырви, вырви сердце и растопчи[523].

Милицейских облав Гумилев не боялся. К этому времени он совсем освоился у Каплунов, величал шефа милиционеров не иначе как «наш Борис» и часто навещал его резиденцию на Дворцовой площади. Тут царило веселье, не уступавшее цыганскому «Аквариуму». Верный себе, Каплун не жалел для городских поэтов, художников и философов бездонных запасов конфискованного вина и спирта, устраивал изысканные наркотические сеансы и интимные вечеринки. Гостей Каплуна на Дворцовой встречали его сестра Софья, бывшая студийка Гумилева, состоявшая теперь секретарем у Андрея Белого в «Вольфиле», прима Мариинского театра Ольга Спесивцева, которую брутальный милиционер отбил у директора балетной школы «Дома Искусств» Акима Волынского, и доверенная сотрудница канцелярии Отдела управления Петросовета Варвара Янковская. Компанию своих друзей и дам Каплун развлекал рассказами об особо страшных злодеяниях, случившихся в городе,

демонстрировал мрачные экспонаты создаваемого им «Музея криминалистики», а однажды увлек Гумилева, Янковскую и Юрия Анненкова на испытание достроенного наконец на Васильевском острове крематория. В качестве пробного материала для огненного погребения с близкого Смоленского кладбища были доставлены несколько мертвых тел, ожидавших захоронения в братской могиле. Каплун, бросив взгляд на запорошенный снежком ряд нищих покойников в лохмотьях, философски изрек:

– Итак, *последние да будут первыми*, – и любезно обратился к Янковской. – Выбор предоставляется даме!

Янковская, бледная от ужаса, торопливо указала рукой. На обратном пути с ней сделалась истерика, и Гумилев, обняв ее, шептал на ухо:

– Забудьте, забудьте, забудьте…

Крематорию, судя по всему, предстояла напряженная работа. В городе, как и прошлой зимой, начинался мор. На заснеженных улицах снова можно было видеть знакомые сцены голодных фантасмагорий. В столовой «Дома Литераторов» пользовалась бешеной популярностью злая сатира переводчика Вильгельма Зоргенфрея:

– Что сегодня, гражданин,
На обед?
Прикреплялись, гражданин,
Или нет?
– Я сегодня, гражданин,
Плохо спал,
Душу я на керосин
Променял.

– Да ведь есть же еще на свете солнце, и теплое море, и синее-синее небо?! Неужели мы так и не увидим их, – с болью воскликнул Гумилев, выходя из «Дома Литераторов» вместе с дряхлым, кутающимся в засаленные платки Немировичем-Данченко. – И смелые, сильные люди, которые не корчатся, как черви, под железной пятой этого торжествующего хама. И вольная песня, и радость жизни. И ведь будет же, будет Россия свободная, могучая, счастливая – только мы этого не увидим…

Навстречу рвалась вьюга, волны снега неслись в лица, ноги тонули в сугробах.

На Преображенской Гумилева ожидал Голубь:

– Можно у Вас переночевать? Я только из Финляндии.

Уже без обиняков, он поведал, что представляет подпольную группу некоего заграничного русского «центра», организующего в

Северной Коммуне движение «за Советы, без большевиков»:

– Вы могли бы быть нам полезным: собирать сведенья и настроения, раздавать листовки. Имейте в виду – работа будет оплачена…

Гумилев в сердцах ответил, что готов прямо сейчас выйти на улицу, собрать группу каких-нибудь решительных смельчаков из бывших офицеров и идти на Смольный:

– Уверен, это принесет куда больший эффект, чем все ваши политические игры, агитация и лозунги. Как только люди увидят, что хоть кто-то решился наконец перейти от слов к делу, они сами разнесут Зиновьева со всем Петросоветом в клочья.

Голубь засмеялся:

– Это как когда начинали войну, скакала конная гвардия в атаку – палаши наголо, в белых перчатках. Потом поумнели, зарылись в окопы, перчатки сняли, стали кормить вшей, терпеть… Но и терпение не помогло. Что-то в мире сломалось, и исправить нельзя… Хорошо, – он пристально смотрел на Гумилева, – если настанет время, когда и в самом деле потребуются решительные действия – можем мы на Вас рассчитывать?

– Можете, – сказал Гумилев.

X

Возникновение «третьего» «Цеха поэтов». Ссоры с Мандельштамом и Борисом Каплуном. Новогодние заботы. Воскрешение «Всемирной литературы». Бежецкие поэты. Разрыв с Арбениной. Череда маскарадов. Встречи с Ириной Одоевцевой.

На следующее утро Голубь, поблагодарив за приют, отправился по своим таинственным делам, да так бесследно и исчез, оставив Гумилева ожидать обещанных «событий». Но ничего, напоминавшего о существовании заговорщиков, Гумилев неделю за неделей в городских новостях уловить не мог – а там и собственные заботы потеснили воспоминание о ночном разговоре. В декабре он сколачивал новый «Цех», который должен был стать акмеистическим ядром петроградского отделения «Союза поэтов».

В том, что именно акмеизм как оружие духовной борьбы будет определять «петербургский стиль» в российской культуре обозримого будущего, Гумилев в канун своей третьей зимовки в Северной Коммуне уже не сомневался. Но довоенный кружок «Акме» распался бесповоротно. Владимир Нарбут и Михаил Зенкевич давным-давно покинули город. Бывший синдик Городецкий в своем новом качестве мог разве что воздержаться от гонений на возрожденный «Цех поэтов» – большей помощи от него ждать не приходилось. Непросто было и с Ахматовой, которую Шилейко, окончательно потеряв голову, летом стал колотить и постоянно грозился выставить вон из Фонтанного Дома. Ее стихотворные книги и рукописи шли на растопку самовара. Боясь очередной вспышки безудержного гнева, «Анна Шилейко» теперь не подписывала знаменитым псевдонимом даже почтовые квитанции. Осенью, когда ревнивец попал в больницу, измученная Ахматова устроилась на работу в библиотеку Петроградского агрономического института и получила собственное служебное жилье. Но она все равно продолжала жить затворницей, избегала литературных собраний и вступать в «Цех» отказалась наотрез. А Мандельштам, хоть и дал согласие, тут же обозвал затею *гумилевской дурью*:

– Гумилеву только бы председательствовать! Он же любит играть в солдатики.

– Позвольте, а сами-то Вы что же делаете в таком «Цехе»? – осторожно спрашивал у Мандельштама в «Доме Искусств» недавно переехавший из Москвы Владислав Ходасевич.

– Я пью чай с конфетами!

Как это часто бывает, великое предприятие грозило заглохнуть из-за сердечного соперничества: Мандельштам влюбился в Ольгу Арбенину. Он встречал ее вечерами у Александринского театра, называл своей «мансардной музой», беседовал часами о чем в голову взбредет – о религии, о книгах и о еде, наносил визиты, устраивал сцены ревности и водил в балет. Он даже выполнил за нее стихотворное упражнение, полученное от Гумилева на курсах «Живого Слова», куда Арбенина записалась с осени:

Когда Психея-жизнь спускается к теням
В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной…

Гумилев, прослушав в аудитории Павловского института «домашнее задание» Арбениной, обомлел – и вздохнул с облегчением, лишь узнав о «соавторстве»:

– Какие вы с Мандельштамом язычники! Вам бы только мрамор и розы…[524]

Между тем Мандельштам был настроен решительно. Он рассказывал Арбениной устрашающие истории о хитрости и донжуанстве Гумилева, о том, как сама Лариса Рейснер на днях плакала в Адмиралтействе, что Гумилев с ней не кланяется:

– Он неверный, неверный!..

Арбенина оказалась неприятно заинтригована – за весь минувший год единственным источником ее тревог служила только «подруга Аня», кроткая и необременительная в далеком Бежецке. Ольга Николаевна тут же строго выговорила Гумилеву, что тот оказался «не джентльменом» в отношении к замечательной женщине, Ларисе Рейснер, с которой у него, оказывается, был такой чувствительный роман. Гумилев, удивившись, отвечал, что не собирается кланяться этой балтфлотской ведьме, повинной в смутах и злодействах – а никакого романа, конечно, и в помине не было.

– Но Мандельштам мне сказал…

– Ах, Мандельштам…

Ни жива, ни мертва, Арбенина слушала в «Доме Литераторов», как Гумилев на весь столовый зал отчитывал Мандельштама. «Я ожидала потасовки», – признавалась она. Положение спас Георгий Иванов, вовремя вставший между разъяренными друзьями:

– Я слышу страшные слова… предательство… и эта бледная Психея тут стоит!

Зачем Гумилев головою поник?

Что мог Мандельштам совершить?
Он в спальню красавицы тайно проник
Чтоб вымолвить слово: «любить»![525]

Напуганная Арбенина стала избегать и Гумилева, и Мандельштама, пристав к тихой компании кузминских «эмоционалистов». По несчастному стечению обстоятельств, в предновогодние дни Гумилев поссорился и с Борисом Каплуном. Едва уловив мечтательные странности в поведении как сестры Софьи, так и Варвары Янковской, милицейский меценат сделал Гумилеву tête-à-tête[526] дружеский, но непреклонный выговор – и тот, откланявшись, больше не появлялся на Дворцовой. Ирина Одоевцева, вернувшись на праздники в Петроград, нашла Гумилева неприкаянным и удрученным:

– Все мы страшно, абсолютно одиноки. Каждый замурован в себе. Стучи не стучи, кричи не кричи, никто не услышит. Но ничего не спасает от одиночества, ни влюбленность, ни даже стихи. А я к тому же живу совсем один. И как это тягостно! Знаете, я недавно смотрел на кирпичную стену и завидовал кирпичикам. Лежат там, тесно прижавшись друг к другу, все вместе, все одинаковые. Им хорошо. А я всюду один, сам по себе.

Между тем в предпраздничном городе он был нарасхват. Вместе с прежними знакомцами по «Вечерам Случевского» – поэтами Валентином Кривичем и Дмитрием Цензором – Гумилев выступал на литературно-музыкальных концертах в художественной студии фабрики «Гознака», недавно организованной экстравагантной баронессой Софьей Аничковой (Таубе)[527]. Александр Мгебров и другие пролеткультовцы зазывали его на субботние студенческие капустники в столовой Технологического института. В последние дни уходящего года начались занятия с большой группой новых студийцев «Диска», в которую вошли Константин Вагинов, Владимир Познер, сестры Ида и Фредерика Наппельбаум, Раиса Блох, Ада Оношкович-Яцына, Ольга Ваксель, Лидия Гинзбург, Галина Рубцова, Ольга Зив, Софья Островская, Даниил Горфинкель, Вера Лурье, Ольга Кашина – настоящее созвездие будущих литературных, театральных и ученых «имен». Оживилась и «Всемирная литература» – Гржебину все-таки удалось наладить издательские связи за границей. Гумилев был очень рад возобновлению собраний на Моховой и трогательно поправлял коллег, обсуждавших ближайшие перспективы «Всемирки»:

– Ну зачем вы так? Это же наша девочка, наша *«Всемирочка»*…

После статей Герберта Уэллса в «The Sunday Express»

странная причуда недобитых *петроградских идеалистов* стала предметом оживленных дискуссий в интеллектуальных кругах Европы. «В этой непостижимой России, воюющей, холодной, голодной, испытывающей бесконечные лишения, – писал Уэллс, – осуществляется литературное начинание, немыслимое сейчас в богатой Англии и богатой Америке… Сотни людей работают над переводами; книги, переведенные ими, печатаются и смогут дать новой России такое знакомство с мировой литературой, какое недоступно ни одному другому народу». Но 28 декабря Горький раздраженно швырнул на стол заседаний номер эмигрантских «Последних новостей»:

– Извольте видеть…

Гумилев развернул газету и пробежал глазами «Открытое письмо Уэллсу» за подписью Дмитрия Мережковского: ««Всемирная литература», основанная Горьким, «величественное издательство», восхищает Вас, как светоч просвещения небывалого. Я сам работал в этом издательстве и знаю, что это – сплошное невежество и бесстыдная спекуляция». Брови Гумилева поползли вверх:

– Я заберу газетку, Алексей Максимович? Может, отвечу на досуге…

«Новый» Новый год Гумилев встречал у себя на Преображенской вместе с приехавшими из Петергофа братом Дмитрием и его хозяйственной женой – сыто, оживленно и по-семейному уютно. Проводив гостей, он сам начал собираться в Бежецк. Теперь Гумилев путешествовал к родным как советский командированный работник «с мандатом»: от *наробраза* пришла обещанная заявка на лекции по русской и иностранной литературе. В Бежецке он пробыл до православного Рождества, прочел несколько лекций и даже успел образовать вокруг себя сообщество из местных литераторов. Их было на удивление много для скромного провинциального городка: поклонники мировых классических традиций братья Переслегины, краевед Александр Иванович Михайлов, крестьянский поэт Ярцев, туманный символист Горский, приверженец «чистого искусства» Павел Сорогожский, пролеткультовцы Ружейник и Гурий Горев. Все писали стихи, выступали на концертах, сотрудничали в уездных газетах. Они даже пытались соединиться в отдельную литературно-художественную группу, но самостоятельно развить широкую издательскую и концертную деятельность провинциальным энтузиастам оказалось технически слишком сложно. Гумилев обещал бежечанам всяческое содействие со стороны петроградского «Союза поэтов».

На Рождество он был вместе со всеми в бежецком доме – на

радость детей, жены и матери. Но грустное настроение никак не отпускало Гумилева, несмотря на душевную привязанность к семье. «Скука невообразимая, непролазная, – сокрушался он. – Днем еще ничего. Аня возится с Леночкой, играет с Левушкой – он умный, славный мальчик. Но вечером – тоска, хоть на луну вой от тоски. Втроем перед печкой – две старухи и Аня. Они обе шьют себе саваны – на всякий случай все приготовляют к собственным похоронам. Очень нарядные саваны, с мережкой и мелкими складочками. Примеряют их – удобно ли в них лежать? Не жмет ли где? И разговоры, конечно, соответствующие. А Аня вежливо слушает или читает сказки Андерсена. Всегда одни и те же. И плачет по ночам».

Под «старый» Новый год он вернулся в Петроград, измученный утомительно-медленным поездом, теснотой, мерзостью и давкой в вагоне и почему-то ощущая себя после минувших дней одиноким, как никогда. На пустынной Преображенской снег кружился, и ветер выл, и Гумилев нисколько не удивился возникшей внезапно на пороге в этот неурочный час Ирине Одоевцевой. Пропустив ее в кабинет, он опустился в кресло, закурил и задумался, не обращая внимания, как она ходит за спиной, из угла в угол:

– Напишите балладу обо мне и моей жизни, – медленно сказал он. – Это, право, прекрасная тема.

– Нет! – засмеялась она, остановившись. – Не могу! Баллады пишут о героях, а Вы – не герой, а… поэт.

– А Вам не приходило в голову, что я не только поэт, но и герой?

Одоевцева продолжала смеяться:

– Если бы Вы даже были героем, о героях баллады пишут не при жизни, а после смерти. И памятники ставят, и баллады пишут после смерти. Вот, когда Вы через шестьдесят лет умрете… Только я к тому времени буду такая ветхая старушка, что вряд ли смогу написать о Вас. Придется кому-нибудь другому, кто сейчас даже и не родился еще…

Разноглазое отсветом печки
Осветилось лицо его.
Это было в вечер туманный.
В Петербурге, на Рождество[528].

Вскоре к Гумилеву явилась решительная Ольга Арбенина с вестью о помолвке, состоявшейся у нее с «эмоционалистом» Юрием Юркуном.

– Конечно, он моложе, – опечалился Гумилев. – Мне

следовало не позволять Вам ничего, не только дружбы, даже простого знакомства… Вы, кажется, ждете, что я сейчас превращусь в свирепого Отелло? Что же, ревность моя, конечно, разгорится – и потом рассыплется, как пепел. Так уже было не раз, поверьте…

Арбенину потрясло его спокойствие. «Почему он не сказал простых русских слов, вроде «не уходи» или «не бросай меня»? – недоумевала она. – Что это, гордость? Стыд? Отчего можно говорить раболепные слова, когда нужно уложить в постель, и не сказать ни слова, чтобы остановить свою женщину? Как он нисколько – ни капли – не верил в *мою* любовь?..» 13 января она как ни в чем не бывало зашла на Преображенскую, чтобы вместе с Гумилевым идти встречать «старый» Новый год на маскараде «Дома Искусств».

Этот маскарад стал одним из самых заметных среди многочисленных новогодних публичных и закрытых вечеров, которыми неожиданно расцвел Петроград в январе 1921 года. Великолепный оркестр победно царил в сияющих парадных апартаментах «Диска», заполненных нарядными до аляповатости днепровскими русалками, севильскими табачницами, стрелецкими женами из «Хованщины» и крестоносцами из «Раймонды» – все костюмы были арендованы у Мариинского театра. Арбенина убежала переодеваться. Японская Гейша (Ада Оношкович) с закутанным в монашескую рясу Капуцином (Михаилом Лозинским) приветствовали Гумилева, а Романтический Поэт в камзоле с пышным жабо (Мандельштам) так и остался стоять в стороне. Вскоре среди танцующих появилась Арбенина – в одеянии античной Пастушки она мелькнула в другом конце зала, увлекаемая белокурым Пастушком. Пара была эффектной – до того как попасть в свиту Кузмина, богемный гуляка Юрий Юркун подвизался на ролях героев-любовников в провинциальных театрах. Немного помедлив, Гумилев развернулся и крепко пожал руку растерянному Мандельштаму:

– Мы *оба обмануты*, Осип! Кто старое помянет…

Праздники тяжело угасали в лютой и беспросветной петроградской зиме 1921 года. На святочном балу Института Истории Искусств не было уже ни тепла, ни карнавальной мишуры, ни электрического света. «В огромных промерзших залах зубовского особняка на Исаакиевской площади – скудное освещение и морозный пар, – вспоминал Владислав Ходасевич. – В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художнический Петербург – налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснятся к каминам. Боже мой, как одета

эта толпа! Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале». Одоевцева в пустом гардеробе зябко поежилась, но Гумилев уже невозмутимо принимал у нее котиковую пелеринку. До начала одной из петербургских легенд оставались считаные секунды. Вокруг уже расступались, оборачивались, шли навстречу, чтобы навсегда запомнить этот миг, обрывающуюся музыку, движение, возгласы, трепещущее пламя свечей, открытое вечернее платье Одоевцевой, фрак и атласный галстук Гумилева. «Прямой и надменный, во фраке, Гумилев проходит по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его говорит: «Ничего не произошло. Революция? Не слыхал».

«Пришла Рада Одоевцева, и мы устроились у камина en quatre (плюс – Гумилев), – записывала в дневнике Ада Оношкович. – И этот последний час остался красивым в памяти… Камин трещал, разбрасывая искры, освещая Гума в черной плюшевой пелеринке Одоевцевой и с моей маской в виде шапочки кружевом вверх, на голове, и Раду в черном платье с угловатыми белыми плечами и забавно всклокоченной милой головкой, и <Лозинского> рядом со мной с белым пластроном, большого и элегантного, и вокруг какую-то неведомую публику. Гум читал свою «Песенку»:

Мир – лишь луч от лика друга,
Все иное – тень его…

И мило картавила Рада о «не добром и не злом поэте».

В эти дни во время бесконечных странствий по ледяным аллеям Таврического или Летнего сада Гумилев постоянно «погружался в прошлое»:

– Я в мае 1917 года был откомандирован в Салоники… – вдруг начинал он, присаживаясь на скамью и неторопливо отряхивая снег с полы своей дохи.

«Как будто я спросила: *«Что Вы делали в мае 1917 года?»* – недоумевала Одоевцева. А он, появляясь по утрам у нее на Бассейной, виновато улыбался, указывая в прихожей на котиковую мантильку:

– Не прогулять ли нам Вашего Мурзика по снегу? Ему ведь скучно на вешалке висеть.

«Я была всегда готова его слушать», – признавалась Одоевцева. Тут были и зеленые, драконьи болота Поповки, и индюк, гонявшийся за дачными карапузами, и бесконечный Лиговский проспект с его трехэтажной гимназией Гуревича,

навевавшей безнадежную скуку. И великолепные горные цепи вокруг Военно-Грузинской дороги, и русский театр в Тифлисе. И гимназисты-революционеры, пытавшиеся пропагандировать учение Карла Маркса в рязанской сельской глуши. И мудрый Иннокентий Анненский среди книг, казенных бумаг и ваз с белыми лилиями в царскосельском директорском кабинете. И несчастная, неприступная Ахматова на пустынном евпаторийском пляже. И странный доктор Папюс со своими неведомыми рыцарями-хранителями. И древний Сорбоннский колледж в самом сердце шумного студенческого Латинского квартала. И испуганное бормотание греческой гадалки, и пестрый Константинополь-Царьград, раскинувшийся вокруг холма Галаты. И волшебный сад Эзбекие среди томительной каирской жары и гула. И утопающая в диких розах Аддис-Абеба, и черные имперские отряды дедъязмача Сенигова, теснящие к мутным волнам Уэби сомалийских адалей. И вдохновенный лик Джироламо Савонаролы на портрете в Сан-Марко. И кривые закоулки древнего мусульманского Харрара, и вознесенный над зеленой Галасской равниной праздничный Шейх-Гуссейн. И долгие споры с хитроумным Вячеславом Ивановым на бессонной петербургской «башне». И фантастические цветы и птицы Сергея Судейкина на низких сводах прокуренной, шумной и уютной «Бродячей собаки». И жестокая схватка лейб-гвардейских улан с германскими пехотинцами в предместьях горящего Владиславова. И прекрасное лицо Александры Федоровны среди врачей и сестер милосердия в госпитале Большого дворца. И передовые окопы александрийских гусар вдоль правого берега Двины, и забитая военными эшелонами Окуловка, через которую уже невозможно было пропустить на Петроград скопившиеся на подъездных путях составы с хлебом…

– Я застрял в Париже надолго и так до Салоник и не добрался. В Париже я прекрасно жил, гораздо лучше, чем прежде, встречался с художниками. Ну и, конечно, влюбился. Без влюбленности у меня ведь никогда ничего не обходится. И писал ей стихи. Я как влюблюсь, так сразу и запою. Правда, скорее петухом, чем соловьем. Но кое-что из этой продукции бывает и удачно…

«Он читает стихотворение за стихотворением, – вспоминает Одоевцева. – Голос его звучит торжественно и гулко в морозной, солнечной, хрупкой тишине:

– Мой биограф будет очень счастлив,
Будет удивляться два часа,
Как осел, перед которым в ясли

Свежего насыпали овса.
Вот и монография готова,
Фолиант почтенной толщины…

и, не дочитав до конца смотрит на меня, улыбаясь:

– Здесь я, признаться, как павлин хвост распустил. Как вам кажется? Вряд ли у меня будут биографы-ищейки. Впрочем, кто его знает? А вдруг суд потомков окажется более справедливым, чем суд современников. Иногда я надеюсь, что обо мне будут писать монографии, а не только три строчки петитом. Ведь все мы мечтаем о посмертной славе. А я, пожалуй, даже больше всех».

XI

Петроградские «волынки». Третий «Цех». Во главе «Союза поэтов». Пушкинские торжества. Листовки Вячеславского. Речь Блока. Агитация на Трубочном заводе. Кронштадтский мятеж. Конфликт с Эриком Голлербахом. Новая экономическая политика в РСФСР.

Говорили так: решил-де Троцкий на святках погадать: чем же кончится Российская Советская Федеративная Республика. «А какой у РСФСР знак в гербе?» – спросила гадалка. – «*Молот-серп*». – «Ну так прочти с конца – и узнаешь, чем она кончится!» С конца вышло: *«Прес-толом»*. Прочел Троцкий, задумался, опечалился – вот теперь продуктов никаких и не выдают… Зимой 1921 года хлебный паек для рабочих Петрограда был урезан до одного фунта в день (о прочем пайковом провианте говорить не имело смысла – кошку не прокормишь). А на заводское жалованье в 9–10 тысяч «ленинок» никто разгуляться не мог: у спекулянтов-мешочников хлебный фунт стоил *полторы тысячи рублей*.

Если, конечно, найдешь тех мешочников после чекистских облав.

Вот и выходило, что вместо отбывания советской трудовой повинности каждый *волынил*, как мог, – кто потихоньку кустарничал, кто промышлял на стороне, кто тащил со складов на продажу, что плохо лежит. Государственные же заказы срывались повсюду. «Трудовым дезертирам» грозили строгими карами и тащили обратно в цеха, где надрывались красные агитаторы:

– Вы обвиняете нас в том, что мы сделали ваш труд новым рабством? Что это значит? Труд тяжел не потому, что этого хотят коммунисты, а потому, что мы получили в наследство от буржуазии плохо организованное хозяйство, разрушенное войной. Это хозяйство до сих пор мы не могли приводить в порядок, ибо со всех сторон на Республику напирали враги…

Но в плохой организации хозяйства были повинны не только напирающие враги. Ответственные работники Северной Коммуны наловчились получать колоссальные заработки, занимая сразу несколько доходных мест. Каждый тянул за собой родственников и прихлебателей – пример подавал сам Зиновьев, рассадивший родню в начальственные креста Наркомпроса, Госиздата, Экспортхлеба и Транспорттреста[529]. Рука, как водится, мыла руку, злоупотребления вошли в обычай, а сомнительное процветание выставлялось напоказ. На праздниках кутили так, как редко кому удавалось и в доброе старое время. В громких

новогодних попойках с ночными катаниями и уличными дебошами то тут, то там верховодили местные «красные вожди», словно нарочно дразня обнищавшие вконец рабочие предместья. Военный коммунизм принялись бранить всюду, уже не таясь:

– Здóрово! Дрова даром – а их не выдают. Трамваи даром – а они почти не ходят, нет электричества. Лекарства даром – а их нет в аптеках. Газеты даром – а их нет, так как бумаги нет. Бани даром – но нет горячей воды. Все даром, чего нет! Когда же это кончится?!! У нас же мертвый город, и люди голодные, мрачные, тени. У нас только сами коммунисты живут хорошо, к их услугам автомобили и лошади, и все продовольствие, у них и светло, и тепло, и весело…

«Волынки» перерастали в настоящие забастовки. Агитировать рабочих поехали лично Зиновьев и председатель Петроградского Совета профсоюзов Наум Анцелович. Их встретили руганью и улюлюканьем:

> Я на бочке сижу —
> Бочка золотая,
> Надоели нам *жиды* —
> Давай Николая!

В начале февраля, когда из-за топливных перебоев заводы стали один за другим останавливаться, разъяренные *волынщики* устроили шум на Петроградской стороне. Одни кричали, что коммунисты – воры, другие, что они обжираются, когда все голодают. Далее раздавались крики, что в Смольном жарят гусей и кур, что к черту Советскую власть, что скоро будут вешать коммунистов и т. д. в том же духе. Разгневанный Зиновьев пообещал перестрелять всех смутьянов, «как куропаток». Выстрелы (для острастки) на Петроградской действительно прозвучали, но солдаты гарнизона, оголодавшие хуже рабочих, вдруг начали смешиваться с заводилами, призывавшими грабить продуктовые склады и распределители:

– Не бойсь, братцы, не бойсь, служивые, давай сюда! Вот сейчас еще колпинские подойдут!..

Колпинские не подошли и крикунов кое-как рассеяли. Пошли аресты, заработали трибуналы и «чрезвычайка», а в возмущенных цехах проходили рабочие собрания, избирались местные уполномоченные и складывались стачечные группы. К середине февраля на Трубочном, Балтийском, Проволочном заводах, на табачной фабрике «Лаферм» уже зазвучали отчетливые требования немедленного пересмотра всей внешней и внутренней политики: свободы торговли, свободы слова, печати,

неприкосновенности жилища и личности. Все шептались о наводнивших город таинственных «агентах», которые «забираются на фабрики и заводы, мутят и подбивают рабочих и работниц, полуголодных, плохо одетых, уставших и измученных тяжелым трудом». «События», обещанные Голубем три месяца назад, обрушились на Петроград первым стихийным ударом.

Но Гумилев именно в эти дни был очень далек от политической борьбы! В самый канун петроградских «волынок» начал наконец заседать «Цех поэтов», имевший огромный успех у литературной молодежи. Ада Оношкович, произведенная по инициативе Михаила Лозинского на первом же заседании в цеховые подмастерья, теперь свысока посматривала на литературных знакомых «из начинающих». Избрание в «Цех» аполитичного ироника Сергея Нельдихена (в литературном обществе он появлялся с морковкой в нагрудном кармане пиджака) вызвало веселые пересуды и взрыв возмущения у сторонников идейного искусства, славивших недавно в «Диске» Маяковского:

– Этому Нельдихену собирать бы коллекцию перышек и выпрашивать у мамы двугривенный на резинку для рогатки – нет, он, оказывается, «поэт»! В Москве такие малютки папиросами торгуют, а в Питере эта братия стихи пишет.

– Не мое дело, разбирать, кто из поэтов что думает, – невозмутимо разъяснял Гумилев. – Я только сужу, как он излагает свои мысли или глупости. Свою глупость Нельдихен выражает с таким умением, какое не дается и многим умным. А ведь поэзия и есть умение. Значит, Нельдихен – поэт, и мой долг – принять его в «Цех».

«Гумилев любил жест и позу, – вспоминал Ходасевич. – Он весело и невинно радовался почетному званию «синдика» в воссозданном им «Цехе поэтов» и самодержавствовал в нем – без грубого начальствования». Однако если цеховые ритуалы и виделись литературной игрой, то возобновление «цеховой печати» вызвало общее изумление и восторг. Приходилось признать: для процветания своего детища Гумилев явил настоящие чудеса предприимчивости. Он договорился о гектографированных выпусках рукописных стихотворных тетрадей «Нового Гиперборея» – «с авторскими графиками» (рисунками)[530] и взялся за подготовку типографского издания «цехового» альманаха «Дракон» (по названию помещенной там первой песни «Поэмы начала»). Разумеется, помимо «цеховиков» в альманах были приглашены и Михаил Кузмин, и Андрей Белый, и Федор Сологуб, но, по язвительному выражению Блока, вся «изюминка заключалась в цеховом «акмеизме».

Сам Блок, хотя и передал для публикации в «Драконе» два стихотворения, считал шум, поднятый вокруг возрожденного «Цеха», пустым ребячеством. А когда под натиском торжествующих «гумилят» он оказался вынужденным уступить их энергичному «синдику» и председательское кресло «Союза поэтов» – накопившееся раздражение переросло в настоящий гнев:

– Если бы они все развязали себе руки, стали хоть на минуту корявыми, неотесанными, даже уродливыми и оттого больше похожими на свою родную, искалеченную, сожженную смутой, разворочанную разрухой страну! Да нет, не захотят и не сумеют; они хотят быть знатными иностранцами, цеховыми и гильдейскими…

Наступивший год Блок встречал, по собственным словам, «среди глубины отчаянья и гибели». «Научиться читать «Двенадцать», – горько иронизировал он в дневнике. – Стать поэтом-куплетистом. Можно деньги и ордера иметь всегда…». 11 февраля, в 84-ю годовщину кончины Пушкина, Блок в президиуме торжественного заседания «Дома Литераторов» хмуро слушал, как уполномоченный комиссар Наркомпроса Михаил Кристи силится с трибуны доказать благотворное участие советской власти в культурной жизни страны. «Публика, – вспоминал один из зрителей, – маститые литераторы с профессорскими сединами… Их пиджаки за эти годы уже переродились в какие-то полукофты, полукуртки. Кроме того, они были подстегнуты не то ватниками, не то подбиты неопределенного меха жилетками – «заячьими тулупчиками». Цвета этих утеплений были неопределенны и носили оттенки дымов печек-буржуек». Чувствуя молчаливую ненависть зала, Кристи, волнуясь, не рассчитал отрицательных частиц и, завершая выступление, вдруг выпалил:

– Русское общество не должно предполагать, будто во всем, что касается увековечения памяти Пушкина, оно не встретит препятствий со стороны рабоче-крестьянской власти!

Всюду раздались смешки, а кто-то, не удержавшись, выкрикнул: *«И не предполагаем!»* Блок поднял низко опущенную голову и, криво улыбаясь, рассматривал стушевавшегося оратора. Заседание было закрытым, с присутствием ответственных представителей различных организаций – решался вопрос о возобновлении в РСФСР ежегодного чествования памяти Пушкина[531]. С речами выступили патриарх петербургской интеллигенции А. Ф. Кони и директор Пушкинского Дома академик Котляревский. Заключительное слово предусматривалось за Блоком, но едва тот начал читать

заготовленный текст, как в зал, грозя кому-то, оставшемуся за дверью, пригласительным билетом, ворвался Гумилев. Не переведя дух, он ринулся было в президиум, но Котляревский (застрельщик всего мероприятия) умоляюще замахал руками, и Гумилев, опомнившись, кивнул и поспешно опустился в зрительское кресло. Долго, впрочем, не усидел: рассеянно послушал Блока, пошептался с соседями и испарился, как будто и не приходил.

Гумилеву было не до заседаний. Накануне на Преображенской он неожиданно столкнулся с незнакомцем:

– Позвольте представиться: Вячеславский. Поклон Вам от Голубя. Он сказал, что я могу положиться на Вас вполне.

Речь, разумеется, шла о разгоравшихся на заводах «волынках»: по расчетам заговорщиков, эти возмущения должны были слиться во всеобщий бунт, который, несомненно, тут же перекинется из Северной Коммуны по всей стране. Оказалось, что среди матросов в Кронштадте царит безвластие (Федор Раскольников был на днях отстранен от командования Балтфлотом), а петроградский гарнизон охвачен массовым дезертирством. Большевикам с их «военным коммунизмом», положительно, наступал конец. От Вячеславского Гумилев узнал, что несколько ученых во главе с неугомонным Владимиром Таганцевым уже составляют планы срочных политических и экономических реформ, призванных спасти страну от окончательной разрухи:

– А Вас мы просили бы для начала распространить эти листовки.

Гумилев сунул крамольный сверток в портфель. Не теряя времени, он отправился к поэту Лазарю Берману[532], недавно демобилизованному из автоотряда:

– Лазарь Васильевич, знаю, что Вы общественник, человек военный, смелый и неравнодушный. Знаю о вашей давней дружбе с социалистами-революционерами. Нельзя дальше терпеть. Вот, надеюсь на Ваше содействие и помощь…

Берман, вошедший после возвращения в Петроград в «гумилевское» правление «Союза поэтов», пробежал глазами листовку и изумился:

– Бог с Вами, Николай Степанович, как же я, Лазарь Берман, могу *этому* содействовать?!

Он вернул подметный лист председателю поэтического «Союза». Лозунг, протянувшийся через всю страницу, гласил:

Бей жидов, спасай Россию!

Гумилев неловко повертел листовку, пролистнул остальную пачку:

– Да… Простите великодушно…

Новую беседу с Вячеславским Гумилев начал с того, что не видит надобности разжигать в городе еврейские погромы:

– Содержание Ваших листовок мало соответствует моим убеждениям, вовсе не таким… правым.

– Это доступно массам. Но если желаете – напишите листовку сами. Хоть в стихах. Впрочем, – махнул рукой Вячеславский, – вряд ли Ваши воззвания можно будет скоро успеть отпечатать и доставить сюда даже из Финляндии…

– Можно размножить здесь, в Петрограде, – воспламенился Гумилев, вдруг вспомнив о гектографе, на котором печатались выпуски «Нового Гиперборея». – Конечно, понадобятся средства и заправочная лента…

Удивленный Вячеславский взялся достать Гумилеву и то, и другое:

– Неужели и впрямь в стихах напишете?..

Но немедленно приняться за стихотворное воззвание к рабочим не получилось. На воскресенье, 13-го, был назначен общегородской пушкинский вечер, и Гумилев вспомнил наконец о литературных делах. Ирина Одоевцева, зайдя на Преображенскую, нашла его очень недовольным:

– Могли бы, казалось, попросить меня как председателя «Союза поэтов» высказаться о Пушкине. Меня, а не Блока. Или меня и Блока…

Отправляясь в «Дом Литераторов», он демонстративно облачился в прославленный фрак. Но на этот раз прием не сработал – да Гумилев и сам моментально заслушался.

– Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собой многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними – это легкое имя: Пушкин…

Сноп электрического света бил в спину Блока, и его неподвижная фигура за кафедрой виделась из зала лишь темным силуэтом. Лица́ никто не мог разглядеть – только нестерпимый свет и глухой монотонный голос, внезапно заполнивший вокруг все пространство, клеймя «чиновников, дельцов и пошляков», требующих от поэта служения внешнему миру:

– Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение.

Забыв о своем фрачном великолепии, Гумилев орал вместе со всем залом «Блок! Блок!», отбивая себе ладоши. Неподалеку,

громко возмущался обидевшийся на «чиновника» Михаил Кристи:

– Вот уж не думал, что Блок, написавший «Двенадцать», позволит себе на публике такой выпад!

– Незабываемая речь, – провозгласил, чтобы все слышали, Гумилев. – Потрясающая речь. Ее можно только сравнить с речью Достоевского на открытии памятника Пушкину. Возможно, она тоже, как речь Достоевского, когда ее напечатают, многое потеряет. Только те, кто сами слышали…

«Блок несуетливо и медленно разговаривал потом с Гумилевым», – зафиксировал в дневнике Корней Чуковский.

Череда Пушкинских заседаний, конференций и праздников в «Доме Литераторов», «Диске», в Академии Наук, Университете и в новом помещении Вольфилы на Фонтанке проходила на фоне нарастающего неистовства «волынщиков», которое на рабочих окраинах начинало выплескиваться на улицы. Всюду шептались, что заводской пролетариат окончательно озверел, что где-то заезжие большевики уже попали под горячую руку и теперь боятся носа высунуть из Смольного:

– Скоро царство народа будет, и поделом, а то наши коммунисты забыли, кто они есть. Залетела ворона в высокие хоромы, да и забыла своих воронят.

Гумилев боялся опоздать с поэтическим воззванием к «массам», которое, как на грех, никак не складывалось. Получалось нечто очень витиеватое – о перевоплощении «Гришки Распутина» в «Гришку Зиновьева». Георгий Иванов, на суд которого Гумилев представил текст художественной прокламации, выразил глубокое сомнение, что «массы» тут вообще что-нибудь поймут, и в сердцах добавил:

– Как же ты так свою рукопись отдаешь? Хоть бы на машинке перепечатал. Ведь мало ли куда она может попасть!

– Не беспокойся, размножат на ротаторе, а рукопись вернут мне, – эффектно отпарировал Гумилев. – У *нас* это дело хорошо поставлено.

Но размножить текст не получилось. Однако явившийся с ненужными уже лентой и 200 000 «ленинок» Вячеславский не был обескуражен:

– Бог с ними, с листовками! И деньги пусть пока у Вас полежат в сохранности. Вроде бы *началось*! Вот что, Николай Степанович, завтра, на Трубочном заводе…

Наутро завсегдатаи столовой «Дома Литераторов» были поражены необыкновенным видом Гумилева – в поношенном рыжем пальто, перетянутом веревочным кушаком, громадных валенках, вязаной шапке и котомкой за плечами.

– Коленька, ты что, на маскарад собрался? – осведомился

Кузмин. – Так не время, кажется.

– Я, Мишенька, спешу, – серьезно отвечал тот. – Я иду на Васильевский остров агитировать и оделся так, чтобы внушить пролетариям доверие.

Через несколько часов, опоздав на деловую встречу к Александру Амфитеатрову, Гумилев (уже в обычном наряде), оправдываясь, горько сетовал почтенному беллетристу:

– Досадно, что вышло глупо, Александр Валентинович. *Они* узнают чужого по первому взгляду. Не слушают, никакого доверия, еще спасибо, что не приняли за провокатора.

– Извините, Николай Степанович, – не выдержал мудрый Амфитеатров, – но, с позволения сказать, какой черт понес Вас на эту гамру?

– Увлекся. Ведь лишь бы загорелось – а пожару быть время! И вот…

Однако Трубочный завод на Уральской улице Васильевского острова, где проходил митинг, решением Исполкома Петросовета был немедленно закрыт. Три дня спустя толпа рабочих вышла на 8 и 9-ю линии и двинулась с северной островной окраины в центр. Демонстрацию поддержали табачницы с «Лаферма» и Балтийский завод. К десяти утра главные василеостровские магистрали оказались перекрыты огромной толпой протестующих, в которой с рабочими смешались студенты, военные и моряки. На разгон были брошены отборные части красных курсантов, началась стрельба с обоюдными потерями и кровью – и на исходе дня в городе было объявлено военное положение, запрещающее «всякие митинги, сборища и собрания как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях без надлежащего на то разрешения». В ответ 25 февраля в разных городских районах забастовали Обуховский завод, завод Розенкранца, обувная фабрика «Скороход», Экспедиция заготовления государственных бумаг, Невская мануфактура и Путиловские мастерские. К волнующемуся Петрограду поспешно подтягивались дополнительные военные части и – в качестве пресловутого «пряника» – эшелоны с резервами продовольствия, одежды и топлива. 28 февраля явилась ошеломляющая новость: восстал Кронштадт. 2 марта Петроград находился уже на осадном положении, был наводнен войсками и управлялся «по законам военного времени» Чрезвычайным Комитетом Обороны. На побережье Финского залива загрохотала артиллерийская дуэль, а «волынки» сразу пошли на убыль – не в последнюю очередь потому, что горожане просто не знали, кого следует бояться больше: красного командарма Михаила Тухачевского, спешившего на помощь Северной Коммуне, или свирепых

кронштадтских «братишек».

В эти горячие дни Гумилев, которому Вячеславский оставил круглую сумму «на расходы, связанные с выступлением», наверняка рассчитывал получить новые инструкции. Но Вячеславский, как ранее Голубь, вдруг исчез без следа – по-видимому, подпольный штаб решил обойтись без поэтических воззваний и литературной агитации.

А вокруг Гумилева, как будто в насмешку, разыгралась нелепая история, мало отвечавшая героическим ожиданиям.

Откликаясь на только что вышедший «Дракон», искусствовед Эрик Голлербах, добрый гумилевский приятель по прошлогоднему Дому отдыха в Сосновке, поместил в «Известиях Петросовета» рецензию, написанную, очевидно, в необыкновенно веселом расположении духа. Досталось всем – и самому синдику «Цеха поэтов», и его подмастерьям, а особенно – Ирине Одоевцевой. «Домашние, – резвился Голлербах, – наверно, хвалят <ее> не нахвалятся: «Вот она у нас какая. Стихи пишет, сам Гумилев одобряет». Кстати сказать, Гумилев оповещает, что у поэтессы «косы – кольца огневеющей змеи» (без змеи он не может, ему непременно подай не дракона, так змею) и «зеленоватые глаза, как персидская бирюза».

Вряд ли Голлербах сознавал, что шутка, отпущенная мимоходом, может серьезно задеть. Но в семье Одоевцевой вновь возник скандал, и разгневанный Гумилев напустился на незадачливого рецензента:

– Статья Ваша – гнусная, неприличная и развязная! Руки больше Вам не подам! Да и литературную карьеру свою считайте завершенной: я постараюсь, что теперь ни одно приличное издание Вас на порог не пустит!

Голлербах обратился в Суд чести при «Доме Литераторов» с просьбой рассмотреть, «допустимо ли в пределах приличия такое отношение к литературной критике, какое проявил Н. С. Гумилев». Ревнивый инженер Зика Попов грозился отомстить поэту-сопернику без всякого суда, по-свойски. А Гумилев… уехал в Бежецк читать продолжение лекций по русской и зарубежной литературе. В сложившейся ситуации это было, возможно, самым мудрым решением[533].

Вернулся он в Петроград, когда Тухачевский уже начал штурм Кронштадта. 17 марта, после десятидневного сражения из обреченной крепости по льду к финским берегам потянулась нескончаемая вереница искавших спасения мятежных матросов. В тот же день в Москве объявили резолюцию завершившегося накануне X (чрезвычайного) съезда РКП (б): восстановление внутреннего рынка и денежного обращения, введение

продовольственного налога для крестьян, разрешение кустарного производства… Эпоха военного коммунизма осталась в прошлом.

В будущем же была полная неопределенность.

XII

После Кронштадта. Прощание с Ларисой Рейснер. «Красный бонапартизм» и «сменовеховство». Ответ Мережковскому. Книгоиздательства «Мысль» и «Петрополис». «Огненный столп». Юбилей в Бежецке и Петрограде. «Звучащая раковина» и фотоателье Наппельбаума. Последние споры с Блоком. Подпольные деньги. Первомайская диверсия.

«Помню жестокие дни после кронштадтского восстания, – рассказывал Николай Оцуп. – На грузовиках вооруженные курсанты везут сотни обезоруженных кронштадтских матросов. С одного грузовика кричат: «Братцы, помогите, расстреливать везут!» Я схватил Гумилева за руку. Гумилев перекрестился. Сидим на бревнах на Английской набережной, смотрим на льдины, медленно плывущие по Неве. Гумилев печален и озабочен. «Убить безоружного, – говорит он, – величайшая подлость». Не принеся ни малейшей пользы Голубю и Вячеславскому, Гумилев оказался замешан в деле, которое завершилось большой кровью и большими сомнениями в истинной подоплеке происшедшего. «Я удивляюсь тем, кто составляет сейчас заговоры, – подытоживал Гумилев. – Глупцы, они играют в руку провокации. Я не трус. Борьба моя стихия, но на работу в тайных организациях я бы теперь не пошел».

Как и многие петроградцы, Гумилев был склонен видеть и за «волынками», и за морским мятежом – изощренную политическую игру Зиновьева, чья диктаторская власть только окрепла после разгона рабочих и подавления восстания в Кронштадте. Всюду шли свирепые административные чистки. «За Кронштадт» лишались влияния, а то и начальственных кресел недостаточно лояльные к Смольному руководители Северной Коммуны. Обиженные вожди искали поддержки у Горького, главного врага Зиновьева. В горьковской гостиной на Кронверкском проспекте отводили душу и секретарь городского комитета РКП (б) Сергей Зорин, и председатель политуправления Петроградского военного округа Иван Бакаев (ранее возглавлявший ПетроЧК), и герой петроградской обороны командарм Михаил Лашевич, и даже зиновьевский шурин Илья Ионов, ведавший Госиздатом. К Горькому эти громовержцы являлись запросто и среди сотрудников «Всемирной литературы» держались дружески (Владислав Ходасевич запомнил, как просвещенный Бакаев цитировал наизусть его стихи и «наговорил кучу лестных вещей»).

В опале оказались и супруги Раскольниковы: бывшего командира Балтфлота выдворили из Северной Коммуны в длительную командировку. Вскоре Раскольников демобилизовался и при поддержке Льва Троцкого получил дипломатическое назначение в Афганистан. Старую истину, что для евразийской России «путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии», Троцкий осознал еще в 1919 году и умело направлял усилия своих военачальников и дипломатов на стратегические восточные цели. Минувшей зимой, едва завершив разгром «белых» на юге, Красная Армия двинулась в походы на Кавказ и в Среднюю Азию. Для утверждения возникших в Туркестане Хорезмской и Бухарской Советских Республик и был заключен договор с Афганистаном, следить за выполнением которого Раскольников направлялся в Кабул. Его жена из «флаг-секретаря» превратилась в дипломатического советника. Весной 1921 года Лариса Рейснер напоследок еще раз мелькнула в Петрограде, набирая сотрудников в афганскую миссию. Гумилев расстался с ней неожиданно тепло:

– Если речь идет о завоевании Индии, знайте: мои сердце и шпага с Вами!

И низко поклонился на прощанье.

Задуманный Троцким бросок на восток виделся «красным реваншем» за катастрофические военные поражения мировой войны, а благая весть о «новой экономической политике» (*НЭП*), пришедшая сразу вслед за кронштадтским апокалипсисом, воскрешала надежды на пробуждение в РСФСР былой державности. Среди петроградской интеллигенции, еще недавно почти единой в своем неприятии большевиков, назревал очередной раскол.

– Вот когда обнаружится, что самый умный большевик – это Троцкий, тогда все пойдет по-иному, – ораторствовал Гумилев в «Доме Литераторов». – Вы знаете знаменитое изречение Троцкого, что Красная Армия, как редиска, извне – красная, а внутри – белая? Вот армия-то и спасет Россию. Красная Армия, во главе которой станет новый Наполеон. Бонапартизм!

Философ Аарон Штейнберг, считавший, как большинство участников «Вольфилы», что большевики «продали революцию духа за чечевичную похлебку материализма», осторожно возражал:

– Многие думают, Николай Степанович, что наша революция пойдет по примеру французской и все кончится Бонапартом. Но для бонапартизма нужен Бонапарт, а я его не вижу.

– Вы говорите, что невозможен бонапартизм без Бонапарта? –

набросился Гумилев на Штейнберга. – А Бонапарт у нас уже есть! Это «красный маршал» – Михаил Тухачевский.

И он в подробностях стал объяснять, что именно нужно сделать для продвижения Тухачевского в Бонапарты. «Полчаса подряд, ни больше, ни меньше, – вспоминал Штейнберг. – Николай Степанович рассказывал об идее единовластия, монархии, как она должна быть восстановлена; о том, что сердце всякого государства должно биться в груди, украшенной знаками военных подвигов; о том, что настоящий святой, охраняющий Россию, – Георгий Победоносец; что найдется наконец какой-нибудь еще неведомый кавалер Георгиевского креста, который вместе с Тухачевским организует новую армию в традициях старой царской».

Ошеломившее всех крушение военного коммунизма внушало уверенность, что безнадежная, нелепая, отчаянная просветительская работа оставшихся в РСФСР книжников-интеллигентов все-таки принесла свои плоды, несмотря на доносившиеся в «царство Антихриста» упреки и насмешки непримиримых эмигрантов. В обещанном Горькому ответе на выпады Мережковского против «Всемирной литературы» Гумилев писал:

«В наше трудное время спасенье духовной культуры страны возможно только путем работы каждого в той области, которую он свободно избрал себе прежде. Не по вине издательства эта работа его сотрудников протекает в условиях, которые трудно и представить себе нашим зарубежным товарищам. Мимо нее можно пройти в молчании, но гикать и улюлюкать над ней могут только люди, не сознающие, что они делают, или не уважающие самих себя».

Гумилевский проект коллективного «Письма для зарубежной печати» начали обсуждать на редколлегии «Всемирки» как раз в «кронштадтские дни», но вскоре махнули рукой и постановили «приобщить письмо к делам издательства». После объявления НЭП в эмигрантской печати творилось такое, что доказывать необходимость и целесообразность культурной и научной работы в «красной России» уже не требовалось:

«Над Зимним Дворцом, вновь обретшим гордый облик подлинно великодержавного величия, дерзко развевается красное знамя, а над Спасскими воротами, по-прежнему являющими собой глубочайшую исторически-национальную святыню, древние куранты играют «Интернационал»… И так как власть революции – и теперь только она одна – способна восстановить русское

великодержавие, международный престиж России, – наш долг во имя русской культуры признать ее политический авторитет… [534]»

Эмигрантские публицисты призывали беженскую интеллектуальную элиту идти на покаяние к Ленину в Кремль, как некогда средневековый католический отступник Генрих IV, посыпав голову пеплом, шел на покаяние к властному папе Григорию VII в Каноссу. Начиналось *«сменовеховство»* – движение за присоединение к победителям-большевикам их бывших идейных противников[535].

Между тем дела самих «всемирных» просветителей в Петрограде были вовсе не хороши. Из-за постоянных козней Зиновьева и его влиятельных сторонников Горькому так и не удалось наладить бесперебойный выпуск книг, а над заграничным эмиссаром «Всемирной литературы» Гржебиным нависло уголовное дело по обвинению в растрате. Гумилев, демонстрируя верность *«Всемирочке»*, продолжал трудиться над иностранными авторами – перевел сказочную пьесу «Графиня Кэтлин» Йейтса. Но, в общем, среди постоянных участников «Всемирной литературы» воцарилось уныние: при столь медленной печати даже имеющихся в распоряжении редакции переводов хватило бы на много лет вперед. Впрочем, с введением НЭП вновь заработали разнообразные кооперативные издательства и появилась возможность если не жить собственными сочинениями, то по крайней мере выпустить их в свет.

На одном из весенних заседаний «Цеха поэтов» Гумилев объявил о соглашении, заключенном с директором одного из таких *нэповских* предприятий Львом Вольфсоном:

– Издательство «Мысль» открывает постоянные вакансии для участников «Цеха». Пока таких вакансий три: одну я оставляю за собой, вторая уже передана Георгию Иванову (у него готова рукопись), а оставшуюся, по всей справедливости, надо отдать присутствующей среди нас *единственной даме*.

«Единственной дамой» на этом заседании оказалась Ирина Одоевцева, отважно посещавшая цеховые собрания наперекор семейным бурям![536] А Гумилев продолжал отвоевывать издательские возможности для себя и для своих соратников по «Цеху» и «Союзу поэтов». Он стал постоянным гостем в книжной лавке «Petropolis», владелец которой Яков Блох (брат одной из гумилевских студиек) планировал создать при своем заведении образцовую книгоиздательскую фирму для выпуска сборников современной поэзии. Его дотошное стремление к абсолютному совершенству будущих поэтических книг раздражало

иллюстраторов и смешило многих авторов. Но Гумилев, появляясь в помещении редакции на Надеждинской улице, сохранял абсолютную серьезность и вел долгие профессиональные беседы о печатном деле и с самим Блохом, и с секретарем «Петрополиса» Надеждой Залшупиной:

Надежда Александровна – она
Как прежде «Саламандра» мне дана.

Гумилев недаром сравнивал «Петрополис» со страховым товариществом, некогда успешно защищавшим достояние клиентов от огня, потопа и прочих стихийных бедствий – в образцовом издательстве Якова Блоха он планировал издать свое первое Собрание сочинений. Приближалось тридцатипятилетие – жизненный рубеж, отделяющий, если верить «Божественной Комедии» Данте, годы молодых странствий от времени зрелости. А для начала Гумилев заключил с Блохом договор на новую книгу стихов:

– Называться она будет, конечно, *«Посередине странствия земного»*[537].

Но через несколько дней он заглянул к Залшупиной очень озабоченный:

– Надо немедленно поменять название! Получается, что я сам себе отмерил только семьдесят лет жизни. А я меньше чем на девяносто не согласен.

– Но как же будет называться Ваша книга, Николай Степанович?

– ***«Горе этому большому городу!*** – процитировал Гумилев. – ***И мне хотелось бы уже видеть огненный столп, в котором сгорит он! Ибо такие огненные столпы должны предшествовать великому полдню»***. Честно говоря, эти слова Ницше последнее время не выходят у меня из головы… И этот ***«ОГНЕННЫЙ СТОЛП»***.

Тридцатипятилетие – по «старой» календарной дате – он встречал в Бежецке. Созданный стараниями Гумилева местный филиал «Союза поэтов» устроил юбилейное действо в зале Благовещенской учительской школы. Торжества эти остались в памяти бежечан надолго: все получилось очень ярко, знаменитый юбиляр рассказывал о новинках «Дома Искусств», о собраниях «Цеха поэтов» и читал свои и чужие стихи. В Петроград Гумилев вернулся накануне «новой» календарной даты «середины странствия земного» и провел в «Диске» вечер, подобный бежецкому – с докладом об акмеизме и стихами. Отдельно своего наставника чествовали студийцы «Дома Искусств», недавно

создавшие юношеский литературный кружок *«Звучащая раковина»* и собиравшиеся у сестер Наппельбаум в фотоателье их отца на Невском проспекте. Старик Наппельбаум, похожий на тициановских бородачей, колдовал над странным осветительным агрегатом, похожим на помятое ведро. Казалось, что руки великого фотографа лепят струящийся свет, как глину, – групповой портрет Гумилева в окружении учеников стал одним из самых драгоценных юбилейных подарков.

В праздничную череду знаменательного для Гумилева апреля досадно затесался грядущий «суд чести» с Эриком Голлербахом, назначенный к тому же на… Страстную Пятницу! Ясно было, что глупая история окончательно превращается в анекдот и завершится впустую[538]. Но Голлербах бомбардировал жалобными письмами вошедшего в состав судейской коллегии Блока, и тот вновь ополчился на акмеистов-цеховиков. Для «Литературной газеты», которую затевал Чуковский при «Доме Искусств», Блок готовил разгромную статью *«Без божества, без вдохновенья»*, а в частных беседах отзывался о Гумилеве и «гумилятах» с необычной свирепостью. Под его горячую руку попала даже неповинная в делах «третьего «Цеха» Ахматова, только что выпустившая в «Петрополисе» маленькую книжку стихов (поселившись отдельно от Шилейко, она ожила и вернулась к творчеству). Ахматовский «Подорожник» Блок жестоко высмеивал и блоковские môts смаковали затем все литературные сплетники:

– В стихе «Твои нечисты ночи», должно быть, опечатка! Должно быть, она хотела сказать: «Твои нечисты *ноги*»…

Тут уж даже зеленая молодежь начинала посмеиваться и потихоньку судачить, что Ахматова-де вконец исписалась и теперь перепевает себя прежнюю. Посмеивались даже в «Цехе», который 20 апреля проводил в «Диске» большой открытый вечер. Гумилев, забрав роль ведущего, устроил блестящий литературный смотр. Он произнес вступительное слово о творчестве участников вечера и затем торжественно объявлял выступавших:

– Михаил Лозинский!

– Владислав Ходасевич!

– Сергей Нельдихен!

– Георгий Иванов!

– Николай Оцуп!

– Всеволод Рождественский!

– Ирина Одоевцева!

– Ада Оношкович!

«Было очень мило, слегка волнительно и немного стыдно, –

вспоминала Оношкович. – Когда мне похлопали и я удрала в малиновую гостиную, было радостно, как после экзамена». Предваряя собственное выступление, Гумилев сказал, что прочтет стихи, явившиеся как отклик на молву вокруг новой книги Ахматовой:

Я помню древнюю молитву мастеров:
Храни нас, Господи, от тех учеников,
Которые хотят, чтоб наш убогий гений
Кощунственно искал все новых откровений.
Нам может нравиться прямой и честный враг,
Но эти каждый наш выслеживают шаг…

Пять дней спустя, в Страстной понедельник, Гумилев в последний раз слушал своего «прямого и честного врага» в Суворинском театре на Фонтанке. О болезни уже догадывались – Блок сгорал на глазах, – и полный доверху огромный зал был торжественно печален и нежен. «Тишина водворилась молитвенная, – вспоминал очевидец. – Публика просила прочесть то то, то другое. Он покорялся, вытаскивал из кармана бумажку, справлялся по ней, иногда с застенчивой улыбкой отказывался, говоря, что позабыл. Держали его без конца». Когда устроители вечера вместе с последними зрителями покидали театр, Гумилев и Блок отстали на набережной от Чуковского, шагавшего впереди в шумной толпе студиек и студийцев «Диска».

– Нет, Николай Степанович, – говорил Блок, – союза между нами быть не может. Наши дороги разные.

– Значит, либо худой мир, либо война?

– Худого мира тоже быть не может…

– Вы, я вижу, совсем не дипломат, – засмеялся Гумилев. – Что ж, мне так нравится. Война так война. Какие же Ваши рыцарские цвета для нашего турнира?

– *Черный*, – строго произнес Блок. – Мой цвет – черный.

Идея рыцарского турнира почему-то очень развеселила Гумилева. Простившись с Блоком, он быстро нагнал студийцев, балагурил с ними до Аничкова моста, а поравнявшись с постаментом одной из конных групп барона Клодта, вдруг подмигнул Всеволоду Рождественскому, скинул ему на руки английское пальто и, вскочив на речную ограду, в мгновенье ока вскарабкался затем на бронзовый конский круп. Оседлав знаменитое животное (студийки внизу заливались истошным визгом), Гумилев пожал руку немому оруженосцу-коноводу, причмокнул губами, дал шпоры и устремился в бой. Подоспевший милиционер, задрав голову, уговаривал воителя:

– Образованный, как вижу, человек, а что делаете! Интеллигентный, как вижу, человек, а ведете себя, как и не знаю что! Чтобы немедленно были на земле, иначе приму свои меры!

Гумилев, сразив противника, отсалютовал милиционеру воображаемой саблей и покинул монумент.

– Правильный поступок, гражданин! – похвалил его милиционер и в свою очередь козырнул. Вокруг хохотали и аплодировали.

На Преображенской Гумилев вдохновенно цитировал Одоевцевой маркиза Вовенарга:

– *«Une vie sans passions ressemble à la mort»*. Слушайте и постарайтесь запомнить: *«Жизнь без страстей подобна смерти»*. До чего верно! Как жаль, что у нас мало кто слышал о Вовенарге и его «Maximes»![539] Это настоящая школа оптимизма, настоящая философия счастья, они помогают жить…

Одоевцева, машинально игравшая ручкой письменного стола, неловко дернула ящик и вздрогнула, увидев там тугие пачки кредиток:

– Николай Степанович, какой Вы богатый! Откуда у Вас столько…

Гумилев резко толкнул ящик обратно. «Он стоял передо мной бледный, – вспоминает Одоевцева, – сжав челюсти, с таким странным выражением лица, что я растерялась. Боже, что я наделала!

– Простите, – забормотала я, – я нечаянно… Я не хотела… Не сердитесь…

Он как будто не слышал меня, а я все продолжала растерянно извиняться.

– Перестаньте, – он положил мне руку на плечо. – Вы ни в чем не виноваты. Виноват я, что не запер ящик на ключ. Ведь мне известна Ваша манера вечно все трогать».

Далее Одоевцева рассказывает, что Гумилев, взяв с нее клятву молчать, объяснил, что кредитки в столе являются «деньгами для спасения России», намекнув на свое участие в некой конспиративной организации, а когда она, ради Христа, принялась заклинать его подумать о детях и ближних – строго прикрикнул:

– Перестаньте говорить жалкие слова. Неужели вы воображаете, что можете переубедить меня? Мало же вы меня знаете!

Но все обстояло куда хуже! На руках у Гумилева находилась нечаянно полученная в дни «волынок» часть подпольной казны, с которой он теперь решительно не представлял что делать. От заговорщиков не было ни вести, ни знака. И недаром. Новость о

том, что Гумилев стал «красным бонапартистом», прочит Тухачевского в Наполеоны, а Троцкого – в Сийесы[540], ходила повсюду, и в «Доме Искусств», и в «Доме Литераторов», и в «Вольфиле».

– Я всегда говорил, что есть две категории людей, которых я не переношу: инженеры и офицеры. Николай Гумилев – офицер, был и остался, – иронизировал Константин Эрберг.

– Это не случайно, – соглашался с ним Иванов-Разумник. – Он ведь необыкновенно неумный человек. Весь его акмеизм можно свести к недостаточной развитости ума. Гумилев, как в бою на фронте, на передовой, хочет показать свою храбрость. Он желает свергнуть большевиков их же средствами – хочет подходящего офицера, который поведет Красную Армию против большевиков!

Тем временем близилось Великое Воскресенье, сошедшееся в роковой 1921 год с красным праздником Первомая. «По евангелию, – шепотом передавали друг другу петроградцы, – некий большой переворот должен быть в этом году: если народ покается, тогда на престол сядет Михаил, великий князь, а если не покается, то явится Архангел Михаил и протрубит Страшный суд». Ждали знамения – и дождались! На исходе пасхальной ночи центр Петрограда озарило кровавое зарево: это горели трибуны, установленные на Дворцовой площади для утренних безбожных торжеств. Петроградские заговорщики сумели обмануть бдительность городских патрулей и вновь нанесли удар. Жуткий призрак нового мятежа замаячил перед Зиновьевым и укрощенной им было Северной Коммуной.

XIII

Планы бегства. Б. А. Семенов во главе ПетроЧК. Коморси Немитц и его секретарь А. В. Павлов. Прощание с Мандельштамом. Сборы в Крым. Взрыв на Конногвардейском бульваре. Портрет работы Н. К. Шведе. Катастрофы в Бежецке. Переезд в «Диск». Парголовские ясли. Разгром у Таганцевых. Отъезд в Москву.

Вспоминая «кронштадтскую весну», Ахматова рассказывала, как случайно (по-другому уже два года не получалось) она встретила Гумилева в пайковом распределителе КУБУ на Миллионной улице. В медленной очереди они имели время поговорить: он все жаловался, что роль главы семейства сделала его тяжелым на подъем – был бы один, так давно бы был по ту сторону финской границы! Но если бежать за рубеж, не подводя ближних под нужду, гонения или арест, Гумилев не мог, то и оставаться в Петрограде становилось теперь день ото дня все опасней.

В апреле Зиновьев передал место председателя ПетроЧК мало кому известному Борису Семенову – перед сказочным взлетом тот работал в одном из городских районных комитетов РКП (б). Никакого касательства к деятельности органов ВЧК Семенов никогда не имел, но был предан Зиновьеву душой и телом (ходили слухи, что он начинал советскую карьеру то ли парикмахером, то ли лакеем в зиновьевской свите). Верный Семенов всегда стремился выполнить любое приказание «шефа» любой ценой – другими способностями он не обладал. Готовность нового главы ПетроЧК идти в карательно-сыскной работе напролом, не считаясь ни с действующими законами, ни с общественно-политическими условностями, ни даже с инстинктом самосохранения, идеально подходила на несколько месяцев, за которые следовало провести массовую зачистку Северной Коммуны после «волынок» и Кронштадта (дальнейшая семеновская судьба Зиновьева, как можно полагать, заботила мало: это был тот самый «мавр», которому в итоге полагалось уйти[541]).

Сев в председательское кресло, Семенов, не мудрствуя лукаво, дал указание питерским чекистам тащить на Гороховую всех, кто не пó сердцу, – а там и разбираться, кто из задержанных прав, кто виноват. Были подняты все прошлые дела, все поступавшие ранее «сигналы» штатных осведомителей и доброхотов, начались повальные обыски и уличные облавы, затмившие даже недобрую память о днях «красного террора».

Малейшая странность, упрямство или чудачество могли оказаться роковыми – в ход пошли студенты, имевшие неосторожность просить о сокращении общественных дисциплин, рабочие, не поладившие с мастером из-за сверхурочного коммунистического субботника, и домохозяйки, болтавшие разное в продуктовых «хвостах» перед магазинами («Арестовывают по городу все каких-то старух», – недоумевал в дневнике Михаил Кузмин). В подобных обстоятельствах мысль о том, чтобы под благовидным предлогом оставить ненадежную Северную Коммуну и провести месяц-другой в отдаленной тиши, не маяча перед глазами семеновских головорезов, приходила в голову людей и с менее богатым конспиративным прошлым, чем то было у Гумилева. Оставалось найти такой предлог.

На Светлой седмице, когда весь Петроград шептался о кронштадтских мстителях, атаковавших город прямо на глазах прибывшего *коморси* (командующего морскими и речными силами РСФСР) Александра Немитца, в «Доме Искусств» возник Мандельштам, больше месяца пропадавший в каких-то разъездах. Оказалось, что он умудрился побывать в Киеве, откуда вывез девицу-художницу, с которой сошелся во времена былых южных странствий. Вместе с девицей Мандельштам поспешил из Киева в Москву, чтобы, присоединившись к афганскому поезду Раскольниковых, стать секретарем-летописцем миссии в Кабуле. С Ларисой Рейснер было все улажено, но ее муж в последний момент категорически воспротивился против «поэтишки». Мандельштам не растерялся, немедленно записался со своей Надеждой Хазиной в эшелон Центроэвака[542], идущий в Тифлис на помощь беженцам из Турции, – и вот, натурально, завернул на несколько дней в Петроград, проститься с отцом и братом перед «экспедицией» на Кавказ.

Все это выглядело бредом, но слова фантазера Мандельштама убедительно подтверждал сопровождавший его из Москвы чиновного вида знакомец, явно имевший отношение к высшим советским сферам. «Знакомец был молод, – вспоминал Ходасевич, – приятен в обхождении, щедр на небольшие подарки: папиросами, сластями и прочим. Называл он себя начинающим поэтом, со всеми спешил познакомиться». Московский гость рекомендовался Владимиром Александровичем Павловым, старшим секретарем коморси Немитца, и приглашал Гумилева, Оцупа и других петроградских поэтов навестить штабной поезд, стоявший на запасных путях Николаевского вокзала.

Квартировавший в жилом блоке одного из тех комфортабельных железнодорожных «спецсоставов», которыми, по примеру Троцкого, обзавелись во время Гражданской войны

высшие военные начальники, Владимир Павлов с 1918 г. состоял в распоряжении Штаба РККА. Он бросил Московский университет, пошел добровольцем по линии военной пропаганды и дорос до столичных служебных высот – к Немитцу в секретари он попал с должности заместителя председателя Опродкомфлота[543]. Впрочем, штабная служба не угасила в Павлове филологический университетский пыл: он читал популярные лекции по истории театра, интересовался проблемами внешкольного образования и издал книгу стихов «Снежный путь». Павлов был большим поклонником петербургской поэзии, почел честью организовать побывку Мандельштама и горестно недоумевал при виде голодной нищеты, царившей среди писателей в Северной Коммуне.

Тут-то Гумилева и осенило! Игнорируя отменный спирт, который в гостеприимном купе лился рекой, он завел речь, что правление «Дома Литераторов» регулярно организует командировки за дешевыми продуктами, но такие командировки редко оправдывают себя. Уполномоченным агентам по закупке чинятся всякие препятствия на местах, по дорогам идет безудержный грабеж – и беззаконный, и узаконенный под видом реквизиции. Да и много ли может привезти один человек, путешествующий в теплушках или сидячих поездах, двигающихся к тому же с черепашьей скоростью… Бывший зампред Опродкомфлота понял Гумилева с полуслова:

– А не хотите ли поехать за продуктами с нами на юг?

Уговорились, что Павлов перед намечавшимся отъездом коморси в Севастополь предложит Немитцу помочь «Дому Литераторов» и, если будет добро, – немедленно даст Гумилеву знать. Прощаясь с Мандельштамом, возвращавшимся в Москву вместе с Павловым, Гумилев изрек:

– Осип, я тебе завидую, ты умрешь на чердаке!

На том и расстались.

В «Доме Литераторов» Гумилев потребовал субсидию на впечатляющую закупку южного изюма, сахара и белой муки, не позабыв выторговать себе часть будущих продуктов в качестве гонорара за идею предприятия.

– Вы, Николай Степанович, что-то не своим делом занимаетесь, – заметил удивленный Виктор Ирецкий. – Впрочем, Вы были бы, верно, хорошим купцом…

– Я и есть купец, – отпарировал Гумилев. – Я продаю стихи. И смею вас уверить, делаю это толковее других. Попробуйте-ка стихами прокормить семью. А я это делаю. И мне это даже нравится, потому что это всем кажется невозможным. А что касается моей будущей доли, то я предпочитаю добывать себе еду

таким способом, чем литературной халтурой. Вот халтурой я заниматься не буду.

Теперь все зависело от того, какое решение примет в Москве коморси.

Если начальник Немитца А. В. Колчак вошел в историю Гражданской войны как «белый адмирал», то сам Немитц, сменивший в 1917 году Колчака на посту командующего Черноморским флотом, стал адмиралом «красным». После всех черноморских катастроф (не принесших ему славы) Немитц оказался начальником штаба Южной группы войск РККА, а в феврале 1920 г. был выдвинут Лениным на высший военно-морской пост Республики. Это был классический образец беспартийного *военспеца* (военного специалиста), считавшего свою службу в РСФСР «борьбой за сохранение преемственности жизни морской силы страны». В судьбе и человеческом облике «красного адмирала» причудливо переплелись разные черты, среди которых, по справедливости, следует отметить и неизменную доброжелательность к людям искусства. Приглашая Гумилева, Павлов был уверен, что просвещенный коморси (писавший для забавы недурные рондо и триолеты[544]) не откажет поддержать голодающих поэтов – и оказался прав.

Пока Павлов хлопотал за Гумилева в Москве, в Петрограде, охваченном вакханалией обысков, засад и задержаний, на воскресный День Красного Флота[545] свершилась новая диковина. Во время торжественного шествия краснофлотских колонн по городу некий морячок под восторженный рев духового оркестра возложил роскошный букет к подножию воздвигнутого на Конногвардейском бульваре памятника покойному комиссару пропаганды и агитации Всеволоду Володарскому[546]. Но вышло нехорошо – букет взял да взорвался, отхватив у Володарского ногу. Одноногий памятник продолжал меланхолически держать на согнутой руке плащ, и петроградские остряки тут же прозвали его *«инвалидом, торгующим на барахолке»*. Однако веселье было недолгим – вдогонку новой диверсии волна свирепых репрессий накрыла и без того истерзанные после мятежа балтийские флотские экипажи и городской гарнизон. Их горестную участь оплакивали в уличных песнях беспризорные бродяжки, выпрашивая милостыню на вокзалах и рынках:

В камере душной, сырой и холодной
В углу на соломе сырой —
Приговоренный бедняжка голодный,
Красный солдат молодой.
Он на собрании среди коммунистов

Встал и открыто сказал:
«Много в коммуне у нас аферистов»,—
Навзничь упав, зарыдал.
Его трибуналом за это судили,
Суд присудил расстрелять
И под конвоем бедняжка страдалец
В камеру шел смерти ждать…

Теперь все горожане со дня на день ждали что-то окончательно страшное. Говорили, что Пилсудский собрал вместе с англичанами великую рать и будет война с Польшей, похуже прежней. Говорили также, что рать собрали на востоке японцы и готовят Советам новые Мукден и Цусиму. Одни утверждали, что Троцкий арестовал Ленина за его сдвиг «вправо». Другие – что, напротив, Ленин посадил Троцкого под домашний арест и, видя полную разруху, собирает вокруг себя беспартийных, которым намеревается передать бразды правления. Сходились же в одном: сейчас лучше умереть, чем жить на свете.

А Гумилев, ожидая вестей из Москвы, позировал на Преображенской для художницы Надежды Шведе[547], взявшейся за большой, в натуральную величину, портрет председателя петроградского «Союза поэтов». Портрет вышел великолепным: на фоне облаков и скал, с сафьяновым томиком в тонкой, поднятой, отлично выписанной руке.

– Нечто пророческое, апокалипсическое, – говорил Одоевцевой Гумилев, показывая на алую книжицу. – Удивительно хорошо она меня передала, будто смотрю на себя в зеркало. Обязательно помещу репродукцию в моем полном юбилейном собрании стихов, когда мне стукнет пятьдесят лет.

Готовясь к отъезду, он составил для «Петрополиса» полную рукопись «Огненного столпа», отдал в «Мысль» новые редакции «Мика» и «Фарфорового павильона», а во «Всемирную литературу» – только что переведенную «Графиню Кэтлин». Хладнокровие Гумилева в панические майские дни поразило Георгия Адамовича, вновь поселившегося в Петрограде после двух с половиной лет учительской работы в Новоржевской школе. «Он думал, – недоумевал Адамович, – что советской власти «Всемирная литература» действительно нужна, что дело это облагородит революцию и даже искупит ее грехи, что Ленин в Кремле только и следит за тем, как блестяще перекладывает Гумилев в русские ямбы Вергилия или Байрона. Он действительно надеялся, что его не «тронут». Но сказывалась и постоянная, тайная уверенность, что ничего плохого с ним не

случится, и жить-то уж, во всяком случае, ему предстоит очень долго». Однако совсем отрешиться от всеобщего истерического безумия, поветрием распространившегося в эту весну, Гумилев все-таки не смог – оно настигло неожиданно-странным письмом из Бежецка: Анна Николаевна прощалась с мужем, собираясь в ближайшее время наложить на себя руки.

«Ася капризничала, – рассказывала Александра Сверчкова, – требовала разнообразия в столе, а взять было нечего: картофель и молочные продукты, даже мясо с трудом можно было достать. Ася плакала, впадала в истерику, в то время как Леночка, стуча кулачками в дверь, требовала «каки», т. е. картофеля. Своими капризами Ася причиняла Анне Ивановне <Гумилевой> много неприятностей и даже болезней. Чтобы получить от мужа лишние деньги, она писала ему, будто бы брала у Александры Степановны в долг и теперь по ее «неотступной» просьбе должна ей возвратить». Разумеется, Гумилев бросился в Бежецк, где сразу выяснилось, что «долговой гнет» – глупая выдумка. Однако оставлять перессорившуюся со свекровью и свояченицей Анну Николаевну в Бежецке и впрямь было нельзя, и Гумилев, очень расстроенный, немедленно забрал жену с дочкой. В бежецком доме без того было плохо: все оплакивали печальное известие о кончине Николая Сверчкова. В прошлом году чахоточный Коля-маленький, женившись на грузинке Софье Амилахвари, отправился к новой родне в Кутаис, но до целительных кавказских курортов, как оказалось, не добрался – умер от легочного приступа где-то под Краснодаром[548].

Поездка в Бежецк была молниеносной – чуть больше суток. Зайдя в субботу на Преображенскую, ничего не подозревавшая Одоевцева изумленно созерцала Анну Николаевну, блеснувшую на гостью своими прелестными темными глазами:

– Коля, Коля, Коля, к тебе твоя ученица!

В кабинете был разгром – книги, снятые с полок, валялись повсюду.

– Мы переезжаем в мою комнату в «Диске», – сухо сообщил Одоевцевой хмурый Гумилев.

– Неужели Вы собираетесь брать все эти книги с собой?!

– И не подумаю! – пожал плечами Гумилев. – Ключ от квартиры остается у меня, я смогу приходить сюда, когда хочу. Совсем как в Париже pied-a-terre[549]: могу назначать любовные свидания.

Он подошел к портрету, возвышавшемуся на мольберте посредине комнаты:

– Жаль, что приходится с ним расстаться. Будто с частью самого себя, с лучшей частью.

Одоевцева воздержалась от вопроса о причине такого поспешного бегства с Преображенской, а Гумилев, пролистав очередной том, раздраженно бросил его на пол:

– Проклятая память! Недаром я писал: «Память, ты слабее, год от года!» Я ищу документ. Очень важный документ. По-моему, я заложил его в одну из книг и забыл в какую. Вот я и ищу. Помогите мне.

Некоторое время они перетряхивали книги вместе.

– А что за документ?

– Черновик кронштадтской прокламации. Оставлять его никак не годится. Я с утра тружусь, как каторжный. Нет, вероятно, все-таки сжег, да позабыл. Или в корзину для бумаг бросил. Ко мне и Жоржик Иванов заходил, тоже искал. Кстати, он просил передать, что ждет Вас в «Доме Литераторов»…

Очевидно, какие-то *новости*, услышанные Гумилевым после возвращения из Бежецка, были очень тревожны! Выпроводив Одоевцеву, он отправился на Каменноостровский к Лозинским. Жена Михаила Леонидовича, работавшая в детском отделе Собеса, всю минувшую неделю вывозила на летний сезон приютские ясли в Парголово. Гумилев спросил, как поживают на новой даче ее подопечные:

– Прекрасно. Уход, пища и помещение – все выше похвал!

– Ну и замечательно. Я очень рад, что деткам у вас хорошо. Я собираюсь перевезти к вам на лето дочку.

Татьяна Борисовна всплеснула руками:

– Господи! Мы действительно делаем для наших малышей все, что возможно, но подумайте: это – приютские дети, подкидыши, дети пьяниц и проституток. Вы шутите, Николай Степанович. Я, как мать…

– Глупости, моя Леночка *такая же, как все*, – отрезал Гумилев. – Я уверен, что ей будет хорошо у вас в Парголове. Во всяком случае, *гораздо лучше, чем в Петрограде*.

Вероятно, в его речи промелькнуло нечто, заставившее Лозинскую, хорошо знавшую Гумилева, немедленно согласиться взять Леночку под свое крыло. В воскресенье двухлетняя малышка уже бегала в парголовских рощах, неотличимая от прочих приютских карапузов. А Гумилев, вернувшись с женой в Петроград, тем же вечером замкнул квартиру на Преображенской и обосновался в елисеевском предбаннике. Растерянная Анна Николаевна не понимала, что́ происходит.

– Не правда ли, моей девочке будет хорошо в Парголове? Даже лучше, чем дома? – лепетала она Чуковскому в библиотеке «Диска», поминутно пугливо оглядываясь на мужа. – Ей там позволили брать с собой в постель хлеб… У нее есть такая дурная

привычка: брать с собой в постель хлеб… очень дурная привычка… потом там воздух… а я буду приезжать… Не правда ли, Коля, я буду к ней приезжать…

Чуковский сочувственно кивал, закипая душой против Гумилева, оказавшегося твердолобым деспотом. А несколькими днями позже в «Диске» прошел слух, что боевой отряд семеновских чекистов разгромил квартиру Таганцевых на Литейном, обнаружив там в печной трубе листовки и прочую «пропаганду белых». Сам Владимир Николаевич находился в отъезде, поэтому на Гороховую из квартиры забрали его молодую супругу; двух же малолетних детей отправили заложниками под надзор в специальные детские дома. В Петроград ангелом-избавителем уже летел Владимир Павлов. Строго-настрого запретив Анне Николаевне даже приближаться к дому на Преображенской, Гумилев вместе с первым секретарем коморси отправился в Москву, где был снаряжен для инспекции Черноморского флота знакомый штабной поезд.

XIV

Путь на юг. В Севастополе. Сергей Колбасьев. «Шатер». В гостях у Горенко. Поездка в Феодосию. Прощание с Максимилианом Волошиным. В Ростове-на-Дону. Представление «Гондлы» в «Театральной мастерской». Возвращение в Москву. Московские встречи: Яков Блюмкин, Адалис. Странный день Ольги Мочаловой. У Бориса Пронина в Крестовоздвиженском. Своеволие Одоевцевой. «Мои читатели».

«Вся Украина сожжена», – горестно думал Гумилев, глядя в окно мчавшегося на юг «спецсостава» коморси. На злосчастных южных землях почти три года повсюду шли непрерывные боевые схватки немецких, австрийских, французских, румынских и польских войск с отечественными «белыми», «черными», «зелеными», «желто-голубыми» и «красными» отрядами, воевавшими попутно и друг с другом в разных союзах и комбинациях. Во время длительных стоянок на больших железнодорожных узлах напоминанием о недавних боях виднелись мрачные городские руины; сгоревшие же хаты и целые селенья, превращенные войной в сплошные пожарища, мелькали без счета. А Крым еще не остыл от чудовищной бойни, устроенной после прошлогоднего морского исхода разбитой армии Врангеля. Под расстрельные залпы истребительных отрядов «Крымской ударной группы» пошли врангелевские офицеры и чиновники, имевшие неосторожность поверить «красным» декларациям о гражданском мире. Кое-где стреляли и членов их семейств. Для прочих же «буржуев», мечтавших пересидеть гражданское лихолетье за укреплениями Перекопа, был устроен свирепый голодный мор, произведший зимой 1920–1921 г. классовую чистку получше любых карательных экспедиций[550].

Севастополь также сохранял следы войны, оккупации и истребительного разорения. От «колчаковского» Черноморского флота, наводившего в 1916–1917 гг. ужас на германцев и турок, уцелели жалкие остатки. Большинство кораблей либо покоились затопленными в Цемесской бухте под Новороссийском, либо, уведенные врангелевцами в африканскую Бизерту, ожидали приговора властей Франции, Италии и Мальты. Уцелевшие севастопольские старожилы встречали морского начальника РСФСР без особого почтения: «красного адмирала» обвиняли здесь в самочинном оставлении города и флота во время хаоса и гибели, наступивших после октябрьского свержения Временного

Правительства[551]. Но среди молодежи, распоряжавшейся на сохранившихся черноморских судах, было много боевых товарищей Немитца по прошлогодним сражениям на Каспии и в Азовском море[552]. Один из них, лейтенант Сергей Колбасьев, с внешностью юного итальянского grandee времен Лоренцо Медичи[553], приветствовал Гумилева декламацией стихов из «Жемчугов», «Чужого неба» и «Колчана».

Книги Гумилева оказались у Колбасьева еще в Морском корпусе и с той поры неразлучно сопровождали его во всех лихих военных приключениях на морях и реках – судьба распорядилась так, что, не завершив учебы, петроградский гардемарин принял сторону «красных» и ушел на фронт. По крови Колбасьев и впрямь был итальянец, и природная пылкость и общительность делала его страстным пропагандистом всего полюбившегося – будь то поразившие воображение поэтические строфы, диковины радиотехники или джазовые композиции[554]. У Гумилева неожиданно появился добровольный импресарио. Стараниями Колбасьева в Севастополе прошли три открытые гумилевские лекции о поэтическом творчестве, во время которых звучали старые и новые стихи. (Ироничный Павлов после рассказывал, что своими лекциями Гумилев не только покорил черноморских книголюбов, но и завоевал сердце некой красавицы из городской таможни. Так ли это, судить сложно: с годами, вспоминая о былинных делах революционной юности, поэт-штабист все больше напоминал барона Мюнхгаузена.) Помимо того, Колбасьев предложил издать в местной военной типографии небольшой стихотворный сборник. За несколько дней Гумилев подготовил для наборщиков рукопись книги стихов «Шатер», превратив прежние тексты «географии в стихах» в лирический гимн Африке, посвященный *«Памяти моего товарища в африканских странствиях Николая Леонидовича Сверчкова»*.

Покойный Коля-маленький, погибший так нелепо, постоянно приходил теперь на ум потому, что в Севастополе Гумилев узнал о другой, столь же нелепой и горькой потере. Столкнувшись с Ией Горенко (Гумилев и не предполагал, что семейство Ахматовой продолжает выезжать в Севастополь!), он выслушал дикую историю о самоубийстве ее старшего брата и своего давнего друга. Андрей Горенко жил с женой и маленькой дочкой эмигрантом в Греции, без средств и сколь-нибудь ясной надежды на будущее. Ребенок тяжело заболел и умер. Это оказалось последним жизненным испытанием, добившим несчастных родителей. Похоронив дочь, они, уговорившись, приняли в афинском гостиничном номере яд[555]. Без вести пропал во время матросского мятежа в Севастополе и юный мичман Виктор

Горенко – о нем не было слышно с 1918 года[556]. Потрясенный Гумилев предстал перед бывшей тещей и, с ужасом глядя на Ию, постоянно харкающую кровью в платок, торопливо живописал скорбной Инне Эразмовне, как прекрасно, замечательно устроилась в Петрограде жизнь Ахматовой, вышедшей замуж за выдающегося ученого и доброго человека Владимира Шилейко…

От мрачных размышлений о роковых ударах, настигших близких, Гумилева оторвал Колбасьев, приглашавший сходить на миноносце коморси в Феодосию. В тамошней конторе Центросоюза Гумилев узнал, что его спрашивает какой-то старый знакомец:

– Постойте, да вот он и сам, кажется…

Перед Гумилевым стоял Максимилиан Волошин, поседевший и строгий. О Волошине в Крыму ходили легенды. В страшные дни междоусобицы его коктебельский дом был убежищем, где спасались «и красный вождь, и белый офицер»[557]. Революция и Гражданская война сделали из прежнего эстета вдохновенного пророка – в новых волошинских стихах о России звучала исполинская, почти библейская сила.

– Николай Степанович, со времени нашей дуэли прошло слишком много разных событий такой важности, что теперь мы можем, не вспоминая о прошлом, пожать друг другу руки!

Крепкое примирительное рукопожатие взволновало Волошина, и он вдруг, сбиваясь, пустился в непонятные объяснения: «Если я счел нужным тогда прибегнуть к такой крайней мере, как оскорбление личности, то не потому, что сомневался в правде Ваших слов, но потому, что Вы сочли об этом возможным говорить вообще…»

– Максимилиан Александрович, – не размыкая рук, дипломатично прервал Волошина Гумилев, – если Вы все еще не считаете себя достаточно удовлетворенным, то я из одного уважения к Вам готов хоть сейчас вновь встать к барьеру…

Его уже требовали на борт отваливавшего адмиральского миноносца – инспекция завершалась. Крымские дни подходили к концу. «Шатер» был в работе – Колбасьев, демобилизовавшийся в июле, обещал сам привезти тираж в Петроград. Из Севастополя Гумилев и Павлов отправились в Ростов-на-Дону самостоятельно, с расчетом на сутки опередить поезд Немитца и без суеты приобрести все потребные для «Дома Литераторов» южные продукты. Вечером, в ожидании «спецсостава», Гумилев в реквизированном особняке на Большой Садовой улице разыскал зал ростовской «Театральной Мастерской». Этот крохотный театр-студия, созданный режиссером Сергеем Гореликом, поставил в прошлом году «Гондлу». На премьере тогда случайно оказался

художник Юрий Анненков, который, вернувшись в Петроград, очень хвалил ростовскую постановку и даже откликнулся на нее большой рецензией в наркомпросовской «Жизни искусства». Гумилев попал на закрытие сезона: актеры, получив отпускные, пировали в крохотном, человек на восемьдесят, партере. Красавица-актриса указала странному гостю в потертом пальто, как пройти в кабинет режиссера. Через несколько минут в зал выбежал сияющий Горелик:

– Немедленно собрать всю труппу! Даем занавес!

Не было ни декораций, ни освещения, ни бутафории. Для единственного зрителя «Гондлу» исполняли «чтением отрывков», актеры, импровизируя на ходу, тряслись от волнения. Но Гумилев смог убедиться: Анненков в своей рецензии был прав, и спектакль «подкупал честностью работы, свежестью и неподдельным горением».

– Спектакль мне вот как понравился, – Гумилев провел ладонью над головой. – Хотите стать петроградской труппой? А я буду вашим директором. Ну как?

На вокзал по ночному городу его провожали все участники «Театральной мастерской» во главе с Гореликом. Прощаясь на перроне, давешняя красавица (она исполняла роль Леры) потребовала:

– Дайте клятву, что не забудете про нас!

– Даю клятву, – Гумилев торжественно поднял руку.

За окнами вновь замелькали пепелища южных деревень.

По дороге мысль о собственном театре все больше увлекала его. Мавританские хоромы «Союза поэтов» на Литейном явно не уступали легендарным подвалам былых артистических кабаре. Гумилев непременно положил себе переговорить в приближающейся Москве с Борисом Прониным. Бывший хозяин «Бродячей собаки» и «Привала комедиантов» к этому времени прочно обосновался в «красной» столице и, не растеряв энтузиазм, возобновлял, по слухам, новые театральные проекты.

Москва, куда поезд коморси вернулся в начале июля, встретила Гумилева невероятным изобилием лиц и событий, сразу утянувших его из штабного вагона в непрерывный калейдоскопический круговорот. Уже в первый вечер по прибытии Гумилев дал импровизированный стихотворный концерт в литературном кафе «Домино», именовавшемся также *«Сумасшедшим домом»* (на здании по Тверской улице сохранялась дореволюционная вывеска психиатрической лечебницы). Компания завсегдатаев тут была и в самом деле неспокойной, однако, по свидетельству поэта Герасима Лугина, Гумилев «вышел из этого испытания с честью. Читал, как обычно – чуть

глуша голос, придавая ему особую торжественность. Скрестив руки, вернее, обхватив локти и чуть приподняв плечи, бросал он с эстрады свои строки. Стихи врезались в память, подчиняли себе, смиряли буйную вольницу «презентистов», «эгоцентристов», «евфуистов» и «ничевоков», разбивших в этом кафе свое становье». Было уже очень поздно, и Гумилев, решительно отклоняя многочисленные предложения прослушать шедевры местных новаторов, двинулся из сумасшедшего кафе. Проход во внешний зал загораживал чернобородый исполин в кожаной чекистской куртке и галифе казенного сукна. Скрестив руки, как давеча на эстраде Гумилев, он упоенно читал вслух… гумилевские стихи.

– Кто сей Самсон? – удивился Гумилев.

– Мне запомнились все Ваши стихотворения, – улыбнувшись, отвечал тот.

– Это меня радует, – улыбнулся и Гумилев, протягивая незнакомцу руку.

– А *я Блюмкин*, – представился чекистский Самсон, отвечая рукопожатием.

«Имя вызвало к жизни клочья воспоминаний о событиях и днях, – пишет Лугин. – Блюмкин… Брестский мир… германский посол граф Мирбах в Москве и смелое, неправдоподобно дерзкое убийство посла… выстрел и исчезновение среди бела дня убийцы – Блюмкина… Так вот он каков – Блюмкин… Стаяла чуть торжественная напыщенность Гумилева. По-юношески непосредственно вырвалось: «Вы – тот самый?» – «Да, тот самый». И снова рукопожатья и слова Гумилева, чуть напыщенные и церемонные: «Я рад, когда мои стихи читают воины и сильные люди».

У выхода Гумилев вновь, как и несколько месяцев тому назад в Политехническом музее, столкнулся с выросшей, словно из-под земли, Ольгой Мочаловой. Разговор с Блюмкиным так разгорячил его, что, машинально ответив на ее приветствие, он и на тротуаре Тверской восхищенно пояснял новой спутнице:

– Убить посла, хоть и германского, – невелика заслуга, но то, что Блюмкин сделал это открыто, в толпе людей, не таясь – замечательно!..

Лишь через несколько шагов, спохватившись, он быстро переменил тему:

– Вы более прекрасны, более волнующи, чем я думал. И так недоступны!

Мочалова, проводив его до Румянцевского музея, исчезла, лишь проронив несколько слов о завтрашней встрече, а Гумилев, чтобы не брести через весь полночный город к Николаевскому

вокзалу, решил попытать счастья найти ночлег во Дворце Искусств на Поварской. Как оказалось, это было не так-то просто: ворота уже замкнули на ночь. Недолго думая, он перемахнул через ограду и остановился под единственным освещенным окном писательского особняка:

– Здесь Гумилев! Пустите переночевать!

– Дом закрыт снаружи! – отозвался из окна женский голос.

– Ну, так откройте окно!

Он легко взобрался к манящему жилому уюту по водосточной трубе, спрыгнул с подоконника и оказался перед обитательницей чердачных палат – поэтессой Адалис (Аделаидой Ефрон). Восхищенная невероятным приключением Адалис, гордясь, рассказывала знакомым, как свалившийся с неба петербургский гость «провел всю ночь у ее ног в возвышенных разговорах». А Гумилев, отыскав на следующий день на Знаменке Ольгу Мочалову, поведал о своем ночлеге с иронией:

– Адалис – слишком человек. А в женщине так различны образы – ангела, русалки, колдуньи. У вас в Москве нет настоящих легенд, сказочных преданий, фантастических слухов, как у нас…

Они беспечно кружили по городу; Гумилев продолжал смеяться над москвичами, которые, как правило, не знают названия соседней улицы и, верно, поэтому неуловимы друг для друга даже по собственному адресу, а затем вдруг разоткровенничался:

– Что делать дальше? Стать ученым, литературоведом, археологом, переводчиком? Нельзя – только писать стихи. Между тем стихов на свете мало, надо их еще и еще. Бальмонту, Брюсову, Иванову, Ахматовой, мне – можно было бы дать то, что имеет любой комиссар!

Его доверительный голос произвел на неприступную Мочалову удивительное действие – вместо куда-то исчезнувших московских переулков перед ней вокруг неожиданно возникло зеркальное и бархатное великолепие совершенно пустого жилого вагона штабного поезда, стоявшего на запасных путях Николаевского вокзала.

– В юности, – сказал Гумилев, – я выходил на заре в сад и погружал лицо в ветки цветущих яблонь. То же я испытываю теперь, когда Вы в моих руках.

Следующие сутки оказались самыми странными в жизни Ольги Мочаловой. Время почему-то пошло скачками: только что она видела себя сидящей с Гумилевым на ступенях храма Христа Спасителя и слышала его голос: «Оля! Оля!», звучащий как бы издалека, – а сразу вслед за тем они уже пересекали вместе

Лубянскую площадь, и тот же далекий голос напевал:

– Ваше имя – Илойяли… Пройдет время, в каких бы то ни было обстоятельствах Вы вдруг почувствуете беспокойство, волненье, неясное томленье… а это я тоскую и зову…

Потом она обнаруживала, что находится на «Исполнительном собрании» в зале Всероссийского союза писателей на Тверском бульваре, видела впереди, за трибуной декламировавшего Гумилева, а в уши полз шепот определенно невзлюбившей ее соседки Надежды Вольпин, одной из concubine[558] прославленного *имажиниста* Сергея Есенина:

– Подумаешь! Ваш Гумилев – поэт для обольщения провинциальных барышень!

Мочалова морщилась, пытаясь уловить, что же читает с трибуны Гумилев, но не было уже ни зала, ни трибуны. В невероятном лабиринте ночных дворов и двориков Гумилев, придержав Мочалову за руку, указывал провожавшему их о. Николаю Бруни из арбатской церкви Николы-на-Песках на едва приметную тропинку между нависшими глухими стенами:

– Сначала пройдет священник, потом – женщина, а потом – поэт.

А впрочем – какие там дворики, с низкой луной и собачьим лаем! Нет, в стеклянной картинной галерее, наполненной людьми, уже горечью ненайденного пути грозил ей неведомый художник, уже сама она, читая стихи, пила полей холодное дыханье и слушала, дрожа, родное тоскованье в тягучем волчьем завыванье… И вдруг мелькнула спасительная вспышка:

– Я не люблю Вас.

Время вернулось в устойчивые берега! «Прощаясь, – пишет Мочалова, – мы договорились, что завтра в 12 часов он за мной зайдет. Он не пришел».

В стеклянной мастерской Бориса Пронина, затерявшейся в лабиринтах Крестовоздвиженского переулка, собралось в эту ночь большое литературное общество. На внезапное бегство Мочаловой никто не обратил внимания. Сидели до утра. Пронин, действительно, открывал на днях «Литературный Особняк» на Арбате и был бы рад сотрудничать с подобным же камерным театром в Петрограде. Читал свои новинки гостивший в Москве Федор Сологуб. Принявший духовный сан Бруни вспоминал о довоенном «Цехе поэтов», а Гумилев рассказывал о новом. Тут же выяснилось, что главная «звезда» возрожденного «Цеха» – Ирина Одоевцева – уже несколько недель квартирует неподалеку от Пронина, на Басманной улице.

– Не ожидали? – весело приветствовал ее на следующее утро Гумилев. – Нелегко было Вас найти, но я ведь хитрый, как муха!

Одоевцева выглядела скорее смущенной, чем обрадованной. Оказалось, что во время его крымского отсутствия она не только умудрилась разорвать прошлый скандальный брак, но и обручилась вновь – с Георгием Ивановым.

– Что за вздор, – не понял Гумилев, – влюбляйтесь сколько хотите, а замуж выходить не смейте. Тем более за Георгия Иванова…

«Он старался меня отговорить, – вспоминала Одоевцева. – Не потому что был влюблен, а потому что не хотел, чтобы я вышла из сферы его влияния, перестала быть «его ученицей», чем-то вроде его неотъемлемой собственности».

Выступая через несколько часов во «Дворце Искусств», Гумилев был явно не в духе и успеха не имел. Кое-как завершив чтение, он представил Одоевцеву Федору Сологубу по-прежнему лаконично:

– *Моя ученица*.

– Правда, пишете стихи, как уверяет Николай Степанович? – осведомился Сологуб. – Напрасно. Лучше бы учились чему-нибудь путному.

Перед расставанием еще немного посидели у Пронина. Тот, возмущаясь, рассказывал, как имажинисты весной на вечере Блока кричали из зала «Мертвец! Мертвец! В гроб пора!».

– На что Блок спокойно сказал: «Да, они правы. Я давно умер».

Гумилев сообщил Пронину, что Блок после московских гастролей окончательно захворал и больше не появляется на людях.

– Даже мороз по коже, как подумаю, что обо мне напишут через десять или двадцать пять лет после моей кончины, – мрачно резонерствовал Сологуб. – Ужас!

Впечатление осталось гнетущее. Доставив Одоевцеву на Басманную, Гумилев, прощаясь, преувеличенно бодро предостерег ее от пагубного воздействия *«декадентской чепухи»*:

– И вообще, возвращайтесь-ка скорее. У меня куча проектов. Весело заживем!

На следующий день штабной поезд Немитца уходил на Петроград. Но стихотворение, не оставлявшее во время всех крымских и московских встреч, было уже готово, а «Огненный столп» наверняка заканчивался набором, если не печатался. Поэтому в редакцию «Петрополиса» ушло срочное письмо, в котором Гумилев просил, если возможно, добавить в верстку прилагаемый текст, «крайне важный для целостности всей книги». Удивленный Яков Блох, получив московское послание, огласил вслух: *«Мои читатели»*. Внимание всех присутствующих

сотрудников остановили финальные строки, говорящие о том, что автор всегда учил читателей принять свой смертный час без малодушия и страха:

И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.

– Чего это он вдруг? – пожал плечами издатель «Петрополиса».

– Кокетничает, – заметил Виктор Ирецкий.

XV

Возвращение в Петроград. Крушение петроградского подполья. Арест В. Н. Таганцева. Планы на будущее. Создание «Клуба поэтов». У Ахматовой на Сергиевской. Миссия Якова Агранова. Первые мероприятия «Клуба поэтов». Севастопольский «Шатер». Переговоры с Альбертом Оргом. Эмиграция Дмитрия и Анны Гумилевых. Тревожные известия о Таганцеве. Во главе «пятерки». Смерть «Вячеславского». Сумасшествие Блока. Нина Берберова. Последний вечер в «Диске». Арест.

Едва ступив на невские берега, Гумилев мог убедиться, что крымская поездка была, без всякого сомнения, одной из самых больших удач хранительного ангела, ограждавшего его от гибели на земных путях. Пока Гумилев странствовал по южным российским рубежам, в Петрограде семеновским ищейкам удалось раскрыть конспиративный штаб заговорщиков – с тиражами листовок «Временного Кронштадтского Ревкома» и «Собрания представителей фабрик и заводов Петрограда», с оружием, толовыми шашками и даже печатным станком, запасом фальшивых документов, чистых бланков и скопированных штампов различных учреждений[559]. Концы подпольной сети были выявлены – и массовые облавы тут же прекратились. Городские тюрьмы к этому времени стояли переполненными сверх всякой меры, задержанные в них подчас неделями ожидали предъявления обвинений. Поэтому чекисты, перестав хватать всех подряд, шли теперь целенаправленно, от звена к звену нащупанной ими человеческой цепочки. На Гороховой оказались кронштадтские моряки, готовившие взрыв Нобелевских складов, поджог лесозаготовительного завода Громова и налет на поезд наркома Леонида Красина. Были перехвачены тайные эмигрантские курьеры, задержаны хозяйки явочных квартир. Вдохновитель и командир подпольных боевых групп, известный под именем *Голубя*, при переходе финской границы попал в засаду и погиб в ожесточенной перестрелке, предварительно уложив несколько солдат и чекистов. Слухи о бое у деревеньки Агалатово циркулировали по городу. Гумилев, возможно, узнал, что таинственный и неуловимый «Голубь» был полковником Юрием Павловичем Германом, доверенным лицом генерала Юденича и… однокашником Георгия Иванова по 2-му кадетскому корпусу имп. Петра Великого[560].

Был арестован и Владимир Таганцев. Приват-доцента задержали в начале июня в Осташковском уезде, на сапропелевой

станции, которую Таганцев устроил в своей бывшей усадьбе. В ПетроЧК с ним долго не возились, поскольку улики – вражеские листовки, найденные в печном тайнике, – присутствовали налицо. Ясно было, что это один из тех интеллигентных крикунов, которых в недавние мятежные дни в Петрограде развелось видимо-невидимо. Никакого интереса для семеновских чекистов, уже штурмовавших явки вооруженных до зубов боевиков, Таганцев не представлял. Из следственной тюрьмы на Гороховой его вскоре перевели в Дом предварительного заключения на Шпалерной улице, где томилось в ожидании отправки на исправительные работы множество таких же неудачливых Мирабо[561]. Теперь, когда нити заговора были в руках ПетроЧК, охота шла исключительно на крупную дичь – тут прекрасно понимали, что в мелкие силки неблагонадежности и фронды можно затащить пол-Петрограда. Но нужно ли?

Понимал это и Гумилев. Опасность попасть в число случайных жертв послекронштадского водоворота для него миновала, а в качестве деятельного мятежника он чекистов интересовать не мог, ибо таковым не являлся. Наступила возможность окончательно предать забвению политику (осевшие волею случая без движения крамольные деньги так, без движения, бессрочно, и держать), водвориться к осени с женой и дочкой вновь на Преображенскую, и сосредоточиться на творческих замыслах, которые виделись теперь один заманчивей другого.

Он с удовольствием просмотрел изящные корректурные оттиски, полученные от «Петрополиса», и решительно проставил посвящением на титуле будущего «Огненного столпа»:

АННЕ НИКОЛАЕВНЕ ГУМИЛЕВОЙ

Это была благодарность за перенесенные без него горести в бежецкой глуши и в тревожном июньском Петрограде. Еще через несколько секунд со страниц корректуры посыпались все посвящения к стихам, и померкло, угаснув, имя Одоевцевой. Прибывшую невесту Георгия Иванова добродушный учитель встретил в Доме Мурузи насмешливым брюзжанием:

– Вы только вспомните, кем Вы были, когда впервые переступали этот священный порог. Вот уж, правда, как будто о Вас: «Кем ты был и кем стал». А ведь только два года прошло! Просто поверить трудно. Все благодаря мне – не вздумайте спорить. И все-таки Вы скоро отречетесь от меня, как, впрочем, и все остальные…

– Неправда! – серьезно возразила ему Одоевцева. – Никогда, никогда я не отрекусь от Вас, Николай Степанович.

По всей вероятности, в московские дни Гумилев заручился влиятельной поддержкой, ибо вопрос об открытии в доме Мурузи

«Клуба поэтов» был решен моментально. Так же быстро нашелся и меценат Зигфрид Кельсон (оборотистый юрист из петроградской коллегии правозаступников), согласившийся взять на себя расходы по устроению при «Клубе» кабаретного театра и буфета[562]. Из Ростова-на-Дону был вызван Сергей Горелик с актерами, а пока Гумилев при помощи молодежи из «Цеха поэтов» и «Звучащей раковины» своими силами готовил первые представления – торжественное открытие арт-кабаре 11 июля и сценический вечер Габриэля д'Аннунцио, посвященный подвигам великого итальянского поэта, героя мировой войны и президента самопровозглашенной в городе Фиуме «Республики Красоты»[563].

На открытие «Клуба поэтов» Гумилев и Георгий Иванов отправились звать Ахматову. Та провела их в свою келью на Сергиевской улице какими-то запутанными ходами и, прежде приглашения, выслушала от Гумилева весть о самоубийстве Андрея Горенко. Не дрогнула, взяла письма из Севастополя от матери и сестры, отложила, не распечатав. Но когда Георгий Иванов, неловко прервав молчание, заикнулся о грядущем поэтическом вечере – отказалась наотрез:

– У меня сейчас не такое настроение, чтобы где-то выступать!..

Ахматова объяснила гостям, что уже обещала выступить в тот же день, в понедельник 11-го, в «Петрополисе», а идти потом еще и в Дом Мурузи, где люди будут веселиться, она не хочет. Гумилев стоял хмурый, проклиная себя за то, что захватил «Жоржика» (исключительно, чтобы не вызвать ревнивых подозрений у Шилейко, если тот окажется на Сергиевской). Ахматова же, словно позабыв об Иванове, стала доверительно рассказывать Гумилеву о распре с Зиновием Гржебиным, который в голодовку военного коммунизма получил от нее издательские права и теперь не хочет уступить их «Петрополису». Гумилев нехотя откликнулся:

– Формально Гржебин прав – ты же подписала договоры…

– Гржебин не прав уже потому, что он Гржебин! – весело воскликнул, напоминая о себе, третий лишний, вскочил и начал галантно откланиваться. Ахматова отомкнула отдушину в углу комнаты: показался сводчатый проем винтовой потайной лестницы, погружавшейся через три ступени в непроглядный мрак.

– О! Просто какая-то «Пиковая дама»! – восхитился Иванов и, напевая, смело застучал каблуками по каменным плитам.

Гумилев помедлил у сводчатого входа. Он вдруг начал горячо доказывать Ахматовой, что она всегда и везде понимала его превратно, что нельзя сидеть со своим горем одной в этой жуткой

конуре, что он специально хотел вытащить ее выступать, что он…

– Иди! – перебила Ахматова. – ***ПО ТАКОЙ ЛЕСТНИЦЕ ТОЛЬКО НА КАЗНЬ ХОДИТЬ***.

Гумилев сердито посмотрел на нее и шагнул в темноту. А особоуполномоченный особого отдела ВЧК Яков Агранов к этому времени уже устал сокрушенно втолковывать питерским недоумкам с Гороховой, 2:

– Как же вы не понимаете? Сейчас не только ваши бандиты из Кронштадта – сейчас 70 % всей петроградской интеллигенции стоят одной ногой в стане врага. Мы должны эту ногу ожечь! Раз и навсегда!

Петроградские чекисты не понимали. Агранов был направлен из Москвы курировать расследование дела о боевой организации полковника Юрия Германа и «кронморяков» еще в мае и сидел все это время, затворившись в кабинете, невидим и неслышим, – только бумажки перебирал. Зато теперь, когда «Голубя» питерские оперативники пустили в расход, а все террористы и курьеры сидели под замком, московский гость вдруг пробудился, затребовал зачем-то к себе на доследование вполне «отработанного» приват-доцента Владимира Таганцева и, затягивая завершение законченного дела, по многу часов допрашивал этого университетского путаника с расплывчатыми и нецельными политическими убеждениями. Занимавшиеся Таганцевым сотрудники ПетроЧК, будучи вызванными для консультаций, уверенно докладывали: 1) знакомство с полковником Германом Таганцев использовал как связь с заграницей, откуда ему необходимо было получать информацию, лишенную буржуазной или партийной окраски; 2) связь Таганцева с курьерами Германа имела исключительно спекулятивную подкладку – перепродажа вещей, отправка эмигрирующих русских за границу, передача писем; 3) если компанию недовольных ученых из университета и Академии Наук, собиравшуюся у Таганцева, считать подпольной организацией, то это «организация» без названия, без программы, без каких-либо средств борьбы.

– Владимир Таганцев – кабинетный ученый, любую «организацию» он мог мыслить только чисто теоретически.

Агранову было от чего прийти в отчаянье! Чего стоил один тупица Семенов со своим упрямым стремлением немедленно донести начальству о триумфальном разгроме петроградского заговора. Подумаешь, раскрытый заговор! Какой-то полковник, какие-то неведомые матросы и старшие корабельные механики, завхозы, сестры милосердия, электрики, студенты, домохозяйки… Семенов не понимал, что дело «Петроградской Боевой

Организации» должно стать первостепенным по своей важности, должно ужаснуть и парализовать смертным страхом любого тайного недоброжелателя советской власти на много лет вперед. А для этого возглавлять список заговорщиков должны совсем другие люди. Тщательно изучив сотни приобщенных к многотомному делу документов, Агранов отобрал несколько вполне подходящих кандидатур, чьи имена, так или иначе, мелькнули в бесконечных протоколах, рапортах и донесениях тайных осведомителей. Особенно понравилось ему одно из имен. Знакомые с ранней юности и бесконечно любимые стихотворные строки стремительно пронеслись в памяти. С удвоенной энергией московский особоуполномоченный насел на Таганцева:

– Владимир Николаевич, поймите, в Ваших руках сейчас гражданский мир в России. Если Вы назовете мне всех, кого сводили с Германом во время «волынок» и Кронштадта – будет открытый политический процесс, на котором Вы и ваши друзья сможете на весь мир признать свои ошибки и публично заявить о желании сотрудничать с большевиками. Не я – ваши любимые эмигранты призывают русскую интеллигенцию *«идти в Каноссу».* Какая же Вам еще нужна «Каносса»? Тогда и у нас, большевиков, появится шанс проявить добрую волю и помиловать всех. Дайте нам этот шанс, прошу Вас!

Таганцев изображал недоумение, отнекивался или молчал[564].

А в городе никто не чувствовал приближения новой беды. Дни стояли жаркими и дождливыми, бушевали грозы, после которых наступала блаженная свежесть. Открытие «Клуба поэтов» прошло без задоринки – пела цыганские романсы блистательная Нина Шишкина, смешили с эстрады шуточными стихами и спичами Александр Флит и Евгений Геркен, буфет с пирожными (Кельсон не подвел!) работал ночь напролет. А вот «сценическое действие», с которого начинал представления театр «Клуба поэтов», получилось веселым балаганом. Самодеятельные актеры забывали и перевирали роли, тут же заливаясь вместе со зрителями безудержным хохотом, грохот и блеск бутафорских орудий при «взятии Фиуме» вызывал всеобщий восторг. Один Гумилев, изображавший Габриэля д'Аннунцио, был до конца невозмутим, и носившаяся по «полю сражения» с распущенными волосами Богиня Победы (Одоевцева) в финальном апофеозе забралась на табурет и увенчала героя лавровым венком. Расходились довольные, однако Гумилев мечтал о настоящем театре, грандиозном и роскошном, со всякими техническими усовершенствованиями и музыкальным аккомпанементом – «как в Испании XVII века». Надежда была на Сергея Горелика, который

явился из Ростова во второй половине месяца и, выправив все необходимые документы в Наркомпросе и *Всерабисе*[565], укатил обратно готовить переезд труппы.

В июле в городе вновь появился Владимир Павлов (ожидался переезд в Петроград морского командования РСФСР), а из Севастополя приехал Сергей Колбасьев, доставивший Гумилеву готовый тираж «Шатра». У Николая Оцупа на Серпуховской по случаю устроили вечеринку, где все поэты и оба моряка на радостях перепились. «Электричества не было, – вспоминала Вера Лурье. – Мы бродили из одной комнаты в другую с керосиновой лампой в руках. Пили нечто отвратительное, приготовленное из денатурата. На следующее утро, придя домой, я написала стихотворение, в котором была такая строка: «Милые, милые, ночь оторвала меня». «Мужчины были агрессивны и… разочарованы», – констатировала Ида Наппельбаум, представлявшая единственный трезвый элемент на этом скифском пировании.

«Шатер», отпечатанный на упаковочной бумаге из-под сахарных голов, пестрел типографскими огрехами. Тем не менее Гумилев, по единодушному признанию мемуаристов, был счастлив и «сиял». Книга, которую он с подчеркнутой торжественностью вручал ученикам и знакомым, стала победным результатом отчаянной трехлетней борьбы за право возобновить прерванный революцией и гражданской смутой разговор с читателем – за это военной типографии Севастополя можно было простить и сахарную бумагу, и скверную печать. К тому же почти сразу появилась возможность переиздать «Шатер» наилучшим образом – в гостях у Немировича-Данченко Гумилев познакомился с эстонским консулом в Петрограде Альбертом Оргом, владевшим в Ревеле русским издательством «Библиофил». Орг, возвращавшийся в Эстонию, очень заинтересовался «Шатром», и Гумилев передал ему для ознакомления старую рукопись «географии в стихах», договорившись, что окончательная редакция второго издания книги будет готова в ближайшее время. Помимо того, консул, представлявший в Петрограде прибалтийские республики, если не делом, то советом мог помочь Гумилеву в отправке за рубеж брата Дмитрия. Тот стал совсем плох, удручен душевно и еле держался на ногах. Анна Гумилева-Фрейганг все лето хлопотала об отбытии с больным мужем к родственникам в Латвию, но разрешение на выезд из Советской России, даже после послаблений НЭП, оставалось делом нелегким. Для получения необходимых мандатов беспомощного инвалида пришлось записать «юрисконсультом» в штат «Клуба поэтов». Это, разумеется,

являлось должностным нарушением (хотя честный Дмитрий пытался выходить на новую «работу» и несколько раз торговал входными билетами в клубной кассе), но уладить отъезд брата и его верной жены Гумилеву удалось. Первого августа они покинули Петроград.

За всеми хлопотами Гумилева настиг зловещий слух. Твердили, что Владимир Таганцев, объявленный в газетах главой «крупного заговора, подготовлявшего вооруженное восстание против Советской власти в Петрограде, Северной и Северо-Западной областях республики», принялся сдавать чекистам всех, с кем знаком, и теперь разъезжает на автомобиле с уполномоченными по городу, указывая пальцем на очередную жертву[566]. Про автомобиль Гумилев не поверил, но понял, что в покое его, по всей вероятности, не оставят:

> После стольких лет
> Я пришел назад,
> Но изгнанник я,
> И за мной следят.

Утром 31 июля весь город содрогнулся: передавали, что минувшей ночью невиданное множество крытых грузовиков и фургонов с чекистами разъезжало по разным адресам в центре и в домах было схвачено одновременно несколько сотен человек. Юрий Юркун, обычно избегавший Гумилева после истории с Арбениной, решительно загородил ему путь на улице:

– Николай Степанович, я слыхал доподлинно – Вас хотят арестовать. Вам лучше скрыться. ***Бегите!***

Гумилев, словно припомнив что-то давнее, усмехнулся и от души пожал былому сопернику руку:

– Благодарю Вас, но *бежать*-то мне как раз совершенно незачем!

Вместо побега Гумилев отправился к профессору-историку Борису Сильверсвану, знакомому по редколлегии «Всемирной Литературы», и предложил… вступить под свое начало в подпольную боевую группу. По словам Гумилева, группа состояла из пяти человек и являлась частью большого военного заговора, во главе которого находились влиятельные лица из высшего красноармейского состава. «Пятерка», над которой Гумилев принял командование, пострадала во время последних арестов, и было нужно быстро заполнить образовавшиеся бреши. «Из его слов, – писал Сильверсван, – я заключил также, что он составлял все прокламации и вообще ведал пропагандой в Красной Армии».

Получив принципиальное согласие Сильверсвана, Гумилев

отправился с тем же предложением к Георгию Иванову. Тот колебался, но Гумилев заверил, что строгая конспирация делает положение рядовых участников заговора почти неуязвимым, ибо членов «пятерки» знает вместе только их глава:

– Ты ничем не рискуешь, твое имя будет известно только мне одному.

Третьим конфидентом Гумилева стал Лазарь Берман. Каждому на руки перешла некая сумма денег – подпольная казна все-таки дождалась своего часа. Гумилева было не узнать! Радостное возбуждение не покидало его, словно он переживал подъем, какой бывает при выступлении навстречу решающему бою.

– В России производится гигантский общественный опыт, – говорил он в гостях у Георгия Адамовича. – Кто знает, чем все кончится? Не попытаться ли дать свое направление эксперименту? Что, если я, поэт Николай Гумилев, сыграю свою роль в истории русской революции, и даже покрупнее, поярче, чем итальянец д'Аннунцио в истории мировой войны?!

Возможно, причину происшедшей с Гумилевым метаморфозы мог бы объяснить подполковник Вячеслав Григорьевич Шведов, неоднократно под именем *«Вячеславского»* тайно проникавший в Петроград с разными поручениями парижского «Национального центра». Но уже наступил жаркий, как в африканских тропиках, день ***третьего августа тысяча девятьсот двадцать первого года***, и окровавленный подполковник, уходя от проваленной явки, метался, отстреливаясь, по петербургским дворам-колодцам. Преследователи набегали со всех сторон. Остановившись, Шведов сбил пулями двоих и сам рухнул под ответными выстрелами.

Когда изошедший кровью Шведов в муках отходил на руках хлопотавших врачей и сотрудников ПетроЧК, в далекой квартире на набережной речки Пряжки от страшного удара белыми брызгами разлетелся гипсовый лик античного бога Аполлона. Сжимая в руках чугунную кочергу, Александр Блок заливался счастливым смехом:

– А я хотел посмотреть, на сколько кусков развалится эта толстая рожа!..

Вскоре над набережной послышался однотонный ровный вой, не человеческий и не животный, который так и тянулся часами, не смолкая. Заплаканная Надежда Павлович металась по комнатам «Дома Искусств»:

– Какой ужас! Какой ужас! Блок сошел с ума!

Но Гумилев тогда уже покинул «Диск». На занятиях литературной студии, собравшейся после долгого перерыва в

гостиной дома Елисеевых, дебютировала только что принятая в «Союз поэтов» юная Нина Берберова, и после заключительного чая с шутками и игрой в жмурки Гумилев отправился провожать ее через весь город. Вот уже несколько дней девятнадцатилетняя поэтесса занимала его не столько дарованием (хотя несколько строчек и рифм были небесталанны), сколько редким для возраста благоразумием, рассудительностью и полным отсутствием чувства юмора. Заинтригованный Гумилев то до столбняка пугал Берберову, виртуозно подражая интонациям уланского поручика Чичагова («Необходима дисциплина! Я здесь – ротный командир! Чин чина почитай! В поэзии то же самое, и даже еще строже!! По струнке!!!»), то умилялся:

– Какая Вы взрослая! А я вот остался таким, каким был в двенадцать лет. Я – гимназист третьего класса. А вы со мной играть не хотите.

Берберова поясняла, что и в детстве не очень любила играть и теперь страшно рада, что ей уже не двенадцать лет. У ворот дома на Кирочной они расстались.

– Ну, пойду теперь писать стихи про Вас, – развел руками Гумилев.

– Спасибо Вам, Николай Степанович, – серьезно отвечала Берберова.

Трагические события этого дня ускользнули от него, и, вернувшись в «Диск», Гумилев пребывал в самом благодушном и общительном расположении. Уезжавший на отдых в деревню Ходасевич, который по-соседски заглянул к Гумилеву и Анне Николаевне попрощаться, просидел у них за разговорами до двух ночи. «Он был на редкость весел, – вспоминал Ходасевич. – Говорил много, на разные темы. Мне почему-то запомнился только его рассказ о пребывании в царскосельском лазарете, о государыне Александре Федоровне и великих княжнах. Потом Гумилев стал меня уверять, что ему суждено прожить очень долго – «по крайней мере до девяноста лет». Он все повторял:

– Непременно до девяноста лет, уж никак не меньше.

До тех пор собирался написать кипу книг. Упрекал меня:

– Вот, мы однолетки с Вами, а поглядите: я, право, на десять лет моложе. Это все потому, что я люблю молодежь. Я со своими студийками в жмурки играю – и сегодня играл. И потому непременно проживу до девяноста лет, а вы через пять лет скиснете.

И он, хохоча, показывал, как через пять лет я буду, сгорбившись, волочить ноги, и как он будет выступать «молодцом».

Проводив Ходасевича, Гумилев наконец угомонился,

облачился в халат и начал клевать носом. Анна Николаевна принялась готовить ночлег, как в дверь вновь троекратно постучали. Два человека вошли в елисеевский предбанник. Старший прокашлялся в кулак:

– Вставай, Ваше благородие! Пора в Финляндию выступать.

Гумилев, задремавший в кресле, вскинулся:

– Как, уже?

И увидел наведенный маузер.

– Могу ли я взять с собой «Илиаду»?

XVI

Гороховая, 2. Встреча с Н. Н. Пуниным. Допрос на Гороховой. Хлопоты Виктора Сержа. Смерть Блока. Похороны на Смоленском кладбище. Перевод в ДПЗ на Шпалерной улице. Делегация в ПетроЧК. Передачи. Допросы на Шпалерной. Поклонник. Миссия Бакаева. Ответ Ленина. «В час заката…»

Следственная тюрьма ПетроЧК располагалась в квартирах Дворового корпуса бывшей резиденции петербургского градоначальника, перешедшей с декабря 1917 г. в ведение Феликса Дзержинского. Изначально Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем мыслилась именно «чрезвычайной», т. е. временной, и помещения для заключенных оборудовались на скорую руку, с помощью обычных решеток на окнах и тонких деревянных перегородок без всякой звукоизоляции. Однако борьба с контрреволюцией затянулась. Уехавшего в Москву Дзержинского в доме на Гороховой сменил Моисей Урицкий, Урицкого – кровавые фанатики Глеб Бокий и Розалия Землячка, запустившие в Петрограде «красный террор», а потом в председательском кабинете буднично замелькали, сменяя друг друга, Антипов, Скороходов, Лобов, Медведь, Благонравов, Бакаев и Комаров. Но во внутренней тюрьме ПетроЧК ничего не менялось. Оказавшиеся в недрах грозного здания неофиты с изумлением обнаруживали обычные для жилых домов сводчатые комнаты, передние с кухонной плитой, умывальники и клозеты. Это вызывало особый, угнетающий психологический эффект, подметив который питерские чекисты тщательно сохраняли заведенный порядок, именовали камеры своих подследственных ***«палатами»*** и не снимали сохранившуюся со времен генерал-адъютанта Трепова легендарную табличку ***«Для приезжающих»*** с дверей самой знаменитой из гороховых «палат» в нижнем этаже рядом с пропускным пунктом. Тут, в голом квадратном помещении с асфальтовым полом проводили последние часы смертники: тут им зачитывали приговор, сковывали попарно наручниками и оставляли так, на произвол судьбы, без какой-либо помощи, воды и пищи, пока глубокой ночью не подавался пятитонный грузовик с конвоем из особой роты коммунаров, доставлявший приговоренных к расстрелу на тайные чекистские полигоны.

Приемный пункт ПетроЧК, рядом с которым располагалась страшная комната, никогда не пустовал, а в августовские ночи 1921 года был особенно оживленным. Задержанные с узелками

толпились, ожидая регистрации под грубые окрики солдат, не позволяющих разговаривать. Гумилев, оказавшись среди этого содома, неожиданно столкнулся с наркомпросовским эстетом Николаем Пуниным. «Встретясь здесь с Николаем Степановичем, – сообщил тот в записке родным, – мы стояли друг перед другом, как шалые, в руках у него была «Илиада», которую от бедняги тут же отобрали»[567].

От самого Гумилева с Гороховой известий не поступало, но о положении узника смог разведать Виктор Серж. Распорядитель Коминтерна, по всей вероятности, узнал о случившемся от Горького, к которому, как и прочие утратившие влияние ветераны Северной Коммуны, часто захаживал после кронштадтского конфуза. Гумилева бывший анархист, не чуждый изящной словесности, всегда горделиво именовал не иначе как *«своим парижским товарищем-противником»* и, услышав недоброе, немедленно отправился на Мойку. «Юная жена, – вспоминал Серж, – приняла меня в паническом состоянии. «Уже три дня, как его у меня отняли», – очень тихо произнесла она. Товарищи из исполкома Совета встревожили меня заверениями, что с Гумилевым в тюрьме очень хорошо обращаются, что он проводит ночи в чтении чекистам своих стихов, полных благородной энергии – но он признал, что составлял некоторые документы контрреволюционной группы. Гумилев не скрывал своих взглядов».

Это было не совсем так. Из вопросов, которые задавал ему на Гороховой следователь Якобсон, Гумилев понял, что со слов Таганцева известно лишь о встречах с «Голубем» и «Вячеславским», крамольных, разумеется, – но и только. Ни о «волынках» на Трубочном заводе, ни о созданной накануне ареста боевой «пятерке» речи не было. Получалось, что дальше пустой болтовни с подозрительными собеседниками обвинение не продвигалось. И Гумилев решил рискнуть, честно поведав о своих беседах с «молодым человеком высокого роста и бритым», который внезапно нагрянул на Преображенскую:

– Фамилию свою он назвал мне, представляясь. Я ее забыл, но она была не Герман и не Шведов.

Истинная правда – ведь оба представлялись подпольными кличками! Гумилев подробно рассказал, как бритый молодой человек оставил у него эмигрантские газеты («не найдя в них ничего для меня интересного, я их сжег») и как пришел опять с предложением добывать сведенья и раздавать контрреволюционные листовки.

– Тогда я отказался продолжать с ним разговор на эту тему, и он ушел.

– Ну, а что же Вы не сообщили нам об такой-то встрече?

– Помилуйте, как же я мог пойти… с доносом?!

По всей вероятности, во времена «красного террора» и этого было бы достаточно, чтобы отправиться к стенке, но уже больше года смертные приговоры предписывалось выносить лишь *непосредственным соучастникам* выступлений против советской власти[568]. А по словам Гумилева выходило, что силой роковой случайности он лишь *соприкоснулся* с заговором, но никакого участия в нем не принимал. Таких недоносителей теперь отправляли в Дом предварительного заключения на Шпалерную улицу, а оттуда – на краткое «перевоспитание» в трудовые лагеря или вовсе отпускали по условному приговору. С другой стороны, не отказываясь от дачи показаний, Гумилев явно обнаруживал добрую волю в сотрудничестве со следствием (очевидное смягчающее обстоятельство). Не дрогнув и не растерявшись в хитроумном чекистском застенке, он хладнокровно вел продуманную линию защиты[569].

А на воле жизнь текла своим чередом. Виктор Серж встречался с Анной Николаевной, когда чекисты уже сняли засаду в комнате арестованного. В эту засаду угодил Михаил Лозинский, и по «Диску» мгновенно разлетелась весть:

– *«Шатер» задержан в типографии!!*

Елисеевский предбанник стали обходить стороной. Агенты продержали несчастную жену Гумилева еще сутки в устроенной ловушке, а потом убрались восвояси. После разговора с Сержем Анна Николаевна, следуя мудрому совету коминтерновца, тоже исчезла из общежития «Дома Искусств» и пряталась по знакомым. За Леночкой Гумилевой продолжала присматривать в Парголове жена Лозинского (того, помытарив на Гороховой четыре дня, отпустили за неимением улик). А Горький, как обычно, надиктовал «всемирной» машинистке:

«Августа 5-го дня 1921. В Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией (Гороховая, 2). По дошедшим до издательства «Всемирная литература» сведеньям, сотрудник его, Николай Степанович Гумилев, в ночь на 4 августа 1921 года был арестован. Принимая во внимание, что означенный Гумилев является ответственным работником в издательстве «Всемирная литература» и имеет на руках неоконченные заказы, редакционная коллегия просит о скорейшем расследовании дела и, при отсутствии инкриминируемых данных, освобождения Н. С. Гумилева от ареста».

Всевозможные внезапные задержания среди петроградской

творческой интеллигенции стали весной – летом 1921 г. делом настолько частым, что и горьковская реакция на них превратилась в бюрократическую рутину. О скверной развязке никто не помышлял, напротив, по редколлегии «Всемирки» прошел слух, что «Шатер» попал в переделку из-за некой собственной эксцентрической выходки. Со дня на день «всемирники» вновь ожидали увидеть его на свободе. Александр Бенуа, когда кто-то осторожно напоминал о «красном бонапартизме» Гумилева, о совпадении ареста в «Доме Искусств» с разгромом военного заговора, о котором недавно трубили советские газеты, – только раздраженно отмахивался:

– С этого дурака бы стало!

На Пряжке тяжело и страшно отходил Александр Блок, и обстоятельства этой кончины на какое-то время заслонили даже заключение Гумилева на Гороховую. «К началу августа, – писал Корней Чуковский, – он уже почти все время был в забытьи, ночью бредил и кричал страшным криком, которого во всю жизнь не забыть…» Умирающего кололи морфием – другие болеутоляющие средства не действовали. Воскресным утром 7 августа наконец наступила развязка. «Все предпринимавшиеся меры лечебного характера не достигали цели, – констатировал лечащий врач, – а в последнее время больной стал отказываться от приема лекарств, терял аппетит, быстро худел, заметней таял и угасал и при все нарастающих явлениях сердечной слабости тихо скончался».

«10-го, в среду, были похороны, – вспоминала Нина Берберова. – Я увидела, как под стройное, громкое пение (которое всегда так мощно вырывалось из русских квартир на лестницу при выносе, и хор шел за покойником, переливаясь и гудя, будто наконец-то вырвался мертвец из этой квартиры и вот теперь плывет, ногами вперед) спускались Белый, Пяст, Замятин, другие, высоко на плечах неся гроб. Л<юбовь> Д<митриевна> вела под руку Ал<ександру> А<ндреевну>, священник кадил, в подворотне повернули на улицу, уже начала расти толпа. Все больше и больше – черная, без шапок, вдоль Пряжки, за угол, к Неве, через Неву, поперек Васильевского острова – на Смоленское. Несколько сотен людей ползли по летним, солнечным, жарким улицам, качался гроб на плечах, пустая колесница подпрыгивала на булыжной мостовой, шаркали подошвы. Останавливалось движение, теплый ветер дул с моря, и мы шли и шли, и, наверное, не было в этой толпе человека, который бы не подумал – хоть на одно мгновение – о том, что умер не только Блок, что умер город этот, что кончается его особая власть над людьми и над историей целого народа,

кончается период, завершается круг российских судеб, останавливается эпоха, чтобы повернуть и помчаться к иным срокам».

После погребения, когда траурная процессия рассыпалась и потянулась к выходу, Волковысский, Волынский, академик Ольденбург и Николай Оцуп, задержавшись неподалеку от кладбищенских ворот, совещались о Гумилеве. Тому удалось наконец отправить на волю письмо:

«Хозяйственному комитету «Дома Литераторов». 9 августа 1921. Я арестован и нахожусь на Шпалерной. Прошу вас послать мне следующее: 1) постельное и носильное белье; 2) миску, кружку и ложку; 3) папирос и спичек, чаю; 4) мыло, зубную щетку и порошок; 5) ЕДУ. Я здоров. Прошу сообщить об этом жене. Первая передача принимается, когда угодно. Следующие по понедельникам и пятницам с 10–3. С нетерпением жду передачи. Привет всем. Н. Гумилев. 6 отделение камера 77».

Выходило, что узника все-таки перевели из следственного изолятора ПетроЧК в ДПЗ на Шпалерной улице! В отличие от чекистских «палат», это был обычный тюремный замок, некогда создававшийся как образцовое карательное заведение Российской Империи. При Советах всеобщая разруха и упадок проникли, разумеется, и сюда – камеры забивались сверх всякой меры, их обитатели перемогались впроголодь, в холоде и вони. Тем не менее, если на Гороховой не считали нужным придерживаться «старорежимных» условностей для заключенных под стражу, то на Шпалерной таковые сохранялись: была ежедневная получасовая прогулка, выдавались книги и письменные принадлежности, работал даже кружок художественной самодеятельности (прямо с репетиций которого вызывали для вручения приговора) и, главное, допускались передачи и переписка. Перевод на Шпалерную внушал надежду, но сведенья, добытые Виктором Сержем, были очень тревожны. Тот утверждал, что чекисты определенно собираются расстрелять всех, без исключения, «профессоров», арестованных по указаниям Таганцева:

– Говорят, что сейчас не время проявлять мягкость!

Все знали, что в приятелях у Сержа ходил сам Иван Бакаев, в бытность свою председателем ПетроЧК не обнаруживший склонность к устрашающим кровопролитиям и осуждавший стремление Зиновьева и Семенова возродить в Петрограде обычаи «красного террора». Источникам коминтерновца можно было доверять. Поэтому решили без промедлений составить коллективную петицию от «Дома Литераторов» (Волковысский),

Академии Наук (Ольденбург), «Союза писателей» (Волынский) и «Союза поэтов» (Оцуп) и лично передать ее в руки нынешнему чекистскому шефу.

«Семенов принял нас холодно-вежливо, – вспоминал Волковысский. – Руки не подал, стоял все время сам и не предложил сесть. Вершитель судеб В. Н. Таганцева, Н. И. Лазаревского, Н. С. Гумилева, проф. Тихвинского, скульптора Ухтомского и др. производил скорее впечатление не рабочего, а мелкого приказчика из мануфактурного магазина. Среднего роста, с мелкими чертами лица, с коротко по-английски постриженными рыжеватыми усиками и бегающими хитрыми глазками, он, разговаривая, делал руками характерные округлые движения, точно доставал с полок и разворачивал перед покупателями кипы сатина или шевиота».

– Что вам угодно?

– Мы пришли хлопотать за нашего друга и товарища, недавно арестованного – Гумилева.

– Кого-с? Гумилевича?

– Николая Степановича Гумилева, известного русского поэта.

– Не слыхал о таком.

Председатель ПетроЧК оказался неожиданно словоохотливым. Добрые четверть часа он нес какую-то околесину («Бывает-с, и профессора, и писатели попадаются. Что прикажете делать? Время такое-с… Я его дела не знаю, но, поверьте, что здесь может быть и не политика-с. Должностное преступление, например, или растрата денег-с…» и т. п.), потом, наконец, телефонировал куда-то – и моментально посуровел:

– Предъявите-ка ваши документы, граждане!

Повертев в руках удостоверения, Семенов усмехнулся:

– Ну и что вы беспокоитесь? Если уверены в невиновности – так и ждите товарища вашего у себя через недельку-другую. И беспокоиться нечего, раз так уверены! Следствие производится. Скоро закончится. В месячный срок следователь обязан предъявить обвинение. У нас это строго теперь. В месяц не предъявил, – Семенов хлопнул ладонью по столу, – сам в тюрьму. У нас теперь приняты самые строгие меры к охране гарантии прав личности… да-с к охране гарантий прав личности. Строго-с!

«Мы ушли раздавленные, – вспоминал Волковысский. – Ведь, в сущности, ничего не было сказано. А в этом «ничего» душа чуяла бездну». Тем временем в фотоателье Наппельбаумов среди участников «Звучащей раковины» ломала руки Анна Николаевна Гумилева:

– Знаете, Николаю Степановичу разрешили принести передачу. Но я не могу пойти *туда*. Это может плохо… отразиться

на мне. А вот вы, это другое дело, правда? Вам же можно носить ему передачу!..

Ида Наппельбаум молча взяла протянутый сверток; ее вызвалась сопровождать Нина Берберова. Через долгий час обе вернулись – передачу приняли. Вскоре из камеры № 77 удалось получить еще одну весточку с благодарностью за посылку и просьбой не беспокоиться: *«Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы»*. Однако тревогу было уже не унять. «Все заметались, – писал Волковысский, – подняли на ноги все «связи», телеграфировали в Москву. Неизвестно откуда ворвался слух, связавший два имени – Таганцева и Гумилева. Гумилев – в заговоре?! Нелепость! Но в этой нелепости вся безысходность ужаса. Гумилев будет расстрелян? Невероятно! Но чем невероятнее, тем ближе к правде». Лазарь Берман в отчаянье признался Одоевцевой в том, что завербован Гумилевым в подпольную «пятерку»:

– Что же мне теперь делать?! Бежать?

– Но ведь Вы сказали, что о вашем участии в «пятерке» было известно только Николаю Степановичу?

– Да.

– Так зачем же Вам бежать? – удивилась Одоевцева. – Сидите себе тихо, никто Вас не тронет.

Как раз в это время на Шпалерной следователь Якобсон приступил к Гумилеву с новым допросом. На этот раз следователь был не один: в допросной комнате за его спиной маячил некий симпатичный юноша, чрезвычайно оживленный и внимательный – так и впился в Гумилева взглядом, задорно посверкивая глазами. А Якобсон между тем сосредоточенно пытался загнать подследственного в тупик:

– Таганцев определенно показал, что Вы предлагали и Германну, и Шведову вывести на улицу некую группу интеллигентов, если в Петрограде вспыхнет восстание.

– Это были только общие рассуждения. Я говорил и «Голубю», и «Вячеславскому», что если вдруг оказался бы на улице, в толпе, во время начала мятежа, то, конечно, не стал бы прятаться в подворотни. Возможно, мне удалось бы даже собрать и повести за собой кучку каких-нибудь прохожих, пользуясь общим оппозиционным настроением. По моему мнению, это единственный путь, по которому совершается переворот, а вся подготовительная работа бесполезна и опасна.

– Но Вы говорили Шведову, что согласны, если возникнет надобность, помочь в составлении прокламаций?

– Да, я говорил, что был бы, вероятно, способен написать некое воззвание в стихах.

– И что же Вы написали?

– Ничего не написал. Все эти разговоры были просто легкомыслием с моей стороны. Кроме того, после падения Кронштадта я резко изменил мое отношение к Советской власти и особенно отношение к Красной Армии.

Это было правдой – Якобсон для верности еще раз справился в лежащей на столе папке. В допросном листе Таганцева стояло: *«Стороной я услыхал, что Гумилев весьма отходит далеко от контрреволюционных взглядов, и поэтических прокламаций нам не пришлось ожидать»*.

– Вы, Николай Степанович, оказывается, какой-то мысленный преступник, – проявился юноша, выступая из-за спины Якобсона. – Вы грешили против нас только в уме – и вот, даже покаялись. А совершать, получается, ничего и не совершили. Ну, разве что не донесли вовремя. Но и тут понятно – предрассудки дворянской чести. Вы ведь не коммунист. Но вот Таганцев показывает еще, что Шведов (то есть «Вячеславский») носил Вам для листовок и прочих надобностей печатную ленту и денег советских двести тысяч…

– Я вернул ему ленту.

– Хорошо, хорошо, не было никаких листовок. Не было. Но деньги-то неужели не взяли, хоть бы и на хранение? Не верю. Вы благородный человек, интеллигент, не могли же совсем никак не помочь гонимому, пусть даже и мыслей его не разделяя. Вещи, например, взяться хранить или деньги. Так ведь и до революции было заведено. Да и греха большого в том не найти – так, подписка о неучастии в противоправительственных организациях и все, отпустить. Хоть у самого Анатолия Федоровича Кони спросите по случаю. Так взяли деньги? А то уж как-то ненатурально получается.

И Гумилев признался, что взял у Шведова 200 000 – «на всякий случай и держал их в столе, ожидая или событий, то есть восстания в городе, или прихода Вячеславского, чтобы вернуть их». Он и без Кони знал, что так поступала сплошь и рядом творческая интеллигенция, и, почти обыграв следствие, боялся запутаться на таких мелочах. Сказал – и обомлел: ведь сейчас последует вопрос о дальнейшей судьбе шведовских денег. Но милый юноша оказался славным малым, заулыбался и никаких вопросов больше не задавал:

– Ну, вот и прекрасно. Теперь все ясно. Так и будем писать.

Якобсон уже строчил протокол.

И наступила непонятная полоса. Юноша ежедневно являлся на Шпалерную допрашивать Гумилева, но менее всего эти беседы были похожи на допросы. Скорее это были диспуты, на которых

неожиданный собеседник говорил что взбредало в голову, но, кажется, для него это были какие-то главные вопросы, из тех, что приходят однажды, в самом начале пути, и потом уже, так или иначе, остаются навсегда. Он много говорил об атеизме, говорил о православии, что и сейчас не может побороть красоту его церковного обряда в своей душе. Говорил еще о Макиавелли, восхищался «Государем», видел в беззаконных и великолепных деспотах итальянского пророка провозвестие какого-то российского владыки, может, Ленина, а может, и другого. Все, что написал Гумилев, он, по-видимому, давно заучил наизусть, свободно сыпал стихами, мешая гумилевские строки с пушкинскими и с лермонтовскими. Гумилев отвечал ему, как мог.

– Наши беседы странны, – замечал он юноше. – Тем более что я даже не знаю Вашего имени.

– Я Ваш *поклонник*, – отвечал тот.

Якобсон, державшийся рядом, теперь незаметно сидел в сторонке, а иногда и уходил – не протоколировать же макиавеллевы парадоксы! Только раз, услыша о природном согласии, соединяющем всех воителей и героев в одно единство, Якобсон прорезался третьим в горячей схватке:

– А как бы поименно, Николай Степанович? Кто все-таки составляет группу, которую Вы обещали Шведову?

Гумилев, даже в пылу спора, дословно повторил уже сказанное: говоря о группе лиц, могущих принять участие в восстании, имел в виду не кого-нибудь определенного, а просто человек десять встречных знакомых, из числа бывших офицеров, способных в свою очередь повести за собой добровольцев… В городе среди родственников и друзей «таганцевцев» царил подлинный ужас. Все ждали развязки, но Ида Наппельбаум объявила в столовой «Дома Литераторов», что передачу на Шпалерной вновь приняли.

– Что-то надо сделать, – заволновался Немирович-Данченко. – Что-то еще надо сделать. А ученички-то, ученички-то его пролеткультовские все помалкивают!

Он был неправ. Разъяренный, звероподобный Илья Садофьев и вежливый Самобытник уже наседали на Ивана Бакаева. Выслушав их, Бакаев, не проронив слова, сам отправился на Шпалерную.

– Понимаете ли Вы, в чем Вас обвиняют? Что Вам сулили заговорщики? Кем бы Вы стали в случае успеха заговора?

Гумилев махнул рукой:

– Петербургским генерал-губернатором, Иван Петрович, не меньше…

– Так…

На следующий день Бакаев был в Москве. Затянутый по-парадному, он предстал на Лубянке перед главой ВЧК.

– Я прибыл только для того, чтобы задать Вам один вопрос. Можем ли мы расстреливать одного из двух или трех величайших поэтов России?

– Не ожидал от Вас такого вопроса, товарищ Бакаев, – удивился Дзержинский. – Расстреливая всех прочих врагов, можем ли мы делать исключение для поэта? Не ожидал… Я еще понимаю – Горький. Тоже был у меня на днях…

Тем временем на Шпалерной Якобсон завершал допрашивать Гумилева:

– Прочитайте и подпишитесь: «Никаких фамилий, могущих принести какую-нибудь пользу организации Таганцева путем установления между ними связей, я не знаю и потому назвать не могу».

Гумилев подписал протянутый протокол. Из-за плеча Якобсона выдвинулась озабоченная физиономия Поклонника, зорко пробежавшего глазами по бумаге.

– Вы больше ничего не хотите добавить?

– Ничего.

– Ну что же, свободен, – обратился Поклонник к Якобсону, и, когда дверь допросной камеры захлопнулась, виновато поежился: – К моему большому сожалению, должен огорчить Вас, Николай Степанович. Вы ***сами признали, что взяли деньги от Шведова***, зная при этом, кто он такой. Выходит – Вы ***принимали непосредственное участие в распределении помощи Антанты белогвардейским заговорщикам.*** А Наркомюст прямо указывает, что, – он раскрыл бумагу, – в случае «возобновления Антантой попыток путем вооруженного вмешательства или материальной поддержкой мятежных царских генералов вновь нарушить устойчивое положение Советской власти»… нам, чекистам, следует неукоснительно возвращаться к методам «красного террора».

Он подошел вплотную к Гумилеву и, глядя прямо в глаза, раздельно произнес:

– Вы хотели узнать, как меня зовут? Меня зовут: *Яков – Саулович – Агранов.* Запомнили?

Поздним вечером бесконечного 24 августа в домашнюю приемную Луначарского ворвалась «красная примадонна», гражданская жена Горького актриса Мария Федоровна Андреева.

– Медлить нельзя, – объяснила она личному секретарю наркома Арнольду Колбановскому. – Надо спасать Гумилева. Дзержинский подписал приказ о расстреле целой группы, в которую входит и Гумилев. Только Ленин может отменить его

расстрел.

Сонный Луначарский, роняя пенсне, взялся за телефон, сказал несколько фраз, потом осекся, затих и осторожно повесил трубку.

– Ильич говорит, – обратился он к Андреевой и Колбановскому, – ***мы не можем целовать руку, поднятую против нас***.

В эти минуты уже гремели засовы в камерах «таганцевцев»:

– На выход!

– Могу я взять с собой мои книги и бумаги? – осведомился Гумилев, протирая глаза.

– Без вещей. И без книг.

Гумилев побледнел и, пользуясь всеобщим замешательством, смог вывести заветным огрызком карандаша на тюремной стене:

ГОСПОДИ, ПРОСТИ МОИ ПРЕГРЕШЕНИЯ, ИДУ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ.

Цепочка крытых грузовиков двинулась от Шпалерной.

В час вечерний, в час заката,
Каравеллою крылатой
Проплывает Петроград.
И горит под рдяным диском
Ангел твой на обелиске,
Словно солнца младший брат.
Я не трушу, я спокоен,
Я моряк, поэт и воин,
Не поддамся палачу.
Пусть клеймит клеймом позорным,
Знаю – сгустком крови черной
За свободу заплачу.
За стихи и за отвагу,
За сонеты и за шпагу,
Знаю, строгий город мой
В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Отвезет меня домой.

Эпилог

В раннее утро 25 августа 1921 года перелесок на краю Ржевского полигона близ Бернгардовки был необычно и страшно оживлен. Круглую поляну на откосе окружала цепочка вооруженных солдат, электрические фонари освещали топкую низину прямо под крутым изгибом реки Лубьи. Рядом с вывороченными вверх мощными корнями завалившегося дерева чернели два свежевыкопанных рва. Темные фигуры в грубых грузных шинелях вытягивали из дверей заброшенного порохового склада причудливо одетых людей, мужчин и женщин – в исподнем, халатах, «толстовках», изодранных полевых гимнастерках без погон, – и гнали затем кулаками и штыками к ямам. Двое конвоиров вывели человека в измятом черном костюме без галстука и, придерживая его руками за локти, отвели к краю нелепой людской цепочки, выставленной прямо перед темнеющими в рассветной голубизне неба сосновыми корнями. Человек медленно оглянулся и, не торопясь, сонным движением потянув из кармана пиджака папиросу, закурил.

Внезапно беготня людей в шинелях оборвалась. Захлебнулся ревом невидимый автомобиль. Кто-то черный и легкий, растолкнув латышских стрелков, стремительно вынырнул из тумана:

– Поэт Гумилев, выйти из строя!

Гумилев оживился, вгляделся и, не обращая внимания на застывших конвоиров, сделал шаг навстречу.

– *А они, Яков Саулович*? – и спокойным плавным жестом левой руки Гумилев указал на двигающуюся и тихо воющую за его спиной шеренгу.

Бледный тлен прошел по несчастному лицу Агранова, и Гумилеву показалось, что он обидел ребенка.

– Николай Степанович, – сказал Агранов, – не валяйте дурака!

Гумилев вдруг улыбнулся, бросил недокуренную папиросу под ноги и аккуратно затушил носком ботинка. Затем, так же не торопясь, стал в общий строй у ямы и громким голосом произнес:

– Здесь нет поэта Гумилева, здесь есть офицер Гумилев!

Раздались выстрелы.

– А крепкий тип, – сквозь звон в ушах откуда-то сбоку услышал Агранов. – Редко кто так умирает.

* * *

Ахматову весть о расстреле на Ржевском полигоне настигла в царскосельском санатории. На вокзальной площади уже расклеили вышедшие накануне номера «Правды» с сообщением «О раскрытом в Петрограде заговоре против Советской власти (От ВЧК)» и списком казненных. Встав среди других молчаливых царскоселов у газетного листка, она прочла под № 33:

«Гумилев Николай Степанович, 35 лет, б. дворянин, филолог, член коллегии издательства «Всемирная литература», женат, беспартийный, б. офицер, участник Петроградской боевой контрреволюционной организации, активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, кадровых офицеров, которые активно примут участие в восстании, получил от организации деньги на технические надобности».

«Бывший вагон III класса был набит, как тогда всегда, всяким нагруженным мешками людом, но я успела занять место, сидела и смотрела в окно на все – даже знакомое, – рассказывала Ахматова. – И вдруг, как всегда неожиданно, я почувствовала приближение каких-то строчек (рифм). Мне нестерпимо захотелось курить. Я понимала, что без папиросы я ничего сделать не могу. Пошарила в сумке, нашла какую-то дохлую «Сафо», но… спичек не было. Их не было у меня, и их не было ни у кого в вагоне. Я вышла на открытую площадку. Там стояли мальчишки-красноармейцы и зверски ругались. У них тоже не было спичек, но крупные, красные, еще как бы живые, жирные искры паровоза садились на перила площадки. Я стала прикладывать (прижимать) к ним мою папиросу. На третьей (примерно) искре папироса загорелась. Парни, жадно следившие за моими ухищрениями, были в восторге. «Эта не пропадет», – сказал один из них про меня. Стихотворение было: «Не бывать тебе в живых…».

Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.

«Трагическая смерть Николая Степановича очень сильно поразила семью в Бежецке, – пишет в своих «Записях о семье Гумилевых» сестра поэта. – Александра Степановна, которая первая узнала из газет об этом, сразу лишилась рассудка. «Как я

скажу маме?» – твердила она, бегая по комнатам и ломая руки, и ничего не слушала, кто говорил, что Анна Ивановна уже все знает. Только один Лева мог ее успокоить. Наконец доктор дал ей снотворного, и она затихла. У Варвары Ивановны сделался потрясающий озноб, и она слегла и умерла 2/XII того же года. Что касается до Анны Ивановны, то кто-то уверил ее, что Николай Степанович не такой человек, чтобы так просто погибнуть, что ему удалось бежать, и он, разумеется, при помощи своих друзей и почитателей проберется в свою любимую Африку. Эта надежда не покидала ее до смерти».

12 октября 1921 года в парижской эмигрантской газете «Последние новости» было напечатано письмо читателя М. Гриневича следующего содержания:

«Милостивый Государь, г. Редактор.

Потрясенный известием о гибели талантливого поэта Николая Степановича Гумилева, я одновременно узнал о трагическом положении, в котором находятся самые близкие ему люди – родной брат его Дмитрий Степанович Гумилев со своей женой Анной Андреевной.

Дмитрий Гумилев после всех пережитых ужасов и лишений душевно заболел и помещен в лечебницу (г. Рига, 22 Дуденгофская ул., лечебница Роттенберга). Жена его, без всяких средств и работы, измученная и больная, бедствует и не может продолжать платить за мужа в лечебницу.

Зная, как покойный поэт нежно относился к единственному брату и его жене, я полагаю, что наша обязанность и лучший способ почтить его память, это – немедленно помочь его близким людям. Не откажите дать место на страницах Вашей уважаемой газеты настоящему моему письму и открыть подписку в пользу названных лиц.

Собранное мне казалось бы целесообразным, по мере поступления, посылать Анне Андреевне Гумилевой, г. Рига, 46 Мариинская ул., кв. 8. Прилагаю свою посильную скудную лепту – 20 франков».

Неизвестно, возымел ли должное действие этот призыв. 10 сентября 1922 года, едва разминувшись с первой годовщиной гибели младшего брата, скорбный главою Дмитрий скончался в палате рижской психиатрической лечебницы[570].

Овдовевшая Анна Николаевна Гумилева все время плакала и всем, подходящим соболезновать, с отчаяньем твердила лишь одно: «Когда я узнала о Коле, я даже стала плохо танцевать… Я стала очень плохо танцевать…»

А Ирина Одоевцева уже на следующее утро после первых слухов о расстреле на Ржевке почему-то успокоилась совершенно – она была единственной, кто не плакал на панихиде по Гумилеву и другим «таганцевцам».

«Если бы перед смертью его видела, – писала о Гумилеве Лариса Рейснер из Афганистана, – все ему простила бы, сказала бы правду, что никого не любила с такой болью, с таким желанием за него умереть, как его, поэта, Гафиза, урода и мерзавца. Вот и все».

Позабытая Маргарита Тумповская в начале сентября 1921 года совершила в Москве попытку самоубийства.

Бывший гимназист-агитатор, а ныне – полномочный посланник РСФСР в Закавказье Борис Легран зачитывал петроградскую сводку гостившему в Тифлисе Осипу Мандельштаму так, как если бы Мандельштам был представителем враждебной державы. Внезапно металлический голос Леграна задрожал и оборвался, но на помощь советскому послу пришла супруга:

– Нам никогда не нравился этот Гумилев – заносчивый, резкий, непонятный, чужой и чуждый человек!

Без слов Мандельштам покинул миссию. На улице он растерянно взглянул на Надежду Хазину:

– Куда же нам теперь ехать? В Петроград я не вернусь…

Максим Горький в первые дни после расстрела «таганцевцев» стал невменяем и поминутно твердил всем вокруг:

– Ильич не виноват! Не виноват! Он послал, послал телеграмму! В последний момент! Это Гришка Зиновьев перехватил телеграмму!!

Убийство Гумилева было, вероятно, единственным громким петроградским злодейством последних лет, к которому Зиновьев не имел прямого отношения (в подробности карательных мероприятий своего янычара Семенова мудрый председатель Петросовета демонстративно не вникал), но Горький все равно повторял, как заклинание:

– Это все Гришка… Это все он… Это он убил поэта… А Ильич не виноват! Не виноват!

Потом Горький утих, затворившись у себя на Кронверкском, и в октябре 1921 года уехал из РСФСР. Судьба готовила ему новые испытания, великие падения, великие победы и великую славу. 200 томов «Библиотеки Всемирной Литературы» вышли полностью, в конце концов, только в 1967–1977, спустя несколько десятилетий после того, как прах от сожженного в неистовом огне московского крематория тела Алексея Максимовича был замурован в Кремлевской стене. Как и предполагал Герберт

Уэллс, русские читатели получили такое знакомство с мировой литературой, какое недоступно ни одному другому народу.

Интеллигентный Корней Чуковский отмалчивался после кровавого петроградского августа вплоть до конца рокового 1921 года, но на отчетном годовом собрании «Дома Искусств» вдруг взбунтовался и выступил с разрушительной речью:

– Смерть Гумилева есть оскорбление всей русской литературы, и этого оскорбления литература не забудет. В лице Гумилева «Дом Искусств» утратил не только даровитого поэта, но и учителя. Наша Литературная Студия возникла по его мысли, в этой Студии он создал и воспитал большую группу молодых поэтов, которая без него осиротела. Слушатели Гумилева образовали кружок его имени, где путем кропотливой работы восстановили по отрывочным записям почти полный курс его лекций, посвятили ему сборник стихов, который выйдет в ближайшее время, и вместе с Литературным Отделом предприняли шаги для приобретения его большого портрета, которым и будет украшен наш большой лекционный зал.

Разумеется, повесить портрет Гумилева в «Диске» Чуковскому никто не разрешил. Полотно кисти Надежды Шведе некоторое время сохранялось у бесстрашной Иды Наппельбаум. Спустя четверть века за хранение этого портрета особое совещание КГБ СССР присудило ей *десять лет* концентрационных лагерей особого режима.

Узнав в своем продуваемом всеми ветрами, неприкаянном крымском Коктебеле о смерти Александра Блока и Николая Гумилева, Максимилиан Александрович Волошин при свете убогой свечи в нетопленном Доме Поэта дописывал в начале 1922 года русский стихотворный реквием, озаглавленный *«На дне преисподней»*:

Может быть, такой же жребий выну,
Горькая детоубийца, – Русь!
И на дне твоих подвалов сгину,
Иль в кровавой луже поскользнусь,—
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь.
Доконает голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!

P.S.

Из дневника П. Н. Лукницкого. 12.04.1925. Воскресенье.

«Анна Андреевна Ахматова рассказывает, что сегодня ночью она видела сон. Такой: будто она вместе с Анной Ивановной, Александрой Степановной, с Левой у них в доме на Малой, 63. Все по-старому. И Николай Степанович с ними… АА очень удивлена его присутствием, она помнит все, она говорит ему: «Мы не думали, что ты жив… Подумай, сколько лет! Тебе плохо было?» И Николай Степанович отвечает, что ему очень плохо было, что он много скитался – в Сибири был, в Иркутске, где-то… АА рассказывает, что собирается его биография, о работе… Николай Степанович отвечает: «В чем же дело? Я с вами опять со всеми… О чем же говорить?». АА все время кажется, что это сон, и она спрашивает беспрестанно Николая Степановича: «Коля, это не снится мне? Ну докажи, что это не снится!..» Вдруг АА вспоминает, что ведь есть Анна Николаевна… Она в недоумении – с кем же будет Николай Степанович? с ней или с Анной Николаевной? Этот вопрос мучает ее… Она спрашивает Николая Степановича… Николай Степанович отвечает: «Я сегодня поеду к ней, а потом вернусь…»

* * * * *



Н.С. Гумилев (1908 г.)



Анна Ивановна Гумилева (урожденная Львова), мать поэта



Степан Яковлевич Гумилев, отец поэта



Митя и Коля Гумилевы(1880-е годы)



Митя и Коля Гумилевы (1890-е годы)



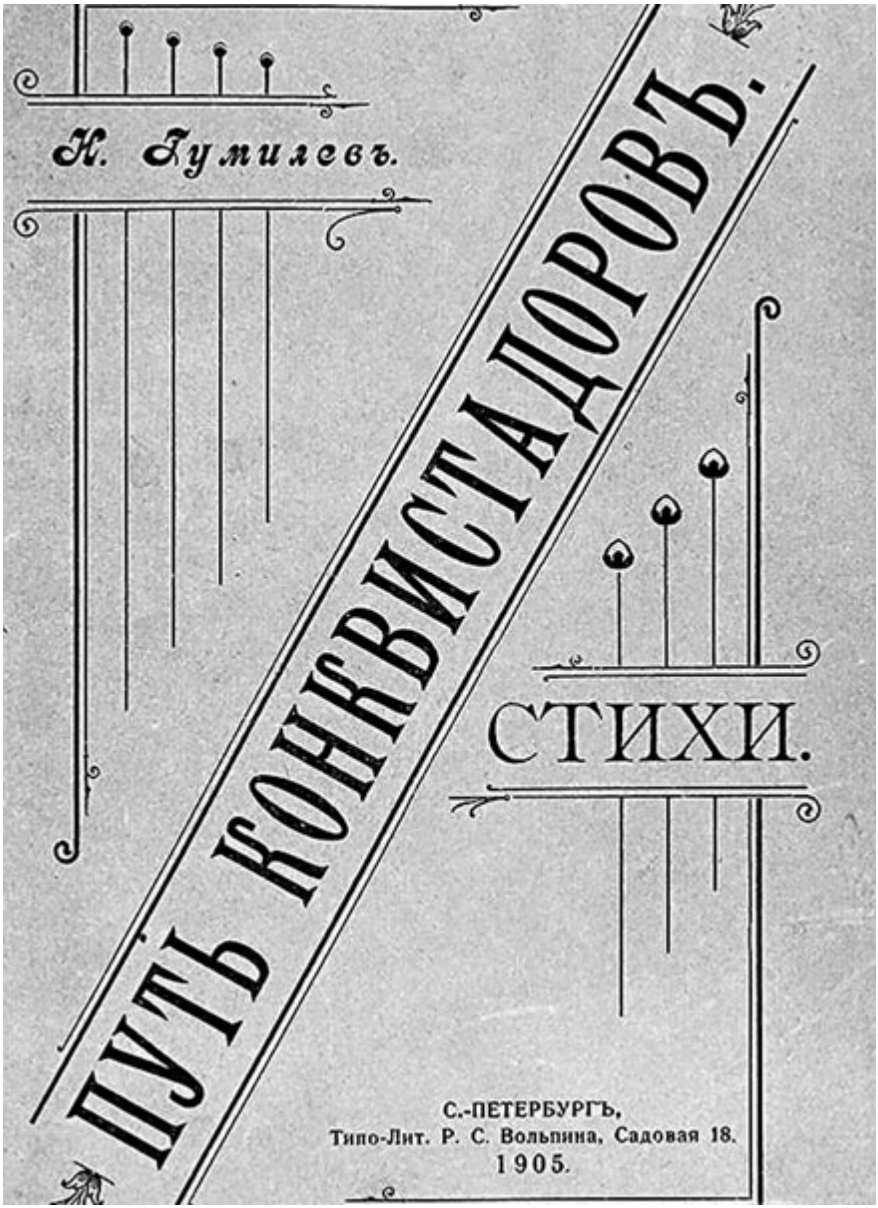
Царскосельская Николаевская мужская гимназия (современный вид)



И. Ф. Анненский



Гумилев – ученик Николаевской гимназии



Обложка первой книги стихов Н.С. Гумилева «Путь конквистадоров»



Анна Андреевна Ахматова (урожденная Горенко, в замужестве – Гумилева, 1900-е гг.)



Жоффруа Генри Жюль Жан «В ботаническом саду», 1911 г.



Внутренний двор Сорбонны (современный вид)



«Но в Петербурге акмеист мне ближе, чем романтический Пьеро в Париже» (О.Э. Мандельштам). Возможно, эта фотография – единственное изображение Гумилева-парижанина (вторая половина 1900-х гг.).



В. Я. Брюсов



Обложка книги стихов «Жемчуга» (1910, художник Д.Н. Кардовский), посвященной «Моему учителю Валерию Брюсову»



Д.В. Философов, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский. Вторая половина 1900-х гг.



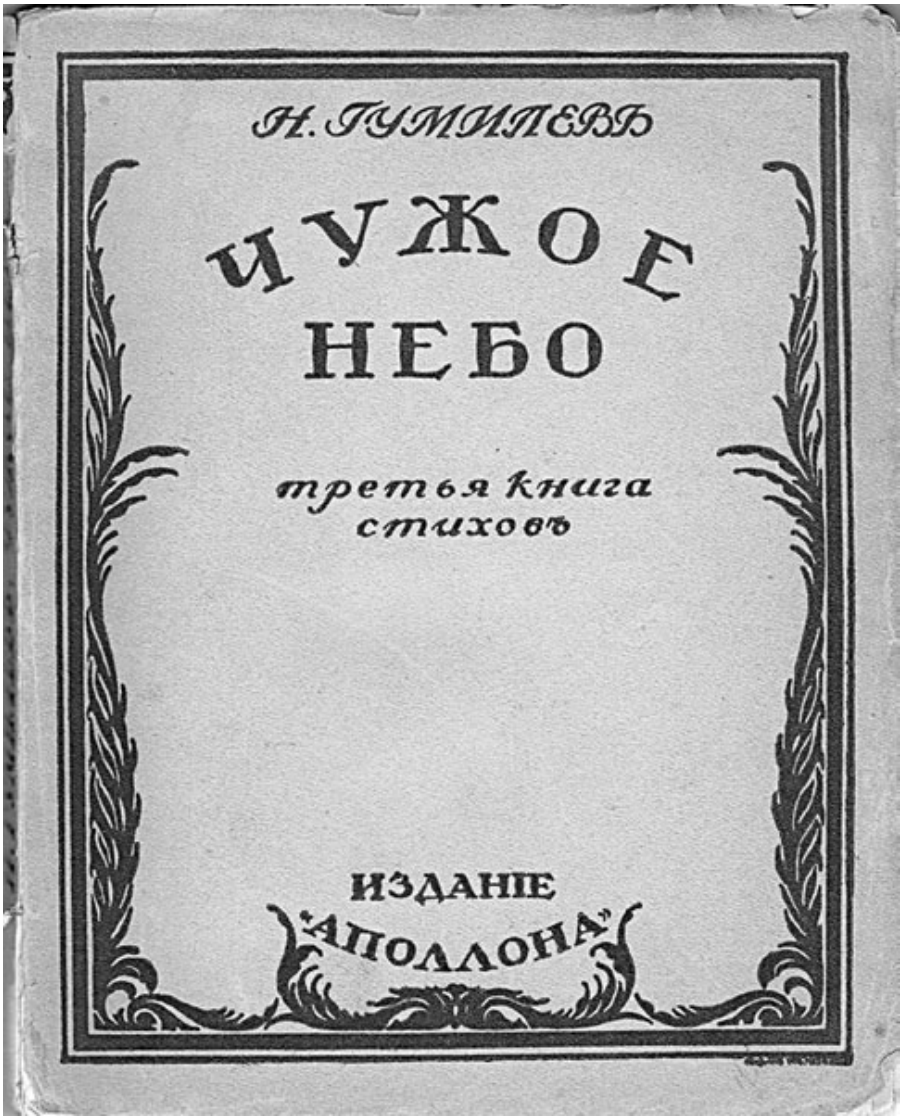
Вячеслав Иванович Иванов



Андрей Белый (Б.Н. Бугаев)



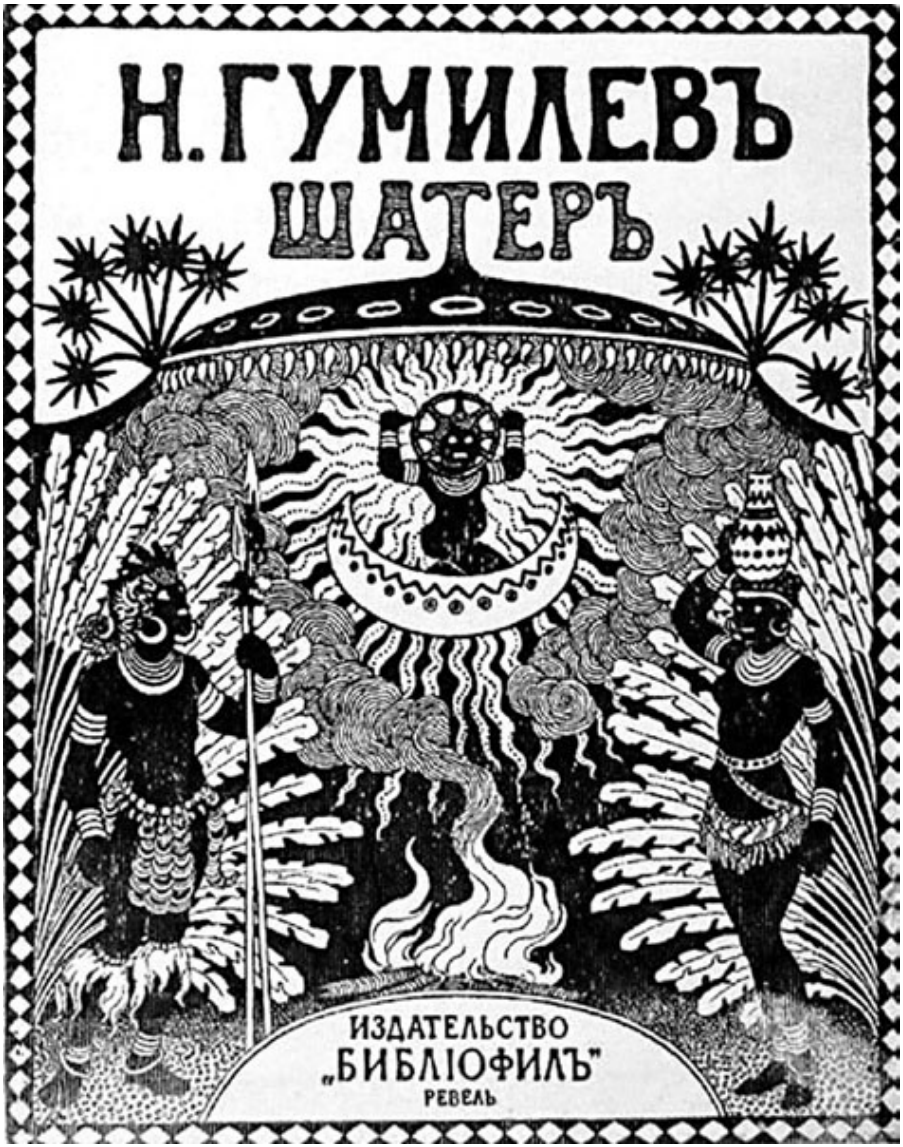
«Башня» Вяч. Иванова (Таврическая, 35)



Обложка «акмеистической» книги стихов «Чужое небо» (1912 г.)



Н.С. Гумилев в Абиссинии (1913 г.)



Обложка книги «африканских» стихов Гумилева (посмертное издание, 1922 г.)



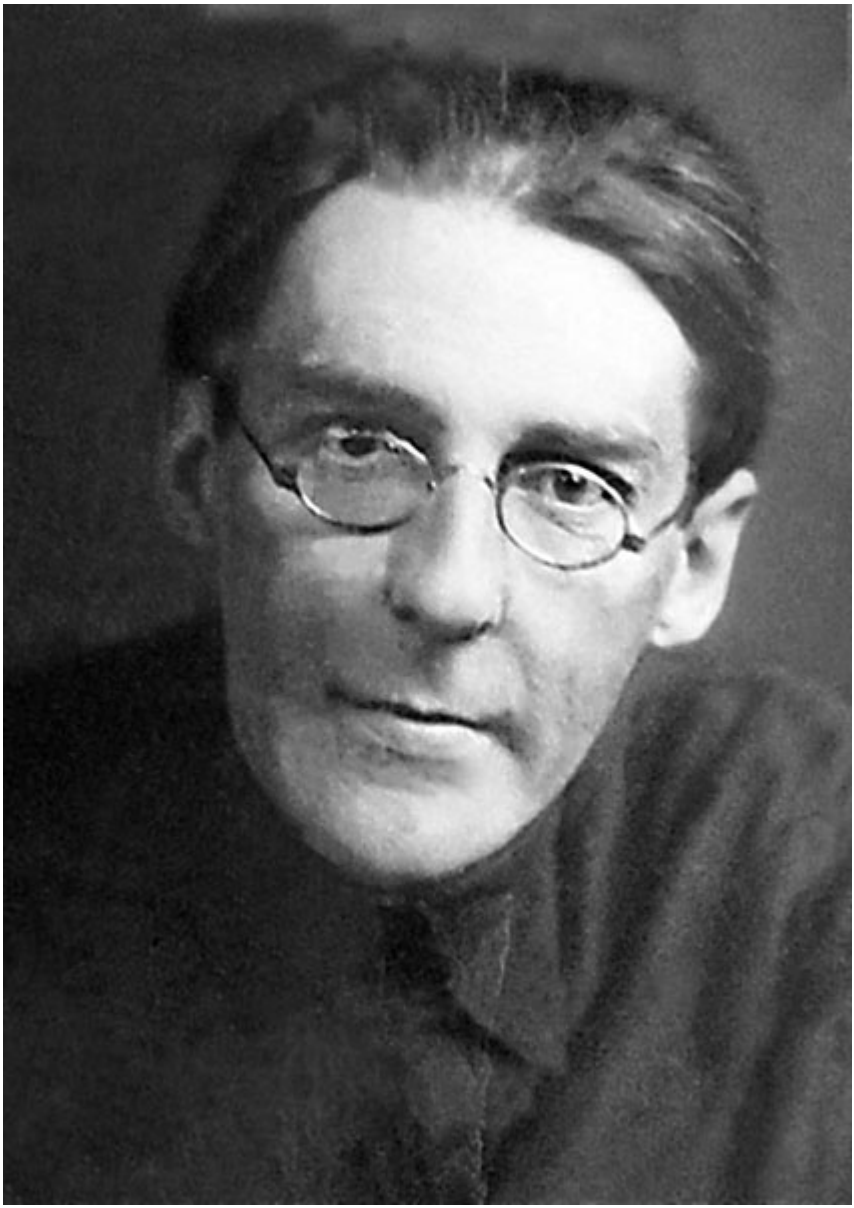
Священная книга Шейх-Гусейна в руках Н. Гумилева. Фотография Н. Сверчкова



Н.С. Гумилев (1921 г.)



Вера Игнатьевна Гедройц в операционной



В.К. Шилейко



Николай Сверчков



М.Л. Лозинский



О.Э. Мандельштам



В.И. Нарбут



М.А. Зенкевич



Н.С. Гумилев (1915 г.)



Н.С. Гумилев, силуэт работы Е. Н. Кругликовой (1916 г.)



Н.С. Гумилев, Л.Н. Гумилев, А.А. Ахматова (1915 г.)



Черубина де Габриак (урожденная Е.И. Дмитриева, в замужестве Васильева)



Л.М. Рейснер



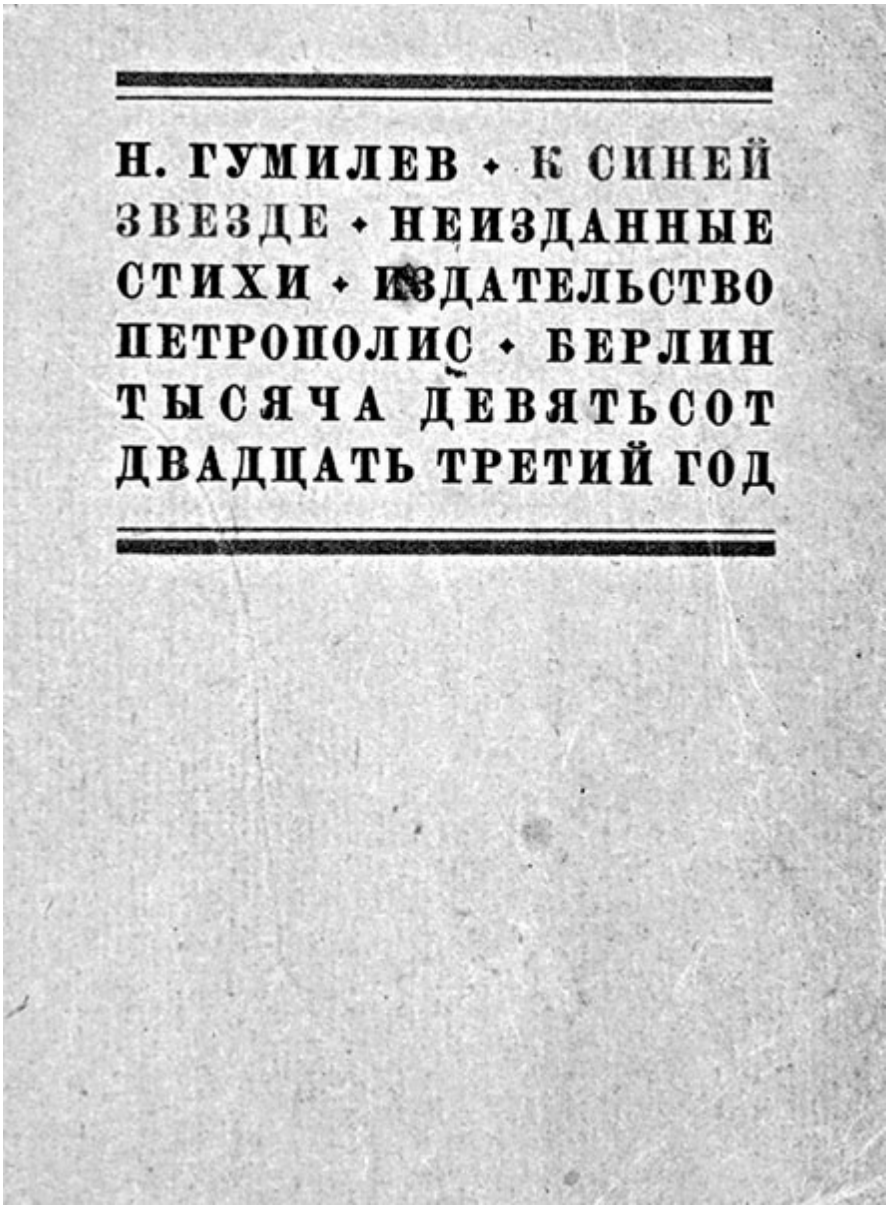
Ирина Владимировна Одоевцева (И.Г. Гейнике)



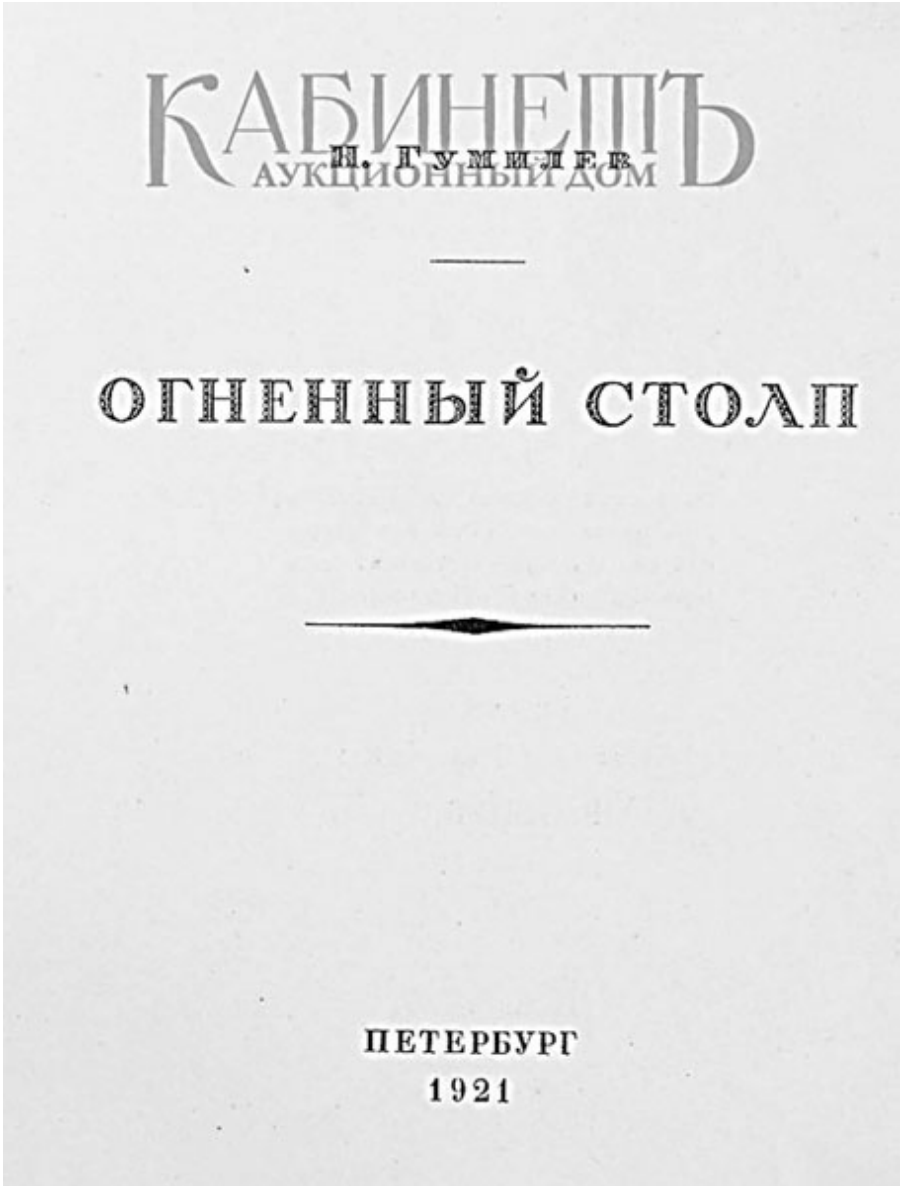
Н.Н. Берберова



Синяя Звезда (Е.К. Ловель, урожденная Дюбуше)



Обложка книги стихов «К Синей Звезде» (1923 г., посмертное издание)



Обложка последней книги стихов Н.С. Гумилева «Огненный столп», посвященной А.Н. Гумилевой



Анна Николаевна Гумилева-Энгельгардт, вторая жена поэта



М.Ф. Ларионов



М.Ф. Ларионов. Портрет Н.С. Гумилева



Б.В. Анреп



Лондон. Трафальгарская площадь



Гумилев и его ученики – Г.В. Иванов, И.В. Одоевцева, Ф.М. Наппельбаум, И. М. Наппельбаум, В. И. Лурье, К.К. Вагинов и др. (1921 г.)



Н.С. Гумилев. Фотографии из следственного дела (Август 1921 г.)



Ржевский полигон. Мемориал жертвам политических репрессий

notes

Примечания

1

Латинское *humilis* (от humus – «почвенная грязь») имеет значения «смиренный», «незначительный», «презренный», «покорный».

2

Не только герой пьесы «Гондла», которому принадлежат эти слова, но и Имр из трагедии «Отравленная туника» являются позабытыми, лишенными прав на трон царевичами. В лирике Гумилева часто встречаются намеки на тайну происхождения, связанную со «шведской», «скандинавской» генеалогией, которые истолковываются как указания на «рюриковскую кровь» в жилах автора, «заблудившегося навеки» «в слепых переходах пространств и времен» («Стокгольм»). «Он был, – свидетельствовал о Гумилеве писатель-переводчик И. фон Гюнтер, – убежденным монархистом. Мы часто спорили с ним; я мог еще верить, пожалуй, в просвещенный абсолютизм, но уж никак не в наследственную монархию. Гумилев же стоял за нее, но я и сегодня не мог бы сказать, действительно ли был он сторонником дома Романовых? Может быть, скорее сторонником Рюриковичей, им самим созданного дома Рюриковых». Легенду знал и Л. Н. Гумилев, но крайне резко обрывал любые разговоры об этом: в СССР такая наследственность могла стать дополнительным поводом для гонений.

3

Отец С. Я. Гумилева *Яков Федотович Панов* (1790–1858) был псаломщиком церкви Рождества Христова села Желудева Спасского уезда Рязанской губернии. Он женился на ***Матрене Григорьевне Гумилевой*** (1800–1865), дочери настоятеля храма ***Григория Прокопьевича Гумилева*** (1745–1820). Непременным условием брака была ***смена фамилии не невестой, а женихом*** – для того времени история невероятная, тем более в духовной среде. Это вновь подтверждает какое-то особое значение, связанное с родовым прозвищем. Яков Федотович Панов превратился в ***Якова Федотовича Гумилева***, стал диаконом и прижил в браке семерых детей – ***Василия*** (1820–?), ***Александра*** (1823–?), ***Прасковью*** (1827–?), ***Николая*** (1830–?), ***Александру*** (1834–?), ***Степана*** (1836–1910) и ***Пелагею*** (1842–?). Все потомство Я. Ф. Гумилева мужского пола получало духовное образование и предуготовлялось к принятию сана, а дочери вышли замуж за духовных лиц. «Храм Гумилевых» под Рязанью сохранился до наших дней. Каменная Христорождественская церковь с колокольней начала возводиться в 1811 году по инициативе желудевского помещика генерал-лейтенанта П. М. Лунина. Завершилось ее строительство только в 1830 году. В храме был главный престол – во имя Рождества Христова – и четыре придела: во имя Смоленской иконы Божией Матери, святой мученицы Параскевы, святого Петра митрополита Московского и святой великомученицы Екатерины. При храме работали церковно-приходские школы в Желудево и близлежащей деревне Авдотинке.

4

Выдающийся политический и общественный реформатор, великий князь *Константин Николаевич* (1827–1892) главным делом своей жизни почитал возрождение российского военного флота, разрушенного несчастной для России Крымской войной 1853–1855 гг. Получив в четырехлетнем возрасте декоративное звание *«генерал-адмирала»*, Константин Николаевич своей дальнейшей жизнью полностью оправдал его и стал величайшим после Петра Великого строителем военно-морских сил Российской Империи. Успех начинаний генерал-адмирала стал возможен благодаря отобранной им целой плеяде молодых, талантливых чиновников-«константиновцев». «Константиновцы», в свою очередь, распространяли новую кадровую политику на все последующие подразделения ВМФ. Некоторые из них, стартовав в Морском министерстве, стали впоследствии видными политическими деятелями в разных сферах управления (как, например, Д. А. Толстой, Д. Н. Набоков, М. Х. Рейтерн и др.). Сам Константин Николаевич после гибели старшего брата – императора Александра II – был отправлен в отставку.

5

«Мониторная программа» была принята Морским министерством в 1863 году, во время польского мятежа, который Англия и Франция планировали использовать как предлог для начала боевых действий против России на Балтике.

6

Орденский крест св. Станислава III степени носили в петлице, а крест св. Анны III степени – на правой стороне груди.

7

Анна Михайловна Гумилева, урожденная Некрасова (1841–1872).

8

«Князь Пожарский» стал первым российским броненосцем, вышедшим за пределы Балтики. В 1873–1875 гг. он совершил дальнее плаванье в Средиземное море, успешно выдержав во время перехода жестокий шторм. «Пожарский», как некогда «Пересвет», предназначался для крейсерских операций, конкурируя с британскими рангоутными броненосцами. *Левиафан* – гигантское морское чудовище, упоминаемое в книгах Ветхого Завета, фантастический кит или морской змей.

Капранг – капитан 1-го ранга.

10

Семейные предания упоминают прародителем бежецких Милюковых (и Львовых) некоего ***«князя-воеводу Милюка»***, о котором доподлинно ничего не известно. Возможно, изначально под легендарным «Милюком» вообще разумелся ***Семен Мелик***, воевода Сторожевого полка московской рати на Куликовом поле, один из героев битвы 1380 г., от которого и пошла вся чрезвычайно разветвленная родословная дворян Милюковых. В той же семейной генеалогии есть указание, что «по грамоте царя Федора Алексеевича в 1682 г. Якову Ивановичу Милюкову за участие в войне с Турецким султаном и Крымским ханом пожалованы поместья в Новоторжковском и Бежецком уездах», но насколько эта информация соотносится с непосредственными предками Гумилева со стороны матери – на настоящий момент не установлено. Достоверно известно, что по переписным книгам 1686 г. «сельцо Слепнево» Ивановского стана Бежецкого уезда было записано за ***Потапом Васильевичем Милюковым***, а во время переписи 1710 г. Слепневым совместно (тремя долями) владели братья ***Алексей Потапович*** (40 лет) и ***Никифор Потапович*** (37 лет) ***Милюковы*** и их малолетний (2 года) племянник ***Федор Андреевич Милюков***. Во второй половине XVIII века владельцем Слепнево был ***Иван Федорович Милюков***, согласно семейным преданиям – офицер, участник «сражения под Очаковым» (вероятно, имеется в виду сам штурм крепости 6 декабря 1788 г. после длительной осады во время Второй Турецкой войны 1787–1891 гг.). Его дочь ***Анна Ивановна Милюкова*** (1772–1842 или 1857 (?)) получила Слепнево в приданое, сочетавшись со старицким помещиком ***Львом Васильевичем Львовым*** (1764–1824 или 1825), в браке с которым родила сыновей ***Константина*** (1803–1842) и ***Ивана*** (1806–1862).

11

Л. В. Львов был выпускником сухопутного шляхетского корпуса, служил под началом Г. А. Потемкина и А. В. Суворова, участвовал в осаде Очакова и в знаменитом штурме Измаила. В отставку он вышел в чине секунд-майора, играл видную роль в общественной жизни Тверской губернии, в 1809–1812 гг. заседал в Бежецком уездном суде. Его сын, лейтенант флота ***Иван Львович Львов***, наследовавший в 1842 г. Слепнево, был участником обороны Севастополя 1854–1855 гг. После него поместье перешло вдове ***Юлиании Яковлевне Львовой***, урожденной *Викторовой* (1814–1865). У них было пятеро детей – ***Яков*** (1836–1876), ***Лев*** (1838–1894), ***Варвара*** (1839–1921), ***Агата*** (1840–1897) и ***Анна*** (1854–1942), которые в разные годы владели поместьем по старшинству или совместно. В 1894–1907 гг. владелицей Слепнева была вдова бездетного Л. И. Львова *Любовь Владимировна* (урожденная Сохатская).

12

Яков Иванович Львов имел приемную дочь *Евгению*, вышедшую замуж за инженера-путейца *И. И. Македонского* и родившую от него сыновей *Игоря* и *Юрия* и дочерей *Любовь, Веру, Валентину, Галину*. Семейство Македонских посещало Слепнево и дружило со всей сводной родней.

13

В семейной генеалогии Гумилевых непосредственным пращуром Львовых упоминается ***«Пимен Львов»***, которому были «выданы императрицей Елисаветой Петровной жалованные грамоты в Осташковском уезде». Достоверно известно о прапрадеде Гумилева ***Василии Васильевиче Львове*** (1730–1800), помещике из села Васильково Старицкого уезда Тверской губернии. Уроженцем Василькова записан его сын *Л. В. Львов*.

14

Девица благородного происхождения (*фр*.).

15

Яков Алексеевич Викторов (1780–1872), помещик Старо-Оскольского уезда Курской губернии, воспетый правнуком: «Мой прадед был ранен под Аустерлицем / И замертво в лес унесен денщиком, / Чтоб долгие, долгие годы томиться / В унылом и бедном поместье своем». После разгрома Великой Армии Наполеона в 1812–1813 гг. Я. А. Викторов, оправившись от тяжелых ран, женился на однофамилице, курской помещице ***Агафье Васильевне Викторовой*** (†1857) и имел от нее дочь ***Юлианию***, бабушку Гумилева.

16

Смертный исход (*лат.*).

Этот брак был крайне неудачен, ибо *В. П. Покровский* (†1896) оказался хроническим алкоголиком и патологическим ревнивцем; несчастная жена с сыном Борисом пряталась от его буйств у родственников в тверской усадьбе. *Б. В. Покровский* (1872–1915), завершая гимназию, жил в Петербурге приживальщиком у Гумилевых; он пошел по военной части, служил в Генеральном штабе. Вплоть до кончины он сохранял хорошие отношения со своими бывшими опекунами. Его дочь *Елена Борисовна Чернова* (в первом браке Гиппиус, 1899–1988) написала интересные воспоминания о семействе Гумилевых и других своих родственниках.

18

«Записи о семье Гумилевых», составленные Александрой Степановной (откуда взят этот автобиографический фрагмент), свидетельствуют о незаурядном литературном даровании сводной сестры Гумилева. Известно, что она, работая педагогом, писала пьесы для детей и ставила их со своими учениками в школьном драматическом кружке. К сожалению, кроме «Записей…», другие ее сочинения пока не найдены.

19

Пригородный район особняков в мегаполисе (*англ.*).

20

Старший сын императора Александра II великий князь Николай Александрович (1843–1865) скончался от туберкулезного менингита в 1865 году, после чего право наследования перешло к его брату, великому князю Александру Александровичу (будущему императору Александру III). Память о трагически погибшем юном цесаревиче, подававшем большие надежды, благоговейно сохранялась в романовской семье, и основанная в честь покойного в 1870 году царскосельская мужская гимназия пользовалась поддержкой царствующих особ и имела некоторые «придворные» привилегии. Первым директором стал Н. И. Пискарев; после его кончины в 1887 году Николаевскую гимназию десять лет возглавлял филолог и литератор Л. А. Георгиевский.

21

Двоюродный брат Гумилева *Б. В. Покровский* после завершения гимназии поступил в юнкерское училище, завершив которое служил по гарнизонам (а с 1910 г. получил назначение в Главный Штаб). С царскосельской родней он поддерживал близкие отношения, наезжал при случае в гости. В 1898 г. он женился на С. Н. Гололобовой.

22

Не доверяя зятю, «любившему покутить», С. Я. Гумилев обязался первые годы выплачивать проценты с приданого дочери, не передавая в распоряжение ее супруга весь капитал. Он оказался прав. «Ох уж этот май! – писала А. С. Сверчкова в рассказе о своем своевольном замужестве. – Плохо тем, кто в этом месяце родится или выходит замуж: всю жизнь будет маяться. Так оно вышло. Через месяц… поняла, что сделала ошибку, но поправить, конечно, было нельзя».

23

О последних годах жизни крестного отца Гумилева контр-адмирала Л. И. Львова сохранились воспоминания одной из слепневских крестьянок: «Он был небольшого роста, часто ходил в белом генеральском кителе. Его жена Любовь Владимировна была невысокая, худощавая, добрая женщина. Немного знала медицину. Она вылечила мою мать, когда ей лошадь проломила голову… У Льва Ивановича было много земли, и он занимался сельским хозяйством. Он завел много лошадей и коров. Купил племенных быков, которых использовали крестьяне всей округи для улучшения породы своего скота. На своей пашне он впервые вместо сохи применил металлический плуг. Очень скоро его новшеством стали пользоваться зажиточные крестьяне не только Слепнева, но и соседних деревень. Лев Иванович был очень добрым, отзывчивым человеком. Он часто помогал своим крестьянам приобрести необходимый инвентарь, купить нужные вещи. Для этой цели он завел толстую книгу, куда записывал фамилии должников и сумму долга. В свои записи он никогда не заглядывал. Очень многие об этом знали и часто пользовались его добрым расположением, в результате эти долги никогда и никто не отдавал… После его смерти владельцем имения стала жена барина Любовь Владимировна».

24

Частная гимназия и реальное училище были открыты в доме № 1 по Лиговскому проспекту в 1870 г. надворным советником Ф. Ф. Бычковым, однако расцвет школы начался с 1883 г., когда благоустроенное учебное – здание с мебелью и библиотекой у Бычкова купил Я. Г. Гуревич, который и создал здесь неповторимый педагогический ансамбль. Учебное заведение Гуревича имело права казенных гимназий и считалось одной из самых лучших (и дорогих) средних школ города.

25

В истории русской педагогики *Я. Г. Гуревич* (1843–1906) остался как убежденный противник «прусской» образовательной системы, которую он считал «неудачным заимствованием» отечественной средней школы. Педагогическая система Гуревича (весьма туманная) была направлена на преодоление «германизма» и поиск «национальной самобытности». Для проведения своей линии Гуревич с 1890 г. издавал популярный среди интеллигенции журнал «Русская школа», в который привлек Д. Н. Кайгородова, П. Ф. Лесгафта, К. К. Сент-Илера, В. П. Острогорского, И. Ф. Анненского, К. Н. Модзалевского, В. И. Срезневского, А. Н. Страннолюбского и многих других крупнейших ученых и педагогов того времени.

26

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) – публицист, литературный критик, издатель, общественный деятель; духовный вождь либерального народничества, главный редактор журнала «Русское богатство».

27

Гайдебуров Павел Александрович (1841–1893) – журналист, издатель, общественный деятель; владелец журнала «Неделя». Его сын, выпускник гимназии Гуревича *П. П. Гайдебуров* (1877–1960), стал впоследствии известным театральным деятелем, народным артистом РСФСР.

28

Маковский Константин Егорович (1839–1915) – популярный петербургский художник, близкий ко двору Александра II, автор многочисленных портретов императора и его семьи. Его сын Сергей после развода родителей жил с матерью Ю. П. Летковой-Маковской на Надеждинской улице, где и состоялось все «декадентское действо».

29

Декадентство (*фр.* decadence – упадок) – общее обозначение для процесса общественной «переоценки ценностей» (Ф. Ницше или *Нитче/Нитше*, как переводили фамилию *Nietzsche* первые русские публикаторы), происходившей на рубеже XIX–XX вв. под воздействием НТР и возникновения новой, «постиндустриальной» цивилизации в Европе, России и США. Наряду с философскими трудами Ф. Ницше провозвестником идейного и нравственного кризиса «конца века» (fin de siècle) стал вышедший в 1884 г. роман *«Наоборот» Ж.-К. Гюисманса* (1848–1907), рассказывающий о вкусах и взглядах болезненного аристократа Флорессаса Дез Эссента, уединившегося от житейской суеты и скуки и живущего фантазиями, грезами и воспоминаниями. Следует отметить, что дочь директора «Лиговской гимназии» Любовь Гуревич в 1891–1898 гг. была главным редактором журнала «Северный вестник» – первого столичного издания, публиковавшего произведения зарубежных и отечественных «декадентов».

30

В гимназическом жаргоне *«камчаткой»* именовался последний ряд классных парт, куда обычно рассаживали двоечников и нарушителей дисциплины.

31

Встречая впоследствии Гумилева на петербургских литературных собраниях, *Ф. Ф. Фидлер* (1859–1917) именовал его не иначе, как *«мой бывший ленивый ученик»*. По иронии судьбы, Фидлер был первым знакомцем Гумилева, непосредственно причастным к «большой» русской словесности. Он являлся распорядителем «Литературного фонда», организатором многих знаменитых петербургских «литературных обедов» и других мероприятий, собирателем автографов и рукописей (А. И. Куприн воспел эту страсть в эпиграмме: «Юбилеют ли медведя, / Червяка ль кладут во гроб, / Так сейчас же Фидлер Федя / Пристает, писали чтоб». Много лет Фидлер вел обстоятельный дневник, который, опубликованный в наши дни, открыл автора и как одного из главных летописцев русского «серебряного века» (в том числе и тех событий, которые непосредственно связаны с деятельностью Гумилева). Сохранившиеся экспонаты «музея автографов» Фидлера являются ценнейшими свидетельствами литературной жизни XIX – начала XX столетия. Там, в частности, имеется и акростих Гумилева:

Фидлер, мой первый учитель
И гроза моих юных дней,
Дивно мне! Вы ли хотите
Лестных от жертвы речей?
Если теперь я поэт, что мне в том,
Разве он мне не знаком,
Ужас пред вашим судом?!

32

2-я тифлисская мужская гимназия была образована в 1881 г. на базе тифлисской прогимназии, существовавшей с 1874 г. «Новой» она называлась в момент прибытия Гумилевых в Тифлис, поскольку год тому назад переселилась в новое здание, построенное на средства М. О. Арамянца на Великокняжеской улице, 32 (современный адрес – улица Д. Узнадзе, 52; в здании помещается Министерство образования и науки Грузии). Учениками гимназии были Павел Флоренский, Владимир Эрн и Александр Ельчанинов, завершившие курс за два года до поступления сюда братьев Гумилевых.

Ими был создан Русский драматический театр, открытый в Тифлисе в 1850 году. Основоположником его считается Г. Эристави. С «театром Эристави», помимо названных, связаны имена драматурга З. Антонова, актера Г. Джапаридзе, критика М. Туманишвили и др. деятелей «грузинского Возрождения» XIX века. В 1856 году после ряда резонансных постановок («Тяжба» Эристави, «Хочу быть княгиней» Антонова и др.) театр был закрыт «за неблагонадежностью». Преемником его стал «театр Питоева» (ныне – театр им. Ш. Руставелли).

34

После Октябрьского переворота Борис Васильевич Легран (1884–1936) сделал впечатляющую карьеру. С декабря 1918 г. по апрель1919 г. он был членом Революционного Военного Совета 10-й армии Южного фронта, а с апреля 1919 по ноябрь 1920 г., в разгар «красного террора», – председателем Революционного Военного Трибунала РСФСР. В 1930-е годы Легран, назначенный на пост директора Государственного Эрмитажа, руководил продажей за границу таких эрмитажных шедевров, как «Святой Георгий» и «Мадонна Альба» Рафаэля, «Венера перед зеркалом» Тициана, «Пир Клеопатры» Тьеполо, полотен Боттичелли, Перуджино, Рембрандта, Рубенса и др. За эти подвиги Б. В. Легран в 1935 г. был назначен заместителем директора Всесоюзной Академии художеств; эта должность и стала последней в его фантастической судьбе.

35

Оба брата Кираселидзе (Кереселидзе) в мировую войну были кадетами российской армии. После отделения Закавказья от РСФСР они примкнули к вооруженным силам грузинских республиканцев и сражались против 11-й армии Серго Орджоникидзе во время грузино-советской войны 1921 г. После поражения Иван был расстрелян в г. Гори, а Давид спасся. В 1937 г. его все же арестовали, однако быстро выпустили. Позже Д. Г. Кираселидзе погиб в автомобильной катастрофе.

36

М. М. Маркс (в замужестве – Синягина, 1889–1967) продолжила театральную династию, хотя и с перерывом на работу в госпитале во время Первой мировой войны. В зрелые годы Мария Синягина была актрисой Московского театра им. Вл. Маяковского. Гумилевский альбом она передала перед кончиной в ИРЛИ (Пушкинской Дом) РАН.

37

Точное местонахождение усадебных построек имения Березки до сих пор достоверно не установлено: за минувшее столетие от строений ничего не сохранилось.

38

«Иисус отвечал им: Не написано ли в законе вашем: «Я сказал: вы боги» (Ин. 10.34).

Очасть – водоем, образующийся в карьерах или естественных выемках почвы.

40

«Это будет последний / И решительный бой; / С Интернационалом / Воспрянет род людской!» (*Э. Потье.* «Интернационал», пер. А. Я. Коца).

41

Любопытно, что «Тифлисский листок» никогда не публиковал никаких стихов, кроме злободневной городской сатиры. Почему для лирических излияний Гумилева было сделано единственное за всю историю существования этого печатного органа исключение – загадка. Впрочем, следует признать, что именно публикация стихотворения «Я в лес бежал из городов…» принесла «Тифлисскому листку» мировую славу и прочно утвердила имя малозаметной провинциальной газеты начала XX века во всех школьных и вузовских учебниках по русской литературе. Так что в сентябре 1902 года безвестные сотрудники «Листка», давая добро на эту необычную публикацию, приняли стратегически верное решение.

42

Военный историк, преподаватель Николаевской морской академии *Е. И. Аренс* (1856–1931) в 1903 году носил чин полковника по Адмиралтейству. Должность заведующего Петергофской военной гаванью и загородными судами предполагала организацию эксплуатации и (частично) охраны царских яхт и была придворной.

43

И. Ф. Анненский. «Среди миров» (1909).

44

Великий князь *Александр Михайлович* (1866–1933) был двоюродным дядей Николая II, его близким другом и доверенным лицом. Произведенный в конце 1902 г. в контр-адмиралы, Александр Михайлович возглавил выделенное тогда же по приказу императора из Министерства финансов морское Управление, задачей которого была реорганизация торгового судоходства и устройства портов.

45

Ужасный ребенок (*фр.*).

Имеется в виду экономическое и военное присутствие России в Приморье после завершения в 1895 году японо-китайской войны за Корею и создания коалиции России, Германии и Франции для окончательного урегулирования этого конфликта. Россия, посредничая между враждующими сторонами, получила в аренду земли в Маньчжурии и контроль над Ляодунским полуостровом с незамерзающим портом Люйшунь, превратившимся в русскую морскую базу-крепость Порт-Артур. Япония, считавшая Корею зоной собственных геополитических интересов, активно противодействовала движению Российской Империи на Юго-Восток. Непосредственным поводом к войне (которая для Японии, заручившейся поддержкой Великобритании и США, была делом уже решенным) стали переговоры о русских лесных концессиях в Корее.

47

Д. Гусев. «Посидим у моря, подождем погоды» (военный плакат 1904 года).

48

Сестрой царскосельской гимназистки М. Д. Поляковой, адресата ранней поэзии Гумилева, была балерина Елена Дмитриевна Полякова (1884–1972), артистка императорского Мариинского театра. Во время «русских сезонов» С. П. Дягилева Полякова станет одной из ведущих солисток его труппы.

49

«Однажды гордый замок стоял в чужом краю. // От моря и до моря простер он власть свою…» (Л. Уланд [1787–1862]. «Проклятье певца» [«Sängers Fluch»], пер. В. В. Левика).

50

«Большой шарик, пожалуйста!» (*фр.*: «Grande ronde, s'il vous plait»).

З. Н. Гиппиус. «Посвящение» (1894).

Все прочее – литература! (*фр.*, перевод В. Я. Брюсова).

53

А. Рембо. «Цветной сонет» (пер. А. А. Кублицкой-Пиоттух).

54

«Во время плаванья, когда толпе матросов / Случается поймать над бездною морей / Огромных белых птиц, могучих альбатросов, / Беспечных спутников отважных кораблей…» (*Ш. Бодлер*. «Альбатрос», перевод Д. С. Мережковского).

55

М. Г. Веселкова-Кильштет. «Памяти лейтенанта С.<лучевского>» (1904).

На самом деле это именно легенда, которой пленилась в детстве Анна Горенко. Последний ордынский хан Ахмат, убитый в 1481 году врагами-ногайцами в своей кочевой ставке, никакого родственного отношения к ней не имел. Зато Чингисхан, по всей вероятности, действительно, был ее прямым предком по линии матери через род Чагадаевых.

Судьба его противника Курта Александровича Вульфиуса (1885–1964) оказалась, насколько можно судить, более драматичной: экзамены на аттестат зрелости он сдал в Николаевской гимназии экстерном только в 1906/07 учебном году. С 1924 года К. А. Вульфиус жил в Риге, где работал врачом-гомеопатом.

58

Флотоводческий гений великого патриота Японии Х. Того имел стратегическое значение для финала русско-японской войны. Достаточно сказать, что 18 мая, т. е. сразу после Цусимского триумфа, японское правительство обращается к США с просьбой о посредничестве для немедленного заключения мира с Российской Империей. Военные ресурсы были исчерпаны, и, будь морское сражение 14–15 мая 1905 г. менее эффектным, доблестных японцев на Дальнем Востоке через несколько месяцев ожидала бы судьба не менее доблестных французов Великой Армии на Старой Калужской дороге и под Березиной.

59

Национальный музей естественной истории (*фр.*), влиятельная научная организация во Франции, объединяющая несколько исследовательских институтов, лабораторий, хранилищ и экспозиций в Париже и провинциях.

60

Группа французских литераторов и критиков XIX века, издававших сборники-антологии «Современный Парнас» (Теофиль Готье, Теодор де Банвиль, Леон Дьеркс, Ж-М. Эредиа, Ш. Леконт де Лиль и др.). «Парнасцы» являлись предтечами европейского символизма и заявляли о себе как сторонники «чистого искусства», уделяя особое внимание художественной форме и творческому мастерству художника.

61

Теофиль Готье. «Искусство» (перевод Н. С. Гумилева).

62

В стихотворной дарственной надписи Гумилева упоминается книга стихов И. Ф. Анненского *«Тихие песни»*, вышедшая (под псевдонимом «Ник. Т-о») в 1904 г., а также его трагедии *«Царь Иксион»* (1902) и *«Лаодамия»* (1902).

63

Сборник литературно-критических эссе И. Ф. Анненского.

Формально его отставка была подана как повышение по службе: 5 января 1906 г. он был назначен на должность инспектора С.-Петербургского учебного округа.

65

Чаша Грааль (сосуд, куда была собрана во время Распятья кровь Спасителя) являлась величайшей христианской святыней Средневековья, которую охранял отряд легендарных рыцарей Круглого Стола.

Некоторые из оккультистов занимали высокое общественное положение, другие оказывались в ближайшем окружении сильных мира, третьи действовали среди научной и творческой интеллигенции. В любом случае оккультисты получали возможность влиять на исторический ход вещей как некая «третья сила» – сила, не зависимая от государственного и общественного контроля и потому непредсказуемая. Оккультные организации, как правило, считали себя прямыми наследниками античных и средневековых тайных мистических обществ – друидов, офитов, манихеев, катаров, тамплиеров, розенкрейцеров и др.

67

Луи-Клод де Сен-Мартен или *Неизвестный Философ* (1743–1803) – выдающийся мистический писатель и политический деятель, один из идеологов французских роялистов во время борьбы за Реставрацию монархии во Франции.

Филипп Антельм Низье (1849–1905) с детства обладал выдающимися экстрасенсорными способностями («магнетизмом», согласно терминологии того времени). Он исцелял болезни внушением или наложением рук, мог останавливать сильные кровотечения. Мнения врачей-современников о целительстве Филиппа (не имевшего медицинского образования) очень расходились. Королевская Академия Рима наградила его почетным титулом, тогда как на родине против него возбуждались уголовные процессы за шарлатанство и нелегальную практику. В России Филипп получил звание доктора медицины после успешного диагностирования пациентов на расстоянии в присутствии специальной экспертной комиссии. По слухам, он был доверенным лицом русского двора среди влиятельных французских политиков-масонов (как всегда бывает в подобных историях, граница между мистикой и тайной дипломатией тут практически неуловима).

69

Приветствую тебя, юный искатель истины! (*фр*.)

70

Слово «герметизм» в первоначальном значении восходит к имени легендарного Гермеса Триждыпремудрого (Трисмегиста), который учил в глубокой древности о «высших законах природы»; впоследствии это слово получило второе значение «непроницаемого», «закрытого», т. к. эти законы были недоступны для обычного разума.

71

Е. Боссар. «Жиль де Рец, маршал Франции, прозванный Синей Бородой» (*фр*.).

72

Содом – город в долине Сиддим, в устье Иордана, упоминаемый в Ветхом Завете. Его жителями были хананеи, исповедовавшие религию Молоха, требовавшую человеческих жертвоприношений. Содомляне отличались жестокостью обычаев и крайней развращенностью. Они навлекли на себя гнев Божий, были сожжены спавшим с неба огнем и низвержены в бездну (Быт. 19. 1–29). В оккультных учениях история Содома (как и история Атлантиды) является примером пагубного истолкования тайного знания, а жители Содома – образами «посвященных», не сумевших правильно распорядиться открывшимися перед ними жизненными возможностями.

73

Речь в стихотворении идет о мистерии Андрогина. Согласно оккультному преданию, это было «первочеловеческое» существо, созданное Богом для борьбы с Люцифером и падшими духами и обладавшее невероятной мощью, т. к. мужская и женская натуры были слиты в нем в нераздельную целостность. Однако Люциферу хитростью удалось «расколоть» единого Андрогина на Адама и Еву, мужскую и женскую человеческие половины. С тех пор человек утратил свое первозданное совершенство и силу, и лишь половая любовь может вновь возродить Андрогина в момент слияния мужчины и женщины в священнодействии любовного экстаза.

74

Орден Бедных рыцарей Христа и Храма Соломонова был основан в 1119 г., после Первого крестового похода, в котором будущие «тамплиеры» («храмовники») сыграли выдающуюся роль. Вплоть до начала XIV века Орден Храма был главной воинской силой Западной Церкви. Однако, защищая христианство, тамплиеры активно пользовались черной магией и занимались политическими интригами, считая, что благая цель оправдывает любые средства. В конце концов, Орден Храма был объявлен папой Климентом V еретическим, а великий магистр тамплиеров Жак де Моле и его ближайшие сподвижники были схвачены по приказу французского короля Филиппа Красивого в пятницу 13 октября 1307 г. по обвинению в колдовстве и богоотступничестве. В 1314 г., после многолетнего следствия, де Моле был сожжен как нераскаявшийся еретик, а орден окончательно распущен.

В. Я. Брюсов. «Пирамиды». Склонный к исследовательской аналитике, Брюсов профессионально занимался проблемами ясновиденья и экстрасенсорики, находился в числе постоянных сотрудников научно-популярного журнала по вопросам спиритуализма, психизма и медиумизма «Ребус». Стихотворчество являлось для него одним из психических методов проникновения в потусторонние сферы. «Оккультизм, – писал Брюсов, – есть наука с точными знаниями. Есть много выдающихся людей, которые признают оккультизм наукой, изучают его. Эта наука в своей истории имеет целый ряд доказательств. И я не *верю* в нее, *я знаю*, что потусторонний мир существует».

Д. С. Мережковский и его жена Зинаида Гиппиус переживали в это время увлечение революционными идеями, и монархическая риторика мартинизма была для них, по выражению поэта Андрея Белого, присутствовавшего при скандальной встрече, «как кукиш под нос». «Двадцать лет, вид бледно-гнойный, сентенции – стары, как шляпка вдовицы, едущей на Драгомиловское, – возмущалась Гиппиус. – Нюхает эфир (спохватился!) и говорит, что он один может изменить мир… До меня были попытки… Будда, Христос… Но неудачные». В написанной тогда же Мережковскими политической драме «Маков цвет» Гумилев выведен под именем «очень молодого поэта» Ивана Гущина, представителя реакционной «золотой молодежи», который участвует в эротических маскарадных шоу парижского кабаре «Le Paradis» («Рай») и изучает «античную мифологию, особенно культ Митры и Астарты».

77

Перо (*фр.*).

Н. М. Минский еще в 1890 году издал сборник стихов и эссе «При свете совести», который стал первым «манифестом декадентства» в России, придумал собственную эклектическую философию «мировой пустоты» («мэнизма»), активно участвовал в народническом и социал-демократическом движениях. Он часто жил в Париже, избегая очередных общественно-политических гонений на родине.

79

Великий итальянский поэт, мыслитель и политик XIII–XIV вв. Данте Алигьери (1265–1321) с 9 лет был безнадежно влюблен во флорентийскую аристократку Беатриче Портинари (в замужестве – ди Барди, 1267–1290). Историю своей любви он изложил в книге «Новая Жизнь» (ок. 1293), которая считается первым любовным романом Возрождения. Образ «небесной Беатриче», пребывающей в Раю и охраняющей своего поклонника в его земных странствиях, выведен в главном произведении Данте – поэме «Божественная комедия».

Это имя восходит к формуле единобожия в Ветхом Завете – «’ĕlōhēy hāĕlōhom», «Бог богов» (Втор. 10. 17).

81

Ф. Шиллер. «Кассандра». Перевод В. А. Жуковского. *Тень стигийская* – призрак смерти, адское наваждение (река Стикс в греческих мифах отделяла мир живых от мира мертвых).

82

Текст этой драмы до нас не дошел, хотя Гумилев, возможно, и попытался его восстановить. По всей вероятности, это было что-то шуточное, навеянное парижским визитом в Батиньоли к «королю поэтов» Леону Дьерксу.

83

«Русское общество пароходства и торговли», державшее постоянную транспортную линию «Севастополь – Константинополь».

84

Египетский город-порт Александрия был основан в устье Нила в 332 г. до Р. Х. Александром Македонским, который хотел создать здесь столицу своей Мировой Империи. После смерти Александра Египтом правила династия царей, идущая от его сподвижника (диадоха) Птолемея. Одна из цариц этой династии, Клеопатра VI Филопатор (69–30 до Р.Х.) попыталась через 300 лет осуществить мечту Александра о мировом господстве. Для этого Клеопатра использовала любовный союз сначала с великим римским политиком и полководцем Юлием Цезарем, а после смерти Цезаря – с его неудавшимся преемником Марком Антонием. «Царицей мира» Клеопатра не стала: после поражения войск Антония римским императором Октавианом Августом она покончила с собой, а Египет окончательно превратился в провинцию Римской Империи.

В мечту влюбленный, я сгорю,
Повергнут в бездну взмахом крылий,
Но имя славного могиле,
Как ты, Икар, не подарю!

(Перевод Эллиса.)

Постоянными участниками коммуны были писатель Жорж Дюамель (будущий академик и лауреат Гонкуровской премии), музыкант Альбер Дуайен, художник Альбер Грез и типограф Люсьен Линар. Последний организовал издательство, выпускавшее книги авторов «Аббатства».

От *anima* (*лат.*) – душа.

«Сиреневый хутор» (*фр.*).

89

Святая простота (*лат.*).

Так проходит мирская слава (*лат.*).

91

Статья Гумилева «Два салона» о французских выставках *«Национального художественного общества»* и *«Общества независимых художников»* была опубликована в «Весах» с характерным примечанием Брюсова: «Редакция помещает это письмо как любопытное свидетельство о взглядах, разделяемых некоторыми кружками молодежи, но не присоединяется к суждениям автора статьи».

92

Русскоязычное отделение сорбоннской Свободной Высшей школы общественных наук, существовавшее как автономное учебное заведение при Парижском университете в 1901–1905 гг.

Можно отметить, что первое впечатление от будущего классика «социалистического реализма», а тогда «поэта, мистика и народника» и отчаянного хвастуна А. Н. Толстого было у Гумилева скверным: «Он пишет стихи всего один год, а уже считает себя maitre'ом. С высоты своего величия он сообщил несколько своих взглядов и кучу стихов». Но уже во вторую встречу Гумилев и Толстой «сошлись, несмотря на разницу взглядов». 24 марта (6 апреля) 1908 г. Гумилев в письме к Брюсову рекомендовал учителю Толстого-поэта («его последние стихи мне очень нравятся»), а Толстой тогда же просил письмом ведущего критика популярного журнала «Нива» Корнея Чуковского «обратить внимание на нового поэта Гумилева», который «живет в Париже, очень много работает, и ему нужна в начале правильная критика».

В. Е. Аренс и в самом деле вошла впоследствии в историю отечественной словесности как незаурядный переводчик Гейне, Лессинга, Ф. Жамма, финских, латышских и грузинских писателей.

Во время путешествия Гумилев вел дневник, который, по некоторым сведеньям, до сих пор сохраняется неопубликованным в частной коллекции рукописных раритетов. Часто высказываются предположения, что были и какие-то более длительные маршруты его поездок из Каира, но с достоверностью это утверждать пока не представляется возможным.

В. А. Комаровский. «Вдали людей, из светлых линий…» (1907).

97

Писательница *Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал* (1866–1907) скончалась, заразившись скарлатиной, на летнем отдыхе в деревне Загорье, где она помогала местным крестьянам бороться с распространяющейся среди детей эпидемией. Ее героическая смерть вызвала у Иванова духовный переворот, после которого он существенно пересмотрел свои взгляды на «дионисийство».

Συμπόσιον (*греч.*) – ритуальное пиршество, главным угощением которого является пища духовная – беседы, песнопения, актерские репризы и т. д.

99

Вяч. И. Иванов. «Subtile virus caelitum». (1904, «Тонкий яд богов» (*лат.*))

100

«Мистический анархизм» – художественно-философское движение, популярное в молодежной, прежде всего студенческой, среде в годы революции 1905–1907 гг. Главной установкой «мистического анархизма» было утверждение «неприятия мира» как главного свойства любой художественной натуры, вне зависимости от политических убеждений. «Всякий поэт должен быть анархистом. Потому что как же иначе? – писал тогда С. М. Городецкий. – Всякий поэт должен быть мистиком-анархистом, потому что как же иначе? Неужели только то изображу, что вижу, слышу и осязаю?»

101

Модник, франт (*англ.*).

102

Генрих III Валуа (1551–1589) – французский король, склонный к содомии и окружавший себя многочисленными куртизанами-фаворитами. Его сестра *Маргарита де Валуа* (1553–1615) вошла в историю как талантливая писательница, покровительница наук и искусств, авантюристка и распутница.

103

Нежелательное лицо (*лат.*). После кончины матери в 1904 г. Кузмин потерял постоянное жилье в Петербурге и кочевал по родственникам и знакомым. Он подолгу жил на «башне», останавливаясь, как многие друзья Вячеслава Иванова, в помещениях художественной студии, расположенной под ивановской квартирой. Летом 1908 г. Кузмин захотел поселить рядом своего фаворита Сергея Познякова, от чего Иванов, разумеется, отказался. «Благодарю. Простите. Превышение дружбы. Устроюсь в гостинице», – телеграфировал Иванову Кузмин, но обиду затаил и той же осенью опубликовал повесть «Двойной наперсник», где зло высмеивались обитатели и гости «башни» (выведенные под прозрачными псевдонимами).

104

Предшественники Моцарта, композиторы и исполнители XVII–XVIII веков, средоточием деятельности которых была Венская придворная капелла (Г. Муффат, И-И. Фукс, Х. Шмельцер, Х-И. Бибер и др.).

105

Высокое Возрождение, период в итальянском искусстве, приходящийся на XV век (буквально mille quattrocento – «тысяча четыреста», (*ит.*)).

106

Гностицизм – общее условное название ряда позднеантичных религиозных течений.

Тому, что наследие Комаровского стало состоявшимся фактом русской литературы, современные читатели целиком обязаны Гумилеву, который сыграл в жизни замечательного царскосельского поэта роль «импресарио». Сам Комаровский после жизненного краха, когда приступ сумасшествия в 1901 году помешал его университетским занятиям, упал духом и готовился к роли «незамеченного таланта». С современной читательской аудиторией у Комаровского отношения сложные, но «знать Комаровского – это марка!» – говорила Ахматова.

108

«У Альбера» (*фр.*). Этот ресторан открылся в 1898 г. в достопамятном доме № 18 по Невскому проспекту. В настоящее время в легендарных помещениях «дома Котомина» – культурной святыни Петербурга – работает «Литературное кафе».

109

Помещения с выходом на улицу (*фр.*).

110

Понятие *«джентльмен»* в значении безупречного образа воспитанного мужчины-аристократа сложилось в Европе и России в последней четверти XIX – начале XX в.

111

После завершения реальных классов «Лиговской гимназии» *С. К. Маковский* (1877–1962) поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета, поясняя свой выбор тем, что «остальные науки узнаются и так». После завершения университетского курса (1900) он поступил на службу в Государственную канцелярию. Позднее министр внутренних дел В. К. Плеве, добрый знакомый родителей Маковского, взял его к себе чиновником особых поручений для заграничной работы. Однако с государственной службы Маковский ушел, найдя свое призвание в художественной критике. Он сотрудничал в журналах «Мир Божий» и «Мир Искусства».

112

Журнал «Мир Искусства» С. П. Дягилев издавал в 1898–1904 гг., сначала как иллюстрированный искусствоведческий бюллетень, выходящий раз в две недели, а с 1900 г. – как художественно-литературный ежемесячник, сыгравший большую роль в становлении русского символизма. Журнал прекратился после ряда внутренних конфликтов и финансовых кризисов; в это время уже обозначился интерес Дягилева к театральному проекту, который через три года воплотится в первый «Русский сезон» в Париже.

113

В Петербурге тех лет идеи «аполлонизма», связанные в европейской культуре с именами немецкого романтика, философа и теоретика искусства *Фридриха Шеллинга* (1775–1854), английского писателя, художника и критика *Джона Рескина* (1819–1900) и Ф. Ницше, усиленно пропагандировал выдающийся историк культуры и театровед *Аким Львович Волынский* (1863–1926), которого Маковский лично знал и высоко ценил. Именно взгляды Волынского, по-видимому, и сыграли решающую роль в определении программы и даже названия будущего журнала Маковского (см. А. Л. Волынский о русском искусстве // Обозрение театров. 1908. 29 янв. (№ 322). С. 16–17).

114

Перечисляются специальные стиховедческие термины и понятия (*анапест* – трехстопный метр с последней сильной стопой; *пеон* – сверхдлинный метр из четырех стоп; *эпитрит* – вид мелодики в древнегреческой поэзии при стопе из одного краткого и двух долгих слогов; *парод* – начальная хоровая песня в древнегреческом театре; *эксод* – финальная песня хора).

115

История была связана с интимным письмом Волошина к давней подруге семьи Александре Орловой («Птице»), каковое перехватил ее новый муж, К. И. Лукьянчиков, посчитавший фамильярность стиля личным оскорблением. *Картель* (вызов на поединок) был отозван по настоятельной просьбе самой Орловой.

Жизнелюб *(от фр. bon vivant).*

«Древний ужас» (*лат.*).

118

Папаша Мако (*фр.*).

119

Вторая Империя (фр.), эпоха правления Наполеона III (1852–1871), сформировавшая особый художественный стиль, тяготевший к броскому декору, вычурным и эклектичным формам.

120

Известно (да и то на уровне легендарных слухов) лишь одно имя среди героинь мимолетных романов «донжуанского» сезона 1908–1909 гг. – *Лидия (Лира) Аполлоновна Аренс* (1889–1976), племянница «придворного адмирала» и двоюродная сестра Веры Аренс. Ахматова считала ее самой вероятной адресаткой гумилевского стихотворения «Свиданье». Царскосельские легенды упоминают о каком-то громком семейном скандале в Адмиралтействе и о том, что героине «Свидания» едва ли не было отказано от дома, а к автору знаменитого стихотворения все Аренсы затем окончательно охладели. Л. А. Аренс жила в Петербурге (Ленинграде), работала техником-чертежником, жила в Ленинграде, подвергалась репрессиям; она написала воспоминания о М. А. Волошине, с женой которого М. С. Заболоцкой-Волошиной поддерживала дружеские отношения.

121

22-летняя Е. И. Дмитриева была выпускницей Императорского женского педагогического института и некоторое время преподавала историю в Петровской женской гимназии. «Из ее преподавательской жизни, – вспоминала М. И. Цветаева, – знаю только один случай, а именно, вопрос школьникам попечителя округа: – Ну кто же, дети, ваш любимый русский царь? – и единогласный ответ школьников: Гришка Отрепьев!».

122

Первая книжка «Острова» оказалась и последней: выкупить из типографии вторую у «островитян» просто не хватило средств. Отдельные экземпляры не увидевшего свет тиража сохранились в коллекциях библиографических редкостей.

123

Женихом (а потом и мужем) многоликой Дмитриевой был инженер-мелиоратор В. Н. Васильев, которого она не посвящала в свои «другие жизни».

А. Н. Толстой «Коктебель» (1909).

125

А. А. Фрейганг происходила из семьи потомственных дворян Витебской губернии, владевших именьем Крыжуты близ Режицы (современный г. Резекне (Латвия)). Работ, выявляющих родственные связи невестки Гумилева, нет, хотя в XIX веке эту фамилию носили несколько лиц, достаточно известных в российской истории, – достаточно вспомнить военного коменданта Петергофа генерала от инфантерии А. В. Фрейганга, занимавшего эту должность четверть века.

Горе побежденным! (*лат.*)

127

Псевдонимом *Н. И. К-то* (т. е. «Никто») была подписана единственная прижизненная книга стихов И. Ф. Анненского «Тихие песни».

128

Из 24 заказанных литографий Н. С. Войтинская выполнила 8, а гонорар получила лишь за портрет Гумилева. После этой истории оскорбленная Войтинская вовсе забросила литографию, а с 1917 года и живопись. В советские годы она преподавала рисование и иностранные языки в школе, писала научно-популярные книги по истории и искусствоведенью, переводила с немецкого и английского (в том числе – «Рассказы о Шерлоке Холмсе» и «Баскервильскую собаку» А.-К. Дойла), а в последние годы перед выходом на пенсию возглавляла кафедру иностранных языков во Всесоюзном заочном лесотехническом институте. За год до смерти она узнала, что ее «аполлоновские» портреты в составе коллекции А. Н. Бенуа хранятся в Русском музее. В настоящее время литографии Войтинской – признанные шедевры психологического портрета XX века.

129

Черубина де Габриак. «Твои руки».

130

А. К. Шервашидзе-Чачба (1867–1968) – художник-сценограф, работавший в мастерской Головина и публиковавшийся в «Аполлоне».

131

Знаменитый храм афинского Акрополя посвящен богине Девственнице (Ἀθηνᾶ Παρθένος).

132

Здесь и далее все амхарские слова приводятся в транскрипции, которую использовал Гумилев. В современной языковой норме она несколько другая: «Аддис-Абеба», «Харэр» и т. д.

133

Согласно иудейской Устной Торе (незаписанному преданию), Ковчег Завета со Скрижалями Закона, хранившийся на Краеугольном Камне в Святая Святых Первого Храма, во время пленения Иерусалима вавилонянами был скрыт сверхъестественным образом, сам собой погрузившись в глубь Храмовой Горы, где и пребывает до времени постройки Третьего Храма.

134

Еще в 1888–1889 гг. терский казак Николай Ашинов и архимандрит Паисий пытались (безуспешно) основать на абиссинском берегу Красного моря «Московскую станицу», которая могла бы стать в дальнейшем угольной базой для проходящих по Суэцкому каналу российских пароходов.

135

Жители абиссинской метрополии исповедовали т. н. коптское (египетское) христианство, близость которого греко-российскому православию сомнительна. Однако во второй половине XIX столетия провозглашенное Синодом «единоверие» было важным идейно-политическим фактором в российской политике в Северо-Восточной Африке. Гумилев упоминает в одном из своих очерков о «древней *православной* Абиссинии».

Полюбовно (*фр*.).

137

О том, что «Черубина уже умерла», Дмитриева писала А. М. Петровой 29 декабря 1909 г. В этом же письме она сообщала, что Волошин «в конце января поедет в Феодосию, чтобы поселиться в ней безвыездно. У него здесь отвратительные отношения со всей «литературой», работать не может, надо ему тишь… Да и мы с ним за несколько месяцев в разлуке лучше разберемся». После отъезда Волошина Дмитриева пережила глубокий духовный и творческий кризис и порвала с прошлым. Прощальная подборка стихов «Черубины де Габриак» была опубликована в № 10 «Аполлона» за 1910 год. В мае 1911 г. Дмитриева вышла замуж за своего давнего поклонника В. Н. Васильева. До конца дней (†1928) она продолжала заниматься литературой, однако превзойти своего призрачного двойника «Черубину де Габриак» ей так и не удалось.

138

Анна Ахматова. «Учитель».

139

В древних оккультных практиках греческое слово «теургия» (θεουργία, от θεός божество и ὄργια, обрядовое действие) обозначало «магическое искусство», т. е. воздействие на потусторонние силы с помощью эстетических приемов (пение, музыка, танцы и т. д.).

140

Настоящее имя Андрея Белого – Борис Николаевич Бугаев.

Гумилев, по-видимому, рассчитывал на дружескую поддержку Андрея, но тот, как и мать, был уверен, что замужество сестры заведомо обречено на неудачу. Ахматова говорила, что поведение родных «глубоко оскорбило» новобрачных. В дальнейшем общение Гумилева с Инной Эразмовной и Андреем Андреевичем Горенко носило эпизодический характер.

142

Согласно тогдашнему административному делению, прилегающие к Киеву земли на левом берегу Днепра относились к Остерскому уезду Черниговской губернии и формально находились за городской чертой Киева. Никольская слободка располагалась вдоль береговой черты напротив Киево-Печерской лавры и с 1923 г. вошла в состав центрального городского комплекса киевского мегаполиса.

143

«Моим шафером в Киеве был Аксенов, – рассказывал Гумилев О. А. Мочаловой. – Я не знал его и, когда предложили, только спросил – приличная ли у него фамилия, не Голопупенко какой-нибудь?» Имя Аксенова, только вступившего на литературное и общественное поприще, в 1910 г. еще ничего не говорило Гумилеву, но вскоре И. А. Аксенов достаточно громко заявит о себе и как искусствовед, автор первой русской монографии о П. Пикассо, и как поэт-авангардист, один из организаторов футуристической группировки «Центрифуга» (на средства Аксенова была издана книга стихов Б. Л. Пастернака «Поверх барьеров»). Все это время Аксенов продолжал активно заниматься революционной деятельностью. Во время гражданской войны он занимал высокие посты в Красной Армии и ВЧК, а в 1922 году возглавил Всероссийский Союз поэтов и был ректором Государственных высших театральных мастерских (ГВЫТМ).

144

Возможно, рассказ Эльснера дополняет рассказ Елизаветы Дубровской (в 1910 году – слушательницы киевских Высших женских курсов) о том, как она помогала Ахматовой срочно изготовить некий парадный гардероб из подручного материала, собранного у обитательниц студенческой коммуны на Тарасовской улице. Дубровская тогда соорудила из двух пожертвованных курсистками старых шляпок одну, «такую красивую, что она всем понравилась». По всей вероятности, это и был свадебный наряд Ахматовой, которая, по словам той же Дубровской, «постоянно нуждалась в средствах».

145

По законам Российской Империи, жена, находящаяся при муже, не имела отдельного вида на жительство, а была внесена в паспорт мужа. Для самостоятельного перемещения и проживания женщина получала отдельные документы только с согласия мужа или ходатайствовала перед земским начальником, судом или императорской канцелярией о необходимости получения таковых. При этом истица должна была доказать дурное обращение мужа или его недееспособность. На личный вид на жительство имели право вдовы, жены ссыльных и находящихся в «безвременном отсутствии свыше 5 лет» (т. е. пропавших без вести). Незамужние дочери до достижения ими возраста совершеннолетия (21 год) были вписаны в паспорт отца и, в случае необходимости, получали от него разрешение на отдельный вид на жительство на определенный срок. Такой «срочный» вид на жительство несовершеннолетняя Ахматова получила от отца в 1908 г., поступая на киевские Высшие женские курсы.

146

Ныне парижский Музей Восточных искусств. Он был создан в 1879 г. лионским промышленником Э. Гимэ (Guimet), а через десятилетие переехал из Лиона во французскую столицу.

147

Блерио был создателем оригинальной конструкции самолета-моноплана, на котором в спортивных и рекламных целях 25 июля 1909 г. за 37 минут преодолел Ла-Манш, совершив первый в истории перелет из Франции в Англию. «Воздушный мост» Блерио имел грандиозный успех и долгое время был главной темой европейских и русских газет. В дальнейшем Л. Блерио стал владельцем крупных авиастроительных предприятий, которые в годы Первой мировой войны выпустили более 10 000 самолетов.

148

Мыслепередача! Это умеете делать только Вы (*фр*.).

149

Молодые и талантливые русские поэты (*фр.*).

150

Жан Шюзвиль (Chuzeville, 1886 – не ранее 1959) долгое время прожил в России во «Французском Меркурии», самом почтенном из литературных журналов Франции (с перерывами он выходит с… 1672 года по настоящий день) Шюзвиль вел в начале XX века обзоры новейшей русской литературы, переводил русских писателей и поэтов на французский язык. Идею «Антологии русских поэтов» подал ему Брюсов, с которым Шюзвиль познакомился в 1908 г. Брюсов же, очевидно, рекомендовал Шюзвилю своего ученика Гумилева. «Anthologie des poètes russes» с предисловием Брюсова вышла в Париже в 1913 г.; Гумилев разбирал ее достоинства и недостатки в одном из «Писем о русской поэзии».

151

Спальный вагон (*фр.*).

В 1910 г. Маковский подготовил в Париже выставку, где экспонировались работы художников-«мирискусников», близких к «Аполлону». В редакции «Аполлона» в это же время была организована выставка французской графики, а мартовский номер журнала за 1910 г. посвящался современной французской литературе и живописи.

153

«Настаивать, чтобы все поэты были непременно теургами, столь же нелепо, как настаивать, чтобы они все были членами Государственной думы, – писал Брюсов. – А требовать, чтобы поэты перестали быть поэтами, дабы сделаться теургами, и того нелепее. Вячеслав Иванов и А. Блок – прекрасные поэты; они нам это доказали. Но выйдут ли из них, не говорю великие, но просто «хорошие» теурги, в этом вполне позволительно сомневаться. Мне, по крайней мере, в их теургическое призвание что-то плохо верится…» Статья Брюсова «О «речи рабской», в защиту поэзии» была опубликована в девятом номере «Аполлона» за 1910 г. Чуть позже в «Русском слове» (1910 г. 22 сентября) появился критический фельетон Д. С. Мережковского «Балаган и трагедия» на ту же тему.

Северный вокзал (*фр.*).

155

Анна Ахматова. «Он любил три вещи на свете…»

156

Отставной поручик лейб-гвардии Борис Александрович Чемерзин (1874–1942) с 1901 г. работал в Азиатском департаменте российского МИДа, пять лет провел на должности российского вице-консула в Болгарии, а назначение в Абиссинское представительство получил в сентябре 1910 г. Б. А. Чемерзин прибыл с женой в Адис-Абебу лишь несколькими неделями ранее Гумилева и только устраивался на новом месте. В Абиссинии он проработал до 1917 г.

157

И. Ф. Бабичев некоторое время числился в России дезертиром, однако в 1904 г. получил прощение императора Николая II и к моменту знакомства с Гумилевым являлся полноправным членом русской колонии в Адис-Абебе. Его сын М. И. Бабичев стал «первым амхарским пилотом», национальным героем Эфиопии.

Сенигов рисовал портреты абиссинских политических деятелей, батальные, охотничьи и бытовые сцены. В 1970-е журналист Сергей Кулик побывал в «резиденции» Сенигова на реке Омо, стены которой были увешаны карандашными рисунками и акварелями. Сохранились и книги на нескольких иностранных языках с пометами владельца. Местные жители относились к жилищу «белого абиссинца» благоговейно, хотя он, по словам стариков, «не посещал их уже несколько десятилетий». Несколько картин Сенигова имеются в собрании петербургской Кунсткамеры. В 1923 году он приехал в СССР, думая послужить делу установления дипломатических и культурных отношений между Абиссинией и Советом Народных Комиссаров. Любопытно, что в Совнарком Сенигов также отослал «Заявление» в стихах («Выехал я из Абиссинии, тов. Кошкин, / Чтоб эфиопам показать, сколь Совет СССР мощен, / Что подходит для всего честно́го пролетариата / (по-абиссински «човасуата») …» и т. д.). На советских чиновников «Заявление» Сенигова никакого впечатления не произвело, и после 1924 г. следы его теряются.

159

В письмах А. М. Чемерзиной крамольный Сенигов также не обозначен полным именем, фигурируя под летронимом «С.».

160

В 1909–1911 гг. среди народов «сидамо» начались волнения, спровоцированные слухами о смерти Менелика II. В поэме «Мик» (1914) Гумилев описывает разгром одного из непокорных «негусу негести» (императору) языческих племен абиссинскими войсками, пришедшими из Адис-Абебы: «Мех леопарда на плечах, / Меч на боку, ружье в руках, – / То абиссинцы. Вся страна / Их негусу покорена, / И только племя Гурабе / Своей противится судьбе, / Сто жалких деревянных пик – / И рассердился Менелик».

Именно в таком качестве под покровительством тогдашнего русского придворного фаворита в Адис-Абебе Н. С. Леонтьева начинал в 1898 г. абиссинскую карьеру в войсках Вольдогеоргиса (Уольде-Георгиса) сам Сенигов. В 1905 г. Сенигов по приказу Менелика II сопровождал в покоренную Каффу австрийского дипломата Ф. Бибера, который стал первым европейцем, описавшим эту древнюю страну.

162

За пять лет до того Ф. Бибер, оказавшись в Каффе, был поражен жестокостью средств, к которым прибегали абиссинские начальники, принуждая к повиновению завоеванных каффичо. Что касается Гумилева, то, отправляясь сюда в 1913 году в качестве представителя Российской Академии Наук, он будет хлопотать (безуспешно, разумеется) в Петербурге о возможности «объединить, цивилизовать или по крайней мере арабизировать… способное, хотя и очень свирепое племя данакилей», чтобы «в семье народов прибавился еще один сочлен».

163

«В бою, – писал исследователь Абиссинии Александр Булатович, – каждый солдат дерется не за общую идею, а за себя и своего прямого начальника и повторяет только боевой клич последнего. Патриотической панэфиопийской идеи не существует, а есть *ашкер* – слуга такого-то или такого-то».

164

Священная История говорит о первом человечестве, уничтоженном Всемирным Потопом, как о позабывших Бога для земных удовольствий поколениях, в которых стало преобладать «семя Каина» и «всякая плоть извратила путь свой на земле» (Быт. 6. 12). Произошло это потому, что прекрасных каинитоk полюбили отпавшие от Бога ангелы: «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим и они стали рожать им: это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были злы во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем» (Быт. 6. 4–6). К этому сказанию обращено стихотворение Гумилева «Потомки Каина» (1909).

165

Это одни из первых стихотворных автографов, подписанных ***«Анной Ахматовой»***. Само письмо, в отличие от стихов, она подписала полным именем – *Анна Андреевна Гумилева*.

166

На самом деле инициатива публикации стихотворений Ахматовой в № 4 «Аполлона» за 1911 год целиком принадлежала Маковскому, который предложил «взять на себя всю ответственность», если Гумилев, вернувшись из путешествия, будет недоволен.

167

А. А. Кондратьев. «Песнь торжественная на возвращение Гумилева из путешествия в Абиссинию» (1911).

168

«Придя же в себя, сказал: «сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим: прими меня в число наемников твоих» (Лк. 15. 17).

169

Вяч. Иванов. «Милость мира».

Комедия масок (*ит.*).

171

А. Д. Кузьмин-Караваев (1862–1932) был одним из сыновей генерала от инфантерии Д. Н. Кузьмина-Караваева. Его старший брат Аглай, служивший в конной артиллерии, вышел в 1917 г. в отставку генерал-лейтенантом; младший брат Владимир – генерал-майором. Помимо того В. Д. Кузьмин-Караваев (1859–1927) был профессором Военно-юридической академии, видным думским деятелем I и II созывов, лидером «Партии демократических реформ».

172

По легенде, один из караваевских предков, новгородский посадник Василий Иванович Кузьмин, оказывал содействие великому московскому князю Дмитрию Донскому и смог предотвратить военный конфликт Новгорода с Москвой в 1386 году, встретив московские дружины у ворот с хлебом-солью. «Это твоя выдумка, – сказал якобы смиривший гнев князь, – вот и будешь теперь *Караваем*».

173

Речь идет об изображении на расписной деревянной накладке из саркофага мумии храмовой певицы (шемаит), погребенной в X в. до Р. Х. в фиванском некрополе Джесеркара. Эта накладка – шедевр погребального искусства Древнего Египта – во второй половине XIX века была в складчину куплена в Луксоре группой английских туристов, путешествовавших по Нилу, а в начале XX века пожертвована наследницей одного из путешественников Британскому музею и выставлена в первом египетском зале (где находится по сей день). Популярный английский журналист Б.-Ф. Робинсон (друг Артура-Конана Дойла, подсказавший писателю сюжет «собаки Баскервилей») написал о деревянном изображении шемаит около полусотни статей, доказывая, что на нем лежит «проклятье», и приводя трагические истории тех европейцев, кто, так или иначе, оказывался рядом. Рассказы Робинсона охотно перепечатывали в 1900-е годы европейские и русские издания (журнал «Pearson's Magazine» посвятил в августе 1909 года «таинственной мумии, приносящей несчастья» всю книжку целиком). Весомую лепту в легенду о «проклятой неизвестной» внес и рассказ «№ 249» А.-К. Дойла.

174

Полевые работы крестьяне начинали после завершения Петрова поста (Петровок) в день св. апостолов Петра и Павла 29 июня (12 июля).

175

Спасибо!.. Спасибо за ваше внимание… (*ит.*).

176

Мотивы, двигавшие 24-летним Дмитрием Богровым, до сих пор вызывают споры. По самой распространенной версии, Богров, связанный с киевскими эсерами и анархистами, был разоблачен ими как агент-провокатор и приговорен подпольным судом к смерти. Понимая, что обречен, Богров якобы решил «хлопнуть дверью» и покончить с собой таким экзотическим способом, как покушение на премьер-министра России (после чего он ожидал быть немедленно растерзанным толпой или повешенным). Помимо того, Богров был маниакальным картежником и в последние месяцы перед убийством обнаруживал признаки умственного расстройства. Сам Богров показывал на допросе, что действительно совершил убийство в страхе перед разоблачением, причем сначала хотел застрелить начальника Киевского охранного отделения подполковника Н. Н. Кулябко, но тот был «радушен», и тогда Богров переключился на подвернувшегося премьер-министра.

177

Слухи о тесных связях Д. Г. Богрова с Киевским охранным отделением звучали уже тогда так настойчиво, что игнорировать общественное мнение и после казни убийцы (11 сентября 1911 г., спустя 10 дней после покушения) было невозможно. По распоряжению Николая II была создана специальная следственная комиссия во главе с сенатором М. И. Трусевичем (работа которой, впрочем, на следующий год была по царскому же решению приостановлена). С другой стороны, растущая популярность Столыпина действительно вызывала напряжение при дворе. Не было большим секретом, что последний год жизни премьер-министра проходил под знаком опалы. Императрице Александре Федоровне приписывают фразу, якобы сказанную ей графу В. Н. Коковцеву, новому главе Кабинета министров: «Я уверена, что Столыпин умер, чтобы уступить Вам место, и что это – для блага России».

178

О том, что Гумилев ассоциировал грядущий 1912 год с какой-то глобальной исторической катастрофой – «чумой, войной иль революцией», – свидетельствует написанное весной 1911 года стихотворение «Двенадцатый год», явно визионерское, хотя и странное по упоминающимся там историческим аналогиям: самозванец Григорий Отрепьев был убит в 1606 г., а в истории Золотой Орды 1312 год хотя и является «знаковым» (превращение в мусульманскую империю), но никак не связанным с историей России некими особо примечательными событиями.

179

С. М. Городецкий был средним сыном известного петербургского историка и археолога Митрофана Ивановича Городецкого (1846–1893). В царствование Александра III действительный статский советник М. И. Городецкий, занимавшийся по линии МВД крестьянскими делами в западных губерниях, являлся заметной фигурой среди писателей и общественных деятелей, близких к т. н. «почвенничеству» (сближение образованного российского общества с народом). Он публиковал этнографические очерки о Холмской Руси в «Русской старине» и «Историческом вестнике», дружил с создателем «Левши» Н. С. Лесковым, скульптором Микешиным и переписывался с историком Сергеем Соловьевым (отцом философа). Умер М. И. Городецкий рано, успев, однако, передать трем своим сыновьям любовь к славянским древностям, народолюбие и склонность к патриотическому образу мыслей. «Когда меня спрашивали, кем ты будешь, – писал Сергей Городецкий в автобиографии, – я убежденно отвечал: «Сначала действительным статским советником, а потом святым».

С. М. Городецкий. «Перун».

181

С. М. Городецкий. «Русь».

182

Николай Николаевич Евреинов (1879–1953) был выпускником Императорского училища правоведения и служил в Министерстве путей сообщения. До середины 1900 годов Евреинов принимал участие только в любительских спектаклях, для которых иногда сам писал пьесы. Зато он проявлял большой интерес к изучению культуры и искусства, был вольнослушателем Консерватории и занимался философией в петербургском университете. Среди петербургских театралов чиновник МПС неожиданно явился вполне определившимся теоретиком искусства, взявшись за постановки с холодным пылом ученого, желающего на практике доказать состоятельность своих гипотез. Евреинов создал экспериментальную труппу «Старинного театра», которая разыгрывала в публичных залах средневековые площадные «действа», был приглашен великой Верой Комиссаржевской в «Драматический театр на Офицерской» на замену самому Мейерхольду, а с начала сезона 1911 года оказался ведущим режиссером театра «Кривое зеркало». Этот театр миниатюр был создан в 1907 году Александром Кугелем и давал представления в особняке Юсуповой на Литейном (т. н. «Литейный дом», более известный ныне как городской лекторий).

183

Буквально – «растеатрализовать театры» (*фр.*), т. е. уйти от традиционной формы театрального представления.

184

Паллада Олимповна Богданова (урожденная Старынкевич, 1887–1968) была дочерью генерал-майора Олимпа Старынкевича и племянницей градоначальника Варшавы Сократа Старынкевича. Во время учебы на петербургских женских курсах Паллада Старынкевич участвовала в деятельности подпольной террористической группы социалистов-революционеров. В 1904 г. она сожительствовала с Егором Созоновым (убийцей министра внутренних дел В. К. Плеве), затем побывала в фиктивном браке с другом и напарником Созонова Сергеем Богдановым. Обоих боевиков арестовали и за подготовку террористического акта сослали в вечную каторгу. Паллада Богданова преследований избежала, родив сыновей-близнецов Ореста и Эраста Богдановых. Во второй половине 1900 гг. П. О. Богданова отошла от политики и поступила в студию Н. Е. Евреинова, выступая под псевдонимом «Бельская» и «Богданова-Бельская».

«Камелиями» (по названию популярного романа А. Дюма-сына) в столицах именовали проституток, обслуживающих аристократические круги и, как правило, имеющих собственный домашний «салон».

186

Представительское помещение в древнегреческом жилище, где мужчины собирались для бесед и дружеских пирушек.

187

Сафо (Сапфо, Σαπφώ), по прозвищу «страстная», и *Алкей* – великие древнегреческие поэты VII–VI вв. до Р. Х., жившие на о. Лесбос. Легенда гласит, что влюбленный Алкей был отвергнут Сафо, которая в это время была поклонницей целомудренной красоты невинных девушек (другая версия легенды объясняет отказ Сафо невыгодной для нее разницей в возрасте). Играющие друг другу на лирах Сафо и Алкей изображались на греческих вазах.

Третий из братьев Гиппиус – юрист Александр, входивший в ближайшее окружение А. А. Блока, – также писал стихи (под псевдонимом *А. Надеждин*), но в «Цех Поэтов» не входил. Братья Гиппиус состояли в «троюродном» родстве с Зинаидой Гиппиус, но познакомились с ней только после начала ее литературной деятельности в Петербурге.

189

«Французский институт» был открыт в 1911 г. в Петербурге группой французских филологов во главе с Л. Рео для изучения русской культуры и литературы и ознакомления русского общества с культурными достижениями Франции; патронаж над этим научно-исследовательским учреждением взяла парижская Школа восточных языков.

190

«*Черный Кот*» – литературно-артистическое кабаре на Монмартре в 1881–1897 гг. Его постоянными посетителями были Г. де Мопассан, Поль Верлен, Август Стриндберг, Клод Дебюсси, Шарль Кро, Иветта Гильбер, Поль Синьяк и другие писатели, музыканты, актеры и художники конца XIX века.

191

А. А. Блок. «Там дамы щеголяют модами…» (1911).

192

От др. – гр. σύνδικος – должностное лицо, полномочный представитель (в юридических или политических делах).

193

Пусть погибнет мир, но свершиться правосудие! (*лат.*)

194

Из-за «домашнего ареста» Гумилева второе заседание «Цеха поэтов» 10 ноября 1911 года проходило на квартире Софьи Борисовны Пиленко, матери Е. Ю. Кузьминой-Караваевой. Помимо четы Кузьминых-Караваевых там присутствовали Городецкий, Пяст, Ахматова, Василий Гиппиус и В. И. Нарбут.

«Белоподкладочник» – богатый студент, проходящий курс не из соображений карьеры, а из прихоти или для получения дополнительного социального статуса.

196

О. Э. Мандельштам. «Здесь я стою – я не могу иначе»… Мандельштам происходил из ассимилированной и, по его собственным словам, «безрелигиозной» еврейской семьи. В ранней юности он пережил болезненный духовный и идейный кризис, не имея «никаких определенных чувств к обществу, Богу и человеку» (в петербургском Тенишевском коммерческом училище однокашники за обидчивую отчужденность прозвали его «Гордая Лама»). В мятежном 1906-м пятнадцатилетний мечтатель проникся разрушительными настроениями, и испуганные родители отправили его на следующий год учиться за границу. Здесь, занимаясь (без особого успеха) сначала в парижской Сорбонне, а затем в Гейдельбергском университете, Мандельштам постепенно охладел к общественности и переключился на декадентское стихотворчество. Однако, несмотря на очевидные переклички раннего Мандельштама с символизмом, символисты, по словам Ахматовой, «никогда его не приняли». Судя по стихотворениям 1909–1910 гг., на протестантскую проповедь он обратил заинтересованное внимание еще в Германии и Швейцарии: «Когда мозаик никнут травы / И церковь гулкая пуста, / Я в темноте, как змей лукавый, / Влачусь к подножию креста».

Прибыв в Гельсингфорс в 1891 г. пастором местной шведской общины, Н. Розен через три года добился открытия в столице Великого княжества Финской методистско-епископальной церкви, а в 1898 году стал суперинтендантом образованного после возникновения приходов в других городах Финляндского округа.

198

Методисты выделились из англиканской церкви в конце XVIII века. Основатель методизма, уроженец и профессор Оксфорда Джон Уэсли (Wesley), восстав против отвлеченной теологии и «пустого морализаторства» тогдашних англиканских священников, начал проповедовать «на открытом воздухе» – среди крестьян, ремесленников, шахтеров, моряков во всех концах Англии, обращая особое внимание на практические выводы, которые нужно сделать христианину из Св. Писания при обустройстве собственной повседневности и жизни ближних. Последователи Уэсли, создав общины в Европе и Северной Америке (где методизм получил особенное распространение), активно занимались культуртрегерством и социальной работой. Впечатляющие успехи европейской и американской цивилизации в XIX – начале XX в. методисты полагали наглядным выражением успеха христианства, преобразующего первозданную стихию в культурную среду для достойного и комфортного существования всех, спасенных через веру в Иисуса Христа.

199

Mot (bon mot, *фр*.) – афоризм, крылатое слово.

Буриме – сочинение стихов на заданные рифмы. *Палиндром* – числа и слова, читающиеся одинаково слева направо и справа налево; в художественных текстах – фразы, (стихи) читающиеся в разных «направлениях». *Акростих* – стихотворение, в котором отдельный текст (слово или высказывание) составляют первые буквы каждого стиха (иногда – буквы, расположенные в каждом стихе на фиксированном слоге или стопе).

Сам Дьявол нас влечет сетями преступленья
И, смело шествуя среди зловонной тьмы,
Мы к Аду близимся, но даже в бездне мы
Без дрожи ужаса хватаем наслажденья…

(Шарль Бодлер. Предисловие к книге стихов «Цветы Зла» [1857], перевод Эллиса.)

202

«*l'Entente cordiale*» («сердечным согласием», *фр.*) был назван военно-политический союз между Британской и Русской Империями и Французской Республикой, окончательно сложившийся в 1904–1907 гг. из-за геополитического давления со стороны Германской Империи, претендовавшей на роль гегемона (старшины) в «европейском концерте». Успехам внешней политики Германии способствовал созданный Берлином в 1880-е годы устойчивый альянс с Австрийской (позже – Австро-Венгерской) Империей и Королевством Италии (т. н. «Тройственный союз»).

203

Первым «кораблем миллионеров» самого амбициозного на тот момент трансатлантического перевозчика «Уайт Стар Лайн» был построенный на тех же верфях Белфаста лайнер «Олимпик», открывший маршрут Саутгемптон – Шербур – Куинстаун – Нью-Йорк 14 июня 1911 года и пересекший Атлантический океан за 5 дней 16 часов и 42 минуты. «Титаник» превосходил «Олимпик» как по техническим характеристикам, так и дополнительным удобствам, внесенным в его отделку и оборудование.

204

Весной 1911 года, во время народных волнений в Марокко, Франция, считавшая эту область Северной Африки зоной своего колониального влияния, послала в помощь султану свои войска и готовилась к установлению там официального протектората. Этому воспротивилась Германия, заявив о желании создать в марокканском порту Агадир, куда уже прибыла канонерская лодка «Пантера», собственную военную базу. «Агадирский кризис» едва не завершился военным столкновением двух держав. После переговоров в рамках «европейского концерта» Германия согласилась на компенсацию утраты Марокко землями в африканском Французском Конго.

205

Колониальная итало-турецкая война в Северной Африке и Эгейском море была вызвана политическим и экономическим кризисом в Османской империи после дворцового переворота 1908 года, свержения султана-автократа Абдул-Гамида II и возведения на престол марионеточного Мехмеда V, ставленника партии реформаторов-«младотурков». Предлогом для агрессии Италии против ослабевшей Турции было… дурное управление османов на африканских землях, содержащихся, по мнению итальянцев, «в беспорядке и нищете».

206

Политические и общественные деятели интернациональной организации «Молодая Европа» в первой половине XIX века отличались радикализмом и нетерпимостью. Участники национальных фракций этой организации – «младоитальянцы», «младочехи», «младогерманцы», «младополяки» – боролись за национальное самоопределение своих народов, используя в том числе методы боевых заговоров, провокаций, мятежей и индивидуального террора против представителей Австро-Венгерской, Французской и Русской Империй. Их духовными наследниками на рубеже XIX–XX вв. стали «младотурки» и «младобоснийцы».

207

Джузеппе Мадзини (1805–1872) – итальянский революционер, писатель и общественный деятель, организатор (1834) «Молодой Европы».

Михаил Кузмин. «Маяк любви» (1911–1912).

209

Священный предмет, служащий объектом поклонения.

210

В петербургском тюремном замке «Кресты» *Б. В. Верхоустинский* (1888–1919) содержался в 1907–1908 гг. после разгрома группы «Черный террор», выданной провокатором Евно Азефом. Сергей Городецкий, также угодивший (ненадолго) в «Кресты» по политическому делу, убедил Верхоустинского заняться литературным творчеством. Верхоустинский публиковал стихи и прозу в «Ниве», «Солнце России», «Жатве». Среди литературной общественности начала XX века он был одной из самых интересных фигур, представляя русский политический анархизм в художественном творчестве «серебряного века». От всех литературных группировок – в том числе и от «Цеха поэтов» – Верхоустинский принципиально обособлялся (Максим Горький называл его «молодым нищебродом, пишущим бредовым языком»). В 1914 году он издал книгу стихов и прозы «Во лесях», а во время Великой революции – сборник анархических стихотворений «Черные песни» и «Матросскую проповедь». Умер редактором газеты «Красноармеец».

211

О *Лебедеве*, помимо кратких упоминаний в материалах «Цеха поэтов» и в мемуарах, сведений нет; *В. С. Чернявский* (1889–1948) после окончания в 1912 году университетского курса стал актером и был популярен в 1920–1930-х гг. как диктор ленинградского радио и выдающийся чтец-декламатор. Он был дружен с В. Э. Мейерхольдом, знал В. Ф. Комиссаржевскую, написал воспоминания о С. А. Есенине.

212

Ивич И. Цех поэтов // Известия книжных магазинов товарищества М. О. Вольф по литературе, наукам и библиографии. 1912. № 4. Апрель. С. 89.

213

В 1912 году вышло 5 книжек «Трудов и дней», после чего журнал трансформировался в ежегодный альманах, посвященный проблемам философии, филологии и искусствоведенья. В истории российской гуманитарной мысли «Труды и дни» занимают почетное место прежде всего как яркое научно-публицистическое издание. Но как боевой орган «обновленного символизма» мусагетовский двухмесячник производил впечатление комическое. 1 апреля 1912 года в «Цехе поэтов» была проведена специальная «сессия Транхопса» на тему «ТРУДЫ И ДНИ – ГИЛЬ» (т. е. «вздор, нелепость»). Созданное тогда юмористическое стихотворение-акростих высмеивало попытку московского «Мусагета» (*греч.* «предводителя муз») состязаться с «настоящим» мусагетом-«Аполлоном» петербуржцев: **«Т**ак было раз: на все лады / **Р**ыча на всё и вся, они / **У**словились издать *«труды»* / **Д**абы свои наполнить *«дни»*. / «**Ы**! – «Цеху» крикнули, горды, – / **И**дем на вы, хотим грызни». / **Д**иванов князь Иванов иль / **Н**еврозный Белый вóпят: «Пиль!» / **И** что же: мышь в часы беды / **Г**рызет, кряхтя, «Труды и дни», / **И** «Аполлон» на эту гиль / **Л**ишь стонет: «Муза, Муза, ты л**Ь**?!» (символами муз у греков были… *мыши*, так что «водитель муз» Аполлон изображался иногда в мышином окружении; команда *«пиль!»* является для служебной собаки знаком к нападению).

214

Название книги Зенкевича восходит к стихотворению Е. А. Баратынского «Последняя смерть» (1828), в котором изображается торжество стихийных сил после вырождения человечества и гибели земной цивилизации: «Прошли века, и тут моим очам / Открылася ужасная картина: / Ходила смерть по суше, по водам, Свершалася живущего судьбина. <…> И тишина глубокая вослед / Торжественно повсюду воцарилась, / И в дикую порфиру древних лет / Державная природа облачилась». «Зенкевич пленился Материей, и ей ужаснулся, – писал о «Дикой порфире» Вячеслав Иванов. – Этот восторг и ужас заставляет его своеобразно, ново, упоенно (именно упоенно, несмотря на всю железную сдержку сознания) развертывать перед нами – в научном смысле сомнительные – картины геологические и палеонтологические».

215

Детские и юношеские годы Е. Ю. Кузьмина-Караваева провела в родовом имении Джемете в шести верстах от Анапы. В начале XX века тут постоянно работала археологическая группа проф. Н. И. Веселовского, проводившего раскопки скифских похоронных курганов, в том числе и на территории самого имения. От Веселовского, знакомого с семейством Пиленко, будущая поэтесса могла получить подробные сведенья по истории знаменитого эрмитажного «скифского золота» из анапских Семибратних курганов. Стихи «Скифских черепков» написаны от лица «курганной царевны» – богатой и влиятельной скифянки, чье погребение было открыто в XIX веке в т. н. Витязевском кургане в Джемете – и являются попыткой реконструкции «скифского эпоса».

216

Старший брат В. И. Нарбута, график и иллюстратор *Георгий Иванович Нарбут* (1886–1920), был учеником и другом художника *И. Я. Билибина* (1876–1942), участника группы «Мир Искусства» и выдающегося мастера книжного дела. У Билибина и его жены *М. Я. Чемберс-Билибиной* братья Нарбуты квартировали в 1906–1911 гг. Последняя была автором портрета В. И. Нарбута, помещенного на фронтиспис его книги.

217

Придворные художники и архитекторы императора Наполеона I *Ш. Персье* и *П. Фонтэн* были создателями стиля «ампир». *Увраж* – альбом гравюр.

218

Пародийные «феминистические» стихи капитана Лебядкина, героя романа Ф. М. Достоевского «Бесы».

219

«В 1912 году, – вспоминал Корней Чуковский, – я в качестве редактора сочинений Оскара Уайльда, издаваемых приложением к «Ниве», обратился к Гумилеву с «заказом» перевести терцины английского автора «Сфинкс». Он перевел их умело и быстро». Это была первая большая работа Гумилева-переводчика; Ахматова вспоминала, что большую помощь в составлении подстрочника с английского языка оказал ее отец и его сожительница Е. И. Страннолюбская.

220

Ив. Мар. «Титаник» // Санкт-Петербургские ведомости. 1912. 7 (20) апреля. Накануне российский министр торговли и промышленности С. И. Тимашев направил британскому коллеге официальное соболезнование, а 9 (22) апреля Государственная Дума послала в Палату общин телеграмму с выражением «глубокого сочувствия по случаю трагической гибели „Титаника”». В российской прессе появлялись разные точки зрения на морскую катастрофу 2 (15) апреля 1912 г., в том числе – и в стихах: «Но перед волей непреложной / Что смелый замысел людской? / Игрушкой жалкой и ничтожной / Титан явился пред судьбой… // В неравном побежденный споре, / Стихий минутный властелин / Бессильно погрузился в море / На дно зияющих пучин» (*Л. Кологривова*. «На гибель „Титаника”»).

221

710 из 2207 пассажиров и членов экипажа «Титаника» спаслись на шлюпках и были спустя 2 часа после гибели лайнера взяты на борт прибывшего к месту крушения по сигналу бедствия пассажирского парохода «Карпатия». 5 (18) апреля 1912 г. они высадились на нью-йоркском пирсе трансатлантической компании «Кунард-Лайн».

«Боже, храни Короля» (*англ.*), национальный гимн Англии.

223

Уильям Томас Стед (Stead, 1849–1912), занимавший в 1883–1889 гг. пост главного редактора лондонской «Pall Mall Gazette», был одним из самых влиятельных европейских журналистов, создателем жанра интервью и автором первых «журналистских расследований». Помимо того, Стед был лидером антивоенного общественного движения под лозунгом «Соединенных Штатов Европы» (в США он направлялся по личному приглашению президента Тафта для участия в конгрессе миротворцев в Карнеги-холле). В Российской Империи Уильям Стед был известен по книге «Правда о России» (1888), разоблачающей русофобские мифы. О рассказах Стеда о «контрабандной мумии» на борту «Титаника» свидетельствовали уцелевшие пассажиры первого класса, причем в правдивости этих рассказов никто не сомневался – журналист, увлекавшийся мистическими доктринами и медиумизмом, являлся знатоком подобных артефактов и даже был связан с международным антикварием Мюрреем, поставлявшим египетские древности в европейские частные коллекции. О связи деревянной «шемаит» из Британского музея и «ручной поклажей» Стеда на «Титанике» никаких данных нет, равно как и девиз на мифическом амулете, очевидно, порожден пророческой фантазией европейской молвы накануне военных потрясений. Во время катастрофы Стед проявлял мужество, помогая усаживать в шлюпки детей и женщин. В последний раз его видели незадолго до развязки в курительном салоне – он сидел в кресле, погрузившись в чтение какой-то книги. В литературе о «Титанике» многократно упоминалось о повести Стеда «Из Старого мира в Новый», опубликованной в ежемесячнике «Обзор обзоров» в декабре 1892 г., – там рассказывалось о крушении трансатлантического лайнера, столкнувшегося весной с айсбергом на маршруте пароходов «Уайт Стар».

224

Улица Родосских рыцарей (*ит.*). Св. Иоанн Креститель был небесным покровителем Ордена, поэтому рыцарей именовали также «иоаннитами». Орден госпитальеров, главной резиденцией которого была морская крепость на острове Родос, был создан для защиты паломников в Святую Землю на сухопутных и морских путях, а затем переключился на борьбу с мусульманами в Архипелаге. Оспедалетти (буквально – дорожный приют с ночлегом) являлся в Средние века узловым береговым пунктом в созданной госпитальерами системе военного контроля над средиземноморскими маршрутами. В 1522 г. турки заняли Родос, и резиденция Ордена была перенесена на остров Мальта («мальтийские рыцари»). Оспедалетти в XVI веке подвергался турецким набегам и пришел в упадок. В середине XIX века Оспедалетти получил популярность как лечебный курорт, который охотно посещала в том числе российская придворная знать.

225

Островная система «12», входящая в Архипелаг – Патмос, Калимнос, Лерос, Кос, Нисирос, Астипалэя, Тилос, Сими, Халки, Карпатос, Кассос и Родос.

Площадь Чудес (*ит.*), знаменитый пизанский средневековый архитектурный ансамбль.

227

Землю с места Распятия в Пизу в XII в. привезли возвращающиеся корабли победоносных крестоносцев, и епископ города, рассыпав ее на северной части Площади, создал таким образом «Святое Поле».

Да здравствует итальянское Триполи! (*ит.*)

229

Пламенные патриоты (*ит.*).

230

«Суетами» (от *лат.* vanitas – тщеславие, суета) христианское богословие именовало предметы роскоши и развлечений, отвлекающие от духовной работы. Это восходит к ветхозаветному стиху: «Vanitas vanitatum et omnia vanitas» («Суета сует – все суета» (Еккл. 1. 2)). В аллегорических натюрмортах-ванитас XVI–XVII вв. главными атрибутами «сует» были кубки и бокалы, игральные кости, карты, шахматы, курительные трубки, карнавальные маски, зеркала, музыкальные инструменты и ноты, живописные изображения обнаженной натуры, глобус, палитра с кистями, лавровый венок, оружие с доспехами и корона со скипетром. На их фоне изображали песочные часы (быстротечность времени), увядающие цветы (импотенция), гнилые фрукты (старость, болезни) и череп (смерть).

231

Подлинник «Давида» Микеланджело Буонаротти, воздвигнутый в 1504 г. у входа в палаццо Веккьо (Старый Дворец) на площади Синьории, был в 1873 г. помещен во флорентийскую Академию Изящных Искусств. В 1910 году на площади Синьории на том же месте была установлена точная мраморная копия знаменитой скульптуры.

232

Строитель Сан-Марко (на месте уже существовавшего монастыря Ордена сильвестринцев) Козимо Медичи-старший основал в обновленной обители первую в Европе публичную библиотеку, передав в созданное там книжное хранилище собственное собрание, которое затем пополнялось его потомками. После изгнания Медичи из Флоренции в 1492 г. их фамильные книги были описаны за долги, но выкуплены Савонаролой в собственность общины. Савонарола и философ Пико дела Мирандола организовали при библиотеке Сан-Марко т. н. «Академию Марчано», кружок флорентийских книжников-интеллектуалов. Впоследствии библиотека подвергалась разорению, но все-таки выжила как единое собрание.

233

Гвидо ди Пьетро (1400–1455), постригшийся в 18 лет в монахи в монастыре Сан-Доменико во Фьезоле (городок в нескольких милях от Флоренции) под именем *фра Джованни*, вошел в историю мировой живописи под этим прозвищем. Роспись Сан-Марко (1428–1433) – самая известная часть из дошедшего до настоящего времени наследия Беато Анджелико. С 1445 г. художник работал в Риме, где и погребен.

Собрат, побратим (*ит.*).

235

Septimontium (*лат.*) – центральная часть Рима, формировавшегося на шести холмах – Авентине, Виминале, Капитолии, Квиринале, Целии и Эсквилине, – окружавших седьмой холм Палатин, откуда начался город.

236

Легендарные основатели Рима братья Ромул и Рем, младенцами брошенные по приказу царя Амулия в Тибр, были отнесены течением на отмель у подошвы холма Палатин, где их вскормила жившая там в норе волчица. Бронзовое изваяние волчицы было установлено в древнем святилище римлян на Капитолийском холме и стало символом города.

237

«Здесь вместе со своими собратьями Доменико Буонвичини и Сильвестро Маруффи 23 мая 1498 года был несправедливо повешен и сожжен Джироламо Савонарола. После четырех столетий этот мемориал сделан здесь» (*ит.*). Великий итальянский писатель, проповедник и поэт *Джироламо (Иероним) Савонарола* (1452–1498) в 1490 году был приглашен учительствовать во флорентийский монастырь Сан-Марко, а через год был избран настоятелем (приором) этого монастыря. С кафедры Сан-Марко Савонарола открыто выступил против набиравшей силу пропаганды гуманистов, которая, по его убеждению, вела христианскую Европу к идейному, духовному и нравственному тупику. Объектом его постоянной критики был тогдашний лидер флорентийской просвещенной аристократии «великолепный» Лоренцо Медичи, политику которого Савонарола считал самонадеянной и недальновидной, а влияние на молодежь – пагубным и развращающим нравы. Политический кризис 1494 г. и изгнание Медичи из Флоренции полностью оправдали эти прогнозы. Во время паники и безвластия Савонарола встал de facto во главе Флоренции, блестяще провел дипломатические переговоры с французским королем Карлом VIII и избавил город от оккупации. Он сформировал новое республиканское правление, действуя преимущественно в интересах непривилегированных горожан, которым списал все долги и разрешил носить оружие. Огромная популярность Савонаролы и его демократические реформы вызывали ненависть флорентийских аристократов и влиятельных ростовщиков-финансистов. Недавно избранный папа Александр VI, которого Савонарола обличал за распущенность и симонию (торговлю церковными должностями), видя в нем опасного конкурента, предложил приору Сан-Марко на выбор: или место лояльного к папскому престолу кардинала, или отлучение. Савонарола выбрал отлучение, сказав, что венец мученика его привлекает куда больше, чем кардинальская шапка. После многочисленных изощренных интриг римского духовенства и флорентийской знати (начавшаяся чумная эпидемия и неурожай содействовали тому) Савонарола был схвачен и заточен в политическую тюрьму Альбергетто в башне Арнольфо палаццо Веккьо. Там его пытали, добиваясь признания в ереси и злоупотреблениях, но ничего не добившись, казнили (фактически – убили) вместе с двумя его приверженцами из числа монахов Сан-Марко.

238

Один из создателей французского кинематографа, автор первых трюковых фильмов, прославившийся на рубеже XIX–XX вв. картинами на мистические сюжеты («Замок дьявола», «Кабинет Мефистофеля», «Дьявол и статуя», «Дьявольский кэк-уок» и т. п.).

239

Basilica di Santa Giustina – храм в центре Падуи, возведенный в XVI–XVII вв. над местом упокоения святой мученицы Джустины (Иустины) Падуанской (†303 г.). Над интерьерами храма работал выдающийся живописец т. н. «венецианской школы» *Паоло Веронезе* (1528–1588). Известно, что за вольное обращение с религиозными сюжетами Веронезе получил выговор от инквизиции и вынужден был даже переименовать свою «Тайную вечерю» для трапезной монастыря Сан-Джованни э Паоло в «Пир в доме Левия» – из-за чрезмерной жизнерадостности картины.

240

Центральная площадь Падуи, организованная идеальным овалом ирригационного канала, по периметру которого расположены скульптуры знаменитых уроженцев города; считается самой большой площадью Европы.

241

Одна из т. н. «итальянских войн» XVI в. за единоначалие. Камбрейская война велась в 1508–1516 гг. между Венецией и коалицией папы и европейских государей, заключивших союз (лигу) в г. Камбре. Осада (безуспешная) Падуи войсками коалиции стала одной из кульминаций этой войны и героической страницей в историческом прошлом города.

Пьяцетта – ответвление центральной венецианской площади св. Марка (между Дворцом дожей и Библиотекой), на которой расположены два памятных обелиска в честь св. Теодора, изображенного с крокодилом – символом морского могущества города – у ног, и св. евангелиста Марка, которого олицетворяет крылатый лев с книгой в лапах. Пьяцетта выходит на площадь св. Марка напротив Часовой башни с механическими фигурами Гигантов на крыше, которые, отмечая время, бьют в колокол. Вместе с собором св. Марка и каналом св. Марка эти достопримечательности являются традиционными символами Венеции.

243

Венецианская республика Святого Марка (*ит.*), официальное название средневековой Венеции.

244

Анна Ахматова. «Венеция» (1912).

245

Баута, кот, венецианская дама – традиционные маски Венецианского карнавала.

246

Муранское стекло – особый сорт стекла, созданный средневековыми венецианскими мастерами для производства зеркал, украшений и светильников. Мастерские стеклодувов находились на острове Мурано Венецианской лагуны.

«Пламенеющее Сердце» (*лат.*).

248

Пять Углов – район перекрестка Загородного проспекта с Троицкой и Разъезжей улицами и Чернышевым переулком, популярный в деловом мире Петербурга начала XX века.

Нарбуту удалось вынести из типографии около двух десятков книжек, которые он раздал знакомым; помимо того, по редакциям журналов и газет еще до постановления Цензурного комитета о конфискации были разосланы экземпляры рецензентам, так что «крамольная» книга «Цеха поэтов» получила, не появившись в магазинах, большое количество отзывов в прессе.

250

В. И. Нарбут. «Как махнет-махнет – всегда на макогоне…».

251

«Ад» (*ит.*), первая книга «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Есть место в преисподней, Злые Щели,
Сплошь каменное, цвета чугуна,
Как кручи, что вокруг отяготели.

(Данте. «Ад». Песнь XVIII. Перевод М. Л. Лозинского)

253

«Известия книжных магазинов товарищества М. О. Вольф по литературе, наукам и библиографии», авторитетное литературно-критическое и научное периодическое издание.

254

Петербургский меценат-издатель *А. Ф. Смирдин* (1795–1857) был известен щедрыми гонорарами, которыми оплачивал публикации будущих русских классиков – Пушкина, Крылова, Жуковского; его книготорговая фирма сыграла существенную роль в российском просвещении первой половины XIX века.

255

Система убеждений, символ веры (*лат.*, буквально – «Верую»).

256

Имеется в виду поэтический трактат крупнейшего теоретика французского классицизма *Николя Буало-Депрео* (1636–1711) «Искусство поэзии», где излагаются формальные правила для создания образцового художественного текста.

257

Из программного стихотворения раннего В. Я. Брюсова «З.Н. Гиппиус» («Неколебимой истине…», 1901).

258

Альфред Эдмунд Брем (1829–1884) – немецкий зоолог, автор шести томов популярной энциклопедической книги «Жизнь животных».

259

17 (30) июля 1912 г. в г. Невесель (Савойя) у Иванова и Веры Шварсалон родился сын Дмитрий. После отъезда из России Иванов открыто жил с Шварсалон гражданским браком, а 16/29 апреля 1913 г. – обвенчался с ней в той же греческой церкви в Ливорно, где четырнадцать лет назад венчался с ее матерью, Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. О «кровосмешении» в данном случае говорить нельзя, т. к. кровной родственницей Вера Шварсалон Иванову не приходилась. «Тебе же мое намеренье было, и теперь я его осуществляю, рассказать мою интимную жизнь, так как она теперь определилась, – писала В. К. Иванова-Шварсалон брату, вероятно, уже после венчания. – А именно, в двух словах: что так же, как я для него как переданная Мамой, чтобы в извечном смысле представлять ее на земле, и он для меня, по моему убеждению, назначен Мамой и единственный мужчина на свете, с которым я могу быть и давший мне с тех пор, как мы соединились, счастье после годов бесконечной тоски».

260

М. А. Кузмин. «Осенние озера» (1912).

261

В 1911 г. А. Н. Толстой подвергся жестокой общественной травле, организованной Федором Сологубом, который полагал, что Толстой является «показателем той нестерпимой грубости нравов, которая вносится в последнее время в литературную среду все настойчивее». Хотя повод к травле (нечаянная порча маскарадного костюма) был ничтожный, Сологубу удалось нанести существенный и долговременный урон человеческой и творческой репутации Толстого в петербургских литературных кругах. По свидетельству современника, Сологуб «буквально выжил Толстого из Петербурга. Во всех журналах поэт заявил, что не станет работать с Толстым. Если Сологуба приглашали куда-нибудь, он требовал, чтобы туда не был приглашен «этот господин», то есть Толстой. Толстой, тогда еще начинающий, был не в силах бороться с влиятельным писателем и был принужден покинуть Петербург».

262

Барон *Николай Николаевич Врангель* (1880–1915), популярный художественный критик и писатель-искусствовед, был одним из ближайших сотрудников Маковского (в 1911–1912 гг. – официальным соредактором) и фактическим заведующим художественным отделом, который изначально мыслился основным в журнале. Конфликт между «соредакторами» возник отчасти из-за несогласия Маковского с новаторскими театральными идеями в статьях Волконского (близкого друга Врангеля), отчасти из-за жалоб М. К. Ушкова на чрезмерную расточительность Врангеля во время организации выставки «Сто лет французской живописи». В иронической автобиографии, написанной в конце 1912 г., после ухода из «Аполлона», Н. Н. Врангель писал: «Из художественных деятелей был особенно дружен с Брешко-Брешковским (который прозвал его «вандал с моноклем») и с Брешко-Маковским. С последним редактировал «Аполлон» и пустил по миру московского миллионера М. К. Ушкова».

263

В 1912 г. В. И. Гедройц защитила в Московском университете диссертацию «Отдельные результаты операций паховых грыж по способу профессора Ру на основании 268 операций», получив ученую степень доктора медицинских наук.

264

Из рукописной сатиры *Ш<рейдера?>* «Порой случается на свете…» (1915), ходившей среди персонала Дворцового лазарета. *М. Н. Шрейдер* (1854–?) – врач, один из придворных лейб-медиков.

265

В античном мире легенда о блаженной стране «за Севером» (υπερβορεία), т. е. за Рифейскими (Кавказскими) горами, на которых обитал бог северного ветра Борей, воспринималась как достоверный факт. «Страна эта, – писал римский историк Плиний Старший, – находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса; все они, без исключения, являются жрецами и служат богам; там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью». Согласно античным мифам, бог Аполлон часто появляется среди своего народа на колеснице, запряженной лебедями, и учит гиперборейцев музыке, философии и поэзии.

Сергей Гедройц [В.И. Гедройц]. «Гумилеву» (1925).

267

Яков Петрович Полонский (1819–1898) и *Алексей Николаевич Апухтин* (1840–1893) – выдающиеся русские лирики второй половины XIX века; в глазах писателей-модернистов – выразители «поэтического безвременья», предшествовавшего «серебряному веку».

Сергей Гедройц [В. И. Гедройц]. «Брату».

269

Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874–1952) – писательница, переводчик, стихотворения которой были популярны в консервативной читательской среде рубежа XIX – XX вв. *Клевер Юлий Юльевич* (1850–1924) – художник-пейзажист салонно-академического толка. Следует отметить, что Г. В. Иванов преувеличивает возраст «неофитки»: в момент вступления в «Цех поэтов» В. И. Гедройц (1876–1932) было всего 36 полных лет, хотя, действительно, судя по воспоминаниям современников, в Царском Селе все ее считали женщиной «в годах».

Ф.-Т. Маринетти. Технический манифест футуристической литературы (1912). Слово *«футуризм»* было производным от futurum (будущее, *лат.*).

271

Грааль Арельский. «Berceuse» [«Колыбельная песня», *англ*.] (1911).

Иван Игнатьев. «Ассоид» (1912–1913).

Каза (кадылык) – административная единица в Османской Империи, отчасти соответствующая российскому уезду.

27 4

Марина Цветаева. «Имя ребенка – Лев…» (1916). В 1974 г. *Лев Николаевич Гумилев* (1912–1992) завершил работу над монографией «Этногенез и биосфера Земли», которая обессмертила его имя в ряду имен величайших российских ученых XX столетия. Этому предшествовали десятилетия травли, три ареста и одиннадцать лет пребывания в каторжных работах по надуманным обвинениям в «антисоветской деятельности». В 1944–1945 гг. сын Гумилева и Ахматовой добровольцем ушел на фронт, завершил Великую Отечественную войну в Берлине.

275

Илья Александрович Шляпкин (1858–1918) – историк русской литературы, археограф и палеограф, с 1907 г. ординарный профессор Петербургского университета и член-корреспондент Императорской Академии наук. И. А. Шляпкин издал ряд памятников старинной русской литературы, первое академическое собрание сочинений А. С. Грибоедова (1889) и том «Из неизданных бумаг А. С. Пушкина» (1903).

276

Иван (Ян) Александрович Бодуэ́н де Куртенэ́ (1845–1929) – польский и русский языковед, один из создателей современной лингвистики (экспериментальная фонетика, математическая лингвистика и др.), с 1897 г. член-корреспондент Императорской Академии наук, с 1900 г. профессор Петербургского университета.

277

Сергей Федорович Платонов (1860–1933) – историк, один из ученых наставников детей царствующей фамилии, в 1900–1905 гг. декан историко-филологического факультета (в 1912 г. получил звание заслуженного профессора), член-корреспондент Императорской Академии наук с 1909 г. Автор фундаментальной монографии «Очерки по истории смуты в Московском государстве XVII–XVII вв.» (1899).

278

Александр Иванович Введенский (1856–1925) – философ и психолог, крупнейший представитель русского неокантианства, с 1890 г. возглавлял кафедру философии в Петербургском университете, в 1898–1917 гг. являлся бессменным председателем петербургского Философского общества.

Д.К.П. [Д.К. Петров]. «Подражание зырянской песне». Свои «Элегии и песни», вышедшие в 1911 г., Петров торжественно дарил особо отличившимся ученикам; сохранились свидетельства, что из почтения к учителю те оставляли книгу неразрезанной. Следует, впрочем, сказать, что странные, нарочито неумелые стихи Петрова часто напоминают иронические философские стихотворения Владимира Соловьева, написанные в той же манере.

280

Из романо-германского семинара под руководством выдающегося педагога *Д. К. Петрова* (1872–1925) вышла целая плеяда ученых, определявших ход отечественной филологической мысли XX века (В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум, К. В. Мочульский, Д. И. Выгодский и др.). Сам Д. К. Петров был учеником академика А. Н. Веселовского, несколько лет стажировался во Франции и Испании (его основные труды посвящены испанистике, в частности – испанской комедии). В 1922 г. Д. К. Петров стал членом-корреспондентом Российской Академии наук.

281

Уча, учимся сами (*лат.*).

В реальности речь шла об особом кружке по изучению старофранцузской поэзии, которую Гумилев считал близкой к акмеизму из-за обилия сложных стихотворных форм, требующих от автора изощренного словесного мастерства. В октябре – ноябре 1912 г. участники романо-германского семинара безуспешно пытались привлечь руководить занятиями «кружка по изучению поэтов» профессора кафедры классической филологии И. И. Толстого и декана Ф. А. Брауна – оба сослались на недостаток времени и предложение студентов отклонили. Вас. В. Гиппиус впоследствии вспоминал, что кружок все-таки возник, но «по разным причинам очень быстро перестал существовать». Возможно, единственным его заседанием стал доклад Гумилева «О Франсуа Виллоне, Теофиле Готье и их отношении к современной литературе», состоявшийся 5 декабря 1912 г. и вызвавший бурную дискуссию. Известно, что после Ф. Вийона Гумилев хотел посвятить следующие заседания другим старофранцузским поэтам – Кристине Пизанской, Рютбефу, Франсуа Малербу, Клеману Маро, Жоашену Дю Белле, Пьеру Ронсару.

283

Константин Васильевич Мочульский (1892–1948) после завершения курса был оставлен при университете; после революции эмигрировал, преподавал русскую литературу в Софийском и Парижском университетах. Ему принадлежат ставшие хрестоматийными очерки творческого пути Владимира Соловьева, Александра Блока, Андрея Белого и Валерия Брюсова. Книга Мочульского «Достоевский», переведенная на европейские языки, сыграла видную роль в западной славистике XX века.

284

Младший брат М. Л. Лозинского *Григорий Леонидович Лозинский* (1889–1942) был активным участником романо-германского семинара; в отличие от брата, его привлекала не творческая, а ученая карьера (завершив курс, он стал приват-доцентом университета по кафедре западноевропейских литератур), стихов он не писал и на собраниях «Цеха поэтов» бывал в качестве «гостя».

285

Константин Андреевич Вогак (1887–1938) был принят в «Цех поэтов», однако в литературе «серебряного века» его имя осталось малозаметным. Впоследствии он сотрудничал в столичных газетах и журналах, входил в ближнее окружение Мейерхольда; после революции участвовал в «белом» движении, оказался в эмиграции, читал во Франции лекции по древнерусской литературе.

286

Будущий создатель «формализма» в советском литературоведении – *Борис Михайлович Эйхенбаум* (1886–1959) в 1912 г. завершил университетский курс, но поддерживал связь с участниками романо-германского семинара. В пятой книжке «Гиперборея» (февраль 1913) появились два его стихотворения; впоследствии Б. М. Эйхенбаум неоднократно обращался в своей критике и исследованиях к творчеству акмеистов.

287

Район побережья Малой Невы напротив Васильевского острова; дом, где жила осенью 1912 года чета Лозинских, находился на перекрестке Волхова переулка с василеостровской Тучковой набережной, в двух-трех минутах ходьбы от историко-филологического факультета.

288

Василий Гиппиус. «По пятницам в «Гиперборее»…» (1912).

289

Автором велеречивого послания был поэт *Александр Иванович Тиняков* (псевд. Одинокий, 1886–1934), прославившийся лирическим откровением: «Я до конца презираю / Истину, совесть и честь, / Только всего и желаю, / Бражничать блудно да есть». Тиняков-Одинокий был очень талантлив, и Гумилев написал положительную рецензию на его книгу «Navis nigra» («Черный корабль», *лат.*), но тесно сходиться с ним поостерегся: льстец считался приближенным Бориса Садовского, того самого, который отказывал автору «Чужого неба» в праве называться поэтом.

В совокупности (*лат.*).

291

На руинах «Академии» в конце 1912 г. возникла «Ассоциация Эго-Футуризма», к которой Игорь-Северянин непосредственного отношения не имел. Ее возглавил Иван Игнатьев (Казанский), владелец «Петербургского глашатая». О своей поездке в Царское Село Северянин вспоминал впоследствии и в стихах («Я Гумилеву отдавал визит, / Когда он жил с Ахматовою в Царском…») и в прозе: «Вводить же меня, самостоятельного и независимого, властного и непреклонного, в «Цех», где коверкались жалкие посредности, согласен, было, действительно, нелепостью, и приглашением меня в «Цех» Гумилев положительно оскорбил меня. Гумилев был большим поэтом, но ничто не давало ему право брать меня в свои ученики».

292

Ареопаг – совещательный орган власти в Древней Греции, совет старейшин с правом окончательного приговора.

293

Н. А. Клюев. «Лесная быль».

П. А. Радимов. «Весна».

295

С. М. Городецкий. «Лазарь» (1912).

296

Решительная расправа стран Балканского союза с ослабевшей Турцией осенью – зимой 1912 г. нарушала гармонию сложившегося европейского «концерта». Австро-Венгрия, аннексировавшая у султана пограничные с Сербией земли Боснии и Герцеговины еще в 1908 году, подтянула сюда дополнительные войска, а напуганная славянским напором Великобритания, несмотря на «антанту» с Россией, поспешила заявить о своем «нейтралитете». Это вызвало взрыв возмущения в патриотической печати: газеты утверждали (справедливо!), что Российская Империя от противоестественного союза с парламентской Англией и республиканской Францией не имеет ни малейшей выгоды и, учитывая сильные прогерманские настроения, ей куда полезнее было бы вступить в Европе *«в другую комбинацию»*. В настоящее время история «Первой Балканской войны» трактуется как пролог к Первой мировой войне.

С. М. Городецкий. «Фра Беато Анджелико» (1912).

Этот деревянный театр сгорел; в настоящее время на его месте находится здание петербургской школы № 225.

299

Хасинто Бенавенте-и-Мартинес (1866–1954) – испанский драматург, руководитель Художественного театра в Мадриде; лауреат Нобелевской премии (1922).

300

Сергей Константинович Шварсалон (1887 – после 1917) – старший брат Веры Шварсалон, пасынок Вячеслава Иванова; в 1912 г., завершив Юрьевский (Дерптский) университет, поступил чиновником в Правительствующий Сенат. «Что касается до вопроса о Кузмине, – писала ему В. К. Иванова-Шварсалон, – то я могу тебе только сказать «спасибо» за то, что ты защитил мою честь и рисковал для этого своей жизнью. <…> Скажу только, что для меня Кузмин не мужчина, а баба последней подлости и низости, но баба, к которой я относилась как к другу и больше чем <к> другу, но которая, предав меня, кроме того заведомой ложью осложнила предательство».

301

Быт. 32. 26. Имеется в виду история ветхозаветного праотца Иакова, который так страстно желал воссоединиться с Богом, что вступил в схватку с Ним, чтобы силой заставить Его благословить себя и свое потомство: «И сказал <Бог>: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль [Избранник Божий], ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь. <…> И благословил его там» (Быт. 32. 28–29).

302

Имеется в виду история сумасшествия поэта *Константина Николаевича Батюшкова* (1787–1855), одного из духовных предтеч русского символизма. «Он не мог также переносить вопроса «Который час?» – писал врач Антон Дитрих. – «Что такое часы», – спрашивал он и сам отвечал на это: «Вечность».

303

Буквально – «союз трех мужей» (*лат.*); форма политического или общественного соглашения для борьбы за власть или влияние, ведущая начало от эпохи гражданских войн в Древнем Риме.

304

«Коллегия императора Александра II для студентов Санкт-Петербургского университета, учрежденная С. С. Поляковым» в Глухом (Филологическом) переулке была первым в России бесплатным студенческим общежитием. Здание на 100–150 проживающих со столовой и бытовыми помещениями было построено по проекту Л. Н. Бенуа и открыто в 1882 г. Ежегодно из императорского фонда выделялось для оплаты проживания в общежитии 100 стипендий по 300 рублей; помимо того существовал отдельный «жилищный фонд» промышленника-мецената Полякова, который финансировал и строительство. В Александровской коллегии селились особо одаренные учащиеся. В разное время ее насельниками были А. Ф. Керенский, академики-востоковеды И. Ю. Крачковский и В. М. Алексеев и др.

305

Вероятно, шапочное знакомство Гумилева и Шилейко состоялось годом ранее во время неких общедоступных «лекций по классической филологии», которые Кабинет (именующийся официально «Музеем древностей Петербургского университета») проводил весной 1911 г. Неоднократно высказывались предположения, что образ Шилейко отразился в пародийном «египтологе», выведенном в одноактной пьесе-шутке Гумилева «Дон Жуан в Египте», вошедшей в «Чужое небо» и даже прошедшей (без особого успеха) в сезон 1911/12 гг. на сцене Троицкого театра миниатюр.

306

Миф о *Про́кне*, фракийской царице, превратившейся в соловья, изложен в сочинениях античных классиков (Гесиод, Овидий и др.).

307

Шумеры – народ, обитавший в Междуречье за четыре тысячи лет до Р.Х., изобретатели колеса и письменности (клинопись). В. К. Шилейко стоял у истоков отечественной шумерологии. То, что его непосредственный университетский наставник П. К. Коковцев никакого шумерского языка не признавал, объявив клинопись тайным шифром вавилонских жрецов, Шилейко не смущало: он вел переписку с французскими специалистами по клинописи, направлявшими его разыскания.

308

Включить в состав без проведения выборов.

309

Василий Гиппиус. «По пятницам в «Гиперборее»…» (1912).

310

Вид английского шейного платка, вошедшего в моду вместе с сюртуком в конце XIX века.

311

Д. Д. Бурлюк. «ПЛАТИ – покинем НАВСЕГДА уюты сладострастья…»

«Звезда Севильи» (*исп.*), трагедия Лопе де Вега (1623).

Мансанилья – сухой испанский херес.

Пивная (*нем.*).

315

Положение обязывает! (*фр*.).

Максимальный градус (*лат.*).

317

Одна бутылка пива, вторая бутылки пива, третья бутылка пива… (*нем.*)

318

Церемониальное приветствие (буквально – «Хвала!», *фр.*), одобрение художников, артистов, музыкантов.

319

Анна Ахматова. «В ремешках пенал и книги были…»

320

Василий Гиппиус. «По пятницам в «Гиперборее»…» (1912).

321

Острота, афоризм, яркое словечко (от *фр.* bon mot).

322

«Акмеисты, адамисты… когда я в первый раз услышал эти непонятные слова, то моих филологических познаний хватило только на догадку, что в основе акмеизма лежит слово греческого происхождения и что адамисты, вероятно, производят себя специально от Адама. Что бишь это такое? Оно напоминает не то название одной из ересей первых веков христианства, не то медицинский термин, служащий для обозначения какой-нибудь душевной болезни или какого-нибудь из многочисленных видов полового извращения. И в самом деле, была такая секта – адамиты, о которой христианские писатели IV в. рассказывают невероятные гадости. Адамиты чтили Иисуса Христа как «второго Адама», – а так как праотец Адам ходил в раю голый и праматерь Ева также, то адамиты собирались на свои религиозные радения в райском виде и предавались действиям, которые неудобно передавать на современном языке и в которых, точно, религиозное изуверство смешивалось с явным безумием и всевозможными извращениями чувственности. Была ли это правда или только благочестивая клевета на адамитов, повод к которой заключался в самом их райском виде? Или, может быть, все эти россказни только миф, порожденный одними только именами адамитов? Во всяком случае, выбор этого имени – или очень близкого к нему – в настоящее время свидетельствует о слабом знакомстве с его историей, – ибо вряд ли кто-нибудь пожелал бы ассоциировать с собою те воспоминания, которые связаны с адамитами» (*Левин Д. А.* Наброски // Речь. 1913. 26 февраля (№ 55). С. 2).

323

Арест тиража № 4 журнала «Гиперборей» длился несколько месяцев – до суда, который ничего предосудительного в «Волшебнице» не усмотрел. Предприимчивый Лозинский, получив осенью 1913 г. на руки реабилитированные книжки из типографии, даже сделал из скандальной истории «рекламный повод». «Дорогой Василий Васильевич, – писал он Вас. Гиппиусу, – с удовольствием делюсь с тобою сведениями, только что полученными мною в суде. Дело о № 4 «Гиперборея» прекращено, и арест с него снят еще 1 мая. Теперь необходимо этот № пустить скорее в продажу. Радея о пользах журнала, я очень хотел бы снабдить экземпляры № 4 полоской с надписью «Арест снят». Это полезно не для одного только № 4, а и для всех остальных, бывших и будущих. Это принесет журналу и славу и деньги, которые ему нужны до зарезу. Рекламы авторской – в этом нет никакой. Это всегда дело торгаша-издателя. К тому же имя автора на обложке не стоит. Соблазнительная слава падет всецело на журнал…».

Н. Я. Агнивцев. «Двухнедельные пророки».

Очевидно, Лозинский оформил «Акме» как «дочернее предприятие» при издательстве «Цех поэтов» (точных сведений об этом нет).

326

«Вчера тебе отправлен комплект «Гиперборея», – писал Городецкий Вяч. Иванову 19 апреля 1913 г. – Ты теперь можешь сам видеть, что это журнал внепартийный. № 8 будет посвящен символистам. Хочу собрать всех. Но без тебя они будут, что Сицилия без Этны, поэтому очень прошу тебя прислать мне поскорее-поскорее свои стихи». В тот же день Городецкий обратился с подобной же просьбой к Брюсову. Но создать «символистский» номер «Гиперборея» не удалось. Из-за ареста январской (четвертой) книжки журнала в работе издателей возникли перебои, и, выпустив в марте № 6 (со стихами Гарднера, Гедройц, Гумилева, Лозинского, Нарбута, Радимова и Судейкина), Лозинский сумел возобновить издание только осенью. Никто из символистов за это время на приглашения к сотрудничеству не откликнулся.

327

Вадим Данилович Гарднер (1880–1956) – русский поэт и общественный деятель, сын писательницы Е. И. Дыховой и американского инженера Д-Т. Гарднера. Учился на юриста в Петербурге и Дерпте (Тарту), в 1908 г. дебютировал сборником «Стихотворений», а в 1912 г. издал книгу стихов «От жизни к жизни», положительно оцененную Гумилевым. В № 5 «Гиперборея» появились три его стихотворения. Склонный к религиозно-философским темам в поэтическом творчестве, Гарднер в 1900–1910-е гг. был участником собраний на «башне» и входил в круг революционера и мистика Д. В. Страндена, сотрудника альманаха «Вопросы теософии».

328

Владимир Александрович Юнгер (Юнгерн, 1883–1918) – юрист, педагог, литератор; университетский приятель Городецкого и Д. В. Кузьмина-Караваева. Он был знатоком «Калевалы», изучал финский язык и работал над собственным переводом великого эпоса. Воспоминания современников рисуют Юнгера блестящим дилетантом – помимо литературного дара он прекрасно музицировал, с успехом участвовал в любительских спектаклях, был талантливым рисовальщиком. В последние годы жизни Юнгер, ставший жертвой эпидемии «испанки» (легочного гриппа), выступал в «красном Петрограде» с популярными лекциями о символизме и акмеизме. Себя Юнгер причислял к акмеистам, хотя в работе «Цеха поэтов» активного участия не принимал.

329

Нина Павловна Рудникова-Икскуль (1890–1940) – мистическая писательница, вышедшая из кружка последователей влиятельного петербургского эзотерика профессора Г. О. Мебеса, математика и сподвижника Папюса. Учеником Мебеса был и ее первый муж Г. А. Елачич. В 1915 г. Рудникова и Елачич издали поэтический сборник «Люцифер и Антихрист» (1915); ранее она публиковала стихи на «египетские» темы в газете «Новое слово». В 1918 г. Н. П. Рудникова бежала из Петрограда, жила в Эстонии, читала лекции о Великих Арканах Таро, которым посвящено ее монографическое исследование, сотрудничала в эмигрантском альманахе «Оккультизм и Иога». По мнению некоторых мемуаристов и историков, Рудникова обладала экстрасенсорными способностями и была связана с разведывательными службами. С точки зрения литературно-художественной, ее творчество видится малоценным, и вступление в 1913 г. в «Цех поэтов», по всей вероятности, – случайный биографический эпизод.

330

Борис Михайлович Зубакин (1894–1938, репрессирован) – историк, педагог, писатель. Еще учеником 12-й петербургской гимназии Зубакин организовал масонскую ложу «Lux astralis» («Свет звезд») и с этого времени был деятельным участником розенкрейцерских обществ Петербурга. Входил в круг Г. О. Мебеса, у которого слушал лекции по математике. В Петербурге, Киеве и Кенигсберге Зубакин изучал средневековую философию, мифологию и археологию; в 1920-е годы преподавал в Московском археологическом институте, состоял в Союзе писателей. Как «участник и организатор мистических кружков, каббалист и чернокнижник» Зубакин в СССР неоднократно арестовывался, подвергался ссылке и был в конце концов расстрелян в Бутово за связь с «фашистской ложей розенкрейцеров» (!!). В автобиографии Зубакин сообщает: «Был при основании «Цеха поэтов» с поэтами С. Городецким, Н. Гумилевым, Б. Верхоустинским, А. Ахматовой и др.». Сведений о его участии в деятельности «Цеха» на настоящий момент не обнаружено.

331

Сергей Эрнестович Радлов (1892–1958) в то время был студентом историко-филологического факультета, учеником профессора Ф. Ф. Зелинского, под руководством которого изучал античный театр. В университете Радлов увлекался поэтическим творчеством, выступал в «Обществе ревнителей художественного слова» и публиковал стихи в периодике, однако в середине 1910-х годов отошел и от филологии, и от литературы, обратившись к театральной режиссуре. В историю он вошел как выдающийся революционный режиссер-новатор и создатель Молодого театра в Ленинграде (ныне Театр им. Ленсовета). Активное участие его в работе «Цеха поэтов» ограничивается несколькими месяцами 1913 года.

332

Всеволод Валерианович Курдюмов (1892–1956) изучал философию в Петербургском и Мюнхенском университетах и был увлечен символизмом, который воспринимал преимущественно с декоративно-экзотической стороны. Гумилев иронизировал, что эффектные стихи Курдюмова «как бы созданы для декламирования с провинциальной эстрады».

333

Алексей Дмитриевич Скалдин (1889–1943, репрессирован), более известный в наши дни как автор мистической прозы, издал в конце 1912 г. сборник «Стихотворений», который был раскритикован Гумилевым в «Аполлоне» («А. Скалдин в своих стихах – двойник Вячеслава Иванова, бедный, захудалый двойник»). В личных беседах со Скалдиным Гумилев советовал дебютанту «писать вещи фундаментальные»: «Содержание для большой вещи, т. е. замысел, требует <у Вас> вместилищ большого объема, а объем постоянно маленький». О вступлении Скалдина в «Цех поэтов» в 1912–1913 гг. настойчиво хлопотал его друг Георгий Иванов. Сам же Скалдин чрезвычайно скептически относился к акмеизму. «Как склеить Нарбута с Ахматовой?» – писал он в одном из писем.

334

По свидетельству В. А. Пяста, Городецкий всегда считал талантливого филолога-литературоведа *Николая Владимировича Недоброво* (1882–1919) ученым схоластом и еще в 1905 г. протестовал против включения его в студенческий литературный «Кружок молодых»: «Недоброво нам в кружке не нужен. Он производит впечатление, что вот-вот начнет собирать табакерки и будет говорить только о художественных качествах уников из своего собрания, и ничем во всем мире не интересоваться. В тридцать лет будет сюсюкающим стариком».

335

Евгений Григорьевич Лисенков (1885–1954) – писатель, публицист, историк искусства, впоследствии – заведующий отделом гравюр и графики Эрмитажа.

336

Рейнгольд фон Вальтер (1882–1965) – педагог, чиновник, литератор, сын пастора лютеранской церкви св. Екатерины в Петербурге. Переводил на немецкий язык произведения Пушкина, Гоголя, Достоевского, Гончарова, Брюсова, Блока. В его переводе в 1925–1926 гг. в Берлине была издана четырехтомная «История России» В. О. Ключевского.

337

Ежемесячный литературный и общественно-политический «Новый журнал для всех» был создан в 1908 г. Н. А. Берштейном при участии В. А. Поссе как либерально-народническое издание. Весь 1912 г. журнал переживал организационные и финансовые трудности, несколько раз поменял издателей и редакторов. № 3 «Нового журнала для всех» за 1913 г. не увидел свет, а с № 4 (апрельского) его редактором-издателем стал В. И. Нарбут.

338

Амхарские живописные примитивы, приобретенные Гумилевым во время путешествия 1910–1911 гг. в Адис-Абебе, выставлялись вместе с охотничьими трофеями в гостиной «Аполлона». Об этой камерной выставке появилась заметка в «Синем журнале» (1911. № 18), который воспроизвел на своих страницах несколько экзотических картин с краткими пояснениями. По всей вероятности, выставка в «Аполлоне» прошла мимо внимания *Б. А. Тураева* (1868–1920), поскольку как раз в это время он, получив ординарного профессора в петербургском университете, принимал место хранителя Музея изящных искусств в Москве. Между тем агиологические источники (священные предания и легенды) истории Эфиопии были предметом диссертации Тураева; он был автором фундаментальной статьи об Абиссинии в энциклопедии Брокгауза и Эфрона. Возможно, на статью в «Синем журнале» внимание профессора обратил В. К. Шилейко-Тураев, читавший в университете лекции по древневосточной истории, преподавал Шилейко древнеегипетский язык.

339

Профессор кафедры греческой словесности *Сергей Александрович Жебелев* (1867–1941) был ученым секретарем (затем – деканом) историко-филологического факультета Петербургского университета и заведовал Кабинетом Древностей.

Л.Я. Штернберг (1861–1927), который непосредственно курировал подготовку экспедиции Гумилева от Академии Наук, нашел свое призвание во время политической ссылки на Сахалин, куда попал студентом-юристом. Там он увлекся исследованиями языка и быта сахалинских и амурских гиляков, айнов и различных тунгусо-маньчжурских племен настолько, что полностью переменил род деятельности. Возвратившись из ссылки, он поступил в петербургский Музей этнографии и вскоре стал одним из ведущих специалистов; в 1924 г. Л. Я. Штернберг был избран членом-корреспондентом АН СССР по отделу палеоазиатских народов.

341

Можно предположить, что с академиком *Д.Н. Анучиным* (1843–1923) Гумилев обсуждал какие-то проекты экспериментальных исследований, оставшиеся в ходе экспедиции неосуществленными. Помимо пресловутого красного волка в записях Гумилева упоминается африканская кошениль (подотряд равнокрылых насекомых, которые используются в текстильной промышленности для получения красящего вещества кармин). Проект экспорта кошенили из Африки в России существовал в Академии Наук со времен исследований академика А. О. Ковалевского, доказывавшего в 1870-х гг. качественное преимущество северо-африканской кошенили перед польской и армянской.

342

Движение ирредентизма (от irredento – «неосвобожденный» (*итал.*)) зародилось в конце XIX в. в Италии, претендовавшей на пограничные земли Австро-Венгерской Империи с италоязычным населением. Позднее ирредентизм перекинулся на Балканы, где Сербия, Болгария и Греция претендовали на этническое воссоединение с населением Македонии, Фракии и Албании, которые находились тогда в составе Османской Империи.

С момента начала боевых действий (в октябре 1912 года) Турция потерпела поражение от объединенных сил Сербии и Черногории в битве под Кумановом и от болгарской армии под Лозенградом. Греки заняли порт Салоники и вошли на земли Эпира, осадив Янину, а черногорцы осадили Скутари (Шкодер). В ноябре 1912 г. объединенные силы Балканского союза осадили Адрианополь и вышли на Чаталджинскую укрепленную линию турок, тянущуюся от Черного до Мраморного моря в 45 километрах от Стамбула. Затем до февраля 1913 года Балканская война приобрела позиционный характер. После провала мирных переговоров в Лондоне боевые действия вновь активизировались.13 (26) марта 1913 г. пал Адрианополь, а 10 (23) апреля – капитулировал гарнизон Скутари. Это означало окончательное поражение Турции, которая вынуждена была отдать под контроль Балканского союза все свои европейские владения.

344

В 1930 году Тафари Макконен (1892–1975), получивший к этому времени княжеский титул, взойдет на императорский трон под именем Хайле-Селассио I. Он станет последним эфиопским императором-соломонидом, процарствовав до 1974 г.

345

Чарльз Фердинанд Рей (Rey) (1877–1968) – английский ориенталист, исследователь Северо-Восточной Африки, автор нескольких книг об Абиссинии.

346

О. Н. Высотская порвала с театральной карьерой и не поддерживала былых знакомств. Петербург она покинула беременной. 26 октября 1913 года у нее родился сын Орест. О его рождении Гумилев, по всей вероятности, не подозревал. В 1914 г. Ольга Николаевна уехала из Москвы в Пятигорск, затем жила под Курском, в имении матери. В 1930 году ее «раскулачили», и она перебралась с сыном Орестом к своему дяде в г. Вязники (Владимирская область). О своем происхождении Орест Николаевич Высотский узнал от матери только в 1937 году, двадцати четырех лет от роду. В этот же год Высотская привезла сына в Ленинград и познакомила его с Ахматовой и Л. Н. Гумилевым.

347

О причитающемся по закону вознаграждении за поступившие в Музей этнографии экспонаты Академия Наук «позабыла». В начале следующего года Гумилев был вынужден напомнить об этом особым письмом: «По командировке Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого мною приобретены среди племен Сомали, Харрари и Галла этнографические коллекции и сделаны фотографические снимки, за которые следует получить 400 (четыреста) рублей. 8 января 1914 г. *Н. Гумилев*».

Это обвинение в политической злонамеренности являлось надуманным. Сам Гарязин писал, что покупка «Нового журнала для всех» за… 600 рублей оказалась для него «совершенной неожиданностью» и обвинял предшественника в непомерных амбициях и полном неумении распоряжаться финансами. По всей вероятности, Гарязин появился в поле зрения Нарбута не как «черносотенец», а как покровитель православных монахов-«имяславцев», изгнанных в 1913 г. из Афонского монастыря за ересь. Духовным лидером «имяславцев» был иеросхимонах Антоний, известный в миру как лейб-гусар Александр Ксаверьевич Булатович, исследователь Абиссинии и сосед Нарбута по глуховскому имению. Успешный промышленник Гарязин принимал большое участие в судьбе Антония-Булатовича, который жил у него в Петербурге. В истории акмеизма эта коллизия до конца не прояснена, хотя интерес к «имяславцам» отразился в стихотворении Осипа Мандельштама «И поныне на Афоне…» (1915) и, вероятно, во второй редакции гумилевских «Пятистопных ямбов» (1915). Что же касается Нарбута, то за «черносотенство» он был подвергнут в петербургских литературных кругах общественному остракизму и, в конце концов, в начале 1914 года уехал к себе в Нарбутовку, где стал сотрудничать в газете «Глуховский вестник».

349

Гедройц Сергей [В.И. Гедройц]. Вег (1910–1913). СПб.: Цех поэтов, 1913; *Грааль Арельский [С.С. Петров]*. Летейский брег: Стихи (1910–1913). СПб.: Цех поэтов, 1913.

В русском стиле (*фр.*).

351

Моя месть будет ужасна! (*фр*.) Бухарестский мирный договор был подписан побежденной Болгарией 10 (23) августа 1913 года; с этого момента во всех военно-политических конфликтах XX столетия Болгария принципиально выступала на стороне, противоположной другим участникам «Балканского союза». Выдающийся английский дипломат Дж. Бьюкенен так оценил «вторую Балканскую войну»: «Болгария была ответственна за открытие враждебных действий, но Греция и Сербия вполне заслужили обвинение в преднамеренной провокации».

Суд присяжных, оправдав Бейлиса, признал в то же время сам факт ритуального убийства. Злодеяние было, действительно, совершено экзотическим способом: 47 колотых ран в разные органы с видимой целью полностью обескровить еще живую жертву. Позднейшие историки склонялись к мнению, что убийство совершили уголовники, устраняя свидетеля готовящегося преступления (ограбления собора), а специфические ранения были нанесены, чтобы направить киевскую полицию по ложному следу. Следует отметить, что «дело Бейлиса» уже на ранних этапах следствия было использовано влиятельными антисемитами как аргумент против проводимой Столыпиным линии на отмену «черты оседлости», и с этого момента политические интриги возобладали над правовыми методами расследования этого громкого преступления.

353

Роковая женщина (*фр.*).

354

Спортивно-хореографическая система швейцарского композитора и педагога Э. Жак-Далькроза (1865–1950) явилась прообразом современной ритмической гимнастики и включала воспитательные элементы, которые широко востребовались в начале XX века педагогами-новаторами в Европе и России.

Сборник В. Юнгера (Юнгерна) оказался завершающим в деятельности издательства «первого» «Цеха поэтов».

356

С. М. Городецкий. «Просторен мир и многозвучен…» (1913).

357

Наедине, с глазу на глаз (*фр*.).

358

Согласно законам Российской Империи, сторона, виновная в разводе, лишалась права на детей и получала церковное прещение (временное или «вечное») на вступление в новый брак.

359

В Латвии семейству Фрейганг принадлежало имение Крыжуты под городом Люцин (Лудза), однако Гумилев в связи с этой поездкой упоминал приморскую курортную Либаву (Лиепаю), находящуюся в 500 километрах от Крыжут.

360

Сохранилась открытка, отправленная Гумилевым 17 июля 1914 г. из Петербурга Ахматовой в Слепнево. «Милая Анечка, – писал он, – может быть, приеду одновременно с этим письмом, может быть, на день позже. Телеграфирую, когда высылать лошадей…»

361

Мнения биографов о том, где и когда Гумилев встретил известие о начале Великой войны (вечер 19 июля [1 августа] 1914 года), расходятся. Возможно, что он (как и писал накануне Ахматовой), 18 июля добрался до Слепнево, а на следующий день, узнав о случившемся, вновь отправился в Петербург: путь от станции Подобино до столицы занимал около 8 часов. Но железнодорожное сообщение столицы со страной в эти дни было частично парализовано из-за объявленной мобилизации, так что Гумилева вполне могла остановить неразбериха, царящая на вокзалах. Свидетельство Ахматовой об обстоятельствах первых часов войны (помеченное в «Записных книжках» 1-м августа 1965 г.) очень неопределенно: «51 год тому назад началась та война – как помню тот день (в Слепневе) – утром еще спокойные стихи про другое («От счастья я не исцеляю»), а вечером вся жизнь – вдребезги. Недоумевающий Лева повторял: «Баба Аня – пачет, мама – пачет, тетя Хуха – пачет». И завыли бабы по деревне. Это один из главных дней». В съемной студенческой квартире В. К. Шилейко (5-я линия Васильевского острова, д. 10) Гумилев остановился сразу по прибытии в Петербург из Териоков 17 июля 1914 г.

362

Сретенье – буквально «встреча» (церковнослав.). В данном случае имеется в виду торжественная встреча, призванная продемонстрировать народное единение и поддержку (по аналогии с православным праздником Сретенья Господня, Богоявления).

363

Анна Ахматова. «Тот август, как желтое пламя…»

364

Вольноопределяющийся Н. Л. Сверчков в ходе обучения был признан негодным к кавалерийской службе по состоянию здоровья и отчислен медицинской комиссией с направлением в пехоту.

365

Забавно и в то же время величественно! (*фр.*)

366

В. А. Комаровский умер в припадке помешательства 8 сентября 1914 г., в дни отбытия Гумилева из Царского Села в армию. При жизни Комаровского вышла единственная книга его стихов «Первая пристань» (1913), которую Гумилев в «аполлоновской» рецензии признал собранием «стихов мастера». «… Именно в кружке Гумилева, – писал в некрологической статье литературный критик Д. П. Святополк-Мирский, – только и сумели хоть немножко оценить Комаровского. Но Гумилев, вождь и учитель, имел неискоренимую потребность всех рассаживать по полочкам, и для Комаровского никакой полочки не прибрать было. Помню, как Комаровский мне рассказывал, как Гумилев приставал к нему: «Да чьей же, наконец, школе Вы принадлежите – к моей или Бунина?»

Несмотря на то что в современной западной историографии германская оккупация Бельгии получила название «Изнасилование Бельгии» (The Rape of Belgium), многочисленные факты «немецких зверств», о которых писали в августе – сентябре 1914 г. периодические издания стран Антанты, впоследствии не получили подтверждения. Следует упомянуть, что в Германии в это же время была запущена пропагандистская кампания, рисующая зверства, чинимые бельгийскими партизанами: отравленные колодцы, поджоги спящих, издевательства над ранеными и пленными немецкими солдатами и т. п. Тут присутствовал религиозный мотив: утверждали, что бельгийские католические священники учат монашек-сиделок выкалывать глаза больным немцам, попадающим в госпиталя. Тема массового ослепления протестантов католиками в качестве мести за вторжение попала даже в официальные заявления императора Вильгельма II.

368

Имеются в виду казачий атаман Ермак Тимофеевич, присоединивший к Московской Руси в XVI веке Сибирское ханство, и генерал от инфантерии В. А. Перовский (1794–1857), руководитель военных походов в Среднюю Азию.

369

Второе наступление в Восточную Пруссию продолжалось до декабря 1914 г., но существенных результатов оно не принесло, хотя российским войскам удалось закрепиться на прусской территории в 30–40 километрах от границы, в районах городов Гумбиннена и Шталлупенина и реки Ангеррап, где до конца года шли позиционные бои.

370

Великий князь Николай Михайлович (1859–1919) в первые годы мировой войны был генерал-инспектором кавалерии; более известен как ученый-историк, искусствовед и энтомолог.

С. К. Маковский. «Война» (1914).

«Печаль и радость, восторг и негодование, – простые слова, ясные чувства заменили недавние исхищрения пресыщенных собою поэтов», – писал «о возникшей в последнее время военной поэзии» Георгий Иванов в одной из «аполлоновских» передовиц.

373

Буквально «открытый/белый лист» (*фр.*), неограниченные полномочия, полная свобода на какие-то действия.

«Я собирала французские пули, / Как собирают грибы и чернику, / И проносила домой в подоле / Осколки ржавые бомб тяжелых» (*Анна Ахматова*. «У самого моря», 1915). В поэме описывается Севастополь 1890-х гг., где проводила летние месяцы семья Горенко; на берегах севастопольских бухт сохранялись тогда следы обстрелов и бомбардировок осады 1854–1855 гг.

375

Современный адрес: улица Воскова, 1. Место было особым: в 1890 году болящему отроку Николаю Грачеву тут явилась Богородица, исцелившая мальчика. Сестра исцеленного Екатерина Грачева основала в память о чуде благотворительное братство и создала приют для лечения малолетних эпилептиков и калек; с началом войны несколько больничных палат огромного здания, возведенного при помощи св. Иоанна Кронштадтского и императрицы Александры Федоровны, были отданы для военного стационара на 10 офицерских и 58 солдатских койко-мест.

Италия с 1882 года входила в т. н. «Тройственный союз» с Германией и Австро-Венгрией, но после начала мировой войны объявила себя нейтральной страной, сославшись на то, что ее союзнические обязательства не предполагали поддержку агрессии, а были рассчитаны исключительно на оборону. Между тем у Италии были собственные территориальные претензии к империи Габсбургов, которая долгое время контролировала северные итальянские земли. Националистические группы «интервенционистов» в правительственных и военных кругах Италии оказывали мощное давление на короля Виктора-Эммануила III, требуя от него активных действий, и в мае 1915 года Италия объявила Австрии войну.

377

Верховный главнокомандующий всеми сухопутными и морскими силами Российской Империи в 1914–1915 гг. великий князь *Николай Николаевич* (1856–1929, умер в эмиграции) родился в семье третьего сына императора Николая I генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича (старшего), главнокомандующего русской армией во время победной Балканской войны 1877–1878 гг.

378

Звание протопресвитера военного и морского духовенства в Российской Империи носил священнослужитель, в ведении которого находились все церкви полков, крепостей, военных госпиталей и учебных заведений. С 1911 г. таковым был *протоиерей Г.И. Шавельский* (1871–1951), талантливый писатель, ученый и педагог. В эмиграции о. Георгий написал двухтомные «Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота» – важный источник по истории Первой мировой войны, где, в частности, сделана попытка дать объективную характеристику человеческим и военным качествам великого князя Николая Николаевича (которому автор явно симпатизирует).

Рассчитывая, как и другие главные европейские игроки, на короткую маневренную войну, судьба которой решится в нескольких наступательных операциях, Николай II остановил выбор в июле 1914-го на своем бравом и заслуженном двоюродном дядюшке, который как никто умел пробудить в россиянах боевой дух и веру в скорое торжество Империи. Фронтовики ценили великого князя Николая Николаевича за личный боевой опыт русско-турецкой войны, который в сочетании с образованием в Академии Генштаба позволял ему демонстрировать понимание военного дела. В первые месяцы главковерх произвел ряд удачных кадровых замещений, выдвинув на командные должности талантливых молодых военачальников. Однако в вопросах материального снабжения вооруженных сил Николай Николаевич разбирался очень слабо, полагаясь более на героический порыв бойца, чем на его оружие и довольствие. К области чистой мифологии относятся все легенды о его подвигах на передовых позициях (хождение по окопам под ураганным огнем, возглавление атаки и т. п.). Зато народные легенды не заметили в Николае Николаевиче придворного и политического интригана, весьма беспринципного и коварного. Помимо того, он страдал болезненной неуравновешенностью (С. Ю. Витте именовал его *«генералом с зайчиком в голове»*). В общем, можно сказать, что это был военный деятель, полагающийся более на интуицию и удачу, чем на аналитику и расчет, имевший ум «тонкий и быстрый», но мало пригодный к «черновой, усидчивой продолжительной работе» (Шавельский), – скорее походный командир, чем штабной стратег.

380

Документально отлучка Гумилева из полка в августе 1915 года не зафиксирована, однако Ахматова вспоминала, что Гумилев приезжал тогда, ночевал «во флигеле» царскосельского дома, сданного на лето дачникам, виделся с Н. Л. Сверчковым и даже побывал у матери в Слепневе. Возможно, что речь идет не об одной, а о двух кратких побывках – в начале и конце месяца.

381

На день рожденья Николая II – 6 (19) мая – приходится день памяти св. Иова Многострадального. «Подлинно, – писал об этом ветхозаветном праведнике Иоанн Златоуст, – нет несчастия человеческого, которого не перенес бы этот муж, твердейший всякого адаманта, испытавший вдруг и голод, и бедность, и болезни, и потерю детей, и лишение богатства; и затем, испытав коварство от ближних своих, оскорбления от друзей, нападения от рабов».

382

Никаких документальных сведений о посещении Гумилевым осенью – зимой 1915 г. занятий в школе прапорщиков нет, равно как нет сведений, о какой именно школе прапорщиков шла речь в командировочном задании. Возможно, он узнал о представлении к новому ордену (приказ был подписан 14 сентября 1915 г.) непосредственно при убытии из полка и ни посещать занятия, ни сдавать экзамены на новый чин с самого начала не собирался (хотя, конечно, некий регистрационный документ где-то для отчета выправил).

383

Триремой в Древнем Риме назывался военный корабль с тремя рядами весел; для Иванова и Адамовича это был символический образ множества различных поэтических дарований, которые соединились, чтобы грести в одном направлении.

Б. К. Пронин считал, что роковой полицейский обыск в начале марта 1915 года был спровоцирован скандальным выступлением Маяковского с чтением стихотворения «Нате!» («Вам ли, любящим баб да блюда, / Жизнь отдавать в угоду? / Я лучше в баре б… м буду / Подавать ананасную воду»), которое было воспринято как пацифистское. «Нас продали с молотка, совсем как в оперетке, – вспоминал Пронин, – был вынесен стол, стучали молотком, и то, что теперь называется «барахло», было продано за 37 тысяч рублей».

385

Несмотря на то что *Константин Юлианович Ляндау* (1890–1969, умер в эмиграции) занимался журналистикой, писал для театра и был оригинальным поэтом-дилетантом (на его книгу стихов «У темной двери» доброжелательно откликнулся Гумилев), в истории он, подобно Пронину, остался организатором и устроителем литературно-художественной жизни Петрограда. Помимо «Лампы Алладина» К. Ю. Ляндау был создателем издательства «Фелана», составителем великолепного «Альманаха муз» (1916) и принимал участие в театральных проектах революционной эпохи.

В. В. Курдюмов. «Ирис».

387

М. А. Кузмин. «Дитя и роза».

388

Рюрик Ивнев [М.А. Ковалев]. «Заплакать бы, сердце свое обнажив…»

389

Борис Владимирович Алперс (1894–1974) – ученик и биограф Мейерхольда, известный советский театральный критик, театровед и педагог. В юности пробовал себя (без особого успеха) в поэзии и беллетристике. Младший брат Веры Алперс, оставившей подробные дневниковые записи о своих встречах с Гумилевым в июле 1914 г. в Териоках.

390

Екатерина Александровна Галати (1890–1935) – поэтесса, переводчик, жена историка и этнографа М. О. Косвена.

391

Мария Левберг. «Поединок». Переводчица и драматург *Мария Евгеньевна Левберг* (Купфер, Ратькова, 1894–1934), автор единственной книги стихов «Лукавый странник» (1915), в студенческие годы была активной участницей «Триремы»; вместе с В. В. Курдюмовым она входила в издательскую группу этого объединения, выпустившую в 1916 г. альманах «Вечера „Триремы”».

392

До войны трехэтажный царскосельский Дворцовый лазарет на Госпитальной улице (ныне – больница № 38 им. Н. А. Семашко) был обычной городской лечебницей-стационаром с терапевтическим, хирургическим, акушерско-гинекологическим отделениями, заразными бараками и богадельней в подвальном этаже. В первые военные недели при непосредственном руководстве В. И. Гедройц хирургическое отделение было преобразовано под солдатский госпиталь, один из заразных бараков – под офицерский. Помимо того, В. И. Гедройц читала лекции на сестринских курсах Красного Креста и курировала лечебную практику их слушательниц, «чтобы весь персонал мог присутствовать при операциях, приучался, как вести себя у хирургического стола и возле больного, заражался бы, так сказать, духом операционной, жил бы их радостями, печалился общими хирургическими печалями, создавая одну хирургическую семью, связанную общими переживаниями».

Помимо 20 военных лазаретов, организованных Дворцовым медицинским ведомством в дворцах и особняках Царского Села, военно-медицинские учреждения разного профиля стараниями Александры Федоровны появились в 1914–1915 гг. в Павловске, Петергофе, Луге, Саблине и других местах. В. И. Гедройц в «Очерке действий Дворцового лазарета за три месяца войны» писала: «В царскосельском районе за первые три месяца с начала войны прошло около трех тысяч человек, распределенных между различными лазаретами Царского Села. Все лазареты, согласно своему оборудованию, разделены на три типа: 1) лазареты, куда помещались тяжелораненые для ответственных операций, 2) лазареты для выздоравливающих, 3) лазареты санаториального типа. Согласно этому распределялись и переводились раненые, постепенно продвигаясь в тыловой пункт, которым для Царскосельского района является Финляндия». Позднее тыловые военные санатории появились в крымских Евпатории и Массандре.

Книги под серийной маркой «Гиперборея» (корректуру которых держал М. Л. Лозинский) издавались в 1915–1916 гг. в петербургской типографии Лаврова на средства московского издательства «Альциона» А. М. Кожебаткина, имевшего права на реализацию. Такая хитроумная схема была разработана Гумилевым, благодаря предприимчивости которого «Цеху» удалось реализовать вторую «военную» серию публикаций. Ахматова вспоминала, что Кожебаткин сначала согласился сотрудничать с «Цехом поэтов» исключительно «для видимости», только для того, чтобы получить от Гумилева рукопись «Колчана»: «А потом рассказывал всюду, что Гумилев подсовывает ему разных, неизвестных в Москве авторов…» Тем не менее так были изданы: «Колчан» Гумилева, второе издание «Камня» Мандельштама, «Вереск» Г. Иванова, «Облака» Г. Адамовича, «Горный ключ» М. Лозинского и «Стая» М. Струве. Планировалось издать и «Белую стаю» Ахматовой, но книга была подготовлена к печати (тоже под маркой «Гиперборея») только в 1917 г.

И Гумилев был прав! «Молитва» Ахматовой оказалась полностью претворена в ее дальнейшей судьбе. В 1921 году она потеряла мужа, во второй половине 1930-х – ребенка, ставшего жертвой сталинских репрессий (Л. Н. Гумилев провел в сталинских лагерях, в общей сложности, 16 лет), а «таинственный песенный дар» был отнят почти на 20 лет – с начала 1920-х до конца 1930-х годов у Ахматовой наступил период творческой немоты. Зато Россия в 1945 году поставила победную точку в своем противоборстве с Германией.

Гумилев поведал Ахматовой эту историю в начале 1920-х гг., когда скрывать им друг от друга было уже нечего. Ахматова «усомнилась в истине этого рассказа Тани Адамович, сказала Н.С., что это фантазия, потому что совершенно неправдоподобно, чтоб какие-то дамы знали об этом, а если и знали, то так сугубо искали бы невинную учительницу (ибо таких не бывает), а если и искали, то не стали бы заявлять об этом во всеуслышание, в казенном учреждении, да еще местному начальству. И Н.С. быстро согласился с А.А, что это фантазия Тани Адамович». По всей вероятности, получив известие о новой размолвке Гумилева с Ахматовой, Татьяна Адамович вместе с братом Виктором и его другом Георгием Ивановым срочно составила хитроумный план действий, призванных подвигнуть Гумилева вступить в новый брак. Частью этого плана была поспешная женитьба Георгия Иванова на танцовщице Габриэль Тернизьен (союз оказался неудачным и скоро распался). Вторая жена Иванова свидетельствовала: «Инициатором этого брака был Георгий Адамович, построивший нелепый план: его сестра Таня была подругой Гумилева, и он решил, что если Георгий Иванов женится на Габриэль, то Гумилев разведется с Ахматовой и женится на Тане». Убедившись в несостоятельности заговора, Т. В. Адамович прекратила общение с Гумилевым. В ноябре 1916 года она обвенчалась с С. С. Высоцким в костеле св. Екатерины на Невском проспекте. Перед этим будущие супруги открыли в Петрограде собственную «Школу ритмики». В 1917 гг. Высоцкие переехали из Петрограда в Москву, где Стефан Станиславович получил работу в представительстве Польши. Через год Высоцкий с женой выехал в Варшаву для работы в польском МИД-е. В 1920-е годы они открыли в столице Польши «Школу музыкальной культуры С. и Т. Высоцких», превратившуюся позднее в «Польский балет Высоцкой», с успехом гастролировавший в Париже. В обширных воспоминаниях Т. В. Высоцкой-Адамович, написанных на склоне лет (†1970), Гумилев не упоминается.

397

14 октября 1915 года нейтральная до того Болгария объявила войну Сербии, вступив таким образом в мировую войну на стороне Центральных держав. В манифесте царя Фердинанда I говорилось о необходимости «защитить родной край от поругания вероломного соседа» и освобождения «наших братьев от сербского ига».

398

В августе 1915 года несколько фракций VI Государственной Думы (кадеты, октябристы, «прогрессивные националисты» и др.) на фоне военных неудач выступили с резкой критикой правительства, создав т. н. «Прогрессивный блок», требующий «правительства народного доверия» и законодательных реформ. 3 сентября Дума была распущена на «досрочные каникулы», что вызвало волну возмущений в столице и крупных губернских центрах (из-за кровопролитных стычек рабочих с полицией Москва была объявлена на военном положении). Другим источником беспорядков стал приказ о мобилизации ратников II-го разряда (5 сентября 1915 г.), в число которых попадали студенты и рабочие. Многочисленные волнения осенью 1915 года проходили на петроградских заводах по экономическим причинам – «ввиду вздорожания продуктов первой необходимости».

399

Тевтонская ярость (лат.) – крылатое выражение, обозначавшее природную склонность к агрессии и необузданному гневу, которую древние римляне отмечали у воинственных германских (тевтонских) варваров.

Ахматова в *«память встречи»* подарила Есенину «аполлоновскую» публикацию поэмы «У самого моря», по свидетельству З. И. Ясинской (со слов самого Есенина), пыталась быть «ласковой и гостеприимной», но, как можно понять, у нее это выходило плохо. «Я знал, что Ахматова и компания не верят в мое понимание искусства, думают, что под искусством я подразумеваю прикладное искусство», – писал после посещения Царского Села Н. А. Клюев.

Следует добавить, что через два месяца Б. М. Эйхенбаум очень высоко оценит «Колчан» в февральской книжке «Русской мысли» за 1916 г.

402

Кавказский фронт был открыт после объявления Россией войны Турции 2 (15) ноября 1914 г. В 1914–1915 гг. бои на этом фронте (с переменным успехом) шли вдоль прежней границы, и ни одна из сторон не владела стратегической инициативой. В составе Кавказского фронта были отряды армянских добровольцев, а некоторые операции 1915 года осуществлялись для поддержки восставшего населения Западной Армении. Однако главные события на южном театре военных действий в 1915 году разворачивались вокруг пролива Дарданеллы, где шла битва французских и английских войск с турецкими и германскими (потери убитыми, ранеными и попавшими в плен у противостоящих сторон превысили 300 000 человек). В битве за Дарданеллы, как уже говорилось, страны Антанты потерпели поражение.

403

Комни́ны (Комнены) – императорская династия, правившая (с перерывом) в Византии в 1057–1185 гг. В 1204–1461 гг. потомки этой династии под именем *Великих Комнинов* правили в Трапезонде.

404

«Освобождение Царьграда» было объявлено целью войны на Кавказском фронте, открытом Россией против Турции осенью 1914 года. Тема возвращения св. Софии православным была очень популярна. В рождественском номере журнала «Лукоморье» за 1914 г. статья В. Финити (Христодуло) «О св. Софии» открывалась стихотворным переложением пророчества Муста-Эддына из «Повести об астрологе» XVI в.

С. М. Городецкий. «Царьград» (1914).

406

Зимняя мужская шапка из меха в виде усеченного конуса.

407

Публикация «Рабочего», действительно, состоялась в газете «Одесский листок» 10 апреля 1916 года.

Уже в конце XX столетия работники Военно-Исторического архива нашли разгадку этой истории, достойную пера Салтыкова-Щедрина. Документы Гумилева по производству и переводу были в начале февраля 1916 года по ошибке направлены не в 5-й *Гусарский* Александрийский, а… в 5-й *Драгунский* Каргопольский полк (оба эти полка входили в состав 5-й Кавалерийской дивизии). Поскольку документы так и лежали потом семь десятилетий в штабном архиве драгун, легко предположить, что у кадровиков Западного фронта в феврале – марте 1916 г. возникла серьезная неразбериха. О личном вмешательстве императрицы Александры Федоровны в историю с производством Гумилева в прапорщики неоднократно упоминала Ахматова – это военно-бюрократическое приключение оказалось для него во всех отношениях благотворным.

409

Владимир Владимирович Святловский (1869–1927) – экономист, историк, этнограф, общественный деятель; профессор по кафедре политэкономии и статистики Петербургского политехнического института.

410

Алексей Иванович Степанов (1866–1937) – инженер-технолог, химик, педагог; профессор по кафедре химической технологии Петербургского технологического института имп. Николая Первого.

411

Л. М. Рейснер. «Медному всаднику».

412

Главным в историческом противостоянии России с Турцией всегда оставался вопрос о контроле над судоходством в проливах Босфор и Дарданеллы, а сам по себе захват Константинополя делал бы неизбежным глобальное проникновение Российской Империи в Персию и Месопотамию с огромными человеческими и материальными затратами и непредсказуемыми последствиями. Николай II в доверительной беседе с французским послом М. Палеологом в ноябре 1914 года о целях войны, упомянул, говоря о «восточном вопросе», превращение Константинополя в «нейтральный город под международным управлением», где магометанам было бы гарантировано «уважение к их святыням и могилам».

413

С именем *Михаила Андреевича Рейснера* (1868–1928), сотрудника либерального «Русского богатства» и «участника в делах левых партий», были связаны разоблачительные статьи в эмигрантской периодике начала 1910-х гг., намекающие на провокаторскую работу. Насколько эта кампания, поднятая публицистом Владимиром Бурцевым, соответствовала истине, сказать до сих пор сложно: сам Бурцев признавал, что его «источники» из Охранного отделения не вызывают безусловного доверия.

414

Вплоть до конца XVII века исключительное право на постановку комедий и драм имел во Франции только королевский театр – на ярмарочной сцене, предназначенной для акробатических трюков и фокусов, «диалоги» были запрещены. Владельцы «ярмарочных театров» Ш. Алар и М. фон дер Бек, предполагаемые авторы «Силы любви и волшебства», впервые нарушили этот запрет премьерой пьесы в 1678 г.

415

Зала в фамильном особняке на Английской набережной, 7 была предоставлена для стартовых представлений «Театра при «Аполлоне»«художником-мирискусником А. Ф. Гаушем, последним владельцем дома. Впоследствии спектакли давались на сценических площадках студии Мейерхольда и в Народном доме на Петроградской стороне. Своего помещения театр так и не обрел – зимой 1916–1917 гг. труппа распалась, по словам С. К. Маковского – «в связи с тем поворотом, который приняла война» (т. е. из-за революционных событий).

416

Из стихотворения Ахматовой «В последний раз мы встретились тогда…».

417

Лидия Марьяновна Арманд (1882 – после 1931?) и *Елена Марьяновна Гельфогт* (1884–1966). Первая была в свойстве с конфиденткой В. И. Ленина Инессой Арманд, входила в ближнее окружение лидера «левых» эсеров Марии Спиридоновой, знала А. Ф. Керенского. Вторая состояла в боевой эсеровской группе, за теракт была приговорена к повешенью, бежала из камеры смертников Шлиссельбургской крепости.

418

М. М. Тумповская. «Сонет» («Я, девочкой, дрожа и холодея…»).

419

Суфизм – мистико-аскетические практики в исламе, открывающие для избранных особые пути духовного совершенства и возможности магического (прежде всего, словесного) действия. Великим мастером суфизма считался гениальный персидский поэт *Гафиз Ширази* (1326–1390), ставший главным героем пьесы Гумилева.

420

Пс. 81. 8.

421

Поэты *Гавриил Романович Державин* (1743–1816) и *Василий Петрович Петров* (1736–1799) считались классиками российского одического стихосложения XVIII в.

422

В системе медицинских учреждений Царскосельского эвакуационного пункта Дворцовый госпиталь именовался «Собственным лазаретом № 3» и был официальным местом приписки императрицы и великих княжон в качестве сестер милосердия. В то же время с первого месяца войны, по приказу императрицы и при ее непосредственном участии, был развернут временный госпиталь в помещениях Большого дворца (на 30 офицерских и 200 нижних чинов), именовавшийся Царскосельским госпиталем № 41. В. И. Гедройц руководила медицинским персоналом в обоих госпиталях.

423

Несколько эскизов костюмов и декораций художника *Николая Ефимовича Кузнецова* (1876–1970) для неосуществленной кукольной постановки «Дитя Аллаха» были приложены к публикации пьесы в «Аполлоне» (1917) в качестве иллюстраций.

Жестокие расправы османских войск над населением Западной (турецкой) Армении начались в январе 1915 года и продолжались весь год, причем в мае Стамбулом был принят специальный «Закон о депортации», придавший этим гонениям статус государственной политики. На этом фоне в России, а затем и в Европе прошел целый ряд различных общественных акций протеста против военных преступлений в шести армянских провинциях Турции. В частности, московский Армянский комитет обратился к В. Я. Брюсову с просьбой редактировать антологию «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», с помощью которой члены комитета рассчитывали привлечь внимание к проблеме сохранения армянской культуры и искусства. Брюсов очень увлекся этой работой, сам перевел многие из отобранных текстов и уже по собственному почину выступил в начале 1916 г. с благотворительными лекциями об армянской литературе в Москве, Баку, Тифлисе, Ереване и Петербурге.

425

Ованнес Тылкуранский. «Песня Ованнеса о любви» (XIV–XV вв., перевод В. Я. Брюсова).

426

Николай Федорович Арбенин (настоящая фамилия Гильдебрандт, 1863–1906) – заслуженный артист императорских театров, театровед, переводчик, основатель Союза музыкальных и драматических писателей.

427

Шелковая ткань с поперечными рубчиками.

Ханжа, жеманница, притворно-стыдливая женщина (*англ.*).

429

Н.А. Энгельгардт (1867–1942, погиб во время блокады Ленинграда) был сыном известного химика, агронома, профессора Петербургского земледельческого института *Александра Николаевича Энгельгардта* (1828–1893), сотрудника «Отечественных записок» и автора «Писем из деревни». Мать Н. А. Энгельгардта *Анна Николаевна Энгельгардт*, урожденная Макарова (1835–1903) была писательницей и переводчиком, редактором журнала «Вестник иностранной литературы». Журналистом и публицистом был и его старший брат *Михаил Александрович Энгельгардт* (1861–1915), известный популярными биографиями Ч. Дарвина, Ж. Кювье и А. Гумбольдта. Сам Александр Николаевич Энгельгардт был очень плодовитым автором. Помимо историко-литературных трудов он писал и публиковал исторические и бытовые романы, повести, рассказы, стихотворения, поэмы, публицистические очерки – составленный им на склоне лет проект «полного собрания сочинений» (неосуществленного) насчитывает 38 томов.

430

Карманные часы с боем и календарем, отличавшиеся исключительной точностью и дороговизной.

Гумилев верил в самую романтическую из версий истории этого знаменитого «любовного четырехугольника» и предполагал, что Анна Энгельгардт – родная дочь Бальмонта, разлученная с отцом силою судьбы. Е. А. Андреева, вторая жена Бальмонта, пишет в воспоминаниях, что она сама ответила отказом на брачное предложение Энгельгардта, увлеченная уже дружбой со знаменитым поэтом. «К счастью, – добавляет она, – за это наше время дружбы с Бальмонтом, жена его сблизилась с Ник. Ал. Энгельгардтом. <…> Ей с Энгельгардтом законного брака не нужно было, так как они открыто жили вместе, и у них родилась девочка, которую Бальмонту же пришлось узаконить».

Бальмонте-старшем (отце) (*фр*.).

433

Возглас *«олé!»* (*исп.,* от *арабского* ‘wa-llāh’, *«клянусь богом»*) использовался зрителями корриды для приветствия тореадоров; может быть переведен как *«браво!»*. Цитата – из раннего стихотворения Гумилева «Юный маг в пурпуровом хитоне…».

434

Анна Ахматова. «Майский снег».

435

Этот образцовый военно-санитарный состав из 21 пульмановского вагона был создан по указанию императрицы Александры Федоровны и начал действовать 14 ноября 1914 г. По словам В. И. Гедройц, он должен был «привозить раненых прямым маршрутом в Царское с позиций». Поезд был приписан к Императорскому пути Царскосельской железной дороги (ныне разрушенному) и сдавал пассажиров медикам в Императорском павильоне, откуда их развозили по лечебницам Царскосельского эвакуационного пункта. В 1916 году санитаром поезда № 143 служил С. А. Есенин. Всего Царскосельский эвакуационный пункт постоянно обслуживал около 10 санитарных поездов. «Поезда, – писала В. И. Гедройц, – были обставлены просто, но всем необходимым снабжены; благодаря быстрой и целесообразной доставке раненых для операций спасли жизнь не одному из этих страдальцев». Помимо того, формировались и дополнительные санитарные составы без особого медицинского оборудования для эвакуации выздоравливавших в Финляндию и Крым.

436

Сергей Николаевич Сыромятников (1864–1933) – дипломат, путешественник, ученый востоковед-синолог и популярный публицист, выступавший в газете «Новое время» под постоянным псевдонимом «Сигма».

В этой созданной Шилейко легенде (которая сейчас широко известна в передаче Ахматовой) реальность смешана с выдумкой. Выдающийся поэт «пушкинской плеяды» князь П. А. Вяземский (1792–1878) приходился дедом графине Е. П. Шереметевой (адресатке мадригалов Шилейко), но в Фонтанном доме бывал редко, никогда, разумеется, не останавливался в Конюшенном (Северном) флигеле, а скончался в Баден-Бадене. В Фонтанном доме жил и умер его сын, отец графини, дипломат, писатель и исследователь древнерусской литературы Павел Петрович Вяземский (1820–1888), вещи которого, возможно, потом, действительно, попали в помещения флигеля, где с осени 1916 г. проживал Шилейко.

438

Юрий Алексеевич Веселовский (1872–1919) – критик и историк литературы, близкий к символистам беллетрист, активный сотрудник «Русской мысли» и «Нового энциклопедического словаря».

439

И. А. Бунин. «Одиночество».

В эмиграции А. В. Посажной опубликовал свои стихотворные воспоминания в виде поэмы под названием «Эльбрус».

441

Популярный думский деятель, вождь «Союза 17 октября» *Александр Иванович Гучков* (1862–1936, умер в эмиграции) был сторонником конституционной монархии и виртуозным политическим интриганом, сначала конфидентом, а затем личный недругом Николая II (после ссоры Государь в шутку именовал Гучкова «своим Юань-Шикаем», по имени китайского революционного диктатора-заговорщика, свергнувшего в 1911 году династию Цинь).

В действительности никакой придворной «тайны», касающейся *самого* Распутина, не было. Тайной была тяжелая болезнь (гемофилия) цесаревича Алексея Николаевича, приступ которой в 1912 году едва не завершился смертью ребенка (ему было 8 лет). Именно с этого времени Распутин, которому удавалось останавливать приступы кровотечения, постоянно находился поблизости от царской семьи, выполняя фактически роль домашнего врача (о природе этого врачевания имеются разные мнения, излагать которые в данном случае нет надобности, тем более что для родителей Алексея был важен, разумеется, конечный результат). Причину пребывания целителя при дворе невозможно было объяснить, не разгласив секретные сведенья о недуге наследника престола – отсюда и «таинственность», окружившая в глазах непосвященных современников отношения Распутина с Николаем II и Александрой Федоровной.

443

Жерар Анаклет Венсан д'Анкосс (Папюс) скончался в Париже 13 (25) октября 1916 года от туберкулеза, который получил, работая добровольцем во фронтовом госпитале. Ему шел пятьдесят второй год. Согласно преданию, последними словами его были: «Меня *отзывают*».

444

Великий князь Николай Николаевич после отставки с поста Верховного Главнокомандующего в 1915 году готовил (неудачно) собственный переворот, целью которого было устранение Николая II от руководства войной и заточение императрицы Александры Федоровны в монастырь. Отправленный в Тифлис, на Кавказский фронт, опальный великий князь продолжал оставаться главой фронды в царствующем доме Романовых (т. н. «великокняжеский заговор»). Главным своим противником Николай Николаевич считал Распутина, всячески преувеличивая его влияние на императорскую чету. Оказавшись в эмиграции, Николай Николаевич открыто сожалел, что в декабре 1916 года «отказался от престола», который ему предлагал эмиссар Гучкова и земцев тифлисский городской голова А. И. Хатисов. В случае успеха Хатисов должен был дать телеграмму «Госпиталь открыт, приезжайте», но Николай Николаевич попросил время на раздумья, а царский поезд за это время уже достиг Петрограда. «План заключался в том, – рассказывал (тоже в эмиграции) Гучков, – чтобы захватить между Царским Селом и Ставкой императорский поезд, вынудить отречение, затем одновременно, при посредстве воинских частей, на которые в Петрограде можно было рассчитывать, арестовать существующее правительство, затем объявить как о перевороте, так и о лицах, которые возглавят собой правительство».

445

Профессор московского университета в *Павел Николаевич Милюков* (1859–1943, умер в эмиграции) на рубеже XIX–XX вв. представлял «западническую» точку зрения в отечественной историографии, резко критиковал российское самодержавие, подвергался ссылке и тюремному заключению. В 1902–1905 гг. проживал в эмиграции, читал лекции в США, сотрудничал с профессиональными революционерами. В 1905 г. Милюков вернулся в Россию и стал одним из организаторов партии конституционных демократов («кадетов»). Он был бессменным председателем думской кадетской фракции и редактором партийной газеты «Голос». В 1915–1916 гг. глава кадетов регулярно распространял в Государственной Думе слухи об «измене в верхах», о недобросовестности «немки-императрицы» и т. п. Основным источником для подобных «разоблачений», по собственному признанию Милюкова, служила ему… заграничная пресса.

446

Транспортный паралич под Петроградом в феврале 1917 года был организован вовлеченной в заговор группой чиновников Министерства путей сообщения во главе с Ю. В. Ломоносовым. Тот же Ломоносов, входивший в Инженерный совет МПС, разработал операцию по блокированию императорского состава в миг переворота.

В «Манифесте», подписанном карандашом (!), говорилось: «Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная Армия Наша совместно со славными Нашими Союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить Народу Нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственной Думой, признали мы за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с Себя Верховную Власть». По существу, Николай II был в плену у заговорщиков с 22 февраля 1917 года, когда генерал Алексеев смог выманить его из Петрограда в могилевскую Ставку. С этого момента император оказался изолирован от внешнего мира, поскольку связь находилась в руках Алексеева и его сообщников, которые свободно манипулировали всей информацией, поступающей к пленнику и исходящей он него. Неизвестно, когда Николай II осознал реальное положение вещей, но после прибытия во Псков никаких иллюзий у него оставаться не могло: генерал Н. В. Рузский с солдатской прямотой объявил царю и его свите, что им «нужно сдаваться на милость победителей».

448

Выступление Гумилева в «Бродячей собаке» под Рождество 1914 года описано в одном из «Писем из России», которые К. Бехгофер-Робертс (1894–1949) публиковал в «The New Age». В Петрограде он находился до ноября 1915 года и, во всей вероятности, еще несколько раз за это время встречался с Гумилевым. Вернувшись в Англию, Бехгофер издал свои переводы пьес Фонвизина, Чехова и Евреинова, а также стал редактором «Антологии русской поэзии XIX века», которая вышла в начале 1917 года. Во время пребывания Гумилева в Лондоне Бехгофер готовил продолжение «Антологии», и Гумилев пытался содействовать этой работе, рекомендовав к переводу новейшие книги стихов Блока, Кузмина, Андрея Белого, Вячеслава Иванова и др. В «The New Age» Бехгофер опубликовал пространную беседу с Гумилевым о современной поэзии.

449

Роджер Элиот Фрай (1866–1934) – выдающийся английский живописец и художественный критик, теоретик и вождь постимпрессионизма.

450

Бертран Артур Уильям Рассел (1872–1970) – философ, общественный деятель, математик, один из крупнейших мыслителей XX века, основатель английского неореализма и неопозитивизма.

Публичность (англ.), здесь – бытие личности в среде, не допускающей полноты внутренней эгоистической свободы.

Приватность (англ.), здесь – интимная сфера бытия, лишенная огласки.

453

Англо-американская художница Х. Мэйтленд-Армстронг являлась гражданской, а затем и законной женой Б. В. Анрепа до 1926 года. После развода она вышла замуж за Р. Фрая.

С выдающейся английской общественной деятельницей, писательницей и меценаткой леди О. Морелль (женой депутата парламента от либеральной партии Ф. Морелля) Б. В. Анреп познакомился еще в годы ученичества, покорил «юной жизнерадостностью и весельем» и впоследствии был ее многолетним поклонником и конфидентом.

455

Поэт *Зигфрид Сассун* (1886–1967) выступил со своим «этическим заявлением» в английском парламенте двумя неделями спустя, 30 июля 1917 г. Его общественный протест завершился печально: медицинские эксперты признали его страдающим «военным неврозом», и он был заключен в лечебницу для душевнобольных.

456

Морис Беринг (1874–1945) – поэт, писатель, разведчик, майор «Королевского летательного корпуса»; в начале XX века много жил в России, хорошо знал русский язык, культуру и литературу, в 1924 г. выпустил «Оксфордскую антологию русской поэзии». Беринг был участником т. н. «Честербеллоковского кружка», т. е. литературного общества, сложившегося вокруг Честертона и поэта Х. Беллока (также присутствовавшего при встрече с Гумилевым).

Ме́йфэр (Mayfair) – квартал в центре Лондона.

Помимо впечатляющих литературных встреч в салонах леди Моррель и леди Дафф Гумилев виделся в India House с *Олдосом Леонардом Хаксли* (1894–1963), еще не достигшим громкой известности (будущий классик английской литературы XX века был тогда автором единственного сборника стихов; в Russian Government Secretary работала его невеста Мария Нис). Их общение получилось достаточно насыщенным, ибо Хаксли сообщал затем леди Морелль: «Гумилев мне показался весьма интересным и приятным человеком». Кроме того, Гумилев побывал в Лондоне на благотворительном вечере поэта и драматурга *Уильяма Батлера Йейтса* (1865–1939), духовного лидера ирландского возрождения.

459

«Час настал. Уверенность. Смелость и да здравствует Франция!» *(фр.)*

460

Польский анархист *Ян-Вацлав Махайский* (псевдоним Махаев, 1866–1926) был автором теории непримиримого противостояния «образованного общества» и «трудящихся» как главных социальных антагонистов. Основной задачей революции Махайский считал подавление влияния интеллигенции в обществе и социальное «опрощение». «Махаевщина» была очень популярна в интернациональной революционной среде XX века вплоть до «культурной революции» в Китае и социальных экспериментов Пол Пота в Камбодже.

Обман, предательство (*фр.*).

462

В мировой и отечественной русской истории названия военных операций принято обозначать не именами военачальников, а географическими названиями местности, на которых они разворачивались. Так, битву при Каннах никто не называет «Ганнибаловым окружением», штурм Измаила – «Суворовским захватом», а Горлицкий прорыв – «Макензевым».

463

Леворадикальная фракция российских социал-демократов, возглавляемая В. И. Ульяновым (Лениным), приняла наименование *«большевиков»* после получения большинства в Центральном Комитете на II съезде РСДРП в 1903 г. Впоследствии «большевизм» получил более широкое значение, указывая на революционера-максималиста, самоотверженного и беспощадного фанатика, целиком поглощенного революционной идеей и не стесняющегося любыми средствами для ее достижения.

464

В.Л. Кибальчич (1890–1947) был сыном русского политического эмигранта (родственника казненного за покушение на Александра II народовольца Н. И. Кибальчича). Он родился в Брюсселе, жил в Лондоне и Париже, где под псевдонимом «Викто́р Серж» занялся журналистикой и революционной деятельностью, примкнув к французским анархистам.

465

Группа анархо-индивидуалистов во главе с профессиональным автомобилистом Жюлем Бонно в 1910–1912 гг. совершила ряд дерзких ограблений банков, впервые в истории использовав автомобиль в криминальных целях. Деяния «банды Бонно» широко освещались в европейской прессе, причем Виктор Серж фигурировал в этих статьях как «мозговой центр» экспроприаторов. Однако осудили Сержа лишь за незаконное хранение оружия и укрывательство преступников.

466

Солдатский комитет 1-го полка 1-й Особой бригады экспедиционных войск был создан в конце марта 1917 года большевиками Быстровым и Савиным, которые входили в военную организацию РСДРП (б). Но почти сразу в ходе боев под Курси оба выбыли из строя, и председателем комитета стал ефрейтор Ян Янович Балтайс, самобытный социалист-утопист, пацифист и просветитель, по всей вероятности, близкий не столько к большевикам, сколько к эсерам и поздним народникам. Именно Я. Я. Балтайс и руководил куртинцами вплоть до начала августа 1917 г. Он организовал бригадную библиотеку, «театральную и спортивную комиссии», школу грамотности для неграмотных и «общеобразовательные курсы для ознакомления интересующихся с важнейшими явлениями в природе и в жизни». По его собственным словам, цель его была «заполнить досуг» и пробудить в солдатах «интерес к чему-либо более высокому и чистому», чтобы им «не пришлось бы шататься от нечего делать, скучать и искать развлечения в пьянстве и карточной игре». Балтайсу и его сторонникам в комитете удавалось поддерживать в солдатах мятежного лагеря высокие моральные требования к себе и товарищам и сохранять военный городок в образцовом порядке. Осознав, что возвращение в Россию экспедиционных войск в ближайшее время невозможно даже технически, Балтайс призвал куртинцев признать Временное правительство и не превращать мирный протест в кровопролитную братоубийственную схватку. Этим воспользовались анархисты, объявившие Балтайса (добровольно сдавшегося парижским командирам вместе с 800 солдатами) ренегатом и организовавшие вместо солдатского комитета свой Совет под председательством А. И. Глобы. После этого жизнь лагеря резко изменилась: «Разнузданная, распропагандированная толпа в солдатских шинелях, потерявшая человеческий облик, с озлобленными, озверелыми лицами бушует, пьянствует и безобразничает в военном лагере Ля Куртин. Жители соседних сел по вечерам запираются на запоры» (В. А. Васильев). В советской историографии история Ля Куртин подверглась фальсификации – единственным руководителем восставших солдат от начала до конца был объявлен «большевик Глоба», а моральное разложение гарнизона, наступившее в последние недели противостояния как раз с подачи этого «большевика», отрицалось как «белая пропаганда».

Военные кресты (*фр.*).

Данные этих сводок не совпадают. В рапорте М. И. Занкевича говорится о «констатированных потерях мятежников» в 10 убитых и 44 раненых с оговоркой, что «действительные потери должны быть значительно больше». В рапорте Е. И. Раппа (составленном Гумилевым) фигурируют 8 убитых и 44 раненых среди «горсти упорствовавших» во время штурма. Во французских сводках убитых 9, раненых 46. Однако Р. Я. Малиновский (будущий маршал СССР), находившийся тогда рядовым среди куртинцев, в своих воспоминаниях говорит о 200 погибших за три дня боевых действий, а Д. У. Лисовенко, один из членов Куртинского Совета и автор книги о мятеже (изобилующей, впрочем, идеологическими «натяжками»), приводит свои расчеты: не менее 3 000 жертв трехдневной бомбардировки и штурма. Жители прилегающей к военному городку деревни в 1930-е годы рассказывали французским журналистам, что десятки или сотни трупов русских солдат были сразу же после подавления мятежа вывезены и сожжены где-то в окрестностях Ля Куртин. А. П. Глоба пытался скрыться, но был задержан и находился в заключении на острове Экс. В мае 1918 года его, Балтайса и секретаря куртинского солдатского комитета Волкова поменяли на группу французских граждан, арестованных за шпионаж в Советской России. В начале 1930-х годов Глоба работал на одном из украинских заводов.

Следует добавить, что поэтическая интуиция Гумилева с развитием технических возможностей наблюдения за небесными светилами получила научное подтверждение: в 1970 году японские астрономы обсерватории Курасики, действительно, констатировали появление новой звезды пятой величины в созвездии Змеи.

470

Генерал-лейтенант *Н.Н. Духонин* (1876–1917) с сентября 1917 г. был начальником штаба Ставки, после самоустранения А. Ф. Керенского от руководства страной и армией около месяца номинально исполнял обязанности Верховного Главнокомандующего. 20 ноября 1917 г. он был арестован прибывшим в Могилев членом Совнаркома Н. В. Крыленко и растерзан своими же конвоирами перед отправлением в Петроград в арестантском вагоне.

471

Месопотамская (персидская) кампания Первой мировой войны (на территории современного Ирака) велась преимущественно между силами Британской империи и турецкой армией. С октября 1915 года в соединении с британскими войсками тут действовал 1-й Кавказский кавалерийский корпус генерала Н. Н. Баратова. После февральского переворота 1917 г. в корпусе произошел раскол, и солдаты, не желающие вести боевые действия, были отправлены в Россию. Оставшиеся добровольцы под руководством Бичерахова сформировали отдельный кавалерийский отряд в 1500–1800 сабель, который осенью 1917 года отличился при взятии англичанами города Тикрит. В начале 1918 года после переброски нескольких британских частей из Месопотамии на европейский военный театр «русский отряд» некоторое время играл важную роль в контроле за этим участком боевых действий.

Максимилиан Волошин. «Мир» (1918).

473

Зоил (IV–III вв. до Р.Х.) – древнегреческий оратор, философ-циник; его имя впоследствии стало нарицательным для пристрастно-язвительных критиков.

Курия – сословная или профессиональная фракция в выборном представительском органе, в переносном смысле – влиятельная группа из авторитетных людей; в СДХЛ это слово официально употреблялось для обозначения его коллегиального руководства.

475

Всероссийское Учредительное собрание, подготовка которого была главной задачей Временного правительства Львова – Керенского, приступило к работе уже после октябрьского переворота 1917 года. Оно открылось в Таврическом дворце 5 (18) января 1918 года с целью окончательного определения государственного строя России. Поскольку делегаты отказались признать законной деятельность Совета народных комиссаров, первое же заседание Учредительного собрания было прервано командиром отряда балтийских матросов-анархистов, охранявших дворец: «Караул устал, часовые спать хотят». На следующий день Таврический дворец был закрыт для депутатов, демонстрации в их поддержку разгонялись силой, а 9 января вышел декрет ВЦИК Съезда Советов, объявивший участников Собрания «врагами народа».

Ирина Ефимовна Кунина (1900–2003) впоследствии стала достаточно заметной фигурой как в советской, так и в югославской культурной и политической жизни. В 1920-е годы она писала киносценарии, снималась в ранних советских фильмах, работала корреспондентом газеты «Правда», затем вышла замуж за хорватского адвоката Божидара Александера и была хозяйкой литературно-художественного салона в Загребе. В местном театре шла в переводе на хорватский ее драма «Пушкин», в Берлине и Париже издавались повести и рассказы. Во время Второй мировой войны Кунина и ее муж были связаны с партизанами И.-Б. Тито и с советской разведкой, в послевоенное время – работали в структурах ООН и ЮНЕСКО. С 1960 года Кунина жила в Швейцарии, занимаясь литературой и переводами. В момент знакомства с Гумилевым весной 1918 г. Кунина училась на философском факультете Петроградского университета. Свою «гумилевскую весну» она подробно описала в воспоминаниях; знакомство оказалось мимолетным, тем же летом она с семьей уехала в Киев, затем впервые попала в «Королевство сербов, хорватов и словенцев» и в СССР вернулась только в 1922 году.

477

Это была предпоследняя книжка журнала (№ 6–7 за 1917 г.), запоздавшая ввиду отъезда Маковского из Петрограда с выходом на несколько месяцев и появившаяся во второй половине 1917 года. Там же была опубликована пьеса Гумилева «Дитя Аллаха». Последний, «строенный» (№ № 8–10) номер «Аполлона» был выпущен Лозинским в отсутствие Маковского в начале 1918 г., после чего издание прекратилось. М. М. Тумповская встречалась с Гумилевым до 1920 года, когда она переехала из Петрограда в Москву, и принимала участие в его литературных начинаниях в «красном Петрограде». Никаких иных сведений об их взаимоотношениях в это время нет.

478

В ту ночь, как теплилась заря, / Рабы зарезали царя (*Г. Гейне* «Валтасар», *нем.*, пер. М. Л. Михайлова).

От *фр.* bourgeois – собственник.

480

«И взяла Сара, жена Аврамова, служанку свою, Египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Аврамова в земле Ханаанской, и дала ее Авраму, мужу своему, в жену» (Быт. 16. 3). Речь идет об истории ветхозаветного праотца Авраама, которому для продолжения рода бесплодная законная жена позволила иметь рабыню-наложницу.

481

Л. И. Канегиссер был двоюродным братом М. М. Филоненко, руководителя «Союза спасения Родины и Революции» и правой руки главы эсеровских боевиков Бориса Савинкова. Канегиссер являлся членом этого «Союза», но следствие так и не смогло достоверно установить, действовал ли он по заданию Филоненко или покушение на Урицкого было его личной инициативой. Самого Канегиссера расстреляли во второй половине сентября 1918 г. – точная дата, место и обстоятельства казни до сих пор неизвестны.

482

Оценить масштабы разоренья, произведенного в Петрограде военным коммунизмом, помогает общая статистика: с 1918 по 1921 год население города сократилось с 2 347 000 человек до 799 000.

Союз Спартака (нем.), марксистская организация в Германии, близкая русским большевикам.

484

Председательница московского ТЕО Наркомпроса *Ольга Давидовна Каменева* (урожденная Бронштейн, 1883–1941, репрессирована) была сестрой Льва Троцкого и женой председателя Моссовета Л. Б. Каменева. В ранние революционные годы она бралась за культурно-просветительскую и дипломатическую работу, однако ее «советская карьера» не сложилась прежде всего из-за крайнего революционного максимализма, нетерпимого даже среди «кремлевских вождей». Это был классический тип идейной фанатички, исповедующей насилие и террор как универсальные средства решения общественных задач.

485

Идея детского театра зародилась в эпоху Просвещения (XVIII в.), но практически она была реализована в России в 1918 году А. В. Луначарским. Тогда был создан первый передвижной театр для детей под руководством П. А. Лебедева, работавший в Петрограде в летние месяцы. Он был ориентирован на инсценировки.

«Дерево превращений» Гумилева стало первой ласточкой специального театрального репертуара для детей. В феврале 1919 г. пьеса была поставлена «Коммунальным детским театром» на Литейном проспекте (режиссер К. К. Тверской), а в 1921 г. ею должен был открыть осенний сезон московский государственный «Театр для детей», но эта премьера не состоялась.

487

Публицист и литературный редактор *Александр Николаевич Тихонов* (псевдоним – Серебров, 1880–1956) был постоянным сотрудником Горького еще со времен создания кружка пролетарских писателей при органе РСДРП «Правда» в 1900-е годы. Затем А. Н. Тихонов редактировал горьковский журнал «Летопись» и газету «Новая жизнь».

Человек, сделавший себя сам (*англ.*).

489

В массе, в подавляющем большинстве (*фр.*).

490

Сергей Бехтеев. «Перед Твоей державною иконой…», 1934.

В Словакии советская власть продержалась меньше месяца, а в августе 1919 года военные части Румынии вошли в Будапешт и «красная Венгрия» прекратила свое существование.

492

Владимир Кириллов. «Мы» (1917).

493

Доктор медицины, статский советник *Б.И. Ахшарумов* был знакомым Энгельгардтов, большим знатоком литературы и искусства. Гумилев часто бывал у него в гостях и высоко ценил общение с этим незаурядным человеком. Судьба Ахшарумова не менее трагична, чем судьба Гумилева: в 1932 г. шестидесятипятилетнего старика-врача подвергли пристрастному допросу в НКВД, после чего он покончил с собой.

494

Сергей Владимирович Штюрмер, числившийся после революции 1917 года «школьным работником», был родным братом видного российского государственного деятеля (в 1916 – премьер-министра) Б. В. Штюрмера. Штюрмеры владели поместьем Байково у поселка Кесова Гора, на северной границе Бежецкого уезда. С. В. Штюрмер сотрудничал с местным земством и был членом архивной комиссии Тверской губернии.

495

Эпиграмма А. В. Амфитеатрова.

496

Форма строфы, разработанная французским поэтом XVI в. Пьером Ронсаром, считалась особо утонченной формой лирической стихотворной речи. «Виртуоз Лист», упоминаемый Гумилевым, – великий пианист и композитор XIX века Ференц Лист, сравнение с которым также не могло не льстить смышленому конторщику. Затея с «дровяным альбомом» возмутила Чуковского, который распространил стихи, обличавшие «всемирников» в подхалимаже к работнику Совнархоза. Гумилев ответил Чуковскому стихотворным посланием: «Береза стройная презренней ли, чем роза? / Где дерево – там сад. / Где б мы ни взяли их, хотя б из Совнархоза – / Они манят!»

497

Любовный мотив «Заблудившегося трамвая» («Как ты стонала в своей светлице, / Я же с напудренною косой / Шел представляться императрице / И не увиделся вновь с тобой») связан с историей трагической кончины Е. Я. Державиной-Бастидон, первой жены поэта Г. Р. Державина. В последние часы ее смертельной болезни Державин был призван Екатериной II в Царское Село свидетельствовать о благонадежности своего друга Д. Б. Мертваго. «Катерина Яковлевна, уже смерти ожидавшая, лежала в постели, – вспоминал Мертваго, – я сидел возле нее, держа ее за руку; муж, ходя близ кровати, говорит: «Как мне ехать в Царское Село и оставить ее на два дня!» Она, его подозвав, сказала: «Ты не имеешь фавору, но есть к тебе уважение: поезжай, мой друг, ты можешь просить за него; Бог милостив: может, я проживу столько, что дождусь с тобой проститься». Гаврила Романович страстно любил свою жену, но поступил благородно… Вскоре скончалась Катерина Яковлевна, женщина действительно отличных достоинств…».

498

Много лет спустя Н. А. Оцуп признался, что сам уговорил своего приятеля, инженера Александра Васильевича Крестина, выступить в роли «издателя» и предоставить квартиру для дружеской новогодней пирушки. Деньги на «аванс» и на застолье были собраны в складчину учениками и поклонниками Гумилева, которые хотели таким образом поддержать своего учителя и отпраздновать с ним наступающий Новый Год. Имеет свою вполне земную причину и неурочное для тогдашнего Петрограда появление трамвая, несущегося на скоростном пределе, – это были испытания новой линии, которую планировали (безуспешно) открыть в начале февраля 1920 г.

Следует упомянуть, что в большинстве тогдашних губернских органов правопорядка по отношению к проституткам применялась иная практика: после массовых облав на «гулящих» задержанных женщин – в целях профилактики правонарушений и борьбы с венерическими заболеваниями – попросту… расстреливали. Пользуясь своим влиянием в Северной Коммуне, Б. Г. Каплун боролся с этим варварством и даже опубликовал статью «К вопросу о борьбе с проституцией», где утверждал: «Нет борьбы с проституцией и ее разновидностями, а есть борьба с женщинами, у которых нет определенных занятий».

500

Готтентоты – общее обозначение народностей, населяющих Южную Африку.

501

После низложения и казни короля Людовика XVI (†21 января 1793 г.) власть во Французской Республике перешла к партии т. н. «якобинцев» во главе с Максимилианом Робеспьером и Луи Сен-Жюстом. Якобинская диктатура, применявшая массовый террор по отношению к «врагам народа», завершилась в июле 1794 г. Вождей якобинцев казнили, а во главе страны оказались парламентарии-прагматики, лидером которых были Поль Баррас. От них власть перешла к генералу Бонапарту (с 1804 г. – императору Наполеону I), заложившему правовые основы новейшей французской государственности.

502

Альбигойский крестовый поход 1209–1229 гг. – многолетняя истребительная война (около миллиона убитых с обеих сторон) католиков с еретиками (катарами) на землях современной Южной Франции. *Золотая Орда* – государство, созданное ханом Батыем в ходе кровавого Западного похода монголов 1236–1242 гг. в Восточную и Центральную Европу.

503

До прибытия в Петроград Н. А. Павлович работала в московском Пролеткульте и была секретарем президиума внешкольного отдела Комиссариата Просвещения, который возглавляла жена Ленина Н. К. Крупская.

504

Московский профессиональный союз писателей, который часто путают с московским «Союзом поэтов», был создан по инициативе Николая Бердяева, Михаила Осоргина, Бориса Зайцева, Владимира Лидина и других писателей и публицистов в конце 1918 года. Участники этого союза пытались отстаивать интересы писателей во время издательского кризиса, вырабатывали нормы оплаты труда, полистную и построчную плату и т. п. При «Союзе писателей» действовала знаменитая «Книжная лавка», где продавцами работали авторы предлагаемых на продажу изданий. Весной 1920 года отделение «Союза писателей» во главе с Акимом Волынским возникло и в Петрограде, а сам союз поменял название на «Всероссийский». Гумилев был участником этого объединения, но никакой заметной роли в нем не играл.

505

От *др.* – *греч.* εἶδος (эйдос) – образ.

506

Неоламаркизм – естественнонаучные концепции, развивающие эволюционистские идеи французского зоолога Ж.-Б. Ламарка. Некоторые из направлений этого естественнонаучного течения (психоламаркизм, евгеника) оказались в конце XIX – начале XX века тесно связаны с различными религиозными, мистическими и социально-политическими доктринами в России и Европе.

507

В 1912 г. М. М. Шкапская за участие в студенческих марксистских кружках была приговорена вместе с мужем к ссылке в Олонецкую губернию, но смогла эмигрировать во Францию. В университете Тулузы она получила диплом преподавателя словесности, а во время мировой войны писала очерки для русских газет. В Россию она вернулась в 1916 году, уже имея стихотворные публикации и литературные связи. Шкапская дружила с матерью Блока и была вхожа в его домашний круг. Картина Ж.-Л. Давида «Смерть Марата», изображавшая зарезанного в ванне французского революционного трибуна XVIII в., упоминается в популярном стихотворении Шкапской «Паноптикум».

508

Говорите от своего имени (*фр.*).

509

Во время Великой французской революции было принято собственное летоисчисление. Согласно этому революционному календарю, свержение Робеспьера произошло 9 термидора II года Республики (27 июля 1794 г.), а Бонапарт провозгласил себя французским лидером (Первым Консулом) 18 брюмера VIII года Республики (9 ноября 1799 г.).

510

Елизавета Полонская. «Я не могу терпеть младенца Иисуса…» (1920).

511

Скорбные песни (*лат.*).

512

Во время перемещения столицы в Москву О. Э. Мандельштам работал заведующим Бюро печати Центральной коллегии Совнаркома по разгрузке и эвакуации Петрограда, активно сотрудничал в Комиссариате Просвещения. Илья Эренбург, встречавшийся с ним летом этого года, писал о «безукоризненном эстете из «Аполлона», с жаром излагавшем свои большевистские идеи»: «Мандельштам, изведав прелесть службы в каком-то комиссариате, гордо возглашает: как сладостно стоять ныне у государственного руля!». Однако уже в июле Мандельштам вступил в конфликт с чекистами, заступаясь за арестованных интеллигентов, а после начала «красного террора» у него «наступает политическая депрессия, вызванная крутыми методами осуществления диктатуры пролетариата». Неожиданный переезд Мандельштама (вместе с братом Александром) на юг в начале 1919 г. был, по-видимому, вызван страхом перед возможными репрессиями. В 1919–1920 гг. Мандельштам жил в Харькове, потом в Киеве, затем в Феодосии в гостях у коктебельского насельника Максимилиана Волошина, и (недолго) – в Грузии под покровительством поэтов Паоло Яшвили и Тициана Табидзе.

513

Осип Мандельштам. «В Петербурге мы сойдемся снова…» (1920).

Михаил Кузмин. Ангел благовествующий (1919).

515

Литературный отдел Комиссариата просвещения (ЛИТО) помещался в 1920 году в бывшем доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре, неподалеку от главного здания Комиссариата на Чистопрудном бульваре.

516

«Дворец Искусств», организованный при Комиссариате просвещения в 1920 г. как «объединение деятелей искусства на почве взаимных интересов для улучшения труда и быта», занимал особняк Сологуба на Поварской улице. По своим задачам «Дворец Искусств» напоминал «Дом Искусств» в Петрограде. Впоследствии тут обосновалось правление «Союза писателей СССР».

517

Он считал себя, и не без основания, самым знающим, самым ученым из поэтов, естественным и признанным хранителем поэтической культуры. Новую жизнь он принял и впоследствии стал коммунистом, занимал «посты». Мне думается, что он хотел занять положение, подобное горьковскому, стать как бы «отцом» и центральной фигурой советской поэзии», – писала о Брюсове Надежда Павлович.

518

Владимир Маяковский. «Левый марш» (1918).

519

Кузмин пишет в дневнике, что возвращался в Петроград в одном вагоне (очевидно, литерном) с М. Ф. Андреевой, ее секретарем П. П. Крючковым и Н. А. Оцупом («Это легче, чем с Гумом»). О Надежде Грушко он не упоминает; вероятно, у нее был собственный московский постой.

520

Летом 1920 года лейбористы заблокировали попытки правительства выступить в советско-польской войне на стороне Пилсудского. В Англии развернулось мощное общественное движение «Руки прочь от советской России», делегация политиков и общественных деятелей Великобритании побывала в Москве и Петрограде во время II Конгресса Коминтерна. Деятельность лейбористской партии стала одним из главных факторов международной политики, обеспечивших окончательную победу «красных» в Гражданской войне.

Личного секретаря (*англ.*).

522

Что это? Я понял. Очень вам благодарен: *Коза-Собо*… [Казанский собор]. О, да! Да здравствует Ленин!! Карл Маркс!! О, да! (*англ.*)

523

Нина Алексеевна Шишкина (1900–1942, погибла во время блокады Ленинграда), героиня стихотворения «У цыган», представляла третье поколение знаменитой артистической цыганской династии. Ее дед, Николай Иванович Шишкин в 1886 г. создал постоянную хоровую труппу (первый в мире цыганский театр), которая давала представления в Петербурге и Москве. В 1920–1930 годы Н. А. Шишкина стала одной из «звезд» ленинградской эстрады. «У нее были коротенькие ноги колесом, одухотворенное лицо, распущенные волосы, огромные блестящие глаза, – описывает Шишкину современница. – Она сидела на полу, на подушке, с гитарой и пела. Много слышала я в продолжение моей жизни цыган, но такого замечательного таланта не приходилось больше встречать». Ее известности способствовали многочисленные скандальные любовные романы. Гумилев называл Шишкину «огнем своей таборной крови».

524

«Что касается «Психея-жизнь», – пишет Арбенина об этой забавной мистификации, – то это рассказ о моем представлении (дантовского – нет, вернее, личного представления) о переходе на тот свет – роща с редкими деревьями, – потому, вероятно, исключительно чуткий к стиху и «крепко» знающий Гумилев мог поверить, что это мои стихи – что я сделала ради шутки».

525

Пародируется обращенное к Ольге Арбениной стихотворение Мандельштама «Сестры – тяжесть и нежность – одинаковы ваши приметы», где в первоначальном варианте был стих: «Легче камень поднять, чем вымолвить слово «любить»«. Шуточную балладу о том, как «сошлись знаменитый поэт Гумилев / И юный грузин Мандельштам», Георгий Иванов написал сразу по горячим следам событий; эта баллада дошла до нас в передаче Арбениной и Ирины Одоевцевой.

Наедине (*фр.*).

527

В дореволюционные годы «серебряного века» поэтесса и издательница С. И. Таубе (псевдоним – Софья Аничкова) прославилась своим домашним декадентским салоном на Фонтанке, главной достопримечательностью которого был светильник, сделанный из человеческого скелета. Собрания тут происходили по ночам и были обращены к тематике смерти и бренности земного бытия. Кроме того, Таубе-Аничкова была участницей «Вечеров Случевского». Устроившись в культурно-просветительский отдел Гознака, эта богемная «львица» задумала воскресить традиции «Вечеров» среди заводских рабочих. «Вечера поэтов» на Гознаке имели успех в годы «военного коммунизма»; в своих мемуарах Таубе-Аничкова подробно описывает эти собрания, упоминая среди участников и Гумилева.

Ирина Одоевцева. Баллада о Гумилеве (1921).

529

Экспортхлеб – дочерняя структура государственного внешнеторгового объединения АРКОС, монополиста экспорта из РСФСР в 1920-е годы. *Транспорттрест* – государственный транспортный трест Народного комиссариата путей сообщения РСФСР.

530

Всего в январе – марте 1921 г. в «Цехе поэтов» были подготовлены три тетради «Нового Гиперборея». По свидетельству Одоевцевой, с первой из них Гумилеву удалось снять 25 копий, с двух других – по 5 с каждой: «Рукописные оригиналы продавались дорого только уезжающим за границу. Остальные по сходной цене, или просто раздавались на добрую память добрым же знакомым».

По итогам этого заседания была принята «Декларация о ежегодном всероссийском чествовании памяти Пушкина в день его смерти» и 11 февраля превратилось в литературный праздник, общий как для РСФСР (СССР), так и для «русского зарубежья» (позднее этот «День русской культуры» перенесли на день рождения Пушкина).

532

Поэт и механик-автолюбитель *Лазарь Васильевич Берман* (1894–1980) был знаком с Гумилевым еще с дореволюционных времен – в «Аполлоне» Гумилев доброжелательно откликнулся на его стихотворный сборник «Неотступная свита» (1915). Со студенческой скамьи Берман был призван в действующую армию, в 1914–1915 гг. служил в бронедивизионе вместе с критиком В. Б. Шкловским, через которого познакомился с активистами партии эсеров. Демобилизовавшись в 1915 гг., Берман какое-то время сотрудничал в журнале Д. В. Философова «Голос жизни», имевшем эсеровское «направление». В 1918 г. он участвовал в подготовке мятежа левых эсеров, побывал в заложниках ВЧК во время «красного террора». В том же 1918 году Л. В. Берман поступил добровольцем в Красную Армию и находился на фронтах Гражданской войны до осени 1920 года. Вернувшись в Петроград, он возобновил участие в литературной жизни и был принят в Союз поэтов.

533

Официальное приглашение за подписью председателя Бежецкого отделения Всероссийского профессионального союза поэтов А. Горского было составлено 29 февраля 1921 г. Получив его, Гумилев оформил официальное же командировочное удостоверение в Бежецк с 5 по 8 марта 1921 г. (оба документа имелись в распоряжении биографа Гумилева П. Н. Лукницкого). Один этот документально подтвержденный эпизод убедительно свидетельствует о том, что Гумилев в самый разгар мятежных событий не имел никакой связи с конспиративными кругами Петрограда и Кронштадта. Разумеется, будь он плотнее вовлечен в заговор, никакой речи о командировке в Бежецк *в те самые дни, когда решалась судьба восставшего Кронштадта,* быть не могло.

Устрялов Н. В. Patriotica (1921).

Это движение получило название по вышедшему летом 1921 года в Праге философско-публицистическому сборнику «Смена вех», авторы которого доказывали, что с введением НЭП русская революция завершилась и наступил период воссоединения всех творческих сил России.

Одоевцева выпустила в «Мысли» книгу стихов «Двор чудес», Георгий Иванов – книгу стихов «Лампада». Гумилев подготовил для издательства Л. В. Вольфсона переиздания «Мика» и «Фарфорового павильона». Впоследствии «Мысль» подготовила два «Посмертных сборника» стихотворений Гумилева, сборник его прозы «Тень от пальмы», собрание «Писем о русской поэзии» и отдельное издание пьесы «Дитя Аллаха».

537

Первый стих «Божественной Комедии» (в подлиннике «Nel mezzo del cammin di nostra vita», *ит.*).

538

В назначенный срок никто из участников «суда чести» не явился, и заседание было перенесено. Оно состоялось 22 мая 1921 года, вынеся резолюцию, равно осуждавшую обоих участников ссоры, допустивших взаимные резкости.

539

«Размышления и Максимы» («Réflexions et Maximes») – самая знаменитая книга французского философа и писателя XVIII в. Люка де Клапье, маркиза де Вовенарга, одного из предшественников сентиментализма.

540

Эммануэль-Жозеф Сийес (1748–1836) – французский революционер, деятель Конвента и организатор Национальной гвардии; один из покровителей молодого Наполеона Бонапарта, содействовавший его вхождению во власть.

541

Судьба Б. А. Семенова (1890–1937) является типичной для «технических фигур» в политике. Около полугода в ходе подавления «послекронштадтского» инакомыслия и фронды в Северной Коммуне его именем творились вопиющие (по меркам действовавших на тот момент советских законов) правовые нарушения, на что высокое начальство в Петрограде и Москве закрывало глаза. В октябре 1921 г., когда все необходимые кровавые жертвы были уже принесены, против беззакония в петроградской «чрезвычайке» восстал лично В. И. Ленин: «Петрочека негодна, не на высоте задачи, неумна. Надо найти лучших». 3 ноября 1921 г. Семенова лишили председательского кресла и отправили… на Колыму – до 1925 г. он работал секретарем Промышленного районного комитета РКП (б) в Бодайбо и заместителем председателя треста «Лензолото». С 1925 по 1933 год Семенов делал партийную карьеру в КП (б) Украины (от секретаря обкома до члена политбюро), затем был переброшен на партийную работу в Среднюю Азию, потом – в Крым и Сталинград. 8 сентября 1937 года он был арестован и расстрелян 30 октября того же года «за участие в контрреволюционной троцкистской организации».

542

Центральное управление по эвакуации населения.

543

Особая продовольственная комиссия по снабжению Красного Военного Флота.

Рондо и триолет – сложные стихотворные формы европейской поэзии XVIII века; в современной поэзии часто употребляются для шуточных стихотворений «на случай».

545

Это был учрежденный Штабом морских сил Балтийского моря региональный праздник, назначаемый на ближайший выходной к дате 18 мая (годовщине первой российской морской победы на Балтике в 1703 г.). В 1921 году День Красного Флота пришелся на 15 мая.

Володарский погиб при невыясненных обстоятельствах 20 июня 1918 г., незадолго до покушения на Урицкого. Во время «красного террора» он был объявлен жертвой врагов революции и возвеличен; помимо воздвигнутого монумента на «бульваре Профсоюзов» в его честь переименовали Литейный проспект. В памяти горожан Володарский остался как отчаянный политический интриган и убежденный противник свободы слова.

547

Студентка петербургской Академии Художеств Надежда Константиновна Шведе (урожденная Плансон, 1894–1944) в это время была женой флотского лейтенанта Е. Е. Шведе, занимавшего с 1920 г. должность начальника иностранного отдела Оперативного управления Морских и Речных сил Республики. Вероятно, ее знакомство с Гумилевым и замысел «парадного портрета» возник в ходе общения поэтов в начале мая 1921 г. с сотрудниками коморси Немитца. В 1922 г. супруги Шведе развелись: Надежда Константиновна вышла тогда же замуж за своего академического наставника Н. Э. Радлова, а Евгений Евгеньевич женился на Аде Оношкович-Яцыне.

А. С. Сверчкова пишет, что ее сын «был контужен и отравлен газами, вследствие чего получил туберкулез. Жена его, урожденная княгиня Амилахвари, уговорила его отправиться с ней к ее родным в Кутаис, где у них было роскошное имение и где Николай Леонидович наверно бы скоро поправился, но человек предполагает, а Бог располагает: Врангель свирепствовал в тех местах, и им удалось пробраться с большим трудом до Краснодара, где Николай Леонидович, простудившись, схватил воспаление и умер. После его смерти вдова его Софья Аслановна вернулась в Бежецк и через год умерла на руках Александры Степановны».

549

Временное жилье (*фр.*).

Жестокость крымской расправы председатель Крымского Ревкома «красный венгр» Бела Кун пояснял тем, что «Крым на три года отстал от революционного движения, и его нужно одним ударом поставить в уровень со всей Россией». Это вполне согласовывалось с указаниями Ленина: «Сейчас в Крыму 300 000 буржуазии. Это источник будущей спекуляции, шпионства, всякой помощи капиталистам. Но мы их не боимся. Мы говорим, что возьмем их, распределим, подчиним, переварим». Количество жертв массовых репрессий конца 1920 – начала 1921 г. в Крыму колеблется у разных исследователей от 20 до 120 (и даже до 150) тысяч человек.

551

В августе 1917 г. А. В. Немитц был произведен Временным правительством в контр-адмиралы и назначен командующим Черноморским флотом. До конца года ему, вместе с присланным из Петербурга комиссаром И. И. Фондаминским (близким другом Мережковского и Зинаиды Гиппиус), удавалось сохранять на севастопольской базе относительное спокойствие и боевой порядок. Но в декабре большая часть севастопольских моряков под влиянием анархической пропаганды вышла из повиновения командованию. 13 декабря Немитц убыл из Севастополя в Петроград для отчета созданному большевиками «Центрофлоту», но в Петроград не явился (в январе 1918 г. приказом Центрофлота он был объявлен «в безвестной отлучке»).

552

Вступив в должность коморси РСФСР, А. В. Немитц осуществил в 1920 г. подготовку двух ярких морских операций «красных»: похода Волжско-Каспийской флотилии на Энзели (май) и разгром десанта врангелевцев на Азовском побережье у станицы Приморско-Ахтырская (август).

553

Вельможа (*ит.*). Герцог *Лоренцо Медичи* по прозвищу Великолепный (1449–1492) был одним из знаковых персон эпохи Высокого Возрождения в Италии.

Сергей Адамович Колбасьев был богато одаренной натурой: он сам писал стихи и прозу, изобретал оригинальные конструкции радио– и телепередатчиков, выпустил несколько пособий по радиоделу, интересовался музыкальными новинками, особенно выделяя американский джаз. В 1930-е годы рассказы Колбасьева и его трилогия «Арсен Люпен», «Джигит» и «Река» явились новаторским продолжением в советской литературе традиции отечественной маринистики, начатой в классическом XIX веке И. А. Гончаровым и К. М. Станюковичем. После безвременной гибели Колбасьева (†30 октября 1937, 1938 или 1942 г., репрессирован, точная дата и обстоятельства смерти неизвестны) его книги были надолго запрещены. Для нынешних поколений, благодаря популярному советскому фильму «Мы из джаза», он более известен как знаток и пропагандист в СССР джазовой музыки.

555

Отравлением покончил с собой только Андрей Антонович Горенко; его жену удалось спасти. Она была беременна и впоследствии благополучно родила сына (племянника Ахматовой), названного в честь покойного отца Андреем.

Младший брат Ахматовой В. А. Горенко в 1916 г. завершил Морской корпус и был направлен на Черноморский флот, служил в Севастополе на эскадренных миноносцах «Зоркий» и «Керчь». В декабре 1917 г. большинство его сослуживцев-офицеров по приказу Военно-революционного комитета было расстреляно на Малаховом Кургане; ему же удалось бежать в Бахчисарай, откуда он в 1918 г. добрался до Дальнего Востока и поступил в Морскую роту командующего Сибирской флотилией. Родные узнали о его спасении только в середине 1920-х гг.

М. А. Волошин. «Дом поэта» (1926). Следует упомянуть о добром знакомстве Волошина с А. В. Немитцем, который помогал поэту переправиться в 1919 г. из Одессы в Коктебель.

558

Гражданская жена, постоянная сожительница (*фр.*).

В эмигрантской периодике начала 1920-х этот успех ПетроЧК связывался с деятельностью одного из курьеров Кронштадтского Ревкома (переместившегося после разгрома мятежа в финский форт Ино) – некоего боцмана Паськова, который сам явился на Гороховую, 2 и предложил чекистам свои услуги в качестве «двойного агента». По сведеньям эмигрантских анонимов, Паськов, помимо прочего, раскрыл схемы маршрутов, по которым перемещались курьеры из Финляндии в Петроград, а также указал на В. Н. Таганцева как на координатора этих нелегальных контактов.

560

После окончания корпуса Ю. П. Герман (1896–1921) поступил в Михайловское артиллерийское училище, из которого (после ускоренного по случаю военного времени выпуска) вышел в декабре 1914 г. с производством в подпоручики. Мировую войну он завершил штабс-капитаном 2-й гвардейской артиллерийской бригады Особой армии, а с весны 1919 г. находился в разведывательном отделе штаба Северо-Западной армии генерала Н. Н. Юденича. С сентября 1919 г. Герман-Голубь постоянно находился на нелегальном положении в Петрограде, сначала в качестве личного представителя Юденича, а затем – руководителей «Национального центра» А. В. Карташова, П. Б. Струве и генерала А. В. Владимирова. В агентурную сеть, созданную Ю. П. Германом, входили командиры 7-й советской армии и Балтфлота, сотрудники ПетроЧК и руководители Воздушной обороны Петрограда. С В. Н. Таганцевым Герман познакомился осенью 1919 г., когда по поручению Юденича пытался сформировать «Временное Петроградское правительство», и с тех пор прибегал к помощи Таганцева для установления связей с научной и творческой интеллигенцией. Поэт Г. В. Иванов посвятил Герману очерк «Мертвая голова».

561

Граф Оноре Габриэль Рикетти де Мирабо был одним из популярнейших ораторов времен Великой Французской революции; его зажигательные речи в Национальном собрании не имели продолжения в поступках – к революционным партиям Мирабо не принадлежал и в непосредственной революционной борьбе не участвовал.

562

Присяжный поверенный З. С. Кельсон (1892–1938?) работал чиновником особых поручений при начальнике милиции Временного правительства, а после Октябрьского переворота являлся достаточно заметным лицом в юридических кругах «красного Петрограда» и, по всей вероятности, «теневым дельцом», легализовавшимся после объявления НЭП. Одоевцева называет его «капиталистом», а Георгий Иванов – «буфетчиком, которому «Дом поэтов» был отдан на откуп». В 1922 г. Кельсон оказался замешан в финансовых махинациях, а в 1925 г. издал поэтическую книжку под названием «Маргэрот (Песня о боге больной любви)».

563

Во время мировой войны Габриэль д’Аннунцио был духовным вождем итальянских националистов, призывавших Италию выступить против Австро-Венгрии на стороне России, Франции и Англии. Речь д’Аннунцио в Генуе 4 мая 1915 г. предшествовала открытию Итальянского фронта и вызвала восторженные отклики в странах Антанты (Гумилев опубликовал тогда «Оду д’Аннунцио»). После завершения боевых действий в Европе д’Аннунцио, собрав отряд добровольцев-легионеров, захватил город Фиуме (Риеку) на новой границе Италии с Югославией и провозгласил его собственной Республикой Красоты. Эта удивительная независимая «республика» (с оригинальной конституцией, гербом, флагом и дирижером Артуро Тосканини в качестве министра культуры) существовала больше года (!), и только после военной блокады и предупредительной бомбардировки с моря д’Аннунцио в декабре 1920 года сдал Фиуме регулярным частям итальянской армии.

564

Как следует из дневниковой записи отца В. Н. Таганцева, о том, что дело его сына «у нового следователя Агранова и что пока он не ознакомится с делом и сам не допросит Володю, конечно, свидания быть не может», он узнал от заместителя председателя ПетроЧК Я. Г. Озолина утром во вторник 12 июля 1921 г. (Озолин, очевидно, раздраженный действиями Агранова, советовал Н. С. Таганцеву обратиться за помощью к своему непосредственному начальнику Семенову). Таким образом, Агранов начал активно «работать» с Таганцевым с 8 или 9 июля (буквально в канун встречи Гумилева и Ахматовой на Сергиевской улице). Разумеется, «новому следователю» не было нужды специально «знакомиться с делом» – Я. С. Агранов был московским куратором всего расследования ПетроЧК с 30 мая 1921 г. и не подчинялся ни Семенову, ни, тем более, Озолину.

565

Всероссийский профессиональный союз работников искусств – организация, ведавшая хозяйственными формами культурного строительства.

566

28 июля 1921 г. после двадцати дней непрерывных допросов В. Н. Таганцев заключил сделку со следствием, закрепленную в виде особого письменного «договора». Таганцев признавал себя виновным в «активном выступлении против советской власти» и выражал согласие «делать показания о нашей организации, не утаивая ничего», а Я. С. Агранов гарантировал проведение открытого судебного процесса и неприменение ко всем обвиняемым «высшей меры наказания». Гарантии Агранова Таганцеву подтвердил специально прибывший для этого нарком финансов и член президиума ВЧК В. Р. Менжинский. «29 июля, – сообщает неизвестный источник эмигрантской газеты «Последние новости», – Таганцев был снова вызван на допрос, и от него в первую очередь потребовали подробный список адресов участников дела. Получив список, Чека в тот же день сделала «установки» и заготовила ордера на обыски и аресты. Аграновская комиссия в тот день к массовым операциям еще не приступала. 30 июля, после допроса Таганцева, Агранову был подан легковой закрытый автомобиль, в котором Агранов вместе с Таганцевым поехали по городу. Таганцев должен был указать все те дома, в которых он бывал, но не запомнил адреса. Автомобиль выехал с Гороховой, 2 в два часа дня, а вернулся в восемь. В ночь с 30 на 31-е начались операции ЧК».

За заведующего ИЗО Наркомпроса Н. Н. Пунина горой встал А. В. Луначарский, засвидетельствовавший благонадежность своего сотрудника в письме к И. С. Уншлихту (заместителю Дзержинского). На Гороховой Пунин просидел трое суток, был однажды допрошен, а затем отпущен на свободу без предъявления обвинения и каких-либо объяснений.

568

Постановлением Наркомата юстиции РСФСР от 28 декабря 1919 года подлежащими расстрелу признаются исключительно пособники белогвардейских заговорщиков и мятежников. Это постановление стало юридической базой для постановления ВЦИК и Совнаркома от 17 января 1920 года о приостановлении декрета о «красном терроре» 1918 г.: «Революционный пролетариат и революционное правительство Советской России с удовлетворением констатируют, что разгром вооруженных сил контрреволюции дает им возможность отложить в сторону оружие террора». Разумеется, это не означало прекращение карательной деятельности ВЧК, однако для высшей меры наказания теперь требовалось предварительно собрать доказательную базу, убедительно свидетельствующую, что обвиняемый активно и сознательно пособничал совершению контрреволюционного преступления (т. е. соучаствовал в нем). Ранее расстрелу подлежали все «прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам», т. е. даже случайные свидетели, члены семей и лица, действовавшие по неведенью.

Известно, что Таганцев имел очные ставки с подследственными из сформированной по его показаниям Аграновым «профессорской группы», рассказывал о заключенном «договоре» и с успехом склонял своих конфидентов к чистосердечным признаниям. Но Гумилев, как можно судить по материалам «Дела № 214224», не вошел в их число и именно выстраивал защиту (причем – достаточно умело), рассказывая о контактах с заговорщиками далеко не все.

Его вдова А. А. Гумилева-Фрейганг оставалась в Латвии до конца 1930-х гг., затем уехала в Брюссель. Ее воспоминания о знаменитом девере и его семье были опубликованы в № 45 «Нового Журнала» (Нью-Йорк) за 1956 год.